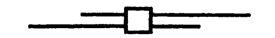
А. В. Амфитеатров

А. В. Амфитеатров

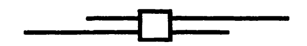
5

А.В. АМФИТЕАТРОВ



А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений в 10 томах



КОНЦЫ И НАЧАЛА

Хроника 1880 – 1910 гг.

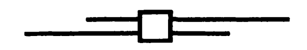


Москва
НПК «Интелвак»
2002

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений в 10 томах

Том пятый



ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ

Книга первая

Разрушенные воли

РУССКИЕ БЫЛИ



Москва
НПК «Интелвак»
2002

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

Составление, примечания *Т.Ф. Прокопова*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5-93264-032-4 (т. 5)

КОНЦЫ и НАЧАЛА

Хроника 1880 – 1910 гг.

ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ

АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ
ЧУПРОВУ —
дяде, учителю, другу —
с любовью посвящаю этот свой труд.

А. Амфитеатров

1907. V. 31
Sestri Levante

От автора

К третьему изданию

Я хотел пополнить новое издание «Восьмидесятников» XLVI-ю главою, которая пропускалась в предыдущих двух по ее тогда предполагавшейся нецензурности Но лицо, чьи живые приключения послужили мне материалом к этой главе, не дало мне на то разрешения ввиду того, что обстоятельства побега моей Рахили Лангзаммер теперь уже гораздо подробнее использованы в покойном петербургском «Былом» в виде подлинных мемуаров, и, следовательно, Рахиль Лангзаммер могла бы принята быть за автора этих воспоминаний. Ввиду этого печатаю «Восьмидесятников» в том же виде, как и во втором издании, лишь с незначительным исправлением нескольких страниц.

А. Амфитеатров
Fezzano
1911. V. 21

От автора

Ко второму изданию

Приходится начать второе издание «Восьмидесятников» траурною каймою. Дорогой для меня человек, сердечный Александр Иванович Чупров, кому посвящен был мой роман, скончался 24 февраля 1908 г. Вся Россия оплакала его. Вся Москва проводила его в могилу. Главная причина, что второе издание «Восьмидесятников» выходит позже, чем следовало бы, — тяжелое нравственное потрясение, пережитое мною под впечатлением этой преждевременной, злой смерти. Не мог я спокойно работать над пересмотром труда, связанного с именем Александра Ивановича, с его советами, с его критическими замечаниями, с его доброжелательством и — смею с гордостью сказать — с его дружеством и любовью, без того, чтобы тень покойного дяди Саши не становилась поминутно между мною и строками моими. Я счастлив, что посвящением «Восьмидесятников» успел доставить ему — незадолго до смерти — некоторое удовольствие. Великолепные, чуткие, тонкие письма его о них, полные глубоких мыслей, поражающие изяществом эстетического понимания, сохраню я как святыню до конца дней своих.

Для второго издания я нашел нужным частию заново написать, частию восстановить несколько сцен и диалогов, не бывших в первом отдельном издании. Расширения эти разместились главным образом во втором томе романа.

Хочу сказать два слова по поводу критического замечания, которое мне приходилось о «Восьмидесятниках» читать в статьях и письмах и слышать изустно. Это — по поводу моей манеры говорить о действительных событиях и лицах без псевдонимных масок, с настоящими именами. Многим она не нравится, потому что вводит в беллетристику элемент как бы мему-

арный. Но я отстаиваю эту манеру и думаю, что недовольство ею порождает просто непривычка наша к фактическому письму, когда она касается не Аредовых времен, но эпохи близкой. Мне, наоборот, кажется, что если заведомо пишешь не тип, но портрет, то портрет должен носить совершенно определенные указания на оригинал свой, и псевдонимы тут совершенно неуместны, даже, если хотите, двусмысленны и бестактны. Они становятся путеводителями или к прозрачному дифирамбу, или к вуалированному памфлету и даже пасквилю. В русской литературе немало прекрасных беллетристических работ, которых репутация испорчена именно слишком заметною портретностью под псевдонимами, оскорбительною для оригиналов, беззащитных по вполне понятному и естественному нежеланию «расписываться в получении». Из великих русских романистов особенно нагрешил в этом отношении Достоевский в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Примера достаточно. О меньших литературным ростом и ближайших к нам эпохою — умолчим.

Портрет может быть не подписан только в том случае, если он претендует на общую типичность, если индивидуальный смысл его заслоняется родовым значением типа. Если же лицо, им изображаемое, составляя несомненную достопримечательность эпохи, тем не менее не имело в ней общего распространения, оно, по моему глубокому убеждению, должно являться в литературном изображении под настоящим своим именем. Когда Лев Толстой печатал «Анну Каренину», вся Москва узнала в Стиве Облонском губернатора Перфильева, но Стива Облонский — не Перфильев, а синтез Перфильевых, имя же им — легион. Но какая польза была бы тому же самому Льву Толстому покрывать псевдонимами единичные исторические фигуры «Войны и мира»? Нельзя спрятать под маску-псевдоним Кутузова, Ермолова, Сперанского, Дохтурова и т.д. Другое дело — Друбецкие, Болконские, Ростовы. Ухо сразу слышит в них псевдонимное искажение Трубецких, Волконских, Толстых, но оно здесь — совершенно законно. Потому что Лев Толстой писал не определенных Трубецких, не единичных Волконских, не указал пальцем: вот это именно такой-то Толстой... — но создавал семейные типы исторических дворянских фамилий в их общем быту такой-то эпохи. Представим себе, однако, что Лев Толстой продолжил бы «Войну и мир» до 14 декабря 1825 года, предчувствием которого заключается эта великая эпопея. Мог ли бы он тогда предложить читателю вместо Сергея Волконского и диктатора Трубецкого Андрея Болконского и Бориса Друбецкого? Конечно нет, потому что личности декабристов настолько резко выразились действиями единичными и не повторными, приобрели такую яркость исторической индивидуальности, что укрывать их под чужие имена бесполезно и странно: это — шило, спрятанное в мешке.

Вот соображения, по которым я считал не только излишним, но даже бессмысленным переименовать Чупрова в какого-нибудь Чубова, Кова-

левского в Валевского, генерал-губернатора Долгорукова в Косоухова что ли, и так далее. Выдумать 200 фамилий — небольшая штука, но — зачем? Ведь никто из читателей все равно не поверил бы мне, что в 80-х годах управлял Москвою генерал-губернатор Косоухов, и каждый знал бы:

— Это он — в Косоухове — изображает Долгорукова.

По-моему, надо кошку звать кошкою и напрасно на клетке слона писать — «буйвол». Тем более что Козьма Прутков в таком случае основательно советовал — не верить глазам своим.

Я понимаю прискорбную неизбежность псевдонима в политическом памфлете, которых я написал на своем веку немалую толику. Но неизбежность эта — именно прискорбная, а совсем не желательная. Она извиняется лишь основным правилом гедонической философии, предписывающей предаваться удовольствию — только убедившись, что сумма его превышает сумму неприятностей, с которыми оно сопряжено. Приятно написать памфлет, но неприятно бессудно сесть за него в тюрьму, подвергнуться ссылке в Сибирь и т.д. Поэтому — памфлет пиши, но защити его, хоть по возможности, слабыми, псевдонимными щитами. Историческая же действительность в беллетристическом освещении совершенно не нуждается в псевдонимах. Они ее опошляют, придают ее сказаниям характер сплетни, в которой не уверен сам ее распространяющий автор, — кривят, искажают и обессмысливают недомолвками честное зеркало правдивой Клио. Получается в лучшем случае роман Грегора Самарова. В худшем — «литератор Кармазинов».

Говорят: беллетристическое изображение под настоящими именами лиц, не слишком удаленных от нас временем, тяжело отзывается на их родне и близких людях, не говоря уже о тех случаях, когда они сами еще обретаются в живых. Я же думаю, что, наоборот, подписывая под портретом, с кого он рисован, художник открыто предоставляет фактической критике и сходство, и мастерство своей живописи, тогда как анонимный или псевдонимный портрет замыкает полемической критике уста по недостатку улик и недоказанности тождества. На днях читал я воспоминания беллетристки Починковской о Глебе Успенском, весьма щекотливые для многих литературных соратников великого народника. Починковская впала в некоторые фактические ошибки. Заинтересованные лица протестовали и исправили неточности ее портретов. Мог ли бы сделать то же самое «Иринарх Плутархов» г. Ясинского? Имел ли право Тургенев признать себя в «литераторе Кармазинове»? Елисеев — в семинаристе Ракитине? Лет 15–20 тому назад в «Вестнике Европы» появилась повесть из жизни русских за границей (я забыл заглавие и автора, но женской руки), на которую публика набросилась страстно, потому что догадалась, что изображаются тайны Герцена и его семьи. Изображение было фальшивое, памфлетическое. Близкие к Герцену люди были очень недовольны этою повестью. Например, мне известно мнение о ней покойной Т.П. Пассек. Но легенда осталась без протестов, потому что — «не расписы-

ваться же!» А лжи, распространенные легендою, мне не раз впоследствии случалось слыхать повторяемыми с убеждением, выдаваемые за фактический материал.

Гораздо более серьезным неудобством употребления в беллетристике настоящих собственных имен является необходимое смешение их с собственными именами вымышленными. Я убедился в том из многочисленных читательских писем, получаемых от лиц, мало знакомых с местом действия «Восьмидесятников», с Москвою восьмидесятых годов. Сбиваемые с толку соседством запросто упоминаемых Долгорукова, Чупрова, Ковалевского, Богословского и прочих портретов, они ищут портретности и в фигурах, типически обобщенных. Меня запрашивают: кого я хотел изобразить в Брагине? кто такой Антон Арсеньев? Ищут моей автобиографии то в том, то в другом мужчине романа. Одна приятельница моей молодости прислала мне разобиженное письмо, что она — совсем не такая, как будто бы я «вывел ее в Лиде Мутузовой». Действительно, совсем не такая, потому что я о ней даже и не думал ни разу, когда писал Лиду Мутузову, и общего между ними только, что обе — и живой портрет, и литературный вымысел — тощие блондинки.

История русского романа показывает, что сказанное смешение областей Wahrheit und Dichtung * всегда ведет к подобным недоразумениям. Громадный Лев Толстой переживал их несколько лет после «Войны и мира». Когда молодой Сальяс сильно нашумел первым своим историческим романом, появилась специальная брошюра-исследование: «Кто герои романа «Пугачевцы»? Разъяснение портретности искали читатели «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины». Почти каждый роман г. Боборыкина подвергался тщательнейшему сличению его живописи с фигурами живой современности.

Быть может, у меня в «Восьмидесятниках» недоразумение для читателя немосквича несколько осложняется еще тем условием, что я не остерегся от местной окраски романа. Я часто употребляю, как общеизвестные, имена и названия, москвичам нашего поколения говорящие очень много, но для всероссийского читателя — немые. Встречая там и сям «Шервинский» вместо «врач», «Плевако» вместо «присяжный поверенный», «Легонин» вместо «профессор», иногородний читатель распространяет этот метод участнения и на героев романа: предполагает, что они — тоже действительно жившие или живущие москвичи, лишь неизвестные ему по именам. Во избежание этого, — я помещаю в конце 1-го тома настоящего 2-го издания список ** всех исторически действительных, личных, собственных имен, упоминаемых в романе, и очень благодарю уважаемую С.О. Вольпер, которая

* Правда и поэзия (*нем.*).

** В настоящем издании на основе списка имен аннотированный указатель подготовлен заново (см. т. 6).

взяла на себя скучный труд список этот составить. Кроме тех, кто включен в список, портретного письма в романе нет, и искать его — напрасный труд.

Между тем — не только ищут, но, как я говорил уже выше, ухитряются иногда и находить. Зависит это, между прочим, от того, что, как не раз случалось мне признаваться *), я — литератор без выдумки, и каждое действующее лицо мое — ткань, сочетаемая из множества «человеческих документов». Для того, чтобы сложить образ Антона Арсеньева, — им больше всего интересуются вопрошающие, — я должен был использовать живые наблюдения над двенадцатью молодыми людьми, таинственно связанными в пестром разнообразии мелочей, общими намеками на угрюмое типическое единство нравственного вырождения, которое пытаюсь я воплотить в этой мрачной фигуре.

Еще два слова хотел бы я сказать о сроках, в которые портретность становится дозволенною и до которых она будто бы «шокирует» читателя. Как их установить? Я думаю — кроме упования на свой такт, тут не может быть никакого мерила, а в особенности хронологического. Когда-то я собирался писать исторический роман о Пушкине, и — меня предупредили, что я могу столкнуться с противодействием наследников поэта. Что это вполне возможно было, я убедился в 1906 году в Париже, когда одна из родственниц вдовы Пушкина усиленно просила меня выбросить из статьи «Женщина в русских общественных движениях» **) фразу, что «барышня Н.Н. Гончарова убила Пушкина». Значит, «земской давности» для некоторых фактов и отношений не устанавливают даже 70 лет. А — ну представьте-ка себе нелепость романа о Пушкине, где Пушкин «выведен под псевдонимом»?!

Максим Горький сказал мне:

— Ну как я поверю фигуре романа, если завтра могу встретить этого человека на улице живым?

Ах, — если бы предел романичности определялся границею жизни и смерти, — как часто он переступался бы временем, в роковой независимости от автора и к большому его ужасу и горю!..

Так именно — наглядный и ближайший пример! — случилось с «Восьмидесятниками». Их первое издание говорило еще о Чупрове — живом... Второе выходит, когда Чупров покоится в могиле на московском Ваганьковском кладбище. При первом издании он был еще жизнь, второе застает его в истории!

Александр Амфитеатров
Cavi di Lavagne. 1908. V. 2

---

*) См. мое предисловие к «Марье Лусьевой», послесловие к «Виктории Павловне».

**) См. в 3-м издании моего «Женского нестроения».

Книга первая

РАЗРУШЕННЫЕ ВОЛИ

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

I

В неглубоком, наполовину заросшем осокой проливе Царицынского озера под Москвою, между отлогим островом и крутым материком, в двух тесно сходящихся стенах старого лиственного парка качались на тихой, гладкой, коричнево-прозрачной до дна воде две пары «лыж». Пловцы — Евлалия Ратомская и артиллерийский офицер Арнольдс — давно уже предоставили свои суденышки вялому течению и, положив на колена длинные двулапые весла, совсем не спешили догонять далеко уплывшую вперед большую нарядную лодку, с которой доносились к ним смех и песни знакомых голосов.

Ратомские — московская дворянская семья, небольшая: старуха-мать, две дочери и сын, — и денежная. Покойный глава семьи, сидя двадцать пять лет на значительном и доходном, хотя не блестящем по карьере, служебном посту, сколотил себе и оставил детям недурное состояние. Ратомские живут пенсией и рентой и живут гораздо скромнее, чем позволяли бы средства. Они не держат ни лошадей, ни мужской прислуги; лето проводят не в Крыму и не за границею, а где-либо на хорошей подмосковной даче, — вот теперь, например, в Старом Царицыне; у них не бывает журфиксов. И это не по скупости, а потому, что такой порядок

сложился в доме еще при жизни Ратомского, когда семья воскресала от бедности и наживалось состояние, — и сложился так прочно, хорошо и естественно, что старая колея навсегда приездилась и покуда молодежь ее теснотою не тяготится. В том, чего требует свет и что самим нужно и нравится, Ратомские себе не отказывают. Барышни всегда одеты модно, строго по сезону и у хороших портних. В театры они выезжают редко — именно потому, что не считают себя в состоянии часто блистать новыми туалетами, а хуже других быть не хотят. Зато, когда выезжают, то скрашивают собою весь аляповатый московский бенуар. Мать ленива на выезды и держит для них при дочерях полугувернантксю-полукомпаньонкою обрусевшую старушку-француженку Алису Ивановну Фавар. Ратомские — красивая семья. Особенно хороша Евлалия, шатенка с большими синими глазами и тонким профилем, обличающим ее наполовину польское происхождение: мать, Маргарита Георгиевна, — полька, хотя родилась в России и от обруселых родителей. У Евлалии славная улыбка, глубокий, вдумчивый взгляд и «не общее» выражение лица. Мимо нее не пройдешь в толпе, не заметив. Ольга — очень эффектная, тоненькая, живая блондиночка, сложена гораздо лучше Евлалии и выше ее ростом. На балах больше танцует и привлекает внимание мужчин Ольга, но когда в театре Евлалия сидит у барьера ложи, к ней невольно обращаются бинокли знакомых и незнакомых. За Ольгой больше ухаживают, в Евлалию чаще влюбляются. В обществе сестер прозвали сестрами Лариными из «Онегина», — одна же кстати еще и Ольга, да и характером несколько похожа на Ольгу Ленского; роль Татьяны отдают Евлалии. Сестры очень дружны. Обе они — лучше воспитанные, чем образованные, девушки: учились и читали не слишком мало, чтобы назваться невеждами, не довольно много, чтобы сверкать развитием. Молодые люди, охочие до умных разговоров, находят в них молчаливых, но внимательных слушательниц и снисходительно соглашаются, что

если бы Евлалия сумела «отряхнуть прах устаревшего воспитания и семейных традиций», то из нее развилась бы «недюжинная натура». Но она праха не отрясает. Молодые люди, охочие танцевать, находят сестер Ратомских самыми очаровательными дамами для мазурки. Начинающие поэты пишут сестрам стихи и даже печатают их с посвящениями в еженедельных журналах. Старуха Ратомская втайне считает это не совсем приличным, но материнская гордость видеть красавиц-дочерей под заголовками печатных виршей превозмогает.

Лето 1882 года принесло Маргарите Георгиевне Ратомской две семейные радости: сын ее, Владимир, кончил курс гимназии с серебряною медалью, и старшая дочь, Ольга Александровна, была просватана за Евграфа Сергеевича Каролеева, молодого архитектора, уже богатого и знаменитого по Москве. Бездна призывает бездну, свадьба — свадьбу. В доме Ратомских воздух дышал влюбленностью, и как-то предчувствовалось, что и младшая дочь — синеокая красавица Евлалия уже на отлете из родной семьи, хотя невеста она была преразборчивая и за три года выездов в московский свет отклонила целый ряд прекраснейших предложений. Сватался миллионер-овцевод Рамзай, сватался модный адвокат Гарусов, сватался Илиодор Рутинцев — добрый малый старой дворянской выкормки, с состоянием и хорошею карьерою, московский племянник важного петербургского дяди. Все получили отказ — и такой ласковый, что, получив, даже не обиделись.

— Небесских мигдалов хце! — в минуты раздражения язвит дочь старуха Ратомская.

Она все боится, что умрет, не успев увидать Евлалию, свою любимицу, замужем и в счастье. Несчастья для нее мать и вообразить себе не в силах.

— Уж если моя Лаличка не найдет себе доли, я стану думать, что у Бога нет правды.

Последним в очереди провалившихся женихов — отвергнут Евлалией артиллерийский офицер Федор Евгеньевич Арнольдс, человек честный, нрава сурового, в правилах жизни прямолинейный, а в любви — из типа «рыцаря бедного»: «Е. А. Р. своею кровью начертал он на щите». Некий господин Квятковский, частый гость Ратомских, сын большого русского писателя былых времен и шалопай, какие в редкость даже между детьми знаменитостей, — уверяет, будто Арнольдс — это псевдоним, а настоящая фамилия Федора Евгениевича — барон фон Гринвальюс: тот самый, которого воспел Козьма Прутков:

Отвергла Евлалия
Баронову руку...
Барон фон Гринвальюс
От замковых окон
Очей не отводит
И с места не сходит,
Сидит принахмурясь,
Сидит и молчит.

Впрочем, господин Квятковский декламирует балладу о бароне Гринвальюсе только в отсутствии Арнольдса, потому что в этом рыжеусом, белоглазом, меднолицем офицере чувствуется нечто, чужого остроумия на свой счет не поощряющее. А шутка все-таки вышла хороша, и карикатура похожа.

Барон фон Гринвальюс хмурится особенно строго, когда около Евлалии Ратомской появляется Георгий Николаевич Брагин, молодой, наезжий из Петербурга литератор, которого в публике и критике почитают подающим большие надежды, а сам он уверен, что все надежды не только выполнил, но и превзошел. Евлалия, кажется, разделяет его уверенность, потому что едва ли не влюблена в него. Брагин — эффектный молодец с нервным, лепким лицом римского поэта из упадочников. Кудри у него чудеснейшие, и талант есть. Быстрого

и шумного успеха своего он, пожалуй, стоит — хотя бы уже потому, что влюблен в себя по уши: богиня жизни, рассмеявшись над его колыбелью, ласково рассудила, что — да будет ему триумф! Жаль огорчать неуспехом это наивное и красивое дитя! Либералы числят Брагина своим, но не слишком за него ручаются и держатся. Консерваторы тоже считают его в либералах, но не слишком с ним воюют и препираются. Старые критики шестидесятники находят Брагина как беллетриста не столько художником, сколько ритором — притом неустановившимся и с чересчур уже большим темпераментом. Действительно, Брагин говорит превосходно: бисером мечет и жемчуг нижет. Дамы заслушиваются его, как соловья, и он сам, как соловей, запевается своими песнями. Квятковский клянется, будто Георгий Николаевич, начав говорить, никогда не знает, как и чем он кончит, но мчится, взмыленному коню подобно, куда его гонит язык, и иногда бывает очень изумлен, выбежав к выводам, как раз опровергающим положения, которые он брался доказать. Но Квятковский — пристрастный судья, потому что сам подозревается в тайной влюбленности все в ту же Евлалию Ратомскую. Да, по правде, так оно и есть, хотя самолюбивый остряк глубоко прячет свой сердечный секрет, основательно находя, что «не с посконным рылом соваться в калачный ряд». Бедный малый зародился на свет уж очень неказисто — длинным, сухопарым Мефистофелем, с лицом, правда, умным и резко-язвительным, но рябым и козлоподобным, с голосом, дребезжащим и скрипучим, как татарская арба. За исключением Квятковского, Брагин встречает в кружке Ратомских безусловное поклонение, и даже хмурый Арнольдс, скрепя сердце, подчиняется его авторитету. Когда же он заливается соловьем на горячую и по душе себе тему, к нему влекутся все сердца и глаза, потому что красноречивые вдохновения его — и в голосе, и в лице, — во всем явлении, — прекрасны.

Есть у Евлалии — вернее, впрочем, был — еще один поклонник, но такой странный, что необходимо рекомендовать его подробнее, тем более что от целомудренного общества, в которое входит читатель, он стоит особняком, как человек лишь терпимый, полупринятый и почти опальный. Зовут его Антоном Валерьяновичем Арсеньевым. Он старший сын Валериана Никитича Арсеньева, некогда довольно заметного деятеля судебной реформы, теперь — на председательском посту и в генеральских чинах. Если Квятковский немножко напоминает Мефистофеля, то Антон Арсеньев совсем уж похож на оперного Демона: высокий, узкий, худой, в гриве падающих на плечи черных кудрей, с сверкающим и недобрым подозрительным взглядом глубоко впалых, беспокойных, огромных глазищ. У одних женщин он слывет только что не уродом, другие признают его почти красавцем. Лидия Юрьевна Мутузова — юная особа, за злой язык свой и стройную худобу прозванная в кружке Ратомских «Шпагою», — говорит об Антоне Арсеньеве:

— Черт какой-то! Я, когда с ним говорю, все боюсь, что он дохнет пламенем или из ушей у него повалит дым.

Антон уже два года как кончил университет и все мыкается без занятия, обеспеченный материнским наследством, не избирая, куда пристроить себя в жизни, да, по-видимому, и совершенно о том не заботясь. Одни прославили его чуть не гением, другие находят просто полоумным. В младших классах гимназии он слыл идиотом, а дома в то же время имел отчаянные перепалки с отцом за угрюмый нрав и страсть уединяться. Переступив период половой зрелости, Антон вдруг начал учиться с легкостью поразительной, изумляя и преподавателей, и товарищей быстротою соображения и колоссальною памятью. Но из седьмого класса его чуть не выгнали за амуры с директорскою гувернанткою, а восьмой, последний, год ученья, он провел в кутежах и изобретении perpetuum mobile *.

* Вечный двигатель (*лат.*).

— Ты, конечно, на физико-математический факультет? — спрашивали товарищи.

— О!.. Еще бы!.. — смеялся он. — Надо же, чтобы кто-нибудь утер наконец нос Ньютону. Вот тоже еще есть в Германии некто Гельмгольц... Сил нет терпеть, как гениален — подлец этакий!

Однако вдруг, ни с того ни с сего, очутился ни в математиках, ни в естественниках, но в юристах. На первом курсе подал Чупрову блистательное сочинение об Адаме Смите, а со второго чуть было не ушел в Академию художеств. Распорядительствуя на одном студенческом концерте, Арсеньев познакомился с Петром Ильичом Чайковским, потом сделал ему визит, очень понравился.

— А вы не музыкант? — спросил Чайковский.

— Из горе-пианистов... Балуюсь по вольности дворянства.

— Сыграйте мне что-нибудь.

Арсеньев, не ломаясь, сел к роялю.

— Юноша! — вскричал Чайковский, выслушав красивый, но страшно мрачный ноктюрн. — У вас талант! Вам работать надо! Сколько экспрессии!.. Только техника хромает, конечно... А чье это, что вы мне играли?

Арсеньев сказал:

— Мое.

Добрейший Петр Ильич так и ахнул:

— Я думал — какая-нибудь неизвестная мне вещица Роберта Франца!

— Я с Францем совсем не знаком. Даже имя его впервые слышу.

— Совершенно его характер. Она у вас записана?

— Нет... Зачем?

— Запишите, пожалуйста!.. Для меня...

Антон Арсеньев засмеялся:

— Как же я запишу? Я нот не знаю. Играю и сочиняю по слуху.

Чайковский удивился еще более и настоял, чтобы юноша занялся теорией музыки. Но молодой еврей из консерватории, которого композитор рекомендовал Арсеньеву для уроков, скоро сбежал от своего ученика.

— И что такое? — негодовал он, — и я не был трезвый два месяца!.. Чи это музыка? Чи это порядок? Чи это урок? Чтоб ему был такой год, как у меня трещит от него моя голова!.. Барчонок, лобус, побей его Бог! Ему всё игрушки, а мне к экзаменам готовиться... Я деньгам не рад!

Записывать свои импровизации Антон у еврея все-таки выучился. Он издал их великолепно. На густо вызолоченной обложке с собственным рисунком Антона красовался его дворянский герб под баронскою короною, на которую, — хвастался старик Арсеньев, — род их почему-то имел право, хотя и не был баронским. Ниже обозначалось посвящение: «Постоянной ценительнице моих вдохновений, глубокоуважаемой Матильде Никифоровне Карлушевской»...

— Кто такая? — спрашивает отец.

— Моя приятельница.

— Впервые слышу! Понятия не имею об этой фамилии... Замужняя или девица?

— Замужняя.

— А муж чем занимается?

— Содержит веселый дом на Цветном бульваре.

Старика мало-мало удар не хватил. Целую неделю бегал он по нотным магазинам, выкупая экземпляры злополучного издания и потом сожигая их в камине.

Однажды Антон спас ребенка из горящей дачи. В другой раз, на Синежском озере, вытащил из воды тонувшего мужика. А три месяца спустя после таких подвигов собрался товарищеский суд — не попросить ли Антона Арсеньева удалиться с факультета, потому что, взявшись доставить по адресу один благотворительный сбор, он в тот же вечер бросил деньги у «Яра» на гитару цыганке... было доказано, что те

самые бумажки! Старик Арсеньев внес растраченную сумму и умолил молодежь похоронить скандальную историю, как случайное недоразумение... Из уважения к нему, — хоть и маленькому, но все же деятелю шестидесятых годов, — согласились. После этого случая Антон как будто опамятовался. Опять блеснул каким-то замечательным рефератом и читал, читал, читал... В эту-то пору и сложился у него тот странно и неприятно задумчивый, шальной и трагический облик, что наводил «Шпагу» на мысль о пламени из ноздрей и дыме из ушей.

На двадцать третьем году Антон вступил в один из политических кружков, которыми кишело то время. Посещал собрания аккуратно, первым приходил, последним уходил, говорил редко, больше молчал, слушал. Однажды кружок очень разбушевался по поводу свирепой статьи тогдашнего газетного диктатора Каткова, Арсеньев, сидя в углу, не принимал участия в спорах, но взял лист бумаги, вырезал из него семь квадратиков по числу присутствующих, написал имена, свернул квадратики в трубочки и бросил в шапку:

— Не угодно ли вынимать жребий?

— Жребий? Какой?

— Кто из нас завтра пойдет и пристрелит этого господина.

— Ты очумел?

Антон обвел общество растерянным взглядом.

— Может быть, вы хотите поручить без жребия... чтобы я один?

Воцарилось тяжелое молчание. Все недоумевали, сбитые с толку неожиданностью. Все переглядывались.

— Поймите же, Арсеньев... — вымолвил, наконец с трудом овладев собою, тот, кого почитали главою кружка. — Ваше внезапное предложение... оно... совсем не входит в программу!.. Мы не имеем нравственного права... э, черт! да и никакого права не имеем!.. решать столь важные вопросы так... частно... Мы не одни... Это вы по-

ставили общий, чрезвычайно общий, чрезвычайно ответственный вопрос...

Арсеньев засмеялся, сжег билетики на свечке. Потом взял шапку, мотнул головою общий поклон и ушел.

— Куда ты? Сумасшедший! Куда? — догнал Антона один из любивших его товарищей, оторопелый, сконфуженный, в испуге.

— А сегодня у Ратомских танцуют. Я пригласил Ольгу Александровну на мазурку.

Больше он никогда уже не показывался в кружке.

Женщинам Антон достался с четырнадцати лет.

— Какой может быть из меня прок? — издевался он сам над собою. — У меня вместо сердца альбом неприличных фотографий.

И с женщинами он вел себя дико. То — едва не женился на проститутке. То — сбежал почти из-под венца с хорошенькою и богатою девушкою, Юленькою Лбовою, в которую был, по-видимому, как будто влюблен. То — с наглостью компрометировал трех замужних дам единовременно. То — вдруг — как отрезало: заперся в своем кабинете, обтянул стены черным коленкором, положил на письменный стол череп и принялся изучать литературу о... скопчестве!

Три года тому назад, еще на последнем курсе университета, Антон — ни с того ни с сего — сделал предложение семнадцатилетней Евлалии Ратомской. Она отказала — поспешно, с испугом, не сумев скрыть своего неприятного удивления. Антон посмотрел на девушку огнедышащим чертом и слегка покраснел.

— Вы совершенно правы, — пробормотал он. — Я глуп... угораздит же...

И скрылся. Однако продолжал затем бывать в доме — как с гуся вода.

В последнее время он усердно афишировал свои отношения к некой госпоже Балабаневской, всюду в обществе сле-

дуя за нею по пятам с видом очень прочно привязанного человека. Эта госпожа Балабаневская до тех пор, пока не компрометировал ее Антон Арсеньев, справедливо пользовалась репутацией чрезвычайно добродетельной вдовы. Ей было уже под сорок, она имела подростков-дочерей, была совсем не красива, жирна и далеко не блистала умом. О каком-либо денежном или карьерном расчете со стороны Арсеньева тоже не могло быть и речи, его новая пассия жила пенсией после покойного мужа-профессора и доходов с его литературного наследства, — правда, довольно крупного, потому что профессор оставил по себе несколько ходких учебников. Что значил этот новый каприз Арсеньева, никто не понимал — меньше всех, кажется, он сам. Балабаневская же и понимать не хотела: она потеряла голову, сгорала счастьем, летела в пропасть и трепетала только одного, что падению скоро конец... дно близко!

Антона Арсеньева не любили ни в обществе, ни дома. Он был на пять лет старше второго брата, Бориса, и на восемь — сестры Сони, девушки милой, кроткой, глупой и до того рослой и полной, что за колоссальностью терялась даже ее мягкая, ленивая красота.

— Желаете видеть альпийский вид? — серьезно спрашивал кого-нибудь Квятковский и, получив утвердительный ответ, торжественно указывал на Соню Арсеньеву: — Unsere echte Jungfrau! *

По довольно значительной разнице лет младшие Арсеньевы выросли особняком от старшего брата и были ему чужды. Борис, — чудесный мальчик, не такой эффектной наружности, как Антон, и не такой монументальный, как Соня, — и умом, и характером тоже остался посредине между ними. У Сони не было ни к чему талантов, у Антона они имелись ко всему, — Борис хорошо рисовал, писал красивые стихи с гражданскою скорбью (на этой почве он со-

* Наша истинная дева! (*нем.*)

шелся и подружился с Володею Ратомским), но ни в Маковские, ни в Некрасовы не собирался. Гимназический курс он окончил третьим учеником, — Соня едва-едва доплелась к диплому. Коровья вялость задумчивой, ласково-молчаливой сестры и дикая эксцентричность брата Антона слились в Борисе необычайною мечтательностью, которую мягкий характер и снисходительные условия небедной жизни направляли, покуда светло и хорошо. Большеротый, чуть опушившийся, черноглазый, длинный, тонкий, немножко сутулый юноша весь кипел жаждою общественной работы. Стол его был завален проектами обществ самообразования, кружков взаимопомощи, интеллигентных рабочих артелей, идейных изданий и журналов. Учреждать их Борис начал чуть не с третьего класса гимназии, не унывая, когда планы его лопались, и вместо храма славы он попадал за них в карцер. Теперь, студентом-филологом уже второго курса, он носился с идеей общества «Ломоносов», имеющего задачею поднимать и развивать скрытые в народе таланты-самородки. С двумя Ломоносовыми юный энтузиаст потерпел уже свирепейшее фиаско, ибо первый Ломоносов пропил данные ему на дом учебники, а другой после нескольких уроков отправился в участок с донесением, что «скубент соблазняет в сицилизм», и старику Арсеньеву стоило порядочных хлопот выпутать Бориса из подозрений. Но пламя, оживлявшее эту огненную душу, не погасло от двух ушатов холодной воды. Теперь Борису наконец как будто везла удача в новом, третьем, Ломоносове. Юноша обрел его в мещанине Тихоне Постелькине, брате горничной, служившей у Арсеньевых в доме. Малый — темный приказчик, «молодец» из суровской лавки, — оказался, правда, тупицею, зато стремление к знанию являл неподдельное, а волю учиться — железную. Борис умолил Квятковского заняться с Тихоном по русскому языку, сам просвещал его по арифметике, истории и географии, а Соню чуть не силою заставил преподавать французский язык.

II

Закат еще играл червонным отблеском на верхушках деревьев, но внизу уже сгущались ночные тени, и над осокой забелели тонкие струйки тумана.

— Как мы отстали однако! — сказала Евлалия и шевельнула веслом, распространяя по проливу широкую, мелкую рябь. — Но здесь так хорошо и тихо, такое милое, ласковое освещение, что лень двигаться из этого уголка. Впрочем — через полчаса течение все равно принесет нас к пристани. Алиса Ивановна будет недовольна и сделает мне выговор за наш tête-à-tête *. Она ни слова не сказала бы, будь на вашем месте Рамзай или Гарусов, но вы не в милости. Для своей баловницы и любимицы она желает жениха солиднее скромного артиллерийского поручика, а между тем сильно подозревает, что мое бедное сердце пленено вами. Она вас терпеть не может и называет вас за глаза le grand fusilier... ** Почему fusilier?

Евлалия засмеялась. Улыбнулся и Арнольдс.

— Бог с нею! — возразил он густым низким голосом. — Мы с нею — как две ревнивые собаки: своя Фиделька ворчит на чужого Азора. Я ее, в сущности, очень люблю.

— За что?.. Ах да! Впрочем, я и забыла: вы ведь всех любите...

— Ну это вы очень ошибаетесь!

— По крайней мере, я, сколько знаю вас, ни разу не слыхала, чтобы вы дурно отозвались о ком-нибудь. Или вы хвалите человека, или молчите о нем.

— Вы напрасно думаете, что я такой... безразличный. Вы мало меня знаете... напротив! Нет, я только не люблю... м-м-м... разговаривать. Я узкий человек и, что называет-

---

* Свидание наедине (*фр.*).

** Большой стрелок... (*фр.*)

ся, — уж не смейтесь над старинным словом... другого, ей-Богу, не подберу! — «с правилами»...

Евлалия улыбнулась.

— Ну еще бы!.. Un vrai homme d'ordre... * это даже Алиса Ивановна признает!..

— У меня выработан известный нравственный кодекс: сложить его мне стоило многих мыслей, огромного труда над собою, и я в него верю. Если бы мне пришлось отступить от него, то жить мне стало бы очень трудно, тяжко и совестно.

— И других по своему кодексу меряете?

— И других. Чем же другие хуже меня? И других!

— А — если не подходит под мерку?

Арнольдс помолчал, соображая, — он не быстро думал, — потом сказал с убеждением:

— Значит, худые люди. Надо дальше от них. Или негодяи, или заблудившиеся.

— Вот как?! — протянула Евлалия с строгим удивлением. — Заблудившийся вместе с негодяем? Если человек заблудился, вы отходите от него дальше?.. Я бы лучше дала руку, чтобы вывести его на дорогу.

Арнольдс опять долго молчал.

— Да и я даю... но, — простите, — сперва долго приглядываюсь. Я не только не любвеобильный человек, Евлалия Александровна, — я подозрительный, угрюмый человек. Я неважного мнения о людях. Негодяев на свете много. Куда больше, чем заблудившихся. Признаюсь: когда я ребенком читал Библию, я вместе с Ионою сердился на Бога, зачем Он разжалобился и пощадил обреченную казни Ниневию. Правило, что лучше отпустить девять виновных, чем загубить между ними одного невинного, писано не для меня.

— Это — жестоко, — прошептала Евлалия.

---

* Истинный человек порядка... (*фр.*)

— А что я избегаю дурно говорить о людях, — продолжал, увлекаясь, Арнольдс, — так тут особое рассуждение. Я так полагаю: если я вижу зло, то либо должен с ним бороться до последнего, либо, как хохлы говорят, сиди и не рипайся: делай вид, что его для тебя не существует. То же и с человеком. Или ты не суди его совсем, или, если считаешь его вредным, истреби его.

— Даже истреби?

— Ну... обезвредь... я не знаю, какое там в точности нужно выражение... от случая зависит! Если ничем другим нельзя обезвредить, как истребить, то, конечно, только истребить и остается. Ведь не о негодяе вопрос, — о тех, кто от него терпит...

— Жестоко! — повторила про себя Евлалия.

Арнольдс развивал свою исповедь.

— В целом свете зла не вывести, всех негодяев по рукам и ногам не скрутить. Дон Кихотом быть я не имею охоты. Я не герой, мой мир тесен. У меня есть служба; я знаю и люблю свой шесток — свою батарею и своего солдата; у меня есть семья, есть кружок любимых друзей... Вот здесь я свой, родной, человек, и — смею сказать — не бездеятельный!.. К тем, кто мне близок, я негодяя не допущу, а встану против него грудью. А так как на все общество таким принципом не раскинешься, то, следовательно, держись, Федор Евгениевич, своей рамки, береги ее честь и целость, не лезь в чужие дела и не выражай своего мнения о людях, которых не изучил и не проверил. Может быть, это несколько педантично, сухо и... скучно, но мне кажется, что так честнее...

— Да... честнее... — задумавшись, довольно нерешительно и совсем уж без восторга повторила Евлалия. — Вы не хотите много обещать и мало давать...

— Все огромные нравственные обещания прекрасны, — сказал Арнольдс, — но обещания неисполненные отвратительны. Когда мыльные пузыри разлетаются в воздухе, от их радуги оседает на людей противная мокрая слизь холодного мыла...

Евлалия засмеялась.

— А все-таки, что ни говорите, мыльный пузырь красиво летит!.. И я первая — виновата! — очень люблю смотреть, как они играют на солнце…

— Да и любуйтесь!.. Бог с вами!.. — несколько принужденно возразил Арнольдс. — Еще бы вам, такой прекрасной и молодой, не любить веселых огней и красок!.. Ну а вот — когда пузыри лопаются, холодную пену их позвольте мне от вас отмахивать, чтобы не обрызгала...

— Словом: все приятное — мне, все скучное и противное — себе? — смеялась девушка. — Вы милый человек, Федор Евгениевич... вас хорошо иметь другом...

И, пользуясь тем, что течение сблизило «лыжи», она протянула ему руку.

— Знаете, я с первого нашего знакомства почувствовала, что мы с вами будем друзьями. Это очень странно: всегда подсказывает человеку какой-то инстинкт, как в его жизни будет новый знакомый, — пройдет мимолетно, без следа, или должен сыграть роль... Ведь это было, кажется, на балу в дворянском собрании?.. вас представил, — я помню, — Гарусов... Я никогда потом не могла понять: почему вы, всегда такой спокойный, находчивый, un homme tout à fait comme il faut *, показались мне сперва — простите за откровенность! — странным, неуклюжим, даже немножко смешным? Но вы мне сразу стали симпатичны: у вас в глазах тепло было...

Федор Евгениевич радостно засмеялся.

— Еще бы! Я тогда уже часа два как был пó уши влюблен в вас. По крайней мере, так кажется мне теперь, потому что я не могу уже представить себе такого времени, чтобы я знал вас, а еще не любил. Первый образ, в котором вы представляетесь мне, — это — как я впервые увидал вас...

---

* Человек вполне приличный (*фр.*).

в вальсе с Гарусовым... ах, и хороши же вы были на том балу!.. и я уже люблю вас в нем и мучительно завидую Гарусову, зачем он кружит вас по залу, а я не могу...

— Перестаньте, Федор Евгениевич!.. Вы знаете, что я не люблю, когда вы так говорите...

Голос Евлалии прозвучал мягкою, вынужденною досадою.

— Ведь мы условились, что мы друзья — только друзья. Зачем...

Евлалия сильно ударила веслом по воде и опередила Арнольдса. Он догнал ее.

— Вы сердитесь? — робко проговорил он. — Простите меня:: я забылся. Это не повторится.

Евлалия молчала и гребла. На черты ее прекрасного лица, уже неясные в надвигавшихся сумерках, легла, казалось Арнольдсу, печальная тень.

— Нет, не то! — резко сказала она и затормозила «лыжи», сердито пеня черную воду. — Зачем притворяться? Я хочу быть откровенна с вами, как с самою собою, потому что очень уважаю вас... после мамы больше всех... даю вам слово! Я не сержусь на вас, а мне неловко, стыдно, когда вы говорите о любви!.. Мне стыдно, что я не люблю вас так, как вы хотите...

— Евлалия Александровна!.. — с волнением начал было Арнольдс.

— Да, стыдно!.. Я никого не знаю, кто стоил бы любви больше, чем вы, и, вероятно, никогда не узнаю. Я вас уважаю, вы мне очень дороги... и все-таки я чувствую, — ну поймите: помимо своей воли, чем-то высшим себя чувствую! — что не могу я любить вас, не в силах стать вашею женою...

— Евлалия Александровна, — сдержанно возразил Федор Евгениевич, — извините меня, если я скажу вам на это несколько слов... нарушу ваше запрещение. Вот видите ли: вы так добры — говорите сами, что имеете ко мне дружеские чувства, уважаете меня... Я клянусь вам: когда я делал

вам предложение, то и не мечтал получить больше, чем вы даете мне этими словами... Я далек от мысли зажечь страсть в вашем сердце: где же мне? Я считаю вас слишком выше себя... во всех отношениях!.. Право любить вас и беречь как свое сокровище, открыто поклоняться вам как своей святыне, немного дружбы и доверия да честное отношение к имени, которое я вам дам, — вот все, чего я ожидал от нашего брака, если бы... Да! Вот все, — и мне довольно!

— Да мне-то не довольно, Федор Евгениевич!.. — перебила Евлалия. — Дружба... уважение... доверие... все это хорошо!.. Но для того, чтобы вместо Ратомской назваться Арнольдс, мне действительно надо почувствовать себя не Ратомскою, но Арнольдс!.. Чтобы я сознала себя не маминою, не своею, но вашею!.. и сознала бы раньше вашего предложения, вашего признания, вашего первого поцелуя!.. Я не знаю, права ли я; может быть, и нет; может быть, я слишком требовательна в своих запросах от жизни... Но видите: и у меня тоже есть свое «так честнее»!.. — слабо улыбаясь, повторила она недавние слова Федора Евгениевича.

— Да! — серьезно возразил он, — я именно так вас и понимаю. Ваш первый поцелуй получит только тот, кому вы отдадите себя на жизнь и на смерть. Да! Но ведь только так и честно.

Евлалия задумчиво покачала головою.

— А Оля? Уж она ли не безупречная девушка? Однако идет же за Евграфа Сергеевича...

— Разве она не любит его? — тихо удивился Арнольдс. — Разве ее брак — по расчету?

— Конечно, нет: кто говорит о расчете? Он ее любит, не противен ей, известен за доброго малого и порядочного человека... Но это партия, а не брак. Каролеев даже и предложения-то сам не сумел сделать. Алиса Ивановна объяснялась за него... Оле это ничего, а я бы не могла! Впрочем, она, выходя замуж, все-таки хоть человека знает... А иные

и без того... на-авось, на «стерпится — слюбится...» И — ничего: уживаются... Но я не могу. Еще подростками мы в этом расходились с Олею: она всегда мечтала сделать хорошую партию, а я то думала о монастыре, то — как меня будет кто-то любить, и как я его полюблю... полюблю, и уже ничего у меня не останется в душе, кроме этой любви....

Совсем стемнело. Арнольдс с трудом различал впереди себя серое пятно — платье своей спутницы, быстро двигавшейся к пристани. Они уже выплыли из пролива и пересекали наискось, высокою водою, глубокую заводь с мрачным призраком арки, полупогрузшей в глубине берегов, сходящихся над стоком плотины.

— Любовь! — тихо, как будто не Евлалии, а самому себе, вымолвил Арнольдс. — Пестрая она!.. Капризная... ряженая... жестокая... Представляете ли вы себе, дитя мое, по крайней мере, какое вам нужно чувство? чего вы с ним ждете, во что веруете?.. А то ведь настоящая-то любовь придет к вам, а вы ее и не узнаете!.. Тысячи девушек ждут ее, как вы, и, когда она приходит, обманываются, не узнают...

— Не узнать любви?!

— Не узнают!.. Не одна она ходит, целая свита призраков и обманов за нею!.. И красивых, эффектных!.. Мираж, случайность, ложную вспышку сердечного огня принимают за истинное и конечное!.. И часто не годам — десятилетиям надо пройти, чтобы женщина поняла: нет, то был фейерверк любви, а не сама любовь!.. Истинная-то любовь, — вот она где таилась и тлела для меня целую жизнь, а моя жертва понапрасну сгорела... по ошибке... не на том алтаре... не перед тем Богом!..

Евлалия молчала. Она плыла по отражению прибрежного леса и совсем исчезла на фоне черной воды и темных деревьев. Только всплески воды доносились до слуха Арнольдса. Наконец он услышал:

— Я много думаю о любви, но говорить о ней не умею.

Арнольдс вздохнул и ничего не возразил. Вдали показались разноцветные фонарики лодочной пристани при «курзале». Всплески весла впереди прекратились, и в темноте, тепло и страстно, нежным, звенящим звуком раздался красивый голос Евлалии, и хотя говорила она тихо, но, — показалось бедному влюбленному, — слова огромные, как мир, и важные, как вечность.

— Любовь — это вот: чтобы вся жизнь сразу пламенем вспыхнула, горела — горела долго, а потом сразу погасла бы... и это — смерть!

«Вот так-то я и люблю тебя!» — подумал Федор Евгениевич, и в груди его все задрожало, и весь он стал полон страстной мысли, и сам чувствовал, как она засветилась на его лице. И он был рад, что темно и что Евлалия не видит его в эту минуту так близкой к ней беззаветной страсти. Он так любил и так наслаждался блаженством любить, что сейчас ему не надо было и взаимности, чтобы быть счастливым. Красота чувства, полнота жизни сами были наслаждение...

К пристани они доплыли, уже не сказав друг другу ни слова...

III

Красивый, пестрый молодой цветник представлял собою огромный чайный стол на дачной террасе Ратомских, ярко и весело озаренный свечами в высоких летних колпаках, о которые десятками с неистовством колотились пьяные от света белые, зеленые, серые ночные мотыльки. Было живо, шумно. Старое поколение с самою хозяйкою дома Маргаритою Георгиевною давно уже старилось внутри дачи за карточными столами, — на террасе оставалось только молодое, которому по той же пословице предстояло расти. Самым что ни есть «патриархом» среди этой зеленой молодежи был Арнольдс, а ему едва исполнилось двадцать восемь

лет. Он сидел на углу стола с другим «патриархом» — женихом Ольги Александровны, Каролеевым, тяжеловесным и пухлым русским молодцом, вроде Чурилы Пленковича или Дюка Степановича какого-нибудь, — с ленивыми голубыми глазами и добрым складом рта. Квятковский говорил о нем:

— У друга моего, Евграфа Сергеевича, всегда такой вид, будто он на всю жизнь безнадежно объелся пирогом с вязигой.

Приладив на край стола шахматную доску, Арнольдс и Каролеев пробовали сыграть под шумок партию. Но Ольга украла у жениха туру, и он беспомощно смотрел на противника:

— Как же теперь?

— Кусок сахару положите.

— Н-нет, постойте! — обрадовался Каролеев, — у меня в кармане есть старая пуговица от вицмундира.

— Федор Евгениевич! — кричала Арнольдсу через стол бойкая тощая блондинка — «Шпага» — Лидия Юрьевна Мутузова. — Вы не боитесь сидеть на том месте?

— Разве мои соседи кусаются?

— Есть примета: кто сидит на углу стола, тот семь лет не женится.

— Вам-то что? — вмешался, дребезжа голосом, Квятковский. — Вам-то что? Ведь вы замуж не собираетесь: вашим супругом должно быть святое искусство!

— Я с благотворительною целью... Забочусь о других, нельзя же всегда быть эгоисткою! Посмотрите, сколько невест!

Она схватила за руки своих соседок — Евлалию Ратомскую и Любочку Кристальцеву, — бледную, пышноволосую барышню с неправильными и мелковатыми чертами лица, которое делали интересным огромные карие глаза, полные внутреннего огня и затаенной — будто фанатической — мысли. Отец этой Любочки — небогатый чиновник — долго

служил под начальством покойного старика Ратомского, а затем получил повышение на его место. Дружеские отношения Ратомских и Кристальцевых сложились, таким образом, очень давно, и обе фамилии ими бережно дорожили. Кристальцевы на всю Москву имели репутацию хорошей и милой семьи, а две имевшиеся в ней барышни-бесприданницы были так привлекательны и симпатичны, что Маргарита Георгиевна не раз вздыхала:

— Ах какая это жалость, что Любочке уже двадцать три года!.. лучшей жены для моего Владимира я не желала бы... Но стара: пять лет разницы!.. Ну да — авось Бог милостив: у Кристальцевых Лидуся подрастет. Когда Володя кончит университет, Лидусе как раз исполнится восемнадцать... Если выйдет в сестру, то и с Богом!..

Володя Ратомский, прекрасный в своих темно-золотых кудрях, как юный бог, сидел за столом надутый и недовольный. Ему не было никакого дела до всех этих Кристальцевых, Мутузовых, Арсеньевых, Бараницыных: избранница его полудетского сердца отсутствовала, потому что не принадлежала к кругу знакомства Ратомских. Собственно говоря, скорбь Володи по этому драматическому случаю давно уже рассеялась, и он очень охотно посмеялся бы над шутками Квятковского и пококетничал с пикантною Мутузовою, но — обидно было потерять заряд даром: никто еще не успел приметить его фатального лица. А он, когда примерял в своей комнате перед зеркалом этот грустный взгляд и слегка нахмуренную левую бровь («совсем как у Ленского в «Гамлете»!), так живо воображал, что все «сразу увидят», и станут подходить к нему, и будут с беспокойством спрашивать:

— Вы чем-то расстроены? Что с вами?

А он ответит:

— Нет, ничего... Веселитесь, не обращайте на меня внимания!.. Это глупо, что я не умею скрыть... Какое право я имею нарушать общее счастливое настроение своею похоронною

физиономией?.. Ха-ха-ха... «К черту траур, дайте мне мой горностаевый плащ!..»

И тут он насильственно засмеется и сделается будто весел, пойдет танцевать, будет острить, дурачиться... А гости будут переглядываться, качать головами и говорить между собою:

— Как истерически веселится Владимир Александрович!.. К добру ли это? Кажется, что-то нехорошо у него на сердце!..

И вдруг вместо всех этих романтических перспектив — ничего! Ну ровно ничего! Только Федос Бурст, — студент-техник, настолько застывший для всех московских обществ и кружков просто в Федосах, что никто, кажется, да и он сам, уже не помнил, как его зовут по батюшке, — здоровенный, краснощекий, быкообразный московский парнище из совершенно обруселых немцев, — так вот, только этот нелепый Федос Бурст, проходя мимо, хлопнул Володю своею толстою ладонью по затылку и сказал вскользь:

— Ты, поэт, что надулся как мышь на крупу? О Серафиме мечтаешь или пищеварение не в порядке?

Именно чьего-нибудь напоминания о Серафиме и жаждал бедный страдалец, но... каким тоном и в каких выражениях было оно сделано!.. Володя растерялся и проглотил свой приготовленный красивый ответ: немыслимо было говорить в поэтическом «штиле» с такою низменною натурою, как грубый Федоска Бурст!.. Володя его презирал. К тому же, если он ненавидел что на свете, так это — намеки на чувствительность своего желудка, лечением которого мамаша доезжала его с отроческих дней и по сие время. К довершению несчастия, Маргарита Георгиевна поймала-таки восклицание Бурста краем своего материнского уха и обеспокоилась.

— Володя, — позвала она из-за карточного стола, — ты сегодня принимал свои капли?

— Да, мама, — отвечал юноша, розовея, как мог беспечно, но внутри полный зубовного скрежета.

— То-то!.. С этими заботами, — рассуждала старуха с партнерами своими, Семеном Алексеевичем Кристальцевым и Валерианом Никитичем Арсеньевым, — с этими хлопотами, знаете, все важное, постоянно заведенное, просто из головы вон. А у мальчика совсем плохое здоровье.

— Трефоль надо пить, — басом заметил Кристальцев.

— Нет, Шервинский ему капли прописал.

Мутузова налила чашку жиденького чаю, капнула туда ложечку земляничного варенья и подвинула к Володе:

— Вот вам трефоль!.. — услышал он ее лукавый шепот.

После того юноше, конечно, только и осталось, что погрузиться в мрачные размышления, на сколько частей должен он разрезать ненавистное тело Федоски Бурста, чтобы вперед не «компрометировал», и сочинять мысленно стихи, которые он напишет сегодня ночью, когда останется один в своей комнатке:

На праздном пире он, страдающий, сидел,
И влить в него хотели яд лекарства...

Квятковский приспособился к своей кроткой приятельнице — к «unsere echte Jungfrau» — Соне Арсеньевой. Газеты тогда только что огласили американскую утку, будто Эдисон изобрел гальванопластический способ обращать человеческое тело в бронзовую, серебряную или золотую статую. Софья Валерьяновна Арсеньева вычитала о том в «Ниве», пришла в восторг и громко рассказывала.

— Ш-ш-ш-ш-ш... — зашипел на нее, махая руками, Квятковский. — Не распространяйте таких ужасных слухов, опасно...

— Ну Квятковский! Вечно с глупостями...

— Никаких глупостей. Вон я тоже читал, в Питере собираются ставить памятник Славы. Бронзовая-то Слава, я ду-

маю, влетит тысяч во сто. А я бы — просто: взял, пригласил этого американца... «How do you do, sir?»* — «И вас обратно!..» — «Не будете ли вы, достопочтеннейший янки, так любезны — выбронзить одну мою добрую знакомую?..» — «All right!..»** Затем мы с американцем мою добрую знакомую похищаем, в обычном ей сонном состоянии, и бронзируем в гальванопластической ванне... А затем моя добрая знакомая уже красуется на маковке памятника Славы — вот так...

Квятковский привскочил со стула и быстро изобразил танцующую на одной ноге Славу.

— Американца я, само собою разумеется, утопил в проруби, украв у него предварительно его секрет. Все считают меня величайшим скульптором в мире: какая красота! какая пропорциональность! Можно бы подумать, что живая, только вот что велика очень... Я хожу гоголем, ручки в брючки, а вы, Софья Валерьяновна, протестовать-то сверху и не можете...

— Ах, вы это про меня подводите... А я думала: к чему?.. — протянула Арсеньева, вызывая взрыв общего смеха.

Ее громадность поглощала ее красоту. Впечатление монумента убивало женщину. Превосходная пропорциональность ее тела обличалась только на некотором расстоянии. Вблизи же, около Сони Арсеньевой, мужчины больше улыбались, чем любовались.

— Однако и ручка у этой девицы!

— Отпустил же ей Господь Бог бюста!

— Сколько пошло материи на ее платье?

Довольно правильное, смугловатое, но не смуглое, здоровое лицо девушки освещалось великолепными карими глазами, кроткими и влажными, как у дикой козы. Яркий изящный рот, с сверкающими зубами, серьги с длинными жемчужинами в розовых ушах и темные длинные косы по

---

* Как поживаете, сэр? (*англ.*)

** Хорошо! (*англ.*)

светлому платью придали сегодня Соне Арсеньевой много красоты. Кузен Ратомских, Константин Владимирович Ратомский же, начинающий, но уже в гору идущий художник, смотрел-смотрел на нее издали, потом вынул из кармана книжечку-альбом и начал украдкою Соню зарисовывать.

— Эффектная какая! — сказал он Бурсту, следившему за его наброском.

Тот посмотрел, пожал плечами и презрительно поднял брови:

— Корова!

— Нет, не скажи! У нее есть сила в лице. Вот в этой черте возле губ... И в этой... и тут... Да и в глазах... Да и в скулах... вон какая крутая линия!.. Нет, она не без темперамента!..

— Ну где ей! рыба!.. За нею даже никто не ухаживает: скучно... Только краснеет... Ничего не понимает!

— Это значит: сама себя еще не открыла... от наивности! А темперамент, верь моему мудрому опыту, — у-у-ух какой!

— Уж вы, художники!

— Ты погоди: вот увидишь, эта девица еще удивит свое отечество... Недаром, — Арсеньева... Семья шалая!.. Вон он, — братец-то старший, демоном сидит...

— Да, вот разве что Арсеньева... А то таких только старички любят да таганские купцы...

IV

Безлунная теплая ночь тихо плыла над Царицыным. Молодые гости Ратомских — назло потемкам, хоть глаз коли, — разбрелись по довольно большому, одичалому и бесхозяйному саду при даче, оступаясь с дорожек в ро-

систую траву и безжалостно обтаптывая дерновые газоны цветника. Звенел смех. Золотились в черной пропасти ночи огненные звездочки сигар и папирос.

— Хорошо в жмурки играть, — кричала Лидия Мутузова, — и глаз завязывать не надо!

Бурст громко пел на мотив хора из «Рогнеды»:

Ночь темная,
Лошадь черная,
Еду, еду я
Да пощупываю
Тут ли она?

На горизонте то и дело взлетали змеями ракеты и бураки, цветными яблоками рассыпались римские свечи: десятки дачных Ольг тоже справляли именины. Где-то кричали «ура». От курзала, опоясанного лентою тусклой иллюминации, наплывали звуки оркестра, игравшего попурри из «Фауста». Уже скрипели, — пророчицы скорой осени, — большие травяные стрекозы, трещали колотушки ночных сторожей, и на ближней, — только овраг перейти, — церкви время от времени уныло тявкал разбитый колокол, возвещая о бдительности блюдущего храм калеки.

— Если бы я был оперным режиссером, — говорил Квятковский, влача на локте своем Лидию Мутузову, — я непременно именно такую темноту закатил бы в третий акт «Фауста». Это — пошлая традиция, чтобы при полной луне... «Луна, балкон, она и он...» И к тому же театральная луна всегда подло-зеленая... Нет, пусть будет темно, как в желудке негра, упавшего в колодезь.

— Фи, Квятковский! — запищала какая-то из барышень.

Он, не смущаясь, продолжал:

— Ночь дышит зноем и благоуханиями... Вы слышите аромат резеды и левкоев? Говорят: мещанские цветы... Но ведь и Маргарита была мещанка!.. В ее саду, конечно, цвели и резе-

да, и левкои... Но главное — чтобы темно. И из мрака звучит, как медная труба, голос Мефистофеля... вы слыхали Джамета?

Notte, stendi su lor l'ombra tua! *

И зловещая фигура его одна, как кровавое пятно на черной доске, озаряется внутренним пламенем... вот так!..

Сильно раздув папиросу, он на миг сверкнул пред барышнями огненною и действительно дьявольскою рожею.

— В такую черную ночь, — насмешливо возразила Мутузова, — Маргарита, пожалуй, не отличила бы Мефистофеля от Фауста, а Фауст Маргариту от Марты.

— Не клевещите на инстинкт! — возразил Квятковский с комическою печалью. — Увы и ах! — нет! Фаусты всегда остаются при красавицах Маргаритах, а хромым Мефистофелям — судьба всегда ковылять при Мартах...

Dura necessita, signora!
Dura necessita! **

— Боже, как вы фальшивите, Квятковский!

— Ничего: помрем, будем в раю, все на одинаковые гласы запоем... В том расчете я на сем свете и петь не учился. А что верно, то — верно. Доказательство налицо. В эту темную, обаятельную июльскую ночь, где они — наши прекрасные Маргариты? Ольга Александровна, сидя на ступеньках террасы, воркует с женихом. Евлалию Александровну осаждают наперебой Арнольдс и Брагин: вон как пыхают сигарами, там, у вишен, над оврагом. А мы с Антоном Валерьяновичем и толстомясым Федосом конвоируем вашу драгоценную особу.

— Уже Марта я у вас оказываюсь! — обидчиво вскрикнула Мутузова.

* Ночь, расстилающаяся над сенью твоей! (*фр.*)

** Суровая необходимость, синьора! // Суровая необходимость! (*ит.*)

Одна из сигарных звездочек отделилась от вишен над оврагом, куда только что показывал Квятковский, и быстро поплыла по направлению к матово сияющей за парусиною террасе. По белесому сквозь ночной мрак кителю и характерному тихому покашливанию можно было издали признать Арнольдса.

Квятковский выразительно посвистал:

— Одним Фаустом меньше... Нашего полку прибыло!.. Ну, брат: qui va à la chasse, perd sa place! *

Другая, оставшаяся под вишнями, звездочка громко и красиво декламировала звонким, сочным, молодым баритоном:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал,
И струится невинная кровь:
Верь, настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

— Это ваше? — послышался робкий и счастливый голос Евлалии.

— Нет, — коротко и с оттенком нетерпения отрекся баритон и продолжал:

Не в терновом венце, не под гнетом цепей,
Не с крестом на согбенных плечах, —
В мир придет она в силе и славе своей,
С ярким светочем счастья в руках...

— Это ваше. Я уверена, что ваше!.. — тепло и трепетно лепетала Евлалия. — Это так хорошо, что должно быть ваше!..

Баритон засмеялся.

* Кто место свое покидает, теряет его! (*фр.*)

— После вашего лестного восклицания даже грустно отказываться! Нет, Евлалия Александровна, не мое, но я желал бы написать такие стихи... Это некоего Надсона... из совсем начинающих... способный мальчишка! Стихи даже еще не напечатаны, кажется... Я в рукописи читал.

— Вы с ним знакомы?

— Да, встречал у Плещеева...

И не будет на свете ни слез, ни вражды,
Ни бескрестных могил, ни рабов,
Ни нужды, беспросветной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорных столбов.

— В самом деле хорошо! — сам прервал он свою декламацию. — Не Некрасов, конечно, но в своем роде что-то, стоящее Некрасова... Об этом Надсоне у нас начинают говорить. Он — надежда.

О мой друг! Не мечта этот светлый приход,
Не пустая надежда одна:
Оглянись, — зло вокруг чересчур уж гнетет,
Ночь вокруг чересчур уж темна...

А ведь и правда, что уж чересчур темна! — внезапно засмеялся он. — Слышите? И Бурст поет про то же самое...

— Ну что это, право, Георгий Николаевич, — жалобно заговорила, словно заплакала от досады, Евлалия Ратомская. — Как я не люблю... У вас это всегда: настроение перебить...

— Виноват, не буду, виноват... Что поделаете? Родился под смешливою звездою!.. Грешный человек: люблю диссонансы!.. Больше не буду, виноват! Слушайте конец.

Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой,
И поднимет к любви, к беззаветной любви
Очи, полные скорбной мольбой...

— Дивно!.. — звучным вздохом вырвалось у Евлалии.

— Да! Молодчина!.. А взглянуть: так себе, юнкерок... Талантлив! Очень талантлив!

— Скажите, Георгий Николаевич, — после довольно долгого молчания, в котором она старалась запомнить последние стихи, начала Евлалия, — в вашем литературном круге все и всегда так хорошо относятся друг к другу, как вы говорите о своих товарищах?

— О нет! Конечно, как во всяком муравейнике, много соперничества, зависти, ревности, интриг... Но я мало общаюсь... Притом: кому же я могу завидовать? Тургенев умирает. Толстой не пишет... Салтыков?.. Мы не соперники. У меня своя особая дорога...

Баритон литератора при этих словах исполнился самодовольствием и самолюбованием почти благоговейными.

— Впрочем, вот Надсону сейчас завидую, — благосклонно шутил и смеялся он. — Как он на вас подействовал!.. Я не знал, что вы так любите стихи, и жалею, что не пишу стихов. Мне хотелось бы, чтобы какое-нибудь мое слово запало в вашу душу с такою же силою... Ах, эти поэты! Платон желал изгнать их из своей «Республики» и был прав: музыка стиха — колдовство, они запевают сознание, как соловьи, и очаровывают женщин...

— И проза может быть как стихи, — робко заметила Евлалия. — Вот — тургеневские «Стихотворения в прозе»... Я две ночи читала... до света, напролет...

— Да, конечно! Старику удалось создать новый литературный genre*. Я в нем тоже иногда пишу, — снисходительно согласился Георгий Николаевич. — Безделушки!.. Не это решит жизнь, и не то сейчас нужно.

— Что же? — еще тише, вся превращенная во внимание, спрашивала Евлалия.

---

* Жанр (*фр.*).

Писатель помолчал, потом отчеканил внушительно, веско и серьезно:

— Нужно дело в слове, Евлалия Александровна. Печать должна вкопаться в правду жизни. Пусть раздаются только такие слова, которые сами по себе будут живым делом. Понимаете?

— А Салтыков? — осторожно заметила Евлалия. — Он разве не к живому делу всех нас зовет?

Писатель возразил с большим почтением, но тем же снисходительным тоном, как о Тургеневе:

— Великий отрицатель... Пора дать обществу положительные устои. Понимаете? Почва готова... Надо на ней строить. Ясно?

Евлалии ясно не было, но она стыдилась сознаться: Георгий Николаевич произнес свой суд так решительно и небрежно, словно провозглашал детскую, общеизвестную истину, что дважды два четыре, земля вращается вокруг солнца, магнит имеет способность притягивать железо.

— Я поняла...

Георгий Николаевич продолжал:

— Старики на это уже не способны. Они слишком художники. Их заел «хороший вкус». Я не поклонник писаревщины: это веяние уже отошло в вечность вместе с лохматыми семинаристами в синих очках и стрижеными девицами правоверного нигилизма. Но и художество слова спело свою песню. Будущее не за ним. Из стариков, кто поумнее, сами сознают свое бессилие и слагают оружие. Гончаров замолк после «Обрыва». Тургенев провалился с «Новью» и с испуга начал лепетать, как впавший в детство... какие-то мифы, побасенки, легенды!.. Островский исписался до жалости. О графе Льве Толстом я знаю наверное, что он бросил перо, отказался от художественного творчества навсегда... Он учится по-гречески, чтобы читать Евангелие в оригинале, и целуется с какими-то сектантами... Да!

Сумерки богов! Но так и должно быть, потому что не боги теперь нужны.

— Но все их так любили... и я вот! — возразила смущенная Евлалия. — Я просто не знаю... Я так привыкла вам верить, и, конечно, вы такой знаток во всем этом... Но, если они уйдут, право, Георгий Николаевич, станет ужасно пусто!..

— Где! В душе или в России? — засмеялся писатель. — Не беспокойтесь! Свято место пусто не бывает.

— Боги уйдут, а кто им на смену?

— Люди! — сказал Георгий Николаевич, и в тоне его голоса, до сих пор слегка недовольном, послышались сильные, горделивые ноты. — Люди широкой искренности, сознающие самих себя, не имеющие идолов и не желающие быть идолами.

— Как? как вы сказали? — внезапно раздался у самой скамьи ленивый густой голос Антона Арсеньева.

Георгий Николаевич вздрогнул, а Евлалия даже слегка вскрикнула от неожиданности.

— Фу, как вы незаметно подобрались!.. — с досадою сказал писатель. — У вас волчий шаг... Можно ли так пугать?

— Виноват, Евлалия Александровна, — деланно тянул Арсеньев, качаясь перед ними над тростью, как длинное, узкое, черное привидение. — Как вы сказали, — повторите пожалуйста, monsieur Брагин? — Меня заинтересовало... Будущее принадлежит людям без идеалов и негодным в идеалы?

— Ничего подобного! — с тою же досадою возразил Георгий Николаевич. — Я говорил об идолах, а не об идеалах.

— А! Это, разумеется, не одно и то же! — промычал Арсеньев, странно засмеялся и зашагал дальше.

— Он испугал вас? — мягко, с нежным беспокойством спрашивал Брагин Евлалию: когда она вскрикнула, ее рука

нечаянно инстинктивно очутилась в его руке, и он, сам весь всколыхнувшись, не замечал, что продолжает удерживать эту мягкую, нервную ручку в своих ладонях. — Оригинальный господин!.. Я слышу, как бьется ваше бедное сердце.

Евлалия сообразила наконец, что ее рука все еще остается в руке литератора, сильно покраснела в темноте — и отодвинулась от своего собеседника.

— Я его вообще боюсь.

— За что? Он, кажется, не из опасных? Правда, строит из себя какую-то демоническую фигуру. Это смешно. Это осталось в прошлом десятилетии.

— Нет, мне все равно, — пусть бы строил себе, что ему угодно!.. Я не напускного в нем боюсь, а в нем настоящее есть... страшное!..

— Вот как! — опять слегка недовольным тоном воскликнул Брагин. — Не подозревал... Так он у вас, оказывается, в некотором роде таинственный незнакомец?! В наш век эти господа бывают двух категорий: или заговорщик, или червонный валет... Он из которой?

— Ему отличиться хочется, — разъяснила свою мысль Евлалия, — понимаете? — чтобы не быть, как все... Это в нем кипит, гложет его. А изумить мир нечем.

— Я слыхал, напротив, что он замечательно даровит.

— Да, но все — как-то наполовину. Дилетант. А он по гениальности тоскует. Когда я была в последний раз у его сестры, Сони, он показывал мне свои настольные книги, сочинения какого-то итальянца, очень толстая и с ужасными рисунками... точно ад!.. В них, он говорит, доказано, что гений и сумасшедший — две стороны одной медали, и преступление — изнанка таланта.

— Ага! Ломброзо! — с одобрением отозвался Брагин. — Теперь это страшно в моде! Наш Дриль апостольствует о том же в России... Что же? Вы опасаетесь, что мрачный госпо-

дин, разочаровавшись в своей гениальности, захочет перевернуть медаль и вместо талантов блеснет безумием?

— Ему отличиться хочется, — твердила Евлалия. — Вот увидите: он убьет кого-нибудь, чтобы отличиться... или себя убьет как-нибудь особенно, чтобы даже и хоронить его не стали!.. Он нелепый, я его боюсь...

— О нет, он жалок... — с презрительным снисхождением возразил писатель и, помолчав, прибавил:

— Алкивиад, не имеющий собаки, чтобы отрубить ей хвост.

Евлалия сразу развеселилась и залилась звонким, серебряным смехом.

— Ах, это метко!.. Право, вы один умеете находить такие сравнения... коротко, полно и прямо в цель!..

— Ремесло! — скромно улыбнулся Брагин. — А желание отличиться, то есть выделиться из толпы, — заговорил он с мягкою, покровительственною серьезностью, — совсем не так дурно, как вы думаете. Оно пугает вас вообще во всех людях или только в этом господине? Так называемые непризнанные гении, — конечно, фигуры весьма печальные и тяжелый народ, но стремиться к гению... что же тут ненормального? Я первый сам хотел бы... да! Я очень хотел бы «отличиться», как это вы называете...

— Вы и Антон Арсеньев!.. — восторженно воскликнула Евлалия.

Брагин скромно поклонился ей в темноте...

— Что вам искать как отличиться? — с искренним волнением говорила девушка. — Вы Богом отличены!.. Вы великий талант, может быть, гений!.. Вам ли сравнивать себя с Антоном Арсеньевым?!

Брагин смеялся ласковым смехом человека, чересчур польщенного, но — уж так и быть! — сдающегося верить похвалам...

— Так решил обо мне мой маленький друг, Евлалия Александровна Ратомская, — нежно и весело возразил он. — А еще кто?

Длинная фигура Антона Арсеньева опять выросла черною коломенскою верстою.

— А знаете? — промямлил он, — я обдумал: и так, и этак выходит очень хорошо... И без идолов, и без идеалов!.. Превосходно! Вы находчивы. Мне нравится...

Брагин привскочил на скамье почти в бешенстве.

— Антон Валерьянович! — вскричал он, — так нельзя... Вы во второй раз подходите как тень и пугаете неожиданностью... У всех есть нервы!

— Да, у всех... — любезно подтвердил Антон.

— Присаживайтесь к нам, — предложил Георгий Николаевич, — и будем беседовать... А то — что же так странно: из мрака ночного в тьму кромешную? Точно с призраком... Тут, кстати, и старое кладбище недалеко...

— Садитесь, Антон Валерьянович, — предложила и Евлалия.

Но он продолжал качаться над тростью и мямлил, посмеиваясь своим горьким, нехорошим смехом:

— Нет, благодарю вас... Георгий Николаевич будет говорить, вы — слушать... а я причем?

— Говорите вы, я буду слушать, — принужденно пошутил Брагин.

— Мужчины друг друга слушать не охотники, — небрежно, вскользь заметил Арсеньев. — Я лучше пойду, приглашу к вам которую-нибудь из дам... тогда получатся два оратора и две слушательницы. Это вас устраивает?

— Сделайте одолжение!.. — пробормотал несколько озадаченный Брагин.

— В самом деле, — почему все нас позабыли? — скрепя сердце, вторила Евлалия. — Приведите к нам Лиду Мутузову, Любу Кристальцеву или старшую Бараницыну...

— У-гу!.. — пробурчал Арсеньев, проваливаясь в ночной мрак.

— Большой чудак! Нет, Евлалия Александровна, он просто большой чудак!.. — расхохотался Брагин.

— Кривляется, — с отвращением сказала Евлалия. — И он зол за что-то.

— Может быть, извините меня... — ласково начал Георгий Николаевич, — может быть, маленькая ревность?

— По какому праву?

Голос Евлалии прозвучал резко и надменно: все Ратомские, очень мягкие обычно в жизни, умели, если серьезно задеть их самолюбие, мгновенно делаться гордыми и неприступными, как боги.

«Ого! — подумал Георгий Николаевич: такую интонацию он слышал от Евлалии в первый раз. — Однако ты с ногтем!..»

И продолжал вслух:

— Печальный шут помешал мне развить свою мысль и выбил меня из настроения. Боюсь, что теперь я уже рассеялся и не смогу ввести вас в мою систему с тою же легкостью... Мы стоим за широчайшую свободу личности; человек, как когда-то сказал Пушкин о поэте, должен быть «сам свой высший суд», — вот вкратце и весь наш символ веры.

— Вы, — это значит: либеральная партия? — благоговейно спросила Евлалия.

Брагин промолчал.

— Разве вы не либерал? — переспросила сконфуженная Евлалия.

Брагин тихонько засмеялся и все молчал.

— Но, Георгий Николаевич, как же это? — совсем уже расстроенным голосом говорила сбитая с толку девушка. — Вы пишете в таких журналах... Мне Любочка сегодня говорила, что вас даже Михайловский хвалит... У вас такие знакомые... сам Салтыков...

— О! — поспешно сказал Брагин, — с этой точки зрения, — конечно: я считаюсь в либеральном лагере... и очень горжусь

честью, право!.. Но — между нами будь сказано: лагерь, партия... претят... эти кодексы!.. Таланту в них тесно!.. Знаете ли, я диссидент по натуре: чрезмерное правоверие меня бесит и вызывает на протест!.. так и подмывает восстать против всех скрижалей и заповедей!

— Но как же без скрижалей? — изумлялась Евлалия, очень взволнованная; она не ожидала таких откровений. — Ведь заповеди — это принципы?

— Ах! — почти сердито откликнулся Брагин: он в темноте морщился и даже рукою отмахивался. — Вот слово, которым в России злоупотребляют, как маслом в кашу: вали больше, авось не испортишь!.. Принципы, дорогая Евлалия Александровна, растут вместе с культурою и проявляются человеком вовсе не потому, что он примет на себя кличку либерала или консерватора, а потому, что если он культурен, они живут в его уме и сердце, почти как прирожденные идеи, и, как подсказывают ему ум и сердце, так и должен он направлять свою деятельность... Да!.. Искренность мысли, искренность слова, искренность дела!.. Никакого лицемерия!.. Никаких оков на мысль!.. Поверьте мне: пред вами один из самых свободомыслящих людей в России, — я слыву красным, стою на дурном счету у правительства... Но — вообразите себе невообразимое: в лагере Каткова случайно или по ошибке поддерживают какую-либо согласную с моими взглядами меру. Неужели мне не воспользоваться, пренебречь этою поддержкою только потому, что она — из лагеря Каткова, а имя Каткова зачеркнуто для либералов кодексом партии густо-нагусто и самыми красными чернилами?!

— Арнольдс не воспользовался бы... — медленно произнесла Евлалия.

— Арнольдс?! — с презрительным сожалением возразил Брагин. — Вот — тип узкого, правоверного либерала!.. На что самостоятельное он годится? Где его личность? где свобода?

Он шага не делает, не справясь в скрижалях: согласно ли, мол, шагаю с великими принципами шестидесятых годов? Люди без своего мнения... Впрочем, либеральные офицеры — всегда самые узкие в партии... Это у них от привычки к дисциплине... На службе он вытягивается перед генералом, а в царстве идей перед Михайловским там, Салтыковым... Служивое «рад стараться»!.. Люди в шорах, без полета фантазии!..

— Тургенев никогда не был офицером, — сказала Евлалия, — однако на пушкинском обеде он не принял тоста Каткова.

— Романтизм!.. — вскользь бросил Брагин. — Вы слушайте: я развиваю свою мысль. Шестидесятые годы — прекрасная историческая эпоха, дорогая Евлалия Александровна, но ведь у нас сейчас стоят уже восьмидесятые, — двадцать лет разницы... И неужели мы ни на шаг не ушли вперед, ни на йоту не поумнели после этой эры? Я снимаю шляпу пред заслугами шестидесятников, с почтением и любопытством изучаю их политический и нравственный кодекс, но — моя личная свобода, мое «я» — мое внутреннее великое «я», то есть от себя выработанное убеждение, — дороже мне всех кодексов в мире!.. Так что — не зовите меня либералом! Я сотрудничаю в либеральных органах и дружу с либеральными группами, но я не считаю себя либералом... нет, нет, я слишком индивидуалист!

— Разве существует такая партия? — удивилась Евлалия. — Я не знала. Я думала, что только консерваторы и либералы...

Брагин засмеялся совсем уже снисходительно.

— Уж не знаю, существует ли такая *партия*, — упер он на последнее слово. — Но знаю, что я принадлежу только к ней. Георгий Николаевич Брагин, индивидуалист, брагинской фракции... Ага!.. Вот и наш угрюмый гидальго, и с ним действительно кто-то из дам...

— Только одна, — вежливо отозвался Арсеньев. — Остальные, которых вы, Евлалия Александровна, приглашали, собираются танцевать, не пошли...

— Да... это Алиса Ивановна!.. — воскликнула сконфуженная Евлалия, вглядываясь в ночь.

— Mais oui, mon enfant! C'est moi, — послышался старушечий, похожий на крик галки, голос гувернантки. — Au nom du ciel! Que faites vous donc là dans les ténèbres? Toute la société s'amuse... on danse, on chante, on cause!.. Vous avez mal choisi votre temps pour une leçon de philosophie, ma petite! *

Антон Арсеньев вежливо безмолвствовал.

«Каков? Гувернантку привел! — с сердитым недоумением соображал про себя Брагин, осторожно выступая темным садом. — Однако барышня-то права: выходишь ты и впрямь подлец преядовитый...»

А m-me Фавар, увлекая Евлалию вперед, трубила ей в ухо сердитым шепотом:

— Mais vous êtes folle, ma chère! Vous, vous compromettez. Que dira ce brigand italien d'Антон et le monde entier?! **

V

— Какой ужин, матушка Маргарита Георгиевна! Бог с вами! Люди скоро завтракать встанут. Вы посмотрите: белый восток!.. Дотанцевалась молодежь!

— Нет, это вы, старички, в карты доигрались! — засмеялась в глаза Арсеньеву-отцу Ольга Ратомская, целуя мимоходом полусонную мать.

— Да уж кто бы ни виноват... Борис! Софья! Молодая гвардия! собирайтесь домой... живо!..

---

* Конечно, мое дитя! Это я... Боже мой! Что вы делаете во тьме? Все общество забавляется... Танцуют, поют, беседуют!.. Вы плохое выбрали время для уроков философии, милая моя! (*фр.*)

** Да вы с ума сошли, моя дорогая! Вы, вы компрометируете себя. Кто скажет этому итальянскому разбойнику Антону и всему миру?! (*фр.*)

— Так мы их и отпустили! так и отпустили! — весело пела Ольга.

— Вам хорошо беситься, а мне утром — ступай в Москву, суди-ряди дела человеческие!..

— Так и отпустили! Так и отпустили!

— Если надо утром в Москву, то не стоит и спать ложиться, Валерьян Никитич! — фамильярно крикнул с террасы Квятковский.

Старик посмотрел на него суровым взглядом, очень комическим с его широкого, дряблого, по-бабьи добродушного, безвольного лица.

— Вот они как разговаривают, нынешние: не ложись! — велят... А если я в председательском резюме смешаю обвинение с защитою? Хорошо будет? А?

— Что вы на нынешних? За что? — польстил Квятковский. — А как, бывало, сами в Дерпте шалили? Там до сих пор живут легенды... Об Языкове забыли, о Соллогубе забыли, а ваше превосходительство памятуют!..

— А вы были в Дерпте? — ласково спросил сразу смягченный старик.

— Да, меня и оттуда выгнали... — отвечал многообещающий молодой человек.

Валериан Никитич ушел, но Соню и Бориса Ратомские отстояли. Ужин хозяйка сбыла с рук быстро: и самой усталой Маргарите Георгиевне, и прислуге, сбившейся с ног за трудный день, хотелось поскорее отделаться от утомительных гостей. Но молодежь, бессонная и возбужденная, совсем не намеревалась разойтись так рано.

— Мама, да идите вы спать! — уговаривала втихомолку Ольга, — что вы мучите себя, в самом деле? Никто нас не похитит. И наконец здесь Алиса Ивановна...

— Посмотри ты на Алису Ивановну! полюбуйся! — с добрым негодованием возражала смирная старуха.

Бедная француженка, присев в зале на соломенное дачное кресло, спала глубоким сном к великому восторгу Федоса Бурста, внимательно наблюдавшего через окно, как она кивает длинным, галочьим носом.

— Хорош сторож твоя Алиса Ивановна! Совсем замотали старуху. Разве можно так мучить пожилого человека? Ей тоже пора в постель!

— Мама, да на что нам стража какая-то? Честное слово, не убежим!

— Знаю, что не убежите! А что скажут люди?

— Какая вы! Кристальцевы оставили же Любочку, а сами ушли домой.

— Разве что... — сдавалась старуха: ее смертельно тянуло спать.

Дать же юным гостям понять, что не грех бы и по домам, она жалела. «Что же в самом деле? Надо веселиться: один раз молоды!.. И не каждый год сговоры справлять будем! Олечкин праздник!..»

Незаметно скрывшись, Маргарита Георгиевна все-таки вызвала к себе Евлалию.

— Ты следи, пожалуйста, чтобы Володя не пил больше вина... ни одной капли!

— Хорошо, мама. Да он и без того не пьет. Ох, мама! Совсем у вас на лице глазок не стало...

— Смейся, смейся над старухою!.. Я, дружок, и без глазок все вижу... Отчего Федор Евгениевич сегодня не в духе?

Евлалия вспыхнула.

— Я не заметила.

Мать подавила страшный зевок и погрозила пальцем.

— Ты весь вечер Брагину в рот смотрела!.. Красно говорит!

— Ах, мама!

— Ну хорошо, хорошо... Завтра!.. То есть сегодня... Господи!.. совсем сплю...

Евлалия побежала к молодежи, а Маргарита Георгиевна хотела было разбудить m-me Фавар, удившую носом рыбу уже до самых колен и не без присвиста, — сказать ей, чтобы и она шла к себе наверх, на покой, — но эгоистические соображения матери семейства превозмогли.

«Пусть уже посидит, бедняжка, — размышляла Ратомская, поднимаясь по лесенке в свою спальню. — Все-таки приличнее... Хоть и спит старуха, но как будто барышни и не одни с молодыми людьми... Мои — ничего, Любочка — ничего, Соня, хотя придурковата, тоже ничего, но вот Лидия: эта — яд!.. А Брагин все говорит! — прислушалась она. — Даст же Бог человеку такой дар!.. Язык — чисто железный! Как он им себе зубы не выколотит?»

Брагин, действительно, разговорился хорошо, пламенно, ярко. Из сада он пришел немножко облитый холодною водою и потому надутый. К тому же он не танцевал и скучал смотреть, как танцуют другие. Но за ужином он опять оживился, поймав ухом интересный спор между своею соседкою, Лидией Мутузовой, и ее vis-à-vis *, Федосом Бурстом...

Уничтоживши несколько рюмок водки и бутылку красного вина, но ничуть не подвыпивший, только повеселевший и красный, техник Бурст привязался к Лидии Мутузовой с попреками, зачем она затевает идти на сцену.

— Вы образованная, у вас мозги есть, — неужели не найдете ничего лучшего, как трепать хвост о кулисы?

— Как вы изящно выражаетесь, Бурст!

— Виноват, Fräulein: мы ведь с Немецкой улицы... не взыщите: кузнецы! И притом — словами нежными не украсить суть постыдную!

— Служить искусству, по-вашему, постыдно?

— Да какое, к черту, теперь искусство на сцене? Разве может интеллигентная девушка поставить себе целью жиз-

* Визави: тот, кто находится напротив (*фр.*).

ни — играть Виктора Крылова? Ведь это все равно, что в потолок плевать, либо, как наши таганские купчихи от скуки забавляются, палец вокруг пальца вертят: «Капустку рубить, огурчики солить, капустку рубить, огурчики солить...»

— Как будто один Виктор Крылов?

— Один! Никому больше нет хода! Поганая петербургская Александринка развратила всю Россию!.. Живого слова не слышно со сцены! Островского — в шею из театра! Помелом! «Светлый-то луч в темном царстве»! А? «Сорванцы» торжествуют, «Чудовища»! Инженюшки! Эка, восторг какой и польза необыкновенная: в инженюшку жизнь уложить! Вон у вас сестрица старшая, Клавдинька, дружок мой неоцененный: когда война началась, она в Фратештский госпиталь сестрою милосердия уехала, — это я понимаю и уважаю... А вы — эвона куда метите: в «Сорванцы»!

— А я в «Сорванцы»! — сердито дразнила Бурста озлившаяся Мутузова.

— Стоило учиться!

— Без образования нельзя больше быть актрисою!

Бурст оглушительно захохотал.

— Это — чтобы «Сорванцов»-то играть? Нутряным смехом гоготать да на стол с разбега вскакивать? Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Еще бы! Золотая медаль нужна! С серебряною, смотрите, такой премудрости не осилите!!!

— Фу, Бурст, какой вы узкий и несносно грубый!

— Кузнец-с! Ежели желаете жантильностей, не говорите с кузнецом... у кузнеца язык — молот!

— И все вы ломаетесь и напускаете на себя. Сам — первый театрал в училище!.. После бенефиса Ермоловой неделю говорить не мог: сорвал горло, вызывая!

Бурст посмотрел важно и серьезно.

— Ер-мо-ло-ва!.. — укоризненно произнес он, торжественно поднимая палец, — Марья Николаевна!

— Ну, конечно! Еще бы! Фетиш! Кумир! Божество и благоговение!

— Да-с! точно так-с! именно-с!.. — кланялся техник. — И божество, и благоговение!

— И благоговейте!

— И благоговеем!

— Да ведь Ермолова-то — актриса?

— Нет-с, не актриса!

— Здравствуйте!

— Хоть и прощайте!

— На сцене играет — и не актриса?

— Да — как играет? что играет?! Ермолова — великая русская женская душа... да-с! Общественная идея воплощенная... да-с! Трагическая муза, а не актриса!..

— Верно! Молодчина Бурст! — сорвавшимся криком молодого петуха взвизгнул Борис Арсеньев. — И про светлый луч в темном царстве — это ты тоже благородно. Уважаю!

— Вот так они всегда, студенты! Когда в «Овечьем источнике» она перед народом... а? помните?.. а? Она там внизу, на сцене, хмурится да стихи свои читает... А мы в райке уже не ревем — стонем, навзрыд воем!.. Да! Плачут люди! Друг друга обнимают!.. Ага? Настоящее-то слово услыхали?! Барышни платками машут, мы пледы пораспустили... Из театра шли — вплоть до самой Немецкой улицы «Утес» пели, городовые только дорогу давай! Да-с! Вот это впечатление, это театр!.. Пьесу с репертуара дирекция при полных сборах сняла... понимаете? А вы о ней... актриса!

— Но ведь...

— Нет, вы погодите! «На пороге к делу»! А? Когда она в сельскую школу входит? Да — черти меня загрызи! Я сам готов все бросить и в село учителем пойти! Потому что вижу перед собой живой общественный идеал, и сейчас у меня глаза чешутся, и рука лезет в карман за платком.

— Что же? И я буду Лонину играть! — перебила Мутузова. — Я эту роль даже готовлю понемножку...

— Вы? Не можете!

— Почему вы знаете мои средства? Вы не видали меня на сцене.

— Не можете Лонину играть!

— Это странно, как вы голословно...

— Не можете. Вам кто-нибудь брильянтовые серьги поднесет, — вы Лонину в брильянтовых серьгах и махнете.

Тут-то и вмешался Брагин. Вежливый, веский, авторитетный, он, заступаясь за Лидию, мягко расчертил искусство, как некую географическую карту, на несколько областей, и каждой отдал, ей же честь — честь, ей же дань — дань. Одобрил энтузиазм Бурста, похвалил Ермолову, но указал, что идеологи-реалисты спели свою песенку, как и романтики: художественная правда человеческих документов побеждает самую красивую идейную тенденцию. Осудил «Сорванцов» и «Чудовищ», но слегка посмеялся над суровыми пуританами, признающими только дидактическое искусство, театр-школу, театр-храм, отметающими творчество субъективной жизнерадостности, наслаждение существованием как самочувствием, — без вторых, хотя бы и высших, целей, — an und für sich *. А между тем искусство так беспредельно широко, разнообразно, и всем жрецам своим, по каким бы тропам ни шли они к цели, — только бы искренно! только бы вполне искренно! — оно улыбается одинаково приветным и радостным лицом...

Квятковский наклонился к Антону Арсеньеву и шепнул:

— Начинаю подозревать, что святое искусство — вроде купчихи у Писемского.

Тот, злой и бледный, безмолвный во весь ужин, — окинул остряка скучным взглядом:

---

* Как таковых, безотносительно (*нем.*).

— Какой купчихи?

— А которая любила мужа — по закону, офицера — для чувств и кучера — для удовольствия.

Антон посмотрел на играющую цветными огнями граненую пробку графина, словно посоветовался с нею, и язвительно засмеялся.

— Вы вслух скажите.

— Сказал бы, если бы не барышни... что невинность конфузить?..

— А жаль! Ловко... Я даже выпью за ваше здоровье. Чокнемся.

— Чем это вы?

Квятковский опасливо поглядел на стакан соседа и на бутылку, из которой он наполнялся.

— Разоряю хозяйку под шумок на финь шампань... Т-сс, не подымайте бровей к небесам, а то обратите внимание, и я сконфужусь...

— Я, батюшка, этак не могу... мадерою чокнусь. Это — надо сперва вылудить глотку, пищевод и желудок. А не разберет вас с коньяку-то, яко грешника?

— Я пьянею только, когда хочу.

— То-то я смотрю, что у вас в лице ни кровинки... Н-да-а!.. этакое — оно оттянет!

А Брагин гремел, как распевшийся и уже запевающийся соловей. Он расстался с искусством и перескочил на женский вопрос. Он отдавал справедливость женщинам-подвижницам, самостоятельно пробивающим дорогу к свободе своего пола, он благоговел перед женщиною-деятельницею, врачом, учительницею, сестрою милосердия, общественною и политическою проповедницею... Но — господа! дайте же и отдохнуть женскому поколению после долгих годов напряженной энергии. Не сердитесь на женщин, если они не всегда идут в упряжке социально-утилитарных идей и время от времени снимают с себя тяжелую сбрую! Женщина — чело-

век, — и человек, лучший нас, мужчин! — ничто человеческое ей не чуждо. И ей жизнь на радость дана, и она имеет законное нравственное право взять свою радость в той области, куда ее манят симпатии! Все искреннее прекрасно, — и прекрасно только искреннее! Прекрасен искренний женский подвиг. Прекрасна искренняя женская страсть. Величественно искреннее женское страдание. Увлекательно искреннее женское веселье. Будем искренни. Все искренние порывы — родня между собою. Один порыв рождает другой. Один порыв переходит в другой. О! не слишком нападайте на красивых, милых, порывистых «Сорванцов»! Из «Сорванцов» иногда вырастают княгини Трубецкие и Волконские. Поверьте, что дивные наши «Русские женщины» не стояли всю жизнь бронзовыми статуями в классических позах политического протеста! И Волконская имела живую, шаловливую юность, и она умела там — в Крыму с Пушкиным — резвиться как настоящий «Сорванец». Все существующее разумно, а у нас хотят все — и дух, и материю — вогнать в формы по расписанию и сердятся, что жизнь шире программ и не хочет вмещаться в формальные мундиры... Дайте жить! Дайте человеку чувствовать себя хозяином себя самого! Откройте простор индивидуальности!.. У нас даже святейшее и самое таинственное из субъективных чувств — любовь — стараются на разные лады всунуть в общие объективные рамки! Старики носятся с пушкинскою Татьяною и Лизою Тургенева, шестидесятники требуют: «Люби не меня, но идею», — мистическая формула долга, материалистическая формула половой свободы... Все — рамочки, клеточки, доказательства, построения!.. Подумаешь, любовь — силлогизм или математическая теорема!.. А любовь — вот: чтобы вся жизнь сразу пламенем вспыхнула... горела, сколько сможет... а там — погасла... и это — смерть!

Арнольдс — словно кто ножом в бок ударил: он узнал слова, сказанные ему Евлалией на озере.

«Так вот оно откуда... А-а-а-а-а!»

И загоревшимися негодованием глазами он впился в изящную головку младшей Ратомской. Но Евлалия лишь на одно мгновение испуганно покосилась на него, быстро и горячо разрумяненная волнением — каким? от стыда или страстного, не в пору нарушенного внимания? — и опять приковалась восторженными глазами к лицу оратора. Впрочем, Брагин заговорил и увлек всех женщин. Мутузова тихо, радостно смеялась, беззвучно аплодируя концами пальцев. У Любочки Кристальцевой глаза расширились, как у святой Цецилии, внемлющей небесные хоры. Даже монументальная Соня Арсеньева встрепенулась и, когда нравилось ей какое-нибудь ловкое словцо, она с любопытством и добродушием водила глазами по застольной компании, ласково улыбаясь всем, на ком останавливала взгляд. Володя Ратомский, влюбленный, захваченный пламенем эффектных фраз, тянулся туловищем и длинною шеею через стол, чтобы не проронить словечка. Борис сидел очень прямо, скрестив руки на груди, внимательно нахмурясь и полуоткрыв рот; в кротких глазах его, чрезвычайно сосредоточенных и серьезных, мерцало какое-то особое, почтительное недоумение. Ему и нравилось, и не нравилось то, что говорил Георгий Николаевич. Одна мысль казалась ему высоко справедливою, соседняя глубоко ложною: оратор то взносил его на светлую гору, то ронял в болото. Те же самые впечатления переживали, кажется, и все мужчины, — за исключением Каролеева, который, в позор своему жениховству, мирно дремал, откинувшись на спинку стула, да налитого коньяком Антона Арсеньева, который стал уже бел, как бумага, а мрачные глаза его расширились чуть не в медные пятаки. На всех лицах написано было много почтительного интереса и еще больше желания возражать. Но писательский авторитет Брагина давил: языки прилипали к гортани. Безусловно был доволен только беспечальный художник Константин Ратомский.

В жизни ра-ай,
Выбирай
Каждый деву младую!.. —

мурлыкал он себе в усы студенческую песенку, приглядываясь и соображая.

«А хорошо бы их всех запомнить, зарисовать, как они сейчас, не растерять из памяти... Картинка с пятнами и настроением... Брагин, кажется, совсем забыл, что он не на трибуне перед народным собранием: вон — даже встал, рука вперед, лицо разгорелось, гривою трясет... С него хорошо писать: лепкое лицо, нервное... римлянин времен упадка!.. А странно: я до сих пор не замечал, что Арнольдс такой топорный бурбон... и усы у него сегодня почему-то вниз — двумя палками, и глаза жесткие, холодные... «Рад стараться...» солдатские глаза!..»

— Дмитрий Николаевич!.. — раздался вдруг, среди речи Брагина, металлический отчетливый голос Антона Арсеньева.

Все глаза обратились на него с недовольным удивлением.

— Дмитрий Николаевич!

— Вы... ко мне? — отозвался неприятно изумленный и спутанный в течении мыслей Брагин: его поразили бледность Арсеньева и нота вызова в его голосе.

— К вам, Дмитрий Николаевич... Объясните вы мне...

— Он, кажется, того... — с испугом шепнула Мутузова Бурсту.

Брагин шутливо, но не совсем весело развел руками.

— За что же я у вас в Дмитрии попал? Георгием крестили.

Арсеньев посмотрел на него длинно-длинно... потом ударил себя ладонью по лбу и захохотал.

— А ведь и правда: Георгий!.. Извините, Бога ради!.. Георгий Николаевич!.. Ге-ор-гий!.. Но почему же я вас Дмит-

рием?.. Дмитрий Николаевич?.. Кто у нас знакомый Дмитрий Николаевич? Соня? Ты не помнишь? Борис?

Бурст встал и пошел искать шапку.

— Ну, если почтенное общество начинает забывать календарь, это верный признак, что пора вспомнить о собаках короля Дагобера... Нет такой компании, которая не расходилась бы!

Но Антон прервал его все тем же смехом.

— Батюшка мой! Эк меня куда дернуло!.. Вспомнил! Ха-ха-ха! Литературный реминиссанс... Ха-ха-ха! Ведь это у Тургенева Рудин — Дмитрий Николаевич... Рудина Дмитрием Николаевичем звали!..

— А вот и солнышко, господа! — весело и громко крикнул вперебой его словам Константин Ратомский, выразительно подмигнув Квятковскому. — Имею честь поздравить: дождались! Евлалия Александровна! Ольга Александровна! Смотрите: вы разбогатели, — у вас брильянтовые пробки на графинах, аметистовые солонки, а фруктовая ваза — опал самого великолепного огня...

Все задвигали стульями, начали прощаться.

— Вы что всполошились? — принимая из рук Квятковского свой цилиндр, говорил Антон Арсеньев голосом совершенно трезвым и с трезвою улыбкою. — Я же предупреждал вас, что бываю пьян только, когда хочу.

Квятковский отвечал:

— Да вот это-то именно мне и показалось, что вы хотите.

Арсеньев отвернулся от него, отдал общий глубокий поклон группе барышень, принятый весьма сухо, и, спустившись в сад, пошел твердыми, широкими шагами худых и длинных ног догонять белевший впереди китель Арнольдса.

— Федор Евгениевич! А Федор Евгениевич!.. — не то насмешливо, не то как больной, забормотал он, поравнявшись с офицером.

— Ну-с? — сурово откликнулся тот на ходу.

— Ну зачем — «ну-с»? Что такое — «ну-с»? Вы лучше поглядите мне в глаза!

— Не надеюсь увидеть ничего хорошего.

— Это вы правы, что нечего... Ну а в секунданты вы меня все-таки пригласите?

— Что?

Арнольдс круто повернулся к Антону и стал — руки в бедра. Глаза офицера загорелись нешуточным гневом. Антон выдержал взгляд нагло и беспечно.

— Да ничего, Федор Евгениевич. Бог с вами! Что вы так на меня? Просто прошу вас, как порядочный человек порядочного человека, — по случаю моего глубочайшего к вам уважения: если вы будете драться с кем-нибудь на дуэли, пригласите меня секундантом.

— Благодарю. Не предвижу-с... — буркнул Арнольдс.

Антон назойливо шагал рядом.

— Федор Евгениевич! А ведь слопана? — лукаво начал он.

— Как-с?

— Так-с: ам! — и где ты еси, человек?! Хороша Маша, да не наша!..

Арнольдс молчал. Арсеньев сбоку видел, что он сжал кулаки, и скулы его, выпятившись, залоснились зловещими бликами.

— Да-а-а... — вздохнул Арсеньев. — Сладко пел душа-соловушка!.. Не язык, а гусли! Любовь, говорит... вспыхнет, говорит... погаснет... смерть... весьма ве-ли-ко-леп-но!..

— Пьяный и сумасшедший человек! — проворчал Арнольдс, едва сдерживаясь, почти про себя.

Но Антон услыхал и подхватил даже как-то радостно:

— А вы трезвы и... и... и... величественны! Mes compliments! *

---

* Мои поздравления! (*фр.*)

Они уже были за околицею дачи.

— Так не будет дуэли?

Арнольдс, не отвечая, ускорил шаг.

— Прекрасно! Это с вашей стороны... доб-ро-душ-но и прекрасно! Одобряю! — послал ему вслед Антон. — Доказываете, что вы любите русскую ли-те-ра-ту-ру и не желаете быть Дан-те-сом...

Но, когда он остался один, лицо его выразило бессмысленное, почти физическое страдание. Оглянувшись, он увидал приближающихся Бориса, Соню, Бурста и Квятковского и свернул на дорогу в парк, чтобы не идти вместе.

— Конечно, он талант! — восклицал и кипятился Борис, заглядывая в лицо Квятковскому встревоженными глазами. — Может быть, даже гений... я допускаю! И ум, и образование... Но направление? Какого же он в конце концов направления?

— Не вертись под ногами... Уже два раза на мозоль наступил!..

— Нет, ты скажи, какого он направления?

— Направления он, братец мой, возвышенного: в гору идет.

— Ни красный, ни белый!

— Ну, стало быть, бледно-розовый с крапинами. Глазки и лапки! Лапки и глазки! — как у дамы, приятной во всех отношениях...

Брагин вышел за калитку под руку с художником Ратомским, который еще с вечера пригласил его ночевать — до скорого теперь поезда в Москву. Евлалия распахнула окно в своей комнатке и долго, — пока не скрыла их на повороте зелень парка, — смотрела им вслед...

VI

Володя Ратомский и Виктор Арагвин играли на биллиарде. Виктор брал все партии. После каждой он морщил лоб

и, скосив глаза на кончики своих рыжих усов, говорил с презрительной досадой:

— Нет, Владимир Александрович! Что же так играть? Я вдесятеро сильнее вас; вам надо еще практиковаться мазиком. Вам мало и тридцати очков вперед.

Однако сверх пятнадцати, условленных в начале игры, не прибавлял ничего. Володя был в проигрыше на двадцать рублей, но не огорчался; ему, только что окончившему курс гимназисту, еще лишь накануне вступления в университет, было приятно сознавать, что вот он — взрослый: играет в ресторане с офицером, тратит свои карманные деньги, как и на что ему угодно, и никому не обязан спросом и отчетом. Он бы и еще играл с удовольствием, но Виктор решительно положил кий.

— Баста!

Арагвин ни на биллиарде, ни в карты никогда не играл иначе как наверняка, но не грабил своих пижонов дотла, а брал с них лишь столько, сколько ему в данную минуту на жизнь требовалось. Этою своеобразною добросовестностью Виктор немало гордился, и ей он был обязан тем, что товарищи и партнеры не считали его шулером, ни даже профессиональным игроком, хотя, кроме игры, он, сын захудалой, разоренной, долгами живущей семьи, не имел никаких средств к существованию. Теперь Виктору надо было — платить завтра за охотничьи сапоги, заказанные Гринблату. Он прикинул в уме, что достаточно выигранных двадцати рублей, ухмыльнулся довольно и отпустил Володину душу на покаяние.

Арагвин и Ратомский были знакомы недели три. Арагвин очень нравился Володе: поношенным, изжелта-бледным лицом, надменными, голубыми глазами навыкате, продымленными рыжими усами, отрывистою речью с примесью крепких словечек, он напоминал юноше бретера Долохова из «Войны и мира».

— Куда же мы теперь? — спросил Арагвин, зевая, — на этих дурацких подмосковных дачах можно умереть от ску-

ки. Четыре часа: до обеда еще много времени. Купаться разве пойти? а?

— Вода холодна... дожди были... — осторожно заметил Ратомский: он вообще боялся воды, но не хотел признаться в том откровенно, остерегаясь, как водится в влюбленных юношеских дружбах, разойтись хоть в чем-либо с своим взрослым приятелем.

— Вздор!.. Девчонка вы, что ли?.. «Ай, маменька, зябко!..» Мы возьмем простыни и по биноклю, — у вас есть? А то я вас папенькиным снабжу... И — айда! Сами выкупаемся и баб наблюдать будем: они, шельмы, в двадцати саженях от нас полощутся... Аппетитные попадаются... Хо-хо-хо!.. И тут, знаете, и тут... Чего же вы краснеете?

— Я, Виктор Владимирович, я... — с долгою запинкою пробормотал Володя, не поднимая глаз на Виктора, — я должен признаться... конечно, это странно... но я не любитель...

Он ужасно боялся, как бы Виктор не засмеялся.

— Ну не доросли, значит, — вяло заметил Арагвин. — Впрочем, теперь, пожалуй, купается мамаша с сестрами... неловко, действительно. Увидят, — не оберешься потом ругани на целую неделю! В особенности если Юлия... У нее там бок кривой или еще что-то... ну и ненавидит, чтобы подсматривали... Фа-а-альшивая девка!.. — комментировал семейные тайны откровенный братец. — Вот Серафимка не такая. Той за себя опасаться нет резону. Вся начистоту!

Володя сделался пунцов, как кумачный фартук.

— Я бы попросил вас к себе... — нерешительно начал он, чтобы перебить разговор.

Арагвин засмеялся.

— А что скажет на сие ваша почтенная родительница? Ведь я для нее, надо полагать, антихрист, зверь апокалипсический! Тут, в Царицыне, есть одна маменька, Сергушина-купчиха. Так она против меня молебны у Пантелеймона служит, — о победе и одолении... право! «Спаси, — молит-

ся, — святой угодниче, моего ангела Коленьку от беды, гнева и нужды, наипаче же от поручика Арагвина!..» А этот ее ангел Коленька хлопает в одиночку бутылку коньяку и меня же нагрел на сто рублей в штосс!.. Ха-ха-ха!.. Однако идем.

Виктор лихо вскинул на голову фуражку, круто повернулся на каблуках и вышел из биллиардной.

Приятели долго поднимались в гору к старому Царицыну, сперва по прудовой плотине, шоссейной дорогой, обсаженной ветхими, дуплистыми ракитами, потом пустым зеленым полем мимо седых развалин Екатеринина дворца, потом грязною, глинистою улицею между палисадниками тесно построенных дач.

— Зайдете? — предложил Виктор, отворяя калитку в один более других тенистый и обширный садик.

— Мне, собственно говоря, домой пора к обеду, — заторопился Володя.

— Вот еще! У нас пообедаете. Серафима рада будет, — заключил Виктор и, смеясь, протолкнул юношу в калитку.

Мать Арагвина, Аделаида Александровна, — эффектная, полная и далеко еще не старая, даже не пожилая на вид дама, молодо и хорошо одетая, — встретила молодых людей, красиво склоненная над цветочною клумбою.

— Вот наконец и ты, — обратилась она к Виктору, — здравствуйте, monsieur Вольдемар. А я все с цветами... все с моими цветами!.. Вы нас совсем забыли... Виктор, распорядись обедом! Мы только тебя ждали. У нас Квятковский и Рутинцев.

Виктор, посвистывая, ушел внутрь дома.

— Садитесь, monsieur Вольдемар, — продолжала Арагвина, опускаясь на садовую скамью и указывая Володе место возле себя. — Что нового-хорошего?

Володя, путаясь и краснея, начал рассказывать что-то по-французски, дурным гимназическим языком, с типическими

руссицизмами, за которые десять лет подряд делала ему жестокие, но бесплодные сцены Алиса Ивановна Фавар. Ему всегда бывало немножко неловко под взглядами г-жи Арагвиной: уж очень она была великолепна и вальяжна! — но она всякий раз, как приходил Володя, все-таки ухитрялась остаться с ним наедине и садилась к нему так близко, что у него голова кружилась от аромата косметиков. Володя рассказывал новости, но, чувствуя на своем лице тяжелый томный взгляд черноглазой дамы, смутно догадывался, что она его почти не слушает. А Аделаида Александровна, храня мечтательное выражение лица, аппетитно думала о своем юном собеседнике мыслями женщины бывалой и, в оценке мужчин, первоклассного знатока: «И красота, и наивность, и восторженность... И говорит очень мило... И голос какой прелестный... Ах ты, хорошенький мальчишка! Если бы ты знал, как мне нравишься...»

Обедали на террасе. Хозяин дома, Владимир Агапитович Арагвин, полковник в отставке, высокий, молодцеватый господин, с седыми усами, в белом кителе без погонов, крепко сжал руку Володи и значительно сказал, вместо приветствия:

— А папа-то болен!

— Что-с? — переспросил изумленный юноша.

— Болен папа, говорю. Совсем, пишут, плох старик. Интересно мне, как отзовется эта потеря в католическом мире... Прошу вас! — спохватился он, подводя Володю к закуске. — Английской горькой?

— Я не пью, полковник.

— А-а-а?! Ну, стало быть, еще молода, в Саксонии не была... Господа кавалеры! Прошу! Виктор! Ты что зеваешь? Опрокидывай!

И, проглотив рюмку водки, повторил с куском белорыбицы во рту и со взором, вперенным в лицо Володи, как острая шпага:

— Да, очень интересно мне, каково-то отзовется эта потеря в католическом мире!

Обед у Арагвиных был прескверный, но из пяти блюд; тарелки надтреснутые и обитые с краев, но ножи и вилки с гербовыми серебряными черенками, хотя почему-то не с хозяйскими инициалами; винных бутылок на столе было наставлено много, и в двух, поближе к полковнику, винцо нашлось хоть куда, но когда Володя ошибся и налил свой стакан из третьей, оказалась бессарабская кислятина по рублю четвертная бутыль. Житье на фу-фу, безалаберная цыганщина, ярко сквозившая во всем быте Арагвиных, сказывалась и здесь. Недаром Квятковский говорил о них, что они валансьен посконью штопают. Володя сидел за столом между Виктором и старшею сестрою его, Серафимой. Он был влюблен в эту девушку. Насупротив сидела младшая сестра, Юлия, очень похожая на мать. Серафима родилась в отца. По крайней мере, так принято было говорить в этом доме, хотя Квятковский, состоявший при семье Арагвиных на положении, как он выражался, «анфана готе» *, всякий раз, что слышал, будто «Серафима в отца», обязательно спрашивал Аделаиду Александровну:

— В которого?

Та не обижалась, а полковник не слыхал или хорошо делал вид, будто не слышит.

Поклонники прозвали Серафиму «розоперстою Эос», а сестра в весьма частых домашних ссорах ругала ее — «длинноносою жердью». И эти клички, обе вместе, отлично определяли наружность Серафимы: кроме пышно взбитых в виде золотистого сияния, вьющихся волос и хорошего цвета лица, у нее не было ничего особенно красивого, а кроме чрезмерно высокого роста, некоторой костлявости и длинного носа — ничего дурного.

Квятковский, по обыкновению, занимал общество, говоря без умолку и куда вольнее распуская язык, чем у Ратомских. Между прочим, рассказал, как он продал в собственность крупной книгопродавческой фирмы сочинения своего

* Баловень (*фр.* enfant gate).

покойного отца за полторы тысячи рублей, тогда как за них и пятнадцать тысяч взять было — себя ограбить.

— Напились мы с Шмерцем, лицеистом, и поехали... барышни! изобразите невинность, — заткните ушки пальчиками: имею говорить неприличности!.. поехали к Альфонсинке. Там опять пойло!.. Я зеркало расшиб. Альфонсинка визжит: «Черт ли вас принес? Трюмо четыреста рублей стоит! Вы мне заплатите, а то протокол!..» Я рад платить, но — ах, черт съешь ее душу; ведь уже седьмой день хороводились!.. — у меня в одном кармане — по-татарски: йок, а в другом — по-русски: нет ничего! Шмерц предлагает: «Я научу тебя, как иметь деньги. Продай Битерольфу отцовы сочинения. Он мне троюродный дядя и говорил, что охотно купит. Прикажи: я его сейчас же к тебе привезу...» — «Валяй!..» А я уже совсем намокший, и комната мне представляется нирваною, и я пою: «Чертог твой вижду, Спасе мой!..» А это у меня уже последняя зарубка... дальше — капут кранкен!.. * Прихал Битерольф... Низкопоклонная этакая каналья!.. Стул мне подвигает... Я хотел сесть с джентльменской грацией, да мимо стула — на пол... Шлепнулся, сижу и говорю: «Мерси вам!..» Встал, все-таки помню, что сесть мне надо, и так уже хорош, что из-под него, из-под немца стул себе тяну... А он, каторжный, хоть бы бровью моргнул, только мотает на ус, какого олуха Бог послал к его профиту. Так пьяный и продал. Пятьсот рублей, однако, для большого куража выторговал. Да — черт ли? Я после узнал, что Шмерц предатель сорвал с этого Битерольфа две тысячи куртажных! Он, оказывается, целый месяц ходил вокруг меня сводчиком, затем и подбивал пить мертвую чашею. За полторы тысячи! Недурно? А? А ведь наживет десятки тысяч. Это уж как кому дано — на обухе рожь молотить!*)

---

* Умер, больной!.. (*нем.*)

*) Эпизод этот исторически верен. Именно таким нелепым образом было продано право собственности на сочинения одного из старейших корифеев русского исторического романа. Издатель до сих пор продает их тысячами экземпляров, а наследник умер в Ташкенте или Самарканде босяком, под забором.

Слушали, ахали, ужасались. Полковник обругал немцев скотами и колбасою, заявив, что нам, русским, давным-давно пора занять Берлин и повыгнать оттуда всех пруссаков, за исключением Бисмарка, которого надо посадить в помощники Каткову, потому что умнейшая голова и нужнейший человек, — пусть редактирует «Берлинские ведомости». Виктор с глазами, разгоревшимися на пятнадцать тысяч, выразил двусмысленное мнение, что плохого князя и телята лижут, а дураков и в алтаре бьют.

— Впрочем, — утешился Квятковский, — и то сказать: чего в наше время стоит эта рухлядь? Я об отцовских идеях, то есть... Ведь это Белинский моего тятеньку выдумал, а на самом деле — грош ему цена!.. одна эстетика!.. Писарев его раскатал — уморушка!.. Ребята малые, конечно, еще долго будут читать его с наслаждением... Но — для взрослых? Какой интерес может тятенька представлять нашему брату? Мы читаем Золя, Доде, вот Мопассан у них там во Франции какой-то появился... забористо, собака, изображает!.. Бурже...

— Ах какой вы злой, однако! — протестовала Арагвина, — как вам не стыдно?.. На сочинениях вашего батюшки воспиталось наше поколение, а вы... Нет, это вы ради красного словца!.. Молодые люди всегда любят нападать на людей прошлого века, особенно если родня... Нет пророка в своем отечестве. Я память вашего батюшки прямо обожаю... Я на нем воспитывалась!

— Да неужели? — захохотал Квятковский, окинув ее грузную фигуру наглейшим взглядом. — Бедный батька! Нелегко ему приходилось!..

Полковник, Виктор и Рутинцев дружно загрохотали, очень довольные. Аделаида Александровна покраснела и хотела обидеться, но тот же невозмутимо-наглый взгляд Квятковского сдержал ее в узде: он таки имел власть в этом доме.

— С вами невозможно говорить!.. — насильственно засмеялась она и махнула на Квятковского салфеткою. — Вы такой дрянной... Каждое слово выворачиваете наизнанку!..

И резко перевела разговор, обратившись к Володе:

— А я виновата: не спросила вас о здоровье вашей мамы?

— Благодарю вас. Мама здорова.

— Слава Богу. Еще бы ей теперь хворать! У вас столько радости. Воображаю, как счастлива ваша мама. Мы, к сожалению, все еще не знакомы, но я ее уже издали очень люблю: такая симпатичная, такого хорошего тона старушка...

Володе всегда делалось неловко, когда у Арагвиных говорили о его домашних. Он понимал, что Арагвиным очень хочется познакомиться с его матерью и сестрами семейно, и сам душою желал бы ввести их в свой дом, но, с другой стороны, знал, что знакомству этому не бывать и устраивать его не следует. Ратомские — строгая дворянская семья, состоятельная, благовоспитанная, с высокими нравственными требованиями, никогда не знавшая необходимости в компромиссах совести с житейскими обстоятельствами, — разумеется, была не в пару арагвинской богеме, с ее подозрительно покинувшим военную службу и чуть ли немножко не подсудимым отцом, с старою кокеткою-матерью, с игроком Виктором и с засидевшимися в девках дочерьми. Володя помнил, что Маргарита Георгиевна очень неблагосклонно смотрит на его гостеванье у Арагвиных, что бывает он у них едва ли не контрабандою, и потому невольно терялся под ласковыми взглядами, которые кидала на него... нет, правильнее сказать: которыми обтекала его величественная Аделаида Александровна. К счастью, Квятковский видел и понимал его смущение и, хитро подмигнув, выручил: круто отвлек внимание Арагвиной к себе, начав рассказывать какую-то дачную сплетню. А полковник, ксторому больной папа и за обедом не давал покоя, втянул Володю в свой политический спор с Рутинцевым, белобрысым, упитанным малым, странно

смешавшим в своей особе и последние остатки весьма еще недавнего ребячества, и первые начала будущей бюрократической важности. Рутинцев старался глядеть канцелярским Юпитером, но стоило ему забыться, — и казалось, что вот-вот этот розовый младенец назло своим шелковым бакенбардам и солидному рединготу пойдет играть в серсо или прыгать через веревочку. Полковник горячился, фыркал, брызгал слюной, стучал ножом по столу и поминутно привлекал к ответственности Володю:

— Так ли я говорю, молодой человек?

Юноша неизменно отвечал:

— Да... конечно... Я с вами совершенно согласен...

Он ровно ничего не понимал в споре. Но, во-первых, догадался, что словом «да» легче отделаться, чем словом «нет». На «да» никогда никто, ищущий поддержки, не возражает: «почему?» — а на «нет» — каждый и всегда. Во-вторых, оппонент полковника был антипатичен Володе. Юношу злило, что Рутинцев совсем уж не столько много старше его, а «задает тон» и смотрит на него так безразлично, словно его и нет на стуле. Володя не знал, что Рутинцев все — и этот безразличный взгляд на человека, как в пустое пространство, и свою небрежную позу, и манеру отрывисто произносить слова в нос, — копировал с своего богатого, влиятельного дядюшки, к которому под начальство поступит он, расставшись с лицеем. Дядюшка, в свою очередь, чуть ли не двадцать лет жизни убил на то, чтобы превратиться в точную копию одного прославленного своим истуканским величием дипломата. А этот последний, по отзывам стариков-очевидцев, весьма недурно имитировал в свое время манеры Наполеона Третьего. В сущности же, все они, начиная с дипломата и кончая Рутинцевым, были ребята очень добрые, покладистые, легкомысленные и отнюдь не гордые. Откуда следует, что не так страшен черт, как его малюют!

После весьма гнилого и потому никому не нужного десерта дамы удалились с террасы, а мужчины остались с кофе и коньяком. Полковник мгновенно упразднил политику и ударился в клубничку, по части которой оказался виртуозом сверхъестественным. Вранье и действительность, правда и анекдоты, скверные стихи и еще гнуснейшая проза перемешались зловонною кашею. Полковник и Квятковский старались, как на приз, превзойти друг друга, кто соврет пакостнее. Рутинцев хохотал, отплевываясь, когда изобретательность почтенных конкурентов заходила уж слишком далеко. Виктор молчаливо ухмылялся или выражал одобрение короткими казарменными словечками, от которых столбы террасы краснели и цветы мгновенно увядали в саду. Володе стало гадко: он не любил нехороших речей о женщинах. Возрастая с детства в женской среде, между матерью и старшими сестрами, — отца он мало помнил, — он выучился глубокому уважению к женщине и считал всех женщин какими-то особенными, для молитв и поклонения созданными существами. Он незаметно вышел из-за стола и пробрался в калитку палисадника, намереваясь уйти домой. Но его окликнула и тотчас же нагнала на улице Серафима.

— Я иду в парк... хотите со мною? — предложила она.

VII

— Вы, Владимир Александрович, зачем хотели от нас убежать? — хмуро начала «розоперстая Эос», плавно шествуя по широкой готической арке, переброшенной через глубокий овраг — бывший залив с каждым годом все более высыхающего озера, сплошь заросший по дну аиром и осокою. — Разве хорошо бегать от добрых людей? зачем?

— Я... я не хотел... я просто так...

— Впрочем, я понимаю вас! — перебила Серафима, бросая на юношу грустный взгляд, — я догадываюсь: вам противно стало в их обществе?

Володя чуть было не сказал: да! — но спохватился, что в этом противном обществе были отец и брат Серафимы, и поспешил воскликнуть с великодушным лицемерием:

— Помилуйте, Серафима Владимировна! Как это возможно?

— Не оправдывайтесь, пожалуйста! Позвольте мне думать о вас так!.. Да!.. Так — хорошо... чисто!.. Однако это удивительно! Двадцать второй год, и так еще молод и благороден душою! Вы редкость в наш век, m-r Вольдемар!

Володя, несказанно благодарный Серафиме за три лишние года, любезно подаренные его зеленой юности, не без удовольствия почувствовал себя редкостью века. Через вторую арку, над проезжею дорогою, обставленную башенками, похожими на шахматные фигуры, они вошли в парк и очутились на «кругу», на огромном сквере, скорее даже на лугу, перед Екатерининским дворцом. Исполнив царицынскую дачную присягу, то есть обогнув «круг» раза два или три, молодые люди присели на скамью в шатровом уголке под старым деревом, которое слывет у дачников Петровым дубом, хотя оно, во-первых, не только Петра, но и Екатерину-то вряд ли помнит, а во-вторых, — даже и не дуб, потому что — липа. Но таково уже обычное положение, тоже, так сказать, присяга всех подмосковных и петербургских дачных местечек: без Петрова дуба они не стоят.

— Скажите, monsieur Вольдемар, — начала Серафима, — вы любите своих... мать и сестер?

— Очень.

— Какой вы счастливый!

Грустный вздох, сопровождавший восклицание Серафимы, смутил Ратомского.

— Почему вас удивляет? — спросил он не без робости, — мне кажется любить своих — это так обыкновенно... вполне естественно...

— Обыкновенно? Да? Вы думаете? Ах, m-r Вольдемар! Дай Бог вам подольше остаться с такими... невинными убеждениями...

— Но разве... вы...

— Я не-на-ви-жу своих! Да! Не смотрите на меня как на чудовище: не-на-ви-жу! Слышите ли вы? И поверьте, имею право! Ах, если бы вы знали, какое ужасное несчастье вечно видеть вокруг себя людей, которые тебе противны, с которыми тебя ничто... ну решительно ничто, ни даже вот такая маленькая ниточка не связывает!.. и никогда не свяжет!.. Папа — ему была бы газета, да английская горькая, да грязный разговор!.. Мама до сорока пяти лет разыгрывает роль победительницы сердец и кокетничает с молодежью... и с вами тоже! да! да! пожалуйста, не притворяйтесь! я заметила!.. И это у нас всегда так! Вы думаете: это вы, лично вот вы, ей нравитесь? О нет, мы не из тех!.. Будь она способна на страсть, на увлечение, я поняла бы и извинила... Это, конечно, грех и очень нехорошо в матери семейства, но вы знаете: Анна Каренина... и потом женщины Бальзака... Но этого нет, ничего нет: она — холодная как лед, никого не любит, кроме себя самой, и любить не в состоянии. Но мы, видите ли, стариться не желаем, в нас кипит самолюбие бывшей красавицы, — и вот все, кто бывает в доме, должны лежать у наших ног!.. А уж в особенности, если ей покажется, будто обращают внимание на нас с сестрою... на меня!.. Этого мама не выносит. Она *соперничает*, — насмешливо подчеркнула последнее слово Серафима, — со мною, как девчонка, как пансионерка!.. Вот — мы друзья с вами, и ей уже завидно!.. Она уже воображает, что между нами есть что-то нечистое!.. она ревнует... ей нужно уже «отбить»!.. Фу, какая пошлость! какое глупое слово!

Возмущенная, она нервно ковыряла зонтиком сырой песок на дорожке. Володя был изумлен, поражен, встревожен, негодовал и сострадал всею душою, хотя, должно сознаться: мысль, что его ревнуют и отбивают, пощекотала его где-то в глубине душонки не без приятности.

— О брате я не говорю, — продолжала Серафима, — я его почти не знаю... Сперва был заперт в корпусе, теперь он у нас — тоже метеор: если не на службе, то в биллиардной... Добрый малый, конечно... рыцарь, говорят... но опять — что же общего?! — общего-то что, Владимир Александрович?! Я вся духовными интересами киплю, а он может только о рыжей к-к-к-к... скаковой лошади, — поправилась розоперстая Эос с такою быстротою, что Володе в ухо не стукнула ее сорвавшаяся было обмолвка. — С сестрою Юлией мы чужие, чужие, чужие... более чужими быть уже нельзя!.. Ах, иногда мне страшно смотреть на эту девушку: она — образец душевной пустоты и живая угроза мне, — вот, смотри, во что можешь ты здесь обратиться!.. Вся-то ушла в тряпки, вся-то увязла в сплетни... С горничными интимничает... лентами в талии меряется с ними... о женихах шушукается... цинизм!.. вульгарность!.. Только об одном и мечтает: поскорее замуж!.. Меня она ненавидит, зовет «умницей», «читательницей», «царевной-недотрогой»... Вот какие слова считаются у нас в доме обидными, Владимир Александрович!.. Умными нам, барышням, быть не полагается... это, по-нашему, смешно, почти неприлично!.. Кто у нас бывает? Этот наглый и пьяный шут Квятковский, глупый теленок Рутинцев, — еще десяток таких же хлыщей, тупых, однообразных и... развратных! Они приезжают к нам с какого-нибудь пьяного завтрака, снова напиваются у нас за обедом и, отравив нас своими гадкими разговорами, с спокойной совестью едут дальше на какой-нибудь пьяный ужин. Как смотрят они на меня, на сестру, на мамашу! Каким тоном к нам обращаются!.. О!.. Одного взгляда Квятковского достаточно, чтобы я покраснела... столько в этом человеке темного, нечистого...

— Но, Серафима Владимировна, — пролепетал Володя, оглушенный, увлеченный до глубины души своей, тронутый порывистым потоком неожиданных признаний, — надеюсь, вы не думаете, что я...

Она взглянула на него влажными очами — с упреком, с упоением, с обожанием, с доверием, — так, что у мальчика даже спина похолодела от упований и восторга.

— Вы?! О вас дурно думать?! Вы!.. Да ведь вы — единственный порядочный человек, которого я вижу!.. Вы — оазис в пустыне моей жизни!.. Вы!.. Monsieur Вольдемар! Я моложе вас, но говорят, что девушка в восемнадцать лет богаче опытом чувства и старше сердцем, чем даже двадцатисемилетний мужчина, а вам всего двадцать один год... Следовательно, я много старше вас. О-о-о, какая я старая!.. А что я вам друг, такой же друг, что другого лучше меня вы уже не будете иметь в жизни, — это я вам докажу... да!.. сейчас же!..

И, пристально и важно глядя в глаза потрясенного юноши, Серафима Арагвина произнесла веским и трагическим контральто:

— Оставьте нас, не бывайте у нас!

— Серафима Владимировна!

— Да!.. Откажитесь от знакомства с нашим домом!.. Оставьте тину быть тиною!.. Себе вы принесете огромную пользу, — к вам, по крайней мере, ничего не пристанет от нашей гнилой, пошлой среды, и вы надолго еще можете сохранить себя тем же хорошим, чистым... милым, как теперь!..

— Серафима Владимировна!

— И мне будет лучше. Я обречена... я — жертва, подавленная судьбой... Вы читали «Иветту» Мопассана? Вот — мой портрет... Я Иветта, Владимир Александрович, я бедная Иветта! Я охотно умерла бы, но смерть не берет, а самоубийство...

— Боже мой! Как можно?! Что вы говорите? Вам ли умирать? — окончательно растревожился и распечалился Воло-

дя. — Нет! нет! выкиньте из головы эти мрачные мысли!.. Живите! Живите! Пожалуйста! ради Бога!..

— Зачем? — мрачно улыбнулась Серафима. — Для кого?

— Для всех, кто вас любит и ценит... Для... для меня, наконец...

— Да вот разве что для вас... — слабо и утомленно согласилась барышня. — Вы, может быть, и пожалеете, если я убью себя... Да нет... — и она трагически тряхнула золотыми кудрями, — где мне?! про-бо-ва-ла!.. не могу!.. натура коротка!!!

В ее контральтовой декламации уже послышались даже басовые, завывающие ноты. Володя взирал на будущую самоубийцу в священном ужасе и обожал ее в эту минуту, как гебр — огни, из земли исходящие...

А Серафима, переходя из драмы в элегию, ворковала:

— Мне остается одна надежда: забыться, отупеть, утонуть с закрытыми глазами в том болоте, где барахтаются все наши, — мне тоже нет ни выхода, ни спасения!.. Ну и пусть бы!.. Я согласна... я примирилась!.. А тут вдруг вы приходите!.. Является человек, как должны быть порядочные люди... напоминает, что за стенами твоего грязного острога жизнь кипит и зовет тебя — жизнь! светлая, деятельная, разумная, честная!.. Ах, Владимир Александрович! Владимир Александрович!

Как ни робок и ни неопытен был Владимир Александрович, но понял это открытое приглашение объясниться в любви. Язык его прилип к гортани, и уста иссохли... Сказать: «Я люблю вас», — стало труднее, чем поднять всю тягу земную, а сказать все-таки очень уж — сердце кипело — как хотелось! Конфуз и увлечение поборолись между собою малую толику — даже до испарины, но, как водится, увлечение победило: роковые слова были произнесены. Серафима ахнула, пискнула, и — в старых романах про такие минуты писывали: «Море блаженства охватило обоих влюбленных».

Когда Володя вынырнул из моря блаженства настолько, чтобы понимать, что он говорит, думает и делает, он стоял на коленях, немилосердно пачкая свои светлые панталоны на сыром песке и весьма огорчая своею позою черного жучка, придавленного стремительным коленопреклонением. Жучок пошевелил щупальцами и умер.

— Встань! — шептала Серафима, — неосторожный!.. Нас могли видеть...

Володя забормотал о своей готовности быть рыцарем Серафимы во все дни живота своего, и пусть хоть целый свет приходит и смотрит, как он, Владимир Ратомский, стоит на коленях! Никого не боюсь! Затем заявил непременное намерение вырвать свою красавицу из среды, не подходящей ее уму и прелестям, быть вечным ее заступником и другом... Еще мгновение, и под шатром Петрова дуба прозвучало бы формальное предложение руки и сердца, потому что в уме Володи уже зазвенели красивые стихи:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...

Но, должно быть, мамаша Володи хорошо помолилась за своего сына. Бедная Маргарита Георгиевна! Если бы она провидела в эту минуту, какой удивительный спектакль разыгрывается в парке при благосклонном участии ее любимца! По материнским молитвам и вопреки театральным обычаям, на этот раз судьба стояла за жестоких родителей и против союза любящих сердец. Серафима внезапно сняла с головы Володиной руку, которою мечтательно ласкала его золотые кудри, и сказала с изменившимся, злым лицом:

— Квятковский идет...

Интересный наследник великого человека действительно блуждал в отдалении вдоль развалин дворца, не без любопытства заглядывая в его обломанные, полуобвалившиеся

двери и читая на косяках надписи, оставленные досужими посетителями...

— Уйди... ради Бога, уйди!.. — шептала Серафима Володе, — он сейчас подойдет к нам... начнутся пошлости... грязь!.. Я не хочу, чтобы после нашего чудного объяснения... Милый!.. Уйди!..

И, получив быстрый поцелуй, Володя очутился, сам не зная, как это он успел так скоро, за недалекою купою жимолости как раз в то время, когда раздался голос подходящего Квятковского:

— А! Одинокая Мальвина! А куда же юркнул ваш трубадур?

Володя с удовольствием вернулся бы намять Квятковскому бока за трубадура, но — просьба Серафимы была священна: он ушел в глубь парка. В сладком угаре бродил он под зелеными сводами аллеи, ни о чем определенно не думая: так уж очень было хорошо! Над прудом, под ивами, ему захотелось плакать; потом он ни с того ни с сего затянул арию из «Аиды»; а по аллее к Миловиде, — сперва убедившись, что свидетелей нет, — Володя даже проскакал на одной ножке...

«Жаль, — подумал он, — жаль, что нет у меня друга, с кем бы поделиться своим счастьем!.. Борис? Да нет: Борис не поймет!.. Он социалист, а это выше... романтическое!.. Он сейчас что-нибудь о классовой борьбе, о женском вопросе... А тут хорошо бы, чтобы панцирь... и копье!.. и сто красавиц светлооких!.. и на щите девиз: «Honorem meum nemini dabo!» *

Так бродил он, мечтал и безумствовал добрый час, пока наконец не потянуло его домой, к письменному столу: в голове назрело стихотворение к Серафиме, — как казалось Володе, — совсем во вкусе и ничуть не хуже «Лирического интермеццо» Гейне, его любимого поэта.

* «Чести своей никому не уступлю!» (*лат.*)

Завидев издали знакомую скамью под Петровым дубом, Володя пристановился за кустами в большом конфузе и изумлении: Серафима и Квятковский все еще были там и спорили не слишком громкими, но возбужденными голосами, глядя друг на друга ужасно злыми глазами. Серафима раскраснелась. Квятковский был зелен, как гимназист, выкуривший первую папиросу. Володя, скрытый от них кустами, хотел было подойти, но одно слово Серафимы заставило его застыть на месте: он ясно слышал, как его идеальная возлюбленная сказала Квятковскому «ты».

— Прекрасно, душенька! Ловко, очень ловко ведешь ты свои дела! — грубо говорил Квятковский. — Le roi est mort, vive le roi!.. * Меня в бессрочный отпуск, трубадура — к отбыванию амурной повинности...

— Тебе-то что? — со злостью перебила Серафима, — откуда этот пыл?.. Туда же — ревновать вздумал... С которого времени?

— Ревновать? Тебя? Симка! Ты возмечтала и начинаешь забываться... Победа над трубадуром отравила тебя пагубным самомнением... Брось: совсем не идет рассудительной девственнице!.. Тебя ревновать!.. Пхе!

— Так зачем же эта сцена?

— А затем, что мне жаль!

— Кого это?

— Мальчика этого, Ратомского, вот кого!

— Скажите!

— Да, жаль! Мне — что?! Если ты мне дашь отставку, я только ручкою «мерси» сделаю; рублей двести в месяц останутся в кармане. Конфеты каждый день да подарунки разные тебе возить — оно, друг мой, кусается! Да и взаймы вы все слишком часто просите: третьего дня — маменька, вчера — папенька, сегодня — ты, завтра — Виктор... Даже

* Король умер, да здравствует король!.. (*фр.*)

Юлька — кривобокая и та клянчить выучена... черт знает что такое! Свинство, собственно говоря.

— Как это вежливо! Как это порядочно! Вам жаль?

— Жаль. Я бумажек сам не делаю, государственных, кредитных придерживаюсь, а они — вещь, кельк шоз...* Да!.. И мальчишку запутать я тебе не позволю. Он мне нравится. Да! Он не нам чета. Еще не пропащий. В нем Божья искра теплится. Настоящий юноша, не старик восемнадцати лет! Энтузиаст, сердцем мягкий, застенчивый, поганых мыслей не имеет, не дурак — читать любит, стихи, говорят, пишет хорошие, убеждения у него очень порядочные... Из него может хороший человек выйти.

— Дальше что?

— А то, что уймись! Нечего тебе смущать парнишку! Тебе сантиментальные беседы трын-трава: по шаблону, из романов жаришь, — язык болтает, голова не знает; а ему это жутко придется. Я Ратомских знаю. Хорошая семья, с душою! Тебе туда незачем лезть... Если же я тебе вовсе осточертел и наскучил, ты займись Рутинцевым: сам помогу! Мне таких телят не жаль, хоть и жени его на себе, пожалуй! А Ратомскому до свадьбы еще нужно молоко обсушить на губах, вырасти и поучиться лет десять. Да и тогда ему не такая жена будет нужна.

— Какая же, позволь узнать? Интересно слышать идеал...

— Во-первых, молодая. Тебе сколько годков? Мне двадцать шестой, а ведь ты старше меня. Во-вторых — честная.

— Мужик!

— Ну-ну! потише! Я не трубадур: и ответить могу.

— Вы думаете, вам пройдет даром эта сцена?

— Имею твердую уверенность.

— За меня есть кому заступиться.

---

* Штука... (*фр.* quelque chose)

— Дуэль? Хоть на пушках и мор-р-ртирах. Но с кем? Полковник не пойдет: кто же без него Бисмарка с Кальноки рассудит, папу к месту определит и Кассаньяково счастье составит? Виктор упадет в обморок от одной мысли драться со мною. Поднимется ли у него рука умертвить последнего обывателя Российской империи, еще согласного кредитовать его синенькими без отдачи? Остается сам герой происшествия, то есть милейший Володя Ратомский... Его науськивать на меня не советую: не удастся.

— Посмотрим.

— Ой, Серафима, берегись! Я его мигом образумлю... Все твои грешки выплывут на свежую воду... А ведь их — яко песку морского...

— И *вам* не стыдно укорять меня? *вам?*.. — презрительно подчеркнула Серафима.

— Ничуть не стыдно. Что — я? При чем? Я для тебя был одним из малых сих... только и всего!.. Мне тебя два года назад при первом нашем знакомстве так и рекомендовали: «Вот, кавалер, примите к сведению, — барышня, которая никаких авансов не ужасается, и, ежели понравитесь, можете провести время беспечально!..» А рекомендовал Горелин, лицеист...

— Тоже негодяй, вроде вас!..

— А уже это — как угодно: мне все равно, а тебе его лучше знать!.. Я у него портрет твой видел... Очень ты там с декольте и с надписью выразительною... Про меня, про Горелина и про предшественников наших ты, конечно, Ратомскому не сообщишь. Следовательно, чтобы натравить его на меня, тебе придется вот сколько налгать... целую кучу! Смотри, кума, ври, да оглядывайся: у меня твои письма есть.

— Вы способны выдать тайну женщины?

— Если меня берут за шиворот, очень способен.

— Как вы подлы!

— Зато ты как честна!

— Да наконец скажи, пожалуйста, — заговорила Серафима уже другим, значительно пониженным тоном, — что с тобою? Откуда это донкихотство... рыцарство без страха и упрека? Совсем к тебе не пристало даже.

— У меня душа есть.

— Душа?

— Да, душа. Ново для тебя?.. Х-ха!.. Что я шалопай, — знаю; может быть, даже и негодяй, но у меня есть душа. Ты в зверинцах бывала? кормление диких зверей видала? знаешь, как удав кролика хапает?

— Ну... видала...

— Занятно?

— К чему все это? — досадливо возразила Серафима.

— Нет, ты скажи: занятно?

— Очень.

— Видишь ты, даже очень. А у меня от этой занятности истерика сделалась, и чуть-чуть я не попал в участок, потому что полез на эстраду этого самого звериного кормителя бить.

— Пьяный?

— Трезвый.

— Чувствителен слишком!..

— Да, чувствительней тебя.

— Значит, я удав, а твой Ратомский кролик?

— Voila tout *. Когда я увидал из дворца всю эту вашу сцену нежную, меня взяло за горло как раз тою же хваткою, что в зверинце... Скверное у тебя было лицо!

— Это, однако, даже лестно мне, что ты считаешь меня такою опасною...

— Для кроликов.

Серафима Владимировна гневно передернула плечами и порывисто встала со скамьи.

---

* Вот и все (*фр.*).

— Скажи Виктору и Рутинцеву, чтобы приходили в билли-ардную... желаю шары катать... — сказал ей на прощанье Квятковский.

Он закурил сигару и долго сидел один, довольный «укрощением строптивой», хитро усмехаясь всем своим умным бледным лицом. Из задумчивости вывели его странные звуки за кустом жимолости, как нельзя больше похожие на визг собаки, ошпаренной кипятком. Квятковский направился к кусту и открыл... Володю! Юноша лежал ничком, уткнув нос в траву и рыдая на голос, трясся всем телом и судорожно колотил носками сапогов в сырую землю.

— Фюить! — свистнул Квятковский, — слышал! Ах, черт! Батюшка, Владимир Александрович! Вставайте, душенька! что реветь-то? И еще животом на земле лежите! Пищеварение застудите и брючки запачкаете... Вставайте, господин! честью просят!

Долго водил Квятковский Володю по парку, терпеливо слушая первые взрывы его отчаяния... Спокойный, ровный, насмешливый тон молодого человека подействовал на Ратомского: мало-помалу рыдания его стихли, осталась только свинцовая тяжесть на сердце.

— Крепитесь! Будьте мужчиною! — ободрял Квятковский.

— Ах, Кв... Ква... Кво... Квятковский! такое раз... разочарован... ван... вание!.. — всхлипывал юноша.

— Ничего! такие ли еще бывают. Все к лучшему в этом лучшем из миров: обожглись на молоке, вперед будете дуть на воду.

— И так резко... сразу...

— Сразу-то лучше: ампутация... бац и готово! — как гильотина. Kopf — ab! Kopf — ab! *

— Я любил ее...

* Голову – долой! (*нем.*)

— ...«Горацио!» — прибавьте «Горацио», так красивее... Я любил ее, Горацио! И были большим дураком, мой принц!.. Любили, — так разлюбите! «Нет, не любовь — презренье к ней!» Это даже и в «Гугенотах» поется...

— Что мне делать? Что мне делать? — воскликнул Володя, ломая руки уже с несколько напускным трагизмом.

— А пойдемте на биллиарде играть. Нас Виктор ждет. Я *этой* велел его прислать. Вам Виктор сколько очков вперед дает?

— Пятнадцать, — машинально отвечал Володя, сбитый с толку изумительно простым переходом Квятковского из мира поэтических страстей в царство презренной прозы.

— Вот мошенник! Пятнадцать и я вам дам, а куда же мне до Виктора Арагвина? Он вас просто наверняка обыгрывает, разбойник! Так идем, что ли, а?

— Идем... — мрачно сказал Володя после некоторого молчания, глядя в землю. — Идем... Мне необходимо общество!.. Я один с ума сойду!..

— Ну вот — с ума... Ум, батюшка, вещь нужная... С ума сойти — это не с Миловиды сбежать.

— Горько мне, горько!..

— А мы горе — кием да в лузу!..

— Ах, Квятковский! Если бы вы знали, что делается в моем сердце! Невыносимое положение... Напиться бы, что ли!.. Забвение... Броситься бы в какую-нибудь безумную оргию...

— Этак рубля на полтора с рыла! — в тон юноше закончил Квятковский трагически, но с невозмутимым лицом. — Что же? И то в нашей власти... добре!.. закусим!..

Они быстро перешли плотину, отделяющую парк от курзала.

— И вот заведение! Пожалуйте! — воскликнул Квятковский.

Володя вздохнул в последний раз, нахмурился и махнул рукою.

Дачный трактирчик с биллиардами принял в свои недра дачного Фауста и его Мефистофеля, как мирная пристань, покончившая треволнения и бури долгого и бесполезного плавания. Часом позже — срезать семерку в среднюю сделалось для Володи важнее всех Серафим на свете. Мир праху отцветшей без расцвета первой любви!

VIII

На дальней окраине царицынского парка, еще Тургеневым в «Накануне» воспетого, есть круглая беседка, слывущая у дачников под названием «Золотого снопа». Ее белые колонны под куполом и ржавым железным снопом на куполе, когда-то, быть может, и в самом деле вызолоченном, покрывают большой жертвенник-пьедестал, никогда не попиравшийся ногами статуи. Говорят, что стоять на жертвеннике должен был Аполлон. Вид вдаль ему, зоркому богу, открывался чудесный. С высокого холма от самой беседки сбегает плотно протоптанная, закаменелая в белую твердую полосу тропа, исчезая внизу на широких бархатных лугах, прорезанных извилистым ручьем, которым наводняется верхний царицынский пруд. Ручей мелеет, тощает, иссякает с каждым годом, и почва вокруг него заболачивается, но болото так изумрудно-зелено, и так весело кудрявится над ним молодой ракитник!.. А дальше — лиственное море старого леса, далеко видное с горы по трепетным верхушкам. Все зелено, кудряво, сильно... Хорошо!

Вместо бога на жертвеннике — по острым углам его спинами друг к другу, повесив недостающие до помоста ноги, — сидели Борис Арсеньев, неразлучный приятель его техник Федос Бурст и небольшого роста безбородый юноша лет двадцати двух, одетый в серенький с искрою, дешевенький костюмчик готового платья, с булавкою-жу-

ком в чрезвычайно цветистом галстуке, с шляпою-котелком, которою обмахивался, в руках, — красных, куцапых, коротконалых. Лицо его было ни красиво, ни дурно — «простое лицо», каких природа отпускает по двенадцати на дюжину, — чрезвычайно румяное и слегка веснушчатое. Сейчас юноша раскраснелся еще более обыкновенного, потому что Борис говорил неприятные вещи на его счет. Он обиженно искривил и сжал губы, нахмурился и с тупым конфузом уставил серые, узко прорезанные глаза на облупленную от штукатурки сетчатую колонну... То был третий, последний, «Ломоносов» Бориса Арсеньева, Тихон Постелькин.

— Все позабыл за лето! Все! Ну понимаешь, Федос, решительно все!.. — скорбно горячился Борис. — Словно мы и не начинали учиться... Помилуй! Спрашиваю его: что есть коэффициент? А он, долго подумавши, обрадовал меня: «Это будет в Балтицком море!..» Ну что же? Руки опускаются!.. И почему в «Балтицком»? Не можешь ты, по крайней мере, хоть назвать по-человечески: в Балтийском? Невозможно это для тебя? А?

— В Балтийском... — угрюмо и покорно повторил «Ломоносов». — Я думал: ты про Категат...

— А Категат, по-твоему, в Балтийском море? Славно!.. Все ты позабыл, Тихон! Все, все, все!..

Федос Бурст с треском захохотал. Борис беспомощно развел руками.

— По-французски, — сестра жалуется, — почему-то все слова стали у него звучать на «у» и оказываются в женском роде: отец — лапур, брат — лафрур... Ну откуда берешь? Ведь это... я не знаю что!.. это — так, нечаянно, даже и нельзя... это выдумать такую штуку надо!.. Откуда?

— Да что же, Борис? — вяло защищался «Ломоносов», сердито крутя ртом, — полтора месяца не занимались... Где все упомнить?

— А кто велел не приезжать? Хвастался с весны, что будешь учиться каждый праздник, а, слава Богу, у нас на дворе Ильин день; вот когда соблаговолил пожаловать!..

— Чудной ты человек, Борис Валерьянович! — с искреннею досадою возразил Тихон глухим и сиповатым своим тенором, — кабы я был свободный, неслужащий человек... Я в себе воли не имею. И то насилу выпросился, чтобы на целый день... У нас по магазинам праздничного отдыха не полагается. Торгуем до четырех часов...

— С пятичасовым поездом и приезжал бы.

— Что же — на ночь глядя?.. До четырех часов в лавке сиди, после пяти учись, этак оно, братец милый, голове начетисто! Ты попробуй посиди в лавке-то с восьми до вечерен; очень хорошо ошалеешь! И рад бы учиться, да мозги науки не берут. Кабы у меня способности хорошие, а то вместо мозгов — тряпье одно! Голова с дырьями: в одно ухо слово войдет, из другого выйдет...

Борис молчал. Он знал, что Тихон говорит правду, и досадовал, зачем это правда. Неспособность «Ломоносова» к ученью мучила студента, заставляла страдать... Федос Бурст, который сам учился страшно трудно и только тевтонским самолюбием и упрямством одолевал экзамены, чтобы сдавать их блестяще, смотрел на Тихона с сочувствием.

Тот, ободренный, продолжал:

— И то еще прими во внимание, Борис Валерьянович: из Москвы в Царицыно машина даром не возит, а достатки мои тебе известны.

— Ну уж, пожалуйста, только не это, — нетерпеливо перебил студент и быстро-быстро замахал на Тихона кистью левой руки. — Этого Лазаря ты мне не пой!.. Во-первых, ты мог бы отлично занять несколько рублей у меня. Во-вторых — достатки твои небольшие, однако на жуков в галстухи и на пиво тебе очень достает.

«Ломоносов» приятно улыбнулся.

— Без пива нельзя. Бутылка пива на пользу человеку.

— Если бы бутылка!

— Я один больше не пью, — серьезно сказал Постелькин. — А надо же иногда угостить товарищей.

— Товарищей?

В голосе Бориса послышалась нота испытующего сомнения.

— А то кого же? — созерцая колонну, возразил Постелькин.

— В юбках ходят эти товарищи, вот что нехорошо!..

Федос Бурст захохотал. Тихон сконфузился.

— Уж и в юбках!..

Борис продолжал:

— Рекомендую тебе, Бурст: новейший Дон Жуан, девушник, каких мало! Коэффициент мы ловим в Балтицком море, но если мимо нас мелькнет юбка, то мы за нею готовы хоть к Тихому океану!

— То-то он по-французски все в женском роде жарит!.. — заметил Бурст.

— То есть — до чего мне это в тебе печально, Тихон, я и рассказать не могу! И... и отвратительно!.. Всем ты парень хороший, и ты прости, что я пивом попрекнул: не следовало, несправедливо — знаю, что ты не запивоха!.. Всем ты парень хороший, но вот это в тебе... это тьфу!.. Я переварить не в состоянии!.. Зоологизм этот!..

— Над зоологизмом, куманек, не издевайся, — сказал Бурст, — идеалистом стану дразнить...

Борис покраснел:

— Пожалуйста, пожалуйста!.. не придирайся к словам!.. Я совсем не по идеализму!.. Я очень хорошо понимаю, что самец там... самка... Ну инстинкт... и все это!.. Ты извини, что я так нескладно, но я не умею!.. Это очень глупо, но, когда об этом, мне всегда противно, и я не могу... скоро подыскивать слова...

— Ладно, отче! Знаем уж!

Бурст ласково потрепал товарища по спине. Он частенько подтрунивал над целомудрием Бориса, но втайне черту эту в нем уважал.

Студент развивал свою мысль, все так же запинаясь и спотыкливо:

— Никакого идеализма!.. Я понимаю все очень материально, знаю, не осуждаю. Когда придет мое время, я не намерен изображать из себя ни Тогенбурга, ни Антония Египетского, но очень просто полюблю, женюсь или сойдусь с женщиною в свободный брак. Но я не могу, чтобы распущенность!.. Как это можно заполнять всю жизнь инстинктом самца? Инстинкту даже скотина отдает только небольшую часть года, а в остальное время она и не думает о глупостях, тиха и смирна. А вот — что Тихон, что братец мой милейший, Антон Валерьянович — никогда не знают угомона!..

— Сравнил!.. — захохотали оба: и Тихон, и Бурст.

— Да, конечно!.. Только и разницы между ними, что Антон Валерьянович уловляет светских львиц, Манон Леско и Мессалин разных, а Тихон — горничных. Мы и не глупы, мы и просвещение любим, мы и учиться желаем, мы и честный образ мыслей имеем, и хорошие слова можем говорить, и даже от полезной деятельности, пожалуй, иногда не прочь, но, уж извините нас: все это — до первого смазливого личика! Сверкнула юбка в глаза, — и ау! Ничего не осталось в мозгах: только бабий подол треплется... Пошло! Тьфу!

— Ты у нас строгий! — улыбался Бурст. — Без бабы, брат, тоже нельзя. Баба вещь нужная!

Борис соскочил с жертвенника и, опершись на него руками, установил близко к лицу Бурста свое разгоряченное лицо с сверкающими близорукими глазами:

— Так — женись! — завизжал он. — Да! Найди себе подругу и живи с нею в паре, а не это... Львы, тигры женятся...

— Не венчаются ли еще? — загрохотал Бурст.

Борис отмахнулся от него своим обычным жестом левой руки.

— Не цепляйся! Крюк! Ты понимаешь, что я хочу сказать! Не надо, чтобы вышучивать и скалозубить!

— По-русски, впрочем, говорят: зубоскалить... — вполголоса поправил Бурст.

Борис держал его за пуговицу и говорил:

— Львы, тигры, орлы умеют овладеть своим инстинктом, поместить его весь в одну личность: отдать себя избранной львице, тигрице, орлице, которые соединились с ними делить жизнь. А человек, царь природы, унижает себя, мыкаясь с инстинктом от Машеньки к Сашеньке, от Сашеньки к Дашеньке, от Дашеньки к Пашеньке. Разве же не пакость?.. Откуда это в них? Зачем?

— Для лакомства! — с длинным зевком сказал Бурст.

— Да! Это подло звучит, но оно именно так!.. Лакомятся — кто как может по классу и состоянию! И тщеславия сколько!.. И рабовладельчество какое противное!.. Вот этот франт, — Борис ткнул перстом в лоб Тихона, — побеждает «девок», ужасно горд своим искусством и презирает их... Потому что девка ниже его по развитию, а он высший перед нею ходит, распустив свой хвост, как павлин, говорит с нею, как Магадева с баядеркою, счастливит каждым своим снисхождением и упивается своим превосходством. Я уверен, что это даже главнее инстинкта. Потому что, если бы двигал инстинкт, то он бы не только по адресу «девок» работал. Ведь не приходит же Тихону в голову волочиться за Лидою Мутузовою, что ли, либо за нашею Сонею... Что же они — хуже Пашенек, Дашенек, Сашенек? Однако при них у него мысли в порядке, глаза разумные, светлые, пошлостью не лоснятся, — человек как человек! А вот Сашеньки, Дашеньки, Пашеньки повергают его в идиотическое ошаление!.. Почему это инстинкт так удивительно работает по направлению только вниз от уровня развития, а не вверх? Потому, что господа Дон Жуаны одинаковы, что верху — горе, что на земле — низу: они не женщин, а рабынь себе

ищут, пред которыми можно распустить павлиний хвост, а те-то будут ахать и благоговеть! Это все — поиски богомолок: чтобы в тебе идола видели! — все деспотизм!.. И какие враки это у них, Дон Жуанов, будто они ищут идеалов!.. Кабы они искали идеалов, то, когда найдут идеал, так бы и оставляли его в идеалах; а то они сейчас же идеал-то в спальню тащат! Ничего им такого не нужно, — врут они! ни ума, ни ароматов душевных! А нужно, чтобы женщина сделалась от сладострастия глупее их самих, потеряла уважение к себе, волю, стыд, и стала бы их рабою, а они будут величаться и наслаждаться... Ты Балабоневскую видал? видал? — надорванным криком завизжал он, выдавая, что давно уже позабыл о Тихоне, против которого будто бы все это говорилось, — а вместе с тем и то, почему его так раскипятила и взволновала эта тема.

— Имел счастье... — протяжно отозвался Бурст.

— Хороша, не правда ли? Чучело толстое! Когда мне впервые показали ее в театре, я чуть не спросил: а где же ее внучки?.. Я говорил с нею два раза. Она глупа, как гусыня. Я беседовал с ее племянником о Спинозе: она вмешалась в разговор и спросила меня, много ли «ею» нынче болеют. Она думала, что Спиноза — новая эпидемия. Но она молится на Антона, и, если он завтра прикажет ей выйти голою на Кузнецкий мост, — она выйдет. Потому что раба! А он знает, что у него есть раба, наслаждается сознанием, нежится, капризничает, распускает хвост! А мне за него стыдно! стыдно! стыдно!..

Бурст возразил:

— Ну, любезный друг, когда речь идет о таких господах, как твой почтенный братец, тут с прямолинейностью рассуждать нельзя. Тут — того... достоевщина требуется!.. По-моему, Антон у вас немножко... компрене ву? *

* Понимаете? (*фр.* comprenez vous)

Техник покрутил пальцем около лба. На лице Бориса выразилось большое страдание.

— В том-то и беда, Бурст, — прошептал он, — что если его разбирать по достоевщине, то оно, конечно, и жалко, и не безнадежно худо... Но, когда прямолинейно, попросту, общечеловеческим здравым смыслом, — не могу: вся душа моя начинает кипеть против него, потому что... ну сам найди слово для его поведения!.. не могу же я ругать родного брата!.. — воскликнул Борис почти истерически. — И, несмотря на все, братцы, я его люблю... Чужд он мне, — Бог знает, до чего чужд! кажется, человека на свете нет чужее, — а люблю... Какие способности! Какая голова! Логика какая! Когда захочет, весь — энергия. Уж если бы Антон за тебя взялся, — Борис шутливо потормошил Тихона за плечо, — не ловил бы ты коэффицента в Балтицком море! Чего только он не умеет? На что не горазд? Боже мой! Если бы этой силе да взяться за настоящую правду, за живое дело!.. Я часто думаю о нем по целым ночам: так он меня интересует и мучит! О какой бы вдохновитель! Какой вождь!.. Одна наружность — уже так и просится под знамя!.. Но он плюет на все, читает своего проклятого Ломброзо, пьет коньяк, как воду, и обнимается с дурами. Эх!

— «Смешивать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа!» — запел Бурст диким голосом на еще дичайший мотив и тоже спрыгнул с жертвенника. — Однако, кто вышел купаться, тому напрасно сидеть на горе... Запиши, Тихон: достойно Кузьмы Пруткова! Можешь при случае в разговоре повторить с пользою... Пошли, что ли, ребятенки? Время не раннее!

IX

Юноши свернули от «Золотого снопа» под гору на глухую дорожку, изрытую змеевидными поверхностными корнями,

сквозь чащу густого орешника. Они пошли низами, вдоль пруда, через весь парк, по болотистой почве заливного луга, который лишь очень недавно перестал быть дном и сделался сушею. Насыщенная влагою дорожка, узенькая так, что надо было идти гуськом, дрожала и местами даже хлюпала под ногами. Приходилось прыгать через лужи и пробираться через трясинки и ручейки по наваленному хворосту.

— Черт тебя знает, Борис, куда ты всегда заведешь! — ворчал тяжеловесный Бурст, угрязнув по щиколку в черной, сочно чмокающей, жирной почве.

Борис шагал впереди, не обращая внимания ни на протесты Бурста, ни на грязь, налипающую на брюки. Тихон Постелькин плелся сзади. Он протестов не выражал, но перед тем, как ступить на болотистую тропинку, высоко закатал свои серые панталоны колокольчиками, после чего принял вид совершенного удовлетворения.

— Борис! — раздраженно крикнул Бурст.

— У-гу? — откликнулся тот, с зеленою веточкою во рту.

— Ты опять траву жуешь? Это — скверно!..

— А, черт! Проклятая привычка!.. Спасибо, что сказал!

Он бросил веточку в болото.

— Хотя, собственно, я не знаю: почему мне не жевать травы? Кому мешаю?

— Вредно. Мало ли какая дрянь может попасть в рот? Я знаю барышню, которой из-за этой привычки выпилили кусок челюсти.

— Ну уж это ей — судьба!

— Нет, не судьба, а микроорганизмы.

— Черт бы их побрал!

— Что ты сегодня расчертыхался?

— Да кто же их еще поберет? А побрать следует. И на что их открыли? Хочешь слышать парадокс?

— Валяй!

— Будет во вкусе брата Антона... Естествознание убивает в человеке мужество и лишает его присутствия духа!

Бурст засмеялся.

— Да, это действительно во вкусе Антона Валерьяновича. Но — почему?

— А почему на войне оказываются храбрецами, обыкновенно, близорукие люди? Потому что они хуже видят грозящую опасность, и сумма их зрительных страхов меньше суммы страхов зоркого человека. Я, когда был маленький, читал чью-то повесть о господине, у которого глаза стали видеть как — в микроскоп. Есть такая редкостная болезнь. Еще Гиппократом, говорят, описана. Так этот барин, бедняга, не решался тронуться с места, потому что потерял чувство расстояния; едва не сошел с ума от страха, потому что воздух для него превратился в струящийся океан, полный чудовищами; и чуть не умер с голода, потому что мог питаться только миндалем: на всякой другой пище тоже сидели страшные гады и звери!.. Я благоговею пред естественными науками, но боюсь, что рост их сделает нас лакеями инстинкта самосохранения. Ибо человек — коварнейший трусишка: в невежестве суеверен, в знании животолюбив! Вот что в нас подло! Когда мне случается гулять с отцом в лесу или в поле, и захочется ему пить, он без церемонии ложится на живот к ручью или болотцу, выберет, где струя почище, черпает воду картузом или рукою и пьет. А мы с тобою этого себе уже не позволим. То есть микроорганизмы нам не позволяют... микробы и бактерии!

— Как будто твой отец не знает о микробах и бактериях!

— Нет, он отлично, гораздо лучше нас с тобою знает. Но знание-то о них пришло к нему на шестом десятке: оно — не его века и привычек его не переломит... Оно для него — поздняя теория, которая не успеет перейти в практику. Он уже не успеет начать бояться микроорганизмов. А вот если мы лугами идем, да, часом, коровы пасутся, тут папахен мой — пас: крюк в три версты сделает, а стадом не пойдет, — быка трусит!..

— Стало быть, вот тебе и наглядная разница между двумя поколениями. Отцы не боятся микроорганизмов, но боялись быков. Дети не боятся быков, но потрухивают микроорганизмов.

— Да. Но с быками человеку реже случается сражаться, чем с микроорганизмами: это их, отцов, преимущество и наша беда!

— Что же? Ты завидуешь незнанию?

— Нет, не незнанию, а легче было им быть храбрыми, — вот что действительно завидно. Они не подозревали миллионов врагов своих, которых мы знаем, а следующие поколения будут знать их миллиарды и будут нам завидовать, что нам было легче. Отец мой целует в морду своего Марса. А я не поцелую, хотя Марса очень люблю, потому что памятую об эхинококках. Ну вот, стало быть, у меня одним большим другом меньше, а одним миллионом маленьких врагов больше!

— Тоже, брат, и мерли тятеньки наши от свинства своего преизрядно! В старину-то, бывало, эпидемия если начнется, то кончалась только тогда, когда уже больше некому умирать!.. Недаром Мицкевич воспел Моровую деву!

— Да, но, когда эпидемию почитали Моровою девою, Наполеон не боялся «хладно руку жать чуме». А если бы он знал о чумных бактериях, то, пожалуй, лапку бы припрятал.

— Э! Наши студентики едут на тиф, на холеру, — не робеют!

— А разве они не герои? — вскричал Борис, круто поворачиваясь к Бурсту так близко нос к носу, что тот оступился с тропинки и опять увязил штиблеты. Каких же тебе героев нужно? В блещуших шлемах или с пушками, что ли? Конечно, они герои и гораздо больше делают, чем Наполеон, когда хладно руку жал чуме! И именно потому, что Наполеон не знал, а они знают! Наполеон хвастался, а они — по любви к человечеству! У них святое дело и благородная

наука!.. И кой черт дернул меня пойти на филологический факультет!

— Да, как-то странно видеть тебя в союзе с аористами!

— Положим, я историк, а не классик.

— Все-таки!

Они вышли из болота на дорожку по пригорку, где могли идти уже все трое в ряд. Бурст взглянул на свои ноги, свистнул и сказал:

— Хороши милашки!

Тихон отстал на минутку, сорвал осоки, медленно и тщательно вытер сапоги, откатал брючные колокольчики и мелкою рысцою догнал Бориса и Бурста.

— А книжки, которые я тебе оставил, ты читал? — обратился к нему Борис.

Тихон помолчал.

— Не все, — сказал он с расстановкою. — Я не могу много читать.

— Почему?

— Голова затекает, строка на строку начинает лезть.

— Герцена-то, по крайней мере, прочел?

— Герцена прочел.

— Ага! Это хорошо! Вот это, брат, хорошо! — с удовольствием заговорил Борис, потирая руку об руку. — Слышишь, Бурст? Он Герцена прочел! Молодец, Тихон! Это, брат, надо, надо!.. необходимо!.. величайший писатель!.. Ну что же тебе у Герцена понравилось? расскажи что-нибудь!..

На лице Тихона выразился плачевный испуг и растерянность.

— Да что же? — сказал он с печальною досадою. — Чего тебе? Ты сам все знаешь.

— Я хочу видеть, как и насколько ты понимаешь, что читаешь.

Тихон сморщился, в глазах его отразилось тяжелое напряжение мысли, он даже котелок свой опять снял, точно ему жарко стало.

— Что-нибудь, что-нибудь! — поощрял Борис. — Первое, что придет в голову.

Тихон краснел и безмолвствовал. Борис всплеснул руками.

— Неужели ничего не помнишь?

Тихон сделал нечеловеческое усилие над памятью и, с росинками пота над бровями, радостно проговорил:

— «У нее не было лица взлызистой Медузы».

— Что? — изумился студент.

— Из Герцена.

— Не помню... Взлызистая Медуза? Про какую это Медузу?

Тихон молчал.

— О ком читал? У кого это — «у нее»?

— Почему сие важно, в-пятых? — загрохотал Бурст.

Тихон опять вспотел и возразил с унылостью:

— Я не помню... Я думал: ты знаешь...

— Как же я могу угадать, откуда — из целого Герцена — ты выхватил семь слов?

— Почему сие важно, в-пятых? — повторил грохочущий Бурст.

Но Борису было горько.

— Ах, Тихон, Тихон!.. — жалостно вздыхал он, качая головою и нервно царапая свой нежный, безволосый подбородок. — Ну что мне с тобой делать? Ах, Тихон, Тихон!..

Тихон еще понатужился. Ему хотелось утешить Бориса, которого он любил искренно.

— Тоже... которое... крепостное право... Герцен... не одобрял!.. — выжал он из себя. — Николая Павловича крепко не любил... Да я, Борис, ей-Богу, все знаю и понимаю... Только не могу так сразу вспомнить и складно объяснить...

— Правда? — просиял Борис. — Не врешь? Бурст! Ты слышишь: он все понимает, только не умеет рассказать!.. Ну что же? Приходится мириться с тем, что у него плохая

память и телята язык отжевали!.. Лишь бы про себя знал!.. Ну а ведь он — читал? заметно, что читал?

— Очень заметно, что читал, — подтвердил Бурст: ему жаль было, что мальчик волнуется и страдает.

— Ей-Богу, право, много читал!.. — побожился и Тихон.

По зыбким, дрожащим над коричневою водою мосткам молодые люди прошли в серый ящик общественной купальни. Седой, одноглазый, замечательно безобразный старик, в трехнедельной седой щетине, с беззубым ртом и рваною ноздрею снял с перил и подал Борису и Бурсту их просыхавшие с утра простыни.

Бурст, любивший фамильярничать со всеми, хлопнул сторожа по пояснице.

— Пугача помнишь?

Старик обиделся.

— Это мой дед помнил, да и тот, поди, брехал.

— А отчего ноздри нет?

— Стерва знахарка выжгла купоросом.

В купальне длинный четыреугольник воды, наполовину светлый под белым небом, наполовину затененный отражением дощатой стены, смотрел холодно и неприветно.

— Б-р-р.. — говорил Бурст, подрагивая розовым и пупырчатым от воздуха богатырски мускулистым, упитанным телом. — А небушко осенью дышит!.. Еще неделя-другая, и надо эту купель Силоамскую покидать!.. Ой, братики! О-ой, голубчики! Жутко! Честное слово, боюсь!

Он пощупал правою ногою воду, посинел весь и еще больше вспупырился гусиною кожею, оглянулся на товарищей страшным, испуганным лицом, взвился, бухнул в воду головою вперед и вынырнул, — уже с лицом веселым из-под нависших сосулями гладких волос...

— Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!.. — протяжно завопил он голосом торжествующего, хотя обожженного, человека и фыркающим моржом заплавал вокруг купальни.

Борис, быстро раздеваясь, допрашивал Тихона:

— О коллективных уроках с товарищами говорил?

— Не охотятся...

— Почему?

— Глупый народ. Думают, что скучно, и опасаются, что с господами.

— Но это же дико, Тихон! Ты бы им разъяснил разумно!

— Я и то ругал, что скоты.

— Ну вот? Ну вот?! Ну как же можно так грубо! Кто же станет слушать тебя, если ты бранишься?

— Да — когда огарки без понимания?

— Нет, нет!.. Значит, ты не умеешь!.. Больше ничего, что не умеешь!.. Как можно, чтобы не понимали своей пользы?

— Говорят: мы люди коммерческие; торговому человеку оно — ни к чему.

— Но это неправда, Тихон! Предрассудок! Тупая неправда! Коммерция — тоже живая, идет вперед, становится на новые устои, развивает конкуренцию. Торговцу нельзя прозябать в невежестве. Не то его уничтожит образованный и приспособившийся к веку конкурент... Ведь я же объяснял тебе. Чтобы восторжествовали наши идеи, жизнь должна сперва пройти проклятое мытарство капитализма. Следовательно, мы должны развивать капитализм всюду, где можем... в торговле... в промышленности... в земле... Понимаешь? А какое же возможно развитие капитализма, если будущие капиталисты сидят по уши в безграмотном невежестве своем, будто свиньи в болоте, и упорствуют из поколения в поколение оставаться дураками... Ты — вот что: мы это поправим... Когда переедем в город, ты устрой вечеринку: соображаешь? Я денег дам, пригласи своих товарищей, и я приду... хорошо?.. Ну и я с ними поговорю!.. Может быть, и выйдет дело? А?.. Что же? Попытка не пытка! Я поговорю... А книги давал читать?

— Книги?

Тихон замялся.

— Нет, брат, — чтобы тебе правду сказать, не соврать, — книг не давал.

— Вот? Ну это, Тихон, извини, глупо!.. И не оправдал доверия... Нехорошо!

Тихон извинялся:

— Ненадежные ребята, Боря. Опять же многие не по своим квартирам живут, — у хозяев. А хозяева — народ известный: любимое дело — ходить с обысками по молодцовским сундукам. Батистов Вонифат намедни купил книгу за медный пятак, называется «Большая барыня»...

— Знаю: Вонлярлярского... Этакое вонючее старье!

— Так — за пятак же, а один переплет рубля стоит!.. красивый!.. Хозяин увидал да корешком Вонифата по морде. Книгу отобрал и в свой комод запер: «Ты, — говорит, — нанимался ко мне не в чтецы, а в приказчики! А книгу, — говорит, — я на Ильин день подарю помощнику участкового пристава, потому что он будет именинник, и он у нас очень хороший человек, только имеет ту слабость, что ужасный читатель, а книг покупать не любит, чужие зажиливает».

— Боже мой! Это нравы! Это сознание своих человеческих прав! Жаловался он мировому?

— Кто?

— Батистов?

— Ну вот!!! На хозяина-то?!

— Бурст! слышал тон? Так ужаснулся, точно хозяин — коронованная особа или мощи какие-нибудь.

— Не мощи, — возразил Тихон, — а... одно слово: хозяин. Попробуй, поди — пожалься... мало что места лишишься, но еще всю судьбу свою окончательно потеряешь. Из «рядов» выживут... они все заодно, хозяева-то. Ежели взъедятся, тогда от них — хотя в другой город беги... Да и то, — если пронюхают, куда, — сейчас же отпишут знакомцам, что — не дер-

жите, мол, его у себя: жалобщик!.. Видали мы примеры эти. Последнее дело.

— Поэтому, если тебя хозяин ударит, ты тоже смолчишь?

Тихон угрюмо замялся.

— У меня хозяин не драчливый, — сказал он. — И бить меня не за что. Я свое дело сполняю.

— Ну а — если? Вообрази себе: если?

— Для чего же я буду воображать, когда знаю, что быть не может? У него — такое твердое правило: до восемнадцати годов лупи молодцов и в ус и в рыло, а с восемнадцати годов — шабаш! Потому что довольно неловко: женихи!

— Скажите, какое совершеннолетие установил! Законодатель тоже! Ах, скотина! До восемнадцати лет он, значит, человека за человека не считает?..

Тихон радостно фыркнул.

— Нет, не то чтобы... Он прежде никому не спускал, да — годов пяток назад — спасибо, помял его один... горяченький... Ну — три недели в постели пролежавши, после того маленько остерегается. Мальчиков и подручных дует, а нас, взрослых молодцов, не трогает...

— И тебя хозяин бил до восемнадцати лет?

— И меня. Чем я святее других?

Он фыркнул еще веселее.

— Вот хозяйка — та драчунья. Никого не уважает, ко всякой роже посыкается. На прошлой неделе такую мне плюху закатила, что нуте-ну!..

Борис даже на ногах не устоял — на скамью присел.

— Негодяйка! — едва вымолвил он дрожащими губами. — И ты еще можешь смеяться? Тебя оскорбили, прибили, а ты — будто радуешься? О, раб несчастный!

Но Тихон смеялся с хитрым, масляным лицом.

— Мы на нее не обижаемся. Бабий бой! Потому что она это — норовит всегда наедине. Очень большая охотница, чтобы ей за плюхи ее сдачи давали.

— Странный вкус! Бурст, слышишь?..

— Оно, точно, чудновато. Однако она у нас тем самым известная по всей Москве. Муж-то старый, паршивый, а она женщина еще в соку, нравная, могутная. Вот и любит побарахтаться врукопашную с нашим братом, с молодцами... Руками дерется, а глазами заигрывает. Я, мол, тебя бью — не жалею, а ты меня возьми да победи!

— Тьфу! Пакостница!

— И здоровенная же! Как схватится бороться под силки, тут держись, не зевай: ребра сломает!

— Однако и нравы! — плавая, хохотал Бурст. — Вот так кокетка! Уж именно можно сказать: кокеточка!

Тихон вздохнул:

— Кому смех, а кому горе. Которые недогадливые и робкие, — беда: напустится точить, ругать, бить походя, кормить хуже собаки, придирается, покуда со двора не сживет. А вот Арсений Шушкин отдул ее в кладовке так, что еле выползла, — ну и каждое воскресенье с нею в Останкино ездит, при золотых часах ходит...

— Боже мой, Боже мой! — волновался Борис.

А Тихон говорил с удовольствием:

— У нас — что! У нас — благодать. Живи да Бога хвали. Но у Батистова Вонифата хозяин действительно вроде как бы черт или лютый тигр. Дерется — чем ни попадя. Аршин так аршин. Счеты так счеты. «Большою барынею» этою настолько Вонифата обработал, будто его пчелы искусали...

— Боже мой! Боже мой!

— Пр-р-р-росвещение!.. Ежели корешок плотный, кожаный... пр-р-росвещение!.. — орал из воды Бурст, подскакивая вполроста, со сложенными на груди руками, точно морской тритон.

— Тише ты! — с неудовольствием остановил его Борис, — рядом, в дамской купальне, купаются... слышно...

Они стояли и стыли над водою — Борис, длинный, белый, узкий, с проступающими при движениях ребрами, с устремленною вперед головою на немножко сутулых плечах; Тихон, небольшой и тоже чуть сутулый, с короткою грудью в желтом пуху, с тонкими, портновскими ногами, с тощими руками, повисшими до узлистых колен.

— С лица ты здоровяк, — сказал ему Бурст из воды, — а грудишка у тебя дрянь, и спина — видать, что слабая. Покуда молод, здоров будешь, а состаришься рано и много должен хворать... На призыве был?

— Я у матери один сын.

— Все равно, не возьмут тебя в солдаты: меры в груди не выходит... Я на глазомер вижу!.. Груди нет, а брюхо вырастил!.. Чаю много дуешь, чертов огурец! Лопнешь ужо!..

Тихон осмотрел свое тело, как бы экзаменуя, лопнет оно или еще подержится, и, не отвечая, обратился к Борису:

— Батистов Вонифат хочет приходить на уроки. Только спрашивает: нельзя ли, чтобы танцы...

— Какие танцы? — озадачился студент.

— Мазурку хочет... Он очень любит танцы и обучался у Ежова, но на мазурку не достало ему средств. Просит: нельзя ли, чтобы довершить мазурку?

— Твой Батистов Вонифат дурак, а с тобою сегодня невозможно разговаривать!

Рассерженный Борис прыгнул ногами вперед, окатив брызгами половину купальни, а вынырнув, запрыгал на месте, визжа и радуясь чувству приятно-жгучего холода, как маленький мальчик. Свежая вода смыла с него досаду, грусть, споры, важные мысли — он заплавал, занырял, заскакал в веселом и счастливом возбуждении купанья в чистом, проточном, ключевом озере. Бурст широко плеснул в него водою. Борис ответил, и с хохотом и шумом пошел между ними бой на брильянтовых брызгах и белой пузырчатой пене... Тихон спустился в воду по лесенке, осторожно пристанавли-

ваясь на каждой ступеньке... Погрузившись по грудь, он посмотрел вокруг себя жалобно, хотел перекреститься, но не посмел из опасения, чтобы Бурст не поднял его на смех, трижды окунулся, приседая, и поплыл, молча и дробно перебирая перед собой руками.

— Баста!

Борис выскочил из воды и, судорожно смеясь, дрожа, топоча пятками на месте, принялся тереть краснеющее тело суровою простыней. Бурст вылез на помост, лениво, кряхтя, накинул простыню на плечи, сел, достал из пиджака с ближнего гвоздя кожаную папиросницу и закурил с наслаждением.

— После купанья — это сласть! — сказал он бодрым басом, — чудак ты, Борька, что не куришь!

Борис сейчас же подхватил упрек как вызов на спор, и между молодыми людьми загорелся тысяча первый принципиальный диспут: курить или не курить? Они спорили и одевались...

— Самая дикая, самая нелепая, некультурная привычка!

— Уже и некультурная даже? Абсурд, братец. Табак умные люди зовут «ядом интеллекта...» Ты мне покажи знаменитость литературную, научную либо в искусствах, чтобы не курила. Из ста у девяноста девяти — если нет папиросы либо сигары, то нет и нервного подъема, нет творчества.

— Разумеется, некультурная! Откуда европейцы взяли привычку курить табак? От дикарей американских! В курении скрывается именно дикарский эгоизм, именно дикарское нежелание считаться с правами и удобствами ближнего. Курение в тысячу раз эгоистичнее пьянства! Пьяница в конце концов вредит непосредственно только самому себе. А вы, курильщики, узурпируете и отравляете воздух, которым дышат ваши соседи, вы залезаете вашим проклятым табачищем в наши легкие, вы коптите наши ни в чем не повинные ноздри, вы...

— Смотри, смотри... Ах, шельма! — вдруг перебил Бориса Бурст, вполголоса и с округлившимися глазами.

Борис взглянул, осекся и побледнел от негодования: Тихон, скрючившись на корточках, прильнул глазами к щели между досок и смотрел в соседнюю купальню. Он хихикал, и, судя по веселому прыганью плеч и лопаток, то, что он видел в купальне, доставляло ему величайшее удовольствие.

Бурст, не выпуская изо рта папиросы, опустил простыню в воду, быстро скрутил жгут и, подкравшись к Тихону, с размаху шлепнул его по дергающимся лопаткам. Тихон ахнул, выпрямился, повернул к Бурсту красное, злое, возбужденное лицо, хотел сказать что-то свирепое, но, не удержав равновесия, сорвался в воду и поплыл.

— То-то! Для охлаждения чувств!.. — спокойно рекомендовал техник.

— Леший... право, леший!.. — отругивался и отфыркивался потопленный Тихон.

Борис стоял, глубоко оскорбленный, уничтоженный.

— Что же это такое? Ну как можно? Что же это такое? — говорил он грудным, страстным голосом, в котором почти вскипали слезы. — Нет, это неестественно!.. Это болезнь у него какая-то!.. Не иначе как болезнь!..

ALMA MATER

X

Володя Ратомский поступил в университет по юридическому факультету и на первых порах посещал лекции довольно усердно. Впрочем, его занимали не столько аудитории московской alma mater, догоравшей последними огоньками своей блестящей, чуть не легендарной уже эпохи, сколько высокие чугунные лестницы с огромным многоэтажным пролетом в несколько светов, всегда оживленные пестрыми груп-

пами тогда еще безмундирной молодежи. В десять минут здесь можно было обменяться сотнею рукопожатий, покричать на сто разнообразнейших тем от интегралов до вчерашней выпивки, от корней санскрита до конституции, от Юстиниана до оперных успехов «студенческой Патти», красавицы Зои Кочетовой, на которую чуть не молился весь университет, а юридический факультет — в особенности. Володя был представлен этому юному золотоволосому божеству в каком-то концерте и с большого восторга два дня после того даже умывался только левою рукою: правой коснулась в мимолетном рукопожатии она, несравненный московский соловей, и юноша не хотел смыть священного прикосновения! Но на третье утро мать обратила внимание:

— Что это, Володя, у тебя руки — как у лавочника? Большой малый вырос, а мыться не умеешь... Словно копался в свечном ящике!

Ольга, постоянная конфидентка маленьких тайн Володи, фыркнула, Евлалия — за нею, а бедный Володя жестоко поперхнулся горячим чаем.

Знакомясь и обращаясь в течение лета на даче со студентами, Володя понаслышался от них о профессорах и, как водится, пришел в университет с готовыми, заранее принятыми на веру симпатиями и антипатиями. Он уже поклонялся общим студенческим любимцам, ненавидел общих неприятелей. Знал, кого надо слушать обязательно, чтобы не прослыть отсталым человеком; кого можно слушать, можно и не слушать; кого слушать — не принято; и, наконец, кого слушать, как неких парий университетских, почитается только что не позорным. Вместе с своим и старшим курсом Володя горячо аплодировал любимцу московской молодежи А.И. Чупрову, когда тот впервые показался пред аудиторией первокурсников и не успел произнести еще ни одного слова. Профессор — талантливый живой человек, из категории «мыслью честных, сердцем чистых либералов-идеалистов» — был тронут

и вместо лекции сказал блестящую речь. Восторженно сверкая увлаженными глазами из-под золотых очков, он говорил трепетным голосом радостно-взволнованного, убежденно-проникнутого идеей человека о светлом значении коротких студенческих годов для всей жизни русского интеллигента, о задачах и обязанностях образованного класса, о культурных результатах эпохи великих реформ, многими из которых Россия всецело обязана людям, воспитавшим свой образ мыслей в лоне московской alma mater.

— Господа! — звенел в ушах Володи, и поднимал его, и тянул к себе порывистый бодрый голос, — мы пережили период необычайного нравственного подъема, выраженный рядом великих преобразований, окруживших святое 19 февраля 1861 года, как самую яркую звезду блестящего созвездия. Я верю, я хочу и буду верить, что главный героический период не отбыл бессрочно в прошлое! Живой дух его веет над нами, тропа его не глохнет, — он ждет продолжения и развития своих начал от новых поколений, идущих на смену былым бойцам и деятелям. Старое старится, молодое растет. За юностью будущее. Господа! Стены этих аудиторий полтораста лет оглашаются заветами просвещения — во имя любви к человечеству! Лучшими и благороднейшими заветами нашей души! Господа! Наши аудитории еще помнят Тимофея Николаевича Грановского...

И профессор заговорил о Грановском, Рулье, Кудрявцеве, помянул Соловьева, Никиту Крылова и своего предшественника по кафедре политико-эконома Ивана Кондратьевича Бабста. Володя слушал, очарованный, запетый, а очнулся он — от страшного, стихийного грохота, будто в аудитории рухнул потолок. Пятьсот человек хлопали ладонями, стучали ногами, кричали протяжно, громко, весело, бежали к кафедре, лезли через скамьи. От топота и суеты пыль повисла облаком и весело заплясала в солнечных столбах, прорезавших длинный серо-голубой зал. Чупрова вынесли на

руках — и Володя завидовал студенту, которого ученый невзначай задел каблуком по голове.

Однако при всем восторге Володя вскоре начал отлынивать от лекций. Тогда было не в моде аккуратно посещать университет. Знаменитых профессоров крепко любили, очень им верили, ревниво носились с их авторитетом, качали их до синяков на боках в пресловутый Татьянин день, но слушали их мало. А к некоторым, как к Мрочеку-Дроздовскому, читавшему себе под нос историю русского права, студентами даже назначались очередные дежурства, чтобы бормочущий профессор не вовсе лишен был слушателей и лекция могла состояться. Этот скучнейший на кафедре Мрочек был остроумнейшим комиком в частном быту, великолепно читал роли злых шутов из Шекспира, а еврейские и армянские анекдоты рассказывал лучше Павла Вейнберга. Когда очередь дежурства дошла до Володи, произошло нечто плачевное. Мрочек читал рано по утрам; все другие дежурные проспали, и юноша Ратомский очутился среди огромной аудитора одиноддинешенек лицом к лицу с бородатым и тоже будто сонным профессором.

— Вы одни? — с язвительною приятностью обратился к Володе Мрочек.

Юноша вспыхнул, беспомощно оглянулся на бесконечный ряд пустых скамей.

— Да... вот...

— Как ваша фамилия?

— Владимир Ратомский:

— Очень приятно познакомиться. Вижу вас у себя в первый раз.

Профессор подумал, пожевал губами и меланхолически докончил:

— А по всей вероятности, и в последний!

Мрочек взобрался на кафедру, уселся, приосанился, устремил на Володю ласково-испытующий взор и позвал:

— Милостивый государь!

Володя вскочил.

— Что угодно, профессор?

Мрочек сделал изумленное лицо.

— Решительно ничего. Я лекцию начинаю.

— Ах, лекцию...

Володя сгорел. А профессор добил его:

— Не безумен же я, чтобы к слушателю единственному обращаться в числе множественном!

И, как ни в чем не бывало, забубнил и замычал, что понимает под словом «омман» «Русская правда». Коварных надувателей-дежурных Володя потом чуть не убил.

Не ходили на лекции не только по лени. Тут и другое, более важное, влияло. В первый свой университетский день, прослушав романиста Боголепова и философа Троицкого, Володя спускался по чугунной лестнице в пролет раздевальной...

— Ратомский! Владимир, — окликнул его Борис Арсеньев. — Ага! Ну что, брат? Получил крещение? Поздравляю. Кто читал? А-а-а... Хорошо? На гимназию не похоже? Да ты что же — как будто не в своей тарелке и красный даже?

Володя оглянулся, не слушает ли кто чужой, и почти с ужасом в глазах наклонился к уху Бориса.

— Я, Боря... мне очень стыдно... Я, Боря, ничего не понял.

— Ничего?!

— Ничего. Носятся в голове новые слова какие-то целым вихрем, а связать их не могу.

— Странно! Боголепов — он сухарь, педант, формалист, мухомор скучнейший, но нетрудно читает: без отвлеченностей и отступлений, одно дело, никаких заковык. Троицкий — каждую фразу семь раз примеряет прежде, чем отрежет и возвестит вслух, в мякиш разжеванною пищею слушателей кормит... И не понимаешь?

— По чести тебе говорю: нет.

Борис жалостно округлил глаза.

— Беда, брат! Если тут сплоховал, как же ты будешь слушать общественные науки?

Он так зажалел, заахал, заволновался, что уже не мог расстаться с сконфуженным приятелем и увел его к себе — на Остоженку, в один из старых, кривых переулков вокруг Ильи Обыденного, где Москва похожа на окраину плохого губернского города, тиха и мертва, как пустырь, а — поверни за угол, и опять кипит между огромных домов лихорадочная, муравейная жизнь. На Остоженке молодые люди нагнали Антона. Он оказался в духе, поздоровался с Володей очень любезно и, сверх обыкновения, несвысока.

— Нравится вам наше любезное захолустье? — спрашивал он, шагая узеньким грязным тротуаром своего переулка.

— Не очень, Антон Валерьянович.

— Я его терпеть не могу, — засмеялся Антон, — но нахожу заслуживающим уважения. Потому, что эти старозаветные переулочки — самое настоящее, что есть московского в Москве. Там, — он махнул рукою в сторону городского шума, — там все нанос и позолота. Корень и суть Москвы здесь. И я уверен: прейдут дворцы, галереи, театры, железные дороги, конки, электричество, разоренные дворяне, преуспевающая коммерческая аристократия, прейдет вся Москва, но переулочки останутся. Ибо они, и только они, суть «настоящее» в Москве: глубь и правда ее мещанства! Позолота слиняет, но основная материя вечна. Помните, — в сказке Андерсена:

Что позолочено, сотрется,
Свиная кожа остается.

К удивлению обоих юношей, Антон, узнав об университетской неудаче Володи, не только не посмеялся над его го-

рем, но, напротив, принял дело к сердцу с самым нежным и теплым участием.

— Я сам прошел через это! сам прошел! — нервно говорил он, меряя свой кабинет медленными, аршинными шагами. — Вы не смущайтесь: стерпится — слюбится, привыкнете... Не вы виноваты, что не понимаете. И не профессора. Вот кто виноват!

Он указал в окно на сияющий золотыми изгибами купол Храма Спасителя. Борис и Володя поняли, что Антон намекает на первую гимназию, которой здание — прямо против собора.

— Да, — продолжал Антон. — Кого восемь лет изо дня в день колотили по мозгам Ходобаем и Курциусом, тот на первых порах потом обыкновенную человеческую речь и серьезную мысль слушает туго и дико. Вы привыкли зубрить, в лучшем случае, учить уроки, а вам читают лекции, рассчитанные на критическое восприятие. А его-то у вас и нет... ни у кого нет — кто из классических гимназий. Ведь вы, если не ошибаюсь, кончили с золотою медалью?

— С серебряною.

— Ну вот. В последние годы университетское соотношение с гимназией перевернулось из прямой пропорции в обратную. Лучшие, самые способные студенты выходят из самых худших по отметкам гимназистов: это факт! Эти серебряные медали на темя давят и рост мозгов задерживают. У вас в кармане аттестаты зрелости, но разве вы зрелые? Вы мальчики. А профессора считают вас за взрослых людей и читают как взрослым... Отсюда и непонимание.

— Антон! — немножко вскипев, перебил Борис Арсеньев. — Ты, конечно, прав: мы, классики, все отстали, все с задержанным развитием. Но если так, то и со стороны профессоров тут, как хочешь, есть нехорошее. Мы мальчики, мы менее подготовлены, чем надо, пусть же они считаются с нашим умственным уровнем! Зачем жречество и жре-

ческий язык? Почему они не хотят применяться к своим аудиториям?

Антон усмехнулся.

— По неопытности, — язвительно сказал он.

— То есть?

— Еще не научились не уважать своих слушателей, — обидно отчеканил Антон. — Еще не успели разглядеть в нас, новых студентах, малых мальчишек. Не отвыкли от старого университетского предрассудка, что в аудиториях им внемлют «милостивые государи», а не гимназисты девятого класса — Ратомский Владимир, Арсеньев Борис... Погоди, отвыкнут и научатся!.. В верх интеллекта идти трудно, а к понижению примениться — пустое дело! И охотников — сколько угодно. Я даже из своих товарищей могу назвать тебе начинающих приват-доцентов, для которых университет уже есть не более как именно девятый класс гимназии, а они в нем — учителя «от сих до сих» и надзиратели или помощники классных наставников... Погоди! Применятся. Будущее — за ними, за применяющимися. А непременяющиеся переведутся. Знаешь, как мамонты вымерли, а... а кролики — те плодятся!

Борис вспыхнул.

— Ты, Антон, играешь словами и исказил мою мысль. Тебе известно, что я не могу сочувствовать такому изменению. Это — грустно сознавать, очень, брат, грустно, что принадлежишь к поколению, которое понижает университетский уровень, потому что пошел на убыль его собственный интеллект. Нет, брат, хороши ли мы, плохи ли, у нас есть самолюбие: чем профессорам принижаться, мы уж как-нибудь понатужимся и сами поднимется до профессоров... Так, что ли, Володька?

Владимир Ратомский вяло кивнул головою. Бодрость товарища мало его заражала. Борис продолжал:

— А я только о том говорил, что — кто ясно мыслит, ясно выражается. Лектор должен быть понятен своим слушателям.

Антон улыбнулся.

— Совершенно верно. И обратно, — слушатель должен быть подготовлен к лектору. Иначе не только лектор не возвысит слушателя, но, наоборот, слушатель принизит лектора, задержит и прикует его к элементарным азам. Профессорам, друг мой, сейчас тоже не легко. По крайней мере, тем из них, которые догадываются, что они разглагольствуют перед глухими... Говорю тебе, не отвыкли еще от уверенности, что имеющие уши слышать — слышат; все им мерещится старая быль, что студент — образованный человек.

Володя робко остановил его.

— Я это часто слышу, Антон Валерьянович, что прежние студенты были развитее нас. Но скажу вам откровенно: многие из нас считают это за миф и... и я думаю, что они не совсем не правы... Почему? Откуда? Ведь знаний они приносили с собою из гимназии в университет не больше нашего.

— Я уверен, что даже гораздо меньше, — согласился Антон. — Старые программы были преплохие и пренескладные. Но пятидесятые и шестидесятые годы были золотым веком самообразования и самовоспитания, и старая гимназия, должно быть, давала молодому поколению время и возможность к самообразованию и самовоспитанию. Вы читали Писарева?

— Кое-что... Я его, Антон Валерьянович, откровенно говоря, не люблю.

— Я сам не поклонник. Но я не для восторгов его поминаю, не о взглядах Писарева речь! Но он к двадцати семи годам жизни успел написать десять толстых томов, сверкающих самою пестрою энциклопедическою эрудицией. А его студенческое курсовое сочинение об Аполлонии Тианском до сих пор читается с интересом... Или вот еще пример: новая знаменитость — философ Владимир Соловьев. Тоже —

страшный у него энциклопедизм! В полном смысле слова универсальная подготовка в двадцать лет... Понимаете это слово: универсальность? Да! Без универсальной подготовки мудрено в университете, потому что университет есть «университет».

— Ты берешь исключительные головы, — возразил Борис. — Так нельзя. Бери середину.

— Исключительные головы — собирательный фокус для света середины. Они не фокусом родятся в поколениях, исключительные эти головы: есть строгая логика в их появлении. Если в поколении нет исключительных голов, значит, поколение плохо светит. Так-то, Борис!

Антон закурил папиросу и загулял с нею по комнате, вытягивая свою мысль, как ленту, и рубя ее на короткие, жесткие фразы, точно топором.

— И, конечно, в нашем поколении невозможен яркий фокус, как Писарев или Владимир Соловьев. Русский гениальный юноша — тип прошлого. Он умер с шестидесятыми годами и лежит в их мавзолее. Между нами не может быть гениального юноши. У нас раздавленные, раненые мозги. Мы невежды и поздно начинаем мыслить.

— Ужасное ты говоришь, Антон! Тяжелое и ужасное!

Борис даже закрыл глаза, болезненно сморщился и затряс головою.

— Если так думать, то стоит ли и жить на свете?

— Попробуй: может быть, и стоит, — засмеялся Антон.

— Да я-то не думаю так, я не пессимист. У меня, брат, надежд — полна голова, и в убеждениях я на твердом якоре... А вот ты...

— Стоит, — неожиданно и серьезно сказал Антон.

— Сознавая себя, как ты рисуешь: пришибленным выродком бездарного и реакционного поколения?

— Оно не бездарное.

— А притупленные и раненые мозги?

— Что поранено, можно исцелить, что притуплено, оттачивается. Я сказал тебе, что мы в качестве юного поколения оплошали. Но юностью жизнь не кончается. Я поколения нашего не хороню! Нет, не хороню! Надо ранам исцелеть, надо притупленному обостриться, — время нужно, чтобы больные выздоровели и вынули из-под спуда свою забитую силу. Понял? Мы не в состоянии выделять из своей среды гениальных юношей, мы плохи как молодежь, но, быть может, у нас будет хорошая вторая молодость... Каждый человек должен «найти себя», — только с того момента начинается его сознательная роль в обществе, дельная работа и полезность. Проклятые мозговые болячки не дали нам найти себя в двадцать-двадцать пять лет, — быть может, нашему задержанному развитию суждено победить свои тормозы к тридцати пяти годам или к сорока. И тогда мы скажем свое историческое слово, которое есть у каждого поколения, и оправдает себя перед человечеством захудалый гений нашего века. Вспомни, Борис, вспомни своего возлюбленного Некрасова: «Бывали хуже времена, но не было подлей...» И в эти-то времена, которых подлее не было, мы учились в школе, которой хуже и гнуснее не было. Эти времена гвоздили нас своею подлостью по незаросшему темени. Ну и ничего не поделаешь: надо сперва изжить и выбросить из организма наследие подлых времен, а тогда уже и уповать, что и мы не лыком шиты. Прежние поколения, найдя себя, потом до старости экзаменовались в верности юношеским идеалам, в твердости юношеских впечатлений. А нашему поколению, чтобы найти себя, нужно будет забыть, что мы были молоды и как мы были молоды... А, забыв, говорю тебе: может быть, и воскреснем!

Он бросил папироску в камин и обернулся к Борису лицом бледным, но веселым и как бы немножко безумным.

— Наше поколение уже грешит и смердит, — сказал он, — и нагрешит, и насмердит еще больше. Но это не оно

грешит и смердит, потому что оно за себя не ответственно и в себе не вольно. Нельзя исказить мозг без того, чтобы не была искажена жизнь. Измятые мозги — скверные путеводители: они толкают нас на шальные, кривые дороги. И тысячи будут ходить по кривым дорогам и думать, что они — прямые, а настоящее, прямое, почитать кривым. Я пророчествую тяжкие времена затмения и пустоты, пророчествую мелкое насилие, кровь, разврат ума и воли, житье в собственное брюхо, проповедь звериного эгоизма, торжество невежества, триумф тщеславия, апофеоз холопства, самое разностороннее и утонченное пакостничество. Мы удивим мир своим падением, и мир от нас презрительно нос отворотит. И все-таки клянусь тебе, Борис: стоит жить, и есть на что питать надежду! Ибо мозги — сверхъестественно живучая штука, а в жизни неистощимо кипит целючая вода. Исцелеют мозги, и будет век просветления — эра нашего покаяния. Великого покаяния, Борис! Каждою душою, всем обществом... всею громадою, как говорят хохлы. Я думаю, что наш больной и спящий гений — именно гений покаяния... Ты смеешься, Борис?

— Это не совсем ново — «покаяние»... Вспомни: ведь и отцов наших звали «кающимися дворянами».

— Так что же? Они покаялись в своем дворянстве, и вышло девятнадцатое февраля... Прецедент и урок — недурные, Борис.

— Да! если бы так-то!..

Антон стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу. Когда Володя опять увидел его лицо, то это был уже другой человек: возбуждение угасло, и Арсеньев успел напустить на себя обычного «демона» по оперному трафарету — с брезгливою гримасою на пепельном лице, со взглядом, полным презрительной скуки, с кривою и злобною нижнею губою.

— А с университетом, — замямлил он, — я советую вам, Владимир Александрович, распорядиться, как поступил ког-

да-то ваш покорнейший слуга. Купите себе хороший турецкий диван, абонируйтесь в хорошую библиотеку, ложитесь на диван животом вниз и читайте, что найдете занимательным и сколько успеете осилить до весны. Когда разносчики начнут кричать по Москве о моченых яблоках, вы, не сходя с дивана, перемените печатные книги на литографированные лекции и по каждому предмету выучите посильное количество листов. Очень-то много не старайтесь: что профессоров баловать? — зазнаются. Несколько экзаменов вы сдадите счастливо, на нескольких спотыкнетесь, но — не боги горшки обжигают! — на второй курс как-нибудь переползете. Ну вот тут, пожалуй, можно уже от нечего делать и лекции посещать, потому что мозги у вас за год обомнутся и уши несколько откроются, чтобы слышать. А до тех пор я вам рекомендую: ходите лучше — к Лентовскому, — смотрите «Путешествие на луну»! Он, говорят, прогорает, но костюмы изумительные, и у пажей, как на подбор, ве-ли-ко-леп-нейшие ляжки...

— Ну вот! ну вот! ну вот! — с огорчением закричал Борис, вскочив с места и махая руками. — Вот всегда у нас так кончается!.. Начали говорить по душе, — сам заманил, раздразнил нас на вопросы, а теперь высунул язык и строишь масляничную харю! Зачем, Антон? Зачем? И если мы мальчики, — ты говоришь, — тогда в особенности: зачем?! Нечестно морочить головы... Не слушай его, Володя! Он совсем не такой... Он дурачится, шута строит!.. Не слушай!

Антон странно смутился, съежил плечи и вышел из комнаты, бормоча:

— Ну-ну!.. Свирепый голубь!

— Несчастный человек твой брат! — задумчиво произнес Володя.

У Бориса затуманились глаза, но он тряхнул головою, выпрямился и бодро ответил:

— Потому что — самоистязатель! Вольно же ему вечно так... в себе ковыряться? Расцарапал все сердце, за живое

мясо себя дергает — ну, понятно, и исходит кровью... А только молодежь он напрасно зачеркнул... не-е-т! Это все отсебятина! субъективные обобщения. Очень уж пассивно он сдается!.. так нельзя! Я не согласен! Понимаешь? Не за себя одного несогласен, а за многих — многих... не хочу! Мы еще повоюем, черт возьми! Мы еще повоюем!

XI

Расширяя свои университетские знакомства и товарищеские связи с московскою учащейся молодежью вообще, Володя Ратомский прикоснулся и к некоторым политическим кружкам, — впрочем, не к тем, где «делали политику»: для них он был слишком мальчик и не имел рекомендации, — но к тем, которые о ней громко говорили, с увлечением в нее играли и порою серьезно заигрывались. Это общество не увлекло Ратомского. Он там тоже не понравился и не пришелся ко двору. Тогда был период острого раскола в русской интеллигенции, еще не успевшей оправиться от панического страха и смятения между двумя огнями: недавним террором революционным и террором обозленной и перепуганной реакции. Народники-семидесятники кончили свои культурные походы за правдою в народ и начинали вымирать либо просто сходить со сцены за отжитием своего времени. Томимые казнью — кто бездействия, кто — разочарования, — бедняки эти жили тяжело — в муках идейных сомнений грызли самих себя и ближних своих и один за другим спивались. Марксистов еще не было, и только в специальных обществах между социологами и экономистами говорили иногда о научном течении неомарксизма, которое-де слабо теоретическими единицами — начинает как будто просачиваться и к нам. Лев Толстой, потрясенный книгою Бондарева, беседами Сютаева и картинами московской переписи, уже шел к опроще-

нию, но еще сбивался с ноги: не определился на новом пути сам и не успел окружиться последователями. Шестидесятый нигилизм быстро таял, чтобы расплыться из крайности в крайность, до мистической реакции. Утилитарная литература под гнетом цензуры выцвела и опреснилась до тошноты, так что общество не без сочувствия слушало странные новые проповеди и звоны воскресающей эстетики. Русских декадентов еще не народилось, но в московских интеллигентных кружках князь Александр Иванович Урусов уже декламировал с упоением декадентов французских. Шекспировский кружок ставил «Гамлета», и добродушная Москва с легкой руки седых младенцев — А.С. Юрьева и Л.И. Поливанова — охотно твердила, что любитель Венкстерн — куда выше Росси, Поссарта и Барная! Политика выходила из моды, входило в моду изящное «смотрение внутрь себя». Заговорили первые «националисты». Звякнуло в воздухе и проникло в печать типическое словцо «черная сотня».

Аксаков вопиял о «бане пакибытия» и искал «средостения». В Балте и Одессе устроены были еврейские погромы, и «усмиритель» Игнатьев грозил еврейской депутации, что — сами виноваты, вперед и хуже будет.

Появились десятки проповедников, слащаво взывавших к обществу общими фразами о «культурном прогрессе на началах доверия». Умер целый ряд газет — органов общественно-политической мысли. Возник целый ряд новых газет — «мелкая пресса» — органов буржуазной сплетни, лести и идейной бесцеремонности. Москва и провинция зачитывались «Разбойником Чуркиным». «Гнилой Запад» опять оказался в немилости: «правовой порядок» звучал термином полунасмешки-полудоноса. Печатались и декламировались филиппики против либеральной партийности и нетерпимости к чужому мнению. Сходил на нет и авторитет Некрасова, и прославлялся Алексей Толстой как «двух станов не боец, но только гость случайный». На могиле «Голоса» развилось, окрепло

и забрало силу «Новое время». Салтыков задыхался, Суворин возрастал. Воздух пропитался компромиссами, все шашки перемешались, свои перестали познавать своих; люди жили полные пугливой неуверенности в самих себе, осторожной подозрительности к соседу. Мало уважали друг друга, потому что втайне редко кто уважал самого себя. На «крайней левой» было страшно неблагополучно. «Народовольцы» были истреблены. Лев Тихомиров подписал просьбу о помиловании и сделался сотрудником «Московских ведомостей». Разочарованные, смятые бурею, социалисты действия посматривали на либералов очень косым оком, с презрением и насмешками трактовали их как изменников идеи и едва ли много лучше, чем консерваторов. Буржуазные либералы-теоретики, в свою очередь, отрекались от социалистов действий с поспешностью и энергией Симона-Петра. А «в сферах» приглядывались к рабочему переустройству Германии и не без интереса и одобрения расспрашивали сведущих людей о компромиссах Staats-socialism'а *, что он есть сам по себе и по каким его рецептам наилучше облапошивается государством трудящийся народ...

В одном кружке Володю ловко и быстро проэкзаменовали, заставили много говорить и поставили на нем крест:

— Из болтающих.

— Либералишка будет. Жантильничает и эстетничает.

— Перчаточный разговорщик!

В другом решили еще короче:

— Аристократический сосунок.

— Помилуйте! — возопил Борис Арсеньев, рекомендовавший Володю в кружок. — Какой же он аристократ? Ратомские — совершенно захудалый род. У них и состояние-то — лишь от отца, что старик службою нажил.

— Все равно, белоручка и барчонок!

* Государственный социализм (*нем.*).

— Он хорошо говорит, пером владеет, — заступился за Володю товарищ, другой его поручитель.

— Невидаль! Кто же теперь нехорошо говорит и пером не владеет?

Володе кружки показались слишком грубыми и шумными, тон их слишком резким и фанатическим, красноречие слишком прямолинейным и лаконическим.

— А тебе элоквенции надо? элоквенции? — кричал на него за это Борис Арсеньев, который чувствовал себя в кружках как рыба в воде. — Ах уж эта наша всероссийская слабость к цветам краснобайства! Если бы можно было изобрести зеркала для слова, три четверти российских интеллигентов так и не отходили бы от стекла, любуясь, какие изящные завитки выходят у них изо рта. А — забыл? Базаров уже двадцать лет назад просил: «О, друг мой, Аркадий Николаевич, не говори красиво!»

— Кому это мешает? — спорил Ратомский.

— Люди взбалтываются! Мысль разменивается! Энергия уходит в самодовлеющие словоизвития и не переходит в дело! Риторика!

— А «самодовлеющие словоизвития» — это не риторика?

— Это я, чтобы тебя уязвить, — твоим добром тебе же челом!

В третьем кружке, малоговорливом, даже скучноватом и, пожалуй, уже «делавшем политику», Володю с места в карьер спросили:

— Вы, говорят, в языках собаку съели и стилист великий?

— Да, я могу... я пишу...

— Так вот, переведите с немецкого «это».

«Это» Володя перевел, принес. Посмотрели сказали:

— Гут *.

И «это» немедленно пошло на гектограф.

— А какого вы мнения о беспорядках на Зуровской фабрике?

* Хорошо (*нем.* gut).

Володя был никакого мнения, потому что впервые в жизни слышал не только о беспорядках на Зуровской фабрике, но и о самой Зуровской фабрике. Но прямо в лицо ему смотрели, спокойно выжидая ответа, холодные, светлые, почти неподвижные глаза бородатого человека... Володя пролепетал:

— Я... конечно... очень сочувствую...

Глаза ничего не выразили, а перед Володею на столе вдруг очутилась кипа каких-то бумажек, и ровный металлический голос предложил:

— Так вот материалы. Составьте по ним на пробу хорошенькое воззваньице.

У Володи мороз пробежал по спине. Он был, если хотите, польщен, но не ожидал, чтобы так прямо и без всяких слов... столько быстроты и натиска! Но бесстрастные глаза, обращенные к нему, и авторское самолюбие заставили его принять поручение. Он просидел за работою ночь и составил требуемое «воззваньице». Глава кружка прочитал рукопись вслух. Раздались голоса:

— Размазня на постном масле.

— С одной стороны надо сознаться — с другой — нельзя не признаться!

— Это не прокламация, а плохой реферат!

— Чувствительное упражнение в высоком стиле!

— Это вы читайте великосветским барышням в petits jeux! *

— Или напечатайте к Рождеству в виде святочной элегии.

Глава молча и вежливо возвратил листок Володе. Юноша был и обижен бесцеремонными рецензиями, которых наслушался, и... втайне рад, что кружок забраковал его воззвание и не пустил в обращение. Он таки изрядно струхнул.

---

* Салонных играх! (*фр.*)

— Н-не-ет, с этим не шутят, это не игрушки! — рассуждал он бессонною ночью, в тоске и испуге ворочаясь на своей мягкой кровати. — Как можно? Такой риск! Я молодой, жить хочу... И мама... И, наконец, надо честно, без фальши, — я не настолько сочувствую, чтобы искренно... Это требует фанатизма, а я... я, конечно, совершенно на стороне передовых людей, но всему есть мера!.. Нет, это не для меня... Удивляюсь Борису: он — словно о двух головах.

В кружке Борису тоже сказали:

— Вы Ратомского не приводите.

— Почему? — вспыхнул студент, — я головою ручаюсь вам за него: он очень порядочный человек.

— Не сомневаюсь. Но... бесполезен! Чужой. Не такое сейчас время, чтобы наполнять наш трюм балластом...

Борис ничего не передал Володе, Володя ничего не спросил у Бориса, но с этих пор между двумя друзьями как будто порвалась некая незримая шелковинка... Они не имели никакого зла и неудовольствия друг на друга, приятно виделись и весело проводили вместе время, но струя тайного инстинктивного холода разделяла их, как два берега ручья. Была невольная, исключающая полную искренность осторожность одного к мнению другого, срывались с языка фразы:

— Ну да эти вопросы тебе не интересны!

— Ну да это чужой секрет... Я не вправе тебе рассказать.

Дружество удерживалось еще взаимным поэтическим наперсничеством. Поэт Борис верил в чутье поэта Володи, поэт Володя — во вкус поэта Бориса. Но и тут что-то треснуло. В направлении рифмоплетства юноши и раньше не сходились: Борис был некрасовец, Володю тянуло к Фету и Алексею Толстому, — но кукушка хвалила петуха, петух — кукушку... А теперь Володя начал замечать, что Борис слушает его декламацию всякий раз не без нетерпения и даже как бы с затаенным недоброжелательством и стыдом.

— Тебе не нравится?

— Нет, что же? Отличные рифмы, много звука, размер выдержан безупречно, красивые образы, меткие эпитеты...

— А тебе все-таки не нравится!

Борис повторил на память:

Синие звезды цветам говорят —
Белым, душистым цветам:
К небу земли ароматы парят, —
Наше свидание — там!

— Ну?!

Володя даже подпрыгнул. Настолько удачными казались ему стихи. Борис смотрел на него серьезно и грустно.

— Кому это нужно, Володя?

Володя покраснел. Он чувствовал себя уязвленным.

— Что же нужно? — возразил он несколько сдавленным голосом. — Стихи о лаптях и онучах?

Борис молчал.

— Я думаю, что и они не нужны, — спокойно вымолвил он наконец.

— Если не нужны, зачем же ты их пишешь?

— Я уже больше не пишу. Бросил.

— Бро-о-сил?!

Володя всплеснул руками.

— Борис! Помилуй! Да это — грех!.. Безобразие!.. Ведь у тебя талант. Обо мне еще бабушка надвое говорила, но у тебя несомненный талант!.. Я показывал твою «Песню прачки» Брагину... Он в восторг пришел! Ты знаешь, какой он строгий критик! все, где тенденция, заставляет его морщить нос. Но «Песня прачки» привела его в энтузиазм!.. Даже переписал ее в записную книжку, — вот как!.. Страх жалел, что напечатать нельзя: цензура не пропустит... А ты — бросил!..

Борис вздохнул.

— Не до стихов, брат!

Но глаза его светились ярко и довольно.

— Да чем ты так уж очень теперь занят?

— Так... некогда... — пробормотал студент, глядя в сторону.

Огонек в его взоре уже угас. Володя почувствовал, что опять побежала приостановившаяся было холодная струя.

— Ты извини меня, брат Борис, — сказал он с досадою, — я перестаю тебя понимать. Ты просто сектант какой-то становишься.

Борис отвечал ему длинным, загадочным и немножко насмешливым взглядом. Потом весело улыбнулся...

— Да — хотя бы и сектант?!

Через неудачного жениха сестры Евлалии, Илиодора Рутинцева, — брат его оказался на одном курсе с Володею, — Ратомский побывал и в противоположном лагере учащейся молодежи — в барском или, по-московскому, «лицейском», от катковского лицея, который давал ему тон. Здесь — либо пили, любили, танцевали, бушевали, либо — смолоду приготовлялись в будущие губернаторы и «боевые» предводители дворянства. К буршам пристать Володя еще не имел охоты. «Охранительные» кружки будущих спасателей непогибающего отечества оттолкнули его своею сухостью, бюрократическим самодовольством, полицейскою самоуверенностью и жестокостью взглядов и глубоким, даже будто убежденным каким-то, невежеством. На экзаменах эти самодовольные юноши часто становились посмешищем профессоров, что ничуть не смущало их замкнутого в себе величия и откровенного презрения к «демократической сволочи» университета, с профессорами включительно. Они очень много говорили о Пушкине, но приписывали ему стихи Майкова и Апухтина. Они восторженно толковали о классицизме, но не умели перевести à livre ouvert * пяти строк Тита Ливия. Убеждение здесь

* Сразу, без словаря (*фр.*).

царило и твердо памятовалось — одно: «Михаил Никифорович не выдаст».

И, действительно, не выдавал.

— Позвольте! сколько вы ставите мне, господин профессор? — возопил Рутинцев-junior*, — носивший курьезное, по очереди родового преемства полученное, имя Авкта, — когда либеральный любимец факультета, знаменитый М.М. Ковалевский вывел было против его фамилии кренделек тройки.

— А сколько же вам? — изумился профессор. — По-настоящему говоря, и того много. Но я не охотник ставить единицы.

Авкт Рутинцев, красный, возбужденный, гневно-слезливый, принялся горячо доказывать, что ему необходима пятерка: иначе не выйдут кандидатские баллы. Ковалевский язвительно улыбнулся:

— Ах, вам желательно кончить кандидатом? Может быть, рассчитываете остаться при университете?

Рутинцев презрительно оттопырил губу.

— Не льщусь этою надеждою... Мой дядя — князь Юфть-Кожемякин... Я — к нему, в чиновники особых поручений.

— Ого?

— И согласитесь, профессор: имея в виду такое назначение, есть разница, кончу я десятым классом или девятым?!

— О, разумеется!

Ковалевский поставил Рутинцеву просимую пятерку, потом встал и поклонился.

— С своей стороны ходатайствую: не оставьте бедного профессора покровительством, если со временем буду иметь честь быть сосланным в губернию вашего превосходительства!

Рутинцев посмотрел рассеянным взглядом и отвечал величественно:

---

* Младший (*фр.*).

— Буду иметь вас в виду.

— Ах, нахал! Вот нахалище! — хохотал Квятковский, когда Володя Ратомский рассказал ему эту сцену. — «Буду иметь вас в виду!..» Неподражаемо!.. И — что здесь лучше всего: он совсем не думал сострить. Я Рутинцевых знаю как свои пять пальцев; это уж такие чудаки-ребята... Авкт в самом деле уверен, что имел право так ответить, и в самом деле будет теперь иметь Ковалевского в виду! Что ж? может быть, когда-нибудь и пригодится... Он серьезно говорил!.. Неподражаемо!..

Володя жаловался Квятковскому, что не знает, как ему держать себя в этом обществе: тяжело! Все как будто к нему придираются, в чем-то экзаменуют.

— А вы плюньте! — рекомендовал беспечальный молодой человек.

— Как?!

— Обыкновенно — как: слюнями!.. Нашел чем смущаться: экзаменуют его!.. Вас экзаменуют, а вы им врите!

— Да что же врать?!

— А что попало. В каком роде спрашивают, в том и врите. Главное — чтобы сию же минуту ответ, без малейшей задержки. По-суворовски: хоть наобум в лужу, но без немогузнайства.

— Да ведь уличат и засмеют?!

— Кто?!

— Те, кто спрашивает.

— А вы воображаете: они сами знают, о чем вас спрашивают?

Квятковский презрительно засмеялся.

— Че-пу-ха!.. Репетируют будущие житейские пьесы и пробуют роли, — больше ничего!.. Ну и — без суфлера и режиссерской указки, — ни-ни! никто ничего ни в зуб толкнуть! Стало быть, кто горазд жарить отсебятину, тот и молодец!.. А чтобы лезть вглубь и смотреть в корень, — фю-фю-фю-

фю-фю-фюшеньки!.. За кого вы нас принимаете? Pas si bêtes, mon cher!.. * Вы у церковника нашего знаменитого, князя Раскорячинского, бывали?

— Не случалось.

— Напрасно. Рекомендую! Тип достопримечательный. Хо-хо-хо! Руки четками обмотаны, на груди медный складень, ездит каждый месяц к Леонтьеву в Троицу на поклонение, от оптинского старца Амвросия благословения удостоен!.. Уж так свят, так свят, что даже когда от «Яра» пьяный едет, то на каждую церковь крестится. Левою рукою хористку обнимает, а правою крестится... Да-да! Оно помогает в наш цивилизованный век, многие этим преуспевают и карьеру делают... Ну и Раскорячинскому она, конечно, уже уготована.

— А, может быть, он искренний?

Квятковский отфыркнулся, как сердитая лошадь.

— Какой черт — искренний? Просто метит в ведомство к дядюшке, графу Буй-Тур-Всеволодскому, а тот византиец, лампадник, и только к таким же из молодежи благоволит... Искренний! Вы поговорите с этим церковником: он вас утешит! Уж на что я плох и беспечен в религии, а и то носом чувствую шарлатана. Вот будьте мне дружок: срежьте его, враля, на чем-нибудь божественном при его барынях.

— Да я сам хромаю...

Квятковский продолжал:

— Впрочем, он лгунище хитрый и осторожный: при людях, сколько-нибудь знающих, очень ловко молчит и отыгрывается постным видом. А вот при дамах ему лафа... Знаете, есть такие прелестные московские девотки, которые следят за русскою обеднею по французскому молитвеннику и принимают «изыде» за Изиду. Тут-то — пред этакими — он ломается и авторитетничает, подлец! А те, знай, отписывают в Петербург: воссиял новый столп благочестия! Ну, ко-

* Нашли дурака; мой дорогой!.. (*фр.*)

нечно, по малом времени и подопрут оным столпом какую-нибудь влиятельную канцелярию, а то и департамент.

— Право, Квятковский, не может этого быть, чтобы уж вовсе шарлатан... Сами говорите, что он вхож к Леонтьеву и Амвросию. Они бы разглядели.

— Уверяю вас: молчанкою обходит. У него талант хорошо молчать, сочувственно улыбаться, внимательно и умно слушать. Он не слушает, а внемлет, как лермонтовская пустыня: «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу», — а на груди — «звезда с звездою говорит».

— Какие же на груди у Раскорячинского могут быть звезды? Он еще студент!

— Звезды в идеале!.. Будущие! Предвкушаемые! Увидите, как посыплются: к тридцати годам сверкать ими будет! Так вот-с, сей пустынновнемлющий — при старцах этих всяких — может быть, и не понимает ничего, а рожу хранит глубокомысленную и проникновенную. Он, батюшка, умеет льстить молчанием лучше самого красноречивого паразита!.. Далеко пойдет! Способный малый!

При первом знакомстве князь Раскорячинский действительно ошеломил Володю.

— Вы верующий? — с места в карьер обратился он к юноше, строго и вдохновенно пронизав его очами того казенного серо-голубого типа, которые на славянском лице непременно говорят о матери или бабке — немке, и о которых русская поговорка определяет, что — «глаза по ложке — не видят ни крошки». — Надеюсь, что верующий. Время отрицания прошло. Материализм — банкрот. Надо быть верующим. Тем более нам, дворянам. Ведь вы дворянин? Это наш дворянский долг, c'est le but et la devise de notre épée chevaleresque *, стоять грудью за нашу святую равноапостольскую церковь.

* Это долг и девиз нашей дворянской шпаги (*фр.*).

«Равноапостольская» церковь так озадачила Володю, что он не нашелся ответом, а молодой проповедник восклицал:

— Мы, дворяне, обязаны показывать пример. Но многие ли из нас исполняют свой священный долг? Я уверен, что и вы, например, манкируете почтением к нашим священнослужащим.

О «священнослужащих» Володя опять не успел спросить объяснения у князя Раскорячинского, потому что того так и несло вперед неудержимым карьером.

— Entre nous soit dit *, я лично — сам не поклонник русского белого духовенства. Я на коленях пред русским иноком... а! какие люди, cher! ** какие люди!.. но что касается «попа»... я не люблю «попа», как класс... Это — не моя, но историческая, кастовая антипатия. Au fond ***, все они еще слишком мужики, из них старый мякинный дух не вышел, как прекрасно выразился мой дядя, когда представлялся в Гатчине Государю... Притом, — тут князь хитро прищурился и тонко улыбнулся, — я бы не прочь был проэкзаменовать наших попов, как это делается, что они стоят так близко к святыне, а из сыновей их выходят tous ces séminaristes-révolutionnaires?.. *[1] Но долг дворянина служить примером народу — прежде всего, и я, князь Раскорячинский, от Мстислава Удалого, смиреннейше подхожу к попу под благословение и непременно целую у него руку... да! руку! А священнослужбы? — опять утешил он Ратомского. — Я слабый, больной, мне вредно долго стоять, опускаться на колени, кланяться в землю. Но тем не менее каждый праздник я уже обязательно в своем приходе — и у всенощной, и у обедни. Прихожу по первому звону и остаюсь до раздачи антиминса...

---

* Между нами говоря (*фр.*).
** Дорогой! (*фр.*)
*** В сущности (*фр.*).
*[1] Все эти семинаристы-революционеры?.. (*фр.*)

— Антидора, князь! — с невольным смехом вырвалось у Володи.

Засмеялись и еще двое-трое из слушателей.

Ничуть не смущенный, князь хлопнул себя ладонью по лбу:

— Hein?! «Lapsus linguae»!.. Merçi, mon cher! Voici le vrai mot que j'ai voulu dire... Ah! Ma langue se trompe toujours... * А! Так вы — знаток? Тоже занимаетесь религиозными вопросами? Браво! С удовольствием вижу, что не чужды... да! да! Позвольте пожать вашу руку: прибыл наш полк, как говорит добрый русский народ! Я возьму вас в ученики... Да! Именно! Вы должны быть мой ученик!

Однако поправки об антидоре «учитель»-князь Володе никогда не простил, и они остались в вежливых, но холодных отношениях, чему Ратомский был очень рад: из всех юных кривляк и аферистов, собиравшихся делать карьеру на модных и властных, наплывавших из Гатчины веяниях, — кто на допетровской Руси, кто на Византии, кто на московском панславизме, — князь Раскорячинский показался сыну глубоко набожной Маргариты Георгиевны Ратомской хуже всех.

— Князь Раскорячинский? — с усмешкою говорил о нем Антон Арсеньев. — Помню, была на выставке картина, — Мясоедова или Верещагина, что ли? — «Французы в Кремле»... Лошадей в храмы ввели, курят, пьют, один готовит себе обед в церковном сосуде... Так вот этот последний, который обед себе в сосуде готовил, удивительно он походил... не лицом вовсе, не фигурою, а так — неуловимым чем-то... на князя Раскорячинского...

— Ты бы ему сказал! — смеялся Борис.

— Я и сказал.

— Ну?! Что же?

---

* Нет?! (*нем.*) «Ошибка в речи; обмолвка»!.. (*лат.*) Спасибо, дорогой! Таково свежее слово, которое я хотел сказать... (*фр.*)

— Посмотрел на потолок и поиграл чётками.

— Тартюф!

— Не ругай цветов, — будут ягодки!..

Провалившись, таким образом, и на крайней левой, и на крайней правой, Володя застрял в безразличном центре, — по симпатиям, пожалуй, ближе к левой, но по очень бледным, неспособным к действию, не дающим себе отчета, непрочным и малоискренним симпатиям. В конце концов постоянный и неизбежный вопрос тогдашней молодежи: «Какие у вас убеждения?» — сделался для Володи самым мучительным призраком — искусителем его жизни. С этим вопросом ему приходилось встречаться по десяти раз на день — и что мог он ответить?!

— Черт вас знает, Ратомский, — упрекали его товарищи, — вы какой-то чудак... Точно вас не мать родила, а нарочно Фауст или Вагнер какой-нибудь в реторте высидел. Живое вас не интересует, даже за газетами плохо следите, читаете романтическую рухлядь, стихотворную ерунду... Поэт какой-то! Живете совсем в фантастическом мире. Копнуть вас хорошенько, так, пожалуй, вы и в русалок верите.

— А что ж? — пожалуй, и верю... — улыбался Володя.

— А строения собственного тела небось не знаете?

— Не знаю.

— И — что пьете, едите — тоже?

— Тоже.

На либерально-буржуазных, уже начинавших тогда выдыхаться и застывать журфиксах Володя не без удовольствия рисовался своею оригинальною отсталостью: отсутствием политического интереса, равнодушием к социальным вопросам, невежеством в положительных науках, фантастическим настроением и склонностью к старой поэзии. Слово «эстет» еще не было произнесено в русском обществе, но Володя уже был немножко эстет. Рисовался и — производил

впечатление. Особенно в дамском обществе, где сильнее слов и стихов говорили за него золотые волосы, яркие глаза и вся наружность «молодого полубога». Даже девицы с убеждениями, хотя говорили о Ратомском, как о человеке пропащем, увлекались его «лица не общим выраженьем». Притом Володя по своей поэтической части был малым весьма начитанным: Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гейне, Мюссе, Гюго прочно сидели в его памяти; он был находчив на цитаты. А в этом отношении молодежь, разлученная со старою эстетикою литературными битвами шестидесятых годов, была в то время еще крепко невежественна. Эстетизм уже в девятидесятых годах воскрес и вырос.

Все это влияло и нравилось новизною. Во многих семьях Володя сделался любимцем и даже модным гостем. В нем видели «многообещающего», на вечера с ним звали:

— Приходите непременно: молодой Ратомский будет... Он обещал прочитать нам свои переводы из Гейне.

— Да ведь, поди, скверные?

— Ах нет! Он, когда декламирует, такой красивый.

Чаще всего Володя бывал теперь — к большому удовольствию своей матери — у Кристальцевых.

Пока Володя учился в гимназии, он недолюбливал Любочку Кристальцеву, потому что она, как девица возвышенная и с репутацией умницы, говорила с мальчиком свысока — тоном очень старшей сестры или молодой тетушки. Но с университетом и переходом Володи на взрослое положение между молодыми людьми возникла дружба по общности симпатий, которой, по-видимому, предназначалось перелиться во влюбленность, а может быть, и в любовь. Таких барышень, как Любочка Кристальцева, в ту пору было очень много, но она была из самых милых. Она играла в общественные идеалы с таким же увлечением и с такою же искренностью, как в детстве играла в куклы, сама не замечая, что слова и действительность ее жизни то и дело

разбегаются врозь, как спугнутые зайцы. Любочка декламировала Володе: «Выходи на дорогу тернистую», — но гораздо чаще ходила с ним в оперу слушать Кочетову и Хохлова. Отрицала «Бога как личность» и по часу стояла перед ивановским «Явлением Христа народу» в Румянцевском музее, крестилась, проезжая мимо Иверской, и ждала первого пасхального звона на Кремлевской площадке чуть не со слезами на глазах. Она клялась Спенсером и обожала Н.К. Михайловского, но — увы! — в сочинениях и того и другого было разрезано ею страниц по ста, а прочитано по десяти, и язвительная Лида Мутузова хоть под присягу шла, что однажды видела у Любочки под подушкою «Четверть века назад» Болеслава Маркевича. Любочка жаждала заниматься естественными науками даже и поступила бы на Лубянские курсы, но «ужасно» боялась мышей, дрожала при виде паука и представить себе не могла, как это возможно не то что распластать, но хоть в руки взять лягушку. Поэтому уверяла, что в Москве женщине негде и не с кем заниматься зоологией и физиологией, и успокоилась на ботанике, которую слушала у Горожанкина и Тимирязева, о чем любила говорить часто, много и громко. Правду сказать, и ботаника Любочке не очень-то «в наук пошла». Зато летом Любочка гуляла в полях и лесах царицынских не иначе, как с «определителем» в ручках и с ладункою через плечо, собирала гербарий, а зимою клеила премиленькие и модные тогда абажуры-транспаранты с сухими букетами, в которых она могла назвать каждую травку, — даже, пожалуй, хоть и по-латыни. Судьба Любочки была, конечно, — в скором времени выйти замуж и устроить свой дом, но пока она мечтала быть героинею и только колебалась в выборе, какою: Маргаритою из «Фауста», Верою Павловною из «Что делать?», Валентиною из «Гугенот» или Маргаритою Готье из «Дамы в камелиях»?

КОШМАРНЫЙ ДОМ

XII

Бывают дома красивые и с комфортом обставленные, в которых — неизвестно почему — ужасно тяжело дышится и мучительно спится. Бывают семьи очень интеллигентные, развитые, мыслящие, в которых тем не менее именно интеллигентного, развитого и мыслящего человека — неизвестно почему — охватывает лютая жуткая тоска. Бывают люди изящные, приличные, образованные, неглупые, с прошлым без упрека, с солидным настоящим, в присутствии которых другие люди их круга чувствуют себя неловко и, по возможности, скорее спешат от них отделаться, а отделавшись, вздыхают с облегчением, точно гору с плеч свалили: «Уф! Вот полтора несчастья пронесло мимо! Странно! Хорошие люди, а как-то с ними не того!..»

И мало-помалу вокруг них наплывает атмосфера почти суеверного предубеждения. На них смотрят кто с враждою, кто с жалостью, и все — с сознанием и чувством инстинктивной чужести. О них говорят: роковой дом, обреченная семья, фатальные люди... Такою опасною и мрачною атмосферою обволокло в Москве фамилию Арсеньевых.

Собственно говоря, в явном, внешнем быту их не было ничего неестественного и предостерегающего. Эксцентричности Антона, хотя и гремевшие по городу, вспыхивали на стороне, никогда не проявляясь в домашнем обиходе; с отцом, братом и сестрой он был в ровно вежливых, почтительных отношениях, даже не холодных, хотя и без большой нежности. Да в последнее время Антон и вообще как-то притих со своими выходками и штучками, даже реже показывался в обществе со своею Балабоневскою: уже и этою курьезною, нелепою, всем на смех, шутовскою связью ему надоело ри-

соваться и щеголять. Из остальных членов семьи пожилой отец, Валерьян Никитич — крупный чин судебного ведомства — был в старину большой говорун, гуманист, либерал, деятель, — настоящий шестидесятник. Теперь он — дряблый, сырой старик, возвратившийся в долгом вдовстве к привычкам и образу жизни старого холостяка, ежедневно винтящего в Английском клубе, и содержащий под глубоким секретом в отдаленной части города немолодую и некрасивую любовницу, бывшую бонну его дочери.

У сокровища этого Валерьян Никитич почти никогда не бывает, а когда бывает, то проводит время странно. Сокровище истязует его словесно, как ирокезская бабища пленного делавара, а он смирно сидит на стуле, никогда не снимая пальто и держа шляпу на коленях, слушает, молчит и улыбается. Случалось, что в него летели флаконы и щетки, — он только старался поймать снаряды на лету и улыбался. Квятковский, по всезнайству своему проникнувший и в эту тайну, уверял, будто однажды сокровище, окончательно выведенное из себя идиотским стоицизмом своей жертвы, запустила в старика собственным годовалым ребенком, которого упорно ставило Арсеньеву на счет, и тот с кротостью принимал, хотя фактически редактор этого непрошеного издания был ему очень хорошо известен. Непроницаемо броненосный старик подхватил дитя на лету и стал тетешкать, а осатанелое сокровище повалилось на диван в непритворной истерике. Оттерпев часа три надругательства, Валерьян Никитич выкладывал на стол все деньги, сколько при себе имел, вставал, застегивался и уходил. Удержать его хоть на пять минут далее было невозможно ни убеждением, ни силою: он, знай, пер в двери, упрямо нагнув голову, как бодливый бык. Домой он возвращался непременно пешком, далеким крюком, по самым глухим переулкам. Из глаз его капали слезы, он делал жесты руками и бормотал, бормотал, бормотал... В такой дикой экзальтации встретил его однажды где-то за Зубовским

бульваром близ Москвы-реки сын Антон. Старик смотрел прямо в лицо ему, но не узнавал и лепетал восторженно и звонко:

— Блаженны исполняющие свой долг!

— Папаша! — окликнул Антон.

Арсеньев вздрогнул, окинул сына робким взглядом и промямлил:

— Который был моим папашей... да, да, да... То есть... Извините, лицо знакомое, а... Не были ли вы оправданы...

Но тут затмение с него спало, — он страшно сконфузился, и оба расхохотались.

— Боже мой! Это ты, Антон? Представь себе: я принял тебя за одного подсудимого по делу о сбыте фальшивой монеты...

— Лестно!

— Ты не обижайся: кончилось оправданием, и я сказал очень хорошее заключение... Проклятая мечтательность! Пятьдесят восьмой год, а рассеянность — как у гимназиста.

— Вы Москвой-рекою шли? — спросил Антон.

— Да, кажется, переходил... А что?

— Я бы на вашем месте бросил эти прогулки. С подобною мечтательностью недолго очутиться в проруби.

— Гм! Ты думаешь?

Старик ласково смотрел на сына и улыбался.

— Ты ужасно умный у нас, Антон!

— Вот как? — усмехнулся Антон, — кажется, впервые от вас слышу. И нельзя сказать, чтобы за дело. Посоветовать человеку, чтобы смотрел себе под ноги, — тут большого ума не надо.

В воздухе прогудел зычный медный удар. Старый Арсеньев так и вздрогнул.

— Что это?

— Ко всенощной. Завтра Введение.

— Ага! Я думал: набат!

— Помилосердуйте! Когда же это вы слышали, чтобы в Москве в набат били?!

— В двенадцатом году... били!..

— Да вас-то тогда на свете не было.

— А этого, брат, я не знаю, был я или не был... Возможно, что и был. Все возможно.

Они прошли несколько шагов молча. Потом у фонаря старик круто заглянул в лицо сына.

— Знаешь, что? Пойдем, брат, в церковь, Антон.

— В церковь?

— Да, да, в церковь!.. Ты бываешь когда-нибудь в церкви?.. Пойдем, Антон.

— Да, пойдемте, пожалуй, если вам угодно... А в церкви я не был давно: как из гимназии.

— И я, брат, почти как из гимназии.

— Ну это вы, папаша, фантазируете: вы — персона официальная и обязаны бывать у службы по высокоторжественным дням.

— Это — в мундире и при орденах! Другое! Я не про собор говорю, про церковь... Другое! другое! Без мундира и орденов... То — собор! Блажен, иже не иде... и прочее! Церковь — другое.

Они вошли в маленькую приходскую церковь где-то у Крымского Брода. Всенощная шла в темном и не по Москве убогом приделе; молящихся почти не было; священники и дьякон служили скорохваткою, псаломщик читал точно на премию за быстроту и неразборчивость, приютские мальчики на клиросе прескучно выводили верха тонкими, писклявыми голосами, приказчик, заместитель церковного старосты, откровенно позевывал за свечною конторкою... Старик Арсеньев, как вошел, сейчас же стал на колени и забормотал. Антон наблюдал отца с большим любопытством.

— Господи! — слышал он прерывистый страстный шепот. — Господи! Я не имею счастья в Тебя верить, но это

ничего! Пусть! Тебе ведь все равно! Ты прими! прими!.. Главное: Ты прими!

Ушли они из церкви так же внезапно, как вошли, вызвав косые взгляды потревоженных богомольцев:

— Вы часто так? — вырвалось у Антона.

Старик молчал и думал, потом заговорил, не отвечая:

— А ты — славный мальчик, Антон, — право, славный. Мне понравилось, что ты стоял в церкви благоговейно и не форсил. Да. Ты неверующий и совсем чужой, — ужасно какой чужой в церкви, но стоял благоговейно. Это хорошо. Ты умеешь уважать чувства других. Каждый человек обязан исполнять личный свой долг и уважать чувства других. Это — цивилизация! Понял?

— Нетрудная теория, да и недорогая.

Они огибали лицей цесаревича Николая. Старый Арсеньев приостановился.

— Антон! — сказал он голосом веселым и значительным, — знаешь ли ты, что многие считают тебя сумасшедшим?

— Да ведь и вас тоже, папаша, — с откровенностью и невозмутимо возразил сын.

Старик вдруг ужасно рассердился.

— Ты не должен был говорить мне об этом! не должен, — закричал он. — Свинья и непочтительный сын!

Антон смотрел на отца с изумлением, а Валерьян Никитич фыркал, брызгал слюною и даже затопал ногами.

— Я, может быть, о себе и хуже что-нибудь знаю, — визжал он, — да не желаю слушать! Свинья и непочтительный сын!

Он подозвал извозчика, сел в санки и укатил домой, оставив Антона одного шагать по обмерзлым тротуарам. Антон проводил его долгим-долгим взглядом, — он думал: «Что я сумасшедший — может быть. Но задерживающие центры работают у меня лучше...»

Борис, самый живой из всей арсеньевской семьи, почти не жил дома, начиная со старших классов гимназии. Общественный и политический кипень крутил его по городу с утра до поздней ночи, забрасывая в недра родительские только спать, — да и то не всегда, — либо по делу. Трое мужчин было в доме, и дом почти никогда их не видал. Чаще других можно было застать все-таки Антона как неутомимого читателя с огромной библиотекой, но он и дома был хуже, чем не дома: мимо вечно запертой двери его кабинета все ходили на цыпочках... Он никогда никому в семье не сказал грубого слова, а его боялись до трепета. И когда он покидал свою заваленную книгами берлогу и в длинном черном узком пальто своем и высоком цилиндре исчезал в Москву, остающиеся, а в особенности остающиеся, — от Сони Арсеньевой до девочки-судомойки включительно, — вздыхали легче.

— Странно, любезный друг, — говорил Квятковский Володе Ратомскому, — знакомство у меня по всей Москве — великое. На Новый год я рассылаю несколько сот визитных карточек, а личные поздравления не в счет. Есть у меня знакомые противные, есть несчастные, есть сердитые, всякого жита по лопате. Но ко всем, когда надо в гости, я иду вполне равнодушно и спокойно, а вот к Арсеньевым не могу: всегда что-то пощипывает за сердце... И, если на мой звонок у них долго не отворяют, мне делается жутко. А когда один раз мне не открыли по третьему звонку, у меня не поднялась рука позвонить в четвертый раз, и сердце, правду сказать, нехорошо забилось от испуга. Не посмел позвонить и ушел. Хорошо, что на углу встретил их горничную Варвару, и она объяснила, что никого нет дома и вся квартира пустая, а в кухню не слышно.

— Да так и надо было сразу подумать... Чего же вы ждали?

— А Бог его знает, чего... но скверного! Представилось мне вдруг, вот-вот позвоню я еще, и распахнется подъезд,

и увижу я чью-либо из них искаженную рожу, и объявит мне искаженная рожа что-нибудь этакое, знаете, — как обухом по темени... Что старый барин только что удавился на отдушнике... Что Антон изнасиловал Соню... Что Бориса в Якутку увезли... Всего ждал. И всегда жду, когда у них бываю... Если нам с вами судьба быть свидетелями по уголовному делу, то помяните мое слово: это случится через семью Арсеньевых.

Соня Арсеньева жила в роковом и тихом одиночестве. Даже и комната ее в родительской квартире выдалась както в стороне, через коридор от других покоев, близко к кухонной лестнице. Она выросла без матери, сиротою с пяти лет, а в наследство от покойной родительницы получила когда-то неловкий подзатыльник тяжелою рукою, осудивший ее младенческие мозги на страшно медленное и трудное развитие. У нее почти не было памяти и еще меньше воли. В гимназии ее переводили из класса в класс больше за великовозрастие, смирение, добродушие и больше всего за то, что нельзя же дочери Валериана Никитича Арсеньева, какова она ни есть дура, остаться без образовательного диплома. Даже на второй год в классах ее не оставляли: настолько была ясна безнадежность ее развития. Теперь, по окончании курса, Соня с быстротою позабыла все, чему училась, — только языки еще сравнительно недурно держались в ее голове, да и то потому, что Борис заставил ее давать уроки своему «Ломоносову», Тихону Постелькину. Соне это поручение было довольно мучительно, потому что ей, чтобы дать урок, всякий раз приходилось предварительно вызубрить его самой. Но она не умела отказывать — тем более Борису: Бориса она обожала. Да и вообще — повиноваться и услуживать лежало в основе ее неповоротливой, пассивной натуры. Она и в гимназии была на посылках у всех учительниц, классных дам, подруг, а из последних больше всех у бойкой Лидии Мутузовой, с которою рядом просидела в течение всего курса,

с первого класса до последнего. Соня была у этой девицы в полном и беспрекословном повиновении. Лида Мутузова иногда останавливала в рекреационном зале какую-нибудь маленькую и важно экзаменовала ее.

— Назовите известные вам породы вьючных животных?

Маленькая поспешно рапортовала ходячую гимназическую шутку:

— Лошадь, верблюд, лама, осел и Соня Арсеньева.

Соня была очень добра и мягка характером, но в ее готовности на послугу, в ее нерассуждающей отзывчивости повиноваться было кое-что и не от доброты — чувствовалось нечто механическое, машинальное. Она исполняла просьбы так быстро, с такою простотою и непосредственностью, что всегда опаздывала подумать, надо ли было и прилично ли исполнять. Лида Мутузова, девушка насмешливая, большая охотница до злых шуток, часто ставила ее своими фантастическими приказаниями в самые глупые и неприятные положения. Однажды Соня возвращалась домой из бани с горничною своею Варварою, сестрою Тихона Постелькина. На крыльце Варвара взглянула себе на ноги и сказала:

— Ишь, башмак развязался... Барышня, завяжите, пожалуйста: мне с узлом неловко наклониться...

Соня сейчас же наклонилась и завязала башмак. Из подвальной кухни смотрела и смеялась прислуга. Варвара тоже смеялась...

— Эх вы! типа! — без церемонии призналась она своей кроткой госпоже. — Разве можно так? Ведь я нарочно. Я с барышней Мутузовой держала парей, что вас можно заставить даже и на такую шутку...

Соня никогда не хохотала и никогда не плакала. Когда ей бывало весело и приятно, она улыбалась с тихою и необычайно светлою радостью, — грустила она редко, — обидеть ее было трудно: молчаливая и удивленная, она слушала насмешки и оскорбления с глубоким и пугливым недоумением,

перед которым в конце концов пасовали злые языки и сердца. Если ее слишком мучили или делали ей больно, глаза ее — большие влажные арсеньевские глаза — наполнялись слезами, но слезы не капали с ресниц. Этот неразрешающийся плач обезоруживал и умилял.

— Ты — точно Ксения Годунова, — уверяла ее Мутузова. — Ту, знаешь, — факт исторический! — Самозванец колотил по зубам, чтобы она плакала и становилась хорошенькою. Не выходи, Сонька, замуж: тебя тоже муж бить будет для эстетики!

Борис очень любил сестру. Антон наблюдал ее с холодным любопытством как некоторый физиологический курьез и говорил:

— Кажется, российские Ругоны для полноты коллекции вырастили свою Дезире?

Старик Арсеньев стоял перед дочерью в хроническом недоумении: что ему с ней делать?

— Ждите, покуда Господь ее умудрит... — советовала Маргарита Георгиевна Ратомская.

— Помилуйте, Маргарита Георгиевна, до каких же пор ждать? Я жду с пяти лет ее, а вот — ей восемнадцатый... Надеялся, что будет перелом лет в тринадцать, в четырнадцать — в критический возраст... нет! не помогло.

— Замуж выдавайте скорей! Увидите: из нее выйдет отличнейшая мать и хозяйка.

Арсеньев поглядел мутными и жалобными глазами.

— Жаль!

— Да жаль-то жаль, — согласилась Ратомская.

— И совестно!

— Пожалуй, что и совестно...

Чего старикам было жаль и совестно, они не могли определенно уяснить ни друг другу, ни даже самим себе, но действительно было и жаль, и совестно.

И все-таки Валерьян Никитич попробовал было.

— Что же? — рассуждал он перед Ратомскою, словно оправдывал себя. — Ведь не идиотка же она какая-нибудь, не юродивая, даже не дурочка... Она — и хозяйничать, она — и гостей занять, если надо... Вон я подслушал как-то: она прислуге письма пишет — в деревню... Превосходно. Так толково, с ясностью, здравомысленно и вполне в их вкусе... Отличной нравственности!.. Характер такой прекрасный, что его и вовсе нет!..

И вот — в доме Арсеньевых учредились было какие-то захудалые журфиксы, и на них стали появляться франтоватые кандидаты на судебные должности, секретари окружного суда, искатели следовательских и прокурорских назначений, помощники присяжных поверенных... Толпа с ласковыми глазами, вожделеющая протекции и дел, быстрой карьеры, легких повышений.

— Что же! — опять рассуждал старик, — оно, разумеется, не того... На допетровские смотрины похоже... и даже на рынок невольниц в Марокко... Но разве — у нас первых и последних? В нашем ведомстве даже принято... Все мои товарищи выдавали так дочерей: без приданого, зато — с протекцией... дорогу зятьям открывали! Оно, если хотите, на дореформенное духовенство немного смахивает: бывало, приходы так передавались — от тестя к зятю вместе с поповною... Да что же делать иначе-то? С волками жить, по-волчьи выть. На том стоит мир и вертится жизнь...

Но в решительный момент, — когда Соне было сделано первое предложение, — и блестящее: посватался, после отказа Евлалии Ратомской, Илиодор Рутинцев старший, — Валерьян Никитич смутился, упал духом, сразу потерял веру в свою затею.

— Совестно!

Жениху он налопотал какой-то бессвязной дряни и просил приехать за ответом завтра. Позвал на совет Антона. Тот

выслушал холодно, с презрением в глазах, потом принес из своего кабинета маленькую французскую книжку.

— Прочтите... В вашем положении полезно.

— «Берта»?.. рассказ Гюи де Мопассана?..

Валерьян Никитич озлился.

— Я тебя за серьезным делом позвал, а ты гаерничаешь!

— Я не гаерничаю, — грустно возразил Антон.

— Так зачем суешь мне своего Мопассана? Ты мне скажи свое мнение, выдавать Софью или не выдавать, а не Мопассана... Малый-то ведь хорош, жених хоть куда... Говори, как по-твоему, да или нет?

— Тут, в «Берте», и мое мнение высказано... Почитайте! Говорю вам: невредно.

Назавтра, в ожидании Рутинцева, старик волновался ужасно. На Соню почему-то с утра дико раскричался, а потом стал над нею плакать и ее чуть не довел до слез, — о сделанном предложении она ничего не знала и испугалась за отца, что он, должно быть, болен.

Рутинцев, эффектный и даже величественный в своем безукоризненном рединготе, розовый, упитанный, с упругими щеками на углах белоснежных воротничков, застал Валерьяна Никитича в рабочем кабинете. Старик волчком вертелся вокруг огромного письменного стола, без толка перекладывал с места на место синие папки «дел» и... пел! Голос был дикий, мелодия еще хуже, а слова — совсем ошеломляющие:

Что мне делать с кошками?
Не отходят прочь,
Под самыми окошками
Мяукают всю ночь...

Рутинцев невольно подумал, что нареченный тесть клюнул с утра или рехнулся за ночь. Арсеньев же просто желал явить себя перед женихом в прекрасном и беспечном на-

строении духа: так, мол, беззаботен и настолько мало значения придаю вчерашнему разговору, что — слышите? знай наших! даже пою!.. О кошках же пел без всякой аллегории, но потому, что другие песни, которые знал смолоду, все от волнения перезабыл, и почему-то единственно кошки эти уцепились когтями в его старческую память.

Рутинцев изъяснил, что приехал узнать решение своей судьбы. У Валерьяна Никитича задергало судорожно щеку и глаза скосились, как у паралитичного.

— Да, да, да... судьбы, судьбы... помню, помню... — забормотал он проворно, словно с отчаянием, и, видимо, теряя нить мыслей. — Да... Так вы желаете знать... Да!.. Э-э-э... Что мне делать с кошками? — отчеканил он внезапно с отчетливостью, устремляя на Рутинцева, как на подсудимого, пытливый, председательский взгляд.

Рутинцев был человек смешливый, но ему удалось не рассмеяться, когда он изъяснял, что, собственно, этот вопрос — о кошках — его мало интересует, а вот — как принято его предложение?

Валерьян Никитич смутился, сделался кумачный.

— Благодарю, благодарю, благодарю... — совсем не своим голосом запищал он, «швыряясь» делами по столу, — молода, молода, молода... и...и...и... глупа! Не невеста-с вам, не невеста-с... Не могу-с! Не хочу-с! Извините-с... Не могу-с!

— Слушайте! — крикнул он вслед уже уходившему было озленному и сконфуженному Рутинцеву. — Молодой человек!.. Как вас?! Рутинцев! Слушайте!.. Вы читали Мопассана?

— Да.

— Отличнейший писатель!.. Да... Ну не смею задерживать...

Что мне делать с кошками?
Не отходят прочь,
Под самыми окошками
Мяукают всю ночь!

Рутинцев в бешенстве прошел к Антону Арсеньеву и застал его в постели, с опухлым лицом и тяжелым похмельем в голове.

— Слушай, Антон! Это не может так кончиться. Твой отец — невозможный человек. Я к нему — с вопросом целой жизни, а он мне о кошках...

Антон выслушал, страшно зевая, и сказал:

— Брось!

— Как «брось»? Не желаю я! Нельзя так со мною.

— Что же ты — пылко влюблен, что ли, в нашу Софью?

— Я не романтик, Антон, и порядочный человек. Уверять тебя, что я безумно люблю ее, я не намерен, но что она мне очень симпатична и нравится, это говорю тебе с убеждением и твердо.

— Ты ведь только что к Евлалии Александровне сватался?..

— Так что же?

— Разнообразие вкуса у тебя поразительное.

Рутинцев слегка скривил губы.

— Повторяю тебе: я романическими страстями не одержим. Я смотрю на брак серьезно. Ищу не любовницу страстную и не героиню вздыхающую. Мне нужна жена, подруга жизни: симпатичный человек и хорошая партия...

— Какая же партия тебе наша Софья?

— Об этом позволь мне судить. Думаю также, что, если спросить ее... Ты морщишься?

— Голова, брат... Коньячище в портер лили...

— Если спросить Софью Валерьяновну, она тоже вряд ли скажет, что я ей противен...

— Брось!

— И наконец, если даже отказ, — на все есть своя форма... Евлалия Александровна отказала мне. У нее ветер в голове, она витает в возвышенном и все куда-то на Монблан мыслями стремится... Ну и Брагин тут... Но я нисколько не в

претензии, потому что все было корректно... Люди должны быть корректны! А твой отец — я не знаю, что... Кошки... Мопассан...

— Брось, говорю. Видишь: человек еще не решил даже, что ему с кошками делать, а ты к нему пристаешь о дочери.

— Похлопочи за меня, Антон!

— Нет, брат, не проси. Я не в свои дела мешаться ненавижу, а в такие — подавно. Брось! И сестры жаль, и тебя жаль. Не пара вы. Да и никто ей не пара из вас, милейшие джентльмены!

— Вот как?! Смею осведомиться, почему?

— Потому что она — убогая. Красивая, но убогая. Всякий, кто женится, сделает ее несчастною, а себя подлецом. Ты отличный малый, но если ты на ней женишься, то уже через месяц будет у тебя любовница, которая станет твоей настоящей женой, а Соня будет твоею бонною и экономкою, единственно на что, правду сказать, она и годится... Да еще и ненавидеть ты ее будешь, что связал, дескать, себя на всю жизнь с глыбою, и закрыла она тебе все перспективы... Нет, Рутинцев, за честь — спасибо, а не пара вы, — ей-Богу, не надо! И — баста! Давай лучше о кошках!

А ввечеру того же дня на дальней московской окраине в гостиной зажиточного мещанского домика сидел Валерьян Никитич Арсеньев, пригорюнясь, у круглого стола под гарусной скатерью, держал шапку на коленях и слушал. Маленькая, сухая, тридцатилетняя женщина с зеленым от злости лицом наскакивала на него с желтыми кулачками и визжала:

— Какой вы честный человек? Кто вам сказал, что вы честный человек? Жива быть не хочу, если вы честный человек! Кто же после того подлец, если вы честный человек! Людей в суде судите, а невинную девушку погубили? Негодяй вы, а не генерал! Вас самого, первого, в три каторги надо! Что вы о себе воображаете? Я на вас в комиссию прошений... Вас со службы протурят! В острог сядете! Мерзавец!

Валерьян Никитич слушал и улыбался.

Проводив его из дому проклятиями, зеленая женщина сосчитала деньги и весело позвала:

— Маменька! Мерзавец-то сегодня расщедрился: отсыпал шесть четвертных.

Маменька — особа, должно быть, сырая, жирная и сонная — почавкала за перегородкой зевающим ртом и сказала:

— Купи на шубку соболий воротник.

На Москве-реке, дорогою между прорубями, шагал высокий старик с бабьим лицом, в бобровом пальто. По щекам его катились и замерзали на бакенбардах слезы. Он смотрел на звездное небо и бормотал:

— Блаженны наказуемые за грех! Блаженны щадящие. Блаженны исполняющие свой долг!

XIII

В бесхозяйных домах с господами вечно в разброде прислуга всегда приобретает много значения. У Арсеньевых оно было так в особенности, потому что Соня, — в отличие от отца и братьев, постоянная домоседка, — одинокая, кроткая, ленивая, недалекая, — была очень любима прислугою и сама дружила с нею близко и фамильярно.

— Это такая барышня, — с восторгом говорили о Соне по кухням, людским и дворницким огромного старого дома, где искони квартировали Арсеньевы, — такая хорошая барышня, что только ею вся ихняя фамилия держится... Бог терпит грехам за ее честную добродетель! А то всем бы надо провалиться в тартарары, потому что очень безбожники!

Кто-нибудь заступался.

— Бориса Валерьяновича тоже нельзя похаять. Очень к нашему брату ласков и прекраснейший господин.

Но тут старший дворник дома, Вавило Парамонов, мордастый, налитый пивом человек, делал страшные глаза и, тонко сплюнув сквозь зубы на сапоги соседа, возражал с глубокомыслием:

— Спасения души все же никогда не получит и в генералы — сомнительно, чтобы произошел! Потому что обозначается в участке как есть называемый — сицилист!

— Билеты, что ли, им выдаются особые сицилистам? — интересовалась кухонная аудитория.

— Билетов нет. Не установлено. По приметам различаются.

— Какие же ихние приметы, Вавило Парамонович?

Дворник строго смотрел на свою публику, поднимал палец и значительно произносил:

— Зловредные!

Горничная Сони, Варвара, сестра Тихона Постелькина, — девица длинная, тощая, безгрудая, востроносая, с неглупыми мутно-серыми глазами, в слабых веснушках по бледно-восковому лицу, — отличалась характером властным и командовала своею барышнею с большою к ней ревностью и с взбалмошными капризами. Но если бы для благополучия Сони понадобилось, чтобы Варвара спрыгнула с Ивана Великого, то, вероятно, эта девица недолго размышляла бы, что от нее останется после такого сальто-мортале. Не больше Сони, но, пожалуй, наравне с нею, Варвара любила только меньшого брата своего, Тихона, которого почитала, — лишь бы Бог помог да добрые люди дали ему образоваться и выйти из сероты! — самым прекрасным и умным мужчиною на свете. И — если бывали счастливые минуты в жизни Варвары, то это — когда Соня давала Тихону уроки французского языка.

— J'avais eu une maison et un jardin...* — звучит мягкий контральто Сони.

* У меня были дом и сад... (*фр.*)

— Жавезю... — робко плетется за нею Тихон.

— Не «жавезю», а j'avais eu... * Еще раз, Тихон Гордеич.

— Жавезю...

Варвара непременно сидит или суетится с какою-нибудь работою в соседней комнате или коридоре против раскрытой двери, благоговейно ловит обоими жадными ушами непонятные французские слова и утопает в блаженной гордости. Если бы в это время предстал ей некий демон и соблазнял:

— Чего хощеши, раба, на выбор: чтобы весь мир принадлежал тебе, но эта комната провалилась, или — пусть весь мир провалится и только эта комната уцелеет?

Варвара бестрепетно приказала бы:

— Катай, Анчутка! проваливай мир!..

Нежные чувства к Соне не препятствовали Варваре время от времени устраивать предмету своего обожания жесточайшие сцены. Тогда она носилась бурею по комнатам, свирепо топая пятками и хлопая дверями, с грохотом швыряла посуду по столам и в недра шкафов, вооружалась безмолвно угнетенною надутостью дня на четыре либо разражалась ярым визгом на весь дом, что — я-де барышне не крепостная, да барышня-де кровь мою выпила, да я-де у барышни в работе, как ломовая кляча в оглоблях, да я-де такой неблагодарной дуре служить не желаю, да что-то неблагодарная дура запоет, когда спрошу расчет и паспорт, да как она, дура, без меня сумеет в люди выйти, да ведь над нею, над дурою, все смеются... И так далее, пока взбесившуюся Варвару не сваливала с ног истерика. Визжать и неистовствовать Варвара имела обыкновение внизу, в подвальной кухне, но так, чтобы к Соне — вверх по лестнице — доходило каждое слово. В такие лютые безвременья Соня, подобно пингвину, укрывалась в свое гнездо и, — если гроза грохотала уж

* Я имел, обладал... (*фр.*)

очень страшно, — даже ложилась в постель и прятала голову под подушку — впредь до разрешающей бурю варвариной истерики. Заслышав же всхлипыванья, хохот и стоны, Соня немедленно являлась на театр военных действий в качестве сестры милосердия, с валерьяном и лавровишневыми каплями. Варвара приходила в себя, обе плакали и просили друг у друга прощения, и наступали месяца на два «на земле мир и в человецех благоволение».

Брат и сестра, Тихон и Варвара Постелькины, — не с ветра люди в Арсеньевском доме. Над квартирою есть обширный мезонин, а в мезонине вот уже шестой год полулежит в старом вольтеровском кресле тучная, обезноженная каким-то нервным поражением пожилая женщина, которую зовут Марина Пантелеймоновна, для услуг которой Арсеньевы нанимали нарочную девчонку и которой все в семье изрядно боятся, а почему, — этого, кажется, никто из Арсеньевых сам не знает толком. Просто, — принято и привыкли бояться, и боятся очень. Эта Марина Пантелеймоновна — старая камеристка покойной барыни Натальи Борисовны, матери Антона, Бориса и Сони: дамы, чрезвычайно эффектно спалившей свою жизнь и два родовых состояния, собственное и мужнино, в Париже, на закате веселых тюильрийских дней, а конец свой получившей, как повествуют злые языки, от какого-то чересчур забористого питья, принятого с какими-то двусмысленными целями в непомерно большой дозе. И при жизни барыни, и по смерти ее Марина Пантелеймоновна управляла арсеньевским домашним хозяйством с деспотическою властностью, покуда не потеряла ног. Тогда ее вознесли в мезонин и водрузили там как некую грозную домашнюю богиню. Обессиленная и недвижимая, она — и отсутствуя телом — продолжала символически владычествовать в семье.

— Уж я и не знаю, что мне с тобою делать, — читает Соня нотацию какой-либо шкодливой посыльной девчонке или

вороватой кухарке, — ты совсем от рук отбилась... Я не могу... Видно, надо сказать Марине Пантелеймоновне...

Волшебное имя производит чудеса: шкодливая девчонка ревет и клянется, что больше не будет, и действительно не шкодит два-три дня, а вороватая кухарка после призыва в мезонин, хотя ходит хмурая, но сдачу с рынка приносит полностью и второго сорта говядины за первый не выдает.

Причины несомненного и крутого влияния Марины Пантелеймоновны на семью Арсеньевых московские сплетни объясняют разно. По одним слухам, Марина Пантелеймоновна, как верная наперсница покойной «бонапартистки», полна ее секретами, да такими солеными, что Арсеньевым от их раскрытия не поздоровилось бы, и, угождая Марине Пантелеймоновне, семья охраняет свою фамильную честь. По другим, — никаких «удольфских таинств» за Мариною Пантелеймоновною не водится, но просто — амуры. Когда бесшабашная «бонапартистка» отлетала на свои тюильрийские авантюры, Марина Пантелеймоновна оставалась при Валерьяне Никитиче как бы наместницею с супружескими полномочиями и в этом качестве успела забрать его под башмак. Когда же «бонапартистка» покончила свое земное странствие, то Марина Пантелеймоновна, пожалуй, даже и женила бы на себе Валерьяна Никитича, да, на беду свою, сама была замужем, а потом — Бог ноги отнял. Третье мнение, — и самое вероятное, — было, что разгадка — совсем не в секретах и амурах, но Арсеньев, как замечательно добрый и мягкий человек, не захотел отправить ни в больницу, ни в богадельню старую, верную слугу, нянчившую его детей. Неизлечимо больной калека — всегда деспот в сострадательной среде интеллигентных и порядочных людей. Марина же к тому еще баба капризная, гордая, крутонравная, зверь-баба, а Арсеньевы все — бесхарактерное тряпье. Когда-то Марина Пантелеймоновна была, говорят, редкою русскою красавицею. Теперь она — туша старого, тухлого, зло-

го мяса, обуянная лютою надменностью и каким-то беспричинным, холодным гневом. Она глубоко презирает всех в доме, а больше всех самого Валерьяна Никитича, делая некоторое исключение лишь для Антона. С ним ее отношения престранные.

Варвара и Тихон Постелькины приходятся этому недвижному чудищу племянниками. Чрез Марину Пантелеймоновну Варвара попала в дом служить, а чрез Варвару Тихон стал известен Борису и сделался вхож к нему.

Когда мужские комнаты арсеньевской квартиры пустеют, кухонная лестница подле Сонина гнезда необычайно оживлена. По ней то и дело восходят и нисходят курносые Глафиры, скуластые Дарьюшки, щепкообразные Танечки, слоноподобные Аграфены, Фанни, расфуфыренные по модной картинке, и Соломониды с потными лицами, в юбках, подобранных по колено, в бегемотовых башмачищах и пламенно-малиновых шерстяных чулках. Побывать-повидать добрую арсеньевскую барышню ведется у женской прислуги двора вроде ежедневного священного обряда.

— Дверь-то всю обшмыгали, крысы хвостатые! — рычит в подвале кухарка, притворяясь, будто ей до смерти надоел снующий мимо бабий поток.

— Уж ты, тетка Акулина!..

Чаще всего приходят читать и писать письма. Соня знает про весь двор, кто из какого уезда и деревни, у кого где родители, муж, жених, ребенок, любовник, у кого злая свекровь, у кого нет ладу с золовками. Знает все горести и радости двора: кому пишут с родины, кого забыли, кто тоскует «по своему месту», кто о нем — и где оно осталось-то, помнить не хочет. Знает все вести, слухи и сплетни, на каком месте жить хорошо, где худо, кто на какое место поступает, кто, куда, с какого места уходит, где барыня своеобычна, где барин охальник; где голодом морят, где кормами хоть облопайся, да зато терпи, молчи, если оттрепят за косу или

попадет в щеку; откуда не позволяют в гости ходить, где позволяют гостей принимать; которая барыня жалованье ужиливает, которая барыня сама за провизией ходит, на которую барыню к мировому подано; кто в кого влюблен, кто с кем живет, кто кому изменяет, кто готовит нового жильца в воспитательный дом; кого, мочи нет, дети каждый год одолели, кого муж не любит — тиранит, зачем детей нет.

Соня слушает все механически, молчит, ласково улыбается — бабья трескотня в одно ухо ей войдет, в другое выйдет: сию минуту слышала — через четверть часа забыла. И посетительницы ее знают и высоко ценят.

— Не как другие барышни, которые сами заманивают нашу сестру — выспросят, выпытают и потом пущают сплетни, сказывают на нас, будто оно от нас выходит... Софья Валерьяновна — крепкий человек: не выдаст!

Еще любили в Соне, что, благодаря своей забывчивости, она не скучала слушать повторения: ей можно было по десяти раз рассказывать одну и ту же историю, а она, знай, внимает, как будто и с новым интересом во взгляде и улыбке. Поэтому битые, униженные и обманутые ходят к ней бесконечно жаловаться и плакать, как их тиранят, сквернят, надувают, пока не выплачут до дна и не разменяют частыми причитаниями своего большого трудного горя. Счастливые, любимые, балованные прибегают похвастаться, как их уважают, нежат, ласкают: повторяются и развиваются в романическую легенду рассказы о первой встрече и первом поцелуе, без конца перечитывается милое письмо — весточка от дружка либо с родимой сторонки... Всем же вообще особам этим Соня дорога была как пассивный центр некоторого клуба-самородка, что ли: нравилось забежать на минутку, столкнуться с двумя-тремя еще из «нашей сестры» и наскоро посудачить, без страха и в полное удовольствие почесать язык при милой душе, под ласковым вниманием приятного участливого человека.

В первобытной среде этой, тронутой уже городским распутством, Соне, конечно, приходилось слышать дурные слова, гадкие мысли, узнавать о скверных делах и пошлых грязных чувствах. Уже одна ее Варвара, увядающая девица по паспорту, с пылкими страстями и весьма романическим прошлым, когда сбрасывала с себя чинную, комнатную «великатность» и распоясывалась во всю ширь своей фабричной натуры, могла отравить даже самое устойчивое воображение. Но, к счастью Сони, темперамент спал крепким сном в ее опоздавшей развитием натуре, и, как это обыкновенно бывает у спокойных, еще бесполых нравственно, юных существ, грязь текла по ней, не прилипая. Лидия Мутузова застала однажды Соню, как она писала длинное письмо под диктовку соседской кормилицы — дородной женщины, заплаканной до того, что веки у нее вздулись пузырями.

— А ежели будут не сплетки о вас, а все-то верные слухи, — протяжно и всхлипывая между слов, говорила женщина, — что будто вы, Иван Трофимович, стали теперича после дурной болезни... Написала, родимая?

— Погоди... сейчас... «болезни»... Ну?

— То вам бы, несчастному сволочу, за оное ваше паскудство...

Мутузова расхохоталась.

— Сонька! Неужели ты ей все так и пишешь?

Соня посмотрела с удивлением.

— А как же? Ей же так надо...

— Сонька! Ты самый глупый и самый милый человек во всей Москве!

Старики — Маргарита Георгиевна Ратомская и Валерьян Никитич Арсеньев — были дружны. Дети их — не очень. Кратковременная близость Бориса и Володи таяла с каждым днем. Без ссоры и столкновений юноши разного темперамента и разных влечений уходили все дальше и дальше к разным симпатиям и на разные дороги. Антона у Ратомских

откровенно не любили. К Соне относились с ласковым снисхождением, но общества ее не искали, а при новых и взыскательных гостях даже немножко ее побаивались.

— Это еще очень хорошо, что она все молчит, — говорила Маргарита Георгиевна. — У меня всегда сердце дрожит, когда она открывает рот: вдруг скажет что-нибудь этакое... ведь наивна до жалости! И — никакого воспитания... Только и есть у девушки, что порода дала, а гимназия не успела испортить!

Ближайшим другом одинокой Сони Арсеньевой оставалась Лидия Мутузова, хотя Антон и выражался о ней:

— Разве она бывает у Сони — для Сони? Она ходит в гости к Сониным горничным.

— Ты всегда с резкостями! — заступался мягкосердечный Борис. — За что? Лидия Юрьевна — недурной человек. Правда, в ней нет общественной жилки, но ты не можешь отрицать, что она умна, талантлива, много читала...

— Да, память на имена и цитаты — здоровенная, — и каша в голове — крупичато-рассыпчатая.

— Наконец, остроумна... Сам же ты прозвал ее «Шпагою».

— Не я, а Квятковский... И то больше за худобу и длинный нос... Впрочем, ты напрасно споришь: я против достоинств Лидии Юрьевны не возражаю...

— А приравниваешь к горничным!

— И не думал. Я сказал только, что она любит общество горничных. А любит потому, что при всех ее отличных качествах у нее в душе спрятан поросенок, который тянет ее в грязь.

— Начинается! — сердился Борис.

Антон смеялся и говорил:

— Ух! какая в этой девице пропадает великолепная проститутка!

— Антон! Антон! Постыдись: после таких слов о знакомой девушке — у тебя у самого в душе поросенок!

Антон смеялся, кривился, морщился.

— Зачем умалять мои прелести? У меня-то уже не поросенок, а целый породистый йоркшир.

Лидия Мутузова знала, что Антон относился к ней презрительно, нехорошо, и платила ему взаимностью. Но какое-то тайное сродство натур, — может быть, и впрямь поросенка с йоркширом, — сказывалось между ними, и — встречались они и беседовали очень охотно, а расходились, наговорив целую кучу парадоксов, острот, колкостей, впустив друг в друга десятки отравленных булавок, злые, но довольные.

— Ты смеешься над Лидою, — уличал брата Борис, — а разговариваешь с нею охотнее, чем со всеми нами.

— Я вовсе не с нею разговариваю. С нею разговаривать нельзя. Она не дает времени: все сама с собою разговаривает... Поставит перед собою этакое, если позволишь выразиться, словесное зеркало, и пойдет позы пред ним принимать: так — я умна и интересна, сяк — еще лучше...

— Антон! Антон! Не говори вздора!

— Право, нет... Я тоже люблю думать вслух. Знаешь, как в театре — монологи. Но в жизни оно не так удобно: принимают за сумасшедшего. А Лида Мутузова на этот счет — отличная собеседница, потому что она ничем не интересуется, кроме себя самой, ни о чем, кроме себя самой, не умеет думать и говорить. Тоже ходячий автобиографический монолог. Ну вот — она сидит и наслаждается собственною своею персоною, а я своею. Она играет умом, как бриллиантом, и трещит, трещит, трещит о своем «я», а я хожу по комнате и размышляю вслух тоже об «я». У меня «я», и у нее «я»... И друг друга мы не слушаем и не понимаем, и обоим не обидно. Словно две канарейки рядом распелись... А со стороны оно как будто и благопристойно, без полоумия выходит, — хотя эксцентрический, но идейный разговор.

— Врешь! врешь! Отвечаешь же ты ей что-нибудь!

— Машинальные реплики!.. механические рефлексы!.. Знаешь, — вроде слепцовского мужика, который думал о коронации, а спорил о лошадях князя Воронцова.

Способностями природа Лиду Мутузову не обделила. Она воображала себя некрасивою, — совершенно напрасно, по самовнушению какого-то извращенного капризного кокетства, — и хвастливо заявляла:

— Нам, дурнушкам, надо головою брать.

Она немножко пела, немножко играла, немножко сочиняла, немножко рисовала, а теперь увлекалась сценою и собиралась в актрисы, несколько более серьезно, чем раньше — в певицы, пианистки, поэтессы и художницы. Настоящего таланта у нее и тут не оказалось, но — за неимением талантов на драматических курсах — и Мутузова сходила за талант, потому что читала неглупо, с холодной, но красивой аффектацией, а главное, была мастерица копировать: жест возьмет взаймы у Ермоловой, интонацию у Федотовой, улыбку у Никулиной, — глядь, и вышло что-то не без занимательности... винегрет из знакомого, а будто и что-то свое.

— А большой актрисы из нее все-таки не будет, — не щадил ее Квятковский, который знал, любил и понимал театр. — Подражательность — сила, покуда она между нами, в четырех стенах... У рампы такие умные копии знаменитых оригиналов — карикатуры... и скучные! Из хороших имитаторов всегда выходят плохие актеры...

Мутузова была слишком умна, чтобы самой не понимать непрочности своих драматических удач. Девушка она была самолюбивая и скрывать свои угрызения умела хорошо. Но — как часто после ученического вечера или спектакля от школы она, осыпанная аплодисментами, полны уши комплиментов, с букетом в руках тряслась темною Москвою на плохих извозчичьих санках, и нерадостные слезы капали из умных глаз ее на худые щеки, и тонкие малокровные губы кривились и шептали:

— Все не то... обезьяна!.. обезьяна!.. не актриса, а обезьяна!.. Я бы, кажется, десять лет жизни отдала, чтобы найти в себе что-нибудь искреннее... свое! — горячо вырвалось у нее однажды в разговоре с Антоном Арсеньевым.

Были они одни, вдвоем, в огромном пустом номере меблированных комнат, которые содержала мать Мутузовой. Никто никогда этого номера не занимал по его дороговизне, и Лида пользовалась им, чтобы разучивать роли.

Антон прищурился с едкою насмешкою.

— У вас есть свое...

— Вы находите? — с недоверчивою радостью встрепенулась Лидия.

— Пылкое воображение, — докончил он обидным, наглым тоном соучастника в нехорошей тайне, цинически улыбаясь ей в лицо.

Она сделалась белая, как платок, потом вспыхнула заревом.

— Я не понимаю, Антон Валерьянович...

Он быстро оглянулся, нет ли кого, и вдруг крепко привлек ее к себе за тонкую, гибкую талию.

— Вы с ума...

— Я *твои* рисунки видел, — прошептал он ей прямо в ухо с веселою, глумливою выразительностью.

Глухой вздох вроде стона вырвался из горла Мутузовой. Она не шевельнулась, осталась сидеть на его коленях, только спрятала лицо на его груди да осунулась вниз всем телом, словно мешком повисла. Антон с любопытством смотрел на ее трепещущие плечи и длинную голову в красиво-пушистых, светло-русых волосах. И видел он, что трепет ее не от страха и не от стыда и гнева.

— Кто *тебе* показал? — услыхал он шепот.

— *Ты* сама забыла у нас портфель.

— Ой?!

— Я спрятал, чтобы не попал в руки Борису или Соне.

Она откинула голову и показала Антону лицо, красное, с открытым ртом, с маленькими влажными глазами, — мордочку одурелого от страсти бесстыдного хорька...

— А ведь ты меня не любишь! — сказала она спокойно.

— А разве это нужно? — возразил он.

— И я не люблю тебя.

— Я знаю.

— Хорош мальчик!

— Да и девочка недурна!

Она засмеялась, отстранилась и, почти шатаясь, слабыми ногами прошла к зеркалу поправить взбитую прическу.

— Демон! нет, ты — Демон!.. — говорила она, набрав полон рот шпилек, с тою непостижимою быстротою, которая на этот счет отпущена природою, кажется, на всем свете только одним прекрасным, но малоопрятным москвичкам. — А рисунки мои хороши?

Антон, не отвечая, долго смотрел на нее и с улыбкою качал головою.

— Большого разврата будешь ты женщина!

Лидия скорчила гримасу и сделала низкий реверанс.

— Merci, monsieur! *

— Pas de quoi, mademoiselle! **

Она подбежала к нему и больно тронула его за ухо.

— Когда я буду замужем, я сделаю вам честь — попробую взять вас в любовники.

— Постараюсь быть свободным от ангажемента... — любезно поклонился Антон.

— А до тех пор... знаете... не надо этого... повторять!

— Я того же мнения.

— Голова — вещь слабая: может и закружиться.

— Не лишена способности.

— Ведь у вас ко мне это — так? научный интерес?

Антону стало совсем весело. Он засмеялся и опять поклонился.

— Прекрасно сказано, Лидия Юрьевна: научный интерес.

Оба расхохотались и разошлись. И только когда Лидия осталась одна, на бледном, белом лице ее выразился ужас.

* Спасибо, месье! (*фр.*)

** Не за что, мадемуазель! (*фр.*)

Она думала: «Увернулась... Когда-нибудь не увернусь — и не он, так другой сожрет меня, как цыпленка...»

Антон сдержал слово, и любовных сцен между ними больше не начиналось. Да и, в самом деле, правда была: Мутузова ему не нравилась, как и он ей, и разыгрался только «научный интерес» — порочное любопытство друг к другу двух инстинктивно близких существ с загрязненною мыслью и отравленною кровью.

У Ратомских Лида Мутузова не пользовалась большим фавором — особенно в старом поколении, у Маргариты Георгиевны и у m-me Фавар — старой гувернантки барышень, доживавшей в доме свой век на положении друга семьи, дороже самой близкой родственницы.

— Не люблю я, — объясняла Маргарита Георгиевна, — не охотница я, чтобы бывали в доме барышни, с родителями которых я не могу быть знакома...

— Мутузовы представлены вам, мама, — защищала Евлалия.

— Да что же представлены? Лучше бы не представлялись... Отец — пьяный бурбон, выгнан из гвардии за карты, кроме как в полиции нигде себе места не мог найти; мать — старая институтская кривляка, истеричка, тоже картежница, номера какие-то держит... дворянское ли дело?

— Не Лида же виновата, мама!

— Конечно, не Лида, но я плохо надеюсь на нее, Лаличка: выросла в меблированных комнатах, насмотрелась Бог знает каких людей и поступков, в актерки собирается...

— В артистки, мама!

— Ну это у вас по-новому. В наше время актерки были... Не нашего она поля ягода, Лаличка! Не нашего, что ты хочешь!

— Такая вы, мама, добрая, а... гордая! У! Польская кровь!

— Я не гордая, но боюсь, чтобы она не сделала сумбура.

— Мама, она ведет себя очень прилично, и с нею весело.

— Да! Вот она возьмет да женит на себе Володьку, тогда и узнаем веселье!

— Что вы, мама?! Лида взрослая девушка, а Володя мальчик.

— Станет она разбирать... Я ее насквозь вижу, какова птичка!.. Ну а не то — тебе какие-нибудь глупости внушать станет!..

Евлалия ласково смотрела на мать и упрямо мотала своею красивою головою:

— Мне, мама, никто ничего не может внушить, если оно не живет в душе у меня самой... Я, мама, из себя живу, чужого в себя не принимаю.

А относительно Сони Антон был, пожалуй, и прав: когда приходила к ней Лида Мутузова, бабий клуб оживлялся с нарочитою энергией.

Мутузова говорила:

— Я люблю бывать у Сони, потому что она переносит меня в семнадцатый век: терем... дородная боярышня... кругом шушукаются, смеются, работают сенные девушки, няньки, мамки, шутихи... Няньки-мамки! Сивки-бурки, вещие каурки, забавляйте меня, царь-девицу!

И атмосфера пропитывалась пряным бабьим враньем... Лидия хохотала, рисовала в альбом типы, впивала и врала сама прегнусные сплетни и анекдоты, взвизгивая на соленых эпизодах и словечках:

— Сонька! уйди! Тебе слушать нельзя. Сонька! заткни уши! Ты это знать молода!

Соня автоматически послушно уходила либо затыкала уши. Либо милая компания покидала ее одну в комнате и спускалась вниз, на кухонную лестницу, где языки без костей распускались уже вовсю, без удержа... Однажды среди визга, хохота и прибауток вдруг сразу наступило гробовое молчание, и расшумевшиеся бабы брызнули, как дождь из душа, через кухню во двор. Лидия, — уже румяная, с мутными глазами и с мордочкой сладострастного хорька, — подняла голову! Через перила смотрел на нее сверху вниз неизвестно

откуда появившийся и подкравшийся старый барин, Валерьян Никитич Арсеньев.

— М-м-м... здравствуйте, — сказал он.

Лидия смутилась и, чтобы оправиться, снагличала:

— Excelence, je vous salue! *

Она послала старику воздушный поцелуй и бойко взбежала по лестнице.

— Весело? — странно мигая и жуя губами, спросил Валерьян Никитич.

— Очень! — дерзко отрезала Лидия.

Лицо Арсеньева смялось в жалостливую гримасу, щеку задергало; он отошел, бормоча... С этих пор при каждой встрече он оказывал Лидии какое-то особенное скорбное внимание, подчеркнутую сострадательную нежность.

— Слушайте, ma belle **, — трунил Антон, — вы не в мачехи ли к нам собираетесь?

Лидия бойко и хищно скалила свои острые, щучьи зубки.

— А что же? Чем я не Федра?

Антон комически вздыхал:

— Милая Федра! У вас будет преуступчивый Ипполит!

МЕЖДУ СЕСТРАМИ

XIV

Свадьбу Ольги Ратомской с Евграфом Сергеевичем Каролеевым сыграли в зимнем мясоеде шумно, людно, весело. Молодые съездили на месяц за границу, а потом осели хозяйством в собственном хорошеньком особнячке на Никит-

---

* Ваше превосходительство, я вас приветствую! (*фр.*)

** Моя прекрасная (*фр.*).

ской. В Москве стало больше одним буржуазно гостеприимным домом с обычными московскими хозяевами — с вечно занятым по горло либо полусонным деловиком-мужем, с красивою, бойкою и уже слегка флиртующей женою.

С отлетом Ольги из родительского гнезда в огромной старой квартире Ратомских стало тихо. А квартира была славная: красивое, стильное, дворянское гнездо близ Пречистенского бульвара. Ратомские угнездились в ней уже лет пятнадцать и держались ее с консерватизмом истинно московской семьи.

— Дорого платите, — говорили Маргарите Георгиевне знакомые. — Теперь за вашу цену можно иметь прекрасное помещение в новой части города, со всем европейским комфортом. А у вас — комнатам счета нет, а воду — водовоз в бочке привозит, и в окнах жестяные вентиляторы-вертушки. На что вам ваши сараи? Это в николаевские времена можно было жить в районе Пречистенки, Арбата или Поварской, — еще до Севастополя! А теперь эти места — мертвые: дворянское кладбище. Переезжайте-ка на Тверскую, к Пороховщикову или в Петровские линии, где новые дома... Центр города, уют, водопроводы...

Но старуха даже руками отмахивалась.

— Бог с вами! как мне отсюда тронуться? У меня здесь муж умер, дети большие выросли. Когда мы взяли квартиру, Володе шел пятый годок. Как можно переезжать? Мне здесь всякий угол дорог. Я изведусь тоскою на новом месте... Мы привыкли, да и к нам привыкли. Хозяин — препочтенный купец, — дорожит нами больше всех жильцов. Прямо говорит: «Вашим превосходительством держится репутация моего дома».

— То-о-то он и накидывает вам каждый год квартирную плату, да еще и ремонт на ваш счет.

— Ну уж это — их, домовладельцев, общая коммерция... У кого какой промысел, тот тем и живет. Кто служит, кому квартирантов обирать...

— Деньги у вас, должно быть, дешевые: переплачиваете?

— А переезд разве дешево станет? Я и от того-то переезда — сюда, где мы теперь проживаем, — пятнадцать лет не могу опомниться... Ведь у нас вещей-вещей... Право, весь первый год ушел тогда только на то, чтобы разобраться... А уж — чего разбито было! сломано! испорчено! Жалости вспомнить! Недаром покойник-муж говорил, что два переезда с квартиры на квартиру равняются одному пожару.

— На дачу ездите же?

— Для дачи у меня запасная летняя мебель и бракованная посуда. Куда бы мне своих слонов по дачам таскать: красное дерево, карельская береза, дуб мореный... тысяча пудов веса! Старинное: при Екатерине, Павле и Александре Благословенном вещи деланы...

— И уроды же вышли! — с откровенностью критиковала фамильную старину Евлалия.

— Что же ты хочешь? Не выписные... В деревне работали свои крепостные мастера.

Молодежь мало сидела дома: Евлалия все у сестры, Володя — либо в университете, либо у товарищей. Время для него наступило горячее: предсказанные ему Антоном Арсеньевым разносчики давно уже носили в Москве моченые яблоки в белых опрятных шайках, возвещая о том во все горло с раннего утра до позднего вечера по всем улицам и переулкам. Этот известный экзаменационный сигнал приводил в уныние и заставлял встрепенуться даже самые ленивые и непутевые из студенческих умов. Шла зубрежка в одиночку, сходились для зубрежки коллективной. Одного издателя, запоздавшего с выпуском литографированных лекций, чуть не избили в аудитории, а «подлецов» бедный малый наглотался столько, что потом они отрыгались ему весь век, и с горя он действительно впоследствии в изрядного подлеца превратился. Если брат и сестра оставались дома, Евлалия — хорошая музыкантша, ученица модного Клиндворта — не вста-

ет, бывало, часа по три подряд из-за рояля, разучивая Шопена и Бетховена. Володя, запершись в своем огромном мезонине, опять зубрил лекции, под листами которых, впрочем, спрятан всегда готовый выползти наверх любопытный роман, или, еще чаще, пишет стихи. С благословения и рекомендации Брагина, рифмы Ратомского начали появляться в печати. Польщенный поэт с большого восторга набросился на творчество с аппетитом голодного волка, — не оттащить его от письменного стола!

— Какой-то сатириазис виршеплетства! — издевался над ним Квятковский.

А пухлый, сонный, всегда добродушный и благосклонный Каролеев ласково обнимал шурина за плечи и рекомендовал:

— Ты, брат, того... заткни фонтан! Дай отдохнуть и фонтану!

Милейший и простейший был человек, хотя в делах — жох, и — кто ему по неосторожности клал палец в рот, он этот палец откусывал по-московски, до последнего сустава. Деньжищ зарабатывал уйму, а — для чего, сам не знал и раздавал их направо и налево щедрою рукою. Должников без отдачи у Каролеева было пол-Москвы, а билеты на благотворительные концерты и «тому подобная прочая филантропия» привозились устроителями к Каролееву раньше, чем к генерал-губернатору, Хлудову и Третьякову. На листах всяческих пожертвований имя его стояло обязательно одним из первых и всегда против крупных сумм. Но — в своем деле — Каролеев грабил, жал, выбивал копейку с жадностью скупого рыцаря и даже, ходили слухи, иногда бывал нечист на руку.

— Ну для чего ты так? — упрекал его Квятковский, с которым он был дружески хорош. — Такой ты отличный, душевный парень, а черт знает что про тебя рассказывают.

Каролеев возражал медленно и с одышкою:

— Не дельцы... рассказывают... Дела... их надо понимать...

— Да ведь семь шкур дерешь!

— По делу... если... деру!

— С убеждением, значит?

— А то — как?

— А если с убеждением дерешь, зачем потом расточаешь, а не собираешь в житницу?

— Характер... такой... имею... расточать...

— Уж если грабить, выдержку сохраняй, последовательность: выходи скорее в миллионеры!

— Желания... не имею...

— Кулебяка ты кулебяка! Вязига ты вязига!

— Ну... уж... ты!

Гостей теперь посещало Ратомских много меньше: молодой влекущий центр семьи, красавицы-сестры, перешел к Каролеевым на Никитскую, перетянув за собою и окружность: бывающую и ухаживающую молодежь. Маргарита Георгиевна даже отпустила лишнюю прислугу, оставив для комнатного порядка двух девчонок на побегушках — для Евлалии и m-me Фавар — да солидную, с прошлого года поступившую в дом горничную Агашу, девицу двадцати пяти лет из тверских крестьянок, — высокую, полную, широкую в кости девку с короткою талией и крутыми бедрами. Девице этой предстояло сыграть в доме чрезвычайно важную роль, возможности которой в то время никто не подозревал и не ожидал, — сама Агаша менее всех. Лицом Агаша была некрасива: скулы слишком широки, кожа слишком смугла, нос слишком вздернут, голова мала не по туловищу, черные волосы жестки и редки, темно-карие глаза узко прорезаны, — пристальный взгляд их светил скрыто и недружелюбно. Только рот был хорош — маленький, изящно и твердо очерченный; в его линиях, в круглом подбородке и в упрямо-выпуклом лбе сказывалось много характера; так что, если вглядеться хорошенько, то, на первый взгляд, малосимпатичное лицо Агаши могло заинтересовать сво-

им сосредоточенно-холодным и немножко вызывающим выражением.

— Такая, по Мериме, должна быть Кармен, — уверял Квятковский. — Не в опере, понимаете, не ряженая, а из романа, настоящая Кармен... Только у Мериме Кармен — еще и косая. Ну и скулу для полноты эффекта не лишнее подбить, и рожу расцарапать для вящей выразительности темперамента. Да за этим в Москве дело не станет. Был бы у девки солдат, а скула подбита будет!

Авкт Рутинцев-junior, изредка бывавший у Володи Ратомского, поставил диагноз короче и проще:

— Однако... фамма!

— Что? — не понял Володя.

— Из Боборыкина... По-русски будет: телеса!

И, воткнув в глаз монокль, осведомился деловым тоном:

— Живешь?

— Ты с ума сошел! — вознегодовал Володя.

Рутинцев изумился:

— Warum nicht? *

— В квартире моей матери и сестры?!

— О-о? Вот мы как?.. Паиньки?

Рутинцев посвистал.

— Значит, правду говорят, что дураков не орут, не сеют, они сами родятся. А где, смею спросить, эта фамма у вас помещается?

— Тут, под лестницею... — нехотя показал Володя пальцем вниз.

— Под твоею лестницею?.. А-а-а!.. Не беру своих слов назад и повторяю мою пословицу! Глупо, любезный друг, и даже в квадрате глупо!

И при встречах он дразнил Володю пред товарищами, обращая на него укоризненный перст свой и говоря:

* Почему нет? (*нем.*)

— Если бы вы знали, какой товар напрасно гниет у этого господина под лестницею!

Отношения Евлалии Ратомской и Георгия Николаевича Брагина выросли за зиму в красивую и сильную влюбленность, которую наступающая весна должна была перевести в жениховство; оба чувствовали ее остро и трепетно и оба ее боялись.

— Что вы, право, там? Чего тянете? Объясняйтесь, — и выходи замуж! — зудила Евлалию сестра. — Георгий Николаевич бродит сам не свой... давно пора сделать предложение...

Евлалия трепетала, как испуганная птица:

— Нет, нет... не теперь... Надо подождать... И он пусть ждет... Если теперь, я откажу.

— Да чего ждать? Что ты позируешь?

— Я не позирую... Мне себя проверить надо.

— Нечего и проверять. Влюблена, голубушка, как кошка: по глазам видно!

— Я не спорю...

— Так за чем же остановка? Ты влюблена. Он — тоже. Даже в обществе стал неприятен. Рассеянный, — только водит глазами по углам, тебя ищет... Ты вообразить не можешь, как вы оба смешны, когда вместе!

Краснеющая, дрожащая Евлалия закрыла руками синие, полные звездного света глаза.

— Я боюсь именно этого, — что мы так влюблены... боюсь, боюсь, Ольга.

— Помилуй! чего тут бояться? Как все! Благодари Бога!

— Влюбленность растает, Ольга... Жизнь большая... влюбленности мало для жизни!

Ольга насмешливо качала головою.

— Ах, скажите! Философия!

— Я не знаю, зачем я живу, — говорила Евлалия, задумчиво сжимая виски ладонями и устремляя в пространство, через голову сестры, важный и далекий взор, — но мне ка-

жется, что жизнь моя — не дар напрасный и случайный... и будет в ней что-то... особенное, непредвиденное! Я не знаю, чего хочу, но чего-то хочу... и оно большое! И в этом смутном, что я хочу, непременно есть «он», но не все — «он». Да, я влюблена в него!.. Я никогда не лгу и должна сознаться... Это я взвесила... Я влюблена!.. Но я не знаю, как!.. Иногда мне кажется, что я влюблена совсем не в него, а во что-то другое — там, дальше, за ним... прекрасное, светлое, неизвестное! Понимаешь?

— Ничего не понимаю! — с искренностью сказала Ольга.

— Ах да я и сама не очень понимаю!.. — с досадою возразила Евлалия.

— Мало нас учили, дурно нас учили... — продолжала она, бродя взад и вперед по длинной узорной дорожке текинского ковра. — Слов для обихода — комнатных, танцевальных, любовных — сколько хочешь... А вот чуть отвлеченное что-нибудь, чуть не совсем обыкновенные подозрения зашевелились в голове и пошли смутные, тревожные мысли о себе самой, — вот все оно уже и не слагается в понятные слова!.. Мысли не сплетаются, а бегут, бегут и обгоняют язык... слабый он, неумелый, а они хитрые и темные!

Ольга вздохнула.

— Господи! какие вы... фигурные! Нет, мы с Евграфом — просто: сами не заметили, как поженились.

— Пойми ты! — говорила Евлалия. — Это — не от меня! По крайней мере, не совсем от меня. Он сам виноват. До него я спала, была барышня как барышня, как все, как воспитала m-me Фавар и нравится в нашем обществе. Он — словно разбудил и переродил меня. Он наговорил мне так много и хорошо, столько открыл, на столько разных и новых точек зрения меня поставил, что я совсем другой человек стала.

Ольга улыбнулась.

— Ну, ангел мой, это старо — из древних куплетов: учитель словесности говорит о труде и известности.

— Да и об этом... — серьезно возразила Евлалия. — И о многом, многом... А сколько он заставил меня прочитать, — растолковал, — и я поняла... Вокруг меня стены раздвинулись, мир для меня сделался огромный, просторный, светлый, так много в нем всего, а я среди него — будто маленькая, но бодрая, бодрая!.. И отовсюду меня зовут голоса, и какие-то новые, незнакомые силы рвутся им навстречу из моей груди, и все мне хочется знать... во всем участвовать...

— Например, в любительском спектакле? — сострила Ольга. — Кстати: не заняться ли нам устройством? Молодежи у нас много, Лида Мутузова только тем и бредит, чтобы ослепить нас своим талантом.

Евлалия не слушала.

— Я влюблена... но — слушай, Оля! За любовь не жаль собою на всю жизнь пожертвовать, а за влюбленность — нет... А любовь во мне к нему или влюбленность, этого я еще не знаю... Думаю, что любовь. Да ведь любовь — жизнь!.. Это страшное! С этим не шутят!.. что, если я ошибаюсь? Что, если он для меня — не жизнь, а... ну, пусть фигурно, а я все-таки скажу: только предисловие к жизни? Помнишь ты, как нас, маленьких, мама возила в Петербург и показывала нам Эрмитаж?

— Еще бы!

— Нам так понравилась лестница, что мама едва увела нас с нее, да и по залам-то мы ходили рассеянные, все вспоминали первое впечатление от лестницы, какая она замечательная красавица.

— Да ведь действительно хороша!

— Да. Но лестница в Эрмитаж — только лестница в Эрмитаж, а Эрмитаж-то, Оля, был впереди! И я не хочу, чтобы лестница в Эрмитаж еще раз так меня ослепила, чтобы потом не осталось восприимчивости разглядеть и оценить залы Эрмитажа.

— А! Вот что? Ну поняла!.. А басню о разборчивой невесте помнишь?

Евлалия живо остановила сестру.

— Ничего ты не поняла, если так! Ничего! Ничего! Я не разбираю, я ни на кого не променяю его, я счастлива... Но только вот хотелось бы мне определиться: люблю ли я его за то, что он — он, или за то, что он — лестница в Эрмитаж?

Ольга смотрела на нее с нескрываемым удивлением.

— Считают тебя тихонею, — сказала она, — с Татьяною из «Онегина» сравнивают, а ты — вон какая...

— Какая? — машинально спросила Евлалия, погруженная в свои думы, продолжая ходить и мести дорожку хвостом мягко шуршащей юбки.

— Да еще замуж не вышла, даже не успела влюбиться как следует, а уже загадываешь, что можешь изменить, и у твоего мужа явятся соперники...

Евлалия остановилась перед сестрою, красная, с широко раскрытыми — изумленными, испуганными, возмущенными — глазами.

— Ты так меня поняла? — воскликнула она, выпрямляясь и вытянув вперед руки резким жестом негодования.

— Но... как же иначе?

— В таком случае — что же надо? Мы говорим на разных языках. Я предупреждала тебя, что мне трудно, я не умею выразить...

Ольга ждала. Евлалия села к столу и, уложив разгоревшееся, возбужденное лицо на ладони, смотрела на сестру снизу вверх прямым и честным взглядом.

— Не знаю, — начала она, — похожа ли я на Татьяну Ларину, но — что я свято сохраню ее обет, — за то ручаюсь. Кому я буду отдана, тому я буду век верна. Я однолюбка и одноверка. Изменить любому человеку я не в состоянии, даже если разлюблю... не сумею!

— Тогда к чему же вся эта твоя аллегория об Эрмитаже?

— К тому, дружок, что полгода тому назад я еще думала, будто для девушки только и счастья в мире, что найти хорошую любовь и уйти в нее с головой... Помнишь летом — там у нас на даче. Он тогда был для меня — только великий «он», весь мир поглощал, вселенную заслонял собою. Полубогом казался мне!.. Вот — когда я была его, только его. Сказал бы он мне: «Хочешь вдвоем на необитаемый остров?» Я минуты не задумалась бы, разве лишь спросила бы: с каким поездом уедем и где потом сядем на пароход?

— Да и теперь пойдешь! — засмеялась Ольга.

Евлалия шевельнула головою с тихим, но твердым отрицанием.

— Нет! Люблю его крепко, кроме его никого никогда не полюблю, но на необитаемые острова бежать не согласна. Стой! Стой! — почти вскрикнула она с внезапною радостною улыбкою, — стой! Спасибо пароходу! Я держу мою мысль... Сравнением держу! И сейчас объясню тебе, что не вышло у меня про Эрмитаж... Представь себе, что тебя в Америку тянет и что поехала ты в Америку. Ну и рада. И все тебе мило, что приближает тебя к Америке. И ты любишь, обожаешь корабль, на котором в Америку плывешь. Ну и вот приехала, стали на якорь. И вдруг — с корабля тебя в Америку не пускают. Я читала, что так поступают с эмигрантами, когда у них денег нет... И говорят тебе: «Ведь вы любите корабль! сами говорили... Вот и оставайтесь на нем вместо Америки! Зачем вам Америка? Вашею Америкою должен быть корабль...» Слышишь?

— Ну? ну? — тихо смеялась Ольга.

— Да ведь в такую минуту, при таком запрете, — как бы я раньше ни любила корабль, — его возненавидеть, как тюрьму, можно!!!

— Словом, — сказала Ольга, — подлежит выяснению: кто для тебя Георгий Николаевич — Америка или везущий в Америку корабль?

Евлалия, коротко кивнув подбородком, говорила:

— Людей он мне открыл, к людям меня влечет. Чувствую: не исчерпывает любовь души!.. есть что-то в жизни, — и это что-то придет, Оля, непременно придет! — дальше, выше, больше любви... Я не знаю, что оно, я не предчувствую, чем оно окажется... Но оно так близко ходит около меня невидимкою, так вокруг меня шепчет, так меня ловит, так мне родственно и нужно, что — говорю тебе: я не совсем уверена, кого я люблю, — Брагина ли или просто человека, в котором я слышу это мое что-то и который своими словами, талантом, умом натолкнул мои мысли на новую дорогу...

— Бедный Георгий Николаевич! — вздохнула Ольга, — вот что значит перестараться: он-то распевал пред тобой и красовался красноречием, думал тебя пленить, а оказывается, что сам же испортил свое дело!..

— Не знаю, испортил ли... — отозвалась Евлалия.

— Однако ты в сомнениях!

— Ах, Оля! Бывают сомнения, которых не променяешь ни на какую уверенность!

— Ну-ну!

— Если я в нем разочаруюсь, — говорила Евлалия, — если он не такой, каким кажется, конечно, лучше бы мне разочароваться в нем теперь, чем после... в этом я с Арнольдсом согласна.

— Ах, ты говорила об этом с Арнольдсом?

— То есть он говорил со мною, — хмурясь, поправила Евлалия.

— Кстати, он совсем пропал из вида, — ни у вас, ни у нас.

Евлалия слегка пожала плечами.

— А что ему делать в нашем обществе? Он Георгия Николаевича ненавидит... По-моему, слава Богу, что не бывает... Я очень люблю и уважаю Арнольдса, но всегда сама не своя, когда они встречаются с Брагиным. Так и жду, что выйдет ссора.

— Человек-то он, Арнольдс, уж очень хороший!

— Да, хороший, только не дай Бог иметь его своим врагом!

Ольга подумала и согласилась:

— Да, он опасный.

— Можешь себе представить? — сердилась Евлалия. — Он отпуск брал и в Петербург ездил.

— Зачем?

— Конечно, собирать справки о том, какой дурной человек Георгий Николаевич. Тут, впрочем, кажется, была капелька и мамашина меда, и m-me Фавар... а может быть, и чьего-нибудь еще?..

Евлалия лукаво прищурилась на сестру и погрозила ей пальцем. Ольга покраснела.

— Пожалуйста, пожалуйста, — обиженно заговорила она, — не воображай!.. Я и не подозревала, в первый раз слышу!.. Да и мама.. разве она против Георгия Николаевича?

— Нет... Особенно теперь, после поездки Федора Евгениевича.

— Ах, следовательно, он привез хорошие вести?

— Конечно. Что же он мог еще привезти?

— Ну знаешь, — влюбленный о счастливом сопернике...

— Нет, Арнольдс прямой и благородный... неспособен на клевету.

— Еще бы! Сказано, что барон фон Гринвальус.

— Но — до чего упрям! Посмотри, что он написал мне после этого своего... повального обыска, что ли, в Петербурге.

Ольга приняла от сестры листок простой почтовой бумаги, кругом исписанный твердым и ровным, не слишком крупным почерком.

Арнольдс писал:

Глубокоуважаемая Евлалия Александровна! На вчерашний вопрос ваш: что нового привез я из Петербурга, предложенный вами, к большому горю моему, довольно насмешливым и недружелюбным тоном, я не мог ответить при всех с тою искренностью и подробностью, как хотел бы, а переговорить с вами с глаза на глаз мне не удалось, потому что, как мне показалось, вы сами старались избежать этого и от меня сторонились.

— Это правда, — заметила Евлалия. — Я вдруг испугалась, что он приберег что-то страшное для меня одной, и, когда мы останемся вдвоем, он скажет.

Ольга продолжала читать:

Цель моей поездки вы подозреваете и угадываете верно. Я ездил разведать ближе, из непосредственных источников, что за человек наш петербургский гость, господин Брагин, возымевший в последнее время близость к вашей глубоко чтимой и горячо любимой мною семье, и которого, простите за пошлое слово, ухаживание за вами ни для кого из ваших знакомых в Москве не тайна. Я считал себя обязанным сделать это в силу той неизменной преданности, которую питаю к вам, и той инстинктивной антипатии, которую внушает мне этот человек. Быть может, и я даже уверен в том, вы скажете, что я не сторож ваш и не имел права следить за господином Брагиным, но я неоднократно высказывал вам твердо выработанный и непоколебимый общий взгляд мой, что — если друг, то и сторож. Так что не гневайтесь на меня, что я исполнил долг мой, — тем более, что я не привез вам ничего неприятного. Справки о господине Брагине, наведенные мною в обществе и по редакциям, дают самую лестную его характеристику. Он стоит на пороге большой литературной славы, любим молодежью, зарабатывает очень порядочные средства, карьера его покуда безупречна.

— Вот тут, за это «покуда» — я ужасно на него озлилась, — вставила Евлалия.

Родные у него прекрасные, интеллигентные люди, и он с ними довольно хорош, хотя очень к ним небрежен. Впрочем, он так рано начал жить жизнью общественною, что для жизни частной у него покуда не было времени... Этот человек до сих пор не имел возможности и случая явить себя ни дурным, ни хорошим. У него масса способностей и задатков, которыми он сам любуется и других ослепляет, но даже лучшие из старших его друзей, родных и поклонников считают его существом незаконченным и не ручаются, что из него выйдет впоследствии и в какую сторону он повернет. Я не имею сейчас никаких данных назвать господина Брагина дурным человеком, но уверен и крепко стою на том, что он будет дурной человек. Буду счастлив, если время покажет, что я ошибаюсь, но не рассчитываю на то. А затем — примите мои уверения, что я, высказав все, что лежало на душе, никогда более не позволю себе обратиться к вам с каким-либо мнением или советом по этому поводу. Я знаю свое место, — дай Бог, чтобы и все знали. Будьте счастливы и не сердитесь на вашего, может быть, неловкого, но всем сердцем вам преданного и очень несчастного вашим неудовольствием медведя, Федора Арнольдса.

Ольга засмеялась и опустила письмо на колени.

— Уж именно медведь!.. Теперь хорош, — так будет не хорош... О мужчины! Надеюсь, ты не дала понять Брагину...

— Разумеется, нет! Я дуэли не желаю...

— И что же? Этим, — Ольга показала на письмо, — действительно свершился разрыв дипломатических отношений?

— Как сказать... Я встретила Арнольдса потом в театре, у Мамонтова, помнишь, давали «Снегурочку», ты не захотела ехать и была с Бараницыными...

— Объяснялись?.. Господи, прости меня, грешницу: при всей моей смиренности и большом уважении к Арнольдсу, я бы хорошо отчитала его за эту выходку.

— Я тоже очень хорошо сознавала, что следует отчитать, как ты выражаешься... кстати: мадам Фавар в ужасе, что ты стала безобразно говорить по-французски и по-русски... видит в этом влияние Евграфа с его замоскворецким жаргоном.

— Милая, с тех пор как Володя в университете, ты сама то и дело говоришь словечками его товарищей... Но — дальше, дальше! Как же вы объяснялись?

— Следовало отчитать, а я не отчитала... Мне вдруг сделалось жаль его, и я растеряла все приготовленные обиды, и очень спокойно и кротко сказала ему всего два слова... «Если, — говорю, — вы считаете себя вправе поступать, как вы поступили, — значит, это ваше дело и ваш счет со своею совестью, а я вам не судья!..» Он отвечает: «Да, я считаю себя не только вправе, но и в обязанности». — «А, что касается будущего, — продолжаю я, — мы с вами разных предчувствий и убеждений...» Его всего передернуло... знаешь ты это его лицо, когда у него вдруг сделаются свинцовые глаза и усы повиснут вниз палками под прямым углом?.. «Да, — гудит он мне своим низким басом, — да, Евлалия Александровна, разных! И самое разное в них то, что я свои предчувствия и убеждения оправдаю, а вам свои придется переменить!»

— Упрям!

— На том и кончили.

— Спрячь письмо-то...

Ольга возвратила листок Евлалии.

— Если бы Арнольдс был немножко богаче и стоял на более карьерной дороге, — серьезно сказала она, — я признаюсь тебе: я, на твоем месте, выбрала бы его. Стойкий человек!

Евлалия со смехом взялась за виски, словно у нее голова заболела.

— Пощади! Я все вспоминала бы это, как Квятковский о нем читает:

Года за годами...
Бароны воюют,
Бароны пируют, —
Барон фон Гринвальус,
Сей доблестный рыцарь,
Все в той же позицьи
На камне сидит...

Но Ольга еще серьезнее смотрела на нее и говорила, очевидно, думая в эту минуту о своем слабовольном муже:

— Хорошо это, когда в мужчине большой характер... За таким мужем — как за каменною стеною...

— Именно, как за стеною, — столько же серьезно возразила Евлалия, — да вот именно тоже — за стену-то сесть я и не хочу.

— А, думаешь, Брагин за стену не посадит?

Евлалия расцвела счастливою и гордою улыбкою.

— Он — меня?!

— Вот у нас сколько самоуверенности!

— Его дело — разрушать стены, а не строить новые!

— Ох, Лаличка, что-то не верю я в таких мужчин... кажется, они только в романах бывают. Лео там у Шпильгагена... и как их еще — другие? А в жизни — все немножко тюремщики, лишь каждый по-своему...

— А Евграф? — рассмеялась Евлалия...

— Даже и Евграф... Смирен, смирен, а — поди-ка, подай ему обед не вовремя, или, сохрани Бог, повар испортит томатный соус...

— Неужели свирепствует? — возмутилась Евлалия.

— Не свирепствует, но — поверь мне: совсем не радостно видеть, как у супруга губа уныло отвисает до бороды, а в глазах появляется взгляд агнца пред закланием: один, дескать, я на свете сирота, и некому защитить меня от жениной обиды...

— Фу, Боже мой! Какая, однако, — извини меня, — пошлость!

— Ничего, Лаличка! Свои люди — сочтемся! Выйдешь замуж, — я о твоем то же скажу!

— Нет, о моем не скажешь!..

— Но-но-но! Все они на один покрой и от одного портного! Все! все! Только фасоны разные... Они про нас, женщин, говорят, что мы мещанки и пропитаны пошлостью, а сами...

— Только не он! — прошептала Евлалия.

Но Ольга улыбалась и говорила.

— Я не охотница читать и читала немного книг, но, когда читаю, люблю запоминать, что мне нравится. Кажется, у Диккенса, а может быть, и не у Диккенса, врезалось мне в память одно нравоучение: «Если ты хочешь узнать истинный характер мужчины, наступи ему на мозоль или разбей его любимую кофейную чашку...» На общественном или там еще на каком-нибудь подвиге, либо красуясь пред нами, женщинами, все они, Лаличка, эффектны и великолепны, а вот в презренной прозе...

— Только не он, — перебила Евлалия.

— Ох, и он.

— Ты по Евграфу судишь... Разве можно? Евграф — и он?!

— А что ты на моего Евграфа? — добродушно огрызнулась Ольга. — Муж как муж! Еще дай Бог всем такого...

— Нет, нет! — повторила Евлалия. — Можно ли? Евграф Сергеевич — и он?

И, розовая до буйных завитков своих каштановых кудрей, она с улыбкою таинственного восторга устремила опять засиявший звездами взор далеко-далеко, сквозь стены и улицы...

— Он?!

ОРАНЖЕВАЯ ЛУНА

XV

В арсеньевском мезонине у Марины Пантелеймоновны пел сверчок, стучали часы-ходики, шуршали в старых обоях тараканы, потрескивала плохая, со Смоленского рынка, мебель, обладающая способностью рассыхаться круглый год, впредь до обращения в точеные поленья, которые потом зачем-то опять склеиваются, опять рассыхаются, — так и нет им конца и извода. Московские хозяйки средней руки мебель эту, неизвестно за что, чрезвычайно как любят. Лампа под пестрым абажуром распространяла в просторной, но низенькой комнате бледный и неприятный свет, — все предметы в нем казались мертвенными, словно иссохший прошлогодний лист. Здоровому дышалось здесь трудно: пахло болезнью и лекарствами — шибко зажитою спальнею без вентиляции, салом, мазями и травами, кушаньем, деревянным маслом. Из горы одеял и подушек, очень чистых и изысканно-тонкого белья, выставлялось нечто вроде полной луны оранжевого цвета. На луне изредка мигали твердые, малоподвижные глаза, с опухлыми веками и почти без бровей, и — точно тучки пробегали — шевелились мягкие морщины жирной, подвижной кожи, придавая луне выражение угрюмое и саркастическое. Луна эта, с тушею в одеялах и подушках под нею, была Марина Пантелеймоновна.

Уже с полчаса как вошел к ней Антон Арсеньев. Между ними происходит одно из тех странных свиданий, над которыми в доме потихоньку издевались:

— Заперлись черт с ведьмою: шушукаются — шепчутся, на погибель душ уговариваются.

Антон сидит у стены, на жестком, клеенчатом диване, положил на его спинку затылок и смотрит... Взгляд его, тяжелым, отвлеченным каким-то любопытством прикованный к лунообразной оранжевой маске между подушек, холодно неподвижен. Марину Пантелеймоновну он, по-видимому, нисколько не смущает: привычная к странностям своего молодого гостя и погруженная тоже в далекие свои думы, она как будто даже не замечает, что на нее уставились знакомые, изучающие глаза. С той минуты, когда вошел Антон и сел на диван у стены, между ним и Мариною Пантелеймоновною не сказано еще ни одного слова.

Здоровенный рыжий прусак, путешествуя по дивану, перебежал руку Антона. Молодой человек вздрогнул от щекотки, отряхнулся...

— Гадость какая!

— Раздави, — сказала Марина Пантелеймоновна.

Голос у нее звучал медным хриповатым звуком, словно пробили старинные часы.

— Не люблю.

Луна ухмыльнулась.

— Тараканов жалеешь, а людей давишь?

— Я не из жалости, — нахмурился Антон, — хрустят они при этом... противно!..

— Да ведь люди-то, — равнодушно сказала Марина Пантелеймоновна, — все они так больше жалеют — из противности... и все!.. Противно, — ну надо убрать противное с глаз долой либо мимо его поскорее пройти, не видать, не трогать, чтобы душу не мутило... в том и жалость вся!.. А таракану спасибо: хоть разговорились... А то ты меня сегодня избуравил глазищами... уж я было и пужаться начала!

Она засмеялась тяжело, металлически, словно телега с железными брусьями протарахтела. Антон смотрел на нее опять с прежним мрачным любопытством.

— Я тоже рад, что мы заговорили, — сказал он медленно и тихо. — Мне странное казаться начинало...

— Ты не признавайся громко-то: свяжут, — насмешливо заметила Марина Пантелеймоновна. — Давай, брат, про это вдвоем знать...

Антон продолжал с тою же пристальностью взгляда и мерностью речи.

— Когда я сижу вот так пред тобою, гляжу и молчу, мне иногда вдруг представляется, что все это не так, и я — не я, — ты — не ты... В особенности, ты — не ты!..

— Так! — захохотала, весело жмурясь и прыгая жирными щеками, оранжевая луна. — Кто же я, коли не я? Черт, что ли?

— А кто тебя знает? Так... зримое... Может быть, ты в бреду мне видишься? Как мара... сон...

— Вся жизнь, брат, сон! — с удовольствием потянувшись в креслах своих, возразила Марина Пантелеймоновна.

Антон даже встрепенулся и — будто с веселым испугом — посмотрел на нее.

— Ну вот эти слова... откуда они у тебя, если ты — ты? Разве ты можешь — такие слова? Ты — Марина Пантелеймоновна?..

— А что в них? Я, какие слова знаю, все могу. Запретных нет. Язык у меня свободный.

Антон молча встал, расправил плечи и заложил руки в карманы, покачиваясь на каблуках.

— Жизнь есть сон — это Кальдерон сказал.

— А кто он? — спросила Марина Пантелеймоновна.

— Писатель. Для театра пьесы сочинял.

— Француз, поди?

— Испанец.

Луна зевнула, открыв рот, как жерло погасшего вулкана, и с безразличием изрекла:

— Знавали мы с барынею и испанцев. Вот ты, Антон Валерьянович, говоришь, что сон, — начала она после долгого молчания. — А как ты иначе рассудишь? Что настоящее, что обманное... путается оно, мешается! То ли в памяти, то ли одна моя фантазия, — не разберу. Ну вот скажи ты мне на милость: была я с родительницею твоею, покойницею Натальею Борисовною, в Париже или не была?

Антон отвечал вполне серьезно:

— Ты рассказываешь, что была.

— Да, может быть, я сон видела, и сон тебе рассказываю?

— И другие говорят...

— А, может быть, и они обо мне только такой сон видели?

— С какой же стати ты всем им сразу сниться будешь?

— А чего нет? Они мне снятся, я им... так оно... переплетается... в том и вся жизнь! Я твой сон, ты мой, сны друг о дружку колотятся, а естества-то, может быть, и вовсе нет никакого... О-го?!

Луна опять раздулась щеками и затарахтела железом.

Антон болезненно сморщился и взялся за виски.

— Марина Пантелеймоновна! Не надо, матушка! у меня сегодня голова совсем нехороша...

— Когда она у тебя хороша-то бывает?.. Ой, Антошка, Антошка! Не отвертишься: сидеть тебе на цепи!

Луна мигала, смеялась, скалила зубы. Арсеньев насильственно улыбнулся, — скорее, впрочем, судорогою ему щеки передернуло...

— По крайней мере, там тебя не буду видеть, — притворным голосом возразил он.

Луна прищурилась:

— Ты думаешь? так ли?

Антон отмахнулся от ее самоуверенного и глумливого вопроса, но вяло и робко, словно человек, сознающий свою

беспомощность пред нападением с заведомо слабой стороны. Он даже и ногою притопнул слегка, и голос его прозвучал высоко — детски раздражительною и жалобною угрозою:

— Не начинай!

Марина Пантелеймоновна покачала головою.

— Баба ты, баба!

— Ну и пусть!.. Не надо!..

— Я намедни думала, жизнь свою вспомнила, — говорила Марина Пантелеймоновна, водя глазами за ходящим Антоном, как заводной китаец. — Сон, брат!.. истинный сон! То есть вот как: либо все то сон, что со мною было, либо сон, что я сейчас здесь без ног лежу под одеялом этим пакостным и гляжу на абажур этот гнусный... Умная голова! Меня в костюме нижегородской молодицы во дворец к французскому императору представляли, и он меня по щеке потрепал и сказал: «Тре жули...» * Что он — жив, император-от ихний?

— Давно помер.

— Наполеон-то?

— Наполеон.

— Ин, пухом земля над ним! Усатый был господин... А на его месте — кто?

— Никого нет. Во Франции теперь республика.

— Что?

— Республика. Сами собою управляются. Ни императора, ни короля...

Луна пожевала губами, как будто неожиданность доставила ей величайшее удовольствие.

— Вот видишь, Антошка, — сказала она, — уж и не бывать их даже там!.. Нешто не сон?.. А я помню: сарафан красный с позументом, кокошник нижегородский высокий, поднизь жемчужная... да! И по щеке трепал... Бородка козлиная и очи пивные... Ну зачем он мне был, скажи пожалуйста?

---

* «Очень хорошенькая...» (*фр.* trés jolie)

— Пожалуй, что права: тебе не надобен.

— И я ему?! для чего это так надо было, чтобы я, ростовская баба, козыряла перед французским царем в Париже, одетая в сарафан нижегородский, а он меня по щеке трепал?! С чего он умер-то? Ровно бы и рано? Мужчина был еще свежий.

— Каменную болезнь имел. В плену умер. Неприятелем разбитый, трона лишенный.

Марина Пантелеймоновна залилась искреннейшим и веселейшим смехом.

— Что с тобою?

— А может быть, — выговорила она, захлебываясь и пуская пузыри на губах, — а может быть, — когда в плену-то он, говоришь, сидел, — может быть, он тоже вот так-то, невзначай, обо мне вспоминал, как я сегодня о нем вдруг раздумалась?! То-то, небось, удивлялся: откуда ко мне такая баба взялась? И зачем она мне была? И когда я такую чудачиху мог видеть? И почему она мне надоедает — в мысли лезет?.. И она у меня — сон, и я у него — сон... Так снами, брат, друг перед дружкою невесть для чего и пролетели...

Антон, присев на край стола перед нею, молчал.

— Я тебе вот что, Антоша, дружок, скажу, — продолжала Марина Пантелеймоновна уже серьезно и ласково. — Когда я была молодая девчонка, жила у отца на деревне, погнала меня мачеха в лес по грибы... А я под кустом и уснула... Что видела тогда во сне, не помню, но только проснулась, — кругом прыгали собаки на сворах, кони ржали, охотники в рога трубили...

— Ну слыхал, слыхал! — нетерпеливо перебил Антон. — Дедушкина охота тебя нашла, и дедушка тут же, с места в карьер, в тебя, сонную, влюбился... Сто раз слыхал! знаменитый фамильный анекдот! Можешь не повторять...

— Да... — задумчиво вспоминала Марина Пантелеймоновна, не обращая внимания на его раздражение, — так, босоногую, под буркой, как черкес какой-нибудь, и привез меня в усадьбу... в хоромы взял... А там и пошла, и пошла жизнь...

маменька твоя... Париж этот... Да!.. Что ты мне испанцем в нос тычешь? Видала всяких!.. Папенька твой... Да! Тоже ведь и муж у меня как будто какой-то был... а совсем я его не помню... Теперь вот вдруг, ни с того ни с сего, без ног лежу... чудное дело!.. Вся жизнь была не по порядку, все необнаковенное... И сдается мне часто: а вдруг — ничего не было? А вдруг я — все это — еще под кустом лежу и сплю? и вот — проснусь, подберу лукошко, пойду домой на село, мачеха меня вздует, что с пустыми руками пришла...

— Рада была бы? — сухо спросил Антон.

Луна шевельнула красными пятнами, которые заменяли ей брови.

— Не знаю, братик. Я своею жизнью довольная... Спалось хоть недолго, зато снилось хорошо.

— Что хорошего-то? — презрительно бросил ей молодой человек.

— Как — что хорошего?

Красные пятна на луне всползли еще выше.

— Как — что хорошего? Пятидесятый год небо копчу, а не было того случая, чтобы я не на всей своей воле жила, чужую команду над собою принимала!.. Ну-кася! Проживи так другая баба, — покажи мне, сделай милость, пример! Хоть издали полюбуюсь!.. Нет, мне за жизнь свою очень можно себя благодарить! Я собою много довольна!

— Кулак ты! — задумчиво сказал Антон.

Луна широко улыбнулась.

— Пущай кулак, — да не тюря!

— И все-то ты хвастаешь, все хвастаешь, — говорил Антон, всматриваясь в луну с враждебною сдержанностью. — Команды она над собою не знала! Воли чужой не исполняла! Дедушка, крепостную, нагайкою дул...

— Дул, — спокойно согласилась Марина Пантелеймоновна, даже как бы и с кротостью. — Изменяла я ему очень: землю у нас тогда межевали... землемерики молоденькие, куд-

рявенькие... Ну и дул! Другую бы — живою в землю закопал, а меня не мог, — любил очень... только дул. Отдует, а потом ревет... суток трое не ест, не пьет, прощения просит, у комнаты моей в запертую дверь лбом стучит, из горницы в горницу на коленках за мною елозит, пол-то чище метлы выметет... Дул! Как же, злодей был: очень даже часто и чрезвычайно крепко дул...

— Не все он за тобою на коленках ползал, — с тою же назойливою, сухою злобою спорил Антон. — Не ты одна про эти времена мне повествуешь... Слыхал я!

— Что? — холодно спросила Марина Пайтелеймоновна.

— А то, что — наконец, псарям он тебя отдал своим... да! псарям! Это — не на коленках!.. Не было?..

— Было.

— Ага! Своя воля?!

Марина Пантелеймоновна слегка потемнела лицом, кривя рот неестественною, суровою усмешкой.

— А то чья же?

— Своя!!! как тряпку швырнул! Псарям! Мяса кусок! жрите!

— И колодцев в усадьбе три было, — протяжно сказала Марина Пантелеймоновна, — и речка глубокая с омутами... И отравы крысиной знала я, где взять из кладовки... А вот — живая сижу пред тобою, ничего... тридцать два года с тех пор отмаячила! Значит, имела я волю жить... и живу!

— Да, да! А дед себе на охоте нечаянно заряд в левый бок всадил? Ты к этому, что ли, ведешь? Не хвались! И без того все знают!

— Дела у них, сказывают, тогда в большое расстройство пришли... — равнодушно протянула, как пропела, Марина Пантелеймоновна.

— Врешь! — оборвал ее Антон, — врешь! Любви своей и зверства своего он не вынес! В скорби от твоего предательства и в ужасе от позора, которым покарал тебя, он застрелился!..

— А, батюшка! — спокойно отстранила его Марина Пантелеймоновна, — вины чужой мне на плечи не сваливай!.. Ежели человек берет себе на совесть тягу, так пусть сперва примерит, в подъем ли. А взял не в подъем, сам на себя и пеняй, когда задавит.

Она затарахтела своим железным смехом.

— Я ж его остерегала, что много на себя берет... Только он глупый был, недогадливый... Даже и тогда говорила, когда он меня к псарям, которыми попрекаешь, по двору за косу волочил... Он тащил, а я ему грубого слова не сказала... Только одно твердила: «Ой, Никита Антонович, сладишь ли? Ой, берегись, родненький, совладаешь ли?..» Глупенький! Он думал, что я его дразню, будто он меня не осилит. Эка невидаль, подумаешь, этакому здоровенному мужчинище с девчонкою не управиться. Голова с мозгами! Мне восемнадцать лет тогда едва минуло. Я худенькая, тощенькая была, как былинка. Не о себе я... его, дурака, предупреждала, что он с самим собою не сладит и сердце его такого дела не вместит!.. Не понял! Ну и того...

Луна выразительно моргнула и на мгновенье осталась с закрытыми глазами.

— Ты знала, что он застрелится? — тихо спросил Антон.

— А, конечно, знала... то есть — застрелятся ли, иначе ли как, но что пережить не должны... и руки на себя наложат... — подозревала...

— И не остановила? не спасла?

— Вона? — с удивлением воскликнула Марина Пантелеймоновна. — Этакой срам на себя принявши, я же и спасай?!

Она засмеялась сухо и громко.

— Мне тогда Митрий-доезжачий говорил: «Беги в город, губернатору жалуйся! теперь этого нельзя, что он дерзнул, за это строго...» А я молчу: зачем мне губернатор? что мне свой стыд по людям разносить? Кто наблудил, тот сам себя и накажет.

— Звал ведь он тебя назад-то к себе... каялся...

— Звал, да я не пошла. Ты вот дразнишься, — «как тряпку», — хочешь меня в гнев привести... Нет, Антошенька, душенька! Человека, который с характером, как тряпку не отшвырнешь!.. Она, тряпка-то брошенная, вокруг шеи обернется да и задушит!.. Мы с маменькой твоей, покойницею, людьми пошвыривали, точно, — в достаточности! И хорошими, случалось, людьми... А собою швырять мы никому не позволяли, нет! За себя постоять умели...

— Развратничали вы вместе, — больше ничего! — пробормотал Антон себе под нос, нервно и злобно.

Марина Пантелеймоновна ничего на это не ответила, только посмотрела на него пристально и остро. Антон вспыхнул в лице, хрустнул переплетенными пальцами своих худых рук, что обозначало у него большое волнение и смущение, и отвернулся.

— Баба ты! баба! — протяжно повторила Марина Пантелеймоновна.

Антон взглянул на нее с угрозою.

— Наш дом — отживший, мертвый! — сказал он с расстановкою. — Труп семьи, труп рода... конец! разложение! В старой детской книжке, в «Путешествии под водою» помню я картинку: осьминог охватил матроса щупальцами, — присосался к нему со всех сторон и уже не оторвется, покуда не втянет в себя все соки тела, и останется от трупа кожаный мешок с костями... Вот ты — в этом мезонине своем — напоминаешь мне такого осьминога. Сидишь ты, гниешь наверху, а незримые щупальцы бегут от тебя и оплетаются вокруг нас... Дом тобою окружен, наполнен! В воздухе нашем твое дыхание разлито! На всех нас, Арсеньевых, лежит твое прикосновение, как печать какая-нибудь, на каждом ты оставила грязное, гнилое пятно... И так — тридцать с лишком лет! Дедом началось, внуками продолжается... Удивляюсь... как никому из нас не пришло в голову отделаться от тебя!

Он сделал рукою угрожающий жест, будто щелкнул курком револьвера.

— Как никому? — искусственно изумилась Марина Пантелеймоновна, — помилуй, батюшка! ты первый на меня сколько бросался... один раз шаром кегельным в голову запустил: мало-мало мимо виска просвистал шар-от!.. А с ножиком-то охотничьим кинулся? Забыл? Только что сильная и ловкая я в то время была, успела схватить тебя за руки... А то бы пырнул и шабаш! Озорником рос, сударь Антон Валерьянович! Самый бешеный у тебя нрав...

Антон стоял красный, хмурый. Марина Пантелеймоновна продолжала:

— И — что-й-то, право? Тридцать пять годов живу я в доме и все одни и те же слова слышу... Дедушка грозил: «Убью!..» Папенька, бывало, тоже ногами топает, быдто коза на волка, кричит: «С глаз долой! вон! убью!..» И ты вот теперь тоже — про убивство... И никто не убил! Все намеряетесь! И дедушка, и папенька, и сынок... Зачем бы и орать пустое? Только воздух беспокоите...

— Руки у нас, видно, на тебя не поднимаются! — с большим усилием над собою усмехнулся Антон, — дорога ты нам очень!.. С дедом жила, с отцом жила, сына развратила, — нам ли с тобою так просто расстаться? Любовница трех поколений!

Марина Пантелеймоновна почти с сожалением остановила на нем жесткие глаза.

— Что поминать? — сказала она. — Ругался бы в седьмом году назад, когда я еще землю топтала, а теперь я забыла все... я старуха стала, человек безногий... Оплыла, как квашня, облысела, брови вылезли... Я не женщина, покойник живой, могила телесная!.. Что тут поминать, каких мужчин я любила, какие меня любили? И совсем тебе не за что меня упрекать и зверем глядеть на меня... Развратила, — говоришь... Да — разве это я была? разве такая Марина тебя

развратила? Энту, брат, Марину — говорю тебе: и ты, и я во сне видели... На сон лютуешь! Не горячись!..

— Я человек не злой, — сказал Антон очень спокойно. — Я живу дурно, на душе моей много гнойных язв и грязных пятен, но злости для злости в ней нет... Но тебя, Марина Пантелеймоновна, я ненавижу. Это я искренно тебе говорю.

— Спасибо и на том, — столько же спокойно приняла его слова Марина Пантелеймоновна. — Удивительно мне только одно: зачем тебя ко мне, ненавистной, черт сюда носит? Ненавидишь, так и забудь, не бывай! Что нам друг перед дружкою дразниться-то? Надразнились!

— Забудешь про тебя! Ты о себе напоминать умеешь!..

Он тихо прошелся по комнате под неотрывным насмешливым взглядом теперь совсем круглой оранжевой луны.

— Балабоневскую свою давно видел? — произнесла Марина Пантелеймоновна медленно, с значением.

— Вчера... Зачем тебе?

— Ага! То-то!..

— Какое тебе дело?

— Да ведь всегда оно у тебя так, Антоша: ежели ты сегодня с нею амуры развел, значит, назавтра жди тебя сюда, наверх, ко мне, — будешь перед глазами основу сновать и меня неприятностями шпынять. Сам наблудит, а с меня взыски.

Антон молчал.

— Это потому, что довольно стыдно тебе, — поучительно решила Марина Пантелеймоновна. — Со стыда в тебе злость окаянная бушует... Ищешь, на ком сорвать свое сердце. Ну — кто же удобнее старухи безногой? Ругай как хочешь, уйти не могу!

Антон прервал ее, внезапно и с силою ударив по столу ладонью.

— Ну да! — крикнул он, — ну да!.. Именно так! ты права!.. ты всегда права, потому что у тебя в мозгу — змея

спрятана холодная, ядовитая и умная! Да! Именно, когда я весь на позоре и самому себе противен, тогда и тянет меня к тебе... неутолимою враждою тянет! Потому что во всей грязи моей, — и в Балабоневской этой, — ты виновата и твой предо мною ответ!..

Марина Пантелеймоновна делала презрительные гримасы и хохотала.

— Ах, скажите пожалуйста! Да неужели? — прерывала она его между речи. — Нет, Антошка, тебе, в самом деле, пора сидеть в чулане, где — матрасы вместо обоев!.. Да кто с нею живет-то — я или ты? Сводила я вас, что ли? Я и в глаза ее не видывала, твою Балабоневскую, от людей только о ней слышу.

Антон стоял перед нею, скрестив руки на груди, с искаженным лицом и горящими глазами.

— Ненавижу я тебя! Ненавижу! — с наслаждением говорил он, — за то ненавижу, что ты была моею первою женщиною! За то, что отравила ты меня собою! яд твой во мне... и вытравить его из себя я не могу!.. У других молодых людей первая любовь бывает. Даже если первой любви не дал Бог, так хоть первая-то женщина им в представлении изящном явится, и красивым обманом, как лучом, по душе скользнет... А у меня ничего не было!.. И первая моя женщина ты!.. Ненавижу!

— Пора бы и забыть, — язвительно сказала Марина Пантелеймоновна, — давненькое дело было...

Антон не слушал и восклицал:

— Четырнадцатилетнего мальчишку ты коньяком спаивала и мерзостям учила! Дьявол ты! Четыре года отравляла меня... грязь в душу и в мысли вливала! Ну и хорош вышел! Твое создание... Уж не бывает распутнее-то! Радуйся!

— А и понятливый же ты мальчишка был! — злобно заметила Марина Пантелеймоновна. — Маменькина кровь... Я тебя ведь за то и люблю больше, Антоша, что ты на по-

койницу похож. Душонка у тебя дряблая, арсеньевская, а кровь ее — Натальи Борисовны, госпожи незабвенной, друга радостного... А на том, что в то время лета тебе не вышли, прошу извинить: точно, что виновата. Да что же делать, если был такой мой каприз? Сорокалетнюю бабу всегда, брат, к подросткам тянет. О вкусах не спорят! Мало ли какие вкусы бывают? Вон ты к Балабоневской примазался, — вся Москва, говорят, над тобою за нее смеется, а я — ничего: понимаю и не осуждаю...

В голосе ее было много глумления, которое язвило Антона в самое сердце, жгло, принижало, выводило из себя.

— Еще бы ты меня не понимала! Еще бы тебе меня осуждать! — заговорил он с нервным смехом и угрожающей иронией, — и без того я тебе навсегда осужден!..

— Да ведь ты же просил об этом не начинать? — возразила Марина Пантелеймоновна. — Жаловался, что у тебя голова сегодня нехороша? А, между прочим, сам начинаешь!

Антон повелительно отмахнулся от нее рукою: теперь ему уже было не до того. Он ходил и рассуждал:

— Я не знаю, за какие грехи ты послана нашему роду, но это — роковое проклятие разразилось чрез тебя надо мною... Да! Это рок!.. Семья нервная, впечатлительная, вырождающаяся, характеришки зыбкие, восприимчивость внешняя до болезненности чутка, словно у фотографической пластинки... И вдруг — ты!.. Безжалостное, самодовольное, избалованное тело, старая самка, нерассуждающая, похотливая и повелительная, — и больше ничего! Души у тебя нет! Пар у тебя вместо души, как у кошки! Ни жалости, ни совести, ни любви, ни веры: сама была зверь и на всех других людей как на зверей смотрела... Теперь, когда ты уже не женщина, но могила живая, когда тело твое разрушилось и чувственность от тебя отлетела, — я не понимаю: чем и во что ты живешь? Ведь ты же вся была из одного сладострастия вылита!.. Для холодного и жестокого разврата на свет родилась!.. Людей

ты, как тараканов, давила — и правду говоришь: кроме своих прихотей властных, счетов ни с чем не хотела знать... И не знала! И вот ввалилась ты капризным телом своим в жизнь мою, едва расцветавшую, чуть мерцающую, всю мою душу сразу скомкала и опоганила, вбила себя в детское воображение, как клин молотом, — да так и осталась... Можешь торжествовать: я не отвязался от чувственной памяти о тебе до сих пор, — и, вероятно, не отвяжусь никогда! Таким несчастным, как я, не проходит это даром, — кто и при каких условиях разбудил в них первые желания!.. Важное это позабыли люди и не хотят знать, какое важное! Иначе бы они лучше берегли нас, мальчиков, когда мы созреваем в людей! Раннее падение и первая женщина — это призраки на всю жизнь... Смейся! смейся! Скаль зубы! Ты знаешь, — потому и радуешься... За Балабоневскую надо мною издеваешься, а сама ликуешь, потому что в Балабоневских-то этих свою школу во мне признаешь, — что не ушел я от твоего разврата, что все я вокруг твоих воспоминаний верчусь и в Балабоневских разных тебя ищу!

— Много ты раз мне это говорил, — совсем уже кротко возразила Марина Пантелеймоновна. — Что же? я не спорю: такое бывает. Но очень ты ошибаешься: ни чуточки я этому не рада. Напротив, только одного я желаю, чтобы ты бросил всякие свои похождения, остепенился и женился по-хорошему, взял честную барышню из доброй семьи...

Антон болезненно съежился, — так и дернуло его по всему телу...

— Марина Пантелеймоновна! Что — тебе доставляет большое удовольствие колоть меня и мучить?

Она, пропустив мимо ушей, точно и не слыхала, договорила:

— Вот попробуй счастья, посватайся опять к Ратомской барышне... Может быть, теперь и отдадут?

— Оставь! — быстро крикнул Антон. — Пощади! Позволь сохранить хоть один уголок в сердце чистым!..

— Уж и слова не скажи?!

— Не надо!..

— Хорошо: не она одна... Другую возьми! Из себя ты молодец, ученость получил, состояние имеешь, — за тебя всякая с удовольствием выйдет... Вон — хоть Мутузову нашу, Лидию Юрьевну, посватай; глазки у нее на тебя горят.

Антон злобно усмехнулся,

— На всех у нее горят! Вот еще цацочка! Тоже нашего поля ягода... Нет, уж если выбирать, то моя Балабоневская хоть добрее... Я все думаю, что эта Лидия женит на себе — но не меня, а моего почтенного родителя...

— Пока жива, не допущу, — холодно возразила Марина Пантелеймоновна.

— Тебе-то что? — искренно удивился Антон.

— То, что мне в моем мезонине хорошо, и ни съезжать из него, ни молодой хозяйке покоряться — нет такого моего намерения.

— Нельзя мне жениться на порядочной девушке, — задумчиво говорил Антон. — Совесть у меня хоть и с ущербом и путаная, но имеется и иногда говорит громко. Кто сам отравлен заразою нравственною и успел сознать ее в себе, не должен прикасаться к здоровым... Я был женихом...

— Это — когда ты из-под венца-то сбежал? — засмеялась Марина Пантелеймоновна. — Уморушка!

— Да. Женихом Юленьки Лбовой. Хорошая девушка, совсем прелестная: красивая, умненькая, грациозная, с сердцем, с образованием и чиста, как сердцевина апельсина... Она любила меня, нравилась мне, приводила меня в умиление; редко с кем я чувствовал себя так тепло, так дружески хорошо... Даже не дружеское, а подружеское чувство какое-то было!.. Глаза светлые, до дна видны: чистенькое, невинненькое, беленькое существо... Кошечка в голубом ошейни-

ке!.. Три месяца я женихом ее почитался... И — хоть бы когда-нибудь страстный порыв к ней!

— Не по дедушке, стало быть, ты пошел, — вставила словцо Марина Пантелеймоновна. — Тот бы за этакою побежал, высуня язык, хоть на Буян-остров!.. Девушник был, козел старый!

— А я от нее убежал... потому что уж очень страшно и нечестно мне показалось. Молчит при ней мое воображение, не отзывается кровь... А тетка ее тут шмыгала — в твоем былом роде, самочий типик! И вот, — среди самых-то милых чувств, благородных мыслей, прекрасных нежных слов, — у меня в уме всякий раз — как жаба прыгнет: надо будет ужо тетку эту с дачи, что ли, домой проводить, в Москву отвезти... Есть шансы провести час в радости!.. Понимаешь: твоя закваска и накипь бурлят! Так что — тут же и о тебе идея: расскажу потом Марине Пантелеймоновне, то-то будет хохотать!.. Ужасно эта тетка похожа на нее в былые... в наши времена!.. Опомнишься: да — что я? где я?! Ведь я жених! И чей?! Юленькин, светлой души, самой чистоты и невинности... И опять леденею и в подругу мужеска пола обращаюсь: что мне с Юленькою в любви изъясняться, что рассматривать альбом рисунков для русского шитья, — все равно, одинаково вкусно. Так, — тихое, глупое умиление в душе, и будто сверху порошит чистым первым снежком, — чувствительно и... прохладно. А от тетки — платьем она меня заденет, — и кровь в голову бросается, и начинаю брендить и быть дурак дураком! Юленька в наивности принимает это на свой счет, что я, должно быть, очень влюблен в нее и «страдаю...» Это-то объяснили ей, что мужчина, если влюблен, повинен «страдать» и «страдает», а девушка любимая должна его «жалеть...» И она «жалела» — со всею добросовестностью и наивностью настоящей чистоты. А мне стыдно, совестно, ужасно... Ну и не выдержал раздвоения, сбежал. Нельзя, нельзя! Взять за себя такому,

как я, такую, как Юленька, — да это честнее привить ей дурную болезнь...

— Ты бы на обеих женился, душенька, — захохотала Марина Пантелеймоновна, — с Юленькой бы о чувствах разговаривал, а с теткою жил...

Антон сказал, нахмурясь:

— Да... Только смеяться тут нечему. Я думаю, что это самое странное между мужем и женою, когда он, чтобы ласкать ее, должен вызвать себе воображением призрака другой женщины или, когда она под его поцелуями закрывает себе и глаза, и память, чтобы думать, будто ее обнимает другой мужчина... Это, значит, они уже не друг с другом живут, а — с воображением своим, со снами...

— Ага! — с торжеством сказала Марина Пантелеймоновна, — вернулся-таки на свое, с чего начал. Вот оно — то самое, чего не хотел слышать, — про сны-то, как во снах люди жизнь проводят...

— Да... И если сны грязны, мучься ими один или дели их с такою же грязью, как ты сам! Не навязывай себя душе чистой, чтобы не осквернить ее, чтобы своими погаными снами не разрушить ее прекрасных снов.

— Ну уж это — твое дело... Мудришь, брат! Пополам распоролся...

Антон печально кивнул головою.

— Да! И не сошьешь!..

— Снами-то не брезгуй, — лукаво заметила Марина Пантелеймоновна, — не очень их ругай. С ними, брат, легче... Жизнь тяжелая покажется — с непривычки-то, — если вовсе без них.

— Я не брезгую. Кем я могу брезговать? Как? Я сам всех хуже... Напротив, видишь, — отказался покуда от надежды выбраться из снов... Сама же попрекнешь меня Балабоневскою! А уж она ли — не сон? Только унижение от них — снов этих — в душе беспредельно накипает, и нена-

висть против всех вас растет и пенится... Я тебе не шутя сказал, что я тебя ненавижу. Не всегда... Нет... Сегодня, например, я могу говорить с тобою, без искушения ударить тебя по темени вот хоть этим — с комода — кирпичом для иголок... а потом опрокинуть на тебя горящую лампу с керосином... будто приключился пожар и сгорела в нем без остатка забытая в общем перепуге безногая, беспомощная и никому не нужная старуха...

Он замедлил речь и искоса посмотрел на Марину Пантелеймоновну, проверяя впечатление, которое производят его слова. Оранжевая луна сияла гладко и невозмутимо. Антон с гримасою усталости и нетерпения договорил:

— Но часто, очень часто, поднимаясь к тебе в мезонин, — слово даю тебе! — я сам не знаю, совладаю ли с собою, — так горит душа моя мстить тебе за себя, и кровь вступает в мозг, и руки тянутся к твоему горлу...

— Я знаю, — очень мирно сказала Марина Пантелеймоновна.

— Зачем же ты рискуешь тогда — принимаешь меня и остаешься со мною наедине?

— Ты меня не убьешь.

Антон криво улыбнулся.

— Это ты опять — что убить тебя напрасно грозятся уж три поколения Арсеньевых? Берегись, Марина Пантелеймоновна! За три поколения бесхарактерных людей мечта убийства могла воспитать хорошего убийцу...

Но она покачала головою и твердо произнесла:

— Ты, может быть, кого-нибудь и убьешь... только не меня! нет, Антон, не меня!

Он зорко уставился на нее.

— Почему?

Марина Пантелеймоновна вся расплылась улыбающимся лицом.

— Потому, Антошенька, что уж очень ты меня боишься!

ПОД ДЕВИЧЬИМ

XVI

В последний день Святой недели Пречистенка и Остоженка шумели так, что слушать было весело. Тротуары превратились в черные муравейные потоки, спешившие тысячами живых тел вверх, от храма Христа Спасителя к Девичьему полю. Прохожие против течения были редки, чувствовали себя неловко и несчастно и, устав давать дорогу сотням встречных, сворачивали от народной волны в переулки, чтобы хоть крюка взять, да домой попасть. Володя Ратомский, — едва спустился с Пречистенского бульвара к площади с старым и пребезобразным фонтаном, — опомниться не успел, как поток подхватил его, потащил, донес и бросил в черное гульливое море, над которым колыхались круговые качели, пестрели вывески балаганов, развивались пестрые флаги, носились связки разноцветных шаров... Там пищало, там визжало, там скрипело, грохотали медные оркестры, гудели и сипло ныли шарманки, валдайские колокола звонили к началу представлений, выл пораженный пулею искусственный лев в открытом тире, тяжело рокотали по рельсам тележки, слетая с американских гор, пронзительно свистели каучуковые пищалки и дребезжали жестяные дудки. Над самою головою Володи ревел протодьяконский бас:

— Пятая картина! Самая интересная! «Добродетель выводит в генералы»! Пятая картина волшебного лентовского представления «Полезный Аристид, или Греческий герой своих сограждан»!.. Пожалуйте к пятой картине! Всякому лестно взглянуть, потому что со всяким может приключиться! По случаю пятой картины — за треть цены!

Рев выходил из дымящихся уст пожилого мужчины в рыжих бакенбардах, который, перегнувшись с вышки балагана

и точно перерезанный пополам перилами, прыгал зелеными глазами по толпе, отыскивая в ней жертвы для своей кассы. Красиво одетому среди чуек и фабричных «пальтов» Володе он слегка поклонился в отдельность и пробасил с особою ласковою почтительностью:

— Загляните в нашу храмину, господин студент! Возбудит ваше внимание к свершению жизни!

Позади крикуна шеренгою стояли свободные персонажи пьесы и в числе их сам полезный Аристид, которого добродетель выводила в генералы, — парень угрюмый, в зеленой тунике под фольговою бронею, с таковым же шлемом, насунутым по самый кончик носа, с узловатыми голыми коленками, — холодно ему было адски. Стоял ясный, безоблачный в первых числах апреля день. Москва-река только что вскрылась, — и недалекий ледоход дышал на гулянье из-за золотых глав Девичьего монастыря пронзительным, резким ветром. Под ногами толпы текла жидкая грязь, а уши пощипывало морозцем, и почти все щеки горели сизым румянцем.

Побывать в балаганах на гуляньях в Масленицу и Святую неделю — для москвича обряд необходимый. Если его не исполнить, то душа не спокойна, чего-то будет недоставать. Володя выбирал, с чего начать — послушаться ли рыжего крикуна, рекомендующего поучительное зрелище о полезном Аристиде, или завернуть под соседнюю вывеску с изображением сверхъестественно толстой и соответственно обнаженной великанши, потрясающей двумя восьмипудовыми гирями, третью такую же имеющей в зубах, а четвертую — как брелок какой-нибудь — на хвосте длинной косы! Называлось это удивительное создание, вкруг расписанное белыми литерами по синему полю:

Тридцать два пуда физической энергии! Неподражаемая девица Амалия Марс, одобряемая в обоих полушариях, имея похвальный диплом от почетного члена главной французской академии наук и надписей в столичном городе Париже, его сиятельства графа Александра Дюма, который

может быть показан за особое вознаграждение. Также перекусывает железную проволоку! Особая доплата за сеанс по 10 копеек с персоны, дети и нижние чины платят половину! Чрезвычайно интересно в культурном отношении, ибо даже в знаменитейшей физике Гано подобное эксцентрическое явление описано для девятнадцатого столетия как небывалый феномен!!!

— Ратомский!

Как всегда в большой, тесной, гульливой толпе, Володя не сразу узнал голос Бориса Арсеньева и был удивлен, когда из толчеи лиц вдруг вынырнуло пред ним, как из омута, веселое большеглазое лицо приятеля, с наивным близоруким взглядом, с чуть опушенным широким ртом. За ним, раздвигая народ плечами, ругаемый за то и сам ругаясь, вылез откуда-то Федос Бурст, и последним, понурив голову, плелся неизменный Тихон Постелькин, по обыкновению, самый франтоватый из трех. Борис вообще небрежно одевался, — только чистюля в белье и платье он был самый щепетильный, — но сейчас он смутил даже привычного к его костюмным легкомыслиям Ратомского.

— Что — это каким чудаком ты сегодня?

— Разве?

— Котелок какой-то удивительный, пальто куцое, коричневое... я и не видал у тебя такого!.. Откуда раздобылся подобною прелестью?

— Купил, — пробормотал Борис как-то особенно нехотя.

— На толкучке, вероятно? Черт знает что! Ты на стрюцкого похож.

Борис слегка покраснел и нетерпеливо дернул плечом.

— Что же в такую толпу барином ходить? — сказал он, глядя мимо лица Володи. — Я не люблю чувствовать себя чужим среди живой массы, я с народом потолкаться люблю... Если я выряжусь в этакую бекешу, как на тебе, со мною никто из этих тысяч шумящих не скажет ни единого искреннего слова. Барина, брат, они боятся, барину не верят, пред барином либо холопствуют, либо без толку грубят, либо просто — без слов, молчанием, говорят ему: проходи мимо!

Володя усмехнулся.

— Если ты рядишься для народа, — возразил он, — так носи поддевку, сапоги бутылками, картуз.

— Это опера! Сабинин из «Жизни за царя»!.. «Не роза в саду-огороде, цветет Антонида в народе»!

— А так, — извини меня, — что ты хочешь, но ты не народ, а стрюцкий!

Широкое лицо Федоса Бурста выразило хмурое, почти сердитое нетерпение. Борис отвечал с своею постоянною мягкостью:

— Да ведь мы в столице, Володя! Городской народ — сам, брат, норовит угодить больше под стрюцкого, чем под Сабинина. Красно-рубашные пейзане с синими ластовицами уцелели в Москве только на сцене.

— Поддевку носить надо умеючи, — авторитетно вставил Федос Бурст; он, как истинно московский немец, любил одеваться по-русски и был большой на то мастер. — Ряженого барина народ сразу за версту узнает по одной походке... и не хвалит, брат! Могут даже накостылять шею!

— За что?

— За сыщика примут.

Он с обычным самодовольством ударил себя кулаком в могучую грудь.

— То ли дело моя шведская куртка и сей блин — на голову? на все сословия: хошь — студент, хошь — кузнец.

— И воняет рыбьим жиром на все Хамовники!

— Ах, сколь мы нежного обоняния!

— Если тебе франт нужен, — заулыбался Борис, — так у нас имеется свой напоказ: Тихон. Это замечательно, как он глупо рядится... полюбуйся! Стойте, братцы! Где же он? Ах, шельма! Нашел уже какой-то женский пол и прилип...

Бурст посмотрел в толпу и отрицательно тряхнул головою.

— Нет, это его сестра — Варя, которая у вас служит.

— Потолкаемся, что ли, братцы? — весело, по-детски крикнул Борис и заработал локтями, чтобы пробраться к карусели, вокруг которой особенно густо толпились и громко хохотали люди, потому что вместо коней и иных зверей ее движущиеся сиденья представляли преуродливых морских чертей с рогами, вилами и рыбьими, крокодильими и всякими прочими земноводными туловищами и хвостами. Тихон с сестрою очутился уже здесь.

— Здравствуйте, барин! — дружелюбно улыбнулась Борису Варвара, более чем когда-либо бледно-зеленая, истощенная и мертвая с лица на воздухе, при сильном, ярком свете.

Борис очень вежливо ей поклонился и подал руку, которую та без смущения и, видимо, с большим удовольствием пожала. Володе стало смешно.

— Пересолил Боря!.. — тихо сказал он Бурсту.

Федос странно посмотрел на него из-под своего блина.

— Ты находишь?

— Да — глупо же наконец... демократничает! Что за аффектация? Подавать руку своей горничной!

— Сколько мне известно, — с тем же холодным взглядом возразил Бурст, — он дома Варвару шэкхэндзами не утруждает, а здесь на гулянье она — не горничная, но такая же, как мы с тобою, как твоя сестра, его сестра...

Володя сделал презрительную гримасу.

— Он только сконфузил ее...

— Не думаю. Напротив, лицо у нее — очень довольное, и — вон я замечаю, — подружки смотрят на нее с большим уважением и с завистью.

Володя взглянул; Бурст был прав. Одна из указанных техником подружек, большая, статная женщина в франтоватой драповой кофте смотрела на Володю знакомыми глазами и, встретясь с его взглядом, слегка поклонилась. Молодой человек с недоумением притронулся к своей мохнатой плюшевой шляпе, молодое искрасна-смуглое лицо в платоч-

ке показалось было ему совсем не знакомым, — но тотчас же он и рассмеялся:

— Боже мой! ведь это наша Агаша!

— Не признали, барин? — сказала та сильным и слегка носовым альтом, выдвигаясь из группы шага на два, очевидно, тоже с желанием удостоиться господского рукопожатия.

Но Володя только улыбнулся благосклонно, словно наблюдал некий приятный курьез — организм интересный, но бесконечно низший, и к которому снисходить с высоты он не намерен.

Колокол карусели звонил оглушительно, инда лязгало в ушах.

— Ух! — кричал Тихон, — сидя верхом на черте в крокодильей чешуе, — сейчас пущают! едем в город Тамбухту, который с Ливингстоном в центре Африки! Агафья Михайловна! Прошу составить компанию! Бегемотий демон — к вашим услугам! Варя! Седлай соседнего осетра! Звони громчее!.. Поехали!

Девушки быстро закружились на чертях с визгом, хохотом, притворным испугом. Бурст с разбега вскочил на какого-то тритона, сделал на нем три круга и, не ожидая, пока карусель остановится, ловко соскочил.

— Баста! Голова кружится... кровищи у меня, быка, чересчур много становится! В апоплексическую фигуру превращаюсь.

Володя опять посмотрел на него не без иронии повторил:

— Пересаливаете, ангелы мои, жестоко пересаливаете...

Бурст нахмурился.

— Что делать? Каковы есть!

Володя поддразнил его:

— А как же народная-то мудрость говорит, что недосол на столе, а пересол в избе?

Бурст ответил быстро и двусмысленно:

— Да, видишь ты, недосоленное-то уж очень скоро протухает... А читал небось: «Если соль рассолится», — и прочее?

Володя осекся и закусил губу. Он открыл было рот, чтобы ответить Бурсту сильно и резко, но в это время Борис, не глядя, схватил его за локоть.

— Что ты? — удивился он.

Борис выпустил его руку.

— Ах, извини! Я не тебя хотел, — Бурста... Федос!..

Между ними произошел быстрый, как молния, немой разговор глазами.

— Гм? — промычал Федос и как-то напрягся, словно вытянул ухо — к столбу ближней палатки с пряниками, к которому, прислонясь, высокий бледный, чахоточного вида мастеровой в измызганной старой «шведке», как у Бурста, горячо толковал что-то трем другим, слушавшим с глубоким и острым вниманием. У одного была гармоника, которую он, держа за клавиатуру, опустил вниз на аккорд, и теперь она медленно распускалась, протяжно мыча, как обиженное животное, гнусаво и длинно-длинно...

— Опосля того моего отказа, — пылко восклицал чахоточный, — присылает он ко мне нарядчика, чтобы я, значит, покорился...

— Какую власть нашел! — ухмыльнулся мастеровой с гармоникой; она раздирающе мяукнула из последних сил и смолкла.

— Пужают дермом... — сердито поддакнули другие.

Рассказчик продолжал:

— Потом я встречаю самого Ивана Парфенова в Лафертове у Туркина в низке. Подошел. Не рукается, толстый дьявол, только носом мотнул. Я рекомендую ему со всею почтительностью, что не присылайте, мол, Иван Парфенович, ко мне нарядчиков ваших пужать меня: не больно я пужлив, не поломал бы, между прочим, кому-нибудь кости... «Ах, — говорит, — извините! — с издевкою все, понимаешь? — извини-

те, почтенный ремесленник, что осмелился послать к вам моего нарядчика! Конечно, по вашему высокому чину, надлежало мне адрицовать к вашей милости турецкого султана или египетского фараона. Но как оные фараоны все потонули в Чермном море, а турецкий салтан теперича в отлучке...»

— Ишь, шельма, какие насмешки загинает! — отозвался человек с гармоникою.

— Толстое пузо! Изымается над рабочею душою! — тонким дискантом протянул другой.

Третий, мрачный, безбородый, со шрамом на щеке, молча плюнул.

Чахоточный обвел их значительным угрожающим взглядом.

— Но я ему сказал: «Вы это свое пустословие оставьте! Как вы есть образованный человек, то должны понимать, что я работу сполнил и остаюсь пред вами во всем моем праве. А ежели который человек в своем твердом сознании и праве, то, хотя бы вы и впрямь турецкого салтана прислали, я оного салтана весьма просто с лестницы в шею — и больше ничего...»

— Вы что это, ваша светлость? В народ пошли? — окликнул Володю дребезжащий голос, и на плечо его сзади легла костлявая, мефистофельская лапа Квятковского. — Здравствуйте. Материалы, что ли, для поэмы собираете? а?.. Я сейчас катаньем любовался. Видел ваших. Очень хорошие оба выезда у Каролеевых. Особенно караковые — восторг! У меня когда-то были подобные. Целых три недели, даю честное слово! Я тогда батькин капитал дотряхивал, и вдруг — представьте, в купеческом клубе — нечто вроде волшебства «Пиковой дамы»: сыграл на тройку, семерку, туза. Шестьдесят тысяч снял. Чистенькими! Ну, конечно, сейчас же купил караковых и отбил Леонтинку у Гарусова... Квартиру ей нанял на Тверской, четыре тысячи в год. Но не успела, шельма, переехать, потому что, неделю спустя, сыграл я обратно на туза, семерку, тройку, — весь выигрыш назад отдал и еще

своих последних пятнадцать приплатил... О-о-хо-хо! Была игра, сударь мой, была игра! Н-да-с!.. Так видел ваших и удивлялся, что вас нет с ними. Сама вдовствующая герцогиня налицо, принцессы — также, светлейший супруг старшей принцессы видит сны наяву и клюет носом в собственные колена, а наследный принц, оказывается, incognito изучает нравы плебса... К слову сказать, принцесса Евлалия хороша сегодня, как сорок тысяч валькирий! Скажите ей об этом, пожалуйста, от моего имени! «Скажите ей, скажите ей!» — запел он, стараясь попасть в тон шарманки, которая играла, впрочем, совсем не «Скажите ей», но «Выхожу один я на дорогу».

Когда Квятковский бывал в духе говорить, а это случалось с ним не реже семи раз в неделю и часов по шестнадцати в сутки, то собеседник мог вставить свое слово не иначе, как в паузы, необходимые красноречивому молодому человеку, чтобы перевести дух. Но сейчас, на счастье Володи, Квятковский запел особенно неудачно, — сорвался, поперхнулся и закашлялся.

— Квача возьми — глотку промазать! — не замедлил он получить практический совет из толпы.

Квятковский в ответ изящно поднес руку в черной перчатке к своему цилиндру и произнес с кротостью:

— Trop aimable, mon trés cher inconnu! *

— Знаете ли, — продолжал он, потирая пальцем длинный, узкий и кривой свой нос, — я согласен, что русский народ любопытен и остроумен, но... не довольно ли нам все-таки народа? Пойдем взглянуть на выставку аристократии и de la haute finance... ** Есть прекрасные лошади и великолепные туалеты, отличные выезды и дюжина миленьких жоли ***-

---

* Слишком любезно, мой крайне дорогой незнакомец! (*фр.*)

** Финансовой верхушки... (*фр.*)

*** Хорошенькие (*фр.* jolie).

мордочек. Как вы думаете, Владимир Александрович, — сохранился еще в моей полинялой особе некоторый эрфикс, способный произвести впечатление на купеческую дочь? На вдову я не претендую, — сознаю свое бессилие пред купеческою вдовою! Одна умная сваха мне напрямки сказала: «Не та твоя субстанция!» И я сам как сведущий человек чувствую, что субстанция не та... Je suis incapa-a-able! * — запел он, по обыкновению не стесняясь публикою и во все горло. — Но купеческая дочь? Существо, в некотором роде, невинное, как вербный херувим, и без вдовьей эрудиции? Ведь как бы ни был плох, а все-таки остаюсь дворянином шестой книги, — за это очень можно деньги дать, особенно если кто торгует не более как провесною белужиною. Притом почтенный мой родитель, царство ему небесное, написал когда-то что-то дьявольски знаменитое... не то «Войну Федосьи Сидоровны с китайцами», не то «Прекрасную магометанку, умирающую на гробе своего супруга». Об этом есть в хрестоматии, и каждая купеческая дочь обязательно изучала сии дивные эпопеи в пинционе с музыкой, где от нее отдирали белужину и прививали ей Европу. Мне кажется, что силою родительской тени я очень в состоянии вызвать эффект. Так вот — приду, стану на одно колено и изъяснюсь: «Сударыня, мол! Плюньте на «Магометанку» знаменитого Квятковского, забросьте «Федосью Сидоровну» великого Квятковского! Пред вами — еще неизвестное вам, лучшее произведение Квятковского: его единственный сын. И это произведение готово хоть сейчас сыграть с вами драму любви в наизаконнейшем браке — хотите на жалованье и бенефисах, хотите на разовых...» Что вы оглядываетесь?

— Странно: сейчас здесь был со мною Борис Арсеньев, Федос Бурст и Тихон Постелькин, и все они как сквозь землю провалились... Я хотел позвать Бориса вместе с нами...

---

* Я не в силах! (*фр.*)

При имени Бориса шутовское лицо Квятковского померкло, как под облаком.

— Пойдемте-ка сюда! — сказал он сквозь зубы, увлекая крепкою рукою Володю за собою, по ту сторону ряда балаганов, на снежный пустырь, где, в резкую противоположность лицевой стороне площади, не было души живой, кроме нескольких унылых, часто меняющихся фигур, обращенных носами в стены.

— Владимир Александрович! — сказал Квятковский серьезно и печально, с глубоким чувством в узких серых глазах своих, — вы друг с Борисом... Остановите вы его! Он играет в опасную игру и совсем заигрался.

Володя промолчал.

Квятковский сунул руку за пазуху и, пошарив, вытащил листок печатной бумаги.

— Видали?

Володя прочитал, бледнея от волнения. Сердце его ёкало, желудок сжимался. Квятковский поглядывал по сторонам.

— Недурно?

Володя возвратил листок дрожащею рукою, а Квятковский немедленно изорвал бумагу на мельчайшие кусочки, скатал их в горошинку и глубоко затоптал в снег.

— Да... страшно... смелость какая!..

— Вы думаете, что это Борис? — трепещущим голосом спросил Володя.

— Я не думаю, чтобы он это сочинил, но он это раздавал, а может быть, раздает и здесь, — в этом я уверен! А это все равно, как если бы он сочинял. Понимаете: я нашел эту штуку у себя на письменном столе после того, как Борис зашел ко мне и просидел минут двадцать именно у стола письменного. А сегодня встречаю Арнольдса: та же история и у него... В ресторанчике одном на Никитской на днях вдруг оказалась подобная литература за табльдотом под всеми кувер-

тами. А в ресторанишко этот, я знаю, Борис каждый день забегает из университета перекусить... Смекаете?

— Да... да... да... — кивал головою Володя, бледный, с трясущейся челюстью. — Он безумец! фанатик!.. Вы совершенно правы: он и здесь сейчас с какою-то такою особою целью... так странно одет...

Но Квятковский вдруг повеселел и сделался ласковый.

— Нет, не совсем... Костюмировка эта у него невольная. Ему больше надеть на себя нечего. Со вчерашнего дня у нашего Бореньки — omnia mea mecum porto *: только то и есть, что на нем...

— Помилуйте, Квятковский. Ему отец всего лишь к новому году подарил полный гардероб...

Квятковский смеялся.

— Так полным он вчера и поехал в узел к татарину! А на сменку Борис получил вот эти ризы небрачные, в которых вы его видели. Каких-то ссыльных бедняков надо было снарядить в дальнюю дорогу, а денег — черт ма... Отец был не в духе, не дал, у Антона не случилось, — ну Боря и свистнул по боку все свои драпы! Сто семьдесят рублей выручил, а за тридцатью прибегал ко мне — занимать...Тогда-то вот...

Он выразительно скосил глаза на место, где затоптал изорванную бумагу.

— Редкое сердце! — задушевно вздохнул Володя.

— Да, уж именно — «и сию последнюю разделю с вами», как восклицал некогда на этом самом Девичьем поле нашего молодца тезка, царь Борис Годунов. Потому-то и трепещу за него. Вы его, пожалуйста, предупредите. Есть, мол, такое карточное правило: играй, да не заигрывайся.

— Мои предупреждения ни к чему не поведут.

— Его дело.

— А поговорить я, конечно, поговорю.

---

* Все свое ношу с собой (*лат.*).

— А вот это ваше дело. И обязательное! Малый-то больно хороший! Жаль, если пропадет... Если бы братец его — пожалуй, черт бы с ним! А Борьку жаль! жаль! жаль!

Они вышли из-за балагана и опять вмешались в толпу. Течение быстро вынесло их к канатам, за которыми в широком проезде свершалось великое московское таинство, называемое пасхальным катаньем. Состоит оно в том, что медленным шагом тащатся вокруг Девичьего поля, побрызгивая грязью на седоков и зрителей, самые шикарные и нарядные городские экипажи, наполненные самою шикарною и нарядною московскою публикою и влекомые самыми шикарными московскими лошадьми под синими сетками. Морды рысаков в этой карусели упираются в затылки седоков экипажа, ползущего перед ними, а седоки невозмутимо созерцают широкие спины кучеров, заслоняющие от них вселенную. Обряд меланхолического кружения в замкнутом кольце, в центре которого торчит, как высоченный верстовой столб, конный жандарм, продолжается круглый день, для каждого выезда — полчаса, час, два и больше, кто сколько выдержит. Лица при этом у катающихся бывают очень глупые, во всех глазах написана скука, и вся карусель, обыкновенно, погружена в глубокое молчание, нарушаемое только звонками троек в русских упряжках с наборными сбруями да резвым хохотом из саней и ландо, заваленных детворою. Развлечения, бессмысленнее московских катаний, земной шар в каком-либо ином пункте своем, кажется, еще не изобрел. Тем не менее, многим доставляет огромное удовольствие кружиться в этой передвижной выставке благосостояния. Доставляло и Ольге Александровне Каролеевой. На своих великолепных караковых она двигалась сияющая и счастливая всем, что есть сейчас на свете: ярким солнцем, холодным воздухом, своею парижскою шляпою, караковыми лошадьми, слоновым великолепием кучера Силуана (переманили от князя Раскорячинского!!!), сонным, но внушитель-

ным Евграфом Сергеевичем рядом в коляске, и толпою, которая на все это каролеевское благополучие смотрит, одобряет и весело завидует ей, молодой, богатой, красивой даме с жизнерадостностью в улыбке, с птичьим счастьем в головке и сердце... Супруг Каролеев действительно почти дремал, хотя жена лепетала ему в правое ухо не переставая и то и дело указывала ему что-либо или коголибо в толпе.

— С вязигой? — крикнул сонному Каролееву обычную шутку свою Квятковский из-за каната, когда коляска тащилась мимо.

Евграф Сергеевич на мгновение оживился и послал молодым людям веселый и благосклонный взгляд.

— Нет, брат, сегодня с капустою... Володька, хочешь в коляску?

— Я не люблю ездить спиною к лошадям: голова кружится.

— Я пущу тебя на свое место, а сам сяду на переднюю скамеечку.

Но Ольга Александровна запротестовала. Она уже и за вязигу сделала Квятковскому не совсем-то довольную гримаску. Она начинала находить в последнее время, что ее богатому и знаменитому мужу пора переходить в почтенные и важные и держать себя с величием и весом, а буршеские привычки, клички, амикошонство, знакомства, развлечения, словечки позабыть и предоставить холостой и без имен молодежи. Видеть солидного и всей Москве известного Евграфа Сергеевича, с которым из десяти прилично одетых прохожих и проезжих один уж непременно раскланивался, на передней скамеечке, а мальчишку-брата рядом с собою, — оказалось выше сил Ольги.

— Какая интересная сегодня Ольга Александровна! — снисходительно похвалил Квятковский, проводив коляску поклоном. — Эти сияющие глазки, розы на щечках...

— Да, только она ужасною буржуазкою становится!.. — небрежно возразил Володя. — Терпеть я не могу этого в ней! Вырядилась в бархаты, плюши, на шляпе зверя какого-то заморского разложила, качается на подушках Арбатовских и презирает все, что ходит пешком или едет на извозчичьей пролетке... Словно из пачек денежных престол под нею! И как это скоро... полное превращение! В девушках она была совсем иная... Я любил ее гораздо больше Евлалии, потому что та у нас молчаливая и гордая, а Оля была проще. Она веселая, поговорить мастерица... я даже находил, что она более либеральна! Евлалия ведь prude'ка * ужасная. А теперь я даже удивляюсь: как я мог? Ольга мизинца Евлалии не стоит...

Квятковский слушал слова эти с тем почтительным вниманием, — какое всегда принимал на себя в присутствии Евлалии Ратомской или говоря о ней. Но ничего не прибавил и не возразил на откровенности Володи...

— А я люблю! — засмеялся он, — я, напротив, прямо люблю наблюдать эту нарождающуюся буржуазность в молодой русской хозяйке. Может быть, за то, что сам-то я уж очень богема... За прелесть контраста! Эта новорожденная, неуклюжая буржуазность всегда немного комична, а я люблю все, что меня добродушно смешит, не портя мне аппетита и желчи. Красивый комизм — прелестная штука! Самая милая и беззаботная на земле! Затем — что же? Дама есть домостроительница — и права!.. Коли ты муж, так мужествуй и собирай в житницу, дабы добро шло в дом, а не из дома. Воробьиный прыг-попрыг не приличествует «мужу честну» и должен быть предоставлен нашему брату-щелкоперу, а «муж честен, да внидет в думу цареву и сядет, уставя браду...» Обожаю буржуазных молодок! Они культуру создали, выдумали самовар и мягкую мебель! Они с своею по-

* Недотрога (*фр.*).

требностью к комфорту сделали нас оседлыми. Без них мы до сих пор кочевали бы, подобно ослам дивиим, в песчаных степях пустынной Нумидии или где-нибудь еще хуже, и не имели бы ни государственного казначейства, ни даже «Салона де Варьете». А вот и другая колесница, с мамашею и младшею принцессою вашего дома. Боже! Илиодор Рутинцев эскортирует их на коне... Фу-ты! ну-ты! Какая тужурка сногсшибательная под кавалериста венгерского образца! и сапоги с желтыми отворотами! и лосина являет прелесть дворянской ноги с неотразимою очаровательностью!.. Но почему же — сей?! Где другие присяжные рыцари нашей разборчивой Турандот? А Евлалии Александровне Илиодорка, по-видимому, уже очень надоел, потому что она делает мне любезную улыбку, которую я принимаю не иначе, как за приглашение занять место в экипаже и отшить от нее нашего благородного, но несколько утомительного в больших дозах красавца Илиодора.

Взгромоздившись на переднюю скамеечку в коляску Ратомских, Квятковский действительно с того и начал, что принялся «отшивать» нарядного всадника. Володя еще расслышал его вопрос, любезно обращенный к Илиодору Рутинцеву:

— Душка Чинизелли! когда твой бенефис?

XVII

Только что Ратомские отъехали, в двух шагах от Володи, в толпе, — между палаткою сбитенщика и ширмами Петрушки, — резкий, громкий, испуга и отчаяния полный, голос рявкнул: «Караул!» — и грянул скандал. Люди так и шарахнулись по всему гулянью — кто бежать на крик, кто бежать от крика... «Караул» ревел уже спокойнее, зато настойчиво, злобно, басисто, протяжно. Запели, засвистали полицейские

свистки. Володю замяли: раза два-три его перевернуло вихрем человеческой сумятицы, как кубарь на оси, острые локти больно толкали его под ребра, кто-то положил руки ему на плечи и подскакивал, упираясь на них, чтобы видеть через головы вдаль. И вдруг среди лиц, красных, бледных, пятнистых, сердитых, веселых, проплыло перед Володею знакомое, но давно не виданное, длиннобородое лицо с неподвижными стальными глазами. Володя видел, как оно едва шевельнуло губами у самого уха Тихона Постелькина, — глазевшего на скандал с приступков ближайшего балагана, охватив руками столб и закинув одну ногу на перила, — и, шепнув, опять пропало в толпе. А в следующую минуту спокойный, металлический голос произнес над ухом Володи:

— Кажется, я имею удовольствие видеть господина Ратомского?

Володя обернулся: холодные глаза смотрели на него в упор, и ветер развевал длинную бороду так близко, что рыжие концы ее раза два задели Володю по лицу.

— Вы не узнаете меня? — громко и ясно говорил спокойный господин. — Мы встречались с вами у Платоновых. Моя фамилия Берцов.

Володя в жизнь свою не бывал ни у каких Платоновых и очень хорошо знал, что фамилия говорившего не Берцов. Но под властным и внушающим взглядом он понял, что надо делать и как себя вести.

— Ах как же... очень приятно... — пролепетал он.

— Удачное гулянье. Не правда ли? — развязно и самоуверенно продолжал г. Берцов, продевая свою руку под руку Володи, после чего тот почувствовал себя повыше локтя в железном кольце. — Масса народа. Погода прекрасная. Искреннее веселье... Я здесь брожу уже часа два, и всего еще первый скандал... Позвольте спросить, господин офицер! что там такое? драка?.. — обратился он к поспешно проходящему полицейскому.

Тот покосился на его дорогое пальто, заграничный цилиндр, трость с золотым набалдашником и вежливо сказал на ходу:

— Никак нет. Взяли одного... субъекта...

— Карманник попался... Так и надо, — успокоительно обратился Берцов наполовину к Володе, наполовину к полицейскому.

А железное кольцо жало Володин локоть, толкая и требуя: говорите же, черт вас побери, что-нибудь! не стойте испуганным гусем! говорите! говорите!

— Я думаю, сотни тут карманников, — промямлил Ратомский сухим языком.

Полицейский офицер прошел, не выразив по вопросу о карманниках ни согласия, ни противоречия, а железное кольцо властно потащило Володю в сторону, и над ухом своим молодой человек услышал уже другие речи.

— Ратомский, вы не из наших, но вы друг Бориса Арсеньева, следовательно, обязаны выручать его. Он сейчас там — на Москве-реке, под стеною Девичьего монастыря... Ступайте к нему немедленно и скажите от меня только два слова: «Кончаев влип». Поняли? «Кончаев влип». Мы будем вам благодарны... Прощайте.

Железное кольцо разомкнулось. Холодные глаза и рыжая борода будто растаяли в воздухе. Толпа расступилась, давая пройти шествию полиции с арестованным «карманником»: очень тщедушным молодым человеком, именно из типа «стрюцких», в продавленной шляпе, скверно одетым, но с острым и не робким взглядом из-под круто выпуклого рахитического лба. Городовые держали его крепко и вели сквозь народ напористо, быстро. Сзади почти бежал какой-то толстый, краснолицый, взволнованный барин в пальто поддельного котика. Он заглядывал сбоку в лицо важно шагающему седоусому бакенбардисту-приставу и повторял:

— Понимаете, господин пристав, я думал: вор за кошельком... Хвать за руку, ан, вон оно что... штука какая... Понимаете, господин пристав? У меня ноги сомлели и душа умерла... Просто уж и не знаю как... Понимаете, господин пристав?

У барина глаза пучило от испуга и даже нос побелел.

— Я думаю: вор за кошельком... руку цап!.. ан, бумага!.. Понимаете, господин пристав?.. и в ужасе! мне за это ничего не может быть, господин пристав?

Полицейский не отвечал ему ни слова: он с непоколебимым бесстрастием поглядывал направо и налево:

— Господа, разойдитесь... Господа, не толпитесь... Совсем нет ничего интересного... Господа, разойдитесь... Господа, прошу...

В руке, указательным перстом которой он как бы слегка дирижировал любопытными, была зажата тоненькая пачка белых листков. Тихон Постелькин с спокойным и радостным даже лицом следовал непосредственно за грозным кортежем между Варварою и Агашею: глаза у этих девиц округлились и просто выскочить из лба хотели от любопытства.

— Страсть люблю смотреть хороший скандал, — говорил Тихон, поплевывая подсолнухами. — Нет для меня лучше, как — если полиция схватает жулябию. Давай, девки, пойдем теперь провожать, как повезут этого прохвоста, до самого участка...

Володя зашагал по узкой тропе, прямиком через снежное поле, к белым стенам и золотым главам Девичьего монастыря. Его несло к ним как на крыльях, но инстинкт самосохранения говорил ему, что нельзя спешить слишком заметно. Он был очень потрясен и взволнован и чувствовал в себе какую-то тяжелую пустоту...

«Шекспир сказал бы: «Его сердце оседлал свинцовый ужас!», — поэтически вообразил он про себя и, как всегда, немножко облегчил душу цитатою... В слегка успокоенной

ходьбою и отдалением от толпы голове его уже мелькало, что из всего этого приключения можно сделать красивую маленькую поэму вроде миллеровской баллады «Die Burgschaft» * или крохотный, лаконически потрясающий рассказ вроде тургеневского «Наши послали»...

«Влип»... Так и назову: Не Кончаев, разумеется... но Дюжаев там, что ли, или Катаев, Валяев... «Валяев влип»... Чудесно!.. Брагин, — я не знаю, чего не дал бы за такой сюжет... Но я его сам использую! сам! сам!.. И все это опишу: и как снег блестел, и как кресты на монастыре горели, а «Валяев влип», и вот я иду, и задыхаюсь, и у меня больное сердце, и я боюсь, что оно у меня разорвется от волнения и бешеного бега, и у меня в уме одна мысль: «Поскорее бы дойти, спасти...» А ноги у меня подкосились, и я чувствую во рту медный вкус крови...

— Куда это?

На крутом повороте кирпичной дорожки, обегающей монастырскую стену по направлению к реке, из-за угловой башни перед самым носом замечтавшегося поэта выросла колоссальная фигура Федоса Бурста. Он, будто бы шаля, расставил ноги, раскинул руки, заграждая Володе путь, но в глазах его не было ни малейшей игривости... они смотрели сурово и зорко.

— Реку смотреть? Будет! Надоело! Холод, ветрено! Сам ушел и тебя не пущу... Пойдем в «Голубятню» пиво пить!

Володя понял, что Федос перенял его на дороге неспроста, но поставлен стоять в некотором роде на часах при каком-то неизвестном деле.

— Я Бориса ищу, Федос. Мне Борис необходимо нужен...

— Бориса? — изумился Бурст. — Не видал. Его здесь не было. Я один шатаюсь. Борька еще давеча, как нас с тобою в толпе разбило, взял извозчика и поехал домой...

Ратомский с нетерпением прервал его:

---

* «Порука» (*нем.*).

— Полно, пожалуйста, Федос, брось комедии! Борис где-то здесь у реки... Я должен его видеть. Я послан к нему, понимаешь: послан!

— Откуда ты это вообразил, что он у реки? — так и впился в Ратомского Бурст подозрительными глазами, сделавшись в эту минуту удивительно похож на немецкого унтер-офицера из «Kladderadatsch'a» *. Сосредоточенное выражение внимания или усиленной мысли всегда выдавало в бравом технике его тевтонскую кровь.

— Мне Берцов сказал.

В глазах Бурста мелькнула искорка.

— Берцов?!

— Кончаев влип! — бухнул Володя и сейчас же спохватился, надо ли было сообщать Бурсту, так как послан он был к одному Борису.

Красное лицо Бурста сразу побледнело как снег, по которому они шагали.

— Врешь? — глухо переспросил он. — Кто сказал?.. Ты сам видел?.. Постой... не понимаю... откуда ты знаешь... Кончаева?

— Да говорю тебе: Берцов приказал! — уже с страданием в голосе, полный оскорбления за недоверие, вскричал Володя.

— Гм...

— Ты мне Бориса подай! — нервно, с дрожащими губами, требовал Ратомский. — Берцов сказал: ему опасно...

— Да что — Бориса? — крупно шагая, ворчал Бурст. — Посылают чужого, а никакого знака... Бориса, Бориса!.. Ни малейшей дисциплины! Верь на слово!

Володя понял, что, понадеявшись на личную близость его с Борисом, Берцов не сообщил ему пароля, с каким надо к тому подойти.

---

* «Шум» («Грохот») – название немецкого сатирического журнала XIX в.

— Да что же? Обманывать, что ли, я пришел вас? предавать? — зашептал он со слезами на глазах и с судорогами в горле.

— Эх! Глупости! — с досадою возразил Бурст. — Никто в тебе не сомневается. А не порядок... Берцов чудак!.. посылает чужого, «слова» не дает... Я, брат, человек правильный... Дело, где дисциплины нет, у меня веру колеблет...

Споря и перекидываясь спешными фразами, они дошли по красному перпендикуляру дорожки до другой угловой башни, от которой бежит уже толпа под гору к переезду на село Воробьево, через Москву-реку.

— Подожди здесь, — круто остановил Бурст. — Я приведу к тебе Бориса. А впрочем, черт! Все равно!.. не велика беда!.. пойдем вместе... Ни малейшей дисциплины!

Бориса они нашли почти сейчас же за башнею, среди кучки мастеровых: между ними видать было давешнего чахоточного, который собирался отстаивать свое право даже от турецкого султана, и парня с гармоникою, — она опять висела у него беспомощным мешком вниз и скрипела еще унылее... Они имели вид, будто глазеют на разлив реки: вода шла сильная, — бурая, даже при отражении яркой синевы чуть вечереющего неба, — вся испещренная, как шкура фантастического зверя какого-нибудь, неправильными белыми пятнами льдин: сверкающих сверху сахарным снегом, будто бриллиантами в серебре, а внизу синих-синих, вкусных, заманчивых...

— Как же вы не крепостные? — подойдя ближе, услыхал Ратомский страстный голос Бориса. — Дворянская кабала от вас отошла, но на смену ей настала кабала купеческая. Прежде были крепостные у помещика, теперь у хозяина-толстосума...

Отозванный Бурстом, Борис быстро отделился от своих новых приятелей-слушателей, пообещал им где-то снова встретиться, простился и — десять минут спустя трое мо-

лодых людей уже шагали далеко от монастыря, Долго-Хамовническим переулком, столь знаменитым теперь, потому что в нем находится дом графа Л.Н. Толстого. Тогда граф только что его купил.

— Боже мой! Боже мой! — по обыкновению, почти слезно сокрушаясь и волнуясь, восклицал Борис, пока Володя трепетно и красиво рассказывал ему сцены на гулянье, которых был свидетелем.

Бурст угрюмо молчал. Когда им попался встречный извозчик, Борис взял его.

— Вы, ребятишки, идите в «Голубятню»! — ласково сказал он, — может быть, и я подъеду, когда освобожусь...

И заговорил уже с санок по-немецки, что едет куда-то за инструкциями. Бурст только головою кивнул: нечего, мол, распространяться! сами понимаем, не дураки и не маленькие! Володе Борис крепко пожал руку и молча поглядел ему в глаза такими глазами, что у Ратомского вся душа закипела гордою радостью, и он почувствовал себя вознагражденным больше, чем если бы Борис сказал ему все благодарственные слова, какие есть в языке русском. Федос Бурст тоже смотрел на Ратомского куда ласковее всегдашнего.

— Ай да поэт! — сказал он, хлопая Володю по спине. — Извини: признаюсь, не ожидал, брат... Я думал, ты — только пред барышнями таять да стихи сочинять...

«Голубятнею» слыл в Москве, в особенности среди учащейся молодежи, трактир Красовского на Остоженке, как раз супротив знаменитого Зачатиевского монастыря. Оригинальное заведение это называли также — «трехсословным», так как оно имело три отделения — извозчичий низок, «демократический» зал для публики чистой, но серой, и аристократический уголок для публики самой чистой, господской. Здесь особенно успешно торговали глухою ночью, когда запирались первоклассные рестораны — «Голубятня» же работала все сутки насквозь. Этот аристократический уго-

лок «Голубятни» славился также под кличкою «лицейского клуба» — по множеству студентов Лицея цесаревича Николая, которые из-за близости трактира к лицею были постоянными и почетными здесь гостями. Вероятно, многие из них, теперь в чинах и капиталах, еще поминают иногда «Голубятню» добрым словом. В аристократическом лицее были ведь и очень не богатые группы стипендиатов, — «ломоносовцев». В быту их дешевая и отлично угощавшая «Голубятня» имела большие заслуги. Хорошим подспорьем являлась она и для тех «младших сыновей», как именуются подобные лица в английских романах, которые при громких фамилиях обладали пустыми карманами и слабым кредитом. Квятковский был здесь завсегдатаем. Ему сюда иные даже письма адресовали. Злейших кредиторов его половые здешние знали в лицо и, если завертывал в «Голубятню» какой из них, молодцы преискусно либо его, либо Квятковского сейчас же сплавляли.

— Не помню вкуса материнского молока! — говорил Квятковский, — мне кажется, что когда я родился, то сейчас же отнесли меня к Красовскому в «Голубятню» и дали мне в руку глодать свиную котлету с гарниром.

Эти свиные котлеты были гордостью фирмы. Пробовать их приезжали любители со всей Москвы. Одной порции доставало на трех человек, а стоило все удовольствие тридцать копеек.

Дымная, парная, угарная, прокуренная «Голубятня» была битком полна гостями во всех трех отделениях и грохотала сотнями глоток; рев машины едва пробивался сквозь слитный гул голосов. Проходя «демократическим» залом, Володя заметил за столиком у окна Варвару и Агашу: они сидели в степенно-выжидательных позах, и пред ними на красной скатерти не стояло ни пивной бутылки, ни чайного прибора. В глазах Бурста опять сверкнула та искорка — «настороже», какую подметил Володя, когда у Девичьего монастыря он назвал технику имя Берцова.

— Душеньки! — сказал Федос, приостановясь, — вот вы где спасаетесь! А что же одни? Кавалера своего где потеряли?

— Нас сюда братец усадил, Федор Иванович, — звонко отвечала Варвара. — Мы братца ждем...

— Тихона Гордеича, — своим носовым контральто пояснила Агаша.

— Они по своему делу куда-то-сь пошли. Обещали быть сию минуту, однако уже нет их до получаса.

Бурст быстро переглянулся с Володею.

— Проходи, брат, в «клуб» и занимай столик, — шепнул он, — я присяду к своим дамам...

Володя догадался, что и Тихон Постелькин бегает теперь по каким-то непростым поручениям, — недаром же перешепнулся с ним Берцов на гулянье! — и что Бурсту тоже надо дождаться Тихона Постелькина. В юноше вспыхнуло острое любопытство. Он горько пожалел, что на нем не шведская куртка или стрюцкий пиджак, а чересчур уже щегольская визитка, которой дорогая материя и изящный покрой — никак не для «демократической» залы, и нельзя такому франту сидеть в ней, не привлекая к столу всеобщего внимания. В «клубе» Володя нашел Квятковского и Антона Арсеньева... Квятковский, каким-то чудом всеведения, знал уже об аресте «кого-то особенного», произведенном на Девичьем поле, и вполголоса рассказывал Антону. Тот слушал и спокойно пил коньяк, как всегда, бледнея и мрачнея с каждою рюмкою.

— Лет десяток на Каре... — холодно заметил он, когда Квятковский кончил, — увидал Володю, дружелюбно подозвал его и указал стул подле себя.

— Бориса ждете? — спросил он очень мягким тоном, в котором, как и в пристальном взгляде, и в крепком рукопожатии, Володя почувствовал вопрос: цел ли Борис?

Он отвечал с улыбкою, — как сумел более беззаботною, что только что расстался с Борисом в добром здравии, и тот

обещал зайти через часок сюда же в «Голубятню». Взгляд Антона несколько прояснился, брови выпрямились, и со лба исчезла заботная морщина.

— Выпейте-ка! — подвинул он Володе рюмку. — Вам надо... Вы должно быть устали очень на гулянье? У вас нехорошее, измученное лицо.

Володя принял предостережение, выпил и постарался сделать мимику свою менее трагическою... Они сидели так и пили часа три. Квятковский с Володею медленно и осторожно потягивали пиво. Антон методически наливался коньяком, не пьянея ни в речи, ни с лица, лишь все более и более каменевшего в неподвижную белую маску. Время от времени он поглядывал на выпуклые светлые часы — «бычий глаз», — висевшие над дверями в «демократический» зал, и потом переводил блестящий выразительный взгляд на Володю, и тот каждый раз чувствовал, будто Антон вколачивает ему острый гвоздь в сердце. Квятковский говорил без умолка, а время тянулось все-таки длинно-длинно... Свечерело, в дыму и копоти душного трактира вспыхнули белые газовые шары, когда под часами, чуть не доставая их головою, явилась длинная сутулая фигура Бориса и улыбнулось ожидающим его лицо, очень усталое, но совсем спокойное и даже беспечное. За ним валил всею своею громадою красный и уже изрядно подвыпивший Бурст.

— На Шипке все спокойно! — пробасил он на ухо Володе, тяжело опускаясь на соседний стул. — Матвей! пива!

Все в компании, конечно, слышали, и Борис взглянул на приятеля строго. Тот осекся и прикусил язык, здорово ругнув себя про себя за собственную промашку против возлюбленной своей дисциплины. Антон и Квятковский сделали вид, будто не слыхали.

— Что же ты покинул своих интересных дам? — поспешил дать поправиться Бурсту Володя.

Техник обрадовался, загрохотал.

— Они уже давно ушли... и с кавалером своим! Я уже минут сорок сидел один, пока не дождался Бориса...

Борис заезжал только показаться брату и друзьям и сейчас же начал собираться домой. Володя вышел с ним вместе. Теперь, когда сильные эмоции схлынули, он чувствовал себя усталым и избитым, как барабанная кожа после какого-нибудь воинственного марша.

— Ты прямо домой?

— Да. Спать хочу, подгибаются ноги. А ты?

— Тоже.

Так говорили они, стоя на углу глухого переулка, нырявшего к Илье Обыденному, долго не размыкая рукопожатия и оба понимая, что говорят этими простыми словами не то, что они выражают своими звуками, а что-то глубокое, нежное, милое, связующее две души надолго-долго. Чистое синее темное небо сияло над ними страшно высокими зелеными звездами.

— До свидания.

— До завтра...

— Прощай!

— Борис! — воскликнул Володя.

Тот приостановился.

— Что?

— Никогда мы с тобою не были так близки и так далеки между собою, как в эту минуту!

Борис возвратился к нему, взял его руку и долго, и хорошо качал и тряс ее, сопя и вздыхая в темноте.

— Большая Медведица как хороша сегодня! — сказал он наконец. — Когда меня не будет, вспоминай, как мы с тобою вместе ее смотрели... Прощай!

Он исчез в переулке. Володя смотрел на ближний фонарь, и пламя расплывалось для него в огромное светлое чешуйчатое пятно, и глаза его были влажны.

Праздник затихал... Остоженка рычала как засыпающий зверь, шумная, пьяная, темная, подслепо мигающая тусклыми

фонарями. В воротах большого стоглазого дома стояла парочка. Мужчина держал женщину за руки и нежно говорил:

— Но почему же вы упорствуете осчастливить посещением мою одинокую хижину, которая есть рабочая келья?

Женщина возражала носовым, чуть-чуть хмельным контральтом:

— Но, ежели я сказываю вам, как по всей честной совести, что барыня отпустила меня только до семи часов!

Володя узнал Тихона Постелькина и Агашу и прошел мимо, весело смеясь про себя, не замеченный, думая с облегченным сердцем: «На Шипке все спокойно!..»

ЭКЗАМЕНЫ

XVIII

Опять дышало лето, опять шумел листвою Царицынский парк, опять пели щеглы с дроздами, опять жужжали шмели, и пряною вонью отравляли воздух с кустов отцветшей сирени зеленые длинные шпанские мухи. Володя Ратомский — сам зеленый с лица, как они и трава, его обступившая, — лежал на спине под вязом близ Миловиды и с удовольствием чувствовал себя свободным — ну просто ужасно, просто — ах как свободным человеком! — чувствовал впервые после долгого и изнурительного экзаменационного месяца. Перевалить на второй курс далось Володе тяжко, и нельзя сказать, чтобы со славою. А профессор Боголепов с своим сухим, деловито отчетливым и скучным курсом истории римского права юноше даже еще долго потом по ночам снился. Каждый факультет в каждом университете имеет профессора-грозу, «избивателя младенцев», усекающего на экзамене своем победные головы первокурсников — для расчистки факультета. В Московском

университете восьмидесятых годов для юристов грозную роль такого Азраила выполнял Николай Павлович Боголепов — требовательный, холодный, точный, неукоснительный романист, наследник по кафедре знаменитого Никиты Крылова и страстный поклонник Иеринга. «Резал» он методически, беспощадно. Кто получал у Боголепова пятерку, того, обыкновенно, остальные профессора курса пропускали, почти не экзаменуя: значит, уж зубрило парень, если сам Боголепов расщедрился на полный балл. Так что проверке подлежали только боголеповские четверки и тройки. Володя оказался, — увы! — из последних, да и то на курсе говорили, что Боголепов поставил ему тройку машинально, потому что очень уж удивился. Когда Володя очутился пред столом экзаменатора и, взяв билет, нашел под соответственным номером в программе страшные слова Jura in re aliena * — «Права в чужой вещи», ему показалось, будто кто-то сзади с размаху свистнул его в затылок осиновым колом.

— Какой у вас билет? — тихо и ровно спросил Боголепов студента Работникова, вызванного вместе с Володею.

Работников, волосатый и угрюмый, сделался красен как рак, вспотел и пробасил:

— Восемнадцатый... Только я, господин профессор... Позвольте переменить...

Профессор, не отвечая, повторил на память содержание билета:

— Fiducia pignus, hypotheca... ** не знаете?

Работников кашлянул и сказал басом:

— Не дочитал.

Профессор перевел глаза на Володю.

— Вы?

Юноша языком, который весил в этот момент не менее двадцати фунтов, промямлил:

---

* Права в отношении чужого (*лат.*).

** Залог с правом обратного его выкупа, ипотека... (*лат.*)

— Я тоже... не совсем... желал бы...

Боголепов долго молчал с тем же невозмутимо окаменелым лицом.

— Вам, конечно, известно, господа, — сказал он, в каждом слове дыша на преступных студиозов металлическим холодом уготованной им секиры, — что после перемены билета я уже не могу поставить вам полного балла?

Володя, сердце которого плясало сарабанду, как укушенный тарантулом, улыбнулся криво и жалко: я, мол, и не претендую... где уж!

— Возьмите, — разрешил Боголепов, и в тоне позволения Володя ясно слышал, что профессор его уже презирает, но ему было решительно все равно, — хоть Сенькой зови, только бы новый-то билет не выдал на пропятие! Судьба сжалилась, послала молодому человеку — «Аграрный вопрос в Римской республике».

Работников ушел, благословенный вожделенною тройкою. Володя, ободренный знакомым билетом, приступил к столу довольно смело и заговорил довольно складно. Боголепов слушал его, имея в спокойных глазах своих выражение: «Еще бы таких пустяков не знать? Всякий дурак расскажет!»

И вдруг он остановил юношу.

— Почему вы не могли отвечать Jura in re aliena?

Володя посмотрел на профессора глупо, облизнулся почему-то и безмолвствовал.

— Скольких билетов вы не дочитали?

— Трех... — сказал Володя и тут же спохватился, что врет: — семи...

— Скольких же? трех или семи?

Володя мямлил. По губам Боголепова пробежала как будто легкая улыбка.

— Быть может, трех и семи, то есть десяти?

Володя жалостно безмолвствовал. Профессор, прямой, как громоотвод, пронзил его взглядом и сказал:

— Потрудитесь изложить мне о видах опеки: что есть tutela * и что есть cura? **

Осиновый кол опять стукнул Володю в затылок. Голову его наполнил туман, в котором прыгали, как бесы, обрывки латинских слов, параграфов, формул, определений...

— Можете отвечать на вопрос? — отрезвили его профессорский взгляд и голос.

И, не только напрягши, а даже рванув как-то память свою, он вдруг заболтал быстро, с отчаянием:

— Tutela — это, значит, потому что, которая, если с auctoritas ***, а cura — как если опекун, и опять же тут gestio *[1], и не зависит от воли того, чьим имуществом управляет, и нужно согласие, то есть concessus... *[2]

Боголепов поморщился и предложил другой вопрос. Повезло. Володя ответил. Профессор смотрел на студента, играя карандашом.

— Я привык думать, — сказал он, выслушав, — что система римского права — писаный разум: самое стройное, точное, логическое знание, которое создали для нас прошедшие века. Но вы, господин Ратомский, разубеждаете меня: более расплывчатых, туманных, ровно ничего не объясняющих фраз, чем слышу я от вас теперь, не может быть ни в какой науке.

Володя подумал: «Двойка!» — и почему-то живо вспомнил, как в прошлом году на даче дворник вываривал кипятком тараканов из дощатой перегородки: они вытягивались длинные-длинные, становились вялые, точно из лайки, белели и погибали... И ему казалось, что на него самого те-

* Охрана (*лат.*).

** Попечение? (*лат.*)

*** Суждение, мнение (*лат.*).

*[1] Исполнение; образ действия (*лат.*).

*[2] Согласие... (*лат.*)

перь льются вар и кипяток, и сверху оно жарко, а кишочки застыли и в узелок завились.

— Вы не работали у меня в семинаре? — допрашивал Боголепов.

— Нет... — потупился Володя в раскаянии.

— Почему?

Володя молчал и мялся. Профессор настаивал:

— Почему?

И вдруг у измученного, потного, чуть не дымящегося студента порывом отчаяния, — все равно, мол, пропал уже! — слетела с языка — неожиданная, полоумная фраза:

— Потому что это меня нисколько не интересовало...

Боголепов приоткрыл рот и впервые взглянул на Ратомского с любопытством. Под усами его опять скользнула улыбка.

— А чем же вы изволили вообще интересоваться?

Но Володя уже спохватился и пришел в ужас от себя самого, — свял, смотрел глазами умирающей газели и безмолвствовал.

— Довольно. Тройка!!!

Володя глупо улыбнулся, глупо поклонился, глупо пошел к скамье. Сотни две глаз завистливо уставились на него, а он чувствовал себя — точно свалился из-под веников с жаркого полка.

— Везет тебе, милейший! — без церемонии поздравил его Авкт Рутинцев. — Такую чепуху нес — и все-таки тройка!.. У тебя, вероятно, в кармане приворотный камень есть?

Все дальнейшие экзамены, сравнительно с муштрою, претерпенною от Боголепова, вспоминались теперь Володе чуть не дивертисментом каким-то. Философ Троицкий не дал ему говорить и двух минут, поставил пятерку, зажмурился и отпустил с самою сладкою из своих бесчисленных гримас и улыбок. Этот ученый так твердо веровал, что слушатели ровно ничего не знают по его предмету, что уже одна готов-

ность студента отвечать приводила его в восторг и казалась ему достойною пятерки. Чупров со всем доброжелательным усердием гонял Володю по курсу и так и этак, но о нем было известно, что он не ставит двоек и даже тройками награждает лишь с большим неудовольствием, когда студент уже совсем неуч и оболтус. Мрочек-Дроздовский узнал старого знакомого и сам с язвительной приятностью предложил ему рассказать про «омман», «курс» о котором-де Володя у него «однажды» прослушал. Ключевский, довольно грозный у филологов, юристов экзаменовал «на курьерских» и каждого прямо спрашивал, говоря на «о», сиплым своим тенором и духовным говором:

— Сколько вам угодно? четыре или пять?

Большинство соглашалось на четыре и получало отметку на веру, без вопросов. Но иные заявляли претензии на пять, и Ключевский выщупывал их тогда на совесть, а в заключение отпускал по большей части все-таки тоже с четверкою. А что до экзамена богословия, он вышел даже совсем уже веселый.

Удивительная и великолепная в своем роде фигура был величественнейший богослов Московского университета, отец протоиерей Николай Александрович Сергиевский. Живо, конечно, еще целое поколение москвичей, памятующих, как он, апостольски-торжественный и седой, рекомендовал с кафедры — «ставить локомотив веры на рельсы разума», и уверял, что постигать вещи одним опытом без веры столь же неблагоразумно, как если бы, погасив солнце, мы пытались осветить мир стеариновыми свечами. Окруженный почетом в Москве, блестящий великосветский священник, украшенный едва ли не всеми наградами, которые доступны белому духовенству, образованный, глубокомысленный, он охотно французил, носил щегольские рясы из каких-то особенно драгоценных материй, походил больше на кардинала какого-нибудь величавого, чем на русского попа. Говорил с кафедры

Сергиевский вычурно, но умно и талантливо, и даже в то отрицательное время аудитория не стояла у него пустою. Экзаменовал он легко, по печатной своей книжке, часто едва ли даже слушая студента, но обряд экзамена все-таки выполнить любил, хотя в результате ставил неизменную пятерку. Надо было Бог знает чего наговорить ему, чтобы он нашел ответ неудовлетворительным. Тогда он сожалительно поднимал брови к апостольским сединам и с важною ласковостью произносил:

— Этот вопрос, господин студент, вами не продуман... Приидите завтра.

Однажды к Сергиевскому явился экзаменоваться дремучий и мрачный парень, не читавший курса вовсе. Взял билет. Молчит. И Сергиевский ждет. Молчит. Потом:

— Что же, господин студент, отвечайте!

Молчит.

— Быть может, вы не продумали этого билета?

Молчит.

— Возьмите другой билет.

Взял. Молчит.

Сергиевский уставился на него с недоумением.

— И этого билета не продумали?

Молчит.

Сергиевский зашевелил бровями, зашевелил плечами.

— Возьмите третий билет.

Взял. Молчит.

Сергиевский тоже примолк и созерцал студента с загадочным любопытством.

— Вы... курите? — произнес он наконец, как умел ласковее.

Студент откашлянулся и с достоинством сказал басом:

— Курю.

Сергиевский так и засиял радостью:

— Я думал, что вы немы... Приидите завтра!

Вывести Сергиевского из равнодушия к студенческим ответам было очень трудно, но, возмущенный невежеством или дерзостью, он умел затем и выдерживать характер: настаивал на своих отметках, не прощал. Авкт Рутинцев из-за Сергиевского зазимовал на первом курсе. Надеясь на природную сметку и красноречие, этот прекрасный молодой человек отправился на экзамен — тоже даже не заглянув в курс Сергиевского. Билет ему попался легкий — учение о св. Троице. Обрадованный Авкт засуетился, заторопился, занагличал и бухнул Сергиевскому с места в карьер:

— В нашей вере имеются *три* Бога...

— Да неужели? — изумился Сергиевский.

Авкт, не замечая его поднятых бровей, повторил с самодовольствием:

— В нашей вере имеются три Бога...

Сергиевский поднял уже и плечи:

— Ошибаетесь, господин студент, я вам покажу еще четвертого!

И вытянул против фамилии злополучного Авкта предлинную единицу. Сколько ни молил потом Рутинцев, сколько ни юлил, ни извинялся, ничто не помогло: Сергиевский не переменил отметки, не принял никаких ходатайств и настоял на своем в факультетском совете.

Князь Раскорячинский вспоминал о Сергиевском тоже без всякого удовольствия. Юный ханжа налепетал на экзамене с апломбом и без остановки, но что-то очень фантастическое и уж в полном смысле от себя, о почитании Богоматери. Сергиевский слушал его, не прерывая, потом любезно улыбнулся и сказал:

— Как жаль, что мы с вами, князь, живем не в четвертом веке!

Раскорячинский приосанился и просиял, с приятностью ожидая комплимента. А Сергиевский докончил:

— Какой великолепный еретик в вас пропадает!.. Приидите завтра!

На экзаменах богословия часто слышались ровные, спокойно-насмешливые замечания священнического «благолепного» голоса:

— Ересь, которую вы мне изложили, господин студент, весьма остроумна, только она не Доната, а ваша собственная... Приидите завтра!

Или:

— За подобное мудрование Арий постановлением вселенского собора был извергнут из лона церкви. Я не вселенский собор и от церкви вас не отлучу, но двойку ставлю вам по всей доброй совести... Приидите завтра!

С Антоном Арсеньевым когда-то у Сергиевского вышла история совсем иного рода. Молодой человек отвечал блестяще, обнаружил огромную богословскую и философскую начитанность. Экзамен затянулся на добрые сорок минут и чуть не превратился в диспут с заинтересованным профессором. Отпуская Антона, Сергиевский уставил в лицо ему яркий, внимательный взгляд.

— Вы по убеждениям, вероятно, совершеннейший атеист? — произнес он отчетливо и тихо.

Антон встрепенулся.

— Почему вы думаете, профессор?

Сергиевский вздохнул.

— Потому, что вы слишком хорошо мне отвечали.

Антон промолчал.

— Ведь в монахи поступить или в духовную академию перейти вы не собираетесь? — продолжал Сергиевский, все испытуя его глазами.

— Нет.

— Значит, изучаете, чтобы полемизировать... До приятнейшего свидания!

Случай этот не исчез из памяти знаменитого богослова даже пять лет спустя.

Экзаменуя Бориса Арсеньева, Сергиевский неожиданно прервал его:

— У вас, господин Арсеньев, есть, кажется, старший брат — тоже юрист?

— Да, профессор: Антон, но он уже кончил курс...

Старик ласково посмотрел на юношу.

— Вы отвечаете хорошо, но до брата вам далеко. Он отвечал мне как мыслитель...

— Брат всегда очень интересовался богословскими вопросами, профессор, и много читал.

— Да, да...

Сергиевский тонко улыбнулся.

— А где он теперь, ваш брат? — с расстановкою спросил он Бориса, — в монахах или в нигилистах?

— Кажется, нигде! — вырвалось у Бориса.

Улыбка Сергиевского сделалась еще острее.

— И это бывает... — вымолвил он. — Даже чаще всего...

И вдруг прибавил:

— Вы мне гораздо больше нравитесь... С удовольствием ставлю вам пять. До приятнейшего свидания!

Удивительно, что этот на редкость умный, проницательный, тактичный, образованный человек имел некоторые совершенно детские капризы и слабости. Так, было очень простое средство стяжать неблаговоление Сергиевского навсегда: стоило только подойти к нему под благословение в стенах университета. А то другая картина: Сергиевский величаво всплывает вверх по чугунной лестнице, а за ним мчится, якобы с спешным вопросом, какой-либо шаловливый первокурсник.

— Батюшка!

Сергиевский — ни звука, словно не ему говорят.

— Отец протоиерей!

Сергиевский молчит, но несколько замедляет шаг.

— Николай Александрович!

Сергиевский в молчании обращает к студенту суровое лицо.

— Господин профессор!

Суровое лицо озаряется вежливою улыбкою, и Сергиевский ласково отзывается:

— Чем прикажете служить, господин студент?

У себя в соборе он, наоборот, не выносил «господина профессора» и требовал, чтобы его величали «отцом протоиереем» либо «вашим высокоблагословением».

Ханжей, надоедавших ему как священнику аскетической репутации, Сергиевский не любил и осаживал жестко.

— Батюшка! — ринется к нему какой-нибудь вопленник вроде князя Раскорячинского.

Сергиевский осмотрит вопленника как некий редкостный экземпляр в кунсткамере и невозмутимо режет:

— Извините, сударь, — не имел чести знать вашей матушки!

Остроту эту приписывают и другим университетским «законоучителям», но впервые пустил ее в обращение Сергиевский. Позднейшие были уже подражателями. Значительная часть городского духовенства вообще тянулась копировать Сергиевского, — и не в одной Москве!

К великому позору своему, Володя Ратомский чуть не провалился по предмету, по которому, кажется, никто никогда из юристов в Московском университете не проваливался, — по судебной медицине. Ее читал декан факультета Легонин, человек древнейший, добродушнейший, либеральнейший и — на редкость некрасивой наружности. Молодежь как возраст, жалости не знающий, ничуть не ценила внутренней красоты старика, а за внешнее безобразие звала его «макаком», «бразильскою обезьяною» и «укрощенным мандрилом». В то время известный криминалист Дриль должен был защищать в Москве диссертацию, но с диспутом его приключилось что-то нескладное... говорили в городе о факультетских интри-

гах и сильно обвиняли старого декана. В одном из московских юмористических листков не замедлило появиться очень важное зоологическое сообщение, что, как известно, — в пустынях далекой Африки дрилы и мандрилы всегда ведут между собою ожесточенную войну. Остроту считали вышедшею из университетского совета и приписывали разным прославленным его остроумцам, а их насчитывалось тогда великое множество.

Аудитория старого декана всегда пустовала, за исключением одного часа в год, когда он читал, как сам выражался, «половые неприличности». Тогда, бывало, некуда яблоку упасть, а назавтра — на скамьях опять одни дежурные, да и те дремлют. Правду сказать, оно и нетрудно было задремать; легчайший и наивнейший курс свой старик составил лет двадцать назад и читал из года в год слово в слово, без малейших перемен... Читал науку отсталую, науку протухлую, науку заплесневелую. Декан давно уже привык философски относиться к пустоте своей аудитории, но втайне, — видно, червь самолюбия живет и в кротчайшем сердце, — неблагодарное равнодушиее молодежи его язвило и злило.

Бедному Володе на экзамене судебной медицины выпал билет как раз о «половых неприличностях». Уча этот билет, Володя не раз со смехом воображал: а вдруг вынется? Спросят потом дома, о чем отвечал, — вот так наука: и сказать даже нельзя... И вдруг в самом деле вынулось!..

— Ратомский, что у вас? — спрашивает следующий по списку студент Рафаилов, покуда декан-экзаменатор внимательно слушает, что бубнит ему своим густым голосом Вавило Работников о кровоподтеках, ранах колотых, резаных и стреляных.

Володя, краснея, называет билет. Лицо Рафаилова наливается веселым румянцем, и он начинает ржать и мигать на Ратомского товарищам, ожидающим экзаменационной очереди на длинных скамьях. Те догадались, в чем дело. И по

аудитории загулял буйный хохот, и все ждут, как Ратомский — всем известный своим звучным голосом — примется сейчас отчеканивать во всеуслышание «мерзости, о коих апостол Павел не велит и думать». А Ратомский стоит пред экзаменатором, что-то бормочет, весь сгорел румянцем и чувствует, что скорее язык его отвалится от корня и выпадет изо рта, чем преодолеет он жгучий сковывающий стыд и возглаголет, следуемые по программе словеса неизглаголемые. А старый профессор взирает на него с преуродливою гримасою и весь кипит кротким негодованием.

— Даже этого вы не знаете? — дребезжит он старческим голосом. — Даже этого не потрудились прочитать?! Все эту гадость знают! Все! Даже самые закоренелые лентяи! А вы не потрудились прочитать!

Аудитория гремит хохотом.

— Профессор, я...

— Э! что «профессор»? — машет рукою огорченный декан. — Слушали бы, что профессор читает, учили бы, что профессор пишет, а то «профессор, профессор»! Сам знаю, что профессор... сорок лет!

Володя чувствует, что, не зная «даже этого», нанес смирному старику жесточайшую обиду, и от конфуза и огорчения сам едва не в слезах. А аудитория гремит и гремит безжалостным смехом: все, кроме профессора, понимают, в чем заминка, и стыдливость Ратомского придала сцене даже более острую пикантность, чем публика ожидала. Этот буйный смех и наполняющий душу стыд совершенно сбили юношу с толка, затмили голову, вышибли из ума и заслонили в памяти весь остальной курс предмета, который, идя на экзамен, Володя знал, право же, очень недурно. «Макак», помолчав с презрением, сухо предлагает:

— Приведите мне пример сомнительного душевного состояния, отрицающего вменяемость преступления?

Володя молчит. Ему кажется, что самое сомнительное душевное состояние, какое только может быть на свете, — это сейчас его собственное.

— Не знаете? Ну, конечно!.. Где же?! По крайней мере, назовите мне признаки смерти от удушения?

Но у Володи уже защелкнуло ум на застежку, и на память навалилась непроницаемая заслонка. Он пучил глаза, шевелил губами и... ничего! ну решительно ничего!

— Да неужели вы не можете сообразить, что делается с человеком, если он повешен на веревке за шею?! — стонет удрученный декан.

— Это... ему... очень... опасно!.. — пролепетал Володя, сам себя не понимая, что он говорит.

Курс грохнул... Профессор сделался сине-багровый с лица и — каким-то отчаянным даже жестом руки — завинтил в списки почти невиданный на его экзаменах крендель тройки... Володя очень хорошо знал, что это своего рода волчий паспорт на все четыре курса, что на совете факультетском о троечниках по судебной медицине говорят:

— Должно быть, хорош голубчик!

Профессор, расстроенный до глубины души, даже и на прощальный поклон Ратомскому не ответил. Володя побрел, сопровождаемый насмешливыми улыбками и отчаянно думая про себя: «Я дурак! В этом нет ни малейшего сомнения, что я дурак! Но как же это раньше-то я не догадывался о себе, что я круглый дурак? И никто не сказал мне?! И все меня хвалили?!»

В ожиданиях вызова либо сбросив с плеч очередную экзаменовку, студенты бежали мимо ломоносовского памятника, похожего на неоткупоренный полуштоф, к пирожнику, через улицу, торговавшему разнообразным тестом на гнуснейшем сале, в тех самых благословенных местах, где в сороковых годах поила и кормила студенчество пресловутая «Британия». Теперь от нее остался лишь скверный приказчичий

трактирчик для молодцов из ближнего железного ряда; студенты в этот кабак никогда не заглядывали, и там их тоже терпеть не могли. Те из студентов, кто побогаче, шагали перекусить в «Скворцовку» — на угол Воздвиженки либо на Никитский бульвар в «Малый Эрмитаж». И там, и здесь дымные залы гремели машиною, звоном посуды, стуком ножей и вилок и разговорами, разговорами, разговорами сотен молодых голосов.

— Помилуйте! Где же справедливость? Максим Ковалевский поставил мне двойку, а я предмет его знаю назубок... Какое право он имеет предлагать мне посторонние вопросы не из своего предмета? Я не позволю!.. «Ставлю вам двойку за общую неразвитость, хотя мои лекции вы вызубрили...» Я не из развития пришел к нему экзаменоваться, а из государственного права...

— У нас Герье нынче левою ногою с постели встал... ух как режет! — жалуется у буфета толстый филолог земляку, длинному и тощему математику, необычайно похожему на ту самую миногу, которую он собирается проглотить.

Математик отвечает взглядом презрительного превосходства: нашел, мол, кем пугать!

— Я, любезный друг, сегодня от Цингера сам как из бани!

— Тройка?

— Пять.

— Ого! Знай наших, елецких! То-то ты седьмую рюмку глотаешь!

— Отпиться не могу! сорок минут терзал, злодей! Все мозги в яичницу переболтались!

— Цингер вашего брата пробирает!

— У медиков Бабухин шестьдесят единиц поставил! — слышно за ближайшим столом.

— Да ну?! Ах, Ирод!

— Все угодить не могут: нелаконически отвечают. Как кто заведет длинно, Бабухин сейчас же берется за голову

и говорит: «Довольно! Вижу, что ничего не знаете... Разве гистолог может выражаться таким языком?»

— Ну да, он — известный! Не страшно: ставит единицы, а к совету у всех четверки!

Рядом звучит:

— И Алексеева не бойтесь. У него главное — Макиавелли... Если о Макиавелли хорошо расскажете — пять! Потому что в Макиавелли он действительно собаку съел, а насчет прочего сам лапти плетет. Зверева «красною нитью» да «ретроспективным взглядом» ублажайте, а Алексеева — Макиавелли...

— Как у вас сегодня Янжул? Глухой или слышит?

— Рычит, брат, рычит. Тигра лютая!

— Ты к нему после обеда попасть норови! Он, сытый, добрее!

— Да — черт! — не позволяет меняться очередями!

— Ну у голодного Янжула тебе не выдержать!

— Я на сумерки уповаю: авось уморится, задремлет... я у сонного и проскочу!

Кто-то плаксиво тянет из угла за машиною:

— Рыжая собака! Спрашивает меня, что есть подстрекатель. — «Это, который подстрекает...» А он мне говорит: «Вы уголовного права-то даже одною ноздрею не нюхали!»

— А Винтов все пятерки хватает!

— Да, только с подлостью: программы надписанные, манжеты формулами исписаны.

— Что за пошлость? Словно мальчишка, гимназист!

— Дипломщики.

— Кочаренко!

— Эге?

— Элпидифора Павлова свалил?

— А як же?

— А Вульферта?

— Ы! Так же!

— Письменный ты хохол! Сидит до горилки!

— Завтра я кандидат прав! Ах, черт возьми! А я! Прощай, Alma mater!

— Братцы! Реванем напоследях «Gaudeamus»!

— Три билета из всей программы успел прочитать... Что ж бы ты думал? Второй вынулся!

— Дуракам счастье!

— Вы напрасно! Я «Логику» Милля не браню, а только Бэн для мозгов укладистее...

— Филатов! Не забыл сдать книги в библиотеку? У тебя — я смотрел по списку: томов двадцать!

— Евреи отвечают Бугаеву, — ух! словно скорострельные машины... Так и сыплют! — меняется впечатлением только что прибежавший из университета и еще с следами экзаменационного волнения на лице математик с таким же юристом.

— У нас тоже на пятерках катят... Чупров громко сказал вчера пред всем курсом: «Евреи и армяне идут у меня первым номером!»

— Зубрилы!

— Зазубришь на их месте... при процентном-то отношении.

— Ратомский!

— Я?

— Борьку Арсеньева ищешь? Здесь! Какие, братец, он стихи принес! какие стихи!

— Милые! споемте «Утес»!.. Понимаете: я, Вавило Работников, на втором курсе!.. Ждал ли?! Споемте «Утес»!

— Ты о чем курсовое пишешь?

— Медальеры наши ныне, братцы, что-то шваховисты!

— Пойду завтра просить Ключевского, чтобы переменил четверку на пять. Мне без пяти нельзя: круглой четверки не выходит... стипендия, значит, — ау!

— Гладышева, наверное, оставят при университете.

— Невидаль!

— Да уж невидаль ли, нет ли, а тебе не остаться!

— И не желаю. Одно лакейство.

— Нет, за границу хорошо... В Берлин!.. Там, брат, Моммсен...

— Так — хрыч же старый! Читает, говорят, себе под нос, ничего и не разберешь...

— Эх! бить меня некому! Малюсенькой пятерки не хватило дотянуть до кандидатских баллов... Выскочу действительным статским. Срамота, мои подружки!

— Да ведь тебе все равно: ты в народ собираешься, в волостные писаря — по астыревским стопам...

— Все-таки!

— То-то, брат: политику делал — науку прозевал!..

— Насчет науки — врешь, не прозевал, а вот диплом — точно!

— Ну ты политики не делал, а тоже — нашего полку прибыло! Гав-гав-гав: действительная студешка!

— Он с благотворительными барынями концерты устраивает... Некогда ему было!

— В вашу же пользу, черти!

— Морковников, как увидал его, так и завопил: «Ах, — говорит, — так это вы ко мне по двенадцати раз в год с почетными билетами шлялись?! Ну-ка, ну-ка, — говорит, — берите билет, — хоть и непочетный, а уж я вас и без почетного». И такую тут разложил ему неорганическую химию... Будет помнить!

— Ты где теперь? в Ляпинке?

— Подымай, брат, выше: приняли в Лепешкинское общежитие!

— Орлов там заведующий — душа-человек!

— Народник! Одно слово!

— Уж будто, если народник, то и непременно хороший человек!

— Кто не народник — буржуй!

— К черту буржуев!

— К черту желтые перчатки!

— Ну, знаете, я не за желтые перчатки, но видели мы прохвостов и в красных рубахах, и в смазных сапогах!

— К черту!

— Зачем же крайности: непременно желтые перчатки или смазные сапоги? Можно быть порядочным человеком, не будучи ни народником, ни буржуа...

— Ни рыба ни мясо!

— Поверь: я сумею держать свое знамя высоко и, не вмешиваясь ни в какие ваши партии, лучше вас послужу и прогрессу, и правовому порядку.

— Вот тебе исправник в Ливнах покажет... правовой порядок!

Выпьем мы за того, —
Кто «Что делать» писал!.. —

выводит мощным мягким басом Миролюбов — длинный-длинный студент с красивым бледным лицом архангела Гавриила, в буйной копне темно-русых протодьяконских кудрей. Голосина его знаменит в университете. Зал примолкает, машину остановили... Великолепный бас плывет и раскатывается, как орган, а певец, сидя на столе, ласково светит вокруг себя темно-синими глазами и чудаковато придерживает левою рукою всегда у него странно трясущуюся при пении нижнюю челюсть.

За геро-о-оев его,
За его идеа-а-ал!..

И сразу же грохает размашистым припевом, сливаясь в стройную массу, сотня нестройных голосов:

Проведемте ж, друзья,
Эту ночь веселей!
Пусть студентов семья
Соберется дружней!

— Запели! — усмехается между собою белорубашечная прислуга, толпясь, по московскому обычаю, у машины и у дверей зала.

— Это, — когда экзамены у них к концу, завсегда поют! Рады!

— Все не то, что в Татьяну...

— Да уж — Татьяна!!!

А сбоку, под шумок, все журчат и журчат, обтекая столы, ручейки спешных, последних разговоров между людьми, которые, просидев четыре года, пять лет на одной скамье, завтра разлетятся по всей России — кто куда, с тем чтобы, быть может, уже никогда не увидать друг друга.

— Ты в Москве останешься или — на родину в Воронеж?

— А и сам, брат, еще не знаю... хотелось бы пожить в Москве, да батька домой кличет, сулит передать мне свою практику. Это не баран начихал, — понимаешь?

— А сам-то он куда же?

— У самого по хозяйству и земству работы много.

— Ты к кому в помощники запишешься?

— Мы, брат, люди маленькие: к Джаншиеву. А ты?

— Меня Плевако берет.

— Большому кораблю — большое плавание!

— Я в кандидатах на судебные должности недолго просижу, — говорит франт-юрист, держа за пуговицу лохматого и бедновато одетого медика. — По моим связям... ты понимаешь? Ну, словом, года через два встречай меня в своем Сарапуле товарищем прокурора!

Медик смотрит с голодною завистью и отвечает голосом, полным глухого раздражения:

— Эх вы, дворянчики, черти балованные! И батьки у вас богатые, и места, и карьеры... А я, друг любезный, — милости прошу: не угодно на два года в степи на пост — отмозоливать земскую стипендию?!

— Смотри: не спейся!

— Некогда! Такое местечко мне уготовано, что предшественник мой — не то что пить, даже есть разучился!

— Ну, стало быть, наслаждайся на последках... твое здоровье!

— Твое! Дай Бог свидеться!

— Гора с горою не сходятся, а человек с человеком...

Проведемте ж, друзья,
Эту ночь веселее!
Пусть студентов семья
Соберется дружнее!

ПЕРЕД БУДУЩИМ

XIX

— Ты опять спишь в траве и опять будешь болен!

Володя открыл глаза с большим удивлением: он и сам не понимал, как и когда они сомкнулись, и он заснул, судя по солнцу, должно быть, самое малое, часа на два. Над ним стояла сестра Евлалия.

— Бр-р... вот так штука... здравствуйте! — довольный, здоровый, выспавшийся, весело воскликнул он, поднимаясь на локтях и усевшись, ноги под себя калачиком, на мягком, моховом ложе. — Как это ты меня нашла?

Евлалия сделала гримаску.

— Очень непоэтично, мой друг: по дикому храпу. Для автора чувствительных стихотворений ты спишь невероятно

громко, просто, знаешь ли, в афанасьевских сказках: «И так змей храпел, что с деревьев листва осыпалась...»

— Ты расскажешь! Ты расскажешь! — улыбался Володя.

В сущности, он терпеть не мог, когда его дразнили этим недостатком, но сейчас уж очень хорошо — до невозмутимой доброты — он выспался, так что и огрызнуться не хотелось.

Евлалия ласково толкнула его в плечо зонтиком.

— Удивительно: такой мальчишка, кости да кожа, а задыхаешься во сне...

— Это от переутомления.

— То-то: ленился бы больше зимою! На экзаменах, мой милый братец, видно — не как с Любочкою Кристальцевою: на «Книге Песен» далеко не уедешь...

Володя потянулся и встал.

— А сие вас, милая сестрица, не касается!

Евлалия смотрела на него и качала головою:

— Это ужасно! Тебя все еще тянет вверх! Если ты не перестанешь расти, года через два можно будет показывать тебя за деньги.

Володя поморщился и сказал сухим голосом:

— Пожалуйста, не придирайся. Я уже перестал расти. Еще в прошлом году.

— Неправда! Неправда! Смотри: ты даже из этого костюма вырос... короткие рукава, узенькая визитка... Тебе нельзя надевать прошлогоднего платья! безобразно! решительно нельзя!.. Ну? что же ты стоишь? Пойдем, проводи меня до Золотого Снопа... Я только что кончила свою сонату, хочу ходить, ходить, ходить...

На ходу она искоса, сбоку, посмотрела на брата, и оба рассмеялись.

— Что ты? — спросил Володя.

— А ты чего?

— Я-то знаю чего, а вот ты?

— И я знаю.

— Ну скажи первая, и я скажу.

— Я — тому, что ты... такой чудак: влюблен, жениться собираешься, а еще растешь... Это очень смешно! Вдруг ты в самом деле женишься на Любочке, и у вас будут дети?

— Ну? — уже нахмурился Володя, хотя губы его еще дергало довольною улыбкою.

— Да что же это? И ты еще растешь, и сын растет... какая же между вами разница? Оба мальчишки... только разных лет.

— Только этому ты и смеялась? — протяжно спросил Володя, окидывая сестру безнадежно-сожалительным взглядом свысока.

Евлалия закрыла глаза и показала ему из-за стиснутых зубов кончик языка.

— Только.

— Происходишь по прямой линии от мичмана Дырки!

— Merci, mon frère *.

— Только ты хитришь: ты не надо мною, ты своему смеху смеялась...

Евлалия запела:

— Ах как мы умны! ах как мы дальновидны! ах как мы про-ни-ца-тель-ны?!

— Да уж проницательны ли, нет ли, — приосанился Володя, — а письмо от Георгия Николаевича ты сегодня получила... это верно!

— Ты думаешь?

— Непременно. Потому что сияешь, как золотой умывальник!

— Милое сравнение! А все-таки золотой?

— Неблагородные металлы к тебе как-то не подходят. Ты и мама у нас — золотые, Ольга — серебряная, а я — хорошая

---

* Спасибо, брат (*фр.*).

флорентинская бронза... знаешь, вроде этой статуэтки, Персея с Медузою, которую прислал тебе Георгий Николаевич.

Евлалия покачала головою.

— Много ты о себе воображаешь!

— Это ничего. Квятковский всегда меня учит: думай о себе как можно больше, все равно люди сбавят!.. Ну-с, так откуда же письмо, и где герой вашего романа?

— Георгий Николаевич пишет из Эмса.

Евлалия весело заглянула в глаза брату и договорила, мотая у него перед носом ручкою своего зонтика, яркой слоновой кости:

— А через три недели он будет здесь!

— Браво!

Володя даже подпрыгнул. Он искренно обожал Брагина, поклоняясь и личности, и таланту писателя с одинаковым фанатизмом.

— Это он отлично делает, что приедет, — сказал он, раскрасневшись и потирая руки. — Превосходно! Ты говоришь: через три недели? Великолепно! К тому времени я совершенно закончу свою «Фею долин»... есть что показать ему! Пусть почитает! Не ударим лицом в грязь.

— Ну еще бы, — с веселою насмешкою отозвалась Евлалия, — ведь он специально за тем и едет сюда, чтобы читать твою «Фею долин»... Кстати, эта «Фея долин», конечно, Любочка?

Володя пожал плечами.

— Если бы даже и так?

— Какая же она «Фея долин»? Она никогда не выезжала из Москвы дальше Царицына и не видала никаких долин... Впрочем, это я из зависти. Самая печальная участь быть сестрою поэта. У всех моих подруг есть твои стихи, с посвящениями, а сестре — никогда ничего: недостойна...

— Неправда! Я посвящал тебе... было даже напечатано в «Свете и тенях»!

— Да, что-то из Софокла или Еврипида... отрывок несчастного хора какого-то!.. из завали, чего нельзя было подсунуть другим...

— И совсем не из Софокла и не из Еврипида, а из «Мессинской невесты» Шиллера...

— Хорошо! Хорошо! Небось, Любочке не посмел бы поднести свою «Мессинскую невесту»... Сам ты... мессинский жених!

Володя смеялся.

— Что же мне — для сестры воображение расходовать? Тебе пусть другие пишут!

— Да не пишут! — с комическою ужимкою протянула Евлалия, — тебя же боятся, ты же отпугиваешь.

— Вот как?

Володя выпрямился с самодовольством.

— Всякий думает: помилуйте! у нее брат «печатается»... шутка ли? Увидит, — смеяться станет, критиковать... Авторитет!

Она опять толкнула брата зонтиком и залилась счастливым смехом.

— Ну что там авторитет! какой там авторитет? — говорил Володя с радостною важностью через силу скромного человека, — я не авторитет: настоящий-то авторитет едет к нам из Эмса...

Глаза Евлалии приняли серьезное выражение.

— Скажи: ты серьезно считаешь его таким... великим?

Володя вскрикнул почти с негодованием:

— Его-то?! Лаля! Да ты с ума сошла!

— Серьезно?

— Георгий Николаевич — сила из сил! Лучшая надежда нашей литературы! Вот как я о нем думаю!

— Не все так...

На лбу Евлалии заиграла тонкая, думная морщинка. Володя презрительно дернул плечами.

— Не все! «А судьи кто?»

— Первый — Арнольдс.

— Сухарь засушенный! Душа застегнутая в мундир. Задохнется скоро от своих правил, от тесных крючков и светлых пуговиц.

— Он честный человек!

— Да что же — честный? Бездарен как пробка, — оттого и честен! Такому только и остается, что проповедовать честность и нравственность, потому что без них ему бы уж совсем грош цена...

Евлалия остановилась на ходу и посмотрела на брата широкими глазами:

— О? Вот как мы сегодня разговариваем? Новенькое. Откуда это?

Володя обиделся.

— Будто у меня нет своих мыслей?

— Есть. Но эти — не твои. Ты начитался биографии лорда Байрона или...

— Ну-с?

— Или виделся с Антоном Арсеньевым. Ведь — да?

— Положим, что виделся... что же из этого? Вчера играли на биллиарде, потом выпили бутылку красного вина... он, Квятковский, я... Разве грех?

— Не грех, но — от тебя его душок слышен... Напрасно! Ах, Володя! Володя! Какая ты флорентинская бронза? Воск ты! глина! В чьи руки попал, тот и вылепит из тебя, что хочет, по произволу... Пока ты дружил с Борисом, был чуть не революционером, теперь сошелся с Квятковским и Антоном Валерьяновичем и пытаешься играть роль циника, blase... * Георгий Николаевич приедет! — еще во что-

---

* Пресыщенного... (*фр.*)

нибудь новенькое тебя переделает! Подражатель ты, переимщик.

Володя недовольно поморщился.

— Что нечаянно повторил Антоновы слова, так уж и подражатель? Всегда слон из мухи! Оставь, пожалуйста!

— То-то и опасно, что ты не сознаешь и не понимаешь. У тебя подражание — инстинктивное, против воли... все чужое отпечатывается на тебе, именно как на глине или теплом воске! Ребенок ты! Талантливый ребенок, и больше ничего!

— Ну если талантливый, — развеселился Володя, — так тому и быть: брани как хочешь, я больше не обижаюсь... Талант, душечка, милочка, сестричка моя, — это все! Понимаешь? Был бы талант, а остальное приложится! Боже мой! Я бы душу за талант продал... вот за такой, как у Георгия Николаевича!

Евлалия откликнулась ему с невеселою задумчивостью.

— А ты знаешь, что о таланте его говорит новый кумир твой — доморощенный демон этот, Антон Валерьянович? Он его пустоцветом зовет, ракетою в темную ночь.

— Сам он пустоцвет! — с гневом и удивлением воскликнул Володя. — Скажите пожалуйста! Брагин — пустоцвет! Какая самонадеянность! Это он тебе сказал?

— Мне.

— Нет, Антон Валерьянович! Высоко хватили... Я, Лаля, — ты права: я Антона очень уважаю...

— За что? — усмехнулась Евлалия с острою надменностью.

Володя смутился.

— То есть, конечно... не то что уважаю... это ты опять права: уважать его, пожалуй, и не за что... я ошибся словом... но он преумный, и у него всегда какие-то особенные слова... свои, непохожие... И, что хочешь, — он талант, Лаля, настоящий талант!

Евлалия улыбалась все с тем же недружелюбием.

— Что это, право, как нам везет? В других местах таланта днем с огнем не найти, а в наш кружок они так и сыплются, точно майские жуки с березы... И ты — талант, и Георгий Николаевич — талант, и Лидия Мутузова — талант, и наш Костя Ратомский — талант, и вот теперь оказывается еще и Антон Арсеньев — тоже талант... Пощади нас, простых смертных! Нам скоро места в доме и в природе не останется: столько талантов!

— Это очень естественно, — с важностью возразил юный поэт. — Где звезда, там и созвездие. В нашем кружке явился Георгий Николаевич...

— И все скрытые таланты засияли в лучах его, как планета?

— Смейся! Смейся! А сама рада!

— Рада, но не верю, потому что ты слышал: некоторые таланты бунтуют и объявляют свое солнце пустоцветом.

— Но говорю же я тебе: сам-то он — Антон этот несчастный — сам-то он пустоцвет из пустоцветов.

Евлалия кивнула головою.

— Это ужасно, до чего вы, наши «таланты», все сходитесь в словах! Представьте: он сказал мне о себе как раз то же самое! «И Брагин, — говорит, — пустоцвет, и я пустоцвет, — только он простой, а я махровый!»

— Вот разница!

— Понимаешь: умнее Георгия Николаевича считает он себя и образованнее...

— Начитан-то он как черт! — пробормотал Володя, — только это — что же? То — книга, а то — живой талант... Как это сравнивать себя с Георгием Николаевичем? Психопат! Я не понимаю...

— А вообрази, — перебила Евлалия, глядя как-то в сторону, на темно-зеленый орешник, — он может похвалиться: он меня смутил... Многие старались унизить Георгия Нико-

лаевича в глазах моих, многие смущали и не смутили, а он, Антон Валерьянович, немножко смутил... Я думала! Боюсь: может правым оказаться...

— А Георгий Николаевич — пустоцветом?

Евлалия кивнула головою.

— Лаля! Повторяю тебе: ты сошла с ума! А впрочем, ведь ты говоришь все это — только чтобы наслаждаться, когда будут тебя разуверять.

— О! вот в этом ты прав! в этом бесконечно прав! Потому что, милый братик мой, должна я тебе признаться по совести: люблю я его ужасно, и всякое сомнение о нем, — мне острый нож в сердце...

Она в волнении открывала и закрывала свой зонтик.

— Видишь ли: он известен уже лет шесть, даже семь... пишет с двадцати лет... а, собственно говоря, что он написал, что сделал такого, чтобы оправдать известность? Ну вот как у молодого Тургенева были «Записки охотника», у Гончарова — «Обыкновенная история», у Достоевского — «Бедные люди»? Чем он определился и установил свою характеристику? Не назовешь! Я все его произведения только что не наизусть знаю...

— И все — прелесть! — горячо воскликнул Володя. — Одно удачнее, другое не так, но — все прелесть! Плохих нету! Все!

— Да, — сказала Евлалия, подумав, — да... и это правда: плохих нету. Одно немножко лучше, другое немножко хуже, но в общем все... хорошо... даже отлично написаны...

— Ну-с?

— Да это-то — хорошо ли?

— Чем же худо? — воскликнул озадаченный Володя.

Евлалия промолчала.

— Послушай, Володя, — сказала она. — Вот ты у нас цитатор великий. Я слыхала в обществе, как ты говоришь: «Как сказал Базаров...», «Это напоминает Рудина...», «По-

мните, в Анне Карениной...» Это, может быть, немножко смешно, что так часто, но я тебя понимаю: ярким литературным образом, меткою типическою фразою можно сразу очертить положение и уяснить мысль, которую своими словами, пожалуй, не изложишь до вечера... Ну вот Тургенева, Толстого, Щедрина, Гаршина, что ли, ты цитируешь, так и всякому понятен. А Брагина, хоть он и известный, и модный, нельзя так цитировать, и ты даже, хоть и поклонник его страстный, никогда не цитируешь, и отлично делаешь, потому что цитаты из Брагина не поймут...

— Все читали — и не поймут?

— Все читали — и все забыли. Все восторгались и у всех сейчас же, как отложили в сторону книгу, он — из головы вон. Знаешь ли, меня недавно очень огорчила madame Бараницына. Хотела мне любезность сказать и похвалила: «Прочитала я все сочинения Георгия Николаевича... Какой блестящий слог...» Меня так и толкнуло... «Простите, — возражаю я, — Матильда Андреевна, но — неужели в сочинениях Брагина вы, кроме блестящего слога, не нашли ничего, что заслуживает внимания?..» Она спохватилась: «Конечно, — говорит, — конечно... да!.. наблюдательность... честные взгляды...» Но вижу, что запинается и в глазах недоумение: что же, мол, там еще?.. А ведь она не глупа, старуха Бараницына, и со вкусом, и читающая... Я подумала-подумала: а и в самом деле? хорошо-то хорошо, но — что же там еще? Слог блестящий, фраза страстная, слово красивое... а что за слогом, фразою и словом? Где его слово, которое стало делом? Где он сам обрисовался как общественный, сильный тип, а его творчество — как общественная заслуга? И... ничего не вспомнила! Именно — только что слог хорош! То-то и есть. И мне сделалось ужасно стыдно и грустно.

— Не понимаю!

— Странно! — удивилась Евлалия. — А, впрочем... хоть и мальчишка, мужчина ты. Если бы ты знал девичью душу, понял бы.

— Ну?

Она зорко посмотрела ему в глаза и произнесла отчетливо и медленно:

— Как тебе кажется, разумная и достойная это перспектива — выйти замуж за хороший слог?

Володя вспыхнул и рассердился:

— Ну, знаешь ли, Евлалия? Теперь уж моя очередь сказать тебе: слишком много вы о себе, сударыня, возмечтали... Знаменитый человек удостаивает тебя предложением...

Евлалия перебила его.

— Слушать всю жизнь хороший слог?

— Нет-с, не слушать слог, — кипел Володя, — а разделить его жизнь и быть его товарищем, помощницею...

— В чем? в чем? в чем? — быстро говорила Евлалия, уже не идя, а летя по дорожке, точно на пожар.

Володя несколько замялся.

— Ага! — победоносно заметила ему Евлалия.

— Не можешь же ты отрицать, что у Брагина — честнейшие убеждения и благороднейшая деятельность! — горячо протестовал молодой человек. — Слог... слова... что ты взъелась вдруг на слог и слова? Когда он говорит, сердца жжет... сама же слушаешь его всех внимательнее и страстнее... Слог и слова!.. Разве честные и красиво сказанные слова — уже не деятельность? Он потрясает ими, волнует и будит умы... чего тебе еще? какого, с позволения сказать, рожна ты от него требуешь?.. Да не беги так! У меня дыхания не хватает, за нами волки не гонятся.

Евлалия замедлила шаг и произнесла, не отвечая:

— Твой Антон Арсеньев — мастер на сравнения. Он говорит, что красивые слова, хотя бы и самые пылкие и страстные, не более как расплавленный металл, который можно влить в любую форму, и в какую форму его вольют, в той он и застынет.

— Так что же?

— А то, что сегодня один скульптор отливает из расплавленного металла статую Свободы, а завтра другой переплавит ее и отольет из того же металла решетку для тюремного окна или памятник Аракчееву какому-нибудь.

— Словом, ты сомневаешься в искренности Георгия Николаевича?

— Нет — в искренности его я не сомневаюсь: он, покуда что говорит, всегда так думает и бывает искренний... А только я хотела бы потверже убедиться, в своей ли работы и своего ли изобретения формы льет он свой расплавленный металл или очень искусно разливает его по старым чужим, напрокат взятым? Согласись, что есть разница — связать свою жизнь со скульптором или с литейщиком...

— А это *твоя* форма? — внезапно уловил сестру Володя.

Та окинула его коротким взглядом.

— Моя.

— Слава Богу! Я думал, опять Антона Арсеньева. Знаешь ли, любезная моя Евлалия? Ты упрекала меня, что я в его руках — как воск или олово, но извини меня: в твоих рассуждениях я слышу его гораздо больше, чем в своих... и уж кого-кого, а Георгия-то Николаевича я ему не выдал бы так легко! нет! Этого я от тебя не ожидал, Лаличка! Ты меня удивила!

— Я не выдаю ему Георгия Николаевича, — хмуро и печально возразила Евлалия, — а только он... ты прав! — ужасно заражающий какой-то... Словно ржавое железо — сам истлел и дальше свое тление и ржу передает... Я его боюсь и не люблю, и, когда он говорит со мною, вся душа моя кричит против него, но спорить с ним и отвечать ему я не умею...

— Да, диалектик... — подтвердил Володя, — где же женщине угнаться за ним? Виртуоз в своем роде! Погоди: вот придет Георгий Николаевич, — тот его ограничит!

— Я на это живо, горячо надеюсь! — с искреннею пылкостью отозвалась Евлалия.

— Влюблены они все в тебя, как коты, — продолжал Володя, — и Арнольдс, и Антон... оттого и не по нутру им Брагин!.. И я не понимаю: когда ты могла иметь такие интимные разговоры с Антоном? где ты с ним виделась?

Евлалия покраснела.

— Здесь же! — с досадою сказала она, гневно ткнув пред собою в воздухе зонтиком. — Он большой, хотя и вежливый нахал... Взял теперь манеру ловить меня на прогулках... Я признаюсь тебе: с тем и разбудила тебя и с собою увела, чтобы — на случай встречи с Антоном — не оставаться больше с ним вдвоем. Эти tête-à-tête и неприятны, и неприличны, и вредны мне очень... Он — ржавчина!.. От него — в голове путаница...

— Да ты бы просто и без церемонии отправила его ко всем чертям!

Евлалия пожала плечами.

— Не за что... Он всегда очень смирный и деликатный...

— А неприятностей все-таки натрубит полные уши?

— Я не знаю, как это у него выходит. Покуда слушаешь его, ничего, а потом раздумаешься, и все его слова уйдут из души, как вода через решето, и остается только осадком острый, оскорбительный смысл, который жжет и мучит... Ведь он и о Георгии Николаевиче — никогда ни одного дурного слова! Всегда с уважением, а иногда даже с преувеличенным каким-то энтузиазмом... А потом — как-то вывернет все наизнанку, и стоишь перед пустым местом, и — ужасно неприятно, совестно, даже мучительно...

— Вот видишь, а ты говорила, у него таланта нет...

Евлалия сложила губы в презрительную гримасу.

— Какой талант? Талант разложения! Лучше бы его не было!.. Мы с ним в последний раз о Тургеневе спорили... А он мне — из Некрасова:

Разрушен нами сей кумир,
С его бездейственной фразистою любовью.
Умней мы стали, верит мир
Лишь доблести, запечатленной кровью!

Я рассердилась, говорю ему: «Вот вы бы и запечатлели кровью своею доблесть!..» А он отвечает: «Да мне, Евлалия Александровна, зачем же? Я не кумир... А вот от кумиров оно требуется и спрашивать — никогда не лишнее!» Понимаешь это — о кумирах? Чувствуешь ты, с чего он на Тургенева-то набросился?

— Чувствую и понимаю, но он врет, клевещет! — страстно воскликнул Володя. — Георгий Николаевич не из таких, чтобы слово шло влево, а дело направо... Было бы глупо, если бы он сам напрашивался на беду, но — когда будет надо, — пусть Антон Валерьянович не беспокоится: Брагин сумеет заявить свои убеждения и запечатлеть их!.. да! запечатлеть!.. хотя бы и кровью... Антону Валерьяновичу лучше бы позаботиться о себе, а не чужую стойкость испытывать!.. Я в Брагине уверен, как в самом себе...

Евлалия слушала внимательно, но при последних словах по лицу ее пробежала улыбка.

— Как в себе самом... А ты «запечатлеешь»?

Володя гордо выпрямился и взглянул орлом.

— А ты сомневаешься?

— М-м-м... нет, отчего же?

— Надеюсь!

Они попримолкли и шли, каждый в своих мыслях, под тихий шелест листвы и чириканье пташек...

— Ужасно вы похожи друг на друга! — задумчиво и ласково возвысила голос Евлалия, даже с любовною печалью какою-то, — как братья похожи! Словно он — большой ты, а ты — маленький он...

Володя радостно покраснел.

— Георгий Николаевич? Ты находишь?

— Да. Совсем одинаковые головы!

— Я очень рад! Горжусь! Лучшего не желаю!

— Ну а я еще не знаю...

— Эка тебя Антон-то как подвинтил!

— Нет... тут не Антон... другие мысли!..

Они шли и молчали. Володя искоса бросил на сестру лукавый взгляд, другой, третий, и каждый раз плутовски улыбался.

— Что ты? — спросила Евлалия, не выходя из раздумья.

— Знаешь: это у тебя все от его отсутствия... как у Наташи Ростовой, когда жених, князь Андрей, уехал на год...

Евлалия не отвечала. Володя продолжал:

— А все-таки разбить вас с Георгием Николаевичем теперь уж и нечистая сила не разобьет, и, как у нас в гимназии extemporalia * писали: «Никакие Антоны не в силах помешать тому, чтобы...» — и так далее! Словом: сколько ты ни умничай, а за него — врешь! — выйдешь!

Евлалия засмеялась и обратила к брату весело покрасневшее лицо:

— Выйти-то выйду!

— Что и требовалось доказать!

Но она с ласковым и веселым упрямством трясла головою.

— Нет, нет, ты не понимаешь! Не одно это... Есть другое, и оно не доказано... не одно!..

КОНЦЕРТ

XX

Залитый огнями беломраморный зал Дворянского собрания был полон рева, треска и стука. На красной эстраде стоял Хохлов — Павел Акинфиевич Хохлов, Паша Хохлов — краса-

* Экспромтом (*лат.*).

вец-человек, красавец-голос, для всей Москвы — полубог, для учащейся молодежи — бог, сам еще недавно сошедший с университетской скамьи. Знаменитый баритон, — длинный-длинный, веселый, кудрявый, молодой и свежий, с породистым дворянским лицом хорошего барина, — пел уже чуть ли не пятнадцатый bis, а расходившееся студенчество, как стихия неугомонная, требовало еще и еще.

— Хохлов, «Не пла-а-ачь»! — ревел красный как рак Федос Бурст, хлопая огромными ладонями, как сухим громом каким-то, и страшно перевесившись через перила на хорах... — Хохлов, «дитя-а-а»!.. Братцы! держите меня за фалды, а то свалюсь... Хохлов! «Не плачь, дитя-а-а»!.. Тихон! Комариная душа! Что же ты зеваешь? Аплодируй! Реви, чтобы спел «Не плачь, дитя»!

Тихон Постелькин в опрятной черной визиточке и со стразою в ноготь величины в малиновом галстуке покраснел, откашлялся и — басом, какого никак нельзя было ожидать от его малого роста, смирной фигуры и обычного тихого тенорового говора, — грянул, как в бочку:

— «Не плачь, дитя»!

В креслах даже засмеялись. Улыбнулся и Хохлов на эстраде, махнул рукою, по обыкновению, подергал себя за нос пальцами в белой лайке и запел... Чудный, бархатный баритон бессменного московского Демона и Онегина оковал толпу общим вниманием.

Он слышит райские напевы...
Райские напевы!
Что жизни тягостные сны,
Что стон и слезы юной де-евы
Для гостя райской сто-ро-о-о-о-о-оны?

Антон Арсеньев — в немодном длинном фраке с глубоким немодным вырезом, в котором сверкали немодные брильянтовые запонки, — оторвался от колонны, где оставался

неподвижно с самого начала концерта, и, пробираясь боком между публикою, — она стояла стеною плечом к плечу, — пошел к боковому выходу... На него шикали и ворчали...

Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края...

— Monsieur! on ne sort pas, quand Хохлов chante! * — сказала Антону в упор, глядя ему в лицо дерзкими глазами, сверкающая камнями брюнетка, красивая, статная, но уже очень пожилая, — столь страстная покровительница вокального искусства, что в Москве прозвали ее Матреною Медичи.

Антон пожал плечами.

— J'ai mal au coeur, — пробормотал он с равнодушною миною. — Voudriez vous que je vomisse?! **

Брюнетка с негодованием отвернулась, а по залу уже гремело — просто каким-то девятым валом звука — знаменитое, неподражаемое, хохловское «верхнее sol»:

И будешь ты царицей ми-и-и-ира-а-а-а,
Подруга первая моя!

И затем снова, — как обломился потолок, — рухнули рукоплескания и вопли... Отделение кончилось. Зашевелилась, загудела разговором, зашелестела платьями, зашаркала ногами живая толчея антракта.

Вечер был студенческий, в пользу недостаточных слушателей всех высших учебных заведений в Москве. Сбор достиг одиннадцати тысяч рублей. Устраивала этот грандиозный концерт-монстр знаменитая Павловская, лучшая оперная примадонна того времени, — с посредственными голосовыми средствами, некрасивая лицом, но дивный драматический

---

* Господин! нельзя, когда Хохлов поет! (*фр.*)

** Меня тошнит... Вы хотите, чтобы меня вырвало?! (*фр.*)

темперамент, из ряда вон талантливая актриса и — с тайною того природного женского обаяния, того захвата страстной натуры, без которого красавица — кукла, а с которым и дурнушка — красавица. Между Павловскою и «московским соловьем», «студенческою Патти», Зоей Кочетовой шла острая борьба за успех и — за главную силу успеха: учащуюся молодежь. Побеждала Павловская, и концерт-монстр был ее генеральным сражением: Аустерлиц для нее, Ватерлоо для соперницы. Никогда еще московское Дворянское собрание не видало таких сборов и не вмещало такой толпы. Все кипело муравейником. Люди едва двигались, чуть переступая крохотными черепашьими шажками. Грустные лица дам бессловно вопияли к небесам об отмщении оттоптанных тренов. Над густым черным морем голов стоял парной туман. Нечем было дышать, хотя открытые саженные верхние окна посылали сверху морозные седые клубы.

— Простудиться можно, освежиться нельзя, — улыбаясь, с одышкою, говорил Антону Арсеньеву упитанный, тучный Рутинцев-junior, с распорядительскою розеткою в петлице фрака. — Знай наших. Победихом и беззаконовахом... Что, кочетовцы? Съели шиш?

И он прищурился насмешливо на Володю Ратомского, которого несло мимо толпою — как волною. Тот с негодованием отвернулся: он был заядлый кочетовец, и зрелище толпы, чествующей Павловскую, огорчало его вряд ли меньше, чем опечалился Моисей, узрев израильтян в хороводах вокруг золотого тельца. Так, с кислым лицом, и нанесло его в угол на Бориса Арсеньева. Юноша, прижатый к стене движением, оживленно разговаривал с главным распорядителем и кассиром концерта, солидным юристом лет уже под тридцать, на третьем факультете.

— Так ты помни, Кузовкин! — услыхал Володя громкий голос приятеля, — двадцать пять процентов, — туда, на се-

вер, политическим. Крепко стой, чтобы двадцать пять процентов!

Кузовкин согласно кивал головою, но слабо возражал:

— Не дадут двадцать пять. Здесь — между учащимися — своей нужды много. Большой начет двадцать пять процентов.

— Торгуйся! Не двадцать пять так двадцать, не двадцать так пятнадцать, не пятнадцать так десять.

— За десять-то отвечаю. Никто и спорить не будет... Рутинцев разве?

— К черту Рутинцева! Долой лицей! Кричи, ругайся, требуй!.. Понимаешь: тут не одна материальная помощь важна, — надо подчеркнуть, что мы не изменили, не забыли. Понимаешь? Надо заявить принципиальное единство... А! Володя! Каков сбор-то? Нравится?

Володя сделал брезгливую гримасу.

— Не понимаю, чему тут нравиться... Баня какая-то!.. Оргия!..

Борис широко открыл изумленные глаза:

— Как — чему нравиться, чудо-юдо морское? Пойми: девять тысяч шестьсот рублей чистоганом! Семь тысяч двести распределим по землячествам: ведь это, братец ты мой, жизнь людям! Соки целебные! Кровь в жилы!.. Молодец-баба эта Павловская! Право, молодец! Надо пойти сказать ей спасибо...

— Вот как? — насмешливо улыбнулся Ратомский, — не ожидал я, что за деньги можно купить симпатию даже у тебя.

Борис на мгновение остался с полуоткрытым ртом и остолбенелым взглядом. Солидный Кузовкин добродушно засмеялся:

— Кочетовец! — подмигнул он на Ратомского.

— О черт! — рассердился Борис. — Я испугался — думал, он о чем-нибудь серьезном... Кочетовцы, павловцы, — какое мне дело? Стыдились бы! Нашли о чем спорить!..

Но у Володи даже голос дрожал, когда он возражал.

— Ты, Борис, отличный человек, но в пении мыслишь столько, сколько…

— Обыкновенно говорят: сколько свинья в апельсинах. Ты не стесняйся, продолжай!

— А я оперу люблю и утверждаю, что это срам студенчеству, да, срам!.. Из-за того, что этой интриганке Павловской посчастливилось как-то фуксом собрать с дураков одиннадцать тысяч рублей, все уж и на коленях пред нею, а настоящий талант, истинный идеал искусства забыт, отвернулись от него, словно, в самом деле, Зои Разумниковны и в Москве нету. Деньги — деньгами, а искусство — искусством...

— А вы вспомните Базарова, — снисходительно улыбался Кузовкин, — «искусство для искусства или нет более геморроя»!

— О черт! — уж совсем равнодушно повторил Борис. — О черт! Какое мне дело? Одна пищит так, другая — этак... не все ли равно? какое мне дело?! Пусть их пищат, как знают... Мне — лишь бы буржуев наших, толстые шкуры московские, пробрать, чтобы они сок дали! Вот что в студенческие лапы девять тысяч валится — это дело... и у меня селезенка играет! А кто как пищит, — ну их к деду! У одной «si», у другой «do»... кому что от того станется?!

Володя сердито пожал плечами.

— Развивая такие парадоксы, можно договориться и до того, что — лишь бы взять деньги, а то все равно, с кого ни взять — с симпатичного человека или антипатичного, с честного или бесчестного, хоть с казнокрада и вора.

— Сравнил!

— Не вижу разницы.

— А я — ничего общего. От вора и казнокрада нельзя принять деньги на общественное дело, потому что они изменники обществу, они общественно бесчестны. А может ли быть общественно честна или бесчестна та или другая певица? Ихней сестре деньги за верхнее «do» платят. Может у нее

«do» быть, может «do» не быть, но честного «do» и бесчестного «do» не бывает. Докажи мне, что у Павловской «do» бесчестно, и я первый закричу в заседании, чтобы студенчество не брало у нее ни копейки.

— По-твоему, нет никакого различия между искусством и шарлатанством?

— Нет более геморроя! — улыбался Кузовкин, а Борис холодно докончил:

— Да ведь это они сами эти различия установили, госпожи артистки и господа артисты, — ну их и дело отстаивать, кому что нравится! А нам что? Кочетовцы... павловцы... фу! срам слушать!.. Бабьи партии, бабьи хвосты...

— «Неисправим, хоть брось!» — насильственно усмехнулся Володя, возвращаясь в поток человеческий.

Его долго мотало толпою из зала в зал, прежде чем он нашел сестер, — в креслах боковой комнаты, — окруженных группою знакомой молодежи. Навстречу юноше радостно сверкнули и тотчас потупились коричневые фанатические глаза Любочки Кристальцевой. Его влюбленное сердце забилось весельем, но лицо стало важно и почти хмуро.

— Только затем, чтобы вас видеть, пришел я на это позорище, — сказал он вполголоса, глядя на барышню с значительным видом идейной жертвы.

Любочка счастливо вспыхнула, но тоже сделала серьезное лицо и сказала:

— Я понимаю вас.

В тоне ее совершенно искренно прозвучало: «Мужайся, честный мученик! Твой подвиг оценен!..»

Антон Арсеньев, упирая шапокляк в колено, согнулся над креслом Евлалии Ратомской.

— Когда читает Георгий Николаевич? — бесстрастно мямлил он.

Она, бледная, с беспокойными искрами в глазах, ответила сухо, не оглядываясь на него.

— После оркестра... второй номер отделения...

— А! Это хорошо. Вторые и предпоследние номера в концертах всегда имеют более успеха, чем первые и последние.

Евлалия — как ни неприятно было ей присутствие Антона — не утерпела, чтобы не спросить:

— А вас интересует успех Георгия Николаевича?

— Почему же нет? — удивился Антон. — Это очень любопытно... и лестно даже!.. Знакомый литератор — и вдруг читает... в высшей степени лестно! Тень или, лучше сказать, отблеск его сияния падает ведь немножко и на нас... У меня есть знакомая купчиха из читающих. Прежде, когда я бывал у нее, она поила меня чаем обыкновеннейшим, два рубля сорок копеек фунт, от братьев Поповых. А с тех пор как узнала, что я довольно коротко знаком с знаменитым Брагиным, уже заваривает чай ханский, с цветком, что для знатока и любителя чаев, как ваш покорнейший слуга, много предпочтительнее. А после сегодняшнего концерта, — я не сомневаюсь, — купчиха прикажет подать мне к чаю еще и инбирного варенья, которое я обожаю... Разумеется, если Георгий Николаевич, в чем я не сомневаюсь, будет иметь успех. Как же мне не интересоваться его успехом и не желать ему успеха?

— Должно быть, остроумно, что вы говорите, — еще суше возразила Евлалия, — только я не понимаю, в чем соль.

Антон посмотрел на нее тупо и тускло.

— Только в том, что я очень люблю ханский чай и инбирное варенье.

Он замолчал, глядя поверх ее волос на оживленное, веселое лицо Ольги Каролеевой, которая, по обыкновению, флиртовала напропалую со своим постоянным в последнее время attaché *, с старшим Рутинцевым.

---

* Лицо, прикомандированное к кому-нибудь для выполнения поручений (*фр.*). Здесь: в знач.: привязанность, кавалер.

— Безумный успех! безумный! предсказываю фурор! — доносился ее беспечный и безразличный лепет. — А в наказание за злые предубеждения, вы привезете мне хороших камелий от Фомина...

— Уж лучше позвольте из «Салон де Варьете!» — сострил Рутинцев.

— И дерзко, и старо... Из альманаха двадцать седьмого года!

Антон Арсеньев заговорил:

— А еще, Евлалия Александровна, я желаю Георгию Николаевичу успеха потому, что я не буржуа.

— Не понимаю?

— А мне кажется, — это инстинктивный, расовый такой антагонизм пылает между хозяином-буржуа и работником — человеком свободной профессии.

— Работником?!

— Ну, конечно... Буржуа — хозяин общества, а человек свободной профессии — певец, актер, художник, литератор, что ли, — работник на него, нанятый делать и показывать такие штуки, которых буржуа сам сделать и показать не в состоянии.

— Вот что? А куда же вы причисляете тех людей свободной профессии, которые не служат вашим буржуа забавою, но борются с ними и разрушают их строй...

Антон Арсеньев прервал с дружеским полупоклоном:

— Как *наш* милейший Георгий Николаевич? А тоже к работникам, Евлалия Александровна, — к работникам обязательно. Они ведь — так сказать — совесть общества, так и говорят у нас о литературе: общественная совесть. Буржуа своей совести иметь некогда, и не умеет он ею распорядиться как следует, во всей полноте. Ну вот он и завел общественную совесть, которая на него работает, то есть — за него совестится... Нечто — вроде, знаете, католической исповедальни: стащил монаху дневные грехи, монах их отмаливай

и омывай слезами, а я весьма свободно иду опять безобразничать, с полным утешением правоты и несмятенного духа. Литература — совесть, призванная каяться за бессовестных. Труд тяжкий. И тем законнее причитающийся за него гонорарий. Тоже еще одну старуху я знаю, старого дворянского рода. Говеет четыре раза в год — непременно в различных приходах, а платит за исповедь — глядя по тому, как долго щуняет ее батюшка: не очень сурово — рубль: построже — три; который эпитимьей пугнет — пять; а который и эпитимью наложит, и выбранит на чем свет стоит, и душу вывернет наизнанку, и геену огненную покажет в лицах со всем ее жупелом, — тому целая красненькая. По-моему, это совершенно логично, — и то же самое, что, например, Боборыкину какому-нибудь или Маркевичу одна цена, Георгию Николаевичу — другая, Гаршину — третья, а Достоевскому, который всех лютее, — четвертая. Вроде кашинской мадеры, есть совесть «просто», совесть «extra», совесть «extra fine»... *

— У вас? — дерзко прервала Евлалия.

Антон скривился.

— Тенериф братьев Змиевых — самый жестокий.

Евлалия недовольно улыбнулась. Он, ободренный этою нечаянною удачею, подхватил:

— Да... Но замечали ли вы, что люди всегда втайне недоброжелательны к тем, кто умеет делать нечто, чего они сами не могут? В особенности сытые. Восторг и недоброжелательство — в каждом успехе — самые тесные соседи. Тенор поет, — все слушают, тают, но когда он сорвется на каком-нибудь ut-dièze'e **, все хохочут: что, мол, ожегся! ага! Поделом! не выскакивай! Наш брат Исакий, не можешь взять ut-dièze'a!.. И каждый тут чем-то удовлетворен — беско-

* «Высшего качества»... (*фр.*)

** До-диез (*фр.*; муз. термин).

нечно глупо и настолько полно, что в этот момент смотрит на злополучного тенора с подавляющим превосходством, как на существо неизмеримо низшее: я, мол, конечно, и сам не возьму ut-dièze'а, так зато и не пробую, а спокойно в магазине изюмом торгую; а вот ты попробовал, да не взял — значит такая же ограниченность, как я, да еще и глупее меня: выше лба уши вырастить хочешь... дурак!.. То же и в литературе, и в философии... Вы можете быть уверены: нигде так не злорадствуют неудачами непризнанных гениев, как в их родных семьях, среди друзей и знакомых. Я знал жену молодого поэта — самолюбивое существо, молчаливое настолько, что ее за это считали умною и поэтичною, хотя она была буржуазка и дура. И — клянусь вам: когда какая-либо редакция возвращала ее мужу стихи, негодные к напечатанию, она, конечно, печально надувала губы и делала траурное лицо, говорила траурные слова, бранила редакторов, что «не понимают», но в глазах у нее светилась затаенная радость: осрамился мой умник! шлепнулся мой талант!.. Да, буржуа — существо злорадное, и успех существа, более одаренного, ему — острый нож, а неуспех — утешение. Сладко это, необычайно самодовольно как-то сознавать, что ближний твой выше тебя не на аршин, а разве что на вершок: не гигант, но — именно наш брат Исакий. Настолько, что вот, например, сестрица ваша, Ольга Александровна, я слышу, держит с Рутинцевым пари за успех Георгия Николаевича. Это очень мило с ее стороны, хотя напоминает несколько скачки Дерби, где точно так же слагаются пари за новую лошадь. Но я смею вас уверить, что если Георгий Николаевич, не дай Бог, не будет иметь успеха, то Ольга Александровна отнесется к нему не лучше, чем к скаковой лошади, которая пришла к столбу последнею. И вы от нее первой услышите: «Не понимаю, что в этом Брагине находят особенного... конечно, не без способностей, но — так много думать о себе! так собою рисковать! выступать наряду с первоклассны-

ми талантами!.. это смешно, глупо, бестактно! Он зазнался, он — пошлый и самонадеянный человек, ma chere!»

— Уже до Оли добрались! — вырвалось у Евлалии.

Антон не успел ответить: толпа выдвинула к ним плотного, хоть и не очень рослого, артиллерийского офицера.

Евлалия ему обрадовалась, а Антон тотчас же отстранился.

— Удираете? — лукаво поймал его подвернувшийся Квятковский. — То-то! От Арнольдса — как черт от ладана... Святая вода пришла!

— Ну, стало быть, и да расточатся врази... — лениво пробормотал Антон.

Квятковский держал его за локоть.

— Я сам до него не большой охотник... Пойдемте, протолкаемся в курилку... О бисова теснота! Pardon, madame! *

— Батюшка, что же вы нажимаете? Мне из вашего пардона не платье шить!

— Madame! — с искренним ужасом изъяснялся Квятковский жирному замоскворецкому затылку, к которому притиснула его волна публики, в два течения стремившейся в буфет и из буфета, — верьте, madame, что это с моей стороны — не гнусное намерение, но лишь... инерция толпы!

Но затылок продолжал протестовать:

— И не смейте дышать мне в шею... Я этого терпеть не могу.

— Madame, честное слово — нечаянно! Уже одни ваши почтенные лета...

— А лет моих, батюшка, я вас усчитывать не просила. Наглый вы, батюшка, человек! Не хочу назвать вас дураком, а родителей ваших не похвалю: очень глупо вас воспитали.

— Здравствуйте, Федор Евгениевич, — дружески приветствовала Арнольдса Ольга Каролеева. — Что вы? Где пропадали? Не правда ли, какой прекрасный концерт?

---

* Извините, мадам! (*фр.*)

Офицер обменялся с нею несколькими общими фразами и обратился к Евлалии.

— Как вы бледны! — отрывисто сказал он.

— Мне нездоровится, и я волнуюсь.

— Да?

Он не то вздохнул, не то отдулся так, что вспушились рыжие усы, и продолжал ровными, бесстрастными тонами своего толстого голоса:

— Что намерен прочесть ваш жених?

Евлалия Александровна подняла на Арнольдса глаза, сверкающие синим огнем.

— Если вы говорите о Георгии Николаевиче, он еще не жених мой, Федор Евгениевич!

Офицер отдулся и опять вспушил усы.

— Да, еще... — сказал он спокойно. — Еще — на сколько дней? а может быть, часов? а может быть, минут?

Она молча глядела ему в лицо, вызывающе постукивая сложенным веером по левой своей руке. Арнольдс выдерживал ее взгляд тяжелым, угрюмым, солдатским взглядом человека, много думающего, но не щедро одаренного мыслью.

— Вы бледны и грустны, — повторил он. —У вас такое лицо, точно решается судьба всей вашей жизни.

— Очень вероятно, что оно и так, — холодно возразила Евлалия.

Медно-красное лицо офицера и светло-серые глаза его ничего не выразили, только усы прыгнули и повисли вниз палками. Он щелкнул каблуками, круто поклонился по-военному и отошел... Залился по залам звонок, возвещая конец антракта. Публика ринулась в зал, как одурелое стадо.

— Господа! Невозможно! Господа! Потерпите! Осторожнее! Господа! К порядку! Коллега! Не при! Mesdames! Куда вы лезете! Господа! Не бараны же вы! Господа! Все успеете! Всем место будет! Коллега! Да что же это? Драться мне, что ли, с вами?

Осиплые, надорванные голоса распорядителей вопияли вотще. Кончалось тем, что бедняг этих самих — красных, потных, растрепанных, в смятой рубашке, а то и с оторванной фрачною фалдою — уносил поток человеческий, как бессильные щепки какие-нибудь.

— Да не напирайте вы, задние! — ревел Авкт Рутинцев, поднявшись на руках в полроста над плечами дюжих соседей.

Задние на миг осаживали назад, но на них напирали другие задние, и еще, и еще, и живая стремнина летела вперед цельною полосою, влепляя тело в тело.

— Но здесь ребра сломают! Бурст! Где вы, Бурст? Это хуже, чем в Храме Спасителя у светлой заутрени...

— Ау, Лидия Юрьевна! — весело и зычно отзывался техник на капризный голос Лидии Мутузовой, чуть не до слез раздраженной, что не выдержала температуры — развилась челка на лбу, и вместо золотистого пуха висят на глаза какие-то белесые косицы.

— Куда же вы ушли от нас? Любезно с вашей стороны!

— Я не ушел, — я унесен водоворотом! Сов ки пе! * Сила человеческая — ничто против борения стихий!

Сам Бурст как-то угораздился взгромоздиться на цоколь колонны и высился над толпою, широко расставив ноги, как Колосс Родосский. На него глядели и хохотали. И он хохотал, и топал ножищами.

— Тут есть еще место! Еще! — кричал он. — Ей-Богу! Лидия Юрьевна! Держите курс на меня! Я подхвачу вас и выдерну!

— Благодарю вас! Я не редька!

— Выдерните меня, Бурст! — взвизгнула среди общего хохота худенькая, черненькая, похожая на мальчишку курсистка с быстрыми умными глазами молодого сокола.

---

* Спасите, кто может! (*фр.* Sauv qui peut)

— Лангзаммер? Валяйте!

Она схватилась за здоровенную лапу, спустившуюся к ней, как та рука провидения, которая в последнем акте старинной комедии хватала счастливого взяточника за волосы и уносила на колосники, — и взлетела вверх, как обезьяна. Хохот усилился, зааплодировали. Хрупкая, странная фигурка хорошенькой девушки в черном гладком платье без корсета эффектно обрисовалась на белом мраморе колонны...

— Вот вам и редька! — в восторге завопил Бурст. — Зато мы все увидим, а вы ничего!.. Молодец Лангзаммер!

— Браво, Лангзаммер! — запищали, заревели смеющиеся голоса. — Молодчина! Умница, Лангзаммер!

Девушка, красная и счастливая, кивала вниз кудрявою головкою. Мутузова горько позавидовала, что не послушалась Бурста.

— А, впрочем, хороша была бы я с моими висюльками... — утешалась она, цепляясь за локоть Сони Арсеньевой. — Ну, башня моя, только бы теперь меня от тебя не оторвали, милый ты мой бастион, дорогая ты моя кремлевская стена! За тобою, как за горою.

«Кремлевская стена», массивнее чем когда-либо, в темно-сером лоснистом шелку, кротко и красиво улыбалась сверху своими большими, арсеньевскими глазами, хотя улыбаться ей было решительно нечему. Наоборот, другая на ее месте давно бы уже горестно заплакала, потому что на правом локте у нее бесцеремонно тяжелым мешком повисла Лидия Мутузова; в левый бок впился острейший локоть какой-то костлявой и желтолицей старой девы, которая по инстинкту худых и старых против полных и молодых возненавидела Соню до кровомщения всем долговязым существом своим и нарочно толкалась локтем, яко природным копием, как могла злее, чтобы пробрать «толстенную девчонку» до костей. Сзади толпа прикинула к Соне Тихона Постелькина, красного, совсем смущенного и оглупленного этою случай-

ною и неловкою близостью, от которой он напрасно усиливался уклониться сам и освободить барышню: увы! ноги его уже не ступали по паркету, и публика так и несла его, беспомощно приподнятого за плечи плечами соседей, приклеенным к светло-серой, красивой и душистой спине. Но более всего удручало Соню сознание, что — впереди — она, как живой таран, сокрушила в лепешку щегольской цилиндр какого-то франта, имевшего глупость держать его по старой моде московских фатов — как носил модный актер Решимов, — в левой руке назад, на пояснице, тульею вверх.

А оркестр, споря с шумом людского прибоя, гремел излюбленную московскую увертюру — Литольфова «Робеспьера»: без нее в программе не обходился тогда ни один студенческий концерт.

XXI

В зале царила почтительная тишина, и звучно, и эффектно разливался в ней красивый говор молодого тенорового баритона. Брагин читал свой рассказ уже минут пять. Встретили его прилично — рукоплесканиями громкими, дружными... однако довольно жидкими, сравнительно с овациями постоянным любимцам Москвы. Но молодой писатель сразу понравился, сразу завладел сочувствием толпы, и теперь слушали его без кашля, внимательно, напряженно. Красивый и стройный, в «интеллигентских» кудрях и христовой бородке, с тонким нервным профилем римлянина в упадок империи, с мягкими, внимательными глазами, Брагин был очень хорош на эстраде и держался на ней с такою свободною, с такою победительною самоуверенностью, точно на ней весь век прожил, хотя читал публично — впервые в жизни. Он не сел к приготовленному для чтения столику, а стоял около рояля и говорил, почти не заглядывая в книжку радикального жур-

нала, где был напечатан читаемый им рассказ. Это было эффектно, походило на импровизацию. Книжка тоже эффектно мелькала то в руках Брагина, то на черной крышке рояля всем знакомою светло-желтою обложкою. Внимание становилось все глубже, а голос писателя, тихий и не без дрожи на первых строках, рос все громче. Лектор чувствовал, что забирает власть над толпою, и нажимал, нажимал, нажимал все свои педали.

Рассказ был выбран тонко, расчетливо — по времени и публике: народнический и с надрывом. Мелькали добродушные бородатые лица мужиков-оптимистов на муке пополам с лебедою и сосновою корою. Хмурились строгие брови крестьянина-фанатика, искателя Божьей правды на земле, «чтобы тебе кусок и мне кусок... чтобы, как заповедано: в поте лица, значит... по-праведному». Экстатическим сиянием мерцали голубые глаза мальчика-самоучки, будущего сектанта: «Мне бы в мать-пустыню... на Белые воды, где Дух Святой голубем сизым летает... правда Божья... Господи!» Отпустил две-три горькие остроты бедствующий заштатный поп-пьяница с душою Любима Торцова. Походил по комнате в темную ночь, хватаясь за виски и опрокидывая мебель, пьющий, полубезумный, разочарованный интеллигент, идейно, но бессильно и бесплодно отрешившийся от культурной жизни, чтобы работать в сельских писарях. Всплакнула учительница, оскорбленная негодяем-кулаком, волостным старшиною и ктитором... «Где же свет? где же правда?» — стонали строки рассказа... Звучало Глебом Успенским, звучало Гаршиным, — многими звучало. Но было кстати, было близко и знакомо толпе — на девять десятых молодой, следящей, читающей... Небольшой беллетристический рассказ, прочитанный с умными паузами, с искусными интонациями, страшно окреп и осмыслился на эстраде, разрастаясь в болезненный публицистический вопль.

Беневоленский, не помня себя, скатился с тележки.

— Что Ефим? — закричал он, запыхавшийся, перерванным, хриплым голосом, бросаясь к мужицкому кругу.

Круг расступился, мрачный, молчливый... Угрюмо глянули на Беневоленского из-под лохм коричневые лица...

— Отходит, — сказал кто-то.

— Отходит, — сипло повторил другой: рыжий, коренастый, припадающий на одну ногу; в одном глазу у него трепетала слеза, которой он стыдился, но боялся уронить ее, боялся и обмахнуть рукавом тулупа.

Старый ходок лежал навзничь, широко раскинув руки, уставя в небо незрячие глаза. Лицо его, строгое лицо седобородого апостола, было бело как бумага... Грудь тяжело поднималась...

— Землицы... своей... родной... Господи! горсточку... землицы... чтобы, значит, почувствовать... свое-то... землицы! братцы!.. горсточку... — шептал он, захлебываясь хриплыми переливами в горле.

И вдруг, ударив оземь беспомощными руками, приподнялся на локтях, и голос его сделался страшен и силен.

— Умираю... Православные!.. Вот оно: жизнь ушла, земли нет... Ни жизни, ни земли, ни правды... Православные!.. Правда! Правда! Где же ты? Аль тебя волки съели? Пра-а-авда!!!

И на смертный вопль старого ходока ответили громовым воплем тысячи человек, которыми чернел зал... Брагин стоял с низко опущенною головою. Книжка журнала все еще желтела на крышке рояля. Кто-то из задних рядов сорвался с места, быстро пробежал проход между кресел, вскочил на эстраду и схватил книжку.

— На память! — крикнул он Брагину и прыгнул в толпу.

Брагин только засмеялся и рукою махнул... Со всех сторон подплывали к эстраде возбужденные, влюбленные, озаренные хмурою мыслью лица, смотрели на лектора полные экстаза благородного огня и даже заплаканные глаза. Хлопали красные ладони, топали тяжелые каблуки, сотнями веяли платки в воздухе. Лангзаммер визжала с своего цоколя так, что ее было слышно через весь зал, точно свисток локомотива. Прославленная своими эксцентричностями, купеческая дочь, миллионерка Карасикова, первая красавица Москвы, сорвала с груди своей розу и бросила ее к ногам писателя.

Это было сигналом: в ту же минуту Георгий Николаевич стоял под цветочным дождем...

— Bis! читайте! еще! bis! bis! Брагин! Спасибо! браво!..

Когда раздался первый взрыв аплодисментов, Евлалии показалось, что небо развалилось в куски и рухнуло к ее ногам, как драгоценный дар, всеми своими великолепными осколками. Еще во время увертюры прокралась она в Екатерининский зал — этот исконный приют стольких поколений артистов пред выходом на высший московский суд. Николай Рубинштейн, остряк и весельчак, называл круглый зал этот «артистическим консьержери»: отсюда, мол, поворота нету — один ход: на эстраду, как на гильотину. Евлалия прижалась к пьедесталу колоссальной статуи Екатерины II, который когда-то обагрила кровь застрелившейся энтузиастки, безнадежно влюбленной в того же Николая Рубинштейна... Откуда-то вырос пред Евлалией Рутинцев-старший. Он что-то говорил ей, она ему что-то отвечала, — должно быть, связно, потому что он не отходил и не выражал изумления на сытом своем лице, но — что, как, о чем — она ничего не понимала потом... Ни слова не слыхала она и из того, что читал на эстраде Брагин: она слышала только время, покуда он читал, и казалось, этому времени конца не будет, и, когда рухнуло небо, казалось, что прошли годы с тех пор, как он начал читать.

С эстрады в Екатерининский зал скатилось гигантским клубком чудовище — живая машина, ревущая, машущая десятками рук: студенты подхватили Брагина и качали с криком, топотом и пением, высоко и бережно поднимая его рослое тело.

— Братцы! Стойте! Стойте! — суетился больше всех Миролюбов — университетский бас-запевало, красавец, с ласковым светом в грустных синих глазах.

Он бил себя длинными руками в грудь и кричал:

— Стойте! Хор Брагину! Хор!

— Хор! Хор!

И широко разлился всем знакомый, любимый всеми широкий некрасовский напев:

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал!

Грозою зашумели случайные нестройные басы; как пронзительные крики чаек, остро и страстно взвизгивали исступленные тенора... Пели, схватившись за руки цепью, с сосредоточенными, мрачными лицами, с сверкающими глазами...

Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой ночуя в степи...

Борис Арсеньев, — бледный как полотно, с трясущейся нижнею челюстью, — среди поющего круга, — хватался рукою за сердце и говорил:

— Братцы.

В глазах у него стояли слезы... Он страдал и был счастлив...

Стонет в собственном бедном домишке,
Свету Божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке
У подъездов судов и палат...

Истерически всхлипнула и захохотала Лангзаммер... Бурст подхватил ее и вынес на руках... Борис со слезами, текущими по щекам, висел на шее у Брагина и лепетал:

— Я не любил вас до сих пор... простите!.. За это вам — все! все!.. Милый вы человек! Душа моя!

Брагин, растерянный, подавленный, почти испуганный неожиданными размерами овации, — уже с блуждающими глазами и робкою улыбкою, — жал десятками простиравшиеся к нему руки...

Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля!!!

Кузовкин влез на пьедестал Екатерины, махал руками и кричал:

— Коллеги! Невозможно! Довольно! Дайте продолжать концерт! Публика ожидает…

— Очень нужно! К черту буржуа!

— Полиция требует!

— К черту сбиров!

— Артистов задерживаете!

Это подействовало...

Шквал промчался — и, растрепанный, измятый, счастливый, Брагин остался среди пустующей гостиной, встряхиваясь, как веселый водолаз после первого купанья... И тут засияли ему навстречу — от пьедестала Екатерины — безумно-радостные, как чаши полные до краев восторгом любви, — синие, глубоко прозрачные звезды на розовом возбужденном лице под каштановыми кудрями... И он вскрикнул от счастья и бросился к звездам. И целовал трепещущие белые руки, и говорил хорошие, глубокие, страстные слова...

— Но я предсказывала! Я была уверена в успехе!

В гостиную ворвалась с привычным шумом неотразимой самоуверенности Ольга Каролеева в сопровождении всей своей свиты.

— Я так рада... какой триумф! Поздравляю вас, Георгий Николаевич... дай вам Бог!.. От всей души...

Евлалия, смеющаяся, плачущая, дрожащая, взяла ее руку.

— Поздравь, Оля, и меня: я — невеста!..

По другую сторону пьедестала послышалось что-то вроде звука лопнувшей струны. Никто не обратил внимания, — никто не заметил, как от пьедестала отлипла длинная, тощая,

черная тень и, крадучись стеною, за спинами, выползла из гостиной...

Концерт шел своим чередом. Опять пел Хохлов, читала Ермолова... Экстаз рос, страсти разгорались...

— Взвинтились ребята! Хороши будут к танцам! — подмигнул Кузовкин Федосу Бурсту.

Но тот был уже в пивном трансе, блаженствовал и сиял.

— Так и надо... Я из «мертвецкой»... Чудесный вечер!.. Гуляй, душа, без кунтуша!!!

— Пьяно там?

— Ни-ни! Еще не начали... Не то настроение!.. Речи говорят!.. Бориса не видал?

— Арсеньева? Нет... впрочем, кажется, тут вертелся...

— Ищу его — туда, на стол... Надо тон дать, чтобы не расплывались...

— Смотрите вы, черти! Подведете!

— Не маленькие! Ага! вот он... Боря! Пойдем!

Тот — судорожно-веселый, белый с лица, с зрачками, расширенными чуть не во всю величину глазного яблока, — схватился за приятеля с болезненною, острою радостью, с почти припадочным смехом!

— Пойдем! Куда? Говорить! Пойдем! Я скажу!.. Пойдем куда хочешь! Я, брат, так настроен, так... Во мне — музыка дрожит! Хор поднимается со дна души — гимн простора просит!.. Надо говорить, — я буду говорить. Надо петь, — я буду петь! Надо драться, — пойдем, будем драться! Надо умирать, — на! бери мою голову!.. Федосенька! Как я тебя люблю! Кузик, милый человек! Все вы — братцы, все вы — милые... Голубчики! Viribus unitis res parvae crescunt *. Есть умные вещи и в чертовой латыни... Пойдем, Бурст! Пойдем! Я скажу... Allons, enfants de la patrie! ** Я скажу...

---

* От соединения сил растут и малые дела (*лат.*).

** Вперед, сыны отечества! (*фр.*)

Антон Арсеньев — длинный, черный, тонкий и бессильно согбенный — стоял в аванзале спиною к редкой здесь публике и одиноко смотрел на темную улицу, в глухую непогожую ночь с плохими тусклыми фонарями. Легкая мягкая рука коснулась его локтя... Он оглянулся. Пред ним стояла очень нарядная дама лет уже под сорок, небольшого роста, и — сразу заметно — очень трепещущая за свою полноту и принимающая все меры, не обратиться бы в шар. Некрасивое, но приятно добродушное лицо с немного выкаченными и как бы удивленными, красиво-меланхолическими глазами говорило о натуре кроткой, чувственной и робкой, без царя в голове, с темпераментом вместо ума, с жаждою обнимать вместо характера, — о существе тихой, упорной половой страсти, растоптавшей в нем и рассудок, и волю, способной растоптать, если надо будет, и совесть...

Антон обернулся к ней с страшным лицом.

— Это вы... вы?..

Дама с испугом глядела на него, расширяя свои и без того круглые глаза:

— Я, Антон... Ой, что-й-то вы какой странный?

— Вы... вы...

Он смотрел на даму, искаженный, дикий, как на привидение, — словно в первый раз ее видел, — хотя сам же назначил Балабоневской найти его в этом самом аванзале... Лицо его дергали темные судороги...

— Я только узнать, приедете ли вы ужинать... — прошептала струсившая, побледневшая Балабоневская, и сердце у нее так билось, что дыхание тяжело засвистело и, скрипя, запрыгал желтый плюшевый корсаж.

Антон посмотрел на ее покорно склоненную голову... «Позовешь — буду в раю, ударишь — поцелую кулак!» — говорила вся смирная фигура и ужимка женщины: и робкий взгляд из-под черных ресниц, и шепчущие грубые губы в темном пушке, и мягкий страстный изгиб белой шеи... Смотрел Ан-

тон грозно, почти свирепо, но мало-помалу судороги лица его утихли, а морщины расправлялись, пока не перешли в гримасу смеха, с злобным-злобным огнем в глазах.

— Конечно, приеду! — захохотал Антон, — конечно, милая моя, неоцененная моя, приеду... Фу, черт! Я не знаю, что на меня здесь нашло: можете себе представить, — я не узнал вас сейчас, когда вы подошли... мне вообразилось, что вы — другая... Фу, черт! Даже жутко!.. Фу, черт! Ну как же я вам рад!..

— Говорят: это — мне богатою быть! — счастливо улыбаясь, так и расцвела блаженная Балабоневская.

Он задержал ее за обе руки — мягкие, цепкие, страстные, глупые руки — тряс их, мял их.

— Могу ли я не приехать? Я — к вам?.. Разве вы не знаете, что я — в своем роде пушкинская Татьяна, только в штанах? Так сказать, — «моя тэбэ отдана и будыт вэк тэбэ вэрна»...

— Ну уж, воображаю! — потупилась Балабоневская. — Ну, Антон... пустите руки! вы мне больно делаете!

Он смотрел на нее все теми же злобно-веселыми, причудливыми и сладострастными глазами.

— Какая вы шикарная сегодня!

— Нравлюсь? я рада!

В глазах ее забегали искорки, губы дрогнули.

Он опять овладел ее руками.

— Слушайте! Прелесть! Чудо мое! Для какого дьявола нам ужинать сегодня у вас? Плюнем на добродетель со всею энергией, на какую мы способны и которой она заслуживает... поужинаем вдвоем в каком-либо излюбленном нашем селе Кабачарове...

Балабоневская испуганно округлила глаза.

— Антон, я бы с радостью... Вы знаете, могу ли я вам отказать, Антон...

— Ну и хвала Аллаху! Едем...

— Но, Антон! Я здесь не одна… мои девочки...

— О, к черту девочек! едем!

— Но, Антон, они меня хватятся, будут искать... и, наконец, кто же их проводит домой?

— Одной тринадцать лет, другой скоро пятнадцать, — скороговоркою возражал Антон, увлекая ее под руку к выходу. — Не маленькие, не потеряются, а — потеряются, кто-нибудь найдет... Едем, едем, едем!

— Антон, я очень скверная, слабая женщина... Если бы вы были матерью...

— Лишен этой возможности от природы, а собственная моя мать была стерва... Едем!

— Антон!

— Черт! Да неужели вы не видите, что я влюблен в вас как никогда? Еще минута — и я начну целовать вас при всех, среди зала, на лестнице...

Вся действительность исчезла для Балабоневской. Зал, публика поплыли в розовом тумане. Она умолкла и грузно повисла на руке Антона, стиснув зубы, трудно дышащая, с красными пятнами на побледневшем лице. У нее сделался вид больной или пьяной, и многие в толпе, сквозь которую они проталкивались, с изумлением встречали ее шалый, тяжелый взор... На входной лестнице, сияющей мраморами и красным сукном, Антон остановил распорядителя, — младшего Рутинцева, который, проводив кого-то из артистов до кареты, весело бежал из раздевальной, прыгая вверх через две ступеньки.

— Авкт! Ты знаешь Анну Владимировну и Зою Владимировну — дочерей madame Балабоневской? Будь добр, найди их и сообщи, что мамаша почувствовала себя немножко не по себе и уехала...

— Да, будьте так любезны, monsieur Рутинцев! — едва произнесла Балабоневская каким-то суконным языком.

Внизу, когда капельдинер, по смешному, московскому обычаю, вытряхнул перед нею из мешка шубу, шапку, теплую

обувь, она одевалась как автомат, с ужимками и жестами одурелой кошки...

А сверху неслось тучевым стоном:

Есть на Волге утес; диким мохом порос
Он с боков от подножья до края,
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная...

Антон — в черном узком пальто своем, под высоким цилиндром — стоял, притопывал сердито ногою и нехорошо, жутко улыбался. Он сам не знал — почему, но заунывная песня хлестала его по нервам как плетью. И было горько, и стыдно, и черная смола вскипала на сердце.

— Скорее... что же вы возитесь там? Скорее! — говорил он сквозь зубы. — Извозчика привел?

— Так точно, ваше сиятельство! — рявкнул посыльный, хватая в руку рублевую бумажку. — Антипом зовут... ваш постоянный...

— Сейчас, сейчас... — тоже сквозь зубы и будто сонная, отзывалась Балабоневская, тяжело, трудно, спешно натягивая узкие сапожки.

А сверху неслось:

Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил...

— О черт! Да идем ли мы наконец? — страдая, притопнул ногою Антон.

— Я готова... — вставая со скамьи, глухо сказала Балабоневская.

И ему стало стыдно и неловко, когда он увидел ее свинцовое, оглупевшее лицо... И вышли они молча, молча, молча...

А сверху неслось:

Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет!..

Рутинцев нашел в толпе барышень Балабоневских и передал им поручение матери. То были тоненькие, длинненькие, узенькие девушки-подростки, с большими серьезными глазами, тихими лицами, спокойные, в опрятных сиреневых платьях-двойняшках, лицо в лицо, волос в волос, жест в жест, голос в голос. Очень похожие на мать и в то же время отдаленные от нее чем-то далеким-далеким, несоединимым.

— Угодно вам, чтобы я вас проводил? — предложил вежливый Авкт.

Подростки переглянулись быстро, почти неуловимо.

— О нет, благодарим вас, — сказала старшая — Анна — гибкая лилия, с ломающимся голосом. — Не беспокойтесь... Мы привыкли возвращаться домой одни...

— Мама часто уезжает, — пискнула Зоя тонкая и бледная, как анемон.

— Мы не боимся...

— Мы так часто одни...

— Мы привыкли...

И утес великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку переска-а-а-жет...

* * *

Темною, бесшумною Тверскою, вверх к бульвару, тихо и спотыкливо двигался плохой извозчик. В санях его ютились в капорах и неуклюжих шубках — две слабые женские полудетские фигурки. Обе крепко прижались друг к другу. Ненастная погода, полная глупого ветра, плевала им навстречу снегом пополам с дождем...

— Аня! о чем ты думаешь? — пискнула фигурка поменьше, когда сани поднялись к дому генерал-губернатора.

— Аня! о чем ты думаешь? — повторила та же фигурка, когда сани мимо Пушкина повернули на Тверской бульвар.

Аня очнулась, будто от сна, и медленно раздельно ответила:

— Я думаю, Зоя, что, если у меня будет пистолет, я убью одного человека...

Зоя ничего не сказала, но судорожно сжала локоть сестры и припала лицом к ее плечу.

Аня рассуждала вслух:

— Да, я его убью... Я очень убью... Главное, нужен пистолет...

ГОРНИЧНАЯ

XXII

Володя Ратомский был глубоко сконфужен. Вчера вечером он был в гостях у господ Кристальцевых и, оставшись в полутемной гостиной с глазу на глаз с Любочкой Кристальцевой, — завершил свой почти уже годичный флирт с нею, благополучно объяснившись ей в любви. Много было фраз и декламаций, но на душе было хорошо, и сердце сладко ныло. Любочка и всплакнула немножко, и потрепетала в нервной дрожи, и пожаловалась, что ей холодно, — словом, добросовестно и очень искренно проделала все, что полагается в подобные моменты девице литературной и поэтической, прочитавшей сотни нежных объяснений в романах и стихах. Она от души воображала себя Маргаритою в саду, Володю — Фаустом. Оба из всех сил старались о красивых словах, взглядах, жестах, и усердие увенчалось успехом: объяснение вышло — хоть сейчас на сцену! Володя чувствовал себя одной ногой на земле, другой — на седьмом небе. На губах его

горел целомудренный поцелуй; в голове весело шумело красивое, изящное опьянение первой любви. Возвращаясь домой, Володя громко топал по тротуару и, к смущению городовых, чуть не во весь голос вопил романс Цезаря Кюи:

И звезды, небо, и весь мир
В блаженстве потонули...

Все это было в порядке вещей. Даже странно, если бы не было так: закон природы! Но затем, дома, приключилась — черт знает какая глупая неожиданность, хотя тоже не без действия законов природы. Часа в два ночи, когда вся семья Ратомских спала крепким сном, Володя как-то совсем невзначай, словно по колдовству или гипнозу какому, очутился в каморке горничной Агаши. Агаша приняла молодого человека сурово, прогнала его прочь без всякой церемонии и обещала завтра же пожаловаться на него мамаше — Маргарите Георгиевне. Володя возвратился в свою комнату со страхом скандала, а главное, в недоумении: он сообразить не мог, с чего это вдруг потянуло его, скромного, робкого, застенчивого юношу, — в экскурсию во вкусе графа Нулина? Лежа навзничь, он таращил впотьмах испуганные глаза и ужасался своего поступка. Ему было стыдно матери, стыдно Любочки, стыдно Агаши... стыдно всех. Стыдно — до готовности разреветься, до истерической боли в груди.

Рассвело. В доме зашевелились; под лестницей зашуршала половая щетка. Часы показывали восемь. К десяти Володя должен был идти в университет. Агаша принесла юноше воды — умываться. Сердце Володи крепко стучало. Искоса глядя на горничную, он видел, однако, что заспанное лицо ее спокойно, как всегда, точно ничего особенного не случилось. Он расхрабрился.

— Агаша, — сказал он, краснея под полотенцем, которым утирал мокрое лицо, — ты... извини, пожалуйста, что

вчера... глупость эта... право, как-то ненарочно... ты уж не болтай.

— А какая мне прибыль болтать? — пробормотала девушка и с тем же равнодушным лицом человека, привычного и не к таким переделкам, вышла из комнаты.

Володя воскрес. «Но как же это я все-таки? с чего?! — восклицал он про себя в самоудивлении. — Ведь дикарка же... простая, грубая самка!.. Даже некрасивая!.. Нет, я начинаю верить в нечистую силу, которая преследует избранные натуры и наслаждается, роняя нас в грязь... Это — дьявольское наваждение! Меня, как Фауста, потянуло к ведьмам Вальпургиевой ночи! Ужасно! позорно! И — когда же?! когда еще?! В такой святой момент, когда... все чистое и прекрасное... и Любочка, и луна... ну просто вся душа пела, и музыка сфер ей вторила!.. Ах, сколько зверя сидит в человеке! Ангел — и прах... Ах какая злая двойственность!»

И точно, двойственности оказалось более чем достаточно, потому что — с сего самого времени Володя совершенно утратил способность смотреть Агаше в глаза, зато слишком часто начал ловить себя на том, что против воли смотрит на нее искоса, исподтишка, либо в спину. Смотрит и думает: «А Рутинцев был прав: именно фамма... сложена, как богиня!.. Собственно говоря... Тьфу! что за глупости лезут мне в голову! Опять, опять! У! Какой я легкомысленный, слабовольный пошляк...»

И, даже закрывая глаза и стиснув зубы, принимался долбить как урок:

— Любочка... Любочка... Любочка... Я люблю!.. Любочка, Любочка, Любочка... Я счастлив! Любочка, Любочка, Любочка... О какое блаженство чувствовать себя любимым!.. Любочка! чистое существо, чудная, невинная душа! благородное, пылкое сердце! Любочка, Любочка, Любочка!..

Между товарищами он теперь часто развивал теорию, что — как бы это хорошо было, если бы возможно было дробить лю-

бовь так, чтобы духовный идеал помещать в одно существо, а чувственных наслаждений искать в другом...

— Понимаете? Чтобы не оскорблять ее — вечную, стыдливую женственность, das Ewig-Weibliche * — грубыми вожделениями плоти! Чтобы отделить Мадонну от вакханки, и — каждой свое!.. Не могу же я, как животное, спать с тою, в которой благоговею богомольно перед святыней красоты! И в то же время не ангелы же мы бестелесные. Есть любовь души и любовь крови, и надо уметь их и разделить, и примирить. Жизнь не полна одинаково без той и другой. Надо уметь любить в раздвоении: чистою мечтою — женщину-Мадонну и страстным телом — женщину-вакханку...

— Вот-вот! — невозмутимо трунил над ним Квятковский. — Это самое проповедовала и купчиха у Писемского, — помните, которою я поддразнивал Брагина? Она даже не двоилась, а троилась, ибо любила мужа — по закону, офицера — для чувств, и кучера — для удовольствия...

— Циник!.. Карамазов!..

Квятковский вытягивал рябое лицо свое в длинную печальную улыбку и говорил:

— Я-то — циник... я — отпетый циник!.. Мне ничего и не остается в жизни, как циником быть... Рожа моя — такая... фатальная! А вот — на счет карамазовщины... Это мы еще посмотрим. Ну веррон ки-ки, мусье, же тю у тю же! ** Сильно мне сдается, Володенька, что в Алешах богоподобных вы усидите недолго... И тогда... о-о-о! Мы удивим мир злодейством!

Володя хмурился, будто бы обиженный, но не без удовольствия возражал:

— Вот как! Вы считаете меня способным на что-нибудь такое... демоническое?..

Но Квятковский был беспощаден.

---

* Вечная женственность (*нем.*).

** Мы узнаем, месье, где вы были, где вы есть! (искаж. *фр.*: nou verrons, monsieur, je tu ou tu je)

— Ну что — демоническое? Зачем? Где там? Я парень простой, не умею этого, — чтобы сильные страсти, экстравагантности и все такое прочее, с бенгальским огнем и нарушением общественных устоев. Это Антон Арсеньев у нас Демона ломает, да и того хватает только на то, чтобы удивлять Европу этим старым бочонком, госпожою Балабоневскою... Зачем нам демоническое? Дьявол с ним! Я человек простой, люблю, чтобы гемютлих! * Просто, кутнем мы с вами, ангельчик мой, за милую душу и — с какими девчонками я вас перезнакомлю... ф-фа-а-а!.. Магометов рай!

— Фи, Квятковский!

— Да, уж — фи не фи, а порода такая!.. Люблю!

— Продажных-то женщин?

— Что же делать, если фигурою не вышел для par amour?! ** Кабы мне вашу свежесть и Бальдеровы кудри...

Агаша — тверская крестьянка. У Ратомских она живет третий год, восхищая хозяйку своею расторопностью и честностью. Как почти у всех бывших кормилиц из девиц, — а Агаша служила в мамках три года, — у нее отложены маленькие деньжонки: она держит их в сберегательной кассе, и ни любовнику, ни отцу, ни матери не выпросить у нее ни рубля. Вначале деревенская родня пробовала, как оно водится, обратить Агашу в дойную корову, но ошиблась в расчетах.

Старики стали было грозить:

— Мы тебя в деревню возьмем.

— Не пойду.

— А мы тебя силом, с полицией выпишем.

— Назад убегу.

— А паспорта не выдадим... где же тебя станут держать без паспорта? — язвили старики.

— Так я деревню сожгу! — крикнула Агаша.

---

* Задушевно, сердечно! (*нем.* gemutlich)

** По любви?! (*фр.*)

Отец замахнулся было на упрямую дочь. Она вытянулась во весь рост и ждала удара, готовая ответить на кулак кулаком... У старика опустились руки. Слезами Агаша не тронулась, проклятий не испугалась.

Года четыре тому назад Агаша чуть не умерла от несчастных родов и с тех пор «остепенилась». В своей среде она пользуется уважением как девушка солидная и денежная, которой нечего колоть глаза старыми грешками, а сейчас — не за что ее похаять, держит себя строго. Если и прорвется, случаем, в нечаянное амурное приключение, — вроде как после гулянья на Святой вышло с Тихоном Постелькиным, — то обставляет дело с умом и тонкостью, в шито-крыто: в глаз себе спицы воткнуть никакой сплетнице не позволит. Девка хитрая, девка сильная, девка властная. К ней часто сватались женихи, но она была слишком разборчивою невестою и, думая о себе все больше и больше, не находила себе ровни под пару. Варвара Постелькина, подозревавшая между Агашею и своим братом кое-какие тайные, ловко припрятанные шашни, тоже — при всем своем высоком мнении о Тихоне, что ему в жены чуть не сказочную царевну надо, — тоже не прочь была бы женить его на этой толковой и с характером девице и не раз заводила о том с Агашей обиняковые речи. Однако Агаша чай пить в подвал к Тихону ходила с удовольствием, с Варварою дружила в ровной и спокойной ласке, но от свадебных разговоров отвиливала с отличным дипломатическим искусством. У нее не туда глаза смотрели. Выйти замуж за своего брата, рабочего человека, значит по-прежнему остаться в труде, в неволе, да еще в придачу, с семьею на плечах. Куда какая невидаль! Уж лучше свековать свой век в девках, вольным казаком. Выходить замуж — так уж чтобы зажить за мужними плечами барыней: спокойно, сыто, достаточно, на всей своей полной воле, — за лавочника с деньгами, за камердинера или дворецкого, отошедшего от сиятельных господ, с хорошим

наградным капиталом, тысячи в две-три. А лучше бы всего поступить экономкою к какому-нибудь одинокому холостяку или вдовцу-чиновнику, да и окрутить его на старости лет, накануне могилы, — «в знак вознаграждения» за уход и заботы.

Выходка Володи очень удивила Агашу: раньше он глаз не поднимал на нее, — так что она и за мужчину его не почитала... и вдруг — отличился! Она стала наблюдать за Володей. Несколько раз ей удавалось поймать его взгляды, украдкой остановленные на ее великолепной фигуре. Он смущался, когда она зачем-либо входила в его комнату. Агаша убедилась, что она продолжает очень нравиться молодому барину. Тогда она сильно задумалась, и умная, холодная голова ее начала нечто мозговать... и обмозговала!

А над Володею тем временем сбывалось предсказание Квятковского: юноша сбился с пути праведного и из сада своей Маргариты действительно частенько стал отлынивать в погреб Ауэрбаха и на Вальпургиевы ночи, которых в Москве не занимать стать. И справедливость требует с прискорбием отметить, что случилось с ним такое горестное приключение не от чего другого, как от чрезмерной добродетели и слишком возвышенной любви.

У Кристальцевых всегда бывало много молодежи. Они оставались довольны невинным времяпровождением с чаепитием, вареньем, сухариками, petits jeux *, танцами под фортепиано, с декламацией стихов и умными разговорами. Зато другие, вываливаясь из квартиры Кристальцевых, с откровенностью восклицали:

— Ух, и скучищу же натащили! Как хотите, господа, а я в «Alpenrose!..» **

---

* Салонные игры (*фр.*).

** «Альпийская роза!..» (*нем.*)

Раза два-три Володя, переутомленный за вечер ролью вздыхающего Тогенбурга, примкнул к этой компании: ничего, понравилось, хотя пить много пива он не мог и не любил... Однажды, в такой вечер, в бильярдной, он попал на Квятковского и забулдыжного поручика Виктора Арагвина, которого не встречал уже года два.

— Ба-ба-ба! Кого я вижу? Серафимкин трубадур! — прохрипел Виктор сквозь табачные усы.

Володя гордо нахмурился было, но Квятковский выразительно одернул поручика за локоть.

— Уймись, негодящий Валентин непризнанной Маргариты!.. А, Владимир Александрович! Коман ву порте ву * — и все остальное, до огурца и кисточки включительно? Жаль, поздно встретились: сейчас кончаем партию и едем к «Яру»... А может быть, и вы с нами?

Володя никогда не видал «Яра». В кармане у него шевелилась двадцатипятирублевая бумажка. Ему ужасно захотелось поехать с Арагвиным и Квятковским.

— Я не один, с компанией, — робко отнекивался он.

Квятковский заглянул из бильярдной в общую залу.

— Лохмачи какие-то... — пробормотал он, — плюньте на них, едем. А то мне с этим дурачиною Виктором — одному уж невтерпеж. Помилуйте! Вчера мы сидели вдвоем до шести часов утра в Всесвятском, и он ровно семь раз рассказал мне, как ловко обсчитал своего портного и не доплатил ему пятнадцати рублей... и каждый раз — с одинаковым удовольствием!

— Ну-ну! — хрипел Виктор, не то угрожая, не то довольный, что над ним смеются.

— Именно, что nou-nou **, ибо я — твоя кормилица!

Виктор вытаращил глаза, захохотал и скверно выругался. Володя наблюдал его и с отвращением, и не без тайного

---

* Как вы поживаете (*фр.* Comman vous portez vous).

** Няня, кормилица (*фр.*).

удовольствия, что — вот он дорос уже до возможности смотреть свысока на человека, которому еще недавно поклонялся как идеалу, и — если угодно — третировать этого неудачного Долохова, как высший низшего, en canaille... *

От «Яра» Володя возвратился в пятом часу зимнего утра, усталый, но веселый и чуть-чуть пьяный. Ему понравилось электричество, оркестр, разряженные женщины с смелыми взглядами и разнузданными разговорами, — весь новый для него мирок красивого разврата. Понравился и он, мужчинам — как товарищ, женщинам — как красивый мальчишка, легко идущий в руки, да к тому же и богатенький по приметам. На другой день Квятковский заехал за Володей и потащил его обедать в «Эрмитаж», а там и пошли: «Стрельна», «Золотой якорь», «Ливадия»... Володю втянул омут беспутного прожигания жизни, в кругу если не золотой, то позолоченной молодежи, с титулами и без титулов, и ее прихлебателей из мелкого актерства и бедного офицерства — из «благородного нищенства». На беду свою Володя как раз получил тысячу рублей, подарком от богатой тетушки. Да и Квятковского что-то «прорвало», — пил он и жуировал жизнью чуть ли не на последние, сильно, широко, но чувствовалось, — что без малейшего веселья. В беспечальном малом лопнула какая-то струна, завелся в сердце червяк, которого надо было заливать вином и развлекать шумом, как комара, посланного Богом в мозги Тита-императора, за то, что он разрушил Иерусалим.

В одно из своих поздних возвращений Володя, немножко хмельной, обнял отворившую ему двери Агашу. На этот раз она его не оттолкнула.

В такой жизни Володя барахтался недели три, пока не разменял свою последнюю сторублевую бумажку. Тогда ему стало необыкновенно жаль и совестно за истраченную тысячу.

---

* Низко, подло... (*фр.*)

«Ведь это кровь и пот человеческие! — подумал он: — О, что сказала бы Любочка?!»

Но тут же вспомнил, что у Любочки он был не менее недели тому назад, да и то на пять минут, проездом с трактирного обеда на какое-то загородное катанье. И вел себя с нею глупо-глупо, потому что накануне было много выпито, и надо было не дать понять девушке, что у возлюбленного в голове черти играют в чехарду. И напустил Володя на себя какую-то особую тупую мрачность и злобность, молол что-то про разочарования и самоубийства, так что довел бедную Любочку до слез. А когда довел, выразил всем лицом своим страдание непонятого гения, печорински произнес сквозь зубы:

— О, начинается?! Уже сцены?

Взял шляпу и уехал.

Вспоминая все эти, — нельзя сказать, чтобы милые и умные, — обстоятельства, молодой поэт чувствовал себя пошляком высокого давления, чтобы не назвать еще откровеннее: почти мерзавцем. Ему стало очень скверно. Сразу все опротивело: и кабацкая жизнь, и компания «пшютов», — тогда только что нарождалось это слово, — и Агаша, и больше всего он сам.

Володею овладевал пароксизм молодого сплина, этого непризнанного благодетеля интеллигентных юношей: время от времени бездеятельное и тоскливое самобичевание полезно; оно — отличный отдых для души; после него и работается лучше, и думается, читается, пишется легче.

«Я бесхарактерный, бессильный тряпка-человек! — думал Володя с обычною возвышенной витиеватостью, — мне ли идти дорогой идеалов!.. Auch ich bin in Arkadien geboren *: да что в том?.. Во мне словно два духа живут: один будит в моем уме могучие (на меньшее он не соглашался) поры-

---

* Я тоже родился в Аркадии (*нем.*).

вы, но другой толкает меня в грязь... И этот другой сильнее! Я погибну в дикой борьбе! («Sturm und Drang!.. * молодость Гёте!» — приятно мелькнуло у него в уме), она мне не по силам... Одна любовь! Да! Только любовь в состоянии спасти меня!»

Он с напускным восторгом принялся дразнить свое воображение целомудренным образом Любочки Кристальцевой. Временами в цепь благородных помыслов и воспоминаний контрабандой втирались свежие эпизоды — «там», у дешевых кокоток, к которым возил его неразборчивый Квятковский, либо грубые картинки животного романа с горничной. Володя бледнел, хватался руками за голову, широкими шагами бегал по комнате, даже раза два стукнулся головой о стену, а проходя мимо зеркала, не упускал случая окинуть свое растревоженное лицо презрительным взглядом и прошептал с самой искренней аффектацией: «Какой же ты ничтожный человек, Владимир Александрович!» Немного успокоившись, он присел к столу и одним духом написал стихотворение:

Из бездны тяжкого паденья,
Я — раб разврата, друг блудниц —
К тебе, святой, свои моленья
Смиренно шлю, упавши ниц... И т.д., и т.д.

Вверху стихотворения появилось заглавие «Графине Марискальки», а под стихотворением пометка: Monte Cassino, 2 Febrajo, 84. Зачем все это выдумал — он бы не объяснил, но выдумка ему понравилась. Редактор одного убогого еженедельного издания тоже нашел и пометку, и заглавие очень шикарными и напечатал стихи, даже не прочитав. Он опытом знал, что стихи — хороши ли, плохи ли, — ни на подписку, ни на розничную продажу не влияют, и весьма часто при

* Буря и натиск!.. (*нем.*)

измене либо загуле постоянных сотрудников-стихотворцев выдергивал из кучи случайных рифмованных присылок первый попавшийся листок и отдавал в набор, обогащая российский Парнас новым поэтом, не хуже и не лучше прежних.

Вечером Володя отправился к Кристальцевым — с лицом самоубийцы и с покаянными порывами в душе. К великому своему огорчению, он не застал Любочки дома: она уехала в оперу слушать Хохлова в «Демоне». Занимать Володю выпало на долю младшей Кристальцевой — Лидочки. Володя сперва говорил с нею довольно небрежно: «целая пропасть» отделяла его от гимназистки, которая только что вышла из коротенького платья и до сих пор «обожает» старших подруг. Но пафос покаяния неудержимо просился на волю, и, когда Лидочка довольно плохо пробренчала на пианино ноктюрн Фильда (до Шопена она еще не дошла), Володя раскис и, за неимением более достойной слушательницы, открыл свое сердце первой встречной. Битый час ходили молодые люди по полутемной зале, и Лидочка получила на свою долю все, что предназначалось выслушать ее сестре. Она узнала, что она — чистое, благородное, наивное создание, и проклят тот, кто возмутит святую тишину ее души картинами человеческого ничтожества, злобы и порока; что таким проклятым Володя, конечно, не будет, но если бы Лидочка знала, как ему тяжело... как глубоко он пал... какие сокровища он растратил «на безумном пиру жизни»!.. Гимназистка слушала туманное красноречие Ратомского, ровно ничего не понимая, но с удовольствием: она словно роман читала.

На прощание Володя крепко пожал Лидочке руку и сказал ей, глядя прямо в лицо, значительно, с подчеркиваниями:

— До свидания. Не правда ли — я еще не так страшен, как меня рисуют?

Лидочке никто и никогда не рисовал Володю страшным, но роль утешительницы страдальца ей уже пришлась по вкусу. Она пожала плечиками и возразила:

— Разве эти люди могут вас понять?

— Может быть, вы правы, — меланхолически заметил Володя, — спасибо вам, Лидия Семеновна. Вы прелестная девушка... Если бы все были такими!..

Лидочка вспыхнула, округлила глазки и совсем влюбилась в Володю за эту фразу.

По уходе Володи мать спросила Лидочку:

— О чем это вы так шумели с Ратомским?

— Ах, мама! так вообще... Ведь он поэт... Какая вы странная!

Володе же предстоял сегодня еще один подвиг. Красноречивое вдохновение сползло с него по дороге от Кристальцевых. Наступила нервная реакция, и он, что называется, «впал в прострацию». Дома он отказался от ужина, прошел к себе в комнату и, усталый, с окончательно развинченными нервами, сидел в креслах у письменного стола, когда уже далеко за полночь, по обыкновению, прокралась к нему Агаша.

Полный злобного отвращения, Володя вскочил с кресел.

— Не смей... Слышишь: не смей... никогда больше не смей! — повелительно сказал он, — почти крикнул.

Агаша отшатнулась... Она не поняла еще слов Володи, но от неожиданности смутилась, и кровь бросилась ей в лицо.

— То есть... как это? — пробормотала она.

— Убирайся отсюда! — злым, громким шепотом продолжал Володя, — и не смей никогда приходить: я тебя не звал... я тебя видеть не могу... Ненавижу, а себя презираю.

И, поспешно выболтав эту ожесточенную нескладицу, он свирепо глянул в лицо Агаши.

Она сообразила наконец. Лицо ее почти почернело, глаза с опущенными зрачками скосились и пожелтели, верхняя губа, задрожав, открыла оскал зубов. Она показалась Володе страшною, как освирепевший зверь. Она сжала в кулаки свои мускулистые красные руки, точно готова была броситься на

растерявшегося юношу, но овладела собой. Буря прошла без взрыва.

— Так-то? Хорошо же! — только и сказала Агаша, крепко закусив губу.

Хотя еще бледная, она казалась почти спокойною. Она вышла, прислав юноше на прощанье глубоко ненавидящий взор — словно ядом его облила.

Володя остался один, не то гордый своею победою, не то сконфуженный.

XXIII

Ссора Володи с Агашей продолжалась уже вторую неделю... Встречаясь с горничною, он отворачивал лицо, потому что с последнего свидания боялся ее взгляда. Боялся он напрасно: Агаша даже не смотрела на него. Она как будто совсем позабыла, что была близка к молодому барину, и, если даже случалось им оставаться наедине, проходила мимо Володи, как мимо вещи какой-нибудь, спокойная, степенная, холодно рабочая. Трудилась и хлопотала по дому она как еще никогда. Даже Маргарита Георгиевна, хоть и привычная к ее трудолюбию, обратила внимание:

— Агаша наша в запое работы... так и воротит с уборкою, не покладая рук!

И молчала, молчала. В людской сидела, меняясь с прислугою только короткими, сухими фразами: разговорчивостью-то она вообще не отличалась. А при господах хранила какой-то особый, вызывающе-почтительный вид, точно всем своим существом и всем поведением говорила: «Я прислуга — и ничего более. Я свое место знаю — знайте и вы свое. Я только хорошая прислуга. И больше нечего вам обо мне понимать».

Володя эти дни сидел дома. Он все еще находился в добродетельном настроении и много работал. Иной раз его тя-

нуло к Кристальцевым, но Любочки не было в городе: гостила у тетки в подмосковной деревне. А, кроме того, после глупой болтовни с Лидочкой ему стыдно было туда показаться. Он сообразил уже, что наговорил гимназистке много лишнего и ни с чем не сообразного, да еще самым трагическим тоном, который исключал всякую возможность шутки или мистификации и давал девушке полное право считать его серьезно влюбленным. И, действительно, Лидочка, необычайно гордая своим объяснением с Володей, поделилась уже с десятком своих подруг новостью, что Ратомский, — да! сам Ратомский! поэт и красавец Ратомский — к ней неравнодушен, и, — следовательно, — она, некоторым образом, «натянула — нос» противной Любке. Сестры, — одна почти уже перестарок, засидевшаяся в девках, другая многообещающий подросток, — как водится, — терпеть не могли друг дружку. Слух о странной измене поклонника дошел до Любочки, как только она возвратилась в Москву. Она немедленно поставила сестру на допрос.

— Скажи, пожалуйста, Лида, что за чепуху рассказывала Андреянова, будто Ратомский объяснился тебе в любви, делал предложение? Надеюсь, — это неправда?

— Почему же неправда? — вспыхнула Лидочка, засверкав глазами.

— Прежде всего потому, что ты еще чересчур молода. Ратомский слишком умный и порядочный, идейный человек! Он не станет напевать глупостей девочке, как ты... Это нечестно и совсем не в его характере.

Лидочка обиделась.

— Конечно, я не старше его на пять лет, как некоторые, — язвительно послала она по адресу сестры.

Любочка покраснела.

— Как это неумно, Лида!

— Ах, не всем же быть умными, как ты! Надо кому-нибудь быть и глупою...

— На простой вопрос ты отвечаешь колкостями. Что я тебе сделала?

— Ничего ты мне не сделала, и я говорю без всяких колкостей, но не могу же я в угоду тебе говорить неправду и, когда Ратомский объяснялся мне в любви, уверять тебя, что он не объяснялся.

Любочка изменилась в лице к полному удовольствию гимназистки.

— Мне очень жаль, Любочка, что ты так близко к сердцу приняла мои слова... — начала Лидочка с лицемерием, весьма искусным для ее юных лет.

— Пожалуйста, избавь от глупых сожалений! — оборвала девчонку сестра и ушла в свою комнату, разобиженная до глубины сердца.

Гимназистка показала ей вслед язык и запрыгала от удовольствия.

— Люба меня ревнует! ревнует! ревнует! — запела она. — Боже мой! — совсем как в романах у больших... у самых-самых больших! и как все это интересно и весело!

Оставшись наедине с своею подушкою, Любочка даже и поревела немножко. Собственно говоря, она отлично понимала, что, кроме нескольких поцелуев, приключившихся довольно случайно, между нею и Володею нет решительно никаких серьезно связующих обязательств. Да и не может быть, и не должно быть, и она первая не хотела бы, чтобы были. Володя, конечно, ей не жених... Вся эта отвлеченная любовь, с совместным считанием звезд в небе, чтением хороших книг, декламацией взаимно нежных слов — только молодая игра, о которой они оба знают, что не продлится она всю жизнь, но оборвется скоро-скоро, просто-просто, и у Любочки будет муж, у Володи — жена... Адриан Иванович Бараницын, солидный претендент на Любочкину руку, — покуда тайный, — усердно посещал Кристальцевых с тех пор, как генерал-губернатор Долгоруков дал ему видное место в своей

канцелярии. И Любочка лишь притворялась и перед другими, и перед самою собою, будто бы не знает, что это жених. А жених-то был очень вероятный, потому что был и молод, и неглуп, и собою недурен, и с карьерою, и с состоянием. Но поэзии в претенденте не имелось ни на грош, а так еще кипела молодостью Любочкина душа! так хотелось забрать в нее больше, больше поэзии. И так была красива игра в романтическую любовь, так увлекательна и заманчива! казалось так несправедливо, так обидно рано оборвать ее!..

Ратомский получил от Любочки сухую, повелительную записку:

Приезжайте сегодня в Большой театр, в 3-й ярус, на «Рогнеду». Я должна с вами говорить. Л. К.

Тысяча кошек царапнули Володю по сердцу, но... в качестве влюбленного, хотя и виновного, но еще не уволенного от любви в чистую отставку, — он не имел права отказаться от свидания и отправился по назначению. В театре было пусто: играли и пели скверно; зала глядела мрачно; занавес подымался и опускался при гробовом молчании немногочисленной публики. Любочка и Володя сердито слушали музыку Серова, которую оба терпеть не могли, а в антрактах вели раздирательные разговоры.

— Вы должны объяснить мне свое поведение! — горячилась Любочка. — Я считала вас серьезным человеком честных убеждений и только потому позволила вам стать несколько ближе, чем требовали приличия и моя совесть... Еще недавно вы уверяли меня, будто вас не прельстит в женщине ни красота, ни молодость, ни богатство, если женщина не сумеет отозваться на идеи мировой скорби, которой вы посвятили свою душу. Вы клялись, что для вас женщина — прежде всего друг, товарищ, сестра. Вы звали меня на какой-то подвиг, обещали мне какую-то возвышенную деятельность,

и я верила вам: таким искренним пламенем горели ваши слова! И вдруг... вы плачете в разговоре с Лидою, девочкой-подростком!.. Ведь она же пустельга, наконец! Не умна и не развита даже для своих пятнадцати лет... Мне стыдно за сестру, какая она пошленькая девочка!.. Она тайком от меня до сих пор еще в куклы играет!.. А вы зовете ее небесным созданием, объясняетесь ей в любви, льете слова какие-то гамлетовские... Что ж это? Когда вы рисовались? предо мною или с Лидочкою?

Володя поник главою с загадочно-страдающей улыбкой, которую из всех сил старался сделать умною, горько-ироническою, хотя больше выходило, будто он подавился большим и невкусным куском. «Ну что я ей скажу?» — думал он, тщетно напрягая свои мозги, чтобы выжать из них какие-нибудь «идейные» оправдания. Любочка ему, что называется, намозолила слух своим книжным негодованием — точно жужжанием надоедливого комара. Поэтому он вовсе не любил ее в этот вечер, но ужасно стыдился и сердился на себя, что не любил, ибо, — опять-таки не быв еще официально уволенным от любви, — желал как можно дальше и больше остаться правым пред своей «пассией» и быть влюбленным добросовестно. А главное, он чувствовал, что без маленькой хотя бы дозы влюбленности ему не прийти в лирическое настроение, что без лирического настроения не быть ему красноречивым, а без красноречия — он не сумеет выйти прилично из глупого положения и остаться в глазах Любочки на прежней высоте, что его поэтическому самолюбию совсем не улыбалось. Любочка же все наседала и наседала.

— Что же? Как мне вас понимать? За кого считать? Удостоите вы наконец меня ответом?

Володя меланхолически посмотрел на нее.

— Что же прикажете говорить? Вы сами все за меня сказали... И вы правы, во всем правы... Мне остается только слушать, терзаться, проклинать себя, рыдать... да! рыдать!..

Ну да, я виноват... кругом... без права на прощение!.. Но вы знаете стихи Гейне?

Вы меня совсем не понимали,
Понимал я тоже редко вас,
Но мы вместе с вами в грязь упали
И друг друга поняли как раз.

— К чему это вы? Не понимаю... — возразила Кристальцева, сбитая с толку внезапною цитатою. Но Володя не ответил ей... Стихи пришли ему в голову ни с того ни с сего: Бог знает, по какому сцеплению идей выскочили они из какой-то клеточки его мозга и сорвались с языка. Но они сделали все, чего Володя желал: прорвали плотину, дали толчок лирическим порывам, и из уст юноши посыпались «слова, слова, слова»... одно другого красивее, громче и мрачнее.

К пятому акту «Рогнеды» вместо коварного обманщика пред Любочкою сидел несчастный человек с дивными задатками чуть не гениальной натуры, гибнущий среди житейских бурь, потому только, что нет близ него души, способной поддержать его в «дни паденья, тоски, унынья, озлобленья». А в такие одинокие дни — разве человек владеет собою? О, лишь бы забыться! лишь бы развлечь ум, истомленный неблагодарною работою, и сердце, угнетенное тупой безотзывчивостью среды!.. Любочке давно уже ясно было, что не стыдить и бранить, а ласкать и любить надо этого красавца с грустным пламенем в глубоких синих глазах, с румянцем негодования на щеках, с самобичующей иронией на устах, с подавленными рыданиями в голосе. У Володи в самом деле стояли в глазах слезы: так хорошо разговорился он и так искренно самому себе поверил.

Из театра Любочка увезла Володю пить чай к себе. Увезла против воли: он боялся очутиться между двух сестер, как между двух огней. Но примирение только что состоялось, вредить восстановленному согласию отказом на первую же

просьбу было неловко. Володя поехал. У Любочки же (сказать бы ей о том, — с каким негодованием она отреклась бы!) была именно цель: показать дерзкой Лидочке, как горько она ошибалась, преждевременно торжествуя.

За чаем молодые люди молчали или говорили пустяки, — но Лидочка по их лицам поняла, что они ведут себя опять «по-влюбленному», и то бледнела, то краснела в сердитом недоумении. Володя сидел как на иголках, избегая встречаться с нею глазами. Он ушел от Кристальцевых немного раскисший и разнеженный после долгого красноречивого разговора о чувствах. Когда он огибал угол одноэтажного особнячка Кристальцевых, его окликнули. Он поднял голову и увидал в форточке головку Лидочки, бледную и хорошенькую, при зеленом свете луны... Девочка не вытерпела:

— Владимир Александрович! Что ж это? — всхлипывая, воскликнула она. — Прошлый раз вы говорили, что я прелестная и лучше меня никого нет на свете, а сегодня опять с гадкой Любкой... разговоры... умные... разг... го... вари... варива... вае... те...

— Лидочка!.. Что вы?.. уйдите, ради Бога! Так холодно! Вы простудитесь! — шептал смущенный Володя.

— Пусть простужусь! — вам никакого горя не будет... Злой вы, нехороший! Никогда я вам не прощу! И Бог вас накажет! Я всем рассказала! Теперь все надо мною смеяться будут... что я вру-у-у-у!

Слова плачущей гимназистки звучали так наивно, сама она была такая юная и хорошенькая в бледных лучах зимней ночи, что Володя не выдержал, стал защищаться, и уж Бог его знает какими судьбами, но Любочка опять бесследно вылетела у него из головы.

Пять минут спустя Лидочка захлопнула форточку в полной уверенности, что Володя любит лишь ее одну, а весь сегодняшний вечер был комедией из сожаления, в которой Любочка играла весьма глупую роль.

— Какие они чудачки! — воскликнул Володя.

Он задумался было, что его положение между двумя сестрами несколько неловко и не совсем-то красиво, но ему было весело. Что-то самодовольное, юное и чувственное поднималось в его груди... Обе ему нравились, а не любил он ни одну...

— А черт их возьми! Мне-то что? Пусть разделываются между собою, как знают! Квятковский правду говорит: были бы девчонки, а флирт будет... Что же наконец в самом деле? Разве я что-нибудь дурное с ними делаю? Мне весело, а флирт ни к чему не обязывает, — ничего не станется от флирта.

Не любить, загубить
Значит жизнь молодую.
То ли рай: выбирай
Каждый день хоть другую!

Шел он и пел, цинически переделывая последний стих, как научил его Квятковский. Шел, пел и с искренним самодовольством воображал себя каким-то демоническим Ларою, чей взор надежду губит, едва надежда расцветет... И это было так приятно и красиво, что совесть замолчала, как убитая.

Дома на звонок Володе отворила двери Агаша — с равнодушным заспанным лицом... Володя вспомнил свою ссору с нею... «Ах, ведь и эта тоже», — фатовски подумал юный Дон Жуан и решил «простить» Агашу. Все с тем же веселым, победоносным видом, как шел по улице, он обнял девушку за плечи. Но Агаша посмотрела на него с презрительным удивлением.

— Оставьте-с.

И ушла, покинув молодого человека весьма озадаченным. Победительный экстаз с него сразу слетел, и смотрел он вслед Агаше — сам чувствуя это — с самым глупым ви-

дом, точно неожиданно помоями облитый. А она, медленно уходя, так хорошо и прочно презирала, что сконфуженному юноше казалось: даже походка, даже красивая спина озленной девки, полны ненависти и оскорблений! И плохо спалось ему в эту ночь, и совесть, проснувшись, болела, точно высеченная.

«Дуется еще... ну ничего! милые бранятся, только тешатся! — размышлял он поутру, лежа в постели. — В сущности, ведь и точно я свинья. Ни за что ни про что обидел девку. Был не в духе — а на ней сердце сорвал... Этакая противная барская замашка! Как, бишь, эти смешные стихи декламирует Квятковский?

Лелеет он дворянские
Замашки донжуанские
И с этими замашками
Волочится за Машками.

Стыдно-с! Несовременно-с! Непорядочно-с! Рабовладельческие инстинкты проснулись... атавизм!.. женщины уважать не умеете, Владимир Александрович! Ну да образуется, как говаривал Стива Облонский... ах, под старость я, наверное, буду настоящий Стива Облонский! Такой же ветреный, грешный и... обаятельный и симпатичный! А пред Агашею я, разумеется, кругом виноват... Идеальные чувства хороши и достойны уважения... Любочка! Любочка! Любочка! — подзудил он себя на всякий случай, для памяти, — и Агаша моя, конечно, не более как аппетитная самка... но оскорблять женщину только за то, что сам же нашел в ней самку... скверно! Ну да помиримся. Надо будет сказать ей два-три теплых слова...»

Но едва поутру, выбрав удобную минуту, Володя начал свои теплые слова, Агаша, даже не удостоив его взглядом, вышла из комнаты, точно ничего не слыхала, точно вместо молодого барина было пред нею пустое

пространство. Балованное самолюбие Володи было задето сильно.

«Это черт знает что такое, как она важничает! Подумаешь! герцогиня! нос подняла! Нет, надо положить конец... Этак она у меня совсем от рук отобьется!»

И — странно — при мысли, что своевольная девушка может отбиться от рук, у него в высшей степени неприятно сжималось сердце: такою внезапною и острою обидою, как еще никогда раньше, когда играл он, — и любил играть! — в несчастную обиженную любовь и угрюмую ревность пред разными Любочками и Лидочками Кристальцевыми, Бараницыными, Арагвиными и другими, имя же их было легион! Тогда — все больше красивые слова в голову просились, и к зеркалу тянуло посмотреть, как, мол, я сильно расстроен и какое у меня выражение в лице? А тут вдруг: точно кто любимую собственность отнимает, и сердце кипит испугом и говорит: «Не отдам! не отпущу! скорее кусок своего мяса отрежу!..» И не до зеркала, и не до декламации.

«Черт знает что! — смущенный думал он, маясь одинокою тоскою в своем мезонине. — Черт знает что... Иных мыслей нет в голове! Даже заниматься не могу, и рифмы на ум не идут: голова пустая, и ничто в нее не лезет... Черт знает... Влюблен я, что ли, в нее? Фу-у-у! В девку-то? В горничную? Фу-у-у!.. Любочка! Любочка! Люб...»

И опять перебивались мысли:

«А вдруг у нее — с досады — жених какой-нибудь завелся?.. Или любовник?.. Я помню: она с Тихоном Постелькиным очень нежно переглядывалась на гулянье... И потом так странно попались мне на Остоженке у ворот... Ну-с это дудки! Нет! не отдам, не попущу! Скотина этот Тихон, собственно говоря... Не понимаю, что за охота Борису возиться с этим хамом... Фу-у-у! Да мне-то что? О чем я? Мое ли дело? Любочка!.. Люб...»

День был праздничный. После обеда мать и сестры Ратомские стали собираться в театр. Володя нарочно замешкался, рассчитывая в опустелом доме, на свободе, объясниться с Агашей... Но из этой затеи едва не вышло скандала. Агаша наговорила молодому человеку самых едких дерзостей. Он убежал из дома как бешеный, едва сдержавшись, чтобы не ударить язвительную девку. В театре он сидел как в воду опущенный и всю ночь потом опять не мог заснуть. Буйная ссора встряхнула и перевернула его мысли, как гроза какая-нибудь. Его ужасало, как некрасиво сложилось его поведение в последние дни. Он увлек женщину по наглой прихоти и случаю, нимало не любя ее; потом ни с того ни с сего оттолкнул, оскорбил, оплевал ее неизвестно за что, как самую низкую тварь; потом, как ни в чем не бывало, снова заигрывал с нею, точно с проституткою; и, наконец, когда она, возмущенная, дала ему понять, что порядочные люди не обращаются так с честными женщинами, он, рассвирепев, чуть не прибил ее, лез к ней с наглыми притязаниями как самый грубый, развратный самец-дикарь. И все это потому только, что он барин, она ж — горничная: велика ли птица горничная? кто же церемонится с горничной?

«А еще демократа корчит! — дразнил Володю мучивший его бессонницей бесенок. — Вот горничная и дала тебе урок... получи и распишись! И не видать тебе ее теперь, как ушей своих... Какому-нибудь Тихону Постелькину достанется, а тебе — нос... А как целовалась-то? как влюблена была? Эх ты!.. А характер какой? сколько достоинства! силы! страсти! Прав Квятковский: Кармен! Именно что Кармен!.. Вот у кого уважению-то к себе учиться. Герцогиня в лохмотьях! А ты с нею, как с тварью... Эх ты!.. Что имеем, не храним, потерявши, плачем... Кармен! Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime, prends garde à toi... * Именно, именно — рус-

* Меня не любишь ты, так я люблю тебя, но если я тебя люблю, то берегись меня... (*фр.*)

ская Кармен!» Два дня Володя выдерживал характер, но на третий, когда «русская Кармен» вошла в его комнату и стала вытирать пыль с мебели, — юноша порывисто приблизился к ней.

— Агаша, голубушка! — заговорил он взволнованным, смиренным голосом, — послушай, помиримся? Ну зачем ты сердишься?

Она не отвечала, стоя с потупленными в землю глазами. Он взял ее за плечи и повернул к себе. Агаша вырвалась.

— Оставьте, барин. Так нельзя, — сухо сказала она, глядя в сторону, — сегодня ластитесь, а завтра кричите. Я так не могу. Я хоть и не барышня, но во мне живая душа есть. Обижать себя я не позволю.

Руки молодого человека задрожали, а в глазах показались слезы.

— Ах, Боже мой! — залепетал он проворно и бессвязно, — какая ты... Но ведь я же сознаюсь, что виноват, — я прощения прошу... прости меня, голубушка!.. ну ради Бога!.. я больше не буду таким глупым... я... я так тебя люблю!

И он стал целовать ее руки. Мало того, что это было с Агашей впервые в жизни: «Владимир Александрович ни у кого, кроме мамаши, не целует рук!» — пробежала быстрая мысль в ее голове и еще бóльшим торжеством оттенила для девушки новость гордого ощущения. Смуглое лицо ее залилось румянцем. Она долго не отнимала у Володи своих рук. Потом крепко взяла его за лицо и грубым жестом сблизила его губы со своими.

— Ну смотри... в другой раз не прощу!

И в этом первом «ты», и в ее резко-повелительном тоне, и в смелом хозяйском жесте — сказалось все будущее возобновленной связи: женщина взяла верх.

БАРОН ФОН ГРИНВАЛЬУС

XXIV

Когда Георгию Николаевичу Брагину номерной слуга подал визитную карточку Федора Евгениевича Арнольдса, первою мыслью молодого писателя было: «Дуэль?»

Сразу недовольный и раздраженный, он буркнул:

— Проси.

Действительно, Арнольдс вошел хотя и очень спокойный, но недружелюбный. Поклон, сделанный им с полным почтением в дверях комнаты, вышел, однако, таков, что Брагин обрадовался, что не успел протянуть руку навстречу непрошеному гостю, и в голове его опять замелькало: «Дуэль... дуэль... дуэль...»

— Милости прошу... садитесь, пожалуйста...

Он указал гостю место у своего письменного стола и сам опустился сбоку, в глубокие мягкие кресла, как застал его слуга с докладом. Чтобы показать, что он очень занят и Арнольдсу не следует отнимать у него много времени, Брагин не выпустил из рук синего карандаша и корректуры, которую перед тем правил. Офицер повторил свой военный полупоклон и сел. Брагин смотрел на него с выжиданием.

— В романах и на сцене, — сказал Арнольдс своим толстым, серьезным голосом, — свидания, подобные нашему, обыкновенно начинаются словами гостя: вы, конечно, удивлены моим посещением?

— А хозяин, — слегка улыбнулся Брагин, — обязан отвечать на реплику: да, вы раньше никогда не удостаивали меня... чему обязан честью? чем могу служить?

Арнольдс глядел на него мутными, равнодушными глазами.

— Ровно ничем, — сказал он с прежним спокойствием! — Я пришел к вам не для себя, а для вас самих. Без желаний, просьб и требований, но с предсказанием и, если оно даже ошибочно, то, во всяком случае, с предостережением... Только!..

Он насупился и пробормотал отрывисто, с вспушенными усами:

— Я пришел говорить с вами о вашем браке с Евлалией Александровной Ратомской.

Брагин двинул своими нервными бровями и открыл было рот... Арнольдс перебил его:

— Обычной фразы, что, мол, милостивый государь, это касается только нас двоих, а вы нам ни сват ни брат, — тоже можете не говорить: я считаю ее уже сказанною. Не будем тратить время на предисловия. Надеетесь ли вы сделать счастливою вашу будущую жену? Женитесь ли вы с тем, чтобы сделать ее счастливою?

Брагин нетерпеливо повернулся в креслах.

— Если бы я не надеялся и не хотел сделать Евлалию Александровну счастливой, то, конечно, и не предложил бы ей своей руки...

Арнольдс слушал, внимательный, меднолицый.

— Да? — сказал он, почтительно склоня голову. — Следовательно, можно рассчитывать, что в вашем браке не она будет для вас, но вы для нее?

Брагин глянул на офицера во все глаза.

— То есть — как это? Я полагаю, что наш брак, как и все браки по любви, окажется хорошо равноправным, — одинаково муж для жены и жена для мужа.

— Это теория, — спокойно возразил Арнольдс, — теория, которую полезно внушать молодым людям для житейского — по возможности — приближения к ней на практике, но в действительности такие идеальные браки — из редкостей редкость. Брак — оберегание пола полом от вреда и ужаса

жизни, и в нем всегда одна сторона — взрослая, оберегающая, нянька, сторож, а другая — оберегаемая, несовершеннолетняя, иногда — почти как ребенок. Так вот я хочу вас спросить: у вас-то как будет? Вы ли будете стражем Евлалии Александровны или ее прочите в няньки к себе? Кто кого беречь будет?

Георгий Николаевич, задетый за живое, отложил свою корректуру на стол.

— Странно вы ставите вопрос... — сказал он с расстановкою.

Арнольдс возразил:

— А ответить на него я все-таки вас попросил бы.

Брагин пожал плечами.

— В ответе не может быть сомнения...

Арнольдс смотрел в упор.

— Значит, вы беретесь беречь ее? Вы?

— Полагаю, что это моя обязанность.

— Вы?

— Я.

— И надеетесь сберечь?

— Повторяю, что без того я не женился бы.

Арнольдс откинулся на спинку стула, вспушил вздохом усы и сказал медленно и важно:

— От всего сердца желаю вам счастья, если так. Но — для этого — как резко надо вам перемениться!

Брагин вспыхнул и закусил губу.

— Что вы весьма нелестного мнения о моей скромной особе, которой, кстати сказать, вы могли бы посвящать гораздо меньше вашего драгоценного внимания, чем то было до сих пор, — мне известно очень давно. Так что, раз вы предложили избегать в нашем романическом разговоре общеусловных фраз, то и эта совершенно лишняя. Попробуем не говорить друг другу дерзостей или кончим нашу беседу... и затем я к вашим услугам во всех формах

удовлетворения, какие приняты между порядочными людьми.

Арнольдс смотрел на него сухо, враждебно:

— Дуэль? Вы думаете, что я пришел вызвать вас на дуэль?

Брагин с деланным спокойствием потянул к себе корректуру.

— Не знаю я, зачем вы пришли.

— И если бы я, — упорно продолжал Арнольдс, — если бы я действительно предложил вам дуэль, то вы приняли бы вызов?

Брагин развел руками.

— Но — что же с вами еще делать?

Арнольдс, качая головою и горько улыбаясь, вынул часы с толстою золотою цепочкою, обвешанною брелоками, и протянул их Георгию Николаевичу.

— Полюбопытствуйте, — сказал он, — это мои призы за эспадрон, рапиру и стрельбу в цель. Какой же вы мне противник?

Кровь так и хлынула в голову Брагина. Он бросил на пол и корректуру, и карандаш и вскочил с места, грозный, красный.

— Милостивый государь мой! — произнес он голосом шумным, с задыханием, — имею честь вам повторить: какую бы форму удовлетворения получить вы ни пожелали, я согласен... но запугивать меня и хвастаться не извольте-с!.. Это некрасиво и пошло... Да! Пошло!

Арнольдс продолжал измерять его ледяным взглядом. Часы он спрятал и вздохнул:

— Да, резко надо вам перемениться... Настолько резко, что вряд ли сумеете!.. А на Евлалии Александровне вы все-таки женитесь для себя, а не для нее, — было бы вам известно!

— Ну уж о том позвольте судить мне и ей... Ни в уме, ни в сердце моем вы не были!

— Нет, был, — спокойно возразил Арнольдс. — Очень был. И недавно: еще не прошло трех минут... Хорошо вы ее любите, много вы о ней думаете, если стоило мне сказать вам одно неприятное слово, чтобы вы потеряли голову и полезли чуть не с кулаками на человека, которому уничтожить вас — не больше труда, чем выпить стакан воды... Что же, вы помнили, что ли, об Евлалии Александровне в эту минуту, когда предлагали мне удовлетворение, какое я захочу? Соображали, каково это будет для нее, если я отправлю вас ad patres? * Берегли вы ее в этот момент? А? Берегли? Стукнуло вас по самолюбию — и стукнуло-то едва-едва: только ведь и сказал я вам, что надо перемениться, — стукнуло, и о всякой любви вы позабыли, и хотя сейчас под пулю за свое «я»...

— Вы хотите, чтобы я глотал оскорбления, бросаемые прямо в лицо? Где вы видели таких мужчин?

— Да вот я же сейчас проглотил, — спокойно сказал Арнольдс. — И крик ваш, и вызывающую позу, и — будто я хвастаюсь и говорю вам пошлые слова... Проглотил!.. А я постарше вас и офицер... Если бы кто-либо из товарищей слышал, как вы на меня кричали, меня заставили бы драться с вами или снять мундир... А я проглотил...

— Вольному воля, спасенному рай, — насмешливо улыбнулся Брагин. — Благоразумие и миролюбие — прекрасные христианские добродетели, и мне остается лишь поздравить вас, что вы одарены ими в такой завидной степени...

Федор Евгениевич поморщился.

— Как люди исковеркались! — неожиданно воскликнул он — тоном какого-то беззлобного, отвлеченно рассуждающего удивления.

— Вы находите?!

— Да, право... Вот мы с вами вдвоем, никто нас не видит. Рисоваться и быть неискренними нам не перед кем, и оба

---

* К праотцам? (*лат.*)

мы — живые люди, из жизни люди. А выходит что-то вроде французской мелодрамы на Михайловском театре... Ну вот эта ваша фраза о моих добродетелях, — разве она ваша? разве вы ее сказали? Это jeune premier * сказал... Гитри какой-нибудь или кто еще там у них в Петербурге?

— Вы опять оскорбляете меня, заметьте это себе, — возразил Брагин внушительно, но уж сдержанно.

Арнольдс отрицательно качнул головою.

— Нет. Я не отделяю себя от вас, когда говорю, что исковеркались. В чем же тут оскорбление?! Но о добродетелях моих вот что вам скажу, господин Брагин: миролюбия мне природа вложила в душу очень мало, и не по миролюбию я глотаю слова ваши... нет-с, не по миролюбию!..

— Ваше дело!

— Да-с, мое... А вы поищите причины, поищите, господин Брагин!

Он нахмурился, сделал белые глаза, опустил усы палками вниз и заговорил медленно, густо, тягуче.

— У вас, господин Брагин, кроме меня есть еще один враг...

— Думаю, даже и не один! — довольно фатовски вставил словечко Георгий Николаевич.

Офицер посмотрел на него, как человек, прерванный в течении мыслей и трудно попадающий обратно в их фарватер.

— Д-да... ну это, знаете... бывают враги и вражки... а я говорю вам о враге, о настоящем опасном враге... гораздо более опасном для вас, чем я сам. Называть вам его я не стану, ибо — не мое дело становиться между вами. Да, наконец, он никогда и не признавался мне в своей ненависти к вам... Так что все это — лишь догадка моя: я в нем вашего врага инстинктом, а не рассудком понимаю... Пустейший в жизни своей человек, хотя умнее нас с вами обоих раз в десять...

* Актер на роли первого любовника (*фр.* театр).

— Вот как? — высокомерно усмехнулся Георгий Николаевич.

На этот раз насмешливо посмотреть была очередь Арнольдса.

— Какой вы, однако, ребенок! — качая головою, сказал он, — на что способны обижаться!.. Удивляюсь, как еще не посоветовали мне: parlez pour vous, mon cher!..* Ну хорошо, хорошо: умнее меня в десять раз... меня умнее, а не вас!.. У него дьявольски испорченные, злые мозги и дьявольски злой язык...

— Кто такой? О ком вы говорите? — брезгливо перебил Брагин.

— Повторяю вам, что не назову. Я не сплетник.

— Ах да — как будет вам угодно... Но — тогда — к чему все это?

— К тому, что вот он, ваш злейший тайный враг, систематически наталкивает меня именно на то, к чему — в ваших отношениях — вы сами, как младенец, рветесь: чтобы вышла между нами ссора, дуэль, чтобы я своими руками устранил вас с его дороги. Понимаете ли вы? Ваш враг и вы — одинаково об одной для вас беде стараетесь... Ну и прямо говорю: страшно мне. Вижу я, какой вы, и страшно мне, что сунетесь вы в какой-нибудь такой силок. Я-то — ничего: может быть, я и не дальнего ума человек, и образования вашего лишен, и талантов никаких уже совершенно не имею, но характер и самообладание у меня есть, и стравить себя с вами не позволю. Пусть издевается сколько угодно, что я-де, по любви к литературе, жертвую собою и не хочу быть вторым Дантесом... Вы не Пушкин! Но, конечно, нехорошо поднимать руку на талантливого человека... Ничего тут нет постыдного, если я не хочу! Смеяться тут не над чем!.. Но все-таки я сохраняю вас... и не от себя одного, но и от дру-

* Относить на свой счет!.. (*фр.*)

гих стараюсь сохранить — верьте мне, верьте! — не потому... Не хочу я пред вами в гражданские чувства драпироваться: совсем не потому... Не вас я берегу, — Евлалию Александровну...

Он умолк. Молчал и Брагин, удивленный, заинтересованный.

— Любит она вас ужасно! — горьким звуком вырвалось у Арнольдса. — Не можете вы ответить ей такою же любовью... нет! нет!

— Федор Евгениевич, — возразил Брагин, как мог, мягко, — уверяю вас: вы в заблуждении... Сколько душа моя способна на любовь, она вся принадлежит Евлалии Александровне.

— Да: сколько способна... но та беда, что способна-то она уж очень немного... и коротко, уж очень коротко...

— Федор Евгениевич!

— Ах, да не обижайтесь вы! Ну что же — так, на каждом шагу? Говорят, что если Юпитер сердится, то, значит, неправ. А я вот уверен, что от инстинкта неправоты — у вас обидчивые вспышки эти... Нельзя: дайте прямо говорить. Что же мы вилять будем?

Брагин утомленно пожал плечами.

— Говорите как хотите.

Арнольдс задумчиво смотрел на него.

— Я, Георгий Николаевич, проверил всю вашу жизнь. Что же? Ничего в ней дурного, с общественной точки зрения, покуда нет... лгать на вас грешно. Порядочный человек, талантливый писатель, как будто светлый гражданин... Почему я вам не верю, я долго и сам себе не отдавал отчета. А прирожденных антипатий, антипатий по антипатии не признаю, то есть законными их не почитаю... Только вот теперь нашел.

— Ну-с? — надменно вскинул голову Брагин.

Федор Евгениевич вздохнул:

— На жертву вы не способны, Георгий Николаевич, жертвовать собою ни за что не станете... уж очень любите себя

и безболезненное существование свое!.. А ведь жизнь-то — жертва... и болезней во всех смыслах в ней много-много...

— Позвольте...

— Нет, уж вы не сбивайте меня, дайте высказаться... Я не оратор. Если клубок мыслей у меня в голове спутается, я наплету вам не того и не так, что должен, и буду очень страдать, что не того и не так, а — ничего не сумею... Я на линии, позвольте воспользоваться линией... По женской части вы покуда были мотылек... довольно невинный, с этим я готов согласиться. В вашем прошлом нет обольщенных гувернанток, брошенных швеек, ни даже просто развратных барынь с грязною чувственностью... Говорю с уверенностью за вас, потому что вы скрывать не умеете. Такова ваша страсть сверкать своим «я» кстати и некстати, что если бы было что-либо подобное, так о том и Москва бы, и Петербург кричали. Ужасно выставочный вы человек, Георгий Николаевич! И сами выставку любите... вот ваша беда! И любите паче всего... всем в жизни для выставки пожертвуете! Да-с!

— Я обещал не перебивать вас. Поэтому и слушаю спокойно, сколько ни изумляюсь.

— Да-с! Без дыма народной молвы, без пестрых кулис, яркой мантии и рукоплесканий — вам жизнь не в жизнь... Алкивиад вы, если вам красивые сравнения нравятся, — Алкивиад, хотя собакам хвостов и не рубите. И поэтому весь наружу, со всеми своими талантами и пороками...

— Даже пороками?

— А что же добродетелью, что ли, прикажете считать, что — вам еще тридцати лет нету, а возлюбленных всяких у вас перебывало уже чуть не полсотни? И о всех вы кричали на всю Россию, и со всеми себя афишировали...

Брагин встал, холодный, нахмуренный.

— На этот раз я не боюсь сказать вам прямо в упор, в глаза, господин Арнольдс: ваши обвинения недобросовестны, это клевета.

Офицер покачал головою:

— Нет.

— Да!

— Нет. Хотите, я перечислю вам всех, кого вы любили удачно или неудачно? Если я ошибусь хоть в одном имени, позволю вам считать меня клеветником и... тогда хоть бейте меня в лицо!

Георгий Николаевич пожал плечами.

— Если даже и так, то это не доказательство, чтобы я кричал и афишировал...

— Но доказательство, что не скрывали и не принимали мер против огласки.

— Но... зачем же? Всякий раз, что я любил, я любил искренно и честно. От кого мне было прятаться? Пусть то были увлечения, но — прямые, страстные. Я, может быть, стыжусь иных своих ошибок, но упрекать себя за них, — вы сами признали, — мне не в чем...

— Много их уж очень было у вас, искренних и честных увлечений этих... Мотылек вы! Кто вас обвиняет в подлости? Нет ничего подлого в том, что мотылек летит на белый колпак лампы, и кружится, и бьется, и ушибает себя, и страдает... Не подлость, а мотыльковщина! Летите вы на яркое пятно славы, летите на каждую заманчивую любовь либо сияющую красоту... Мотыльковщина!.. Ну а Евлалии Александровне я не мотылька желаю...

— Федор Евгениевич! У вас есть талант так хорошо говорить неприятности, что в конце концов действительно перестанешь на вас обижаться...

— Очень рад. Тогда мы, может быть, до чего-нибудь договоримся.

— Будем рассуждать. Прошу вас рассуждать. Хорошо. Вы считаете мою «мотыльковщину» хуже, чем она была на самом деле, — пусть! Вы не правы, но пусть! Но поймите же вы, что именно мотыльковщине-то и конец в моей буду-

щей женитьбе. Я метался от света к свету, пока не нашел того света, который залил меня собою, захватил всего. Идеал мой достигнут, я дома и — никуда дальше лететь мне уже не надо...

— Это из «Дон Жуана», — строго перебил Арнольдс.

Брагин осекся, подумал, сказал:

— Может быть... Что же? Я не отрицаю некоторой родственности... натур... Общечеловеческий тип... А что вы можете сказать против Дон Жуана?

Арнольдс спокойно возразил:

— Я бы его повесил.

Георгий Николаевич засмеялся насильственно.

— А это, Федор Евгениевич, уж из «Дон Кихота».

Арнольдс сказал:

— Я знаю.

— Ну-с, — продолжал Брагин с деланною беспечностью, — покуда я, бедный российский Дон Жуан, — и, в скобках сказать, довольно неудачный, — не вишу на веревке, позвольте договорить... Прошли Инесы, прошли Лауры, — и упал, трепещущий благоговением, полный страстью, весь любовь, Дон Жуан к ногам, предвечно написанной в книге живота, судьбы своей — Донны Анны...

— И в это время, — угрюмо отозвался Арнольдс, — вошел Командор и уничтожил Дон Жуана пожатием каменной десницы... И, когда я читал эту сцену, всегда находил: хорошо, что пришел Командор... Не верю я в ваш конечный идеал! У кого были Инесы, Лауры, у того и будут... Не в жизни — так в голове! Не тот вы, кого надо, не тот, не тот...

Они стояли друг перед другом и опять враждебно смотрели друг другу в глаза.

— Теперь Евлалия Александровна счастлива своей любовью к вам, — отрывисто начал Арнольдс. — Поэтому я не могу поднять на вас моей руки. Но помните: если вы сделаете ее несчастною, если вы разобьете ее жизнь и наполните ее слезами, я вас убью.

Брагин холодно кивнул головою.

— К вашим услугам.

— Не на дуэли, — повторил Арнольдс, глядя на него оловянными, жесткими глазами, — просто приду и убью. Я знаю: вам быстро надоедает все на свете, надоест и она. Но, когда наскучит вам эта использованная игрушка, остерегитесь вводить ее в отчаяние своею скукою, берегитесь разочаровать ее в себе, не смейте ломать ее и швырять, исковерканную, в угол. Иначе — помните меня и эту минуту: я убью вас. Я вас казню.

Брагин улыбнулся с гримасою гордого недоверия.

— Слушаю-с. День и час отмечу белым камнем в моем календаре...

— Можно бы и без шуток, — проворчал утихший Арнольдс.

— Позвольте же мне наконец сохранить хоть сколько-нибудь своей воли!

— Шутите, если угодно, только не забывайте, что я не шутил.

— Вот что меня удивляет несколько, почтеннейший Федор Евгениевич, — сказал Брагин. — Я с удовольствием вижу, что вы очень высокого мнения об Евлалии Александровне. Тем страннее, что вы в то же время почитаете ее безглазою какою-то и без головы на плечах. По вашим словам, можно подумать, что она бросилась замуж за меня очертя голову, с закрытыми глазами. Но ведь это же неправда — вы сами знаете, что неправда. Почти два года мои чувства к ней не составляют тайны для общества, и, однако, я не смел... да! искренно говорю: не смел сделать ей предложения, потому что — отказ получить было бы слишком тяжело... не буду притворяться: человек я гордый... а в согласии я не был уверен... Если Евлалия Александровна выбрала меня в мужья, то выбрала не как опрометчивая, влюбленная девочка, а по чувству, проверенному и давностью, и рассудком.

— Да, — мрачно возразил Арнольдс, — я лучше вас знаю, что два года она боролась с своею влюбленностью в вас... Влюбленность одолела и стала любовью. Тем хуже.

Он стукнул кулаком по столу и почти закричал:

— Вы ее обманете! обманете! Да! Не спорьте: я чувствую вас лучше, чем вы сами... Может быть, даже не женщиною обманете, — чем-нибудь другим... более широким, важным! О черт! Да неужели вы — вы, умный человек, сердцевед и писатель, — не видите, с кем вы имеете дело? Неужели вы не видите, что в любви ей не мужчина прекрасный, а жизнь грезится? Что в жизнь она рвется, а жизнь-то ей — как сон подвига какого-то представляется? Берете вы ее за себя... смотрите же, кого берете! Дадите вы ей жизнь? сумеете наполнить ее общественною борьбою? светом идеала? силою подвига? Ведь она верит, убедилась вами, что все это в вас есть! Поймите же, поймите вы, самообожатель этакий: даже и измены с вашей стороны не надо будет, чтобы сплести ее несчастье. Оно свершится уже в тот день, когда Евлалия Александровна разглядит, что вы не тот призрачный Брагин вдохновенных призывов, за которыми она шла, но просто мотылек красивый, богато одаренный темпераментом и словом... Разве она знает, что она в вас любит? Разве она вас любит? Она талант любит и то обещание подвига, которое заключается в таланте...

Брагин надменно сморщился.

— Сколько тратите вы слов, — сказал он, — чтобы выразить коротенькую мысль: ты, мол, жалкий смертный, не достоин Евлалии Александровны, как достоин я, Федор Евгениевич Арнольдс... Логика понятная и не весьма оригинальная, все несчастно влюбленные рассуждают так о счастливых...

Глаза Арнольдса блеснули, усы вспушились, но он быстро овладел собою.

— Удивительная вещь, — возразил он с особою сдержанностью, — писатель вы хороший, а в житейских отношениях наблюдательности и психологии у вас ни на грош. С первою половиною вашей фразы я согласен: конечно, вы не пара Евлалии Александровне. Я ставлю ее в мыслях моих неизмеримо выше вас. Но вы язвите меня, будто я считаю себя достойным ее. Это — после того, как я вам определил ее девушкою, ищущею в жизни подвига? Неужели вы думаете, что если бы я мог дать подвиг этот, умел бы его найти и повести ее к нему, то я уступил бы ее кому бы то ни было — не только что вам, Георгий Николаевич? Но куда же я гожусь рядом с нею — я бедный, на медные деньги ученый, артиллерийский офицер? В нерассуждающие няньки, в механические сторожа ее спокойствия — разве? Так муж-нянька ей не надобен, нужен ей муж-товарищ и вождь... От души желаю вам таковым оказаться. Хотя не надеюсь, но — первый и больше всех буду рад.

Он взялся за фуражку.

— Мне кажется, — задумчиво произнес Георгий Николаевич, не замечая жеста его, — мне кажется, я догадываюсь, о ком вы говорили, намекая, что у меня есть враг... Это — Антон Арсеньев, не правда ли?

— Я уже имел честь объяснить вам, что не считаю себя вправе называть... Кто бы он ни был, вам не следует его бояться. Раз он мне известен, я не допущу его сделать вам зло, потому что зло вам — зло Евлалии Александровне.

— Странный вы ангел-хранитель!

Арнольдс болезненно улыбнулся.

— Ангел-хранитель? А вы не думаете, что все ангелы-хранители — такие?

— То есть?

— Да — что им очень редко случается любить людей, которых они соблюдают? Ну за что ангелу любить такое пестрое ничтожество, как человек? А соблюдать надо, по-

тому что — обязанность, потому что того требует какая-то особая высшая любовь, в которой человек — только атом... И вот — плачет, а соблюдает. Вы заметили, что ангелов-хранителей улыбающимися рисуют только при детских колыбелях, а с взрослыми они либо строги, либо плачут? Ну-с, однако, это уже — страничка из философии непризнанного и доморощенного мечтателя... Мне такие мысли, по преимуществу, на дежурстве приходят... Разговора нашего прошу вас не забывать, а затем — имею честь кланяться.

— Руки-то мне, все-таки, подать не желаете? — насмешливо бросил ему, еще не отвечая на поклон, Брагин.

Арнольдс повел усами.

— Мы наедине: что же нам лицемерить друг перед другом?

— Ах, наедине? В обществе мы, значит, по-прежнему, добрые знакомые?

— Какая же причина нам ссориться?

— Так что — вы будете подавать мне руку?

— Буду.

— Послушайте, Арнольдс, а не приходит вам в голову такая возможность, что вы-то подадите мне руку, а я вам не подам?

Федор Евгениевич взглянул твердо, ясно.

— Спросите вашу совесть, — сказал он внушительно, без злобы, — если она ответит вам, что вы имеете право не подавать мне руки, — не подавайте. Еще раз — желаю быть здоровым.

Дверь закрылась. Брагин поднял свою корректуру и карандаш, но внимания не нашлось ни в мыслях его, ни в расстроенном лице, ни в омраченных глазах... Сделав две-три пометки, он швырнул правку на стол и, руки в карманы, с папиросою в зубах, заходил по номеру.

«Какой тип... — тревожно и с волнением любопытства думал он. — Вот фанатик!.. Какой тип!.. Однако...»

ВОРОНЬЯ ВЕЧЕРИНКА

XXV

Кружок был в полном сборе. Накурили так, что люди в дыму казались привидениями. Борис Арсеньев, совершенно не выносивший табачного запаха, уже раз десять убегал на лестницу — отдыхать на ступеньках в холодном воздухе, сжимая полные мучительной боли и кузнечного боя, отравленные никотином виски. Но без него в собрании не ладилось, — словно душа исчезла, и его сейчас же звали назад, под низенький потолок четвертого этажа, где человек двадцать ухитрилось помещаться, курить, спорить, мыслить, кричать, петь, пить чай и пиво уже, по крайней мере, часа четыре — и на пространстве не более сорока квадратных аршин!

— Собачья пещера! Черная яма! Чистая, брат Рафаилов, у тебя Собачья пещера! — ворчал на хозяина «антресолей» Федос Бурст, тщетно заливая холодным пивом распаленную глотку. — Ведь говорил, чтобы собраться у меня: по крайности, три комнаты... Нет, далеко: ленивы мы промять ножки на Немецкую улицу... Ну вот и радуйтесь: разве можно обсуждать что-либо серьезное в такой температуре и атмосфере? И мужчины-то уже — как вареные раки, а мамзельки совсем сомлели... Одна Лангзаммер еще держится. Двужильная штучка!

Сборище было созвано тем, кого звали Берцовым, экстренно, по важному делу. Пришли тревожные письма из-за границы о своих людях в большой нужде, требующей немедленной и серьезной помощи. Некоторые из нуждающихся носили имена, уже в своем роде исторические, произносимые в кружке с почтением, с благоговением, — даже с суеверием, пожалуй. Надо было спешно изыскивать средства, и, конечно, средств не было.

— Вот, — попрекнул кто-то, — отпустили мы Ратомского, а как бы он был кстати теперь.

Берцов поднял на говорившего свои застывшие глаза.

— Чем это?

— Богатенький.

Губы Берцова сложились в едва уловимую гримасу презрения. Он ничего не ответил, а возражатель осекся.

— Положим, самостоятельными средствами Ратомский еще не располагает, — заметил Бурст. — А маменька вряд ли раскошелится. Да и кутит он здорово... Тратит много, а вечно сидит без гроша...

— У него зять богатый благотворитель.

— Ну из Евграфки-то я и без Ратомского берусь вытрясти сотню-другую.

— Это Каролеев? — спросил Берцов.

— Он самый.

— Тот, который строил собор в Звениславле?

— Именно.

На гладком, будто каменном, лбу Берцова легла легкая складка.

— Мы не можем взять от него денег. Это типический эксплуататор и буржуа. У него в Звениславле на стройке подрядчики довели рабочих до голодного тифа... Никаких мер предосторожности не принималось, каменщики ходили по гнилым лесам... пять человек убилось... Нет, деньги г. Каролеева не для нас. Если мы примем их и сообщим от кого, то рискуем получить их обратно, с большими неприятностями. Там от буржуа денег не возьмут.

— Да ведь он сам по себе ничего парень-то, милейший сей Евграф Сергеевич... — пытался защитить бедного Каролеева сконфуженный Бурст. — В делах у него всегда действительно есть что-то такое...

— Хапужное! — со смехом подсказала Лангзаммер.

— Уж вы! — огрызнулся на нее Бурст, — язык на том свете черти каленым железом припекут!.. А в домашнем обиходе Каролеев — рубаха-малый, и на спрос у него отказа нет.

— Вроде купцов, значит, — усмехнулся Берцов, — миллион украдет и сейчас же тысячу пожертвует на колокол для спасения души.

— Бурст потому заступается за Каролеева, — не унималась Лангзаммер, — что у того жена хорошенькая, и наш тевтон пред нею тает.

Бурст сделал зверские глаза и проворчал:

— А вот это уж и свинство.

— Ах как вежливо!

— Да если вы глупости сплетничаете!

— А если вы такой: не можете равнодушно видеть смазливой рожицы, — сейчас же таете как воск?

— На вас же смотрю — ничего?

Лангзаммер засмеялась.

— Комплимент за грубость, — значит, квиты, погашено... Давайте руку, Федосенька: помиримся.

— Да я и не ссорился.

— А вопрос о Каролееве, господа, — продолжала курсистка, — в виду разделившихся мнений, я думаю, лучше всего будет поставить на голосовку?

Берцов кивнул головою.

— Согласные встают, не согласные сидят... Бурстинька, вы вскочили в одиночестве!

— Да, ежели так, я, пожалуй, лучше тоже сяду! — при общем хохоте воскликнул техник. — Борис, плесни мне хоть пива с горя: обиду залить...

— Обойдемся и без буржуа, — сказал Берцов.

— Обойдемся и без буржуа, — как эхо, повторила в углу комнаты бледная женщина, уже за сорок лет, с черными глазами, полными застарелого ужаса и гнева, глазами большо-

го и долгого страдания. Среди молодых и довольно франтоватых курсисток она в своей стрижке и суровом, почти монашеском платье полумужского покроя, сидела старомодным призраком былых нигилистических времен, ушедших уже в область легенд и полуфантастических воспоминаний. На молодое поколение кружка она смотрела с нескрываемым холодным презрением, несколько смягчая взгляд свой лишь для Бориса Арсеньева и Лангзаммер. С Берцовым она одна обращалась в ровнях, а он относился к ней с почтительным вниманием, как к признанному и непоколебимому авторитету, с заслугами давности. Женщина эта, прикосновенная к одному из первых еще семидесятных политических процессов, испытала на веку своем и одиночную тюрьму, и Пинегу, и пешее бегство тундрами и хвойными лесами, и выстрелы кордона на границе. Голова ее поседела и в минуты волнения тряслась, но глаза горели неукротимым пламенем сосредоточенной, упорной, фанатически однодумной мысли. Настоящую фамилию ее знали только Берцов, Борис, Лангзаммер, Бурст и еще одна из дам. Для остальных она была просто Анна Ивановна. Она-то и привезла письмо из-за границы — и она же должна была отвезти ответ.

— Обойдемся и без буржуа! — звенела веселым голосом хорошенькая Лангзаммер.

— Так что же? Концерт, что ли, господа? — предложил Бурст.

Берцов поморщился.

— Расходы велики, а концертов так много... Чтобы сделать сбор, нужна широкая огласка. Неудобно.

— Тогда — подписку?

— Между своими? А что она даст?

— Карманы у нашего брата, точно, пустые.

— Эврика! — воскликнула Лангзаммер, ударив ладонью по столу, так что у Федоса Бурста всплеснулось из стакана пиво. — Можно все: и концерт, и подписку, и огласка будет только между своими... Бурст! устроимте вечеринку.

— Валяй!.. — оживленно отозвался техник, потирая могучие свои ладони. Валяй, братцы! Помещение у меня есть даровое! расхода никакого… ну четвертной билет, два четвертных билета, не больше — по совокупности, на свечи, чай... прочее... А приглашайте хоть пятьсот человек, все влезут, еще просторнее будет. — И знаете ли что? Устроим вечеринку костюмированную. Москва это любит, — тогда народище к нам повалит. Один я ручаюсь вам за сотню гостей...

— Деньги, которые будут истрачены на дурацкие костюмы, могли бы обратиться на дело, — раздался сухой медный голос Анны Ивановны.

Но Бурст даже головою замахал, словно упрямый конь.

— Нет же! Вы не знаете! Это у нас совсем не так делается. Первое условие — чтобы никаких искусственных костюмов, — а все домашними средствами... То-то и любят, потому что смешно, кто, как и из чего ухитряется. Я в прошлом году Ахилла изображал, так на голове у меня был ламповый колпак, оклеенный золотою бумагою, а вместо щита — медный поднос, только скобки-держалки я припаял... Чудесно как вышло! Дамы билетиками забросали: первую премию получил...

— Федосенька мечтает обворожить нас прелестью своих икр! — не выдержала, чтобы не подразнить, Лангзаммер.

Но Бурст только гримасу ей сделал.

— Я в этих вещах не знаток, — сказал Берцов. — Конечно, — мы должны остановиться на том, что выгоднее. Если вечеринка потребует меньших расходов и даст хорошую выручку...

— За тысячу рублей отвечаю!

— Тогда не о чем и толковать: вечеринку!

— Да и разрешений у полиции не надо спрашивать, как на концерт: простое уведомление, что тогда-то и там-то у таких-то вечер по приглашению...

— И свободнее: чужаков не будет, распределим билеты между своими!

Вечеринка была решена, и организаторами выбраны Бурст, Борис Арсеньев и Лангзаммер.

Борис взбунтовался:

— Помилуйте! Что вы? Куда я гожусь? Я ровно ничего не понимаю... Да и терпеть не могу... Наконец, у меня и костюма такого нет, чтобы хозяина вечеринки разыгрывать.

— Боренька, — с комическою важностью сказала Лангзаммер, — отечество почтило вас доверием — отказываться нельзя...

— Эти распорядительские роли — чистое лакейство. Как хотите, а я не умею... Очень любопытно — состоять при дамских хвостах!

— Ах, любезно!..

Борис уставился на Лангзаммер с удивлением.

— А вам что?

— Да я-то — дама или нет?

— Ну какая вы дама... у вас и хвоста нет.

— А вот на вечеринке... назло вам будет!

— Господа! — с легкою улыбкою возвысил голос Берцов, — приходится вотировать важный вопрос: в виду органического отвращения товарища Арсеньева к дамским хвостам, подлежит он освобождению от распорядительских обязанностей или нет?

— Нет! Нет! Нет! — завизжала Лангзаммер.

— Больше некого выбрать, — сказал Бурст. — Вам, Берцов, показываться публично в столь ответственных ролях... сами знаете...

— А остальные лохматы, мрачны и буревидны! — захохотала Лангзаммер.

— Вот этого душку выбрать, — подхватил Бурст, ударяя по плечу Рафаилова, хозяина квартиры, — так он одним уны-

нием публику отшибет... Потому что в левом глазу у него — Гартман, а в правом — Шопенгауэр!

— Боренька! Вы облечены доверием общества!

— Господа! Позвольте хоть с передоверием! — возопил Борис, — я вам такого распорядителя поставлю, такого, что — ну! Благодарить будете!

— Не из наших, значит? — вскинул на него глазами Берцов.

А Рафаилов тем временем шептал своему соседу, студенту Работникову:

— Если он братца своего, Антона, намерен предложить, ори: нет!

— Не горазд?

— Нет, очень горазд, да — скотина... Еще сбор свистнет!

Но Борис говорил:

— Не из наших он. Но парень порядочный, а на эти глупости всякие — просто гений... Он вам такую вечеринку устроит, что о ней три года будут помнить. Я о Квятковском говорю, — бросил он Бурсту.

Тот одобрительно кивнул головою.

— Да, энтот выручит.

— В цели вечеринки посвящать его не надо, хотя — если и посвятить, то беды никакой не выйдет: ручаюсь за него, что джентльмен и не предатель...

— Пожалуй, оно даже и лучше, если не все из наших, один чужак будет, — сказал Берцову Рафаилов. — Все-таки как бы некоторый щит... Он ведь почти из аристократов, Квятковский этот... Ну и родитель его там как-никак был знаменитость... классиком почитается... написал много патриотического... Я на Квятковском согласен: за ним, как за каменным забором.

— Что вы скажете? — обратился Берцов к Анне Ивановне.

Та сухо и холодно пожала плечами.

— Мне решительно безразлично. Мне надо своим денег привезти — и чем больше, тем лучше. — А как вы их соберете, не мое дело... Лишь бы из чистого источника. Если

этот господин может способствовать хорошему сбору, тем лучше... Но Рафаилов сказал: он аристократ?

— Ну какой там!..

Бурст даже рукою махнул. А Борис засмеялся:

— El Desdichado... * знаете, как в «Айвенго»?

«Передоверие» Борисом Квятковскому прошло единогласно.

— Вот, — говорила Лангзаммер, надевая зимнюю кофточку, — вот закажу я себе сейчас новое платье и верхнюю хламиду какую-нибудь, и вы все закричите, что я барствую, аристократничаю, — и прочее... А ведь — правду-то говоря — после каждого нашего собрания хоть выбрось ризы свои... Табачище вы курите ужастенный, в количестве нестерпимом... Недели две теперь этого духа не вывести... Боренька и Бурстенька! Не по дороге ли нам?

— Положим, что нисколько не по дороге, но провожу вас с удовольствием: в самом деле, закурились... хоть бульварами пройтись.

— И я, — согласился Борис.

Бульвары стыли в синем серебре лунной морозной ночи.

— Сядем, братики! — предложила Лангзаммер.

— На Тверском-то бульваре? ночью? — удивился Бурст. — Вас за девку почтут...

— Кто? — невозмутимо возразила Лангзаммер.

— Проходящие.

— Да ведь я их не знаю?

— Положим.

— И они меня не знают?

— Резонно.

— Так пускай думают, что хотят, от мыслей не слиняю. Пристать ко мне, между двух таких слонов, полагаю, никто не решится.

---

* Лишенный наследства... (*исп.*)

— Надеюсь! — самодовольно воскликнул Бурст, тяжело стукнув кулачищем по скамейке, — Борька-то, положим, больше длинным ростом берет, декорацией... ну а я за себя постоять могу. Только ведь вы можете нарваться на неприятности не от мужского пола, а от женского.

— Это как же?

— Феи ночные к своему району ревнивы. За новую конкурентку вас примут и, проходя, ругать станут... А с ними что поделаешь? Бить женщину нельзя, городового кликнуть — нашему с вами сану невместно...

— А мы помолчим: полают и отстанут. Посидеть же мы все-таки посидим... Боренька! Вы как будто загрустили?

— И не думал. Я считал в уме: если тысяча, то — сколько кому...

— Делил шкуру неубитого медведя! — захохотал Бурст.

Голос Лангзаммер прозвучал легкою досадою.

— Боже мой! Какие вы, однако... чудаки!

— За что?! — изумился Бурст.

Лангзаммер продолжала:

— И — скучные... головастики! Неужели вам еще не довольно? Ведь все решено, перерешено... пять битых часов барахтались в диспутах этих, — нет, мало им: и на бульвар весь свой говорильный багаж приволокли... Не смейте, Боря! не начинайте! Ночь хороша, звезды прекрасны, и — делу время, но и потехе час...

— Какая же тут потеха? — усмехнулся Борис. — Смотреть на бульварных дев, что ли? Так это душу разрывает, а не потеха.

— Зато — «в небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом...» И с вами — хорошенькая девушка, которая, сказать вам на ушко правду, немножко в вас влюблена.

Борис даже отодвинулся.

— В меня-а?

— В в-ва-ас! — передразнила Лангзаммер.

— Вы?

— Я.

— Ну! Полно вам глупости!

— Что такое?! Бурст, вы слышите, как он принял мою декларацию? Ах, неблагодарный! Что такое?!

— Да, конечно, что глупости... — бормотал сконфуженный Борис. — По-моему, если товарищи, то мы с вами даже нравственного права не имеем... о таких пустяках... Вы девушка серьезная, отличный человек, а зачем же... такое? Это стыдно, — и больше ничего...

— Были вы в паноптикуме Патека? — спокойно спросила Лангзаммер.

— Нет... а что?

— Там для вас витрина приготовлена... будете редкостным экспонатом! — и тоже больше ничего.

— Влюбитесь в меня, Рахиль, — перебил Бурст. — Право? а? Плюньте на них, мудрячих! Мы с вами попросту... вот он я — весь, как на ладони...

— Доблестный сын Тевтонии! благодарю за честь, но вы для меня слишком толсты!

— Это ничего: могу похудеть. Две недели на диете и стану вот какой воздушный...

Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края?

— Чебурахнемся еще оттуда, сверху-то клочков потом не соберут... Оно, разумеется, потеря для вселенной небольшая, да вот — боюсь: первый же наш Боренька скажет, что мы не имели никакого права разбиваться в интересах общего дела, а, следовательно, мы самовольщики, изменщики, и — туда нам и дорога... А я его мнением дорожу... Боренька! ведь права я? Скажите, голубчик?

— Да, что же? — отстранился Борис. — Какие там личные восторги? Надо жить не в себя, а в общество... И, конечно, кто сознательно губит себя на своем эгоистическом чувстве, зачеркивая себя, как единицу общественную, — к тому я уважения питать не могу... Это всеозлобление плоти! Ничего более...

— Ай-ай-ай! — с досадою дразнила Лангзаммер, — социалист Борис Арсеньев изволит делить человека на плоть и на дух... Душечка! Вы бы еще что-нибудь из катехизиса!

— Не ловите меня на словах, Рахиль. Вы знаете, что я хочу сказать. Не делю я человека на плоть и на дух, а не напрасно же человеческая плоть тысячелетия прожила: веками слагался прогресс этический, веками утверждалась культурная восприимчивость к добру... В дух человеческий по катехизису я не верю, но человек эволюцией прогресса своего сам создает себе дух, в который и я верю, и вы верите... а иначе мы и не были бы вместе!

— Слушаю, отче! За проповедь спасибо, а комик вы все-таки сверхъестественный... Итак, Бурстенька, отчаливайте: отпуска в надзвездные края мы с вами от начальства не получили.

— Мы как-нибудь контрабандою устроимся! — мурлыкнул Федос.

— Боря! Ведь это же невозможно! — вдруг вскрикнула Лангзаммер. — Ведь вам двадцать три года, вы курс кончаете... Неужели вы ни разу влюблены не были?

— Ах вы все о том же? Не знаю, право. Я женщин очень многих любил и люблю... И вас люблю. Даже гораздо больше, чем многих других.

— Польщена!.. Да вы что называете любить? Кому-нибудь, предпочтительно из всех, читать вслух умные книжки и предлагать диспуты о социальных вопросах?

— Ну разумеется, не глупости.

— А с глупостями — так-таки ни разу и ни в кого?

— Где ему! — загрохотал Бурст.

Борис молчал.

— Нет, был! — неожиданно сказал он, и голос его прозвучал серьезно и печально, так что смех не успел сорваться с губ Лангзаммер. — Был, Рахиль. Я не был бы Арсеньевым, если бы дурмана чувственности никогда не испытал... И я шалел от женского тела... да! На то и Арсеньев... Такой проклятый род.

— Я думаю, что у вас в семье эту специальность узурпировал ваш пресловутый братец?

— Об Антоне — что говорить! Он несчастный... Я на него всегда как на предостерегающий урок смотрю...

— Так расскажите нам историю вашей любви: мы слушаем...

— Да любви никакой не было, именно любви, а было половое чувство к женщине... и вот это-то именно, — что никакой любви нет, а половое влечение есть, — и пристыдило меня, и заставило себя взять в руки... Мне тогда четырнадцать лет было...

— Ого! Раненько вы начали!

— Час от часу не легче! — смеялся Бурст. — Ну, Борька, удивительный ты субъект... Мы его Иосифом Прекрасным считали, а он — изволите ли видеть, когда развился...

— В том-то, брат, и штука, что не развился, а хотели меня развить... Вы, Рахиль, не имеете понятия, а вот Бурст знает некую Марину Пантелеймоновну, живущую у нас в доме... По-моему, она не в своем уме и, — не будь она безногая и накануне смерти, — давно бы пора поместить ее в Преображенскую больницу. Вредное существо, злое, опасное... Я половину безумств, которые выкидывает братец мой, приписываю ее влиянию, потому что они друзья, и она в нем души не чает... К сестре равнодушна, меня прямо-таки не любит... может быть, даже ненавидит... И я очень рад, по-

тому что лгать мне противно, говорить с нею ласково выше моих сил. Знаете: органическая антипатия.

— Как к дамским хвостам? — лукаво переспросила Лангзаммер.

Борис улыбнулся.

— Нет, скорее антипатия к дамским хвостам выросла из этой. Вы слушайте... В то время госпожа эта только что обезножела. Поместили мы ее в мезонин, распределили между собою дежурства, чтобы ее навещать. Капризничала она невыносимо и только с Антоном была хороша, хотя и ему делала сцены, после которых он белый выходил от нее... Мы с сестрою довольно скоро отбились от наших дежурств. Марина Пантелеймоновна того даже не заметила: настолько мы были ей не нужны. Да ей никто не нужен... может быть, Антон немножко, а то — никто... Она в себя ушла, о прошлом думает, а прошлое у нее, сказывают люди, такое, что в сказках Боккаччио не найти... И она в эти воспоминания сосредоточилась, смакует их и живет ими... Воплощенная гордость греха самим собою! Говорю вам, что ее надо в сумасшедший дом... Маньячка, мономанка... Ну-с, в один скверный вечер просит она меня почитать ей вслух... «Что же именно, Марина Пантелеймоновна?» — «А вот, — говорит, — Антон вчера книжку оставил, так ты, где заложено, дальше читай». Беру: оказывается, как раз «Декамерон» Боккаччио... По репутации я книгу знал, но там... про какую-то принцессу Алатиэль... черт знает что! Никогда не ожидал ничего подобного... Я две страницы прочитал, а потом отложил книгу в сторону, говорю: «Этого, Марина Пантелеймоновна, я читать не стану...» Она уставилась на меня своими безумными, возмутительными глазами... «Почему, Боренька?..» — «Потому, что здесь напечатаны гадости, о которых и думать нехорошо, — не только что вслух...» Она вдруг как расхохочется, — точно ведьма какая-нибудь. «А я, — говорит, — только такое и люб-

лю слушать». — «Удивляюсь!..» Она смотрит на меня, крючится. «Это, — говорит, — оттого, что ты глупенький и не знаешь, чем женщина хороша...» — «Нет, — говорю, — чем женщина прекрасна — я знаю, но то, что вы прекрасным в ней находите, мне действительно противно: это не женщины вам нравятся, а скоты...» — «Что ты понимаешь? Как ты можешь рассуждать! Ты мальчишка! Ничего не испытал!» Так состязались мы слово за слово, — и вижу я, что она даже бешенством каким-то против меня разгорается... Убила бы, кабы смела и сила была. Ну я вижу: остервенилась баба, волноваться ей — больному человеку, — конечно, вредно... замял разговор, перевел на другое. Она ничего не слушает, улыбается злобно, молчит... Потом, — нет, неймется ей: «Боря, — говорит, — а Боря! Слушай... Ну а из Сониных подружек, — то есть, сестры моей Сони, — которая тебе больше нравится?» Я подумал, — говорю: «Да они все — девочки хорошие, я со всеми приятель». — «Да что же у тебя глаз во лбу нету, что ли? Которая-нибудь да лучше же других?..» — «Ну, — говорю, — если хотите, то...» — впрочем, nomina sunt odiosa *, ибо ты, Бурст, эту барышню знаешь. «Ага, — говорит, — вот в кого ты влюблен!» — «Да не влюблен я, она умненькая, приятная, рассудительная... читала много, манеры у нее приличые...» — «Уж ладно, ладно! Влюблен! Так мы и запишем, так и будем знать, в кого ты влюблен...» Дня четыре спустя были у нас гости, то есть именно собрались к сестре Соне гимназистки — ее подружки. Ну игры, шалости... Вдруг зовет меня к себе наверх Марина Пантелеймоновна. «Что прикажете?» Смеется, зубы скалит. «Что, Боренька? Рад, небось? Доволен видеть свой предмет?» — «Опять вы? Помилуйте! Какой предмет? Бог с вами!» Смеется, зубы скалит. Потом шепчет: «Стань

---

* Имена ненавистны (*лат.*). Употребляется в знач.: имена называть не следует.

на сундук да посмотри за перегородку, — увидишь хорошее». Я сразу почувствовал, что она мне какой-нибудь обидный подвох приготовила, но — под ее глазами наглыми и глумливыми — гордость вспыхнула: да — что, в самом деле? Боюсь я, что ли, ее? Встал на сундук, заглянул за перегородку, а там эта самая девочка — «предмет»-то мой воображаемый — переодевается: рядиться они, что ли, задумали... Ну... и, действительно, хлынула в голову какая-то скверная волна, и смотрел я на картину эту дольше, чем следовало... и, может быть, пропал бы с этого момента, отдался бы во власть поганым мыслям, да — к счастью — оглянулся на Марину Пантелеймоновну... Умирать буду, а не забуду ее лица! Такого злобного самодовольства, такого восторга к моему унижению, такой сладострастной радости, что победила она, и я, мальчишка, сейчас упаду в позор, — нет, этого и описать нельзя... так только бесов рисуют!.. Меня сразу — как холодною водою обдало. Спрыгнул я с сундука, говорю ей: «Как вам не стыдно? Вы же старая женщина, больная!» — и пошел вон. А она заливается смехом и хрипит мне вслед: «Боренька! Что же мало посмотрел? Ты еще! Мне не жалко... А то позабудешь!»

Борис умолк.

— Ну? — подогнала Лангзаммер.

— Только и всего.

— Да где же тут влюбленность?

— Как — где? Яда-то я все-таки глотнул... Мне потом девица эта недели две мерещилась, и пошлейшие в голову мысли лезли, покуда я на себя хорошенько не прикрикнул и в руки себя не взял... Ведь тут — только себя распусти...

— Это вы в четырнадцать лет умели уже брать себя в руки?

— Отчего же нет?

— Да в эти годы, обыкновенно, еще яблоки из чужих садов воруют.

Борис засмеялся.

— Я и воровал. Одно другому не мешает.

— И с тех пор — никогда и ничего больше?

— Никогда и ничего.

— Нет, вас именно — в кунсткамеру! Монстр! Вы — монстр!

— Когда мне приходила в голову чувственная мысль о женщине, — начал Борис, помолчав, — я всегда отрезвлял себя воспоминанием об этой сцене... Как ведь ни раскрашивай все влюбленности, а на дне — одно и то же... И потом: я вот девицу эту, ни в чем неповинную, тогда почти возненавидел, в конце концов избегать ее стал, совестно мне было в глаза ей смотреть. За что? Только за то, выходит, что раздетую ее видел и на минуту принизил себя, скотом себя пред нею чувствовал. Что же отношения с людьми портить? Женщины — хорошие люди, ой какие хорошие... Между ними больше хороших, чем между нами, мужчинами. Только надо уметь отодвинуть от глаз самочью призму и прямым, невооруженным глазом человека в них рассмотреть... И, когда привыкнешь к этому, оно становится очень легко. И находишь диким, как можно иначе... Вы вот говорите, что я монстр. А по-моему, монстр скорее брат мой, Антон Валерьянович, которого всякие любви его так отравили и разложили, что он при всем его уме, при всех способностях, стал негоден ни на какое общественное дело, и — без чувственной игры с женщиною не в состоянии существовать, как морфинист без морфия... Когда в доме имеются два таких многозначительных примера, как Антон Валерьянович и Марина Пантелеймоновна, есть чем отрезвить себя от влюбленностей, поверьте мне, други мои.

— Удивительно, Боренька: такой вы — целомудренный и возвышенный, а ведь влюбленность вы, простите меня, ужасно грубо понимаете... как маленькая скотинка!

— Ах, ну что же мы будем спорить о пестрых красках и павлиньих перьях?

Что позолочено, сотрется:
Свиная кожа остается!

— И потом, все крайности! — сказал Федос Бурст. — Все крайности! От простого какого-нибудь флирта до Антона Валерьяновича либо до Марины Пантелеймоновны твоей — тут, брат, дистанция огромного размера...

— То-то, друг любезный, и горе, что мы, Арсеньевы, огромными дистанциями в падении не смущаемся, и, когда летим в пропасть, то и сами опомниться не успеваем, как уже барахтаемся на самом дне... Не созданы мы для средин!.. Кипучие очень. И бесхарактерные. Ты нашу родословную почитай: красноречива!

— А эта ваша Марина Пантелеймоновна тип любопытный! — сказала Лангзаммер.

Борис вздохнул.

— Злой демон нашего дома! — отвечал он вполголоса.

— Да уж чего демоничнее: до того застращала юношу, что ему женщины, даже десять лет спустя, сатанами кажутся... Ну-с, Боренька, а влюбить вас в себя я все-таки влюблю.

Она засмеялась и поднялась с скамьи.

— Вот только жаль, — вам на мне жениться нельзя будет: жидовица я, бедненькая, и креститься ни за какие коврижки не согласна.

— Ничего, — утешил Бурст, — если арсеньевская кровь хорошо распалится, он сам Моисеев закон примет.

— Представь себе, — задумчиво сказал Борис, — что в нашем роду был почти такой случай. Да! В начале восемнадцатого века... Петр Арсеньев-Ботяга побусурманился из-за женщины... бежал к турецкому султану и принял ислам... Да! удивить нас невозможно и мудрено выдумать на нас больше, чем мы сами каковы.

XXVI

Квятковский ухватился за идею вечеринки с таким жаром, что изумил и Бориса, и Бурста, а больше всех — только что познакомившуюся с ним Лангзаммер.

— Я всегда чувствовал, что во мне погибает великий метрдотель и церемониймейстер, — уверял он их, — и вот теперь, на пробу призвания, разверну пред вами все свои скрытые таланты...

В лихорадочном оживлении, с каким принялся он за дело, было что-то даже неестественное: словно бедного Мефистофеля грызло и сосало нечто внутри, и он, как лекарству, обрадовался счастливому случаю уйти от самого себя в суетню и толкотню неожиданных хлопот. Ни Бурсту, ни Лангзаммер не пришлось и пальцем о палец ударить для устройства вечеринки: о чем лишь ни задумают они, что хорошо бы вот то и это, — оказывалось, что Квятковский уже раньше подумал и — того пригласил, то в программу наметил. Помещение, предложенное Бурстом, он забраковал, а нашел такой барский дворец на Малой Дмитровке, что Бурст и Лангзаммер, как вошли, только ахнули и руки врозь... А Квятковский самодовольно ухмылялся кривым своим лицом и твердил:

— Согласитесь, что места втрое больше, два света и все гораздо приличнее. Дом моей тетки, княгини Палтусовой... Добрая старушка! я уговорил... Вот здесь мы поставим цветочную беседку. Каждая входящая дама получит маленький букет.

— Это на какие же деньги? — изумилась Лангзаммер.

— О, не беспокойтесь: ни гроша не будет стоить. Из оранжерей другой моей тетки, графини Бубус. Добрейшая старушка! Я уговорил...

Добрейшие старушки-тетки выплывали навстречу решительно всем расходам и затеям, какие приходили в голову

распорядителям. И на все, что требовалось, добрейших старушек-теток Квятковский — уже уговорил.

— Да сколько же, наконец, у вас теток, господин Квятковский? — удивлялась Лангзаммер.

— Это — глядя по! — отвечал молодой человек.

— По чему глядя?

— Какими тетками вы интересуетесь: еще в обращении или использованными?

— А в чем разница?

— А видите ли: тетка в обращении, — значит, кредит у нее имею и из завещания не вычеркнут. А использованные — у которых швейцарам велено не пускать меня в дом... Марки, погашенные долгим употреблением! Hélas, mes amis! * Их количество растет с каждым днем, а вот тетки в обращении — те все сокращаются... Осталось их у меня про запас штук восемь, не более... Ничего! лет на пять мне хватит.

— А затем?

— Затем? — Квятковский скроил шутовскую гримасу. — Затем? Но, друзья мои, не вы ли сами открыли мне теперь мое призвание? Пусть сойдет удачно наша вечеринка, и я буду считать себя обеспеченным на всю жизнь, не боясь никаких «затем»... Я пробую свои силы. Если не осрамлюсь, то передо мною открываются блестящие карьеры: сделаться распорядителем в «Салон де Варьете» Жоржа Кузнецова, поступить метрдотелем к «Яру» или в «Эрмитаж», наконец, совершив небольшое путешествие, я могу предложить себя на амплуа крупье monsieur Блану в Монте-Карло или наняться к коммерции советнику Пупонину, в качестве профессора хороших манер...

— А не забыл еще? — трунил Бурст.

---

* Увы, мои друзья! (*фр.*)

— Чего?

— Хороших манер-то?..

— В твоем обществе, Бурст, забыть невозможно: каждым словом и движением напоминаешь, каких манер иметь не следует.

— Жалкий какой-то этот ваш веселый человек! — задумчиво говорила Бурсту Лангзаммер, шагая темною Москвою.

— Истраченный!

— А было ли что тратить-то?

— А черт их разберет, эти полуталантливые дворянские натуры? Внешние способности были... И теперь поблескивают... На пустяки разошелся? Пожалуй, в самом деле, метрдотелем кончит.

— В его смехе разбитый горшок дребезжит...

— Хоть бы сказали: «Разбитая ваза»... «Не тронь ее: она разбита!..» Сюлли Прюдома-с и перевод Апухтина. А то — горшок! Стыдитесь! Барышня!!!

— Удивительно это, Бурст!

— Что?

— В каких контрастах живут все люди сами с собою. Вот и вы — кузнец, буйвол: легковой извозчик вас не повезет — ломового звать надо; материалист, социал-демократ, а начинены Сюлли Прюдомами разными, Апухтина декламируете наизусть... на Ермолову Богу молитесь!

— Что делать, Рухлечка? — засмеялся Бурст: — Кузнец-кузнец, а в праздник всякому хочется светлые брюки надеть...

— И Квятковский тоже этот: дал ему Бог лицо и фигуру Мефистофеля и голос козлиный — он и вообразил себя Мефистофелем: пошел ломать в жизни духа отрицанья и сомненья... паясничает, острит... ирония ходячая!.. а в глазах-то у него сидит совсем не Мефистофель, а больше нежнейший Зибель, кажется?

— Рухлечка! Вы мудры, как предок ваш Соломон, и проницательнее царицы Савской... Все они теперь нос на квинту повесили, Зибели наши: Евлалия Ратомская замуж выходит...

— Ах, и хороша же! — даже взвизгнула Лангзаммер. — Уй-уй-уй! Что-то за девочка, что-то за славная!

Бурст кашлянул и поправил шапку на голове.

— Да, красивая... Вы, на мой вкус, лучше.

— Ну, Федосенька, заврались: где нам! Мы — так себе, хорошенькие мордашки из рядовых галчат...

— Эта Евлалия, — рассуждал техник, — и собою очень хороша, и человек прекрасный, но меня к ней никогда не тянуло. Очень уж она Царь-девица какая-то. В глаза она тебе смотрит, точно спрашивает аттестата зрелости: достоин ли ты с нею разговаривать? Если бы я ухаживал за нею, то все время думал бы, что держу экзамен на ученую степень или должность какую-нибудь... так она высоко себя ценит!.. Либо — как в средние века: «Я тебя люблю, прекрасная дева!» — «А сколько сарацинов убил ты, о рыцарь, в Святой земле?»

И он громко запел:

Прости! Корабль взмахнул крылом!
Зовет труба моей дружины:
Иль на щите, иль со щитом
Вернусь к тебе из Палестины...

— Мне именно это огромное сознание своего достоинства и нравится в ней, — прервала Лангзаммер. — Понимает себя девушка и знает себе цену. Ух! Не любите этого вы, мужчины, не любите, подлые!

— Не то что не любим, а... Я разве хулю ее, Рахиль? Напротив. Только праздничная она очень, на пьедестале. Утомительны такие нашему брату, среднему человеку. Да и Брагин — вот увидите, как годика через два-три спасует и

взвоет... Нельзя же вечно на борзом коне скакать, перепрыгивать рвы и валы крепостей, рушить темницы и побеждать драконов... А она — без громов битвы и победы — мужчины не понимает... Валькирия... Брунгильда!.. Ну и утомит!.. И — при всем величайшем к ней обожании почтеннейшего Георгия Николаевича, — останется она в жизни своего супруга сокровищем про велик день, а на будни и малые праздники обзаведется он подругою жизни попроще...

— Из рядовых галчат? — улыбнулась Лангзаммер.

— Да — хотя бы... Чтобы и аппетитно, и не скучно было, и претензий на высокое и прекрасное не предъявлялось в излишнем изобилии, и в глазах ежеминутного экзамена идейного не встречать... Чтобы просто, приятно и весело!

— Одалиску с остроумием, значит, ищете? Недурно! От валькирии-то?

— Валькирии — дщери богов, а мы — простые смертные!.. Пусть за них спорят боги, герои и гномы, а нашего брата, от праха и для праха рожденного, этакая любовница истомит, оскорбит, обожжет...

— Рабыня нужна?

— Ну! Уж и рабыня!

— Немец вы, Бурст: никаким социализмом немецкого бюргера из вас не выкурить...

— Ну, — хладнокровно сказал техник, — стало быть, Punctum *: договорились мы с вами до точки, когда надо ругаться.

— По обыкновению!

— Давайте, я не прочь!

— Да ведь вашего мещанского упрямства и узколобия все равно не одолеть и не расширить!

— Если я стою на логических основаниях...

— Логика-то у вас... суздальская!

* Точка (*лат.*).

— А у вас — бабья!

— Бурст! Я вам плечо прокушу!

— Что и требовалось доказать... вот и разговаривай с вами по пятницам!

Квятковский в самом деле чувствовал себя очень нехорошо, и толчок к дурному самочувию дал ему, пожалуй, действительно, сговор Евлалии Ратомской с Брагиным. Но суть была не в том, и лютая хандра натекла, как тяжелая грязь какая-то, еще откуда-то и иначе. «Влюбленности» в Евлалию у Квятковского никогда не было, — если и вспыхивало что-либо подобное, то лишь в давнее время первого знакомства, да и тогда молодой человек усердно и искусно тушил и прятал разгоравшееся чувство, твердо уверенный, что уж очень оно не к лицу ему, и — куда, мол, нашему брату с посконным рылом в калачный ряд? Сложившиеся отношения поверхностной шутливой дружбы занимали в пестрой и шумной жизни Квятковского, казалось, так мало места, что — теперь он и сам удивлялся: почему, когда он узнал о предстоящем браке Евлалии Александровны и переезде затем молодых в Петербург, в душе его — точно фонарь какой-то сразу погас, и стало темно и пусто, словно в огромном подвале?

— Это все печенка шалит, — бормотал он, почти физически чувствуя унылый нажим удручающей темноты и пустоты этой. — И... и нервы... Нельзя пить так много коньяку. Спиваюсь хуже Антона Арсеньева... Алкоголь выжимает из глаз соленую воду... И вот — я чувствую на ресницах какие-то глупейшие слезы... Зачем? о чем? По какому случаю? Гур-гур-гур! Буль-буль-буль! Взять меня под сумление!

Как человек, внезапно оставшийся впотьмах, Квятковский теперь ощупывал свою почерневшую подвальную жизнь, и — черт ее знает? — под пальцы то попадались обручи винных бочек, то плыла какая-то слизь, от которой брезгливо, сами собою, отдергивались руки, будто оскорбленные прикосновением.

«Пошло прожито! Жабьи годы! — с дрожью отвращения думал он. — Пропил жизнь, протаскал с девками, проплясал, прокаламбурил... Мефистофель из Хамовников! приятнейший московский забавник и «малл'дой челаэк»... Искувыркался!.. В мозгах — ни одной прямой мысли: гримасы, прыгающие идейки, юродивая присядка слов какая-то и... коробки с душистою пудрою!.. Добровольный Риголетто при московских принцах от буржуазии — да еще и без злости!.. и без Джильды!.. Шутовство и девки! Девки и шутовство! Тьфу! тьфу! тьфу!»

И он весь содрогался от ползучих мурашек самоотвращения, и опять простирал руки в потемках, и опять вместо выходной двери нащупывал осклизлые стены и бочки... И мало-помалу эта метафора заплесневелого подвала стала принимать для него физическую реальность, и уже раза три он поймал себя на том, что новым, не бывалым прежде жестом моет рука об руку и чистит платье, словно стирает с него грязную налипь. И то соображение, что он не заметил, как сложилась у него и успела окрепнуть такая странная привычка, приводило Квятковского в смущение и ужас...

— А, черт с нею, с печенкою! Это на сумашествие похоже... Нельзя так, — встряхнемся! К дьяволу! Арагвин! Едем!

Виктор Арагвин, в последнее время почти совсем переселившийся к Квятковскому на жительство, с величайшим наслаждением набрасывал на себя шинелишку, и начиналось всеночное скитание по «Салонам де Варьете», «Ярам», «Стрельнам», соболевским притонам... Жизнь горела в ночных туманах синим спиртовым огнем и погасала к утру. Но, когда загоралось солнце, подвал становился еще чернее, и болотная слизь со дна его поднималась все выше, все гуще...

И было одно грозное утро — ясное и все лиловое, и солнце ярко светило на двух людей в зеленом зимнем саду загородного ресторана, и один из них — усталый, бледный, пьяный — Квятковский бил себя в грудь и говорил:

— Позвольте! Так нельзя... Я желаю, чтобы дверь отворилась... нужна скобка от двери... Мне — к выходу... Понимаете? Покажите, где выход...

Другой — черный, длинный, неподвижный и совершенно трезвый — Антон Арсеньев — с внимательным любопытством следил за его жестами своими огромными черными глазами и бесстрастно возражал:

— Зачем вам выход? куда? Не годитесь и не успеете.

— Врете вы! Не любите меня... никого не любите и со зла врете! Найду... выход я найду! Потому что жизнь... она исцеляет... добрая... Это вы все злые, а жизнь добрая!

Антон улыбался, улыбался...

— Ух как вы скверно смотрите! — застонал Квятковский. — За что?

— Не глупый вы человек, а мальчишествуете, — сказал Антон. — Ну какие выходы? Ведь я же знаю о вас, что вы несколько лет назад, еще в лицее, были... очень... больны?

— Так что же? — завопил Квятковский, облившись на мгновение злобным румянцем. — И — как деликатно с вашей стороны напоминать!

— Да я совсем не с тем, чтобы вас обидеть.

— Так что же? — продолжал вопить Квятковский. — Было и прошло!.. Не хочу, чтобы всю жизнь отдать за старое несчастье! Я страдал, я боялся, я лечился... я очень страдал!.. Было и прошло!.. Это не в состоянии загородить мне выхода... Предрассудок!

Антон не спускал с него своего тяжелого, язвительного взгляда. Потом холодно спросил:

— Вы на котором году... болели?

Квятковский посмотрел на него с враждою, открыл рот, запнулся, нахмурился и порбормотал:

— Девятнадцати лет.

— Сейчас вам двадцать шесть?

— Двадцать семь.

— Значит, в вашем распоряжении остается еще лет пяток, а затем вам заботиться о себе нечего: будут заботиться о вас уже психиатры. Отличнейшие люди: смею рекомендовать! Прогрессивный паралич... это для вас — фатум! Стоит ли искать выхода, имея в пятилетней перспективе прогрессивный паралич? Из одной уже гордости — нет резона... Ведь это же насмешка, подумайте: ну нащупали вы свою дверную скобку, ну дернули, распахнулась дверь, хлынул навстречу вам свет. И видите вы в свете-то — на пороге стоит сторож из лечебницы для душевнобольных, и в руках у него «бешеная рубашка»... Ведь no restraint * у нас на Руси, покуда, не в моде...

Квятковский даже отрезвел, и спина его облилась холодом.

— Что вы городите? — глухо сказал он. — Вы сами сумасшедший. Вас запереть надо.

Антон кивнул головою с таким видом, будто сказал: эка чем удивили!

— Меня — уже, а вас — еще, — засмеялся он хитро и злобно. — Не отвертитесь, батенька. Жесты эти у вас... удивительно как красноречивы!

И он быстро представил, как Квятковский непроизвольно моет руки и чистит платье... Тому становилось все холоднее и холоднее. Антон Арсеньев дурацки, как мальчишка, показал ему длинный, красный язык, потом набил свой стакан льдом, залил лед коньяком и выпил залпом...

— Пока люди настолько глупы и порядочны, что оставляют нас на свободе, ею надо пользоваться. Вы кончите жизнь бессознательною свиною тушею на двух ногах. Для наслаждения сознательным свинством природа оставляет вам едва пять лет... Наслаждайтесь же, черт вас возьми! Наслаждайтесь! Имейте дерзость сознательного безумия, пока вы помните себя и чувствуете свое тело!

---

* Несдержанность (*англ.*).

— Зачем вы говорите мне это? Зачем пугаете? — вскричал Квятковский, почти со слезами на глазах. — Это стыдно!.. Разве можно шутить такими вещами? Это подлое издевательство... Если я несчастен... Низко!

Антон пожал плечами.

— Я же вас предупреждаю — и вы же на меня злитесь?!

Квятковский бросился к докторам. Его успокоили и Корсаков, и Кожевников... но пророчество Антона все-таки осталось в сердце бедного малого как тайный свинцовый груз, и при каждой встрече с Антоном Арсеньевым он теперь чувствовал себя тяжело и неловко, и самое имя неприятного товарища сделалось для Квятковского своего рода memento mori *.

«Ворона зловещая! Именно, ворона!» — в тысячный раз вспоминал и думал он про себя и теперь, шагая набережным бульваром, мимо уходящих в сумерки кремлевских башен.

— Легки на помине!

Огромная сетка ворон и галок с ревущим карканьем и рокочущим трепетом грузных крыльев выплыла из-за крыш Кокоревской гостиницы и, промчавшись над головою Квятковского в дрожащем, взволнованном воздухе, тяжело осела за зубцами кремлевской стены, на развесистых, в снегу, деревьях Тайницкого бульвара. Квятковский долго смотрел, как размещались, ссорились, дрались, срывались с занятых мест, крича, будто ругаясь между собою, как бабы на плоту, треща и хлопая крыльями, толстые, неуклюжие птицы. Возня их развлекала его, разбила своею жизнью мертвые, мрачные мысли... Он шел дальше и думал уже не об Антоне Арсеньеве с его пророчествами, но опять о вечеринке, которую взялся устраивать, и теперь все мечтал, как бы украсить ее неожиданностями и сюрпризами пооригинальнее, чтобы долго потом поминали ее гости.

— Эврика! — возопил он к самому себе, переходя по острой и спотыкливой булыжной мостовой темную Волхонку. — О во-

* Помни о смерти (*лат.*).

роны! правнучки Корониды! О вещие птицы! Принимаю вас как указание... Я устрою вороний бал, — «клуб вороньего рода»... Это будет глупее глупого, сверхъестественно, идиотски нелепо... И всем очень понравится, и все будут очень смеяться, и все останутся довольны, потому что никогда не бывало в Москве ничего подобного... А своих — и Антошку, и Арнольдса, и Рутинцева, и всех — буду потом дразнить, что лучшего бала они не заслуживают: зачем проворонили Евлалию Александровну... Ха-ха-ха! Удивительно будет глупо! Сногсшибательно!

И, вполне утешенный и облегченный плохим каламбуром, он шел и улыбался выдумке своей в темноте упавшей ночи, покуда не поглотили его привычные двери остоженской «Голубятни».

XXVII

В день вечеринки Лидия Мутузова с утра приехала к Соне Арсеньевой с огромнейшим багажом свертков, узлов и коробок. Она обещала Квятковскому читать вечером, но — что, оба держали в секрете.

— И тебе не скажу, и костюма своего при тебе не одену, — говорила Лидия Соне. — Это будет всем сюрпризам сюрприз, гвоздь вечера... Я сперва спроважу тебя, — и только тогда сама начну одеваться... Твоя Варвара мне поможет. Ведь поможете, Варя?

— А кто же проводит барышню?

— А братья на что?

— Это в других домах, где люди живут по-хорошему, братья сестер в театры, в гости провожают, а наших молодых господ — ищи свищи с собаками, да и то, сударыня, с борзыми... Не таковские у нас молодые господа. Об Антоне Валерьяновиче мы уже и сумелеваться бросили: никогда его

в глаза не видим, — придет, уйдет, ровно бы квартирант или тень какая, — не знай куда, не спроси откуда. А теперь и Борис Валерьянович никак уже третьи сутки не ночевал дома. Невесть, жив ли, нет ли... Так только, — что папаше из полиции знать не давали, а то, может быть, давно в остроге сидит.

— Варвара, не каркай глупостей, — лениво вступилась Соня.

— Да что, барышня, право? какие глупости? Два эких молодца в доме, а сестре в люди показаться не с кем! Стыдобушка! истинно срам!

— Да на что? — вяло защищала Соня, — зачем они мне? Мне ведь только к мосту спокойно доехать, а там — покуда не приедет Лида — я подкинусь кому-нибудь из знакомых дам... Наверное, Ратомская-старуха будет, Ольга Каролеева, Бараницына...

— Довести вас я вам соседскую Феклушу могу дать, — решила Варвара сухо и повелительно с деловито поджатыми губами.

— А назад, мать-командирша, не беспокойтесь, — подхватила Лидия, похлопывая Варвару по костлявым лопаткам с льстивым покровительством, которое та очень хорошо понимала и ценила как своеобразную любезность и, пожалуй, даже заискивание. — Доставлю вам ваше сокровище целым и невредимым.

Варвара умягчилась.

— Нешто вы к нам потом собираетесь ночевать?

Лидия сделала реверанс.

— Если не прогоните.

— Слава Богу. Хоть расскажете, что там и как было... От нашей-то Софьи Валерьяновны не много узнаешь... Слова-то у нас — будто куплены... клещами их тянуть надо, да и то навряд... Намедни от Ратомских после сговора барышни Евлалии Александровны приехала — словно там ничего

примечательного не было: все прозевала, никого не видала... На Каролеевой, сказывают, такое платье-шик надето было, что — всех осветила, как солнцем, а от Сонюшки моей Валерьяновны я только и знатки себе о том получила, что — кажется, говорит, розовое с серебряными колосьями... Спасибо, потом Агаша ихняя, Ратомских девушка, забежала — рассказывала, что и как, по-человечьи, отчетливо... С нашей барышней женщина, которая от рождения любопытная, может умереть от нетерпеливой досады.

К вечеру — смотреть, как барышни рядятся, — кто помогать, кто глазеть, — собрался, по обыкновению, излюбленный Сонин «бабий клуб». Мужчин Арсеньевых, как всегда, не было дома. Уже давно, чуть не за две недели, было решено на общем совете — Лидией Мутузовой и Варварою, что вместо всякого хитрого костюма Соня оденется по-мужски — уже давно примеряли ей австрийскую тужурку Бориса, и выходило великолепно, такой красивый, статный, симпатичный, блистательный юноша.

— Что широко — подколем, что длинно — ушьем... — хлопотала Варвара. — Лаковые сапожки я вам добыла: приказчик, Тихона брата знакомый, из магазина ссудил бракованные, — вернул офицерик один, почитай что новенькие, узки показались, будто жмут... Да уж и ножка — надо чести приписать: совсем дамская, — не то что вам, барышня, даже Лидии Юрьевне велики не будут... брюки хорошие у Антона Валерьяновича украдем...

— Ну уж нет, — живо возразила Соня. — Это я боюсь. Чтобы взять что-нибудь у Антона?! Да — что ты? Как я могу? Я тогда весь вечер сама не своя буду. Мне все будет казаться, что он мне на ноги глядит...

— Разве он такой жадный? — изумилась Лидия Мутузова.

— Нет, конечно, не жадный... а... как же это я осмелюсь взять у Антона его платье без спроса? Невозможно.

— Зачем же без спроса? Ты попроси...

— Антона-то? О таких глупостях? Что ты, Лида?!

— Но почему нет, если надо?

— Я никогда не решусь... Он так посмотрит... Я сквозь землю провалюсь от стыда, что посмела сунуться к нему — с глупостями...

— Да ведь на вечеринке-то он увидит тебя?

Соня как-то грустно возразила:

— На вечеринке будет толпа. Он меня и не заметит. Пройдет мимо, как мимо вещи какой-нибудь. Всегда так: мимо лица, в пространство смотрит.

— Жадный не жадный у нас братец, — ядовито вставила Варвара, — а подступаться к нему, — лучше уж мы с Соней Валерьяновной к черту лесному подступимся... Таково мы друг друга понимаем и уважаем.

— Варя, не злись и молчи.

Решено было позаимствоваться у Бориса всем костюмом, с панталонами включительно. Но — в самый день вечеринки и уже в сумерки, когда барышням настало время одеваться, Борис в блаженном своем неведении преподнес сестре совсем неожиданный сюрприз: приехал невесть откуда с каким-то весьма оборванным юношею, просидел с ним около получаса, запершись в своей комнате, и опять уехал, так что домашние не успели обменяться с ним ни одним словом. И вот, — когда Соня, уже с подобранною косою и завитая, как кудрявый мальчик, сидела перед зеркалом между четырех свечей, окруженная смеющимся и любующимся на нее «бабьим клубом», Варвара влетела в комнату, как бомба, как разъяренная фурия, желтая от злости, как охра, потрясая в руках какою-то невероятною рванью.

— Вот тебе и оделись! Вот тебе и нарядились! Благодарите братца, барышня: вот оно — одежду для вас какую прелестную я у него в гардеробе нашла!..

— А тужурка? — жалобно воскликнула Соня.

— А черт его знает, куда он ее спихнул... Только и висит на гвоздю, что это барахло. И откуда взялось, - бес, постылое?

Лидия хохотала. Глазеющие девицы посмеивались. Соня, успев примириться с внезапною горестью, улыбалась уже ласково.

— Это он, наверное, нынешнего бедного переодел... — сказала она.

— Не иначе что так, — огрызнулась Варвара. — Чтоб им, этим бедным его, черти мясо с костей вместе с платьем драли! Обиралы поганые!.. Скоро весь Хитров рынок к себе на фатеру пить-есть, одеваться-обуваться приволочет! Благодетель! Чем всякую дрянь наряжать, о сестре подумал бы!

— Оставь, пожалуйста, — остановила ее Соня не без досады. — Откуда Борису было знать, что мы собираемся рядиться в его одежду? Разве мы ему что-нибудь говорили?

Варвара немножко осела, но не сдавалась.

— А вы, барышня Соня, напрасно не заступайтесь: не к чести вашей относится. Вы рассудите нас, Лидия Юрьевна, что это за дом наш такой безобразный? Что это за барин нескладный, что надобно ему заранеше повестки посылать: смотри, не спусти платья с плеч на сторону, — дома понадобится?

— Боря имеет право: свое отдает, не чужое.

— Свое? Сказали, что в дупло свистнули. Свое? Много ли у него своего-то? У хороших господ от сюртуков, пиджаков шкапы ломятся, а у нашего сокола в кои-то веки тужурчонка приличная завелась, — мы и ту хитровцу спровадили. Богатого родителя генеральский сын!.. Юродивый! чисто, что юродивый!

Лидия хохотала.

— Замолчишь ты, Варя, или нет? — уже рассердилась вспыхнувшая румянцем Соня.

Варвара прикусила язык; она знала, что Соня любит брата Бориса и нападать на него — почти единственное средство, чтобы вызвать в ней серьезное неудовольствие.

— Что «замолчишь»? — сухо возразила Варвара, чтобы по властному нраву и обычаю своему все-таки оставить за собою последнее слово. — Замолчать легко. Я замолчу... а во что вы теперь одеваться-то станете?

Лидия сказала:

— Да возьмите же, в самом деле, у Антона. Ведь у него действительно, как Варя говорит, от пиджаков, сюртуков шкапы ломятся...

И опять на нее все посмотрели, будто на еретицу, изрекшую некое великое нечестие.

— Да, Антон Валерьянович только что ушли... я за ними дверь запирала, — пискнула Груня, девочка-подросток, состоявшая на послугах при Марине Пантелеймоновне: маленькое, красное, деревенское личико-яблочко с зияющими, чуть неперпендикулярно, ноздрями вздернутого носа.

— Все на запоре, — нехотя, сквозь зубы процедила Варвара. — Он свои ключи завсегда с собою уносит...

— Это не составляет расчета, — отозвалась соседская Феклуша, — степенная на вид и не первой уже молодости девица, с вечно опущенными глазами, которые, когда изредка поднимались, поражали какою-то оловянною пристальностью взора, не то уж очень наивного, не то уж очень бесстыжего. Так смотрят вконец изолгавшиеся дети, бывалые воры на допросе, купцы-сибиряки, когда торгуют у переселенцев рубль за грош, жандармы, сопровождающие политических ссыльных, и сыщики на практике... — Не составляет никакого расчета: дайте мне шпильку да круглый машинный гвоздь, — вам какой угодно гардероб открою... моментально!

Другие девушки захохотали.

— В остроге, что ли, училась? — уязвила Варвара.

— Нет, — равнодушно ухмыльнулась та, — а пять месяцев жила у очень скупых господ... за чаем, сахаром надо было охотиться.

— При всех — чем хвастает, нахалка! — изумилось, хлопнув красными руками по бедрам, толстое, приземистое, ширококостное существо, почти без глаз, пропавших без вести в завалах между красными, трясущимися щеками и узким, крутым лбом. — Так все про себя и отпечатала!.. Стыдочку-то в глазах, стало быть, нисколько нет?

— А кого мне стыдиться, если жидоморы? У хороших господ прислуга по шкапам не шарит. А ежели голодом оставляют сидеть, тут не то что наша сестра, и святой за шпильку с гвоздем возьмется...

— Мало ли что случается в тайности с человеком, который бедный, — стояло на своем толстое существо, — но об этом нельзя объявлять в публике, потому что каждая девушка должна сохранять свою репутацию.

Феклуша прищурилась:

— В своей компании и монах клобук сымает.

— Глафира у нас полицмейстер, — насмешливым альтом отозвалась от дверной притолоки высокая девушка, в серой — сразу видно, что хозяйской, — мягкой шали, покрывавшей ее с маковки по колена. — Именно, что полицмейстер: порядок следить да репутацию наводить — ейное дело на весь переулок.

Девушка была бы хороша собою, с гордыми и яркими глазами, но ее безобразили совершенно расплющенные каким-то белым шрамом, плоские четырехугольные губы. Когда она улыбалась, то показывала странный недочет двух резцов в ряду прекраснейших белых зубов верхней челюсти.

— Ты, Дашка, сперва зубы вставь, а потом приходи ко мне разговаривать, — отрезала Глафира.

— Нас и без зубов парни любят... — огрызнулась та.

— Медник твой со службы назад придет, узнает, каково ты его ждала, как без него жила, остальные выколотит...

Лицо Даши исказилось презрительною злобою.

— Не прежние времена. Пусть тронет, — еще посмотрим, кто кого!

— Набралась смелости за три года?

— Поумнела малость, остальная деревенщина с костей сошла. Научили, спасибо, добрые люди, что каблучищами по морде топтать женщину в городе начальство не позволяет...

— Не сдуру бита была, — не обманывай!

Дашка даже плюнула.

— Эх ты!

— Что плюешься? Которая девка обманщица, тое, обыкновенно, по всей земле, во всех государствах смертным боем бьют. Такое твое женское положение, и против своего предела тебе никак нельзя пройти, так что напрасно все твое удовольствие...

— Эх ты! — повторила Дашка свысока, злобно горя великолепными глазами. — Что ты понимаешь? А еще полицмейстер? Что ты можешь понимать? Осилишь ли ты понять, что есть кальер? Он меня кальеру лишил, черт паршивый, — могу ли я ему в жизни простить? Мне выдающийся кальер выходил; я теперича в колясках каталась бы и таких, как ты, при кухне держала бы — посуду мыть, а — чтобы в комнаты — этого, шалишь, не дождешься... А он каблучищем... Вы, барышня, про кого карандашиком рисуете? — вдруг круто повернулась она к Лидии Мутузовой, которая, слушая спор их, потихоньку раскрыла свой альбом.

— Хочу зарисовать, как ты сражаешься с Глашею.

Даша злобно улыбнулась.

— Что меня рисовать? Было меня рисовать, когда я правильное лицо имела: теперь на место лица у меня плошка растоптанная... Я и в зеркало-то смотреться не люблю: имевши уста-бутоны, приятно ли мне лепехи эти видеть?..

— А за всем тем, — возвысила голос Лидия, быстро работая карандашом, — за всем тем, Варенька, Соня наша по свойственному ей смирению сидит и молчит перед зеркалом в полном дезабилье, и — в чем вы отпустите ее на бал, решительно неизвестно.

Но энергическая девица недаром так долго пребывала в задумчивости.

— Небось! погодите! Я сейчас, — пробормотала она, озабоченно сжимая свои тонкие губы, — схватила с Даши ее вальяжный, мягкий платок и, накрываясь на бегу, никому не сказав ни слова, вихрем вылетела из комнаты.

Лидия засмеялась.

— Можешь успокоиться, Соня, и перестань ворочать такими недоумелыми и жалобными глазами: раз эта машина жизни твоей, премудрая Варвара, пустила себя в ход, как маховое колесо, значит, ты уже устроена, nous avons votre affaire, chère petite!.. * Ну, Даша, теперь стань немножко ближе к свету, чтобы профиль выделился...

Даша, — без платка сразу подурневшая, в ситцевом линялом платьишке лапистыми розовыми цветами, жидковолосая, почти без косы, с опавшею грудью сильно издержавшейся фабричной девки, — говорила:

— Подлее мужиков нет зверя на свете... Красоту истоптал, здоровья лишил, а между прочим, ушел на службу как правый: называется жених, и велел ждать непременного возвращения после сроков... Для какой радости, позвольте вас спросить? Какие могут быть к нему мои чувства? Я думаю о нем как о последнем изверге, а он получил такую в себе уверенность, что я должна быть его женою, и пишет письма, чтобы я любила свое поведение честно. Где его права, чтобы мне становиться на отчет? Я девушка веселая и люблю крутить головы дуракам. Вот, однако, вспоминая его, зав-

* Нашла то, что нужно, дорогое дитя!.. (*фр.*)

сегда чувствую себя ужасно как страшно... И так я думаю про себя, что — ежели я в то время пред ним оробею, и заставит он меня взаправду идти за него замуж, то не обойтись между нас делу добром и без мышьякового порошку...

— Нашла! — возопила Варвара, врываясь, подобно морозному Борею, с узким кирпичным румянцем на желтых щеках от холода и быстрого бега. От нее и от узла, который она бросила на пол из-под платка, запорошенного снегом, потянуло острыми струями мороза...

Соня съежила обнаженные плечи. Лидия закашлялась.

— Варя! Вы хотите, чтобы у меня чахотка сделалась? Невозможное существо!

— Ничего, барышня, ничего, — радостно ворчала та, возясь над своим узлом. — Какая чахотка? Живы будете, замуж выйдете... до свадьбы заживет... Вот вам, Соня Валерьяновна, мужчинский пиджак... вот вам мужчинская жилетка... панталоны... галстух... рубаха крахмальная...

Девушка визжала и прыгала, хватая на лету принесенные вещи легкого, дешевенького демисезонного костюма.

— Где ты достала? Где ты взяла?

— Варвара! Придите в наши объятия! Вы гений! — кричала Лидия Мутузова. — Вы Колумб!

— Очень просто: где... К брату сбегала, к Тихону... Нешто долго?.. Хорошо, что еще застала дома... Тоже на вечеринку собирается, билет от Бориса Валерьяновича получил, туркой оделся, до ужасти страшный... Все в порядке, барышня, одевайте... Сорочка не очень фасонистая, да — какая есть, теперь лучше не достать... А тройка хорошая: летом Тихон делал, одну осень носил.

Покуда Соня облекалась в мужские доспехи, Даша и Глафира переглядывались со странной, нехорошей улыбкой, Феклуша тоже язвительно подмигнула им глазком, и все три сползлись вместе, как крысы на колбасу, зашептались, захихикали, закивали.

— Готова моя барышня! Вот так сидит костюм: лучше немыслимо! Литой! Словно на вас шитый! — в торжественных попыхах кричала коленопреклоненная, ползающая по полу Варвара, оправляя, дергая, поворачивая пред собою, оглядывая, как суровый ревизор какой-нибудь, хорошенького кудрявого юношу, прелестно неловкого в опрятном темно-сером костюме, который сразу скрыл большой рост Сони, — тяжеловесная девушка оказалась стройным и легким мальчиком... Красивая, взлохмаченная, в спутанных кудряшках на лбу, она конфузливо улыбалась.

— Да я не умею ходить... право, упаду... не слушаются ноги, не умею ходить...

Даша что-то отрывисто, коротко сказала Варваре. Та и нахмурилась на нее, и засмеялась, глазами блеснула и оскалилась, как собака, зубами, в которых держала чуть не десяток шпилек и булавок. Лидия, оставив свой альбом, ходила по комнате вокруг Сони, разглядывая ее со всех сторон в лорнет.

— В самом деле, замечательно тебе идет.

Дашка ехидно пробурчала что-то, и хихиканье около нее возобновилось. Варвара, не глядя, погрозила в ее сторону кулаком, но углы губ у нее тоже подергивались. Лидия испытывала Соню взглядом знатока.

— Сядь... встань... пройдись... повернись... подыми руки... стань в третью позицию... Великолепно, Сонька. Это — решенное дело: ты родилась женщиною по ошибке, твое призвание быть мальчиком... Завиться изволь снова: вихры распустились... А костюм подошел чудесно: именно — будто на тебя шит.

Горничные разом фыркнули, точно по сигналу.

Лидия с любопытством повернулась к ним от Сони, оставшейся среди комнаты с застенчиво расставленными руками и сжатыми коленями, как всегда стоят женщины, впервые надевшие мужское платье.

— Чего вы?

Глаша вместо ответа шаром выкатилась за дверь и уже из соседней комнаты залилась истерическим хохотом. Феклуша перегнулась пополам и закатилась, беззвучно трясясь всем телом. Варвара и Даша старались сделать серьезные лица.

— Ну всех смехун одолел... — добродушно заулыбалась Соня.

— Чего вы?

— Дашка смешит, — сказала Варвара.

— Ничего я, — отозвалась Даша, кладя на спиртовую машинку завивальные щипцы.

— Да! ничего! Небось громко не скажешь?..

— Ничего и есть... Только то, что вы дуры, а больше ничего...

— Она говорит... Она говорит... — ртом, искривленным и в пузырях слюны, едва вымолвила Феклуша и опять закудахтала, сгибаясь к полу.

А за стеною новою истерикою взорвало Глафиру.

— Что я говорю? Только примету сказала, — улыбнулась Даша. — Виновата я, что ли, какие приметы бывают?

— Это — она насчет того, что барышня Тихонов костюм надела, — засмеялась Варвара.

— А разве нельзя? — широко открыла Соня глаза удивленные, и оттого красивые, и наивные еще больше всегдашнего.

Девушки опять оглушительно загоготали.

— Да ну вас! Точно гусыни! — крикнула на них Лидия. — Что это? Говорить нельзя!

— Ой, умру, барышня! ой, умру! — стонала Феклуша.

— Отчего нельзя? Мало ли примет... со всеми не прожить, — серьезничая, сказала Даша. — Эту я узнала, когда я на фабрике в Серпухове работала, а в других местах и не слыхивала... На фабрике, барышня, бабы примету сделали, что — ежели которая девушка с чужого мужчины одежду одевает, беспременно ей когда-нибудь с ним спать.

— Mes compliments, ma belle! * — засмеялась Лидия.

Зеленоватые глаза ее вдруг блеснули, и рот сложился тем странным и неприятно-сладостным выражением, которое иногда так напоминало в ней хорька...

Соня облилась румянцем.

— Какие глупости!

— Вот я им и посмеялась, что Варвара больно брату фартит, — барышню ему подводит.

— Соня, а вдруг? — хохотала Лидия.

Глаза ее разгорались и влажнели, а румянец, разливаясь от вспыхнувших щек к ноздрям, все более и более заострял чувственную хорьковую гримасу, которою теперь мечтательно дрожали ее длинный белый нос и губы.

— Соня? а? Вдруг твоя судьба стать madame Постелькиной? Нет, постой. Это я нарисую. Это надо нарисовать. Дарья, подай сюда мой альбом. Ах, я люблю штриховую карикатуру… Погоди же ты у меня, погоди! Вот я тебя нарисую... Ух как я тебя, madame ты моя Постелькина, потешно нарисую...

— Вы — что смеетесь, барышня? — сказала Варвара, немножко уязвленная. — Разве не бывает? У нас по соседству, в Ряпушкином, барышня Травух за свово конторщика замуж вышла... ей-Богу! Богатая, из немецких баронш, а полюбился, и вышла. А куда же ему до Тихона? Как есть мужик. Тихон пред ним — сокол, одно образование. Погодите: он к весне по-французскому будет говорить... не кто другой, барышня же Соня и учит.

— Ну не говорила я, что подводит? — воскликнула Даша, подавая Лидии альбом, и хлопнула по бедрам руками.

Дружный смех охватил ее слова. Лица горничных оживились, раскраснелись, глаза заискрились. Воображение супружества красивой, богатой образованной барышни Сони

* Мои поздравления, красавица! (*фр.*)

с Тихоном Постелькиным, который, как ни отличай его господа и как ни превозвышай его в мечтах своих Варвара, а все же — только мещанин Постелькин, приказчик суровской лавки и брат горничной, — всем нравилось своей необычностью, — приятно щекотало самолюбие и чувственность... Они столпились около Лидии, которая быстро чертила в альбоме карандашом, заглядывали через ее плечо, толчками отбивали места одна у другой.

— Господи, какие вы идиотки!.. — лениво говорила им Соня, качая головою. — А тебе Лидия, точно ты маленькая, — только бы шалить.

— Это, — протяжно и посмеиваясь, объясняла выходящий из-под карандаша рисунок Лидия, с влажно светящимися глазами, пылающая тяжелою, будто не своею, а хмельною краскою щек, — mademoiselle Арсеньева принимает объяснение в любви от monsieur Постелькина.

— Мусье!.. — в радостном восторге взвизгнула Феклуша. — Тихон Гордеевич — мусье!

— Он стал на колени... Она, подобно круглой луне... ты ведь ужасно похожа на полнолуние, Соня!.. подобно луне, благосклонно слушает его с своей высоты... В руках у него лестница.

— За... за... зачем? — захлебнулась смехом Глаша.

— Надо же им поцеловаться после объяснения... он — маленький, а Соня — дылда! Он пропоет ей серенаду и потом поднимется по лестнице к ее алым устам...

— Тихон Гордеевич совсем не такой маленький, — наивно возразила Соня. — Он для мужчины не велик ростом, а вовсе не меньше меня... его платье мне отлично пришлось: вы видите.

Новый взрыв хохота прервал ее.

— Заступилась!

— Барышня заступилась!

— Не дает поклонника в обиду!

— Барышня влюблена!

— Ах, Варька! везет тебе, оглашенной!

— Совет да любовь!

— Слушайте! слушайте! — вскричала Лидия, выдирая испорченный листок из альбома и разрывая его на мелкие кусочки.

— Слушайте и смотрите! Семейное счастье молодых Постелькиных... Во-первых, стол и самовар... сам сидит и хлебает чай с блюдечка... так ведь?

— С блюдечка, — это кто вприкуску, а Тиша пьет внакладку, — поправила Варвара.

— Отлично: пусть его пьет внакладку... Дадим ему внакладку... дадим внакладку-у-у... Над столом, конечно, клетка с канарейкою...

— Это уж беспременно.

— Теперь сама... Она сидит на кровати, — кровать, понятно, деревянная, одр двухспальный.... Бр-р! Всегда в таких одрах — клопов нет числа... Жаль, нельзя нарисовать клопов, как они тебя грызут, Сонька... Полог, одеяло из ситцевых лоскутков, и подушек много, много, много.

— О-о-о-ох! — стонала Феклушка.

— Да... все говорит о благолепии, мирном согласии, совете и любви... В красном углу Божье благословение... огромнейших размеров... На полу, само собою разумеется, кот... вот ему хвост трубою, — и с котом играют дети.

— Га-га-га-га-га-га!..

— Сколько тебе детей, Соня? Двоих довольно?

— Какая ты... глупая!

— Браниться? Вот же тебе за это еще одного.

— Валяйте, барышня, больше: прибавьте, чего жалеть... люди молодые! — взвизгнула Даша.

Выдумка нра́вилась все больше и больше.

— Га-га-га-га-га!

Феклуша и Глафира даже не смеялись уже: они сели на пол и беспомощно пищали, как подпольные мыши, втянув

носы между выпученных щек, — глаза ушли щелями под лоб, — они колотили пятками по ковру и махали руками.

— Да будет, полно, наконец! Ведь ты их уморишь, — крикнула Соня от зеркала, перед которым Варвара опять бесцеремонно вертела ее, как рулевое колесо, заново подвивая раскритикованные Лидией вихры.

— Барышня! — крикнула Даша, утирая раскрасневшееся лицо. — Вы нарисуйте... слушайте-ка... я скажу... Пусти, Глаша!

Она фамильярно наклонилась к уху Лидии и проворно зашептала ей, перебивая шепот смешками и взвизгиванием.

Лидия сделала хитрую гримасу, засмеялась, захлопнула альбом и ударила им Дашу по губам.

— Сама рисуй! дрянь! — сказала она, вставая. — А затем, если ты, Соня, готова, то будь любезна — одень шубу, забирай Феклушу и — шваммдрюбер! * Пора, наконец, и мне заняться своею красотою. Я сегодня в ударе и желаю видеть у своих ног все население земного шара и еще несколько человек.

XXVIII

С изумлением глядели важные торжественные предки княгини Палтусовой с потемневших полотен фамильной галереи на пеструю и разночинную толпу, разлившуюся по старым палтусовским палатам на Малой Дмитровке. Старушка-княгиня предоставила под вечеринку весь свой парадный бельэтаж, а сама заперлась было с приживалками своими в жилых комнатах верхнего этажа. Но потом — любопытство одолело, не вытерпела: пробралась с приживалками же на темные хоры двухсветного зала, и вот — высоко над бес-

* Замнем (оставим) это! (разг. *нем.* Schwamm drüber)

нующеюся толпою висели из-за перил пять старушечьих чепцов, пугливо скрываясь в тени, как скоро кто-либо снизу обращал на них внимание. А посмотреть было на что. Турки, черти, медведи, паяцы, чумаки, астрологи, рыцари, арапы, китайцы, матросы, пажи, польски панны, испанки, обезьяны, арлекины, пьеро, цыгане, коломбины, русские мужики и бабы, мордовки, грузинки, черкесы — в ярком свете висячих люстр и стенных бра, — развили огромнейший grand rond *. Отраженным в глубоких зеркалах вихрем мчался он через длинный ряд исторических покоев, под гром и визг весьма посредственного оркестрика, заимствованного Квятковским тоже у одной из бесчисленных его тетушек... Разрезвившийся зеленый Мефистофель — Квятковский во главе круга скакал совсем козлом каким-то; безжалостно влачимая им дама, Любочка Кристальцева, запыхавшаяся и растерянная, едва успевала перебирать ногами, чтобы не потерять такта...

— Messieurs, à vos dames! **

— Balancez! ***

— Changez les dames! *1

И в промежутках дирижерской команды Квятковский еще умудрялся с чувством декламировать Любочке, одетой пастушкою:

Я — бедная пастушка,
Весь мир — мне этот луг,
Овечка — мне подружка,
Баранчик — миль и друг.

Chaine chinoise!.. Plus d'entrain, mesdames et messieurs, plus d'entrtain! *2

* Большой круг (фигура в танце; *фр.*).

** Господа, к своим дамам! (*фр.*)

*** Раскачивайтесь! (*фр.*)

*1 Поменяйте дам! (*фр.*)

*2 Китайская цепочка!.. Весьма задорно, дамы и господа, весьма задорно! (*фр.*)

Овечка — мне подружка,
Баранчик — милый друг...

Кстати о баранчиках: вас, дорогая, Любовь Семеновна, говорят умные люди, можно поздравить как будущую madame Бараницыну?

— Боже мой, как вы бежите, Квятковский... Я умру... Я задохнусь... От кого вы знаете?

— Вот еще: мне бы не знать? Я — дух вездесущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог...

— Ай, у меня голова кружится... Мы решили ничего не объявлять официально до весны, — Адриан Иванович получает в апреле казенную командировку...

— Полезно и приятно для свадебного путешествия... Dos à dos, s'il vous plait! *

— Что? какого дьявола? как? — жалобным басом крикнул кто-то из дальнего хвоста живой гирлянды.

— Надо думать: не из французов... — с кротостью обратился Квятковский в ту сторону. — Бурст, будь любезен, сообщи почтенному иностранцу, в чем наш магический секрет...

Бурст оглянулся и, усмотрев недоумелую пару, беспомощно толкавшуюся на месте, тормозя круг, рявкнул к ней голосом трубным:

— Спинами! спинами, черти! Рафаилов! Корчагина! Спинами!.. О публика! Еще тореадором оделся! Спина к спине становись, тореадор!

Тра-та-ра-та-тá-тá, тра-та-ра-тá-тá,
Тра-та-ра-та-тá-тá, тра-та-ра-тá-тá.

Он выделывал па с немецкой старательностью, веселясь с тою радостною добросовестностью, какая свойственна исключительно людям тевтонской крови.

---

* Спиной друг к друг другу, пожалуйста! (*фр.*)

— Вы, Бурст, так аккуратно танцуете, словно вам за это жалованье платят... — клялась ему, летая за ним на могучей его руке, быстроногая и легкая Лангзаммер, звеня бусами и монистами мордовского костюма.

— Так и надо: человек все в жизни должен делать так, будто по чести подряд сдает:

Коль любить — так без рассудку,
Коль грозить — так не на шутку.

— Бурстик, рук не ломать!

— Рахиль, ты мне-е дана небесным Провиденьем...

— Paire à paire, mesdames et messieurs! Paire à paire!.. * Итак, Любовь Семеновна?

Для вас в оранжереях
Зацвел уж флердоранж,
Жених ваш в эмпиреях —
Je vous salue, mon ange **.

— Это что еще! Откуда?

— Под музыку... Вдохновлен кадансом!.. Хотя я не Надсон, не Брагин и даже не Владимир Ратомский, но стихами иногда меня тошнит — впрочем, только вот такими глупыми... Чтобы рифмы кувыркались и показывали язык... Не верите? А между тем меня даже «Стрекоза» печатала... Погодите, я вам сейчас еще экспромт хвачу:

Что наша жизнь? Сплошнои обман!
Здесь рай, а рядом — слякоть:
Коль веселится Адриан,
Владимир должен плакать...

---

* Пара к паре, дамы и господа! Пара к паре!.. (*фр.*)

** Я вас приветствую, мой ангел (*фр.*).

— Ох, Квятковский, какой вы нескромный и как много себе позволяете!

— Да ведь, если я сам себе не позволю, Любовь Семеновна, то кто же мне позволит?.. Нет, вы не говорите страшных слов, а лучше признайтесь — по старой дружбе: как, в самом деле, теперь с поэтом-то?

— Послушайте, но что же могло быть серьезного? Ведь он же в конце концов — все-таки, еще мальчик...

Мальчишка он молоденький,
Зовут его Володенькой... —

запел Квятковский.

— А зачем же взрослые барышни мальчикам головы кружат? Вы, коварная изменница, не боитесь?

— Чего?

— А если вдруг — чок! и «с пулей в груди лежал недвижим он»?

— Какие вы придумываете ужасы!.. Разве можно? Он мальчик неглупый, не способен... да и ничего не было между нами такого, чтобы...

— Да! да! Рассказывайте! Так вы и признались... Partage-e-e-ez! *

— Квятковский! осип уже: смотри, глотку сорвешь! — крикнул Борис Арсеньев из нетанцующей толпы, но Квятковский только мимолетом гримасу ему скроил и поскакал, неистово козлякая, далее.

— Как вы странно сегодня танцуете! — заметила ему Любочка, — на средах в дворянском клубе вы совсем другой.

— Да ведь там — вроде службы или священнодействия. А здесь — для собственного удовольствия и чтобы поддер-

* Разделяйтесь! (*фр.*)

жать компанию. В демократическом духе царя Давида. Скакаше, плясаше веселыми ногами. Не хмурьтесь гордою Мелхолою: это не в тоне вечеринки... Cavaliers, solo!.. * И покайтесь мне относительно Владимира Ратомского... Petits ronds! **

— Я пред ним не виновата. Он первый начал от меня отдаляться, — говорила Любочка Кристальцева. — Он в последнее время, говорят, ведет очень дурную жизнь... и вообще стал странный... Вы посмотрите: он и здесь держится как-то не похоже на самого себя, какой он был прежде... Скучный, вялый и дикий — словно все ему чужие... Ко мне он даже поздороваться не подошел.

— Voyageons!.. *** О женщина! Съела человеческое сердце, как котлетку, и еще изволит быть в претензии, что он, неблагодарный, не идет на поклон.

— Неправда, никакого сердца я не съедала... Мы объяснились очень мирно и спокойно... Если вы хотите полной откровенности, то я даже была немножко уязвлена и обижена, как вяло и равнодушно он принял... Точно сонный.

Володя Ратомский, правда, и теперь был точно сонный. Он влачил за собою младшую Бараницыну — девицу нарядную и недурную бы из себя, но с такою странною пухлостью лица, точно у нее свинка или осы ее покусали, — совершенно машинально, по-видимому, мало помня даже, с кем он танцует, так что барышня, обидевшись, стала тоже надутая, скучная и злая. Похоже было, будто молодой человек очень болен или озабочен тяжелым житейским недоумением, которое тайно точит и борет его волю... Антон Арсеньев, — один из немногих не-

---

* Кавалеры, соло!.. (*фр.*)

** Малые круги! (*фр.*)

*** Передвигаемся!.. (*фр.*)

костюмированных гостей вечеринки, — подметил необычайное выражение лица юноши, заинтересовался и прицепился с разговором:

— Давненько мы с вами не видались...

— Да, я стал домосед, почти не выхожу из своей комнаты, — быстро, будто оправдываясь, и все-таки вяло сказал Володя, почему-то старательно избегая встречаться глазами с пытливым пристальным взглядом Арсеньева, будто ожидал, что тот вычитает всю его душу.

— Работаете?

— Да, кое-что... нет, впрочем, больше так...

— Гм... это, конечно, тоже занятое — «больше так»...

— Ужасно много сплю... зимняя спячка напала... как на медведя или сурка! — попробовал пошутить Володя, но оно как-то не вышло, и он покраснел, а Антон смотрел на него серьезно, как в препарат анатомический, и медленно говорил:

— Это хорошо. Вам надо много спать. Много спать, есть и пить старое красное вино. У вас вид человека, тратящего слишком много физической энергии. Не злоупотребляйте гимнастикой, мой друг, и не слишком усердствуйте любить женщин.

Володя пробормотал что-то, недовольный и смущенный, и отошел, воспользовавшись окликом из ближней студенческой группы... Антон вслед ему прикинул на глаз его красивую, зыбкую походку с нервными подергиваниями спины, вспомнил его утомленные, с влажным и тусклым блеском глаза, скрытные и нечистые, и с хладнокровием привычного наблюдателя сказал Илиодору Рутинцеву — в великолепном синем костюме маркиза Позы.

— Мальчишка до ошаления влюблен в кого-то. Грубо, страстно влюблен — всем телом, весь захвачен, и ничего, кроме любимого тела, ему уже не надо, не важно!.. Как галлюцинат, бродит: вся память завалена телом... чувственник...

Любопытно, какая победительница его одурманила? Судя по тому, что конфузится и скрывается, надо полагать, тип не из важных.

Рутинцев пожал плечами.

— Вертепная дрянь какая-нибудь. Они с Квятковским все по притонам разным скитаются... Связался черт с младенцем!

Арсеньев подхватил.

— А, очень вероятно! Покорил сердце погибшего, но милого создания. Это к нему идет... Ох-ох-ох... «Все там будем, брат Аркадий...» Знаешь, в студенческие годы всегда бывает период такого спорта — спасать падших... Потом ужасно стыдно вспоминать, но пройти через эту полосу — почти неизбежно... иначе — как-то молодость не полна...

Рутинцев сочувственно кивал головою.

— Дороговько обходятся иногда нашему брату эти спасательные эксперименты.

Антон равнодушно зевнул.

— Qui ne risque rien, n'a rien!..* Здравствуйте, Бурст, — пожал он протянутую длань.

— Каким это чудаком вы вырядились? — с покровительственною усмешкою и довольно свысока спросил Рутинцев, осматривая колоссальную фигуру техника, мохнатую и косматую в волчьих шкурах. Зато богатырскую мускулатуру своих рук и ног Бурст, — недаром смеялась над ним Рахиль Лангзаммер! — действительно, не пожалел обнаружить: ноги в трико — выше колен, руки голые — до самых плеч. Федос поиграл огромным молотом, который держал на плече, и самодовольно возразил:

— Скандинавский молниеносный бог Тор... потому что — товарищи, оба — по кузнечному ремеслу...

---

* Кто не рискует, тот ничего не имеет!.. (*фр.*)

— Очень приятно слышать. А я было понял вас не Тором, но Адамастором.

— Чего-с?

— Мысом Доброй Надежды... Знаете, из поэмы Камоэнса? Адамастор, лохматое чудо океана... и прочее?

Бурст посмотрел на Рутинцева глазами, внезапно холодными и опасными...

— Вы так можете? — спросил он, высоко подкинув свой молот над головою и ловя его на лету одною рукою.

— Так?

Рутинцев попробовал.

— О, да его едва поднять... о черт!.. нет, конечно, не могу... сколько в нем?

— Пуд, — спокойно отвечал Бурст. — Вот видите, — а позволяете себе надо мною острить.

И прошел дальше, оставив Рутинцева хлопать глазами.

— Мой любезный Илиодор, — насмешливо мямлил ему между тем Антон Арсеньев, — я решительно не могу поздравить тебя с удачею твоего каламбура...

Рутинцев хмурый, с закушенной губою, был очень озлен, но природное добродушие взяло верх над досадою, — и глаза его развеселились, и он почти непроизвольно расхохотался.

— Этакое дупло! — воскликнул он. — Этакое несуразное, дремучее дупло!.. Но даром это ему все-таки не пройдет: не спущу-с… не спущу-с...

— Только ради Бога, — шутил Антон, — если дуэль затеешь, то в секунданты меня не зови: не пойду...

— Разве ты принципиально против дуэли?

Антон пожал плечами.

— Как можно быть принципиально против оспы или дифтерита? Отрицай их, сколько хочешь, но раз заболел, ничего не поделаешь: надо болеть... Не то, — но я дал себе слово, что я буду секундантом только на одной дуэли и у одного

человека... Здравствуйте, Федор Евгениевич! — кивнул он в толпу проходящему Арнольдсу. — Как поживаете? Что же вы не в костюме?

— Мундир ношу... — мне нельзя... — сухо пробормотал артиллерист.

— Евлалия Александровна с Георгием Николаевичем в чайном зале, — любезничал Антон, — я только что оттуда.

— А вы что — докладчиком, что ли, здесь поставлены? — грубо усмехнулся офицер.

Губы Антона дернулись легкою судорогою.

«Ага? И ты, брат, съел?» — не без злорадства подумал про себя Рутинцев.

А между Антоном и Арнольдсом тем временем происходило что-то странное.

Пользуясь движением толпы, офицер, как бы машинальным движением, неожиданно увлек за собою Арсеньева и на ходу снизу таращился на него своими выпуклыми белками, уставляя их прямо в глаза Антона.

— Не удастся вам это, — сказал он с бурым лицом и опущенными усами.

— Что такое?.. — с почти брезгливым испугом отшатнулся Антон, невольно отводя свой взгляд от его оловянного, жестокого взгляда.

— Не удастся вам... — повторил Арнольдс.

— Позвольте... я не понимаю...

— Не допущу скандала, который вы затеваете...

Антон уже овладел собою. На твердые слова Арнольдса он отвечал теперь совсем иным взглядом и тоже в упор, — дерзким, мрачным, враждебным...

Тот выдержал натиск бурного взгляда, как каменная стена.

— Вы здесь ради скандала, — твердил он, вы хотите устроить Брагину скандал... Я знаю и не позволю вам... Вы знаете меня: я слово умею держать твердо... вам придется иметь дело со мною.

Глаза Антона вспыхнули. Он выдернул свою руку из-под руки Арнольдса жестом настолько резким, поднял ее так высоко, что Арнольдс невольно отшатнулся, чтобы локоть Антона не задел его по лицу, — и сам весь ощетинился угрозою. Но то было лишь на мгновение. Антон вдруг вспомнил что-то, передумал и погас так же быстро, как было воспламенился. Он опустил голову, гримаса бессильной злобы кривою молнией осветила его губы и молнией же исчезла, — а потом, в ту же секунду, он взглянул в лицо Арнольдса уже совершенно ясными глазами, полными наивного и как бы веселого недоумения.

— Федор Евгениевич! — вскричал он, — голубчик! Да о чем вы? Ей-Богу, так меня стукнули... Что вам, родной, мнится? Ум за разум заходит... воля ваша, ничего не понимаю.

— Не голубчик я вам, — проворчал Арнольдс. — И не родной.

— Брагин... не допущу... какой-то скандал... — продолжал удивляться Арсеньев, дружески помахивая недавно почти уже угрожавшею рукою. — Да — с какой стати? Белиберда какая-то... простите за выражение, добрейший!.. Я не хочу обидеть вас, Федор Евгениевич, потому что очень уважаю вас... вы даже и подозревать не можете, как я вас люблю и уважаю: влеченье, род недуга... как у Репетилова к Скалозубу... то есть, к Чацкому... к Чацкому, разумеется... Или кто бишь раньше-то с Репетиловым встречается? Чацкий или Скалозуб?.. Но вы бредите, дорогой мой, клянусь вам, вы сны наяву видите, вы больны...

— Зачем вы здесь? — резко спросил Арнольдс. — Зачем вы здесь? До сих пор вы никогда не бывали на подобных вечерах и собраниях. Здесь не ваше общество и не ваши симпатии. Зачем вы здесь? Когда я вошел, мне сразу бросилось в глаза ваше зловещее лицо... У вас намерения скверные, — я вас чутьем насквозь понимаю. Зачем вы здесь?

— Фу, черт! — искренно хохоча отвечал Антон. — Право, Федор Евгениевич, если бы не от вас, я мог бы обидеться... и, знаете ли, обижать меня безнаказанно — не так-то легко... Я парень не из робких и не из добряков... Но против вас — я бессилен и безгневен, я агнец, я ребенок... слишком вас люблю и... и... и уважаю!.. Зачем я здесь? Да просто, — любопытствую видеть плоды изобретательности Макса Квятковского... ведь мы же с ним в амикошонах состоим, друзья-приятели... Дамон и Пифий, Орест и Пилад!.. Что тут удивительного?.. Что тут необыкновенного? — спрашиваю я вас.

Глаза его тревожно бегали по толпе, выискивая кого-то. Он нашел — и продолжал уже спокойнее...

— И еще я здесь потому, что того желала моя приятельница, Нимфодора Артемьевна Балабоневская... Извольте знать? Ce que femme veut, Dieu le veut *. Мы условились непременно встретиться с нею сегодня на этой вечеринке, и вот-с я жду ее появления и нахожу, что она опоздала против обещания уже, по крайней мере, на три четверти часа... А, впрочем, позвольте: вот эта дама там, в дверях... в костюме Королевы Ночи... вуаль с золотою луною, черное платье, усыпанное звездами, — кажется, она? Ну разумеется, она... Простите, я должен вас покинуть... Н-да-с... вот зачем я здесь, если уже хотите знать... А вы вообразили... нет, вы чудак!.. нет, вы совершеннейший... вы — больше меня чудак!..

И, с дружеским кивком оторвавшись от Арнольдса, он ловко, как длинный уж, начал пробираться против течения толпы к Балабоневской, а та, издали завидев его, заулыбалась и закивала ему навстречу всеми мятыми ямочками своего круглого, неумного, глазастого, сладострастного лица. Арнольдс проводил Арсеньева взором, и казалось ему, что

* Желанье женщины подобно Божьей воле (*фр.*).

Антон тоже поглядывает на него назад через плечо, и глаза его полны злобою — непримиримою, инстинктивною, стихийною, нерассуждающею злобою сумасшедшего, у которого отняли любимую затею его сосредоточенной мании.

XXIX

Почтенный, сильно павший на ноги от застарелой лакейской подагры официант, в седых висячих бакенбардах при бритых подбородке и верхней губе, в фамильной гербовой ливрее князей Палтусовых медленно двигался из зала в зал, звеня в серебряный колокольчик... Труднее всего было совладать старику с шумом в угловой курильне. Ее сразу облюбовали «демократические элементы» публики с Борисом Арсеньевым во главе, — и она успела уже получить прозвище «говорильни» в противность отдаленному пивному буфету, который окрестили «мертвецкою». Говорильня шумела и галдела, как море. На московскую учащуюся молодежь надвигалась, по слухам, глухая, еще далекая гроза... потолковать было о чем, и лились слова, горячие, страстные... Весь серебряный звон, взывающий к тишине и вниманию, потому что должно было начаться концертное отделение, пропадал втуне среди перебивающих одна другую речей, смеха, иронических замечаний, аплодисментов, шикания... Кривобокий тореадор Рафаилов только-что вскочил было на стол.

— Товарищи!..

Но — в «говорильню» домчался отдаленный взрыв рукоплесканий, потом полнозвучные аккорды, взятые умелою энергическою рукою, а потом — всем знакомый, всеми любимый, сочный баритон:

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?

— Товарищи! — жалобно воскликнул опять Рафаилов, но увидал уже только спины и кудластые затылки товарищей: вся «говорильня», как один человек, — валила в большой танцевальный зал слушать Пашу Хохлова...

А тот уже пел на эстраде под аккомпанемент неразлучного своего Эрарского:

Ворон к ворону летит,
Ворон к ворону кричит:
«Ворон, где б нам пообедать,
Как бы нам о том проведать?..»

Это — началась «воронья» программа Квятковского. А затем и пошли, и пошли вороньи номера. Известный премьер Малого театра, — еще совсем молодой человек, слегка сутулый, лобатый, с большим грузинским носом, человек университетски образованный, интеллигентный и либеральный на редкость между старым актерством, — смеясь, декламировал с крохотной эстрады, окутанной хворостом наподобие вороньего гнезда:

Право, не клуб ли вороньего рода
Около нашего нынче прихода?

Любимый комик от Корша представлял, как писарь, несчастный в любви и потому запойный, чувствительно играет на гитаре, рыдает, пьет водку и поет, поет:

Черный ворон, что ты вьешься
Над моею головой?
Ты добычи не дождешься:
Я не твой, нет, я не твой!

Бас-любитель из Петровской академии, дремучий и в синих очках, ревел голосом, таким же дубравным и огромным, как он сам:

Люблю клевать на могилах,
Люблю и каркать в лесу...

Вороны в пении, вороны в декламации залетали по зале тучею музыкальных звуков. Публика сперва недоумевала, — потом стала смеяться, — потом опять притихла:

— Все вороны да вороны... К чему? Почему? Зачем? Нашли, чем забавляться! Веселая птичка, нечего сказать! Слишком много ворон...

Многие уже зевали. Выдумка Квятковского была готова провалиться, но он не дремал и, едва оживление начало увядать, а лица подернулись скукою, — выпустил главный фокус вечера...

— Кра-а-а!.. — пронеслось по залу вместе с трепетом крыл с такою силою и экспрессией, словно в палтусовские палаты в самом деле ворвалась целая стая совершенно ошалевших ворон. — Кра-а! Кра-а! Кра-а!

Все подняли головы. Под самым потолком, — с одной стороны двухсветного зала — прямо над эстрадою и насупротив той, где укрывались incognito хозяйка дома с своими приживалками, — исчезла фальшивая бумажная стенка, и открылась часть хор, густо декорированных зеленым ельником.

— Кра-а! Кра-а! Кра-а! — неслись оттуда отголоски отчаянной птичьей драки.

Взлетали в зелени и мелькали какие-то черные пятна... И наконец, победив другие, выплыло из глубины на первый план большущее черное пятно: ворона-колосс, унылая, торжественная, безмолвная и глупая-глупая... Грим был великолепен. Толпа внизу зашевелилась, зааплодировала.

— Превосходно!.. Вот это превосходно, как копирует!.. Кто такой?.. Любопытно... А ну?..

А на эстраде Лангзаммер, звеня бусами и монистами, щебетала к публике красивым, высоким своим голосом, чуть-чуть картавя по-еврейски на каждом «р»:

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок.
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Из толпы выделился огромный и косматый в своем гриме Тора, сразу заметный со всех концов зала, Федос Бурст, — полез на эстраду через хворост, как мальчишка на плетень, умышленно не долез, оборвался, повис одною рукою, а другою уставил указательный перст на хоры в ельнике и завопил завистливо, благим матом:

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру!!!

Роль его этим диким ревом и кончилась. У вороны в гигантском клюве оказался действительно целый шар красного голландского сыра...

Держала сыр во рту призадумавшаяся ворона мастерски типично; в публике даже профессиональные артисты не выдержали — улыбались... Старушка княгиня на хорах, забывшись, высунулась над перилами и счастливо хлопала ладошками, как младенец, и ей вторили приживалки. Полудетский смех Сони Арсеньевой звучал через весь зал, и лицо у нее стало такое блаженное, что все оглядывались на нее и улыбались, как огромному ребенку.

Лангзаммер уже договорила:

На ту беду лиса близехонько бежала...

Между зрителями гибко вьющеюся стройною фигуркою, — зашитая в рыжий мех, — уже скользила миниатюрная, тоненькая, изящная двуногая лиса. Ловким и быстрым, истинно звериным прыжком, вскочила она на эстраду, — и сразу всем понравилась, хотя никто ее не узнал: лисья мордочка-маска опускалась низко на лицо, так что в прорези меха сверкали только живые зеленоватые глаза

да острые белые зубы... Лангзаммер декламировала содержание пантомимы:

Лисица видит сыр — лисицу сыр пленил!
Плутовка к дереву на цыпочках подходит,
Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша...

Лиса не только вертела хвостом и бегала на цыпочках, но и трогала лапками мрамор колонны, над которою гнездилась в ельнике ворона, — и прыгала, как бы стараясь вскочить на канделябр, сиявший между нею и хорами... С каждым движением лиса все больше и больше нравилась публике.

— Кто такая? Кто такая? — шел громкий говор по залу.

— Должно быть, из балета которая-нибудь. Квятковский пригласил, у него масса этих знакомств.

— Удивительно грациозна!

— И как хорошо схвачено!.. какая точность жеста!

— Ишь извивается... забористая!..

— На том стоят!

Лисица, между тем истомленная аппетитом к сыру, легла на все четыре лапки красивым и уморительно плачевным движением голодного отчаяния. Зал так и грохнул смехом. Над тысячью оживленных лиц — угрюмою осталась только величественная ворона в еловых ветвях: она топорщилась все важнее и важнее, все глупее и глупее, все унылее и унылее, будто церемониймейстер бюро погребальных процессий на похоронах первого разряда... На нее снизу смешливые люди уже остерегались смотреть: так смешила эта черная нелепая фигура с красным шаром во рту.

Лиса заговорила:

Голубушка, как хороша!

Высокий голос ее звучал мягко, звонко, слащаво, с московским аканьем, с чуть слышным и почти приятным пришепетыванием...

— Да это Лида Мутузова! — вскричала Соня Арсеньева, — так что опять все на нее оглянулись.

А лиса пела:

Ну что за шейка, что за глазки,
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки, какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок.

Ворона проявила признаки самодовольного оживления, подняла нос, от чего красный сыр торчал вверх еще курьезнее и будто наглее, затрепетала крылами...

Спой, светик, не стыдись!

Соня Арсеньева от восторга уже даже всхлипывала и привизгивала как-то, навалившись щекою на терпеливое плечо кротчайшей старухи Бараницыной, рядом с которой она сидела, с начала вечеринки отдавшись под ее опеку...

И на приветливы Лисицыны слова, —

читала Лангзаммер, сама кусая губы. —

Ворона карк...

Но тут ворона, — как-то особенно франтовски подобравшись и встрепетавшись, вдруг и впрямь каркнула во все воронье горло — раздирающим, скрипучим, хаотическим голосом, наполнившим весь зал... Шар красного сыра бухнул с хор, лиса подхватила его на лету и, огромным прыжком перескочив эстраду, побежала вон из зала под руку с Федосом Бурстом... И грянуло целое вавилонское столпотворение рукоплесканий,

топота, грохота. Кто-то даже со стула свалился в бессильном болезненном хохоте, и, поднимаясь, только стонал беспомощно:

— Ох, довольно... ох, ворона!.. ворона!.. ох, лиса!.. ох, ох, ох!..

Развеселившаяся публика требовала повторения... Квятковский, сняв воронью маску, лисица Мутузова, Бурст и Лангзаммер раскланивались с хор.

— А повторять не надо, не надо, господа — твердил Квятковский, — испортим впечатление... Non bis in idem *, сколько бы ни кричали bis. Теперь публика нашей вороньей вечеринки не забудет. И — скорее снова — танцы, танцы, танцы!.. чтобы не дать увядать веселью и не расхолодить оживления!

Оркестр грянул ритурнель кадрили. Пары задвигали стульями... Кривобокий тореадор — Рафаилов, с мрачною суетливостью близорукого и теряющегося в толпе человека, метался по залу, как летучая мышь.

— Куда, красавец молодой? — окликнул Бурст.

— Визави ищу...

— А твой неизменный Работников?

— Негоден к употреблению. Отправился в «мертвецкую» для порядка, но оказался пьян...

— Ну не страдай, муж слепорожденный, вот тебе визави...

Бурст кивнул невысокого роста турку, неподвижно стоявшему у колонны близ эстрады чуть не с начала вечера:

— Тихон, что нос повесил? Кати сюда! Кадриль отколоть можешь?

— В состоянии! — радостно отвечал Постелькин.

— Фигуры не переврешь?

— Эва! Даром, что ли, Манохину деньги платил?

— Ах как вы меня выручили! — закланялся ему в пояс Рафаилов, близорукий до неспособности размерять энергию собственных движений.

---

* Нельзя дважды о том же самом (*лат.*).

— Только у меня дамы нет? — с жалобным уже видом обратил Тихон на Бурста вопросительные глаза.

— Будет дама! Лангзаммер, не удостоите ли сего молодого индивидуя кадрилью?

— Танцую, душечка, с Владимиром Ратомским.

— Ах как мы аристократичны!

Оборвался Бурст и еще на двух предложениях — и уже не как с Лангзаммер, не потому, что дамы в самом деле танцевали, а просто потому, что, проэкзаменовав на глаз незавидного кавалера в дешевеньком костюме из табачной лавки, гордые девы обижались, надувались и холодно отказывали. Тихон Постелькин повесил нос. Танцевать кадриль ему хотелось страшно. Бурст посмотрел на него, и ему стало жаль парня, которого он сам же взбудоражил на танцы.

— Погоди, брате, — сказал он, окидывая зал соколиным оком. — Погоди! есть у нас в запасе дама, — та не откажет... Кажется, на твое счастье не занята... Пойдем-ка!.. Такая дама... жоли!.. * Мы, брат, еще всем нос утрем... знай наших!

Он пробрался к Соне Арсеньевой и объяснил ей, что надо выручить бедного кавалера, оставшегося без дамы и робеющего ангажировать незнакомых барышень. Соня улыбнулась навстречу Тихону с обычною своей ласковостью и дружелюбием.

— Ах, с удовольствием! — сказала она Бурсту. — Я ведь очень люблю танцевать, только меня редко приглашают, потому что я такая ужасно большая и не умею разговаривать — со мною очень скучно...

— Ну, повел автобиографию, Божий младенец!.. — отходя, бормотал Федос.

А Божий младенец смотрел на кавалера-турка во все свои широкие глаза и изъяснял:

— Мне еще, Тихон Гордеевич, вас благодарить надо. Это я вам обязана, что я здесь. Без вашего костюма мне нечего

---

* Красивая!.. (*фр.* joli)

было одеть... Отличный костюм, очень удобный. Жилет немножко узок, так что Варя распустила, но вы не бойтесь, что мы испортили: завтра зашьем, и будет, как новое...

На этот раз grand rond повел старший Рутинцев в паре с Ольгою Каролеевою, которая на вечеринку явилась настолько ослепительною маркизою, что сестра Евлалия даже сделала ей замечание:

— Разве можно так?

— А почему нет?

— Слишком шикарно и богато... Ты принижаешь своим туалетом общество... Он тысячу рублей стоит, а здесь собрались повеселиться люди, которые на тридцать рублей в месяц живут и учатся... На стоимость твоего костюма можно прокормить троих целый год. Ты думаешь, этого не понимают?

Ольга насмешливо осмотрела сестру и сказала:

— То-то ты сегодня такою монахинею. А белый кашемир тебе отлично идет... И никаких украшений?

— Да — зачем же? Что я буду смущать людей денежною выставкою, как живая витрина?

Ольга приняла слова сестры целиком на свой счет, презрительно прищурилась и отрезала, надув губы:

— Витрина так витрина... Вот — у меня есть, а у них нет, — значит, и пусть смотрят, завидуют и страдают...

«Вороны» Квятковского — после представления басни — имели полный успех и овладели умами. Сыпались остроты и каламбуры — все с «воронами». Старались говорить фразами, в состав которых непременно входили «вороны». В буфете уже качали на руках двух Вороновых, одного Воронцова и хохла Воронюка. Вино спрашивалось исключительно воронцовское. Бурст взял лейку и лил через нее пиво из бутылки прямо себе в горло.

— Через воронку! — с истинно немецким лицом объяснил он любопытствующим.

Покачали за изобретательность и его.

— Братцы, — кричал кто-то, — братцы! А меня-то? А меня? Я из Воронежа! А меня?

Квятковский — усталый и вполпьяна — сидел в буфете верхом на стуле, пил холодное шампанское и восклицал, торжествуя свою воронью победу.

— Кончено! Я имею место в природе. Карьера определилась... Звукоподражатель Егоров... Скворцом свищу, сорокой прыгаю!.. Человек-ворона!.. в первый раз в Европе!.. Вне конкурса и подражаний... по 25 рублей разовых за выход... и бенефис!

Владимир Ратомский держал Антона Арсеньева за пуговицу фрака и говорил ему, мрачно блестя полуискренними, нетрезвыми глазами:

— Я удивляюсь, как люди не понимают... Почему, если интеллигент, то должен любить интеллигентку? Фауст был великий ученый, но полюбил Маргариту... простую мещанку...

Антон, язвительно наблюдая его побледневшее, искаженное быстрым хмелем лицо, поддакивал:

— А король Кафетуа влюбился даже в нищую.

В «говорильне» — то пели хором, то прыгали на столы, и опять лились речи, — речи нестройные, громовые, то гордые, то слезами напитанные, речи... Борис уже надсадил себе горло до хрипоты; необычайно красный от веселого возбуждения толпою и словом, — вина он не пил ни капли, — с огромными, округленными, брильянтовыми глазами, он сейчас удивительно походил на сестру, которая тем временем — совсем такая же — без устали танцевала в главном зале. Все знакомые удивлялись, как Соня «разошлась»: не стало и помину о привычной ей лени и флегме. После Тихона Постелькина она танцевала с Бурстом, с Володею Ратомским, с его кузеном, художником Константином Ратомским, опять с Тихоном Постелькиным, с Квятковским, с обоими братьями Рутинцевыми, с каким-то едва знакомым студентом, и все покидали ее с веселым недоумением:

— Софью Валерьяновну сегодня подменили... Совсем другой человек.

А художник Константин Ратомский твердил:

— Напишу я ее портрет, говорю вам, непременно напишу... Очень хороша она, преэффектная, право, эта наша Юнгфрау... И я всегда говорил, что из нее будет прок: девочка просыпается...

— Положим, она сегодня мальчик, а не девочка, — поправил Авкт Рутинцев.

— Все равно. «Девочка, которую долго считали мальчиком» — это роман Поля де Кока...

Только в четвертом часу за полночь Лидия Мутузова, давно уже сменившая лисий мех на бальное платье, объявила развеселившейся подруге, что пора ехать домой. Она тоже была в духе: ее успех действительно покорил ей, как она мечтала, «сердца всей вселенной и еще нескольких человек». А больше всего гордилась она, что весь вечер не отходил от нее красавец Мауэрштейн, молодой пианист и композитор, набалованный самыми модными, красивыми и богатыми женщинами Москвы, — лучшая надежда консерватории. В шапке волос, как у Рубинштейна, с глубокими глазами и с раздвоенной бородкою итальянского Христа, Мауэрштейн проводил подруг до подъезда. Выбежав на мороз во фраке и с непокрытою головою, он усадил барышень в извозчичьи сани и долго стоял и смотрел вслед... Потом взглянул на небо, увидел зеленый луч Веги... и красивая, полная влюбленной грусти мелодия родилась и забродила в его творческом мозгу...

— Так можно простудиться, — заметил ему Антон Арсеньев, проходя мимо к своим саням, с закутанною в соболя, шарообразною Балабоневскою.

Мауэрштейн очнулся, вздохнул и медленно побрел обратно в сени...

Лидия Мутузова и Соня Арсеньева поехали домой, усталые и сонные, едва переминая языком, едва двигая ногами.

Заспанная Варвара только рукою махнула на них: какие уж тут рассказы и разговоры! А они нашли в себе сил ровно настолько, чтобы наскоро привести себя в порядок перед сном и добраться до мягких постелей...

— Бух, — и в нирвану! — восклицает Лидия.

— В Нирв... — хочет откликнуться Соня, но голова уже прилипла к подушке: девушка на полуслове потеряла сознание и спит...

И тотчас же потянулась перед Сонею только что покинутая длинная снежная улица — вся в фонарях.

— Не извольте беспокоиться, — говорит ей извозчик, — лошадь у меня вороная.

«Какое мне дело? — думает Соня. —Мне бы не проехать мимо дома...»

— Вы, барышня, к Воронцовым? — пищит с тротуара Дашка и тает в воздухе, и извозчика уже нет, а перед Сонею, кланяясь и расшаркиваясь, суетится незнакомый старичок, который в абонементе оперы сидит от нее направо, через три места.

— Пожалуйте, — приглашает он, — что? Дом Воронцова-Дашкова? Я управляющий, покорнейше прошу. Вам постельку? Рад служить: будьте добры спуститься по машине... Вы не удивляйтесь, что мы так долго крутимся. Теперь в моде устраивать машины воронкою.

— Да, — поддакивает Лидия, кружась вместе с ними. — Галки-воронки... фасон — лисий хвост и вороний глаз...

— Вот, — шепчет старичок, — если вы войдете в эту маленькую дверь, то там стоит чудесная постелька из вороненой стали... теперь принято, чтобы из вороненой стали.

— Поди, поди! — понукает рыжая, хвостатая Лидия и странно хохочет, скаля белые зубы.

Соне дико и страшно, что она перемигивается со стариком, и смеющиеся, длиные лица обоих кивают, как у китайских болванчиков.

— Не ходите: там клюют на могилах, — внезапно шепчет ей на ухо, проносясь мимо в паре с Ольгой Каролеевой, лобатый актер с грузинским носом.

— Что ты не танцуешь? — сердился брат Антон. — Это глупо. Вот тебе кавалер.

Соня кружится, скачет, но никак не может разглядеть, кто вертит ее по залу, и это ей ужасно неприятно, — тем более, что они потеряли пол из-под ног и взлетают на воздух все выше и выше.

— Теперь всегда воронкою! — кричит снизу, старичок.

— Отпустите меня, я устала, — просит Соня.

— Невозможно, Софья Валерьяновна, — извиняется кавалер, у которого определилось лицо Тихона Постелькина. — Нам с вами надо теперь улетать от вороньего пугала...

Соне жутко и весело, что они мчатся так быстро и высоко.

— Вы не удивляйтесь, что я надушился подэспань, — говорит Тихон, — я ворон, а не мельник, а вот вы — мельничиха, и я вас сейчас заклюю...

Уши Сони наполняются трепетом мягких шуршащих крыл. Ей страшно, странно, радостно и — вдруг — почему-то стыдно, стыдно...

— Не надо больше, Тихон Гордеевич, — шепчет она, — Лидия нарисует вас в альбом.

Но глаза Тихона округлились и завертелись, а нос вытянулся в длинный черный тупой клюв и — мягкою болью — ударил Соню в губы... Она ахнула, и все полетело в бездну...

— Ну и орешь же ты!.. — раздался раздраженный, плаксивый со сна, голос Лидии, и стало слышно, как она чиркала спичками о спичечницу. — О дурацкий дом! — все допотопные традиции! До сих пор не собрались перейти на шведские спички... Ну и орешь же ты! Приятно у тебя ночевать!.. Батюшки! Да она с кровати свалилась!.. Недурно для девятнадцати лет!..

СВАДЕБНЫЙ ХМЕЛЬ

XXX

Евлалию Александрову Ратомскую и Георгия Николаевича Брагина обвенчали в модной по дворянской Москве церкви в Газетном переулке, похожей архитектурою на лютеранскую кирку. Родство и знакомство у Ратомских оказались огромные, а Брагину, хотя и совсем безродному в Москве, удружили газеты, предупредив публику о предстоящей свадьбе популярного литератора. Хвост карет тянулся по переулку до самой Никитской, а в церкви, сиявшей от тысячи свечей, светлее, чем днем, была чуть не давка, хотя пускали только приглашенных. Антон Арсеньев, приехав с большим опозданием, вошел в храм как раз к торжественному моменту, когда священник вел молодых вокруг аналоя. Это самая трудная минута обряда — для брачующихся, когда редко кто бывает не смешон, потому что — благоговение благоговением, а смотреть себе под ноги, — не оступиться бы — тоже надо. Близорукий Брагин был жениховски великолепен, покуда спокойно стоял с невестою, но почувствовал себя несчастным, как только двинулся в круге священник и надо стало применять к его дробно семенящей старческой походке свои широкие шаги. На красивом лице Георгия Николаевича, только что сиявшем радостною задумчивостью, выразилось совсем не жениховское, жалобное смущение. Он шел и думал отнюдь не о будущей «новой жизни», как намеревался пред обрядом, но: «Оттопчу я батюшке пятки или не оттопчу?»

И мрачно догадывался, что непременно — оттопчет. Евлалия, — белое, сверкающее видение, — и тут сохранила величие и грацию молодой царицы.

— Прекрасна, как никогда... — пробормотал Антон Арсеньев, глядя на нее с высоты своего длинного роста через толпу.

Она шла, не опуская головы, не потупляя глаз, — смотрела перед собою смело и гордо, — точно вызывая на бой будущее. Венец в руке шафера — брата Володи — качался над ее головою, блистая, как символ и пророчество победы...

— Шлем Валькирии, — шептал любимое свое сравнение бледный, растроганный, чересчур уже веселый и неестественно улыбающийся Квятковский.

Антону показалось, что синие глаза Евлалии, — глядя тоже поверх толпы, — встретились с его глазами, что она издалека узнала его... Он перестал тянуть шею вперед, опустился с носков на всю ногу, нахмурился.

«Этого недоставало, — озлился он. — Что она теперь обо мне подумает? Сердечкин! Байронист! Этакая гнусь, пошлость... Несчастный влюбленный!.. Взлохмаченный «молодой человек» с картины Пукирева! Как это я еще в шафера не напросился — для полноты эффекта? «Нет, за тебя молиться я не мог, держа венец над головой твоею...» О пошлость, пошлость, пошлость!»

Он повернулся было, чтобы выйти из церкви, но встретил любопытный взгляд Ольги Каролеевой, которая, оплакав все слезы, полагавшиеся ей по штату, как сестре невесты, теперь вертела своею хорошенькою головою вправо и влево, скучая и выискивая знакомых. Антон подумал с досадою: «Недоставало, чтобы эта брильянтовая пигалица завтра трещала на всю Москву: «Бедный Антон Валерьянович был так взволнован, что не мог достоять до конца венчания... бежал! Ну просто словно волки за ним гонятся! бежал!»

И остался.

Женихом и невестою давно уже было решено, — вопреки сильному противодействию Маргариты Георгиевны, — что

после венчания не будет никакого пира и бала, но, заехав домой лишь принять поздравления и переодеться, молодые немедленно проследуют на Брестский вокзал и — в свадебную поездку, за границу. Маргарита Георгиевна все-таки выговорила себе одну льготу: проводить дочь до Голицына.

— Я проеду на денек к Савве Звенигородскому, — помолюсь за твое счастье.

— Мама! Да вы же католичка?!

— Ох, Господи! Какие вы обе с Ольгой придиры! Где костел есть, там я католичка, где церковь — православная: был бы Бог, храм да охота молиться.

— Если вам все равно, — не раз убеждал Маргариту Георгиевну старый-старый друг, Валерьян Никитич Арсеньев, — если вам безразлично, какого считаться вероисповедания, отчего вы не присоединитесь к православию? Отец у вас был русский, польской крови в вас одна капля, по-польски вы едва плетете, москвичка типичнейшая, а почему-то католичка... Какой смысл? Присоединитесь-ка, чтобы в одну семью с детьми...

Она печально улыбалась и говорила:

— Какое у моих детей православие?.. Одно имя!.. Такие равнодушные недоверки вышли... в кого, не знаю... От Алисы Ивановны заразились, что ли, вольтерьянством? Вы мне скажите, Валерьян Никитич: кто такой был Араго?

— Араго?.. м-м-м... ученый... естествоиспытатель... в физике там что-то... и вокруг света путешествовал, кости допотопных чудовищ изучал... Да зачем вам?

— А это она — Алиса Ивановна, когда ее спрашивают, какой она веры, всегда отвечает, что она — по религии Араго... Вот и хочу я знать, что за вера такая?

— Хм... Этот Араго, видите ли, сказал однажды, что для него Бог — гипотеза, в которой он ни разу не встретил необходимости.

Маргарита Георгиевна всплеснула руками:

— Так я и знала, что какой-нибудь фортель в таком роде... Ну погоди ты! Уж отпою я ей, голубке, за ее Араго... Этакая хитрая французская лиса!

— Сколько лет вы бранитесь друг с другом? — улыбнулся старик Арсеньев.

— А сколько лет живет она у меня, столько и бранимся. Бывает, что по три дня не разговариваем.

— Все из-за Божественного?

— Случается.

— Не могу понять, если вы всегда были недовольны образом мыслей Алисы Ивановны, почему вы позволили ей иметь влияние на ваших детей?

— Как же, батюшка, не иметь влияния, если она гувернантка?

— Ну зачем держали такую гувернантку?

Ратомская вздохнула.

— Уж очень старушка-то хорошая. Такой человек сердечный... родных лучше не бывает, — вот какой друг! Вот и сейчас: вместе в монастырь поедем, — заранее знаю, что будет говорить вольнодумства, и поссоримся мы с нею, — а не взять не могу: уж так она моих голубчиков любит, такой прекрасный друг...

— А веры, — продолжала она, — как их разобрать-то? Все люди других людей своими верами попрекают. Я вот Алису Ивановну безбожницей почитаю, а пан ксендз Казимеж — меня, а батюшка наш приходский, отец Иоаким, — ксендза... А все — люди хорошие... В православие перейти мне то мешает, что теперь — я захотела — на Лубянку поехала, в костеле молюсь, а есть мое усердие — еду в Успенский собор, прикладываюсь к мощам... А если я перейду в православие, то в костеле бывать мне будет невозможно: ксендз сердитый, прихожане коситься станут, да и батюшка в приходе попрекнет, что же ты, раба Божия, стала ныне православная, а по старинке в костел шныряешь? А не могу без костела: привыкла — хоть изредка. Люблю!

Володя, когда мать приказала ему сопровождать ее и Алису Ивановну во Звенигородский монастырь, оказался очень недоволен, почти испуган и всячески старался отделаться от поездки, но на старуху нашло, как изредка случалось с нею, то упрямство, о котором поляки говорят: «Кобета ма бзика в глове» *. Напрасно молодой человек клялся и божился, что завтра у него в университете — реферат по государственному праву и что — если он не явится к часу дня, то покроет позором свою голову: хоть не ходи потом весною на экзамен. Упорная старуха не верила и знай твердила:

— Глупости, Володенька, глупости! То по месяцу в университет не заглядываешь, позабыл, как там двери отворяются, а то вдруг приспичило... Референт какой нашелся!.. Не ленись: проводи-ка мать к угоднику, проводи!

— Да вы, мама, пожалуй, разусердствуетесь там, три дня проживете?

— И три дня проживем, если понравится.

— Ну уж это — нет-с! Невозможно! Я и так много пропустил, на меня профессора косятся. Извольте, до монастыря я вас провожу, — но сейчас же, с первым поездом, уеду назад... Тогда я еще успею к реферату... А если вам угодно там оставаться, то лучше я опять за вами приеду, когда вы назначите.

На том и заключили мир. Володя все-таки ходил злой-презлой, а Агаша улыбалась, слушая за дверями.

Антон не поехал к Ратомским на дом и отделался поздравлением новобрачной четы после обряда в церкви.

— Я позволил себе сделать вам маленький свадебный подарок, — любезно сказал он Брагину, глядя мимо его лица. — Не весьма блестящий, зато практический. В суете торжественного дня вы, наверное, позабыли запастись в дорогу одною необходимою вещью.

---

* «У женщины в голове причуда» (*польск.*).

— Право, не знаю... чем, Антон Валерьянович?

— Газетами. Не купили бы их, конечно, и на вокзале. Где же?! Я отправил вам целый пакет: его передаст вам кондуктор в поезде при вашем купе. От сегодня все наши московские издания, вчерашние петербургские и «Temps», «Figaro», «Gil Bias», «Times», «Neue Freie Presse» последней почты.

— Очень вам благодарен, — даже озадачился несколько Брагин, не ожидавший столько предупредительного внимания от своего предполагаемого врага.

Антон откланялся. С Евлалией он обменялся лишь холодным рукопожатием: с обеих сторон не сказано было ни слова.

— Нашли чем угостить! — заметил Антону Квятковский: — Кто же в свадебном путешествии читает газеты?

— Литераторы, — с усмешкою возразил Антон. — Литератор, если он pur sang *, вроде нашего счастливого друга, найдет время прочитать газеты не только в свадебную ночь, но даже на смертном одре, во время отходной. А знаете, почему?

— Ну-с?

— Потому, что этакий литератор, когда видит свежий номер газеты, всегда вожделеет к нему тайною надеждою: а ну, не пишут ли чего-нибудь про меня?

— Ну-с?

Антон пожал плечами.

— Бывает, что и пишут... Я, впрочем, не столько о Георгии Николаевиче забочусь, сколько об Евлалии Александровне. Ехать им долго, долго, долго... пусть прочитает от скуки, до границы материала хватит.

— С молодым мужем, душа моя, не скучают.

— Вы какую певчую птицу больше любите? — спросил Антон.

— Собственно говоря, никакой... А что?

* Настоящий, истинный (*фр.*).

— Попробуйте повесить себе в спальню клетку с канарейкою... Уже на вторые сутки вы, как человек нервный, свернете ей голову. А им ехать трое суток. Так-то-с! Вы, конечно, к Ратомским?.. Mes compliments, meilleurs souhaits, saluts et caetera, et caetera... Et, quant à vous, mon ami, mes adieux! Portez vous bien! *

— Зол ты, друг любезный! ох как зол! — ухмыльнулся вслед ему Квятковский. — Лидия Юрьевна! Что вам мучить себя — задыхаться в карете? Хотите, домчу в одиночке? У меня сегодня Матвей от Малого Эрмитажа... на знаменитом своем сером! Понимаете, чем пахнет?

— Кутите?

— Нет, должен я ему, так вот, — покуда не найду денег расплатиться, — noblesse oblige **: буду с ним ездить, вроде крепостного седока.

— Да ведь долг еще больше вырастет?

— Обязательно. Должен пятьдесят, а наездим на двести.

— А если не найдется денег?

— Он иссохнет на козлах, я на задке — и будем мы метаться по Москве живыми привидениями, наподобие Вечного Жида и Летучего Голландца... Да — нет! шалишь! Есть еще порох в пороховницах и неиспользованные тетки!

А Антон сделался, действительно, болен и зол, — зол непроизвольно и свирепо, до глупости, до пошлости, до испуганного сознания, что он не владеет собою и способен прорваться дикою мальчишескою выходкою. И он спешил уйти от толпы и от своей механической злости, как бегут от глупого врага, которого чувствуешь громадно сильнее себя и сознаешь бесполезность и спорить с ним словами, и бороться телом: надо спасать себя от могучего дурака, как от разъяренной стихии и бежать, бежать... Когда Антон спус-

* Мои поздравления, наилучшие пожелания, приветы и т.д., и т.д. Что касается вас, мой друг, прощайте! Держитесь! (*фр.*)

** Благородство обязывает (*фр.*).

кался с паперти, какая-то глазевшая на свадьбу старушонка тронула его за рукав, — и его всего затрясло.

— Чьих будет невеста-то, батюшка? — услыхал он шамкающий голос, и с губ его сорвался грубый и наглый ответ, глупо неожиданный, голосом, который ему самому показался чужим:

— Дьяволовых, бабушка! Дьяволовых!

— Чтой-то? Окрестись, батюшка! — шарахнулась от него старуха.

А он, с ненавистью глядя ей в испуганное лицо, шипел глупым, подлым, поганым тоном уличного мальчишки:

— Тебе, старой ведьме, пора саван шить, а ты, подлая, по свадьбам шляешься?..

И вдруг — словно варом его обожгло: вернулось сознание, вернулся стыд. Он ринулся с паперти на улицу и шибко-шибко зашагал по тротуару.

«Это не я говорил!.. Это не я ругался!.. — с отчаянием и ужасом твердил он про себя, испытуя отравленною мыслью свой тяжелый, пылающий мозг. — Старуху... женщину... ни за что ни про что... Не я!.. Это что-то внешнее... чужое... Не я!.. Но если не я, то кто же?.. И где во мне граница, что я, что не я?..»

Разобиженная старуха, глядя вслед, хныкала и крестилась.

Последними в группе приглашенных вышли из церкви два литератора — почетные гости со стороны Брагина.

— Славная парочка! — сказал молодой старому, а старый ответил:

— Да, Брагина есть с чем поздравить: прелестную бабенку подхватил... А вот — с сегодняшнею статьею «Передовых известий» я его поздравить не могу.

— Да, в пух разделан...

— И ловко: возразить нечего... Все правда, все правда. Чувствуется предвзятость, тенденция, враждебный умысел,

но — комар носа не подточит: все правда. Талантливая собака писала. Какой-то Лайон... Кто такой? Вы не знаете?

— Нет, из новеньких. В первый раз слышу.

— С зубом, очень с зубом... Я даже удивился «Передовым известиям», как поместили: все-таки Брагин... почти свой человек... и притом, будто нарочно, в такой счастливый для него день... Неловко! Такта нет!

— Зато «Допотопные ведомости» его сегодня же хвалят, — улыбнулся молодой. — Не читали?

— Да неужели? Вот скандал!

— Как же, два столбца... Подписано — Боярин Орша. И тоже, если хотите, очень умно и талантливо... Преумело в свой лагерь его притягивает и в реакционеры зачисляет. Опытная рука!

— Не поздоровится от этаких похвал! — вздохнул старик.

Молодой подхватил:

— Да-с, опаснее самой лютой брани! Брань оттерпеть — это вроде горячки, ну а похвалы в «Допотопных ведомостях» удостоиться — это уже разновидность чумы.

* * *

Когда последняя в длинном ряду карет пропала за углом переулка и толпа зевак поразбрелась уже от крыльца, Агаша — проводив господ на вокзал — еще долго стояла на высоком подъезде, не торопясь в опустелые комнаты. Она любила холод и была довольна, что легкий морозец чуть пробирает сквозь шерстяной лиф разгоряченное целодневными хлопотами и суетнею сильное тело. Кто-то в темноте тронул ее за локоть и окликнул скромным голосом:

— Здравствуйте-с.

На подьезде — ниже двумя ступеньками — стоял Тихон Постелькин. Девушка отшатнулась даже и взялась руками за сердце.

— Ой? Что это вы, право? Откуда так вывернулись? Испугали, ажно дух захватило.

— Извините-с.

— Смотрели нашу свадьбу?

Тихон поднялся на площадку подъезда и стал у перилец рядом с Агашею.

— Смотрел-с. Евлалия Александровна были ангелу подобны.

Агаша самодовольно отозвалась:

— Да — уж наша барышня! Одна на всю Москву.

Оба умолкли.

— Я, собственно, с вашего позволения сказать, Агафья Михайловна, — покашливая, начал Тихон и старался найти плечом ее ускользающее плечо, — я, собственно говоря, — как известился, что господа ваши все уехали и ближе утра домашней необходимости вам не предвидимо, то осмеливался так мечтать, чтобы увлечь вас от сих пенатов вдаль, на предмет променаду?

— Гулять?

Голос Агаши прозвучал кокетливою насмешкою.

— Нет, брат Тиша, гулянки с тобою кончились.

Тихон кашлянул, как человек, принимающий известие, которого он давно ждал, и только приличия ради поддерживающий политику неведения.

— Почему же-с?

— Так, брат. Кончились, и больше ничего.

— Странно-с.

— А уж это твое дело.

— И даже довольно неожиданно-с.

— Ну!.. знаешь ведь? — с досадою огрызнулась Агаша. — Ты человек неглупый, сам способен понимать. Чего комедь ломаешь?

Тихон примолк.

— О да и морозит же, — говорила Агаша, подергивая плечами. — Захолодала я тут с тобою... Бежать, что ли... Прощай-ка, Тихон Гордеич.

— А я было так на вас рассчитывал, — удерживал он ее, — что отправимся мы с вами к Филиппову на стакан шоколаду с бисквитом?

— Невидаль!

— В таком случае в «Голубятню» на бутылку Даниэльсон, вашего любимого темного пива-с?

— Удивил! Я, брат, сегодня что шампанского выпила. Так оно во мне и ходит!

— Да ведь не для пива-с, а для компании!

— Нельзя в «Голубятню»: там Квятковский и Антошка долговязый бывают, еще пронесут невзначай «моему»-то слух, что видали меня с тобою... Он, брат, у меня ревнивый.

Тихон кашлянул.

— Говорите, ревнивый-с?

— А особливо к тебе. Бог его знает, наплел ему, что ли, кто... Врет, будто о Святой сам нас с тобою подметил... Прощай: зазябла.

Но он вбежал за нею на темную лестницу.

— Что финтишь-то! К тебе, что ли?

— Ну как не ко мне? — вывертывалась она, — с удовольствием чувствуя на шее его горячее дыхание, — с ума я сошла? Пусти руки, черт! В синяках будут...

— К тебе, что ли? — повторял он упорно, весело, тупо.

— Глупый человек! Как есть, глупый человек! — отшептывалась она с сытым смехом. — Кухарка дома, Аниська дома... какие возможности? Прощай-ка, прощай...

— Не пущу, — твердил он с тою повелительной решимостью, которая всегда отдавала ему этих женщин. — Со мною поедем... ко мне...

Агаша задумалась.

— Да ведь совестно, Тихон...

— Черта ли?

Она помолчала, помялась и вдруг разом вырвалась из его объятий и запрыгала по ступеням вверх, к дверям. Он едва

успел поймать ее за юбку, когда она уже схватилась было за дверную ручку, и из щели в переднюю упал на них узкий, желтый луч лампового света.

— Едем?

— Ступай, бери извозчика... — отвечал ему задавленный, сквозь зубы, шепот. — Жди за углом, у церкви...выйду.

Четверть часа спустя, Агаша в франтовском своем дипломате водила из комнаты в комнату беленькую и тихонькую девочку, и, крепко держа ее за ухо, ровно говорила ей своим тягучим носовым контральто.

— Поди подмети, а приду да соринку найду, — вздую... со столов посуду убери, в буфетную снеси, а мыть не смей, — разобьешь. А которая цела не будет, — вздую. Лампы пригаси, а копоть разведешь, — вздую. После, как с работою управишься, в передней на стуле сиди, меня жди. Боже тебя сохрани отлучиться: вздую. А кто позвонит, — не окликаючи, не отпирай, говори, что господа уехали, а тетенька Агаша на минутку в лавку ушла, отворить не смеешь, — а что наврешь, напутаешь, — вздую... А ежели кухарка спрашивать станет, куда я долго провалилась, говори, что к Арсеньевской Варваре забечь хотела, — да поотчетливее ври-то: вздую... Поняла, деревенщина?

— Поняла-с, — сипло пропищала девочка, тараща моргающие, тревожные глазенки.

Агаша в виде ласки и угрозы пополам стукнула ее муслаком кулака снизу вверх по подбородку.

— То-то. Учись обхождению! В Москву дуру прислали, — умнеть надо. Бери пример с меня, в люди выйдешь.

Девочка только зубами ляснула и ничего не ответила, ибо прикусила себе язык в самом точном смысле слова.

— А все-таки совестно. Что ты ни говори, Тихон, совестно и нехорошо! — толковала Агаша, колтыхаясь в извозчичьих санях по ухабистой Пречистенке. — С одним люблюсь, с другим еду...

Он крепко обнимал ее за талию и весело говорил:

— Э! Баре — не в счет!

— Смотри-ка, смотри! — шепнула она, освобождаясь и мигая на довольно пустынный тротуар, по которому медленно двигалась высокая узкая черная фигура. — Попались-таки: длинноногий...

— Антон Валерьянович?

— Эх, и едем прямо под фонарь... Увидит.

— Черта с два! До нас ли ему? Он скоро самого себя узнавать не будет: Варвара сказывает, — даже жутко в доме от него... с чего-то сбесился, совсем обезумелый ходит... Вот и уехали. Переулком теперича — наплевать: темно...

XXXI

Антон шагал к себе домой. Раннее возвращение его вечером было настолько необыкновенно, что Варвара, открыв дверь на звонок, уставилась на молодого барина с выжидательным испугом, точно он разбойник и сию минуту вынет пистолет из кармана.

— Наших еще нет? — спросил он не глядя и в странной одышке, которая самого его удивляла, потому что ранее он никогда ничего подобного не испытывал, а задохнуться было не от чего: шел тихо.

— Не приезжали.

Он заплетающимися шагами, охваченный опять-таки никогда еще не бывалою, совсем не по сделанной ходьбе усталостью, прошел в свой кабинет, остановился столбом среди комнаты, огляделся кругом, поморгал, подумал и... как был — во фраке, белом галстуке, брильянтовых запонках — лег на длинный турецкий диван носом к стене и заснул глубоким сном — тихим, точно мертвым, без дыхания.

«Однако! — соображала Варвара, подсматривая в замочную скважину. — Однако нализался же голубчик... угостили

на свадьбе-то... А по лицу — будто бы и тверезый, как есть, ничего не видать».

Антон спал часа четыре и проснулся среди глубокой ночи от боя часов, когда сквозь просонье насчитал четырнадцать и догадался, что, значит, двенадцать...

«Черт знает... Пожалуй, и чаю уже не достанешь... Ой!..»

В левой стороне груди, повыше сердца, вдруг схватила его такая острая, сквозная к лопатке боль, что он застонал и должен был сесть, чтобы отдышаться. Оправившись, вышел в коридор и стал слушать. Вдали, в комнате Сони, еще смеялись женские голоса.

«Лидия у нас ночует... Повадилась!.. Ой!.. О проклятый прострел! И отчего кости так болят?»

Варвара с обычной своей стремительностью вылетела от барышень, влача на плече какие-то юбки, и, с размаху наскочив на Антона, чуть не присела перед ним на пол в испуге, будто пред привидением. А он стоял и растирал ладонью грудь, кусая губы от боли.

— Чаю дадите?

— Прикажете, поставлю самовар? Из старого — только что воду вылила и золу вытряхнула.

— Не надо. Принесите сельтерской...

«О, весь изломан! Словно обухом били».

— Бра-ат! — ласково окликнула Антона Соня из-за дверей. — Тоник! Можно к тебе?

— М-м-м... лохмат я очень, мужчина немытой наружности.

— Так слушай: Марина Пантелеймоновна просила тебя зайти к ней, когда проснешься.

— Теперь уже первый час... — сердито сказал Антон.

— Ах, самое время для rendez vous * с прекрасною молодой дамою! — откликнулась ему из-за стены Лидия Мутузова глумливым и беспутным своим тоном.

---

* Свидание (*фр.*)

Антон ничего не сказал, лишь посмотрел в ту сторону такими глазами, что не поздравила бы себя бойкая барышня, если бы могла видеть.

— Ты все-таки зайди, Тоник! — тянула Соня, — а то она завтра скажет, что мы не передали, и будет меня бранить.

Антон с сердитым отвращением потряс головою и быстро поднялся в мезонин. Живая оранжевая луна в подушках смотрела сегодня будто сквозь облако, дрябло и серо, тоже заметно недомогая.

— Ну-с? — заговорил Антон быстро, не здороваясь и не садясь. — Желали меня видеть? Что угодно?

— Ничего... — тихо возразила луна, и голос ее звучал угрюмо, хрипло. — Хотела видеть, жив ты или нет. Варвара сказывала, что больно тихо спишь. Вступило в мысли, что — не нахватался ли ты с большого ума чего-нибудь этакого.

— Придет же в голову! — насильственно улыбнулся Антон. — Зачем вы в таком случае не приказали меня разбудить?

Марина Пантелеймоновна задвигала кожею безбрового лба:

— С какой же, Антошенька, стати? Ежели ты такое затеешь, разве я имею право тебе помешать? Волен в себе человек: хочет — дышит, хочет — околевает...

— Словно про собаку! — сморщился Антон. —Так что в случае моего желания убить себя с вашей стороны препятствий не имеется?

— Да ведь... что же? — задумчиво повторила оранжевая луна. — Хочет человек — живет, хочет — гниет... Я ведь, Антоша, знаю: я тебя не переживу.

Антон даже расшаркался и отвесил ей чуть не придворный, иронический поклон.

— Неужели? Верить ли ушам? Такая сильная привязанность?

Она взглянула на него остро-остро.

— Не ломайся, дурак! Когда ты себя знать будешь? Пора бы понимать, что ты — я, а я — ты...

Перед глазами Антона проплыло пестрое облако, и вискам стало жарко-жарко.

«Это не она сказала, — с усилием над собою подумал он. — Начинается!.. Это не она сказала! Это я сам подумал и приписал ей...»

— Именно, Антон, именно: я — ты, а ты — я.

Он тряхнул головою, чтобы вытрясти наплывающий в нее кошмар наяву.

— Ну-с, и больше ничего?

Марина Пантелеймоновна отозвалась грустно-грустно:

— Ничего, Антон. Ступай себе.

— Прощайте.

— Ты на меня не злись... Я скверный сон видела.

— Да?

— Помрем мы с тобою скоро, Антоша!

Антон ответил кривою гримасою.

— Мы? Опять-таки не я или вы, а именно — мы? оба мы?

— Мы, мы, мы, мы, мы... не сомневайся, Антоша!

— Прощайте.

— Что ты сейчас делать-то станешь?

— Письмо писать.

— Далеко ли?

— За границу.

— А... — луна осветилась неопределенною улыбкою. — Ну пиши, пиши...

Антон был уже на лестнице, — Марина Пантелеймоновна окликнула его вдогонку. Когда он вернулся, взор ее так и впился в него еще у порога.

— Антон! А того света... ты боишься?

Он серьезно подумал и серьезно ответил:

— Не знаю.

— А есть он, тот свет?

Он махнул головою и сказал твердо и решительно:

— Нет.

— Так отчего же ты «не знаешь»?

— Есть сладкая привычка к жизни, Марина Пантелеймоновна... Ее, должно быть, жаль...

Она закрыла глаза.

— Иди.

И опять не выпустила его из комнаты, опять позвала.

— Антон!

— Ну-с?

— Что я, бедняга, хочу тебя попросить... Дай ты мне руку твою поцеловать...

Антону опять показалось, что он галлюцинирует. Он дико уставился на Марину Пантелеймоновну, но лицо ее было серьезно, умно и грустно.

— Бог с вами!.. что вы?.. — пробормотал он.

Она упрямо возразила:

— Хочу... Много, дружок, я тебе зла сделала... Хочу!

Он в смущенной досаде бормотал:

— Э, нашли, когда считаться!.. Оба хороши... Оба друг другу зла и сделали, и еще сделаем, сколько угодно...

— Это-то правда. И сделали, и сделаем...

— А руку — уж лучше вы дайте: я вашу поцелую. Все-таки вы женщина и постарше меня годами.

Марина Пантелеймоновна подумала и сказала:

— Целуй.

— Ну вот и так. И прощайте. Спите-ка, спокойно. У вас нервы расстроены. Спите-ка спокойно. Вам надо отдохнуть.

Марина Пантелеймоновна проводила его долгим-долгим взглядом. Она думала: «Увидимся ли?»

* * *

— А пора бы тебе, Тиша, милый друг, фатеру переменить... Деньги ты получаешь немалые, сам хвастался, что с Покрова тебе хозяин тридцать положил, а сидишь в экой яме... Стены — сырь-сырьем, из окон видать одни ноги, душина самая тяжкая...

— Зато восемь целковых в месяц, — защищал свое логовище Тихон, лежа навзничь на широкой деревянной кровати, руки под голову.

Агаша сидела подле, заплетая свои жесткие волосы в жидковатую косу.

— Зато восемь целковых! Две комнаты и кухня. Где найдешь? Ты это цени.

— Уж и две комнаты: с дощатою переборкою-то! Насквозь щели видать.

— Все-таки!

— И на что тебе кухня? Хозяйством не живешь.

— Мать к себе взять собирался.

— А мать-то, поди, все по богомольям?

— Все по богомольям. Душу спасает. Второй год вестей нет.

Агаша вздохнула.

— Где-где не побывала... За себя, поди, все отмолила, что было грехов; теперь ейная молитва за тебя в счет пошла.

— Напрасный предрассудок, — с важностью отвечал Тихон. — Одно невежество и тунеядство... Если бы ты была в состоянии вместить, я дал бы тебе читать книгу Бокль, из которой виден вред абсурдов и тому подобного поведения... Мне, брат Агаша, Борис Валерьянович еще в третьем году объяснил: заслушаешься!

— Уж вы, ученые!

Тихон самодовольно крякнул:

— Н-да-а! Плесни-ка в стакашек пивца, Агаша...

Он сел на кровати и пил пиво, после каждого глотка утирая рот рукою.

— А квартира теплая, — говорил он. — Чувствуешь? Сегодня на дворе мороз и вон как с окон течет, а у меня, между прочим, как в бане, и если бы я имел физическую возможность приобрести в этом месяце инструментальный термометр, то он показал бы не менее семнадцати градусов теплой температуры. Притом, — Тихон постучал кулаком в

стену, — здесь капитально, там капитально... хотя живу на аршин в земле, но подобен помещику, имеющему дом-особняк. А это мне очень важно, потому что близкие в своей интимности соседи мне неудобны: я человек взысканный знакомством, и у меня бывают многие хорошие люди...

— Уж и люди, — засмеялась Агаша, заложила косу, зашпилила, встала и перешла к стене, завешенной фотографическими карточками в дешевеньких рамках. — Уж и люди к нему ходят!.. Говорил бы: девки бегают... Девушник ты, Тишка! Ежели мать не отмолит, гореть тебе на сковороде. Ненасыть! Шельма ты несносный!.. И — взять тебя, каков ты есть, даже мне удивительно, насколько наша сестра дура: что в тебе сладкого, почему к тебе девки липнут?.. Хоть бы тоже и я теперь отличилась?.. Ну да уж баста: в последний раз.

— Не зарекайся: последняя, говорят, только жена у попа.

— Нет, душенька, не обольщайся: в последний раз. Я коли что говорю, то не на ветер: сказала — отрезала. Уж и сегодня — только что больно свободная одна осталась на эстолько часов, да вино на свадьбе пила, так захотелось себе волю взять и разгуляться. А то я гляжу теперь совсем на другую линию.

— Линию твою мы знаем, — усмехнулся Тихон. — Что же ты, в самом деле, что ли, в барыни ладишь? Брось! В голове у тебя распустил свой хвост многоцветный павлин, который с глазами Аргуса... Не бывать! Давай-ка лучше я к тебе посватаюсь? А? Заживем, Агафья! Хозяйствуй! Кухня у меня есть, стряпай!

Она играла своими узкими тюркскими глазами, великолепно пожимала нагими смуглыми плечами и насмешливо качала головою.

— Нет, душка, не прельстишь.

Тихон, шутя, ударил ее по спине и захохотал:

— Барыня!

— Барынею буду, нет ли, — протяжно говорила Агаша, влезая в тесный лиф, — но только Владимир Александрович

меня, действительно, чрезвычайно как любит, и сама я, сказать тебе по всей правде, тоже до страсти в него влюблена.

Тихон посмотрел на нее с изумлением и залился хохотом еще громчайшим.

— Заржал? — равнодушно поздравила его она.

— Влюблена? О шут! — отфыркиваясь и запивая смех пивом, лепетал он. — Говорит: влюблена... Если ты питаешь любовь, то к какой же теореме жизни должен я отнести твое место действия поведения здесь у меня?

Она прищурилась хитро-хитро:

— Сам же говорил даве, что баре не в счет...

— Разве что!

— Минута такая загорелась — подступила планида — твое счастье!.. А что нехорошо, я сама всегда скажу: без совести поступаю, нехорошо. И не сумлевайся, но верь моей влюбленности очень просто. Что удивительного? Красавчик писаный. Добренький, ласковый, смирный... Ума он, скажу тебе правду-истину, недальнего.

— Что-о-о? — удивился Тихон, отнимая стакан от рта и ставя на стол: так поразили его слова.

— Глупенький он, — спокойно повторила та. — Не велик у него ум. Не в сестру.

— Дура ты! сама дура! — воскликнул Тихон. — Не понимаешь, о чем говоришь. Хотя Владимир Александрович еще только университетский студент, но его стихотворная поэзия уже привлекает восторг интеллигенции избранных умов.

— Это я не смыслю, что ты говоришь, — упорствовала Агаша, — но он глупенький, потому что верит всему, что я говорю, и, что я прикажу, сейчас слушается. А какая в нем, ты говоришь, телегенция, — это мне — не пустое тебе слово молвить — на нее, в полном смысле, наплевать.

— Дурацкий индифферентизм, от которого страдали многие гении своего народа!

— Для телегенций он, может быть, умник-разумник, а для меня глупенький. И очень я тому рада, потому что ума к жизни у меня на обоих станет, а с человеком, который тихонький и глупенький, бабе, которая ищет себе добра, жить куда легче.

Она самодовольно улыбнулась.

— Он, брат, у меня — модный! За ним какие барышни увиваются! А я взгляну строго, — он и — ни-ни-ни! В струне ходит... Ну-ка, за Володичкино здоровье! У-у-у! Вот как люблю! Душонок!

Агаша чокнулась с Тихоном своим стаканом и отхлебнула немного пива.

— А тебе, Тихон, вот мой сказ, — продолжала она, — по истинной к тебе дружбе, как все-таки не совсем чужие были. Ты на мне жениться в шутку предлагаешь, а Варвара ладила нас повенчать взаправду. Девица она умнейшая, однако, вот, как ты говоришь, — предрассудка в ней много. При всем своем городском образовании она держится того деревенского невежества, что в твои годы парню непременно надо быть женатым. Со мною не сошлось, — она тебе другую выищет.

— Да уж и выискала, — перебил Тихон, посмеиваясь. — Вдова. У генерала Овечкина в экономках жила. Грамот не знает, но скопила капитал — даже в объявку показывает, что две тысячи... стало быть, в чулке, считай десять!.. Толстая, как печь. Варвара меня кое время пилит, что хороша невеста. Но я почитаю за низость жениться на пожилой женщине за то, что у нее деньги. Борис Валерьянович объяснил мне, что который индивидуй так поступает, то он есть собою торгующий и обличается в ведомостях прозванием Альфонс.

— Деньги взять хорошо, тебе надо взять деньги, — остановила его Агаша. — Ты и бери — какую с деньгами. Беспременно с деньгами ищи. Но старою и темною бабою обузы на себя никак не возлагай. Ты теперь в такой позиции, что и не разобрать, как тебя Борис Валерьянович твой — возвеличил или погубил.

— Вона?!

— От серости ты отстал, к господам не пристал: кишка тонка! Теперича тебе, ежели жениться, нужна такая девушка, чтобы тебя вверх за уши тянула, а не вниз ко дну, прицепившись, как свинцовое грузило. Не дуры-то, с пониманием, вот — хоть бы как я или сестра твоя, Варвара, — между нами редкость. Мы по темноте своей — и которые умные — глупы. Если ты возьмешь девушку или вдову нашего звания, темную, то и ее сделаешь несчастною, и себе все пути обрежешь. Потому что, хорошо ли, худо ли твое образование, но над нами ты человек превозвышенный. Ты вон по-русски стал говорить такими словами, что только знай — бери в руки догадку понимать тебя. Да еще по-французскому учишься... Ишь, учительшу-то свою на стенке развесил.

Она ткнула пальцем на два портрета Сони Арсеньевой, терявшихся среди множества других фотографий.

— От самой получил?

— От самой. Это старые. У меня новый портрет есть, кабинетный, — Варя выпросила. Далеко лезть — показывать-то: в сундуке заперт.

Агаша посмотрела на него лукаво и значительно.

— А что, Тихон? Сказывают девки, будто она в тебя врезамшись? а?

Тихон широко открыл глаза.

— Кто?

— Да все она же... полудурье Арсеньевское.

Агаша щелкнула пальцем по карточке Сони. Тихон смотрел на нее с выражением человека, которому сообщают, что он по билетику от конки выиграл двести тысяч. Потом покраснел и рассердился.

— Больно ты зазналась, Агашка! — сказал он, стуча пальцем по столу. — Все у тебя сегодня стали в дураках, а у самой-то в голове ладно ли? Плетешь такие импровизации, что даже совсем абсурд. Я к Софье Валерьяновне завсегда относился

с почтением и чистотою, как к любимой сестре, потому что Борис и она — цивилизаторы моей умственной морали, и никогда этого не было, чтобы подобные глупости, как ты намекаешь.

Агаша недоверчиво прищурилась на него.

— Сестры и братья, душка, от одних отца-матери родятся. А когда чужие в сестру и брата играть начинают, то в скорости бывают у них племянники.

Тихон посмотрел на нее — сурово и сказал:

— Ты грубая женщина без нравственной интеллигенции.

— Что же ты злишься? Кажись, обидного не сказала. Да и не от себя я... А что она в тебя врезамшись, — это не спорь: верно. Девки сказывали. И Дашка, и Фекла, и Глафира... Сама им призналась.

Тихон медленно поднялся со стула и уставился на Агашу серьезными глазами:

— Врешь?

— Помнишь, как ономнясь был этот бал — господин Квятковский устраивали, — когда все рядились?

Тихон кивнул головою.

— Культурная вечеринка на предмет прогресса отечества.

— Так вот — будто бы, когда на вечеринку эту одевались, тут она себя пред всеми и обнаружила... В твою тройку, сказывают, рядилась-то?

— В мою.

— Ишь! А примету нашу знаешь?

Агаша покачала головою и засмеялась. Тихон стоял озадаченный, не то улыбаясь, не то хмурясь.

— Это никак не может быть, что ты говоришь! Словесное изобретение празднословия!

— Твое дело, — равнодушно сказала Агаша. — Люди ложь — и я тож. В свидетелях не была. Может, и в самом деле — одни бабьи сплетки... О-о-х! — зевнула она. — А который бы теперь, Тишенька, час? Надо быть, нерано... Нукася ты, девичий победитель!

— Без четверти четыре.

— Ой!

Агаша даже привскочила.

— Ой? Что же это я, оглашенная? Всякий разум потеряла! С утренним поездом господа могут быть.

— Сама-то с гувернанткою небось в монастыре останутся — погостить?

— Сама собою, — не очень-то я боюсь. А Владимир Александрович — больно нехотя уехал, так уж чуть не силком, — чтобы мать не обидеть!.. Обещал только довезти ее к месту, и с первым же поездом обратно... Может объявиться даже к шести часам. Прощай-ка, прощай!

— До шести часов время много. Тут добежать — пятнадцать минут.

— Хороша покажусь, не спавши-то! Надо себя прибрать, рожу умыть.

— Ты одеколоном!

— Разве что одеколоном... Прощай-ка, прощай!.. Аниська-то моя горемычная на стуле сидит, ждет меня, — велено — дожидается... Небось от сна уже и со стула свалилась!.. Прощай!

Тихон взял лампочку.

— Я тебя выведу, — сказал он. — А то — в коридоре темно, а по лестнице — склизко, шею сломишь.

— Фатера!

— И во дворе дворник может придраться, по какому случаю поздно, не стащила ли чего.

— Гривенник в зубы!

Когда они вышли за ворота, то в глаза им бросилась ярко освещенная точка окна — глубоко в переулке, прямо открытом через улицу, уходящем от Остоженки к Москве-реке.

Агаша сказала:

— Как поздно у Арсеньевых огонь жгут!

— Антон Валерьянович занимается: его кабинет.

— Керосину-то, керосину что выгорает!.. Прощай!.. Спасибо на угощении.

— Спасибо на гостеванье... Не забывай.

— Не позабуду-с. Как можно! О вас нонче господские барышни помнят, — так уж нам ли убогим вас забыть?

— О, дура! право, дура!

— Может быть, кто-нибудь и дура, только не я... Я, Тишенька, счастье свое за хвост поймала — и, шалишь, не упущу. И тебе зевать не советую... Прощай-ка, прощай!

Возвратясь в свою мурью, Тихон аккуратно прибрал со стола в шкафик закуску и гостинцы, закупорив недопитую бутылку пива, сел на кровать и замечтался. Часы показывали четверть пятого.

— Не стоит и спать ложиться, — сказал он вслух. — Только разоспишься, а к семи вставай, шагай в магазин...

Он взял с комода книгу, открыл, прилежно устремил глаза на строки и — ничего не понял: другие, новые мысли поползли между текстом книги и медленным восприятием его мозгов.

«Да-с, так вот оно как? Вот какие о нас ныне сплетки ходят? Праздные результаты человеческого малоумия!.. А ежели того... в самом деле, счастье привалило?.. вдруг и впрямь?.. Агафья — человек сурьезный, зря болтать языком не станет... Ну уж если, ну уж если правда... это точно, что можно поставить жизнь на карту... И — будет тут либо мое окончательное благополучие, либо моя конечная погибель».

Он перешел к стене с фотографиями, поднял лампочку в уровень с головою и долго смотрел на Сонины портреты, время от времени встряхивая своими жирными каштановыми волосами.

РУССКИЕ БЫЛИ

ДУХОВЕНСТВО В 1812 ГОДУ

Из всех русских сословий, терпевших сто лет тому назад злое горе Отечественной войны, духовенство явило себя наименее активным. Деятельность его под военною грозою была настолько ничтожна, что, например, Толстой в «Войне и мире» мог весьма спокойно обойтись без духовного сословия, не только не выведя на сцену ни одного его представителя, но даже и не упоминая о нем, словно его совсем в это время в России не существовало. Правда, что «Войну и мир» писал еще не тот Толстой, который бежал от Долго-Хамовнического переулка и Ясной Поляны, но Толстой-аристократ, с весьма типическим сосредоточением наблюдательного интереса на жизни и психологии собственного класса и весьма чуждо скользивший по жизни и психологии классов низших. Правда, что поэтому оказались у него в романе не более как хористами и статистами также и мужик, и солдат, и демократ-офицер. (См. о том в моем «1812 году» *), главы «Наполеон — Пугачев»

*) По поводу этой книги — два слова pro domo sua **. Встретившая довольно благосклонный прием, работа моя о 1812 годе вызвала, однако, в то же время упреки, будто я сгущаю отрицательные черты эпохи, проходя без внимания мимо положительных. Я не заговорил бы об этих упреках, если бы они исходи-

** В защиту себя (*лат.*).

и «Александрово воинство»). Но все-таки наличность ролей мужика, солдата и армейского офицера настолько настойчиво выпирала вперед и заявляла свои права, что великий реалист не мог ее обойти, не изменив правде художественного творчества, и, хотя изобразил участие это далеко не в той значительности, которой оно заслуживало, и не в тех бытовых условиях, в которых они переживались, — тем не менее роли названных групп в великой драме «Войны и мира» наглядны, существование и деятельность их отмечены и характеризованы. Духовенство же из «Войны и мира» словно сквозь землю провалилось: нет его, да и только. Если бы не мельком обозначенный молебен на поле будущей Бородинской битвы пред иконою Смоленской

ли только из так называемых «правых» кругов, где патриотический «нас возвышающий обман» всегда ценится высоко, а «низкие (но поучительные) истины» грустной действительности проклинаются, вызывают гнев, злобу и «отвращение». Но дважды случилось мне получить упрек этот и от людей, вполне способных смотреть прямо в глаза фактам. По-моему, это доказывает лишь одно: что, несмотря на минувший столетний юбилей, общество русское еще очень слабо знает бытовую историю Александрова века и, не отделавшись от обаяния красивых миражей, с которыми расставаться так часто жалеют даже и не романтики, недостаточно продумало скрытую за миражами действительность. Я предвидел возможность полученных упреков. И, конечно, следовало бы предупредить их маленьким вступлением к книге, объяснив заранее, что при составлении своих очерков я нарочно избегал источников, которых политическая тенденция «враждебна русской славе», и руководствовался исключительно материалом, получившим официальное, так сказать, признание и освящение включительно до русских историков-патриотов. До такой степени избегал, что, право, кажется, за исключением В.И. Семевского, даже ни одного «либерального» историка не случилось мне упомянуть или цитировать. Повторяю: поступал я так преднамеренно, хотя к моему удобству это нисколько не служило. Если тем не менее картина получалась невеселая, — каких еще доказательств нужно, что и действительность, с которой она писана, была весьма безрадостна? При всей моей отчужденности от больших русских библиотек, каждую страницу своего «1812 года» я берусь защищать документальными данными — я притом еще раз подчеркиваю — взятыми у писателей и мемуаристов отнюдь не «левых», а самых что ни есть «правых». Да в большинстве случаев прямые ссылки на них указаны и в тексте. Хотящий видеть да видит.

Ал. Амфитеатров. 1914. 1. 31

Божьей Матери, можно было бы подумать, что действие происходит не в православной и богомольной России, а в государстве, где церковь упразднена либо, по крайней мере, стала делом частного интереса и не имеет никакого общественного значения. Не может быть сомнения в том, что в такую грубую ошибку наблюдения Толстой впасть не мог. Тем более что религиозные настроения его героев и, в частности, их церковная богомольность занимают в романе довольно много места: говение Наташи Ростовой, встреча в церкви Николая Ростова и княжны Марии и т.д. Нет, если творческий инстинкт Толстого обошел духовенство 1812 года как пустое место, ничего в нем не приметив достойного типически войти в эпопею «Войны и мира», то это потому, что место, и в самом деле, было порядочно-таки пусто. По крайней мере — поскольку мог о нем знать Толстой в период созидания «Войны и мира», во второй половине шестидесятых годов, когда мемуарных материалов о 1812 годе было еще очень мало, а использование тех, которые были доступны, стеснялись цензурными условиями. Разумеется, если бы новый Толстой начал писать новую «Войну и мир» (я не раз уже говорил в печати, что это — мало сказать: желательно, — необходимо!), — он не только не обошелся бы, а не мог бы, не имел бы права обойтись без фигуры священника Никифора Мурзакевича в горящем Смоленске, без странной фигуры могилевского архиерея-изменника Варлаама Шишацкого, без не менее странной присяги, к которой приводить москвичей Ростопчин заставил полуживого от дряхлости митрополита Платона, без оробевшего Августина и т.д. Все это 50 лет тому назад или лежало в совершенной сокровенности, под спудом, или не могло быть использовано в тогдашних цензурных рамках как материал для художественного воспроизведения. Но и за всем тем после полувековой разработки документов и преданий 1812 года нельзя не признать окончательно и бесповоротно: поразительно бедно и бесцветно

было участие русского духовенства в событиях Отечественной войны. Если это и не вовсе пустое место, то, во всяком случае, пустырь, на котором редко-редко когда мелькнет человеческая фигура, достойная исторического внимания. Считать последние приходится единицами.

Это обстоятельство тем более странно, что плохо оно мирится с господствующею ролью духовенства в другую лихую годину русского государства, когда отечество потребовало дружных патриотических усилий от всей земли: в годину 1612 года. Там и Гермоген, и Авраамий Палицын, и архимандрит Дионисий, и громадный коллективный подвиг Троицкой лавры, и, наконец, — с верхов вниз, — полулегендарный поп Ерема (он же Емеля) со своими «шишами», гверильяс в рясе, полугерой, полуразбойник, о котором мы с детства извещались бессмертным (хоть ты что!) «Юрием Милославским» и о котором народная песня еще в XIX веке не забывала — пела:

Ехала свадьба, семеры сани,
Семеры сани, по семеру в санях,
Семеры пешками, а все с бердышками,
Семеро верхами, и все с мешками.
Навстречу той свадьбе поп-от Емеля,
Поп-от Емеля, крест на ремени,
Крест на ремени полуторы сажени:
«А Бог же вам в помочь, духовные дети,
Духовные дети, в чужие-то клети,
В чужие-то клети, молебны пити.
Добро-то берите, а душ не губите».

Судя по тому, что в вариантах этой песни меняются имена: поп Ерема, поп Емеля, поп Семен, — это образ собирательный и много такого попа было — «с крестом на ремени в полторы сажени...» Куда же он, этот поп-удалец, за два-то века между двумя лихолетиями исчез? что его выморило из русской земли?

Деньгами духовенство пожертвовало довольно крупно и перед вторжением неприятеля, и по изгнании его за пределы России. По крайней мере, — крупно на первый взгляд. Ниже будет объяснено, почему требуется такая оговорка. Но жертвовали в казенном, бюрократическом порядке — духовным ведомством, а не духовным сословием. По обнародовании Высочайшего манифеста 6 июля 1812 года Святейший Синод поставил себе первым долгом пролить к Господу Богу теплые молитвы и сделал распоряжения о повсеместном молебствии. Сверх того, для споспешествования общему делу определено им было: 1. Из прибыльной суммы, получаемой от свечной продажи в церквах, отдать в пособие к составлению новых сил полтора милльона рублей, из коих одну половину на Петербургское ополчение, а другую на Московское. (Об этом пожертвовании см. ниже.) 2. Пригласить все духовенство и мирян к пожертвованию деньгами и серебряными и золотыми вещами; причетников, детей священно- и церковнослужителей, находящихся при отцах, и семинаристов не выше риторического класса увольнять по желанию в ополчение, давая им от церкви пособие на одежду и продовольствие, поступающим в ополчение объявлять, что ежели по окончании войны возвратятся они к прежним местам, то их служение не будет оставлено без уважения, а дабы остающиеся после некоторых из них семейства не терпели нужды в содержании, то не лишать их доходов, следующих на часть поступающим в ополчение. 3. В первый воскресный и праздничный день, перед начатием обедни, обнародовать Манифест чтением в церквах; потом отправить молебное пение, совершаемое о победе на супостаты, и служить сей молебен ежедневно с коленопреклонением. 4. После объявления в церквах Манифеста, прочесть следующее воззвание Синода:

По благодати, дару и власти, данным нам от Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Его великим и сильным Именем, взываем ко всем благоверным чадам Российской церкви.

С того времени, как ослепленный мечтою вольности народ французский ниспровергнул Престол единодержавия и алтари Христианские, мстящая рука Господня видимым образом отяготела сперва над ним, а потом, чрез него и вместе с ним, над теми народами, которые наиболее отступлению его последовали. За ужасами безначалия следовали ужасы угнетения. Одна брань рождала другую, и самый мир не приносил покоя. Богом спасаемая Церковь и Держава Российская доселе была по большей части сострадающею зрительницей чуждых бедствий, как бы для того, чтобы тем более утвердилась во уповании на Промысле, и тем с большим благодушием приготовилась встретить годину искушения.

Ныне сия година искушения касается нас, Россияне. Властолюбивый, ненасытный, не хранящий клятв, не уважающий алтарей враг, дыша столь же ядовитою лестию, сколько лютою злобою, покушается на нашу свободу, угрожает домам нашим, и на благолепие храмов Божиих еще издалеча простирает хищную руку.

Сего ради взываем к вам, чада церкви и Отечества. Примите оружие и щит да сохраните веру отцов наших. Приносите с благодарением Отечеству те блага, которыми Отечеству обязаны. Не щадите временного живота нашего для покоя Церкви, пекущейся о вашем вечном животе и покое. Помяните дни древнего Израиля и лета предков наших, которые о имени Божием с дерзновением повергались в опасности и выходили из них со славою.

Взываем к вам, мужи именитые, стяжавшие власть или право на особенное внимание своих соотечественников: предшествуйте примером вашего мужества и благородной ревности тем, которых очи обращены на вас. Да воздвигнет из вас Господь новых Навинов, одолевающих наглость Амалика, новых Судей, спасающих Израиля, новых Маккавеев, огорчающих Цари многи и возвеселяющих Иакова в делах своих.

Наипаче же взываем к вам, Пастыри и служители алтаря. Якоже Моисей во весь день брани с Амаликом не восхотел опустить рук воздеянных к Богу, утвердите и вы руки ваши к молитве, доколе не оскудеют мышцы борющихся с нами. Внушайте сынам силы упование на Господа сил. Всех научите словом и делом не дорожить никакою собственностью, кроме Веры и Отечества. И если кто из сынов левитских, еще не определившихся к служению, возревнует ревностию брани, благословляется на сей подвиг от самыя Церкви.

Всем же и каждому, о Имени Господа нашего заповедуем и всех умоляем блюстися всякого неблагочестия, своеволия и буих шатаний, пред очами

нашими привлекших гнев Божий на языки; пребывать в послушании законной от Бога поставленной власти; соблюдать бескорыстие, братолюбие, единодушие и тем оправдать желание и чаяния взывающего к нам, верноподданным своим, Богом помазаннаго *монарха Александра.*

Церковь, уверенная в неправедных и не Христолюбивых намерениях врага, не престанет от всея кротости своей вопиять ко Господу о венцах победных для доблестных подвижников, и о благах нетленных для тех, которые душу свою положат за братию свою. Да будет, как было всегда, и утверждением и воинственным знамением Россиян сие пророческое слово: о Бозе, спасение и слава! (Михайловский-Данилевский).

Холодное красноречие этого воззвания консисторским языком своим свидетельствует об отсутствии какого бы то ни было одушевления в среде, которою оно было составлено. В главе «Рыцари 1812 года» («1812 год») мною было говорено о «сынах левитских», еще не определившихся к служению, которые «возревновали ревностью брани», т.е. о семинаристах и молодежи из духовного звания, поступивших в ополчение. Мы видели, что патриотизм тут играл малую роль: бросились на новый путь карьеры, которую многие и сделали. Был еще побудительный мотив к этому патриотическому волонтерству. В предшествовавшие царствования каждая война и даже только возможность войны ставили всех безместных молодых людей духовного звания в опасность угодить под красную шапку. Павел I издал о том указ на другой же месяц своего царствования (в декабре 1796 года), причем надо отметить: синодское воззвание 1812 года повторило даже некоторые выражения этого указа, который гласил:

Усмотрев из синодских ведомостей, сколь великое число состоит священно- и церковнослужительских детей, праздно живущих при отцах своих, и желая устроить состояние их с лучшею выгодою для общества, как и для них самих, его имп. величество повелел, распределив всех годных из них на штатные места при церквах и в учители духовных и городовых по губерниям училищ, остальных взять в военную службу, *где они будут употреблены с пользою по примеру древних левитов, которые на защиту отечества вооружались.*

Не обошлось без разбора церковников и при имп. Александре. В октябре 1806 года, во время войны с Наполеоном, вышел именной указ:

Из оказавшегося по ведомостям за 1805 г., в Синод доставленным, некоторого числа священно- и церковнослужительских детей, не обучающихся в школах и живущих праздно при отцах своих, как для государственной, так и для собственной их пользы учинить разбор на основании прежде бывших, и тех, кои более 15 лет от роду, обратить всех в воинскую службу, менее же 15 лет и знающих грамоте, рассмотрев, каких лет удобнее, отослать в военно-сиротские отделения для обучения их и приуготовления на унтер-офицерские места.

Разбор продолжался недолго; в следующем 1807 году, по случаю Тильзитского мира, он был отменен, но впечатление его сохранилось, и десятки семинаристов, по тем или иным причинам отстраненных от бездны премудрости, нашли более выгодным застраховать себя от насильственной и долгосрочной солдатчины добровольным зачислением в краткосрочное и несравненно более легкое ополчение. Что касается карьерных мотивов, толкавших духовную молодежь в ополченцы, в них само правительство разбиралось очень хорошо. И — хотя в указе 25 июля 1812 года говорилось: «Ежели кто из них пожелает, защищая отечество, идти в новое ополчение, на которое призываются все сословия, таковых увольнять беспрепятственно, и для одежды их и на продовольствие делать пособие из кошельковой суммы, остающейся за содержанием церквей», — однако и теперь это дозволение простиралось только на семинаристов «не выше риторического класса». Юноши, стремившиеся вырваться из закрепощения духовному сословию, сейчас же сумели приспособить себе во благо и это неудачное ограничение. Уже в следующем 1813 году правительство обратило внимание на то, что ученики семинарий нарочно исключались, не доходя до высших классов, чтобы тем беспрепятственнее можно было им выйти

из духовного звания для поступления на *статскую службу*; вследствие этого во всех присутственных местах дозволено было принимать на службу только семинаристов, кончивших полный курс. Что касается самого факта стремления духовной молодежи к выходу из своего сословия, то это движение в эпоху Отечественной войны было уже очень старым. В течение всего екатерининского века оно пользовалось всяким общественным поводом, чтобы найти себе выход — из подрясника в сюртук — и иногда принимало размеры массовые. Так было после учреждения о губерниях (1775 г.) и открытия наместничеств, когда потребовалось громадное количество способных людей для пополнения новых присутственных мест, особенно наместнических канцелярий. В 1779 году одна только канцелярия нижегородского наместничества зачислила на службу 155 семинаристов. В 1783 году вытребовано было в учителя народных школ 142 человека, «и притом из самых лучших учеников». С 1786 года началось настоящее бегство семинаристов в медицинские училища преобразованной медицинской коллегии. Дело иногда доходило до того, что высшие классы духовных учебных заведений почти пустели, и архиереи чувствовали «значительное затруднение в приискании достойных лиц для занятия священнослужительских мест». Поэтому они, с знаменитым Платоном Левшиным во главе, старались положить на пути увольнительного движения все зависевшие от них препятствия. По распоряжению Платона все ученики, переходившие из риторики в философию, должны были давать подписки в том, что они желают остаться в духовном звании. Мысль о том, что воспитанник духовной школы должен готовиться непременно на служение Церкви, для назидания учащихся развивалась даже на публичных диспутах. В 1782 году на публичном собрании Московской академии разыгрывался диспут между своими студентами о том, какой избрать род жизни по окончании курса, причем один из актеров, игравший роль благовоспитанного студента, по име-

ни Добросклонина, должен был доказывать другому, игравшему роль Ветренникова, преимущества духовного звания и пред военным, и пред судебным, и всяким другим, которыми оппонент увлекался по своей ветренности (Знаменский). Но движение было настолько сильно, что, ради избавления от бездны премудрости, те, кому не удавалось спастись путем добрым, прибегали к путям злым и заставляли начальство исключать их за нерадивость и дурное поведение. Это «героическое средство» было очень опасно для прибегавших к нему, так как безместный исключенник рисковал угодить в солдаты или быть зачисленным в податное сословие. Тем не менее исключения из семинарий и академий стали производиться в огромных размерах: например, в 1793 году из Московской академии исключено было 146 человек.

Новых Навинов, одолевающих наглость Амалика, Судей, спасающих Израиля, и Маккавеев, огорчающих Цари многи, из сынов левитских в 1812 г. — ни одного не вышло. Безучастие духовенства к Отечественной войне — даже в партизанстве — настолько глубоко, что в 1902 году г. Иван Орловский, печатая в «Истор<ическом> вестн<ике>» заметку о «Дьячке-партизане 1812 года», считал возможным снабдить сообщаемый документ таким присловьем: «Все сословия русского народа в этой войне выставили немало своих представителей, называвшихся партизанами. Имена этих партизанов, не только главных, как Давыдов, Фигнер, Сеславин, но и таких, как гжатская «старостиха Василиса», давно уже получили право полного гражданства в «русских хрестоматиях». До сих пор только не было известно, кажется, ни одного имени партизана из среды духовного сословия. Случайно нам удалось найти указание на то, что и духовенство не отстало от других сословий в народной войне, но также выставило из своей среды партизана, именно рославльского дьячка Савву Крастелева». Это, конечно, ошибочное утверждение, так как давным-давно оглашены партизанские

действия дьячка Смирягина, дьячка Рагузина и др. Но нельзя видеть из этого, как мало исторических впечатлений дала памяти общества жизнь духовного сословия под Наполеоновой грозой. Притом — взять хотя бы партизанство: дьячок Смирягин, дьячок Крастелев, дьячок Рагузин, — все низший, крестьянствующий слой сословия, непосредственно задетый мародерами, поднявшийся на защиту своего, по́том и кровью политого, земельного участка в одних условиях с смоленским и калужским мужиком. Но, чем выше духовное лицо стоит на лестнице иерархии, тем оно в этот срок равнодушнее к событиям, потрясающим его отечество. Прочитав десятки мемуаров, вышедших из-под священнических и, в особенности, архиерейских перьев, я, с изумлением, должен признать как общее правило: если в них не зазвучит вопль, так сказать, шкурный вопль личных потерь, то нет никакого вопля вовсе. Чувство подменено холодным семинарским риторством. Патриотизм — отпискою, в порядке хрии — на тему о любви к отечеству — не тому наглядному отечеству, которое сейчас вот живым телом своим страдает, но к отечеству вообще, к отечеству риторической задачи по Цицерону и Боссюэту. Все время слышишь чиновников в рясах — и никогда человека русского, сына отечества. Уйти от этого консисторского равнодушия не умели даже такие всесторонние умники и блестяще образованные, чуткие, тонкие люди, как знаменитый Евгений Болховитинов. От его письма к архимандриту Парфению о занятии Москвы Наполеоном дышит не менее жестоким морозом, чем тот, который погубил Наполеоновы полчища. Риторика, выражающая жалость вчуже прискорбному событию, которое, однако, — не по нашему, а по чужому ведомству. И, если подобное равнодушие расстилалось по высшим слоям сословия как общее правило, мудрено ли, что кое-где на почве его выросло и кое-что похуже равнодушия, и между чиновниками в рясах нашлись такие, которые оказались весь-

ма способными, не изменяя своему ведомству, весьма спокойно принять, сообразно новым обстоятельствам, новое над собою начальство.

На пути своем от Вильны к Москве нашествие Наполеона захватило епархии: Могилевскую, Минскую, Витебскую, Полоцкую, Смоленскую, Московскую. Только в первой французы застали архиерея на своем посту. И что же? Архиерей этот — Варлаам Шишацкий, архиепископ Могилевский и Витебский, немедленно принимает присягу на подданство Наполеону, приводит к ней городские власти и население, его консистория рассылает присяжные листы во все места, занятые неприятелем, за обеднею он поминает «великодержавного государя императора французов и короля Италии, великого Наполеона, и супругу его императрицу и королеву Марию-Луизу». Переход Варлаама на сторону Наполеона не только пассивный. В качества нового французского гражданина он обнаруживает весьма ретивую дятельность.

«При поставлении во священники и диаконы, поставляемые присягали не императору Александру, а Наполеону. За этим Варлаам особенно следил. Когда до него дошел слух, будто бы могилевский городской Воскресенской церкви священник Андрей Добровольский 22 июля, по совершении литургии и молебствия, поминал государя и весь царствующий дом, то архиепископ приказал произвести о том строжайшее дознание. Добровольский дал подписку и даже привел свидетелей, двух мещан, что этого не делал, но, согласно повелению начальства, поминал Наполеона.

В день именин Наполеона и рождения его супруги были совершены в Могилевском соборе и других церквах города торжественные богослужения, причем для наблюдения за тем, чтобы приказание архиепископа было исполнено, во все церкви были посланы его «надзиратели». В соборе в оба эти дня священник Пиючевский говорил проповеди, сочиненные самим Варлаамом. В проповеди, между прочим, говорилось

о вседействующем Промысле Божием с обращением к императору французов таких слов: «На ком более действует Всевышний Промысел, как не на великом Наполеоне? Предприятия его чрезвычайны, подвиги велики, дела пресловуты; события дальновидных его намерений приводят в удивление всю вселенную» (Дубровин).

Таким образом приведено было к присяге Наполеону две трети духовенства в Могилевской епархии, а в самом городе все поголовно без исключения. Любопытнее всего то, что сделано это было добровольно, без всякого вызова с французской стороны. «Ни сам Наполеон, ни маршал Даву не имели ни малейшей надобности требовать от архиепископа Варлаама со всем его духовенством, ни от католического даже духовенства присяги». (Ср. ниже — с записками Климыча о пребывании французов в московском Девичьем монастыре). По словам Носовича, автора рукописных записок, бывших в руках у Дубровина, это была «проделка поляков». «Они сделали это для того, чтобы православные священники, поколебленные присягою, не внушали, подобно католическим ксендзам во время войны и безначалия, своим прихожанам восстать против помещиков латинского исповедания и истребить их до конца». В деле об измене Варлаама, возникшем по выходе французов из пределов России, агентом Наполеона выставляется «здешний каноник Маевский, который и бискупа своего номината совратил с пути истинного и обольстил архиепископа Варлаама». (Письмо архиеп. Феофилакта Русанова к кн. А.Н. Голицыну от 2 янв. 1813 г.).

История этой архиерейской измены тем страннее, что главным действующим в ней лицом явился не какой-нибудь корыстолюбивый и беспринципный авантюрист, для которого монашеские четки только лестница к власти, деньгам и удовольствиям жизни, но 63-летний архиепископ, происхождением из крестьян, суровый аскет, молитвенник и книжник, всеми уважаемый за справедливость и строгие нравы и весьма нелюбимый по

этой причине местными светскими властями. Более того, в прошлом за Варлаамом осталось решительное доказательство его приверженности к России, — в 1799 году, будучи настоятелем Виленского Свято-Духова, монастыря, он отказался дать присягу на верность польскому королю и Речи Посполитой (Чистович). Между тем теперь он, будто бы по уговору однажды уже помянутого Маевского, подписал, вместе с католическим бискупом, конфедерацию Польши, от чего воздержались и ловко уклонились — даже из католического духовенства — иезуиты Полоцкой епархии из г. Орши.

Граф М.В. Толстой в своих воспоминаниях уверяет, со слов некоего Китовича, будто Варлаам был ростовщик, не выехал из Могилева потому, что не успел собрать капиталов своих, розданных в обороты местным евреям, а, захваченный неприятелями, пленился «надеждою, что будет по присоединении Белоруссии к новому Польскому королевству (восстановление которого ожидалось поляками) главным архипастырем православной церкви в Польше». Другие говорят, что его, с неизвестными целями, задержал в городе, покуда уже нельзя было выехать, — стало быть, подвел нарочно, — враг его, губернатор, граф Д.А. Толстой. Наконец, по маловероятному рассказу Е.К. Арнольди («Русск<ая> ст<арина>», 1889), Варлаам даже выехал из Могилева, но был догнан французами и возвращен в город. Как бы то ни было, в конце концов все равно: суть в том, что, когда русские власти и силы бежали из Могилева, архиепископ Варлаам Шишацкий остался в Могилеве и оказался не только наполеоновцем, но и деятельным агентом Наполеона. Этот факт сам по себе настолько выразителен, что раскрашивать Варлаама еще нарочно черными красками, приписывая ему особые личные пороки, излишне. Все, что в этом последнем роде взводилось на Варлаама, слишком непохоже ни на его прошлое, ни на то, как отбывал он, по снятии с него епископского сана (29 июня 1813 года в Чернигове), тяжкое свое покаяние в Новгород-

Северском Спасском монастыре. Он прожил еще 8 лет «простым монахом, в тесной келье, под колокольнею, в качестве будто бы привратника и звонаря. Там он горько оплакивал свою несчастную долю и от слез ослеп. После его смерти (1821) никто из монастырской братии не хотел жить в этой келье, считая ее как будто проклятой». Все это, конечно, не похоже ни на ростовщика, ни на простого человека, сохранившего какие-либо частные средства к жизни. Это — типический монах-узник на монастырском покаянии. Уж если искать совершенно частных причин тому обстоятельству, что Варлаам так неуклюже «застрял» в Могилеве, то гораздо более в характере этого угрюмого книжника-нелюдима другая могилевская легенда, уверяющая, будто архиерей, влюбленный в свою великолепную библиотеку, приходил в отчаяние, что не может ее увезти, и в конце концов оказался не в силах от нее уехать.

Вернее всего будет видеть в поступке Варлаама акт — так сказать — отчаяния в отечестве, которое он, как многие, в виду грозных Наполеоновых полчищ, преждевременно почел бесповоротно погибшим. На следствии он показывал, что присягнул с целью «спасти паству от преследования, а храмы Господни от посрамления и разорения». Решимость эту Варлаам взял не одною своею волею, но посоветовавшись с членами консистории и генерал-майором Хоментовским. «Секретарь могилевской консистории Демьянович уговаривал Варлаама не делать этого, указывая, что Франция еще не завладела окончательно Белоруссией; что, если Белоруссия опять будет под державою российской, — говорил Демьянович, — нас тогда будут судить.

— Ты думаешь, — отвечал Варлаам, — что Россия будет благополучна?.. Пусть будет благополучна; я один тогда буду несчастен» (Дубровин).

Если таковы были намерения Варлаама, то он их, до известной степени, достиг. Вот как характеризует состояние

его епархии следователь по его делу, член Святейшего Синода архиепископ Рязанский Феофилакт Русанов: «По Могилевской епархии наше духовенство спаслось от нарушения верности к государю только в Витебской губернии, которая составляет не больше 5-й части епархии. Причиною сего полагается случившийся на то время там недостаток в расположенных к революции, каковых в Могилевской, к несчастью, очень много нашлось. Могилевская епархия разорена нравственно, но физически весьма сбережена. Французы действительно поступали в ней, как в своей земле. Они также щадили по каким-то причинам и Минскую епархию. Есть по местам значительные потери, но это там, где происходило сражение, или от личного поляков неудовольствия на какого-нибудь помещика, как сбылось сие над Могилевским губернатором (т.е. Д.А. Толстым), коего деревни совершенно разграблены, однако ж не сожжены, за уход его из губернии вслед за армией покойного князя Багратиона».

«Смоленские жители, — прибавлял Феофилакт, — удивлялись, что из гнезда изменников (т.е. Могилева) возвратился я невредим. Они перед поездкою не советовали пускаться туда без вооруженных проводников, но я положился на власть Божию».

Любопытно, что за всем тем могилевское духовенство за свое отступничество не пострадало сколько-либо значительно. Случилось буквально то, что Варлаам себе напророчил: он один расплатился за всех. С него сняли архиепископство и священство и заточили его в Новгород-Северском монастыре Черниговской епархии, а «участвовавших в таковом же с ним преступлении священнослужителей» положено было, — по Высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода от 19 мая 1813 года, — лишь «привесть всех вновь к присяге на всеподданническую верность законному своему государю и разрешив священнослужение, кому оное было

запрещено, поручить потом очищение совести их духовным их отцам, но таким, которые с ними в противозаконной присяге не участвовали». Хотя Феофилакт уверяет в своих докладах обер-прокурору Св. Синода князю А.Н. Голицыну, будто Варлаама «и прежде не любили, а теперь и светские, и духовные восстали против него, иные для прикрытия своего вероломства, а другие из чистых побуждений», — однако, по-видимому, старый архиерей имел в Могилеве своих защитников — и даже очень деятельных. Настолько, что Феофилакт серьезно опасался за судьбу документов по процессу Варлаама: «Успокойте меня, — писал он Голицыну 16 января 1813 года, — дошли ли до вас бумаги мои? Я отдал их на почту с распискою; но после узнал, что и сам почтмейстер с своим помощником присягали на верность Наполеону. Взять же их с собою в Смоленск не отважился, для того чтобы не отбили их у меня на дороге и с самим мною не сделали бы чего». Что касается обвинителей Варлаама, Феофилакт не скрывает, что многие из них усердствуют из личных целей. «В Могилеве ничто так меня не затрудняло, как упрямство преосвященного Варлаама, которого, для облегчения тамошней консистории, прошу покорнейше, ваше сиятельство, или вызвать в С.-Петербург, или перевесть в другую какую-нибудь епархию». Таким образом, Варлаам, хотя и подследственный, не был ни под арестом, ни под запрещением, и даже имел полную возможность агитировать против Феофилакта. Последний хвалится Голицыну (2 января) тем, что, только внезапно нагрянув, удалось ему захватить в могилевской консистории обличающие измену бумаги «и немало хитростей было употреблено, чтоб выманить их из моей канцелярии». От вызова архиерея в Петербург или перевода в другую епархию до предполагаемого лишения сана, конечно, тоже еще далеко. Эта мягкость или нерешительность следовательских действий объясняется следующими строками в том же (от 2 января) письме Феофилакта: «По граж-

данской части все следы закрыты, и гражданский губернатор граф Толстой, зная совершенно, кто был изменником, поневоле продолжает служить с ними. Великий соблазн, ежели по духовной только части присягавшие на верность чудовищу, восприимут мзду свою, а светские останутся в службе наряду с истинными верноподданными».

Значит, удовольствовались минимумом того, что должны были и хотели сделать, как максимумом того, что оказались в состоянии сделать, по смутному и враждебному настроению окраины.

Примечательно и то, что обряд снятия с Варлаама епископского сана решено было произвести не в Могилеве, где было бы ему естественно и внушительно быть — по месту преступления, — а в Чернигове. Очевидно, боялись какого-либо скандала со стороны могилевских сочувственников Варлаама. Форма позорного обряда была предписана свершавшему его черниговскому архиепископу Михаилу с мельчайшими подробностями: «Когда архиепископ Варлаам доставлен к нему будет, в то время по сношению с гражданским губернатором назнача день, собрать в кафедральный собор монастырских настоятелей и городское духовенство, а потом, введя в оный его, архиепископа, в полном архиерейском облачении и поставя посреди церкви, объявить прочтением чрез консисторского секретаря высочайше конфирмованный доклад, а по объявлении, сняв с него чрез ключаря с протодьяконом все архиерейское облачение с знаками ордена св. Анны I ст. и возложа приличное монаху одеяние, обязать подпискою, чтобы он отныне впредь не токмо архиереем, но ниже иеромонахом отнюдь ни под каким видом ни письменно, ни словесно не именовался и не писался». Для архиепископа Михаила Черниговского, быть может, обряд этот был тоже уроком и испытанием, так как он был масон, и Ростопчин, — голос ультрапатриотической партии Тверского двора в.кн. Екатерины Павловны, — доносил на него царю даже

как на иллюмината-мартиниста. «Обратите внимание, Государь, — пишет он Александру от 13 ноября 1812 года, — что Черниговский архиепископ Михаил предан мартинистам и что они всячески будут стараться, чтобы он был назначен на московскую кафедру».

Из всех загадочных и зыбких фигур, которыми история Отечественной войны изобилует в гораздо большей степени, чем в XIX веке принято было учить и предполагать, архиепископ Варлаам Шишацкий — едва ли не самая странная и непонятная. Чего хотел этот беспричинный наполеоновец? К чему он стремился, когда остался в городе? Почему — после русских побед, — предчувствуя верную кару со стороны русской власти, не последовал за отступлением французской армии? С тех пор, как история 1812 года вышла из фазиса панегирического и перешла в фазис научного изучения, случай архиепископа Варлаама не раз беспокоил любопытство исторических исследователей. Уже 30 лет тому назад пытался разъяснить эту загадку А.Ф. Хойнацкий («Ист<орический> вестн<ик>», 1881). Но в конце концов она так и осталась недоуменным пятном на фоне летописи 1812 года. С чего-то человек изменил, с чего-то покаялся. Чего-то искал и ждал, но не нашел и не дождался. И, не найдя и не дождавшись, оробел, растерялся и пропал. По малым следам, которые он оставил в мемуарах эпохи, видно, что современники этой темы не любили и придерживали язык за зубами, пока она не исчезла, расплывшись в мутных легендах. В старых исторических трудах об эпохе Отечественной войны могилевские измены тоже тщательно замалчивались. Даже в огромных томах капитальной работы Шильдера об Александре I, принадлежащей к девяностым годам, нет ни имени Наполеонова архиерея Варлаама Шишацкого, ни хотя бы намека на то, что угораздило этого архипастыря натворить.

* * *

Движение Наполеоновой армии на Смоленск вызвало в последнем панику не сразу. Пребывание в городе государя (9 и 10 июля), ободряющий рескрипт, данный им на имя смоленского еп. Иринея, а главное, успокоительные письма главнокомандующего русскою армией ген. Барклая де Толли к губернатору и предводителю дворянства задержали начавшееся было бегство обывателей из города до 3 августа, когда Наполеон остановился уже на ночлег в семи верстах от Смоленска на архиерейской даче «Новый двор». Тогда население хлынуло из Смоленска потопом и впереди всех бегущих оказались губернатор барон Аш и епископ Ириней. «Архиерей велел ключарю Василию Соколову везти вслед за ним и соборную икону Одигитрии. Спрятав в стене собора все драгоценности соборные (золотые и серебряные сосуды), ключарь вынес из храма св. икону и, в сопровождении множества народа, бежавшего из Смоленска, нес ее при зареве отдаленных пожаров до села Цурикова (за 30 верст от города). Семинарское начальство и учителя также разъехались в разные стороны, не приняв никаких мер к сохранению казенного имущества. Семинарская богатая библиотека осталась выброшенною на дворе. Духовенство и монашествующие лица скрылись куда попало (по большей части, уехали в соседние губернии)».

Этот Ириней (Фальковский), известный автор «Православного богословия» на латинском языке, кабинетный ученый, был лишен всякого административного таланта. Человек мягкого характера, робкий, вялый, он по оставлении города ухитрился в бегстве своем так хорошо исчезнуть, что с того времени (5 августа) до декабря духовенство не знало, где он находится. В виду этого пришлось и по духовному ведомству распорядиться Смоленскою губернией так же «по-соседски», как по гражданскому: бежавшего губернатора барона Аша временно заменили сперва Кологривов из Твери,

потом калужский губернатор Павел Никитич Каверин, а бежавшего епископа Иринея — в том же порядке — калужский архиерей Евлампий. Только в первых числах декабря по ходатайству Каверина через петербургского главнокомандующего Вязмитинова Синод разыскал без вести пропавшего Иринея и потребовал, чтобы он поспешил в свою епархию, в которой тем временем уже хозяйничал энергический духовный следователь, типический полицейский в рясе, Феофилакт Рязанский. От последнего мы знаем, как возвращался смоленский пастырь к своему рассеянному и перепуганному стаду. «В Сычевке, — писал он князю Голицыну 11 декабря, — услышал я, что преосвященный Смоленский чрез Тверь проехал на г. Ржев, Тверской губернии, а отсюда пробирается на г. Белый своей паствы, который, как говорят, совершенно уцелел от вторжения неприятельского. Чрез попутчика дал я ему знать, чтоб он непременно повидался со мною, и именно в г. Вязьме, объявленном от Смоленского гражданского губернатора средоточием всех сношений по службе. Впрочем, я не долго пробуду в Вязьме и поспешу в Смоленск. Гражданские чиновники не охотно собираются в Смоленск под предлогом, что от разорения мало там остается домов, способных для жительства. Поэтому-то и преосвященный Смоленский разъезжает по границам своей паствы. При свидании не оставлю поставить ему в виду, что начальник не должен находиться вдали от страждущих подчиненных». Но Ириней Феофилакта и гражданского начальства боялся, по-видимому, еще больше, чем французов. 16 декабря — уже из Вязьмы — Феофилакт, с некоторым конфузом, сообщает Голицыну: «Сегодня оба мы с преосвященным Смоленским отправляемся в Смоленск, только разными путями: я еду чрез Ельну на почтовых, а он опять на Белый на протяжных. Четыре дня пробыли мы в Вязьме и друг друга не видали. П.Н. Каверин пытался увидеться с ним и не допущен под предлогом дорожного утруждения. Авось

сойдусь с ним в Смоленске». Неудивительно, что когда архиереи наконец съехались, то обозленный Феофилакт принялся за мягкотелого Иринея вплотную, довел его угрозами и придирками до нервной болезни и в конце концов «съел»: «В июле 1813 г. преосв. Ириней по прошению уволен от управления Смоленскою епархией и определен на прежнее место коадъютора Киевской митрополии».

Из всех приходских священников остались в городе только двое — спасский священник о. Яков Соколов да священник Одигитриевской церкви о. Никифор Адрианович Мурзакевич.

Мурзакевич этот был человек весьма замечательный. Поп из «неученых», не кончивший по бедности семинарии и дошедший до священства чрез псаломщичество и дьяконство, он был ученым по призванию и в страшной бедности, со старухою матерью и шестью детьми на руках, неутомимо работал над «Историей города Смоленска», ради которой самостоятельно разобрал местные архивы (губернский, городской магистратный и консисторский) и сделал в них множество любопытнейших находок. Если не ошибаюсь, этому очень благоприятствовало управление смоленскою епархией кроткого и умного архиепископа Парфения, архиерея «Платонова духа» *). Своя братия, духовенство, «ученого дьякона» терпеть не могла, а когда архиереем в Смоленск назначен был епископ Димитрий Устимович (1798–1805), Мурза-

---

*) Историк Смоленской епархии рассказывает о нем, что он снисходительно сносил даже очень резкие грубости духовных лиц, наказания употреблял самые мягкие, большею частью только для того, чтобы «попугать», как он выражался, не делал никогда грозных окриков во время богослужения за ошибки чтецов или певцов, окриков, от которых смешавшийся в службе еще более смешивался и приходил в тупик, а публика смущалась и приходила в соблазн, за литургией в одной сельской церкви, в присутствии преосвященного, дьякон начал читать не то Евангелие; испуганный священник делал всякие предостерегательные знаки через престол, но преосвященный только заметил ему кротко: «Оставь его, теперь и не время, и не место прерывать читающего, хотя он и не то читает, все равно святое» (Знаменский).

кевичу пришлось совсем худо, так как ученый архиерей, презирая дьякона-самоучку, закрыл ему доступ к архивам. Но Мурзакевичу помогла совершенно случайная встреча (1801 г.) с студентами, проезжавшими через Смоленск в заграничные университеты: А.И. Тургеневым, И.А. Двигубским, П.С. Кайсаровым и Воиновым. Найдя «в убогой хижине чахнувших от недостатков историка и его семейство», молодые люди растрогались и поддержали Мурзакевича, выписав в его библиотеку массу исторических источников, приобрести которые ранее недоставало у него средств. Благодаря главным образом Тургеневу, о. Никифор в 1803 году закончил свою «Историю Смоленска». Епископ и духовное ведомство сурово ее отвергли, но у гражданского начальства Мурзакевич был счастливее: ген.-губ. Ст.Ст. Апраксин приказал напечатать ее в губернской типографии на свой счет и 600 экземпляров подарил автору. Книга Мурзакевича обратила на автора внимание властей и несколько поправила его печальное материальное положение, но нерасположение к нему духовенства, конечно, только выросло еще больше на почве зависти и ревности к неожиданному успеху. Епископ Димитрий так жестоко обиделся, что не захотел держать при себе дьяконом «сочинителя» и сплавил его из кафедрального собора священником в Одигитриевскую церковь.

Так бедовал Мурзакевич до страшного 1812 года, который злополучного батюшку, что называется, доконал: «Много горя он принес Смоленску, — пишет его биограф Н.И. Орловский, — а в Смоленске едва ли не больше всех Мурзакевичу. За один какой-нибудь год (и даже меньше того) он лишился *шести* членов своей семьи (матери, тетки, жены, двух дочерей и воспитанницы), лишился здоровья, почти всего имущества и, наконец, священнической должности и чести. И замечательно, что самые тяжелые испытания были причинены ему не врагами отечества, а своими же соотечественниками, согражданами, сослужителями».

Начался этот год для Мурзакевича тяжелою утратою. Его жена, страдавшая чахоткою, слегла в постель и 4 марта умерла. Всякому известно, какое это великое горе для священника — потерять жену, — как ломает это горе всего человека, превращая несчастоаго вдовца из жизнерадостного и деятельного человека — в унылого, преждевременно стареющегося ипохондрика, как будто забытого Богом и людьми. А у о. Никифора было 7 человек детей, мал мала меньше, и дряхлая старушка-мать.

Похоронивши жену, он «впал в задумчивость и какое-то равнодушие», — рассказывает его сын Иван. «Было заметно, что, бывший до того времени трудолюбивым писателем, он только об одном теперь заботился, как бы устроить и учить своих детей, тогда как при жизни жены вся забота о домашнем благосостоянии лежала на ее попечении». А тут еще «собратья по сану» не упускали случая добавить лишнюю каплю горечи в его и без того горькую чашу. В самое Вербное воскресенье 1812 года приехал в Смоленск новый архиерей Ириней, «муж ученый, затворник», — по отзыву Мурзакевича. Вскоре же по приезде он обратил внимание на о. Никифора; сам писатель, он оценил его «Историю Смоленска» и хотел наградить его саном протоирея. Но нашлись среди членов консистории лица, представившие преосвященному, что-де Мурзакевич и без того достаточно уже награжден и как «неученый» не может быть удостоен сана протоиерея».

Когда началось усиленное движение войск через Смоленск, Мурзакевичу пришлось туго. «Съестные продукты вздорожали вдвое, и приходилось подумывать об экономии в припасах. 28 июля, в день Одигитрии Божией Матери, священник Мурзакевич уже не устраивал обычного по случаю храмового праздника обеда. В это время он почувствовал всю тягость и безнадежность своего личного положения: семеро детей, старушка-мать, тетка, сиротка Софья, взятая на воспитание, — такое большое семейство при недостатке

средств невольно заставляло его задумываться. Ужас грабежа и разорения живо представлялся его воображению. Свояк его, полковой священник Левицкий, взялся довезти до Вязьмы его старшую дочь и сына, остальные все остались на его попечении». От нерешительности, а может быть, и от безденежья, Мурзакевич мешкал да мешкал, пока вовсе не промешкал возможность бегства. Его обычное горе-злосчастье с ним не расставалось. «На всякий случай он купил себе лошадь, но когда началось в городе смятение и поголовное бегство жителей, ее ночью увели со двора. Пришлось поневоле остаться в Смоленске».

Поведение о. Никифора Мурзакевича в дальнейших событиях, грозно нахлынувших на Смоленск, было из тех, которые следовало бы определять «героическими», если бы не были они так просты и естественны, что столь пышное слово решительно оказывается не у себя дома. Вел себя, как следует вести человеку, оставшемуся при своем месте и решившемуся исполнять свой долг. Во время боя под Смоленском он, по вызову Паскевича, на бастионах исповедует и причащает раненых, ободряет и утешает смущенных солдат. Генерал Паскевич на бастионе горячо благодарил о. Никифора и занес его имя в свою записную книжку. А тем временем дом Мурзакевича расстрелян неприятельскими ядрами. Священник переходит «для безопасности» в церковь, где укрылось несколько прихожан, и, чтобы их ободрить, «перед образом Спасителя стал править молебное пение». «Едва кончил, как влетела в церковное окно бомба и лопнула; черепьями побила стекла и стены, а духом поломало клиросы, меня же сильно толкнуло в алтарь, между тем стоявшего со мной рядом лекарского ученика (подошедшего исповедоваться) ушибло доскою с клироса».

Сын Никифора рассказывает, что в этот момент все пали на землю, а они, дети, громко плакали, будучи уверены, что отец их убит. Когда же дым немного рассеялся, они увидели

отца, стоявшего в алтаре в облаках дыма, но целого и невредимого. Со слезами стали они просить отца уходить из города, говоря, что больше ни минуты не останутся в нем, посреди таких ужасов.

«После сего, — рассказывает о. Никифор, — распрощавшись с прихожанами, взяв детей, хотел выйти из города, но, удерживаемый престарелой матерью и советом прихожан, недоумевал». Слезы детей, наконец, осилили сыновнее чувство о. Никифора к матери, и он решился идти. Забрав с собой кое-что из одежды и навьючив узлами дворовую женщину свою, семья о. Никифора, стараясь прикрывать головы узлами, вышла из дому по направлению к Днепру. Проходя мимо собора, решились зайти туда, чтобы помолиться в последний, быть может, раз в жизни.

С общего совета и после слезных просьб дряхлой матери, в виду недостатка денег и неимения подводы для бегства, решено было остаться в соборе, где, на обширных хорах, свободно можно было некоторое время укрываться от неприятелей. Из высоких круглых окон соборных смотрели дети о. Никифора на город: он виден был весь как на ладони и, словно ветром, был весь объят пламенем».

Оставшись таким образом бедовать в Смоленске, о. Никифор, под пулями и ядрами, все хлопочет об одном, как бы ему уберечь церковное имущество. 6-го августа в 8 часов утра вошел в Смоленск Наполеон. Прислуга Мюрата стала грабить архиерейскую ризницу. Мурзакевич идет к Мюрату и князю Понятовскому, говорит с последним по-латыни и добивается прекращения церковного грабежа, назначения караула к собору и церквам, чтобы спасти их от мародерства, а также освобождения некоторых пленных. «Многие жители, узнав об этом, переселились в собор со своим имуществом и теснились в нем около двух недель, пока не получен был приказ французского правительства — расходиться по своим домам. <...> 13-го августа велено было жителям вы-

ходить из собора и располагаться по уцелевшим домам. Переселился в свой дом о. Никифор. Хотя нужда в пропитании доходила до того, что не брезгали и остатками от французских боен, тем не менее о. Никифор с своими сыновьями, Костей и Иваном, ежедневно до самого Успенья, ходил к русским раненым, за городом, на кирпичных заводах, и носил им воду, овощи и яблоки. Благодаря этому, некоторые из них выздоровели, а один — вахмистр Никитин, остался в Смоленске и служил при военном госпитале иа Казанской улице, сохраняя до самой смерти горячую признательность о. Никифору за спасение ему жизни. Свободному доступу Мурзакевича повсюду способствовали, кроме его священнической одежды, и его энергия, доходившая до дерзости, перед которой отступали невольно неприятели, а самое главное — благородство его поступков и человеколюбивый характер его действий и хлопот, пред чем не могли не преклоняться с уважением французы» (Орловский).

Французы оставили для богослужения собор и три церкви. Остальные были обращены в госпитали, тюрьмы, а то и просто конюшни. В городе хозяйничал интендант Виллебланш во главе русского муниципалитета. Француз употреблял все усилия, чтобы ввести некоторый порядок, но его усердие разбивалось о совершенное бездействие муниципальных чиновников из русских. Я уже говорил об этом в «Наполеоне — Пугачеве». За смертью соборного священника о. Василия Шировского о. Мурзакевич становится как бы духовным главою города. Живший «раньше в соборе бизюковский архимандрит Иосиф, дряхлый старец, передал с ведома прот. Зверева ключи от собора о. Никифору, который упросил французских властей вывести из собора караул, нарушавший святость места. Просьба энергичного священника, уже известного французскому начальству по его прежним сношениям с ним, была уважена, и караул был удален из собора, и к запертым на замок его дверям был приставлен один

часовой». В это время (12 октября) о. Никифору пришлось присутствовать при расстрелянии известного П.И. Энгельгардта *).

Положение Мурзакевича было терпимо до тех пор, покуда французская армия находилась в Москве. Но уже ожидание ее обратного движения принесло большие неприятности. Собор отняли, потому что Наполеон лично облюбовал его под хлебный магазин. Затем «кригс-комиссар Сиов и интендант Виллебланш 25-го октября призвали к себе Мурзакевича и сначала советовали, а потом стали и требовать, чтобы он встретил Наполеона с наличным городским духовенством насколько возможно торжественнее.

Отказаться от этой тяжелой обязанности — значило навлечь на себя и на город кару; а принять ее — и того хуже: это значило бы оказаться изменником своему государю, уронить себя в глазах сограждан и подвергнуться потом суду и строгому наказанию.

В конце концов, о. Никифор решился, рискуя всем своим будущим, встретить Наполеона, чтобы спасти родной город и его храмы от разорения.

Уведомив протопопа Зверева и о. Якова Соколова (больше в городе не было священников), он утром 27-го октября пошел в собор, взял там ризы и крест и с подошедшими двумя священниками отправился к Днепровским воротам, где уже ожидало Наполеона в полном составе все городское французское начальство. Продрогнувши на холоде, Мурзакевич и его два сослуживца, с разрешения начальства, разошлись по домам. Отец Поликарп сказал: «Наполеона не будет».

В этот день Наполеон, действительно, не прибыл в Смоленск» (Орловский).

А назавтра приключилась о. Никифору случайная встреча с ним, которая впоследствии дорого обошлась злополуч-

*) Тоже весьма поблекнувшая героическая легенда 1812 года.

ному попу. «28-го октября о. Никифор был приглашен к больному мещанину Ивану Короткому, жившему у Днепровских ворот, отслужить молебен. Взяв с собою черствую просфору для больного, а сыну Ивану поручив нести ризы, о. Никифор отправился в путь. Погода была настоящая зимняя: мороз доходил до 12° при сильном ветре. Дорога по улице была покрыта снегом, который настолько был притоптан проходившими солдатами, что обратился в зеркальную поверхность.

Перейдя верхнюю базарную площадь (ныне Сенную), о. Никифор с трудом стал спускаться с горы мимо присутственных мест к Троицкому монастырю. Между монастырем и соборною горою в то время был «сухой ров», через который перекинут был мост.

Не успел о. Никифор дойти до монастыря, как к нему подъехал французский жандарм и сообщил, что идет Наполеон. Растерявшись от неожиданности, о. Никифор крикнул сыну: «Давай ризу». Кое-как успел он надеть на себя эпитрахиль, и в этот момент подошел к нему военный губернатор Жомини, знавший его лично, и сказал по-латыни: «Ecce Napoleon» *. О. Никифор торопливо снял с головы шапку и, подняв глаза, увидал возле себя самого Наполеона. Взглянув на растерявшегося священника, стоявшего без шапки, с эпитрахилью на груди и с просфорою в руках, Наполеон спросил его: «Pope?» ** — «Так», — отвечал о. Никифор по-латыни и сунул ему в руку просфору. Наполеон, не глядя и не останавливаясь, передал ее какому-то генералу и проследовал дальше».

Французская армия пришла в Смоленск в очень печальном состоянии, голодная, злая и тотчас же начала грабить. 30 октября польские солдаты напали на Одигитриевскую

* Вот Наполеон (*лат.*).

** «Поп?» (русск. в лат. произношении)

церковь, разбили дверь и стали грабить спрятанные здесь церковные и обывательские вещи. О. Никифор, услыхав шум, прибежал сюда и стал отнимать их. Поляки избили его почти насмерть, порубили саблею по голове, а один ударил шпорою в бок. Полуживой, он был отнесен в свой дом, но крепкая натура вынесла эти побои, хотя была надломлена ими. Оказалось, что «на грабеж навел поляков их полковник Костенецкий, который так сочувствовал невинному Энгельгардту и который сам же в это самое утро посоветовал Мурзакевичу перепрятать вещи в другое место. Ему нужно было только разузнать, где будут спрятаны эти вещи. К счастию, вещи, спрятанные раньше под колокольню, в том числе и серебряная риза с иконы Одигитрии, остались целы от грабежа» (Орловский).

В полночь 5 ноября французы покинули Смоленск, а уже утром в 7 часов вошли в него русские войска. Три месяца Смоленск находился во власти неприятеля. За это время о. Никифор лишился двух дочерей и сам после перенесенных тревог, и лишений, и побоев чувствовал себя очень плохо. «Еще хуже было его душевное состояние. Припоминалась встреча с Наполеоном, и являлось опасение, как бы не подвергнуться за это ответственности» (Орловский).

Действительно, «едва начальство пришло», Мурзакевич был обвинен в государственной измене и впал в руки грозного следователя, все того же арх. Феофилакта Рязанского (Русанова).

«19-го декабря Феофилакт приехал в Смоленск, а 20-го Мурзакевич записал в своем дневнике: «Потребован к синодалу по доносу николаевского протопопа Алексея Васильева. Рассказал откровенно все, со мною случившееся.

— Зачем встречал Наполеона?

Отвечал:

— Чтобы спасти храмы Божии: первосвященник иудейский Иоддай встречал язычника Александра Македонского, а папа Лев Святый — Атиллу у врат Рима, угрожавшего граду разорением».

Ревнителя не по разуму начальство предало уголовному суду.

24 декабря Феофилакт запретил священнослужение Мурзакевичу, прот. Звереву и свящ. Якову Соколову.

В тот же день Феофилакт писал Иринею: «Рекомендую вашему преосвященству от священника Мурзакевича немедленно отобрать объяснение, какие он имел побуждения от бывшего здесь французского правительства принять на себя поручение касательно хранения ключей от собора, ризницы и кладовых? кроме принадлежащего архиерейскому дому и собору, не хранилось ли тогда в оных и французское имущество? В какое именно время принял он на себя оное поручение? что именно в сих кладовых теперь находится? Для освидетельствования чего без отлагательства употребить ректора и префекта семинарии при депутате от градской полиции. Сверх того разведать: не был ли священник Мурзакевич и иные, а особенно помощник консисторского секретаря, употребляемы от упомянутого правительства и в другие дела? Сам он, Мурзакевич, сознавался предо мною, что с духовными, которых имен не упомню, выходил навстречу французскому императору Наполеону в церковном облачении и с крестом, и поднес ему просфору».

Феофилакт судил, если не милостиво, то быстро. Уже 17 января «подсудимым было официально запрещено священнослужение, благословение рукою, и отлучка из города, и взяты в том подписки. Были бы отобраны у них и ставленнические грамоты, но они и без того сгорели в смоленском пожаре». Дело же о встрече Наполеона, с резолюциею Иринея и отзывом Феофилакта, было отправлено 23 января 1813 года на рассмотрение Святейшего Синода.

В начале июня 1813 года последовал указ Св. Синода от 18 мая, которым все распоряжения Феофилакта по делу Мурзакевича и его сослуживцев были утверждены. Епископу же Иринею предписывалось уведомить Синод о решении по этому делу гражданского начальства.

«Между тем дело было передано в Смоленскую уголовную палату, Феофилакт 7-го сентября уехал в Могилев, а Ириней был перемещен в Киев с званием епископа Чигиринского и викария Киевской митрополии».

5 сентября 1813 года прибыл вновь назначенный в Смоленск епископ Иоасаф (Сретенский), бывший викарий новгородский. «По виду суровый, по душе благий», — замечает о нем о. Никифор. Правил он смоленскою епархией до 1821 года и оставил по себе память «юриста, практикою усвоившего знание законов». При нем дело Мурзакевича приняло благоприятный оборот.

Прежде всего, Смоленская уголовная палата решением своим от 24 марта 1814 года оправдала подсудимых священников.

«Священник Никифор Мурзакевич, — сказано в постановлении палаты, — кроме подносу им Наполеону просвиры, также в другом ни в чем не доказан, и по сделанному, по предписанию палаты, смоленским полицейским правлением исследованию оказалось: *он, Мурзакевич, во время нашествия в здешний город Смоленск неприятеля, находился при раненых российских офицерах и солдатах с повешенною на шею его иконою Божией Матери, и в то же самое время, при разломании неприятелем архиерейского дома и ризницы, оную избавил от грабежа и оставил все в целости. А при выгнании неприятеля из Смоленска, когда вознамерились и Одигитриевскую церковь также разграбить и снять колокола, не допустил и до оного, за что был бит, дран за волоса и бороду.*

В подносе же вышеписанной просвиры, почесть можно, последовало не по чему иному, *как из одной робости, и тогда, когда он нес для больного мещанина, по зову коего шел исповедывать и причащать его;* за что и следовало бы сделать с ним по подсудности, по правилам церковным какое-либо положение здешней духовной консистории, но, вменяя ему

вышеписанное, и запрещение священнослужения, и удаление от церкви с начала производства о сем дела, — также оставить свободным».

До решения уголовной палаты все подсудимые оставались без мест и без содержания. На представление епископа Иоасафа последовал 8 июля 1814 года указ Синода, чтобы бывшим подсудимым было разрешено священнослужение и они были немедленно определены по церквам по усмотрению Иоасафа. Таким образом, 26 июля 1814 года о. Никифор Мурзакевич опять оказался настоятелем Одигитриевской церкви, по которой и свековал остаток своей печальной и трудовой жизни. «Страдания, вынесенные им за это время, оставили на душе его тяжелый след. Хотя страсть к книжным занятиям и не угасла в нем, и, окончив «Евангельскую историю», он в 1815 году принялся за составление «Жизни апостолов Петра и Павла», но прежней бодрости и ясности душевной он уже навсегда лишился». Кое-какие радости приходили к нему, но всегда — от светских людей и никогда из своего сословия. Ужас свой к последнему о. Никифор выразил тем, что, «желая быть независимым в судьбе своих детей от духовных собратий, он всех почти своих сыновей направил по светской службе...» О. Никифор Мурзакевич скончался 8 марта 1834 года на 62 году жизни.

Где было остальное смоленское духовенство? Биограф Мурзакевича отзывается о том весьма определенно: попряталось по углам. «Иначе поступали многие священники, переодевавшиеся в крестьянскую одежду и приходившие в Смоленск на базар для покупки припасов. Их выдавала робость и неуверенность всех движений, которая давала повод французам заподозревать в них переодетых казаков и причинять им неприятности...»

Духовенство можайское и рузское скрылось лагерем в лесу около села Казанова (в 15 верстах от Волоколамска). «Духовенство, собравшееся в Казановском лесу, на первых

порах не бедствовало, *жило даже весело*, так как припасов свезено было довольно, было что поесть и попить, а погода стояла теплая. Беда настала для Казановского лагеря, когда наступили холода: в нем появился тиф. С уходом неприятеля лагерь разошелся, но насельники его не спаслись от тифа: все потом переболели им, и много народу от того умерло» (С. Уклонский).

Понятно, что здесь эта робость и прятки — результат шкурного страха. Но и там, где его не было и не могло быть, безучастие духовного сословия к событиям 1812 года поразительно. Словно дан был пароль: не мешаться в войну, это дело светское, а не наше. До таких мелочей, что в 1813 году духовная цензура отклонила от себя рассмотрение присланного из Казани патриотического стихотворения (Котович, 21). В высокой степени любопытно и характерно то обстоятельство, что в то время как в светском обществе Наполеоновы войны вызвали настроение романтических воспоминаний об аналогических эпохах русского прошлого (Озеров, Крюковский и др.), и в литературе, публицистике, даже в офицальных актах воскресли имена Димитрия Донского, Пожарского, Минина, — духовенство не ответило на это движение. Обратите внимание на синодальный акт, приведенный в начале моей статьи. Казалось бы, как в воинственной прокламации, исходящей от главенствующего органа духовного сословия, не вспомнить Авраамия Палицына, Гермогена, Дионисия, в эпоху Смутного времени, или, тем более, героев Мамаева побоища, Пересвета и Ослябю? О них, однако, ни звука, — словно умышленно. Припоминаются какие-то, ничего не говорящие народу, левиты, а собственные монахи-патриоты замолчаны. Между тем необходимость подобных напоминаний очень понимал, например, такой патриот из патриотов, как гр. Ф.В. Ростопчин. Неуклюжесть, с которою он, как мы увидим ниже, сделал одно такое напоминание, показывает, что он не посоветовался в этом случае с каким-либо ду-

ховным лицом, потому что любой священик мог бы избавить его от допущенной им смешной ошибки. То, что человек, стремившийся сосредоточить вокруг себя патриотические силы Москвы, не имел помощника и советника из духовенства, — это ли еще не изумительное явление?

Не думаю, чтобы оно было случайным и нечаянным. Скорее можно видеть в этом отчуждении от духовенства акт недоверия к церковникам со стороны вельможи, каждый вершок дворянина которого Наполеон пугал, главным образом, как Пугачев, и который на всю Отечественную войну смотрел сквозь призму пугачевщины. (См. мой очерк «Наполеон — Пугачев».) Утвердившись на этой точке зрения, Ростопчин не мог забыть, что в пугачевщину громадное большинство духовенства в восставших областях приняло сторону самозванца *). В последнюю четверть XVIII века правительство держало духовенство настолько в черном теле, что за судьбы его находили нужным вступаться, из человеколюбия, даже лютеране, вроде гр. Сиверса. Знаменский («Приходское духовенство в России со времени реформы Петра») справедливо находил, что в Екатерининский век такое правитель-

---

*) Пугачев хорошо понимал важное значение духовенства в народе и для привлечения его на свою сторону сосредоточил на нем все свое внимание и вместе всю жестокость мер, какие обыкновенно употреблял против непокорных. Из двух сословий, особенно пострадавших среди бунта, дворянства и духовенства, трудно сказать, которое пострадало более; духовенство выставило из своей среды 237 мучеников. *Но еще выше была цифра духовных лиц, увлекшихся общим народным движением своего края.* Правительство было сильно недовольно поведением духовенства и побудило Св. Синод издать объявление, что каждый служитель алтаря лишается священства и подвергается гражданскому суду «в самый тот час», как пристанет к бунтовщикам. *Виновных оказалось так много, что, например, в Пензе* гр. Панин — *усмиритель пугачевщины — застал все церкви запертыми, потому что в городе не оказывалось ни одного священника, не подпавшего под строгое решение Св. Синода.* «Если бы не духовный чин, — писал он в одном донесении императрице, — хотя мало иноков было, злодения не возросли бы до такой степени» (Знаменский).

ственное отношение к духовенству создавалось отнюдь не небрежностью, а системою. «Философский взгляд на духовенство», руководивший Екатериною, высказан Болтиным, который с откровенностью утверждал, что в невежестве и материальной бедности русского духовенства спасение России от клерикального господства, столь гибельного для благосостояния и просвещения стран католических. От клерикализма это циническое средство, может быть, и помогало, но оно шло вразрез с намерением создать из духовенства второе сословие государства — привилегированный и образованный класс, плотину власти против беспокойных движений «подлого народа». Очень естественно, что, несмотря на пышные указы, вроде изданного в 1767 году, духовенство, которое, по энергическому выражению гр. Сиверса, «умирало с голоду», весьма плохо облагораживалось, т.е. весьма мало расходилось с подлым народом в общих интересах и общих горестях и не сближалось с благородным классом давивших его дворян и чиновников. Несмотря на угрозы кнутом и каторгой, крестьяне не переставали подавать челобитья на помещиков и после 1767 года; челобитья эти по-прежнему писались и подписывались за неграмотностью челобитчиков их духовными отцами и другими членами приходских причтов. Вследствие этого многие духовные лица подпадали суду и подвергались строжайшему осуждению и несчастиям. В 1781 году вышел новый указ, подтверждавший указ 1767 года; его велено публиковать всем священно- и церковнослужителям с строжайшим запрещением писать и подписывать крестьянам их жалобы на владельцев; со всех ставленников при поставлении в церковные должности велено брать в слышании и исполнении его особые подписки.

Участие духовенства в крестьянских волнениях обнаружилось и в следующее царствование Павла Петровича и сильно озабочивало правительство. «По происшедшим

в некоторых губерниях ослушаниям крестьян противу своих помещиков, — говорилось в указе 1797 года, — оказалося, что многие из священников и церковнослужителей, вместо того чтобы по долгу их, правилами церковными и Регламентом Духовным предписанному, наставлять прихожан своих благонравию и повиновению властям, над ними поставленным, сами к противному сему подавали повод». После наказания виновных прежние указы касательно этого предмета были подтверждены вновь в 1797 и 1800 гг. В конце Павлова и начале Александрова царствования правительство поняло, что указами, обращенными к нищим, которым нечего терять, много не успеешь, и принялось «возвышать» сословие. Начались любезности: отмена телесного наказания, усиление штатных окладов, учреждение наград и отличий (скуфья, камилавка, митра, ордена), льготы: от некоторых сборов и повинностей, и — наконец, затея общей экономической реформы, которую должна была провести в жизнь синодальная комиссия духовных училищ. Оборотною стороною медали было систематическое разобщение сословия с народом: в 1797 году уничтожены были приходские выборы членов клира, что, конечно, обращало их отныне из общественно «излюбленных людей» в правительственных чиновников церковной службы. Правительство выиграло в этой последней мере, но те меры, которыми оно хотело облагородить духовенство и улучшить его общественное положение и материальное состояние, помогали очень медленно и плохо. Сословие бедовало по-прежнему и терпело жесточайшие притеснения от дворянства и чиновников, т.е. опять-таки от дворянства. «Коснувшись этого неистощимого предмета, — говорит историк «Приходского духовенства», — мы могли бы представить множество примеров, какие тяжкие, но безнаказанные обиды приходилось духовенству терпеть от этих героев крепостного права, в каком унижении оно было по милости их даже в очень недавнее время, при поколении, ко-

торое и теперь еще не сошло в могилу, как господин драл причетников, а подчас и священнослужителя на конюшне, трактовал их наряду с своими лакеями, в награду дьякону за громкое многолетие давал полный сапог вина и т.п. В самом 1812 году полковник Ж. закатал в бочке до смерти священника (даже не своего приходского) за то, что злополучный поп осмелился, проезжая мимо его дома, не поклониться ему, когда он сидел с гостями на балконе. Известный Лоскутов в Верхнеудинске преспокойно выдрал плетьми протопопа Орлова. Вмешательство светских властей в церковное управление продолжало быть беспредельным». Словом, в момент Наполеонова нашествия духовенство имело все данные, чтобы быть недовольным, и первенствующее сословие, которое его теснило, сознавало виноватою совестью, что, действительно, довольным оно быть не может. И те, кто помнил, как недовольство духовенства отразилось в народе в пору пугачевщины и крестьянских беспорядков при Павле, естественно трусили теперь, не оказалось бы оно крамольным и при Наполеоне. Этого не случилось, но, не быв крамольным, духовенство не явилось и усердным. Оно не пошло дальше, так сказать, доброжелательного нейтралитета и совершенной, но пассивной лойяльности. Активно же пребывало ленивым и с крайнею неохотою подвигалось навстречу патриотическим требованиям властей, если эти требования выходили за предел прямых обязанностей служебного круга. В этом отношении поведение духовенства в Отечественную войну резко отличается не только от подвигов героического монашества в Смутное время, но даже от поведения того же самого духовенства за семь-восемь лет перед тем, перед войною 1805 года. Тогда, возбужденное слухами о предстоящих благоприятных для него реформах и нарезке крупных земельных участков, оно отблагодарило молодого императора тем, что своею энергическою проповедью сделало популярною одну из самых ненужных и несчастных

войн, которые когда-либо вела Россия, — «pour le roi de Prusse» *, — распространило в народе великую ненависть к «безбожным французам» и укрепило грозный миф о Наполеоне-антихристе. И, когда Наполеон пришел в Россию с двадесятью языками, миф этот, о котором он, быть может, даже и не слыхал, может быть, и умер, не узнав о нем, — миф этот встал пред гениальным полководцем, как враг, куда более грозный, чем плохие генералы Александрова воинства. Нет никакого сомнения, что фанатическая проповедь против безопасного еще для России и неведомого в ней Наполеона велась духовенством совершенно бескорыстно. Но пользы, принесенной им правительству, оно не могло не сознавать, а сознанная польза говорит: «Долг платежом красен». Платежом же оказались только разочарования в обещаниях, которые либо не исполнялись вовсе, либо, исполняясь на бумаге, не исполнялись на деле, либо исполнялись с такою вялою медленностью (например, наделение церквей землями), что жившее и действовавшее тогда поколение духовного сословия уже не надеялось дождаться их реального осуществления и привыкло смотреть на них, как на хитрую волокиту. Никаких крамол и измен обиженное духовенство, конечно, не учиняло и не замышляло, но непоощренный патриотизм также завял и в нужную минуту оказался ниже требований. Виноватая совесть дворянского государства, в лице хотя бы того же выразительного героя минуты Ростопчина, не могла этого не чувствовать и, чувствуя и понимая, побаивалась.

И так было в духовенстве и на низах, и на верхах. После Бородинской битвы, когда Кутузов, стоя на Поклонной горе, еще морочил Ростопчина, а Ростопчин — москвичей возможностью дать сражение под Москвою, главнокомандующий армии просил главнокомандующего столицы, «чтобы я через день приехал к нему с архиереем и обеими чудотворными

* «В пользу прусского короля» (*фр.*).

иконами Богоматери, которые он хотел пронести перед строем (войск); впереди должны были идти священники, читать молитвы и кропить воинов святою водою» (Ростопчин). Архиерей, о котором говорит Ростопчин, знаменитый Августин, викарий еще более знаменитого Платона (Левшина). Предложение Кутузова и Ростопчина «пришлось не по вкусу владыке»:

«— Но куда же я пойду после молебна? — спросил он меня.

— К вашему экипажу, — отвечал я, — в котором вы отъедете от города, ожидая исхода битвы.

— А если она начнется прежде, нежели я кончу? Я ведь могу попасть в эту сумятицу и меня могут убить.

Чтобы его успокоить, я ему высказал мое убеждение, что сражения не будет; но советовал быть готовым на всякий случай».

Только что Августин избавился от угрозы служить молебны под пулями, как постигла его новая неприятность: Москву решено оставить без боя, и Ростопчин посылает к архиерею адъютанта «с повелением от имени государя: уехать в ту же ночь и увезти с собою обе иконы Богоматери. Он стал беспокоиться, каким образом их взять. Одна (икона), называемая Владимирскою, находилась в кафедральном соборе; другая, Иверская, в часовне, носившей ее имя. Он справедливо опасался, как бы оставшаяся в Москве чернь не вздумала препятствовать отъезду двух покровительниц Москвы и как бы сам он не подвергся опасности. Опасение это внушалось ему мерою, принятою самим народом в последние три-четыре дня. Мера эта состояла в высылании ночных дозоров для удостоверения в том, что не хочет ли кто-нибудь унести (помянутые) иконы. К счастию, однако, никто не явился; отъезд совершился быстро и без шума; но эта же подозрительность народа была причиною тому, что никак не могли снять и уложить большую серебряную люстру, висев-

шую в соборе, так как для сего потребовалось бы, по крайней мере, дня три».

Любопытна подлинная записка Ростопчина к Августину:

1-го сентября 1812 г.

Нечаянное решение князя Кутузова оставить Москву злодею должно решить и ваше преосвященство отправиться немедля. — Но именем государя сообщаю вам, что б вы Владимирскую, Иверскую и Смоленскую Богоматерей взяли с собою. — Народ ночью сего не приметит, а предлог, что им хочеть молиться войско. — Путь ваш на Владимир.

Совсем два заговорщика из мелодрамы. Все время Ростопчин толковал о своей народности, а когда дело дошло до спасения народной святыни, ничего лучшего не мог придумать, как — ее у народа выкрасть!

Знаменитый Платон в это время был полутрупом. В «Наполеоне — Пугачеве» («1812 год») было рассказано, как Ростопчин заставил едва живого старика приводить к вторительной присяге московских обывателей, когда они требовали раздачи оружия из арсенала. Вообще, Ростопчин с развалиною великого человка не церемонился и довольно нагло мешал его имя в те свои «разные маленькие средства для занятия и развлечения умов в народе», которые сам же характеризовал «самыми пошлыми выдумками». «Наиболее распространилась по России, среди простого народа, сказочка в моем вкусе, которой в одно утро я приказал напечатать 5 т. экземпляров и продавать по грошу штуку. В ней я описывал встречу митрополита Платона с престарелым иноком, который почтительно приблизился к нему за благословением и, сказав, что возвратился сражаться в русских рядах, исчез в глазах всех присутствовавших, оставив по себе сияющий след. А надо заметить, что св. Сергий, бывший монахом в Троицком монастыре, где и покоятся его мощи, сражался в войсках Дмитрия Донского против орды татарина Мамая и остался победителем». Ясно, что самовластный Ростопчин распорядил-

ся авторитетом Платона, даже не потрудившись предварить последнего, что он обязан иметь небывалое видение, так как ученый и умный Платон, конечно, никогда не согласился бы, чтобы от его имени распространяли басню, будто св. Сергий сражался в Куликовской битве: это значило сразу похоронить «видение» в мнении духовенства и благочестивцев, возбудить насмешки старообрядцев и пустить в народ не «средство для занятия и развлечения умов», но еще новый соблазн... Он-таки и был, вопреки хвастовству Ростопчина.

О самом Платоне Ростопчин говорит с презрительным снисхождением, как о человеке, совершенно разрушенном и лишенном всякого самостоятельного значения. «Государь отправился в церковь и встречен был на паперти епископом Августином, викарием митрополита Платона. Последний удалился в небольшой монастырь, построенный им в 60-ти верстах (15 лье) от Москвы; он имел уже несколько параличных припадков, так что даже очень плохо владел языком. Болезненное состояние это не помешало ему прислать из своего уединения икону св. Сергия с приложением прекрасного послания, в котором он предсказывал государю славное окончание войны, сравнивая его с пастырем Давидом, а Наполеона — с Голиафом. Но то были другие времена. Наполеон не принял бы (подобного) вызова и не такой был человек, чтобы дать убить себя из пращи». В воспоминаниях И.М. Снегирева сохранилась примечательная картина последних дней этого былого умницы-человека, который дожил до того, что сам себе в стал в тягость. Когда семья Снегиревых, бежав из Москвы от Наполеонова нашествия, прибыла в Махрищский монастырь (в 30 верстах от Троице-Сергиевской лавры), она нашла там Платона, перевезенного из Вифании, по опасению, что Сергиев посад и Троицкая лавра могут быть заняты французами. Узнав о приезде Снегиревых, Платон послал им обед со своего стола.

«Батюшка после обеда ходил со мною благодарить его за такое родственное участие. Первое его слово было: «Куда делся злодей?» Батюшка, думая, что это относится к Наполеону, отвечал: «В Москве». — «Нет, нет, я спрашиваю о твоем злодее-кучере». Надобно сказать, что наш крепостной кучер, обокравши нас, убежал; в то время уже разнеслась в простом народе пущенная Наполеоном молва, ко вреду России, что он даст крепостным волю. «А Бонапарту с ватагою своей, — продолжал Платон с расстановкою, — несдобровать и в Сергиевой обители не бывать. Слышишь, я ведь не велел убирать там мощей и драгоценностей. Бонапарт восстанет на святыню, а святыня против него. Куда ему устоять». Потом, как бы бы обращаясь на самого себя, сказал: «Каков же стал теперь Платон, хуже богоделенного старика!»

Два месяца спустя — 11 ноября 1812 года — Платон умер. Авторитет этого иерарха, хотя и жил старою памятью, а не новым делом, был, действительно, огромен, судя по впечатлению, которое произвела его смерть даже в такое полное волнений и тревог время. «Почтенный старец! В какое время он оставил свою паству! Когда Москва по Божию попущению лишалась славы и красы своей, тогда и пастырь ее сделался безгласен, бездыханен, неимущ вида, ниже доброты! Россиянин, а более житель разоренной столицы, оплакивая следы опустошения Москвы, прольет горчайшие слезы, лишившись Московского пастыреначальника, незабвенного для христиан, пользовавшихся сладостным его учением, а более для духовенства, поставленного им на степень, приличную священному сану. Вечная ему память!» (Дневн<ик> П.В. Победоносцева). Носилась упорная молва, будто во время пребывания Наполеона в Москве Александр тайно был у митрополита — для «советования» с ним...

Таким образом, даже главная духовная сила России оказалась полезною лишь настолько, поскольку ею воспользовались помимо ее ведома и воли. Неудивительно, что на-

глядность этого равнодушия приводила власти в подозрительное настроение. Варлаам Шишацкий был один, но правительство и, в особенности, сыскной патриотизм тогдашних «истинно-русских» людей воображали, будто их много, и довольно усердно их разыскивали, окружая подозрениями часто совершенно невинных людей. Пример тому мы видели на арх. Михаиле Черниговском.

Принадлежность, по происхождению, к духовному званию Сперанского, которого дворянство, с в. кн. Екатериною Павловною и Ростопчиным во главе, громко обвиняли в наполеонизме и государственной измене, как бы отбросила тень свою и на сословие, из которого вышел этот государственный человек. Уже когда Сперанский, сломленный интригою, отправлен был в ссылку и жил в Нижнем Новгороде, здешние сношения его с духовенством не дают спокойно спать Ростопчину. 23 июля 1812 года Ростопчин пишет государю: «Не скрою от вас, Государь, что Сперанский сблизился с архиепископом Моисеем, известным почитателем Бонапарта и хулителем Ваших действий *). Сверх того, Спе-

*) Из этого доноса ясно, что архиерею достаточно было мало-мальски быть серьезным и самостоятельным человеком, чтобы светская власть уже смотрела на него зверем и ревниво подозревала его во всяких коварствах. Автор «Истории нижегородской иерархии», митр. Макарий, желая обрисовать необыкновенную прямоту и безбоязненную откровенность преосв. Моисея Близнецова-Платонова, даже в то время, когда еще он был при митр. Платоне маловлиятельным иеромонахом Троицкой лавры, рассказывает, как о каком-то особенном подвиге мужества, что однажды, когда Платон осматривал в Лавре новый колодезь и когда на снисходительное замечание митрополита о добром качестве воды, наместник, ректор академии и все окружавшие владыку отведывали и хвалили эту воду, один только Моисей осмелился сказать прямо, что она никуда не годится, и сверх общего ожидания получил за свою прямоту великодушное одобрение владыки (Знаменский). Серьезность столь смелого подвига, пожалуй, заставит улыбнуться людей нынешнего века, но надо принять во внимание условия эпохи, когда властное самодурство принимало даже ничтожнейшие противоречия как злейшие оскорбления, направленные к ущербу архипастырского престижа. Времена эти только недавно отошли в область преданий. Да и совершенно ли отошли?

ранский, по своей известности и лицемерному образу действий, прикидываясь богомольным, приобрел расположение жителей Нижнего. Он успел их убедить, что он жертва его любви к народу, которому он старался доставить свободу, и что вы им пожертвовали своим министрам и дворянам». Лица эти, по-видимому, окружены были бдительным надзором. Месяц спустя, государь получил о них же рапорт от нижегородского вице-губернатора Крюкова: «6 числа настоящего месяца, в день Преображения Господня, когда я был на Макарьевской ярмарке, здешний преосвященный епископ Моисей по случаю храмового праздника в кафедральном соборе давал обеденный стол, к коему были приглашены и некоторые из губернских чиновников. После обедни тут был и тайный советник Сперанский, обедать, однако же, не оставался; но между закускою он, занимаясь с преосвященным обоюдными разговорами, кои доведя до нынешних военных действий, говорил о Наполеоне и об успехах его предприятий; к чему г. Сперанский дополнил, что в прошедшие кампании в немецких областях, при завоевании их, он, Наполеон, щадил духовенство, оказывал ему уважение и храмов не допускал до разграбления, но еще для сбережения их приставлял караул, что слышали бывшие там чиновники, от которых о том на сих днях я узнал». Сперанский как большой поклонник гения Наполеона действительно и думал так, и даже писал — около того же времени, 14 сентября, к своему зятю, протоиерею села Черкутина Владимирской губернии, который хотел, спасаясь от французов, приехать с его матерью к нему в Нижний Новгород: «Не слушайте бабьих басен, будто на духовный чин нападают — совсем нет. Какой стыд бежать от пустого страху и как вам после к своим прихожанам показаться!»

Но Сперанский был в этом случае не очень-то прав. Во-первых, встретив в России вместо привычной уступчивости «варварские способы войны», французы и сами обучились

варварствовать. Любопытно, что постоянный повод к столкновению между ними и духовными русскими лицами — носимые последними длинные волосы и борода. По этим признакам французы упорно принимали их за переодетых казаков и, в этом заблуждении, жестоко их били. Об этом упоминают даже официальные настоятельские донесения о московских монастырях во время нашествия французов, собранные кн. А.Н. Голицыным в 1817 году по поручению государя, — и множество других источников.

А, во-вторых, оставшееся по селам духовенство, наряду с дворянством, было в опасности от революционно настроенных крестьян. В этом отношении очень любопытен рассказ, записанный в 1851–1852 гг. известным К.Н. Леонтьевым со слов дьякона села Спасского-Телепнева (под Вязьмою, Смоленской губернии). «Сидели мы все дети с батюшкой и с матушкой поздно вечером и собирались уже спать, как вдруг слышим, стучатся в ворота.

— Отопри, хуже убьем.

Матушка перепугалась, и мы все как обезумели от страха, а мужики ломятся. Уже не помню я, вломились ли они или сам батюшка им решился отпереть, только помню, как вошел народ с топорами и ножами и всех нас мигом перевязали, матушку на печке оставили, нас по лавкам; а батюшку взяли за ноги да об перекладину, что потолок поддерживает, головой бьют. Изба наша, конечно, была низенькая, простая. Вот они бьют отца моего головой об бревно и приговаривают: «А где у тебя, батька, деньги спрятаны; давай деньги!»

— Какие деньги! Была самая малость.

Они все бьют его головой с расчетом, чтоб сразу не убить, а узнать, где деньги. Постучат-постучат головой и дадут ему отдохнуть; видят, что он в памяти, опять колотить.

Мы видим все это и плачем... Однако Господь спас нас!.. Жила у нас девочка крестьянская, сиротка лет десяти.

Девочка умная, смелая. Никто не заметил, как она выскочила из избы. Она выскочила в ту самую минуту,

как мужики вломились, и побежали к одной соседке-помещице. Эта помещица была дама небогатая, только пресмелая, и дворовые люди ей были преданы. Она решилась никуда от французов не ехать, а осталась в своем имении, очень близко от нас. Но так как грабежа и грубостей от своего народа опасалась она больше, чем самого неприятеля, то и сама ходила всегда вооруженная и сформировала из слуг своих небольшой отряд телохранителей, молодец к молодцу. Сиротка наша прямо к ней и объясняет, что батюшку мужики убить хотят. Мигом помещица снарядилась, приехала с вооруженными людьми... Взошли, накрыли разбойников, одолели ли их как раз; барыня сама скомандовала: «Перевязать их таких-сяких». И к ближайшему начальству отвели.

Так Бог спас нам батюшку. К счастью, барыня так поспешила, что большого вреда разбойники не успели ему сделать. Не долго поболел он и решился покинуть после этого свое жилище, и всей семьей собрались мы ехать в Калужскую губернию, в Медынский уезд».

В оставшемся священнике крестьяне видели как бы господского наместника, старателя и соглядатая.

«Батюшка мой был здесь священником, при дедушке вашем, Петре Матвеевиче. Дедушка, как вы знаете, жил не здесь, в Спасском, а в Соколове. Однако и здесь была господская усадьба. Как только перед вступлением неприятеля Петр Матвеевич уехал служить в ополчение, а бабушка ваша в Костромское свое имение, сейчас же и начали мужики шалить: то тащат, то берут, другое ломают. Батюшка покойный сокрушался и негодовал, но и сам опасался крестьян. Один раз идет он и видит: стоит барская карета наружи, из сарая вывезена, и около нее мужик с топором.

— Ты что это с топором? — спросил батюшка.

— Вот хочу порубить карету, дерево на растопку годится, и еще кой-что повыберу из нее.

А лес близко. Нет, уж ему и до леса дойти не хочется. Барская карета ближе!

Стало батюшке жаль господской кареты, он и говорит мужику:

— Образумься! Бессовестный ты человек! Тут неприятель подходит, а ты, христианин, православный, грабительством занимаешься. А если вернется благополучно Петр Матвеевич и узнает, что тебе тогда будет?

А мужик ничуть не испугался, погрозился на батюшку топором и говорит:

— Ну ты смотри, я тебя на месте уложу тут. Я и Петра Матвеевича теперь не боюсь, пусть он покажется, я и ему *брюхо балахоном распущу*...

Вот какая дерзость!

Батюшка ужаснулся и ушел от него».

И так разорение от своих продолжалось. «Входили в дом крестьяне и делали что хотели. Была, например, у дедушки вашего одна комната; кабинет, что ли, не знаю; обита вся по стенам и по потолку клеенкой на зиму для тепла. Клеенка эта была прибита цельными полосами от пола вверх через потолок и на другую сторону вниз опять до самого пола... Кругом около потолка небольшим карнизом было обведено. Так вот я сам, своими глазами видел. Знаете, детство, любопытствуешь, везде бегали с братьями. Обломали мужики верхний карниз; подрежут снизу клеенку, да так возьмут руками за один конец и отдерут все до другого конца безжалостно».

Безразличие, за кого стоять, сказалось и в духовенстве, оставшемся в Москве, покуда она была занята Наполеоном. В этом отношении выразителен рассказ очевидца, штатного служителя Семена Климыча, записанный Н.П. Гиляровым-Платоновым и напечатанный в «Р<усском> арх<иве>» 1864 года: гарантированный редакцией двух патентованных патриотов, как Гиляров-Платонов и Бартенев, да и сам по

себе, наивностью тона и откровенностью подробностей утверждающий свою правду, рассказ этот свидетельствует, что монастырские штатные служители жили с французами вообще не в худых отношениях; о казаках Климыч поминает куда хуже, чем о своем французском постое. Но вот из этого рассказа подробность обличительная: «За красным вином ходили к Щербатову отец протопоп и я; как придем к генералу, то часовой трость возьмет, и он пойдет к генералу; а я останусь у крыльца, покуда чаю напьется, а как первый раз ходили, то генерал что-то написал и велел мне часовому, чтоб пришпилить к шляпе моей, значит, чтобы никто не мог отнять, а мука еще велась у казначея для просвир, служба была в Соборе с благовестом, служил отец протопоп с диаконом; а пели монахини. *Начальники спросили, кого за обедней поминать, Наполеона или Александра, то сказал: «Вы поминайте своего императора. Еще вы не совсем наши»*. (Ср. выше с поведением Даву в Могилеве.) Что французы не требовали от духовенства измены своим верноподданническим чувствам, свидетельствуют многочисленные показания. В том числе — «рапорт кавалерского полка архиерея Михаила Гратинского армии и флота оберсвященнику Иоанну Семеновичу Державину от 5 декабря 1812 года». Пр. Гратинский при поспешном отступлении русской армии через город Москву оказался отсталым и, будучи принят управляющим княгини Глебовой-Стрешневой, долго скитался, вытесняемый пожарами, по многочисленным московским домам этой магнатки. В половине сентября стал он известен французской полиции и «решился я просить позволения открыть богослужение и от французской полиции получил оное. Комендант генерал Миллио дал мне билет, а для безопаснейшего священнослужения дан был и караул, состоящий из двух солдат. Для богослужения избрал я верхнюю церковь архидиакона Евпла. Сентября 15, в самый день коронации благочестивейшего государя нашего императора

Александра Павловича, при многочисленном по первому удару колоколов стечении оставшегося в Москве народа, начал отправлять я богослужение; после коего о здравии монарха нашего и всей его императорской фамилии отправлено было молебствие с коленопреклонением, на коем более часа, во все то время, когда народ прикладывался ко кресту, пето многолетие и продолжался колокольный звон. Вся церковь омыта была слезами. Сами неприятели, смотря на веру и ревность народа русского, едва не плакали. В самое короткое время, в два дня служения моего, усерднейшими христианами принесены были в церковь серебряные и вызолоченные сосуды, до 10 пудов свеч и ладана, вина, муки на просфоры и разной церковной утвари довольное количество. В сем храме, до возвращения в Москву той церкви священника, каждый день отправляемо было мною богослужение». Таким образом, побуждающими причинами к справкам, кого поминать государем — Александра или Наполеона, приходится считать просто служебное усердие не по разуму да привычку повиноваться предержащим властям, не разбирая, кто они — имели бы власть и силу приказывать. Кстати, отметить надо, что французы — в том числе и сам Наполеон — понимали политическое значение царской ектении. По рассказу кн. С.М. Голицына, записанному М.П. Полуденским, «когда при императоре Наполеоне был русским посланником граф Петр Александр<ович> Толстой, то однажды Наполеон сказал ему: «В Москве и Петербурге есть католические церкви, в которых поминают русского императора, то почему не поминают меня в русской церкви, находящейся в Париже? Я хочу, чтоб за меня молились и в русской церкви, как в католической московской и петербургской молятся за русского государя. Результат этих слов был тот, что в русской церкви в Париже за большим выходом поминали после Александра Павловича и царской фамилии — Наполеона».

Воспоминания духовных лиц, оставшихся на местах своих во время неприятельского нашествия, довольно многочис-

ленны, что и естественно: какому же классу обывательства и не писать было, как наиболее грамотному и досужему? Но большинство их однообразно и малонаблюдательно и, чем более живы и правдивы воспоминания, тем более они субъективны и узки. Вследствие этого в большинстве случаев они являются как бы комическим элементом в трагедии, рисуя нечто бесконечно жалкое, страдающее наравне со всеми, даже иногда больше других, но тем не менее нет-нет да и вызывающее улыбку. Таковы воспоминания московского священника (Успенского собора) Божанова, монахов Донского монастыря, монахинь Девичьего и Вознесенского монастырей и др. Во многих случаях ясно слышатся у страдальцев этих преувеличения, а иногда и преднамеренная ложь. Последняя вступает в свои права, по преимуществу, тогда, когда обстоятельства французских насилий и грабежа подозрительны, и сдается, что

На волка только слава,
А ест овец-то Савва...

Это предположение утверждается только что опубликованным («Р<усская> ст<арина>», 1914) письмом старообрядца Ивана Маркова, объяснявшего одному из своих провинциальных братьев по вере, каким чудом уцелел от Наполеоновского нашествия Преображенский старообрядческий богадельный дом.

Из этого письма, к слову сказать, разрушающего пресловутую легенду об «измене» старообрядцев, ибо «измена» эта ничуть не перешла границы того же безразличия к власти предержащей, которое, как мы видели, оказывало зачастую и православное духовенство. Французы, конечно, не были такими глубокими богословами, чтобы различать в занятой ими Москве, какой православный — старообрядец, какой — никонианец. Приехав на Преображенское кладбище, они про-

сто осведомились о назначении его зданий и, узнав, что это богоугодное заведение религиозной общины, отнеслись к ним с уважением и приставили караул охранять обитель от мародеров. «А о вере, и исповедании, и согласии никакого ни спросу, ни истязания не было». На старообрядцев был донос, будто они скрывают на Преображенском кладбище большие капиталы и съестные запасы. Поэтому французы подвергли богадельню обыску. Убедившись, что донос был ложный, «по сем пошли в моленную на вороты. И тогда случилось в самую вечерню, и смотрели они на святые иконы, и чин церковный с великим прилежанием, и главами своими зыбали. И тако возвратились назад и между собою разговаривали на своем языке, что это добре. Это шпиталь. А от нашего императора приказу нет раззорять больницы и все убогие места. И с тем поехали от нас, а караульные остались у нас. И приказали им накрепко соблюдать наше место от всяких праздношатающихся солдат и никого не пущать. И тако они по приказу своих начальников и сохраняли нас с великим прилежанием. А стояли не все одни, но переменялись на каждый день: то те, то другие». Итак, от Наполеона был строгий приказ не разорять больниц и богаделен. Этим объясняется, что вместе с Преображенским богадельным домом были сохранены: православная матросская богадельня, Шереметевская и Голицынская больницы и Лефортовский госпиталь. В Екатерининской императорской, у Матросского моста, богадельне стоял так же, как и на Преображенском кладбище, караул французских войск. Несомненно, такие караулы стояли и во всех других больницах и богадельнях (А. Панкратов).

Но и помимо случаев, когда за счет неприятельской репутации надо было выкупать свою собственную недобросовестность, усиленному расписыванию понесенных несчастий, издевательств и увечий, а, соответственно, и преувеличенно крепкой ругани на неприятеля, содействовали две прямые и немаловажные причины: 1) раздача пособий потерпевшим от нашествия,

2) необходимость уберечь себя от подозрительного сыска. «Горько было от неприятелей, — говорит в своих «Записках» сын вышеупомянутого о. Никифора Мурзакевича, — но горше пришлось терпеть оставшимся в городе жителям от своих приезжих соотечественников. В чем только несчастных ни укоряли: и в измене, и грабительстве, и перемене веры, тогда как сами бесцеремонно все предавались захвату оставшихся неприятельских обозов. Постои военные и всякие властелинские обременили уцелевшие дома. В нашем доме поселился губернский предводитель Воеводский. Этот герой за раздачу пособий разоренным сначала был пожалован Владимирским крестом, потом за обнаруженное лихоимство был удален от должности. На его счет кто-то импровизировал:

О Господи! Ты спас разбойника на кресте,
Теперь предстоит другое горе:
Спаси ты крест на воре» *).

Возвратившиеся из бегства трусы словно хотели самих себя оправдать или злость срывали на несчастных, которые дважды прошли сквозь строй двух великих армий и в большинстве сами не понимали, как они еще уцелели, остались не растоптаны ни чужими, ни своими.

Разорение духовенства было большое — тем больше, что, по-видимому, подобно дворянскому, могло быть двойным, как то хорошо показывает вышеприведенный рассказ, записанный К.Н. Леонтьевым: не грабил неприятель, так грабили свои. Помощь пострадавшему духовенству была произведена из средств духовного же ведомства. Комиссия духовных училищ, — бывшая в эту эпоху (после 1806 года) центральною силою и душою синодального управления, — движима будучи усердием к общему благу и состраданием к бедствиям,

*) Впоследствии в несколько измененной редакции применялось к пресловутому графу П.А. Клейнмихелю и многим козырям той же колоды.

понесенным вторжением врага в пределы нашего отечества, постановила: «На исправление соборов, церквей, монастырей, училищных зданий и домов священноцерковнослужителей, кои разорены врагом в самой Москве, в Московской и других губерниях, где войска его проходили, отделить *три миллиона пятьсот тысяч рублей*. Сумму сию по внутреннему Святейшего Синода по епархиям распоряжению предоставить в полное и совершенное его ведение с тем, что по назначению его потребное количество денег неукоснительно из Комиссии будет отпускаемо». На этот капитал, распорядителем которого явился Феофилакт Русанов Рязанский, должно было возродиться духовенство губерний Могилевской, Минской, Смоленской и отчасти Калужской. На Московскую была выделена специальная ассигновка из того же источника — в 621 700 р. Но на руки и Феофилакту денег было выдано немного (всего около 15 000 рублей), да 5000 р. он имел из царского кабинета. «Выданная преосвященному Феофилакту сумма на пособия оказалась такою незначительною, в сравнении с числом лиц пострадавших и с их неотложными нуждами, что он должен был отыскивать другие источники пособия и при всем том вынужден был назначить пособия в таких ограниченных размерах, что Синод предписывал ему удваивать и утраивать назначаемые им выдачи — на пропитание священноцерковнослужителей и вдов духовного ведомства, на починки поврежденных церквей и монастырей, устройство или возобновление священнослужительских домов, на обсеменение полей весною, на воспособление монастырским крестьянам и пр. В то же время он предложил преосвященному Смоленскому, по настоящему состоянию епархии, двойные и тройные причты упразднить и однопричтовые малоприходные церкви приписать к другим ближайшим селам, а священнослужителей оных помещать по желанию их на другие открывающиеся вакансии; и до времени удержаться от рукоположения вновь священнослужителей и определения новых причетников».

Иначе и быть не могло. Громадные патриотические пожертвования легко было писать на бумаге, но осуществить их комиссия духовных училищ не имела средств. Ее капитал составлялся из церковных экономических сумм и свечного дохода. Первые, до 1806 года, патриархально хранились где в церквах, а чаще у именитых прихожан, преимущественно дворян-помещиков, которые привыкли оперировать церковными суммами как своими собственными. Поэтому указы 1806 и 1808 гг. (два: мартовский и июньский), отстранившие светских людей от распоряжения церковными суммами и предписавшие духовенству сдать последние через консистории в кредитные учреждения, были встречены в приходах крайне враждебно. За возвращение церквам взятых из них денег духовным властям пришлось вести с прихожанами только что не войну, притом имевшую слабый успех, даже при содействии властей гражданских. Достаточно будет указать для примера, что воронежская консистория добилась покрытия недоимки только угрозою «до взыскания служение в церквах запретить и церкви запечатать». Ввиду такого противодействия прихожан этот источник дохода комиссии не давал ей даже $^1/_3$ ожидавшихся поступлений. В 1811 году, «когда комиссия духовных училищ распорядилась все церковные суммы, какие были доселе представлены из разных мест в банки, слить в одну общую сумму и привести к одному сроку, оказалось, что вместо следовавших по расчету 4-х милл. с лишком в действительном сборе оказалось только 1 223 606 р. 50 ½ к.» (Знаменский) [*].

Свечной сбор, рассчитанный на 3 миллиона рублей в год, также обманул ожидания. 1812-й год, когда народ усиленно молился по церквам, дал maximum свечной доходности: 1 211 500 р.

---

[*] «Собирание недоимки продолжалось не только при имп. Александре, но и в царствование Николая I. В 1827 г. ее числилось за церквами 278 560 р. Чтобы не потерять этой суммы по милостивому манифесту 1826 г., комиссия выхлопотала именной указ о прекращении взыскания только тех церковных денег, которые прихожане употребили на церковные нужды, а остальные все взыскивать по-прежнему. Взыскание это продолжалось до 1830-х годов» (Знаменский).

В остальные годы, между 1811–1817, свечи давали и того меньше. Из этих цифр совершенно ясно, что на бумажные пожертвования комиссия духовных училищ и могла, и имела право быть очень щедрою, но наличных денежных сумм у нее не хватало даже на жалкое прозябание ее собственного дела. К 1815 году, «когда ее капитал должен был по расчету комитета возрасти до 24 949 018 р., он едва мог дойти до 15 милл. Это было форменным банкротством, в результате которого комиссия, под скромным названием своим скрывавшая полномочный комитет для экономической реформы духовного сословия, принуждена была и в самом деле завять и сузиться в обыкновенную комиссию по училищному делу».

В заключение мне остается сказать лишь несколько слов о настроениях духовенства, стоявшего далеко от театра военных действий. Так как здесь дело сводилось к слову, то, понятно, в этой области второе русское сословие оказалось не только не ниже первого, но даже значительно выше, — ввиду того, что духовное просвещение и красноречие поставлены были на Руси в данную эпоху почти блестяще благодаря митрополиту Платону. Образованнейший человек и великий оратор, требовавший от монаха, чтобы он был мыслителем и поэтом, Платон отразился, как в разнообразных зеркалах, в бесчисленных учениках своих, — от крупных сил до малых. Перепечатывая из щукинской коллекции документов 1812 года наивнейшую записку священника (московского Успенского собора) Божанова, издатель «Русского архива» г. Бартенев сделал справедливое примечание, что даже в этом простодушнейшем человеке, который, вдобавок, видимо, далеко не из орлов умом, живо сказался типический ученик Платона: охотник пофилософствовать в самую трудную минуту жизни, сложить стишок, подметить картину природы и т.д.— и все это облечь в красивую, эффектную, истинно риторическую форму, говорящую о переводе на русский язык изящной латинской речи... Юморист, поэт и философ, Божанов,

рассказав о всех бедах, которых он натерпелся, не мог удержаться, чтобы затем не превратить рассказ свой в эпическую поэму, под заглавием:

То же,
да
выворочено наизнанку.

Стихи правильны, но безжизненны: типическое семинарское упражнение на тему по пиитическим примерам XVIII века. Но любопытно то обстоятельство, что ужасы и лишения, в которых маялся Божанов, даже в то время, как он их терпел, не отняли у него поэтических настроений... После долгой голодовки, побоев, нищенства, он отлично устроился было в Рождественском девичьем монастыре, который строго охранялся французами. «Ибо остановившийся в их монастыре неприятельский начальник столь был человеколюбив и снисходителен, что, видя их смиренную, убогую и святую жизнь, дал твердое и верное обещание, что он не допустит сожигать их келиев, производить грабеж и чинить какое-либо оскорбление. К великой чести достойного сего воина служит, что он свято и верно выполнил свое обещание; и сей слабый, немощный и беззащитный преподобных дев лик во все его пребывание в обители ни малейшего не терпел притеснения». Но родственник, причетник с Данилова кладбища, уговорил Божанова прийти похоронить его сестру, умершую «от мучения врагов». «Не согласился бы я на его предложение, ежели бы причины его вызова не были столь важны и не касались моей должности». Божанов отправился в путь, попался в руки французов, которые заставили его носить какие-то «тягости», счастливо бежал от них вброд через Москву-реку, переночевал у знакомого священника, а на другой день пошел-таки хоронить покойницу, к которой зван. «Итак, рано встал я и чрез Крымский мост мимо Донского

монастыря пришел на помянутое кладбище благополучно: ибо враги по утрам предавались крепкому сну и по улицам очень редко бродили. Здесь по пришествии первее исповедывал священника Василия Яковлева, потом отпел по чиноположению нашего вероисповедания усопшую и предал общей нашей матери-земле, которая всех нас единого по единому в лоно свое восприять имеет». А — третьим делом — сел и сочинил стихи:

Друзья-приятели и родственники милы!
Ударит час — и мы не избежим могилы.
О други близкие толь сердцу моему!
Ах, время ближит нас к концу всех одному.
Живите же правдою — щастливы все вы будьте,
Сего единого, прошу вас — не забудьте.
Без веры в Господа, а к ближним без любви,
Никто рай в небесах обресть себе не мни —
Любовию одной, смиреньем, простотою,
Блаженство снищет всяк — и верою святою;
А смерти никому из нас не избежать, —
Равно мы будем все в сырой земле лежать
До страшна того дня, как Бог нас воззовет
В деяниях своих вернейший дать отчет.

«Так я в сие ужасное время размышлял, взирая на памятники и монументы, поставленные на гробах умерших по всему кладбищу, и на убедительное доказательство, вернейший опыт: усопшее тело, предлежащее моему взору».

Это литературно-умозрительное настроение, господствовавшее в тогдашнем духовенстве, иногда трогательное, иногда надоедливо-шумливое, иногда наивно-комическое, порождало временами большие курьезы. Нет никакого сомнения, конечно, что невысокий общий уровень патриотизма в духовном сословии не препятствовал множеству членов его болеть душою за страдающую родину и измышлять для нее средства помощи. И вот на этой-то почве вырастали цветки наивности смехотворной. Загоскин, изобразивший в своем «Рославлеве» семинариста-партиза-

на, воюющего с французами по тактике, заимствованной из «Записок» Юлия Цезаря о войне в Галлии, был в этой комической карикатуре совсем недалек от истины.

Шильдер открыл и в 1885 году напечатал в «Русской старине» курьезную записку, адресованную неким Ижевского оружейного завода пророка Ильинского собора протоиереем Захарием Лятушевичем неизвестному полководцу — по-видимому — графу Витгенштейну *).

Записка эта носит название: «Новый способ расстраивать неприятеля в сражении». Воинственный протоирей предлагает своему корреспонденту пустить в ход против французов усиленные купоросные и селитряные кислоты, как-то — oleum vitrioli et acidum vitrioli rectificatum, item aqua fortis precipitata et spiritus nitri fumans — et coet... ** действуют на тела разрушительным образом. Сии жидкости мгновенно жгут не только лицо и руки, даже самое одеяние, коснувшись им; а глазам — поражая, истребляют их и производят боль в существе страдающем. Почему, если б во время сражения, наипаче во время преднамереваемой штыковой работы, когда неприятель бывает не в далеком стоянии, действовать на него сими жгучими веществами, особливо неожиданно, то смело полагать можно, что при пособии таком быстрее и вернее приведется он в смятение, расстройство и плен, чем одними пулями и штыками».

Протоиерей полагает, что поливать неприятеля витриолем даже и человеколюбиво: «Между тем язвы от сих разрушительных веществ, мгновенно обезоруживающих неприятеля, сообразно человеколюбивым чувствованиям, менее пагуб-

---

*) Лятушевич этот, судя по фамилии, должен был происходить из славного и старого духовного рода, рассыпанного в северных губерниях России. В пятидесятых годах XVIII столетия славен был вологодский епископ Серапион Лятушевич, неугомонный строитель и суровый пастырь. Провинившихся попов и дьяконов он без церемонии посылал на земляные работы как каторжных, не делая исключения даже для престарелых.

** Кристально чистое масло и кристально чистая кислота, а также сильно низвергающаяся вода и нитратный спирт дымятся и соединяются... (*лат.*)

ны и смертоносны, нежели от раздробляющего металла: поелику бывают они только на наружности, хотя, впрочем, боль и в них сначала ощутительнее, чем в ранах от пуль».

Предлагаемый способ действия: «Орудия, мечущие в неприятеля сии жгучие вещества, не могут быть сделаны удобнее, простее и дешевле, как в виде заливательных малых труб или шприцев — особливо шприцев, которые и легки для носки, и действовать могут при устройстве саженей на семь.

Ежели инструменты сии, наполненные едкими жидкостями, раздать в первых рядах двадцатому воину, не лишая, впрочем, его и свойственного вооружения, поелику инструменты сии, по истощении своем, легко, наподобие колчана, кинуть за спину себе и действовать после другим оружием, то какое будет явление в рядах неприятельских, когда бросятся на них меж тем со штыками, и когда, по приближении к ним или наипаче в самой схватке, жидкости сии будут направляемы более на лица и глаза противников. Вместо того, чтоб им метить из ружей и действовать штыками, многие из них при чрезвычайной боли не увидят не только неприятелей, но и своего оружия; и тогда можно будет брать их в плен, как слепых куриц: поелику они и бежать куда также не в состоянии; отчего выйдет невообразимая суматоха между пораженными.

Инструменты влагометательные, если деланы будут наподобие шприцев, то они должны быть хрустальные, не так скоро портиться от едких жидкостей. Но не дорожа прочностью, а временем, можно отливать и оловянные, а наскоро употребить и обыкновенные аптекарские с небольшою поправкою».

Эта спринцовочная стрельба для успеха требует «неизвестности и неожиданности со стороны неприятелей. Почему совершенно необходимо, изготовляя инструменты метательные и приучая солдат или новобранцев действовать ими цельно, распустить предварительно слух, что сие приготов-

ляется для операций лекарских, в каковом смысле и весьма прилично им считаться по свойству неприятелей, горячкою и нечистотою страдающих, или можно выдавать их за инструменты, поливающие несчастную землю, дабы не терпеть беспокойства от пыли и во время сражения. Но как действовать и мстить сими инструментами искусства и привычки большие не надобно, то можно раздать их по рядам двадцатому или двадцать пятому воину и пред самым сражением, чтоб неприятель не имел времени и случаев принять против сего какие оборонительные меры, которые и могут состоять только в вощеной тафте, облегающей лицо, где противу глаз вставляется стекло или слюда, что, однако, в жаркое время и в пылу сражения сопряжено с большими неудобствами и задыханием; или разве еще не захочет неприятель сблизиться на то расстояние, в каком действовать может сие оружие».

Фантазия изобретателя разыгрывается — он предвидит уже витриольную артиллерию: «Можно, кажется, действовать выгодно едкими жидкостями с батарей, когда на них вблизи нападает неприятель. Но в сем случае должно употреблять уже не шприцы, а машины наподобие одноручных заливательных труб, в которые вмещалось бы жидкости фунтов около десяти. Сии влагометательные орудия годились бы к полезному употреблению и при крепостях, и на кораблях или вообще военных судах; убытку значительного не будет, когда б они во время свалки по выпорожнении своем и снимались, поелику оловянное легко поправить или вновь перелить без потери.

Не зная движения наездников и вообще конницы, не могу утверждать — принесут ли какую выгоду розданные некоторым из них влагометательные орудия; хотя известно, что едкая жидкость, спрыснувшая неприятельскую лошадь, особливо в глаз, принудит ее сбить своего всадника, которому также может достаться что-нибудь из влаги на долю свою. И нельзя ли бы машины сии прикрепить к седлам, и притом с самодавя-

щею пружиною, которую, когда нужно, тогда б и спустить или остановить».

Витриальный способ свой о. Лятушевич рекомендует держать в строгом секрете, так как, по его собственному соображению, столь ужасное средство истребления «употребить в дело должно только в сражении генеральном, решительном, — а с несказанною выгодою, — почти однажды».

Кроме витриольной стрельбы отец протоирей Ижевского завода рассчитывал еще напугать французов — фейерверками:

«Кажется мне, что для ослепления и смятения неприятеля не худо бы к ружьям пред штыковой свалкою прицепить и обыкновенные бумажные трубки, набитые составом, мечущим, наподобие фонтана, огненные искры. Трубки сии так устроить, чтоб в один миг прицепилися к стволу и зажглися от последнего выстрела, и тогда вдруг кинуться на врага вместе с огнем и штыком или пикою».

Затеи протоиерея Лятушевича тем более смехотворны, чем серьезнее предлагаются. Но о. протоирей, как прожектер, был не одинок. Предлагались и более удивительные планы. Один титулярный советник «подал проект о сформировании легиона из хорошеньких женщин». «Этот легион, — писал прожектер, — нужно будет поставить в голове боевой линии. Французы народ учтивый: увидя красавиц, они побросают оружие и бросятся на колени; тут всю армию можно забрать руками». Натурально, что такие проекты оставлялись без внимания; но он всякий приемный день являлся узнать, что по его проекту последовало. Однажды вместо него пришла его сестра, премиленькая собою, и требовала от статс-секретаря П.С. Молчанова, чтобы он доложил о проекте ее брата. П.С. поделикатился сказать ей, что брат ее сумасшедший; он отделался от нее очень остроумно.

— Да знаете ли вы, сударыня, — сказал он ей, — в чем состоит проект вашего братца?

— Нет, ваше превосходительство.

— Ну так я вам скажу, — продолжал он, — братец ваш предлагает составить полк из прекрасных женщин. Если проект его утвердится, ведь вы первая попадете в рекрута...

Сестрица захохотала, и с тех пор ни братец, ни сестрица более не появлялись» (Воспоминание Н.П. Брусилова).

Правду сказать, отнюдь не умнее и практичнее этих нелепых планов тот пресловутый воздушный шар-истребитель Шмидта и Леппиха, которыми были обморочены Ростопчин и через него Александр, и тянулась эта морока до самого последнего дня пред сдачею Москвы, когда Ростопчин «шарлатана Шмидта» отправил во Владимир. Впоследствии pour faire une bonne mine au mauvais jeu * и главнокомандующий Москвы, и государь говорили, будто они всегда понимали вздорность этой затеи, но поддерживали ее для того, чтобы дать игрушку народной фантазии. Но вряд ли это так. Просто Шмидту и Леппиху больше посчастливилось с воздушным шаром, чем ижевскому протопопу с витриолем и титулярному советнику с эскадроном хорошеньких женщин. А вот и еще официальный документ, являющий, за какие наивно-детские средства могло совершенно серьезно хвататься это растерянное время:

Министерство
полиции
Июля 12

О сборе и высылке
сюда стрелков

Господину Вологодскому Гражданскому Губернатору.

Во исполнение высочайшего его императорского величества повеления, комитет гг. министров поручил мне предписать вашему пр-ву, дабы вы по получении сего тот час приказали набрать из обитающих в вашей губернии народов, в стрелянии зверей упражняющихся, до пятисот человек и более, и по сборе с теми самыми ружьями, которые они при своем промысле употребляют, отправили их на подводах сюда в Санкт-Петербург

* С хорошей миной при плохой игре (*фр.*).

для причисления их к тому ополчениию, которое здесь против неприятеля, вторгнувшегося в пределы России, составляется. От попечения вашего зависеть будет исправность в исполнении сего высочайшего поручения, и та поспешность, с какою люди сии должны быть сюда доставлены, равно как, и весь распорядок в сборе оных и в верном сюда препровождении, чего комитет и ожидает от ваших стараний и вашей опытности.

Главнокомандующий в Санкт-Петербурге
Визмитинов

Конечно, если быть поставлену между витриольною спринцовкою протоиерея Лятушевича, бьющею на семь саженей, или самодельною пищалью вологодского мужика-зверолова, можно еще задуматься в выборе, что будет вредительнее для коварного врага. Притом это — авторитетное предписание, сосредоточившее в своей побудительной силе все высшие авторитеты государственной власти, тогда как скромный ижевский протопоп не идет дальше патриотической просьбы на-авось, не сделают ли опыт:

«Вот способ вредить неприятелю, который мне кажется новым и весьма действительным и который, как скоро мелькнул в мысли моей, любовь к отечеству заставила меня обдумать и предложить.

Если способ сей не может быть одобрен, то нижайше прошу предать все сие огню и забвению, дабы не прослыть мне глупым затейщиком или чтоб кто-нибудь не мог из сих начертаний сделать какого злоупотребления».

ОПАЛЬНАЯ МОГИЛА

По сообщению газеты «Речь», отказано старообрядцам в просьбе поставить крест над могилою протопопа Аввакума, сожженного в Пустозерске 1 или 14 апреля 1681 года. Отказ мотивирован тем, что Аввакум непочтительно отзывался о высших властях.

В этом известии много непонятного.

Если старообрядцы обращались с такою просьбою, то — надо ли было обращаться? Не просили ли они в данном случае о праве, которое принадлежит им без всяких просьб? Если так, то не была ли их просьба результатом не поисков своего права, а, так сказать, лишь заглядкою вперед с целью предупредить какое-либо грубое нарушение своего права, одно из тех злоупотреблений административною силою, к которым слишком и слишком приучены люди старой веры? И, если опять так, то отказом не совершено ли нового такого злоупотребления и насилия над правами православных древнего обряда?

Нет никакого сомнения, что дело обстоит именно так. И старообрядцы напрасно просили, и отказано им без всякого права и резона.

Напрасно — конечно, лишь de jure, а не de facto. Напрасно в праве, а не в осуществлении права. Ибо в русском счастливом государстве, седьмой год освещенном законом о свободе совести, сия последняя, как известно, заключается в том, что между свободою и совестью просунут здоровенный полицейский кулак, который, по чем скажут, по тому и бьет: хошь — по свободе, а не хошь — по совести.

Итак, просьба старообрядцев есть именно лишь просьба о неподвижности полицейского кулака, покуда они осуществят свое несомненное и законное право.

Ибо нет такого закона, ни правила, ни отеческого предания, которые препятствовали бы христианам поставить крест над могилою христианина, кто бы он ни был и о ком бы как бы ни отзывался. Это, во-первых.

Во-вторых: над «могилою» Аввакума искони был уже крест. «В Пустозерске за лесом есть площадка: там крест стоит и зовется Аввакумовым» (П.И. Мельников). «В память будущего дня своей кончины Аввакум еще при жизни заготовил собственными руками крест и приказал поставить на известном месте» (Храмцов. «Церковный вестник» 1880 г., № 35).

Правда, А.К. Бороздин, автор интересного исследования о протопопе Аввакуме, отрицает подлинность креста: «Как видно из надписи на этом кресте, он сооружен каким-то купцом Протопоповым, фамилия которого, может быть, и послужила основанием связать происхождение креста с знаменитым протопопом».

В настоящем столкновении желаний старообрядчества с неожиданным запретом совершенно неважно, был ли этот Аввакумов крест подлинный или ошибочный, поставлен ли он в память протопопа Аввакума или купца Протопопова, важно то, что был крест, который население знало и почитало Аввакумовым, и стоял этот Аввакумов крест невозбранно, и никто на него не ополчался за такую его репутацию, хотя и Мельников, и Храмцов, и Бороздин, свидетельствующие об Аввакумовом кресте, писали о нем во времена, еще не осчастливленные законом о свободе вероисповедания.

Итак, один из замечательнейших людей русской истории, «протопоп-богатырь», как удачно прозвал его С.М. Соловьев, наиболее яркий и сильный светоч русской религиозной мысли XVII века, характер высочайшего этического качества, выброшен, 230 лет спустя после своей мученической смерти, за порог христианства, объявлен недостойным христианской памяти и христианского символа над могилою.

Когда я прочитал это известие, странно вспомнились мне... Максим Максимыч, русский, православный капитан, хотевший поставить крест над магометанкою Бэлою, и мусульманский памятник над Мариею Потоцкою в Бахчисарае, на котором — «крестом осенена магометанская луна»... Там, где люди любят друг друга, чувство стремится к объединению не инославных только, а даже иноверных символов. Разлуки, отчуждения и запрещения врываются лишь в те отношения, откуда любовь изгнана решительно и безнадежно, и место ее заняли острая ненависть, сухая, злая, мелочная вражда.

Протопоп Аввакум — большая историческая любовь русского народа. Не только староверческой массы. В ней-то он действительно народный герой, святой, прекрасный муж прекраснейшей легенды. В православной массе народной он, естественно, забыт, к чему приняты были усердные церковно-административные меры. Но я был бы очень удивлен, если бы мне указали русского историка, поэта, романиста, публициста, наконец, просто исторически образованного и начитанного человека, хотя бы православнейшего из православных и монархиста из монархистов, который, изучив эпоху Аввакума, отнесся бы к «протопопу-богатырю» иначе, как с глубоким уважением, не почтил бы в нем великого пламени веры, хрустально-чистой души, бестрепетной стойкости убеждений. Достаточно назвать имена Соловьева, Костомарова, Ключевского, Щапова, Мельникова, Суворина, Мордовцева, Мережковского, чтобы понять, какой широкий круг разнообразнейших мнений объединяло и объединяет это уважение. На что уж гнусна казенно-историческая условная наука в русских средних учебных заведениях, однако даже и в гимназиях, — по крайней мере, в наше старое (и очень лютое, толстовское) время, — Аввакума не позорили и не сквернили, хотя, например, у нас, в VI московской гимназии, учитель истории был такой богомольный, что даже постригся впоследствии в монахи.

За что же выбрасывают Аввакума из христианства? За «ересь»? Это бы еще имело хоть какой-нибудь смысл (конечно, только не здравый), хоть кривую, да логику. В еретических заблуждениях Аввакума не одна господствующая церковь обвиняла, но и свои же, из последователей известного Диакона Феодора. Как относился Аввакум к своему «еретичеству», лучше всего будет характеризовать словом одного из его же посланий от 1678 года, за три года до смерти на пустозерском костре. «Не по Писанию верующие еретицы суть, также и прелагатаи Писания еретицы суть... А я, греш-

ный, кроме писаного не хощу собою затевать: как писано — так и верую, идеже что святые написали — мне так и добро. Иное же уже, окаянный, рассмеюся: как-то, реку, уже сатана надо мною не возится! Никониане еретиком зовут, дети духовные еретиком же зовут! Да тем, реку, ты меня, бес, не отлучишь от любви-той Христовой... Время им лаять, а мне время терпеть за имя Господне, не умерше, мучиться. Пускай мучат душу мою и тело... Мнози волны и люто потопление, но не боюся погрязновения, на камени бо стою. Аще и приражаются камению волны, но в пены претворяются, камени же вредити не могут. Камень же Христос. И я за него держусь, никого не боюсь, — ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни диавола самого, но наступаю на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию».

Однако вот, выждав почти два с половиною века, возобновляются попытки снять верующего Аввакума с камня, на котором он утвердился, и отлучить от любви, на которую он надеется... За что?

По обвинению даже не религиозного, а светского характера: за то, что Аввакум непочтительно отзывался о высших властях.

Строгие судьи упустили из виду, что если бы непочтительные отзывы о высших властях карались извержением из христианства, то пришлось бы поснять кресты с могил и гробов знаменитейших и надежнейших иерархов господствующей церкви, начиная хотя бы Филаретом Московским и уходя в века, до Филиппа-митрополита. Последний оказал более чем непочтение высшей власти, в лице Ивана Васильевича Грозного, однако покоится мощами в Успенском соборе всего через площадку от собора Архангельского, где лежит прах Грозного. А творец Синода, Феофан Прокопович, сочинявший эпиграммы на Анну Иоанновну, которая де

«Курляндцу-собаке
Веселие
Велие?»

Два с половиною века спустя, выставляется против креста на могиле Аввакума тот же резон, на основании которого сжег его на костре личный враг, патриарх Иоаким: «За великие на царский дом хулы». Таким образом, судьи-потомки берут на себя странно запоздалую роль исторических мстителей за... царя Алексея Михайловича! Уж именно, что лучше поздно, чем никогда!

Но, прежде чем мстить Аввакуму за царя Алексея Михайловича, не лучше ли было рассмотреть, как сам-то Алексей Михайлович относился к этому своему обидчику Аввакуму? Считал ли царь протопопа таким лютым врагом своим и ненавистником, таким еретиком и отверженцем, с которым не может быть у него ни общей части, ни примирения?

Каждый, кто изучал эпоху, решительно скажет:

— Нет.

Аввакум пал жертвою духовенства, пытавшегося создать клерикальное государство, жертвою «никонианства», — не в нынешнем широком смысле слова, утвердившемся в старообрядчестве, а в точном и узком: попытки XVII века вырастить, на почве церковной реформы, русский папизм. История этой попытки наполняет весь XVII век. Общество русское, слабо интересующееся своим прошлым, до сих пор мало ее знает и ценит, так как она потонула в потопе Петровской реформы. А между тем затем и самому Петру-то понадобилось сломать патриаршество и учредить коллегиальный Синод, чтобы раз навсегда покончить с угрозами государственного двоевластия, дважды в течение одного века господствовавшего в государстве: покончить с патриархом «великим государем» и нарождавшеюся духовною аристократией, готовой выработать «князей церкви», подобных тем, которых вырастил католицизм на феодальной почве Запада. Народный инстинкт выдвинул против никонианского папизма то глубокое демократическое течение, которого могучим представителем был Аввакум, ненавистный и Ни-

кону, и его преемникам. Уничтоженный царским именем, Аввакум погиб не от царя, а именно от князей церкви, которые держали царя в руках и которым Аввакум был, как терн в глазу. Это хорошо понимал и в своих писаниях всегда оттенял и сам Аввакум. Алексей Михайлович занял очень много места в его автобиографии, и в ней никогда ни он лично враждебен Аввакуму, ни этот последний — ему, вопреки всем ссылкам, тюрьмам и невзгодам, наполняющим Аввакумово подвижническое житие. Во всех суровых мерах против Аввакума царь Алексей Михайлович участвует против воли, как политик, исполняющий неприятнейшую практическую необходимость, которая принципиально претит его человеческой совести.

Когда Никон разгромил кружок благовещенского протопопа Стефана Вонифатьева, сослал Ивана Неронова, расстриг Логгина Муромского и т.д., он хотел так же распорядиться и с Аввакумом, но государь не допустил. Когда Аввакума привели «остричь» в соборную церковь, царь сошел с своего места и просил за него патриарха. Никон смилостивился. Аввакума не стригли, а лишь отправили в сибирскую ссылку. Жутко пришлась она протопопу, но не сломила несломного, а только закалила его к новой будущей борьбе.

Возвратясь в Москву после падения Никона, Аввакум был принять царем с почетом, как страдалец за правую веру. «Царь призвал его, допустил к руке своей и милостиво его расспрашивал: «Здорово ли живешь, протопоп? Вот еще Бог велел видаться». Аввакум отвечал: «Жив Господь, жива душа моя, царь-государь, а впредь, что изволит Бог!» — «Он же, миленькой, — рассказывает Аввакум, — вздохнул, да и пошел куды надобе ему. И иное кое-что было, да что много говорить!» После этого свиданья царь приказал поселить Аввакума в Кремле, на подворье Новодевичьего монастыря. Отношения царя к протопопу были самые милостивые: «В походы мимо двора моего ходя, кланялся часто со мною низенько-

таки, а сам говорит: «Благослови де меня и помолися о мне!» И шапку в ину пору, мурманку, снимаючи с головы, уронил едучи верхом! А из кареты высунется бывало ко мне». За царем и все бояре ласкали Аввакума, предлагали ему место, какое захочет, звали даже, по его словам, в царские духовники (Бороздин).

Когда затем Аввакум подал царю Алексею Михайловичу свою знаменитую челобитную о восстановлении старого благочестия («Государь наш свет что ти возглаголю, яко от гроба восстав из дальнего заключения, от радости великия обливаяся многими слезами, — свое ли смертоносное житие возвещу тебе, свету, или о церковном раздоре реку тебе, свету?» и пр.), Алексей Михайлович прислал к нему боярина Родиона Стрешнева с увещанием, чтобы он не агитировал. «И я, — рассказывает Аввакум, — потешил его: царь то есть от Бога учинен, а се добренек до мене, — чаял либо помаленьку исправится». Несмотря на то, что в своей челобитной Аввакум вполне откровенно высказал все, что у него накипело на сердце («не прогневайся, государь-свет, на меня, что много глаголю: не тогда мне говорить, как издохну!»), царь сохраняет с ним наилучшие отношения, обещает ему должность справщика (редактора) на Печатном дворе, прислал ему десять рублей в подарок и т.д. В таких условиях Аввакум, «промолчав с полгода, паки заворчал» и новою челобитною, поданною чрез Федора-юродивого, рассердил царя. Неудовольствием Алексея Михайловича воспользовались высшие духовные власти, которые в это время на удачи Аввакума «яко козлы пырскать стали», и выхлопотали царский указ о высылке протопопа в Пустозерск. В Пустозерск он не доехал, а прожил 1½ года в Холмогорах и Мезени. За это время Иван Неронов подает в защиту его две челобитные, писанные по личному желанию государя. Если они оказались безуспешными, то исключительно по влиянию «пырскающих козлов». Одному из них, царскому духовнику, про-

топопу Лукьяну, дьякон Федор тоже «подавал челобитную об Аввакуме, о свободе, и он в глаза бросил с яростию великою». Как лично к царю относится сам Аввакум в это время, показывает тон его челобитной, присланной из Холмогор: «Свет государь, православный царь! Умилися к странству моему, помилуй изнемогшего в напастях и всячески уже сокрушена: болезнь бо чад моих на всяк час слез душу мою исполняет. И в Даурской стране у меня два сына от нужи умерли. Царь государь, смилуйся!»

В марте 1666 года Аввакума привезли из Мезени на Москву судить, а 13 мая, после напрасных увещаний, — «стригли и проклинали меня, а я сопротивно их, врагов Божиих, проклинал, — мятежно сильно, в обедню то было». И что же? Когда, после мятежной обедни, расстриженного и анафематствованного протопопа повели в тюрьму, к нему приближается посол от государя Дементий Башмаков: «Протопоп, велел тебе государь сказать: не бойся ты никого, надейся на меня». Раздраженный Аввакум отказался от царской помощи, заявив, что «надежа моя Христос!» И все-таки опять царь не держит зла на Аввакума, а скорее смущен всем, что с ним делают церковники. Тем более что несчастия Аввакума вызвали к нему симпатию не только в народе, но и во дворце. На сторону Аввакума стала царица Марья Ильинишна и даже поссорилась с мужем (было «нестроение»), зачем он попустил церковникам надругаться над Аввакумом. А когда боярин Ртищев во дворце позволил себе неодобрительно отозваться об Аввакуме, то был жестоко оборван знаменитою боярынею Феодосьею Морозовой: «Не тако, дядюшка, не тако, несть право твое слово: сладкое горьким называеши. Аввакум истинный ученик Христов, понеже страждет ныне от вас за закон Владыки Своего, и сего ради хотящим Богу довлеет учения Его послушати».

Эти слова, произнесенные героинею старой веры, столь знакомою каждому москвичу по великолепному суриковскому

полотну в Третьяковской галерее, достаточно характеризуют настроение во дворце. Под давлением его царь, видимо, чувствовал себя очень тяжело, с раздвоенною, колеблющеюся совестью. Покуда Аввакум сидел в тюрьме при Николо-Угрешском монастыре, «тамо и царь приходил, и посмотря около полатки вздыхая, а ко мне не вошел; и дорогу было приготовили, насыпали песку, да подумал-подумал, да и не вошел, полуголову взял, и с ним кое-што говоря про меня, да и поехал домой. Кажется, и жаль ему меня, да видит Богу уш-то надобно так». По всей вероятности, уводя узника подальше от этой робкой совести жалостливого царя, и перебрасывали Аввакума так часто враги его из тюрьмы в тюрьму, покуда настало для него время окончательного расчета пред соборным судом.

17 июля 1667 года Аввакум осужден пред лицом вселенских патриархов (Макария Антиохийского и Паисия Александрийского) и предан собором анафеме. Казалось бы, чего уж больше? Конченый человек! Известно благоговение, которое питал Алексей Михайлович к патриаршему авторитету. Однако нет: даже и эта соборная анафема принимается царем до такой степени условно и несерьезно, что 22 августа он присылает стрелецкого голову Юрия Лутохина в Чудов монастырь просить у находящегося там Аввакума себе благословения. Еще раньше приходили к Аввакуму от царя Башмаков и Артемон Матвеев и «говорили царевым глаголом: «Протопоп, ведаю де твое чистое, и непорочное, и благоподражательное житие, прошу де твоего благословения и с царицею, и с чады, — помолися о нас». Кланяючись, посланник говорит. И я по нем всегда плачу; жаль мне сильно его. И паки он же: «Пожалуй де, послушай меня, соединись со вселенскими теми хотя небольшим чем!» И я говорю: «Аще и умрети ми Бог изволит, со отступниками не соединюсь! Ты, — реку, — мой царь, а им до меня какое дело. Своего, — реку, — царя потеряли, да и тебя проглотить сюда приволоклися! Я, — реку, — не сведу рук

с высоты небесные, дондеже Бог тебя отдаст мне». Артемон Матвеев, по царскому повелению, несколько раз посетил Аввакума, убеждая его умягчиться, причем от имени царя говорил «со слезами». Все это было перед второю ссылкою в Пустозерск, которая завершилась для Аввакума, уже при царе Феодоре Алексеевиче, мученическим костром. Так что на этих присылках, можно сказать, кончились непосредственно-личные сношения между царем и протопопом, причем, — мы видели, — злобы не было ни с той, ни с другой стороны. Более того: при жизни Алексея Михайловича вряд ли возможно было запылать и костру Аввакумову. Известно, что при нем не был казнен смертью ни один первостепенный представитель старинной партии, — их, с Аввакумом во главе, подвергли только заточению и ссылкам. Это, по условиям тогдашних крутых времен, было свидетельством преднамеренной мягкости, тем более что по Уложению царя Алексея Михайловича Аввакум с товарищами подлежали именно смертной казни.

Можно проследить по «Житию» Аввакумову, что царь не только не обижался и не гневался на пылкого протопопа, но, напротив, был его заступником. Протопопу всегда начинало быть тяжко и худо, как только ссылка отстраняла его от царя и из придворного влияния бросала в лапы какого-нибудь даурского безобразника Пашкова или дальнего архиерея-самодура, которые, пользуясь захолустною глушью своих медвежьих углов, чувствовали себя в них почти бесконтрольными царьками. Жаловаться на них в Москву было долго и далеко: пока челобитная дойдет и резолюция по ней выйдет, местный тиран успеет выпить из жертвы своей остальную кровь. Да и то, если верить Аввакуму (Бороздин считает этот факт выдуманным), одного из таких обидчиков, именно Пашкова, царь выдал протопопу головой, и протопоп его «постриг и посхимил».

Из всего этого ясно, что, мстя 230 лет мертвому Аввакуму за его стародавние обиды, 235 лет мертвому царю Алек-

сею Михайловичу, XX век принимает их гораздо злобнее и острее два с половиною столетия спустя, чем сам Алексей Михайлович принимал непосредственно и живой от живого. Что касается царя Феодора Алексеевича, при котором патриарху Иоакиму удалось спалить Аввакума, то к этому царю Аввакум не обращал никаких укоризненных речей, а, напротив, видел в нем, хотя и ошибочно, надежду для возрождения и укрепления старой веры.

Я нисколько не стремлюсь «защищать» Аввакума, — отрицать, что Аввакум в своей полемике против новогосударственной церкви и ее высоких покровителей бывал очень резок и сыпал подчас словечками, которые вряд ли найдешь теперь и в академическом словаре. Но тут надо же вспомнить дух, язык и нравы времени. Аввакум говорил и писал, как с ним говорили и как ему писали. Ненавистный Аввакуму враг, патриарх Никон был необузданно груб на слово и дерзок на руку. Сам «тишайший» царь Алексей Михайлович, — человек необычайной душевной доброты, расплывчатый, ласковый, мягкотелый, но очень вспыльчивый, — когда гневался, то не говорил и не писал, а «выражался», не стесняясь ни временем, ни местом. Однажды, на торжественной заутрене, в присутствии патриарха антиохийского Макария, «чтец начал чтение из жития святого обычным возгласом: «Б л а г о с л о в и, о т ч е». Царь вскочил с кресла и закричал: «Что ты говоришь, мужик, ... сын: «Б л а г о с л о в и, о т ч е?» Тут патриарх; говори: «Б л а г о с л о в и, в л а д ы к о!» А вот образец его письма к некоторому набуянившему спьяна иноку Савво-Сторожевского монастыря: «От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси врагу Божию, и богоненавистцу, и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Миките». С сынов ли XVII века спрашивать хорошего тона и деликатного обращения? Спорили люди, твердо убежден-

ные, что — «вся бо Богови грубо: не подобает бо своего языка уничижать, а странными языки украшати речь». «Приклад, како пишутся куплименты» издан только в 1712 году, а раньше руководство к хорошему тону черпалось из Силиверстова «Домостроя», да и того не очень-то слушались, как жалуются современники-иностранцы, даже и во дворце.

Затем: наиболее резкое, чего когда-либо сказано Аввакумом по адресу царя Алексея, — «Послание к некоему Иоанну» — не установлено в смысле принадлежности Аввакуму: проф. Н.И. Ивановский, например, отрицал эту возможность. В огромном же большинстве несомненных речей, обращенных непосредственно к царю Алексею, Аввакум не только добродушен, но прямо-таки скорбно-нежен, как хороший человек, видящий другого хорошего и очень им любимого человека в цепях опасной для него ошибки. Царь для него — попросту «Михайлович», милый человек, зря сошедший под дурным влиянием с того пути, который протопоп Аввакум убежденно считает единым правым. Даже в позднейшей «Беседе о наятых деятелях», которую Аввакум писал уже по смерти царя Алексея Михайловича, и очень озлобленный своею долгою ссылкою и тяжкими гонениями, обрушенными на старую веру, — даже и там вот как говорит он о царе Алексее: «Хотя много надосадит никониянин, да как с лестью бывало: «Ведаю твое чистое, и непорочное, и богоподражательное житье, помолись обо мне, и о жене, и о детях, и благослови нас!» — так мне жаль станет, плачу пред Богом о нем. Да и ныне его жаль, — не знаю што. Завел его... Никон-то за мыс: а то он добрый человек был. Знаю я ево». Главною ненавистью Аввакума было никонианское духовенство: Павел Крутицкий, Иона Ростовский, Илларион Рязанский и др., а во главе всех их, конечно, Никон да его придворная агентша — богомольная «сваха Анна Ртищева со дьяволом». Царь Алексей для Аввакума — человек погубленный, зачарованный Никоном, которого протопоп, не шутя, считал колдуном:

«Ум отнял у милова, как близ его был». В этом убеждении он даже сочинил особую молитву, просящую Бога, чтобы «пременил от прелести царя Алексея бедного от нового... Никона с дьяволом и дал бы ему очищение, и освящение, и душевное прозрение». При таком настроении Аввакума, естественно, что резкости, направленные против царя Алексея, проясняются, по преимуществу, лишь по расшифровке комментаторами метафор и аналогий. В них Аввакум отводил душу, не желая нападать прямо на человека, которого он любил и вопросом о котором искренно мучился. «Елико ты нас оскорбляеши больше, и мучишь, и томишь: толико мы тебя больше любим, царя, и Бога молим до смерти твоей и своей о тебе и всех клянущих нас: «Спаси, Господи, и обрати по истине Своей!»

Так враждовали, любя, два хороших честных человека, из лучших русских людей XVII века. Умерли они оба без ненависти друг к другу. Да если бы даже и с ненавистью? Два с половиною века — достаточный срок, чтобы история разобралась в давно угасших страстях и извлекла из-под их пепла ту правду, что их воспламеняла, и была она, конечно, как в каждом искреннем принципиальном разладе, не односторонняя, а двусторонняя. Но и это-то предположение лишнее. Мы видели и еще раз повторяю: ненависти не было, была любовь. Неуклюжая, грубоватая, но настоящая, от жарких сердец любовь. И тот, не столько христианский, сколько египетский суд над мертвым, который вздумали теперь учинить, вносит злобу ненужного отмщения туда, где нет голоса, вопиющего об отмщении. И Аввакум, и его «Михайлович» одинаково утонули и расплылись в вечности. Ну и оставьте их считаться в вечности между собою, — вы, которые веруете жизни в вечности и требуете веры в нее от других. Сколько бы и кто бы ни пытался изменить прошлое, — это невозможно; напротив, чем дальше течет время, тем прозрачнее становится его струя, тем решительнее оседает вокруг старых фактов, скрывавшая их муть

боевой современности, тем ярче и рельефнее определяются они в своей первобытной простой правде. Вот почему из всех видов мести едва ли не самый безнадежный — отмщение на чьей-либо исторической памяти, а из всех способов мести бесспорно уж самый нелепый — судить и карать эту память, стоя на тех же узкопартийных точках зрения, стоя на которых, засудили и замучили человека 230 лет тому назад его личные и церковно-политические враги. Мертвецы не могут изменяться, но времена меняются, и, когда люди не меняются в них, — это и стыдно, и страшно видеть. Недавно Репин, возражая против мечниковских надежд увеличить долголетие человеческой жизни, сказал сильный и образный пример:

— Вы представьте себе ужас: идете вы по улице, и вдруг мимо нас несут трехсотлетнего Ивана Грозного.

Нечто вроде этого впечатления испытываешь и читая известие о суде над 230-летним покойником. Подумаешь, не живые люди судили, а патриарх Иоаким из гроба встал.

Бедный Аввакум! Когда-то, погибая со своею протопопицею на Байкале, выслушал он от нее мучительный вопрос:

— Долго ли муки сея, протопоп, будет?

«И я говорю:

— Марковна, до самыя смерти!

Она же, вздохня, отвещала:

— Добро, Петрович, ино еще побредем!»

Ошибся прозорливый Аввакум! Ненависть, гнавшая его в муки, не угасла со смертью, и до сих пор бредет он сквозь нее со своею верною Марковною, и, если дух века потушил для него возможность пустозерского костра, то — мы видим: далеко не уничтожил чувств и мнений, во имя и по силе которых все подобные костры зажигались. «Вот тебе царствие небесное дома родилось: Бог благословит, мучься за сложение перст, не рассуждай много!» (Аввакум).

Запретили поставить крест на могиле Аввакума. Но убедят ли этим хоть кого-нибудь, что протопоп Аввакум не был христианином и не достоин этого имени в потомстве? Не думаю и не верю. Больше того: не думаю и не верю, чтобы в числе самих отказавших были в 1911 году такие, которые бы подобно думали и верили. Совершен, значит, акт не религиозный, не акт убеждения, а опять-таки акт церковно-политической рутины, безнужный акт не XX века, а XVII, — акт, которым прошлое не исправляется, настоящее омрачается еще одним напрасным оскорблением, брошенным в лицо огромной части русского народа, чтущей Аввакума своим святым, а в будущее сеются новые и новые семена вражды и разделения! И это в то самое время, когда сладкими голосами воспеваются мечтательные гимны о соединении родственных церквей, и архиереи лобызаются с англиканскими епископами... Вот уж подлинно левая рука не знает, что делает правая. И — куда как все это нужно, искренно и умно!.. Смотришь на все это холодными, сторонними глазами, вчуже наблюдателя, по историческому только интересу, — и то, в недоумении, диву даешься. А каково же это должно зажигать и мучить тех, для кого оно дело не случайное, не стороннее, а свое, кровное, вековое? И — увы! как ни поверни этот странный запрет, нельзя не сознаться, что историческая фигура Аввакума выходит из этого нового гонения только в ореоле новой силы, как бы смытая и подбодренная новою живою водою. Ибо — с мертвыми и бессильными врагами так беспощадно не воюют. Ибо — должно быть правду говорил о себе старик Аввакум-то: «Пускай мучат душу мою и тело... Мнози волны и люто потопление, но не боюся погрязновения, на камени бо стою. Аще и приражаются камению волны, но в пены претворяются, камни же вредити не могут».

1911

ТАИНСТВЕННАЯ НЕЗНАКОМКА

Мне достались черновые записки неизвестной дамы, игравшей, как читатель увидит, весьма странную роль при дворе трех государей: Екатерины II, Павла I и Александра I. Рукопись распадается на две части, русскую и француз-скую, и страдает множеством погрешностей и сокращений, разбираться в которых довольно скучно. Здесь я передам лишь ход событий, в записках излагаемых, приводя в подлиннике наиболее характерные и занимательные места. Печатать целиком не имело бы интереса: автор чересчур много умствует. Как образчик этих умствований, привожу выдержки из длинных и разнообразных предисловий к запискам. Манускрипт носит название: «Сокращенная выписка из тайной записки моей жизни с 1794 по 1808 г.». Ниже предупреждение: «Читатель увидит и разберет, а, разобрав и взвесив мои дела, пускай наименует меня, какою изволит». Затем следует «Предисловие» такого содержания: «С ошибками современников моих не уживается и совершеннейший человек. То могу ли я оскорбляться, что предрассудки, оскорбления и клеветы устремились на меня? Но, как терзания совести не преследуют меня, то бросаю оные, подобно тяжелому сну, и забываю их. Зерцало истины и правосудия, переходя из рук в руки, наконец... вовсе разбилось; и только тот может отыскать его обломки и, соединив их, привесть в совершенную целость, кто не страшится злодеев, гордящихся своими преступлениями и своим могуществом. Тот и имеет твердость духа и благородное презрение к бедствиям. А кто боролся с самыми трудными обстоятельствами, тот уже слабые свободно одолеет. Dulce et decorum est pro virtutibus mori *.

* Сладостно и почетно умереть за добродетель (*лат.*).

Введение

Вопрос. Для чего один глупый, а другой с подлою душою человек, и оба рожденные для забвенья, светозарны, тогда, когда умный и добродетельный человек проводит дни жизни своей во тьме?

Ответ.

Для слов, как для людей, есть жребий роковой;
Случай играет их судьбой.
Он — их судья, они — его созданье.
Захочет — и в чести; велит — они в изгнанье.
Неистовый тиран, — но свят его закон.

Сие значит, что добродетель, дарования и заслуги, кажется, должны бы быть единственными ходатаями, но между тем должны уступить место проискам кичливых, которые только тем и занимаются, чтоб подлазить и уловить, которых дело только в том и состоит, кто лучше умеет в милость и доверенность государя вкрасться и задружить его рабов и, ползая, мало-помалу, на высоту взобраться! Кто проворнее и гибче, тот скорей пролезет; но знающий цену своей добродетели удаляется и в забвении остается. Так Двор, наполненный происками, есть такое смешение страстей, в котором и самая премудрость не может разобрать истины. Так в царствование государя императора Александра Первого всенародная польза почиталась за ничто; уважение особы решало и похвалы, и поношения, и сей царь, лжами окруженный, обремененный сомнительностями и недоверчивостью, по большей части, из нерешимости своей не выходил инако, как токмо ввергаясь в заблуждение».

Эти общие замечания дают автору повод к довольно туманному и малоинтересному «сближению» с частным примером: своею личною судьбою, после чего, наконец, начинается и самая «тайная записка».

Отец «незнакомки» скончался 31-го марта 1794 года, оставив дочь на 22-м году от рождения. Он занимал какой-то высокий пост при дворе Екатерины II, но, кажется, именно этот пост и сделал его великим пессимистом. По крайней мере, он оставил дочери в высшей степени мрачное завещание. В нем «было мне именно приказано удаляться, елико возможно, от царского престола, который изображал он мне окруженным густейшим туманом зависти и мрачнейшими облаками злобы. Таковое описание устрашило неопытность мою ужаснейшим образом». Во французской части рукописи мы находим явственные указания, что отцовское завещание не только отвратило нашу героиню от придворной жизни, но и вообще надолго отравило ей жизнь своими неприглядными картинами.

«Вообразите, — говорит она, — девушку с характером, от природы и в обыденных условиях мягким и покорным, но, когда ею овладевают страсти, — горячим, гордым и неукротимым. На нее, как способную руководствоваться голосом рассудка, всегда действовали лаской, справедливостью, снисходительностью. Она никогда не имела понятия о несправедливости и в первый раз при прочтении настоящей рукописи (т.е. завещания) узнала о жестокой несправедливости тех, кого она любила и уважала более всего. Какой переворот понятий?! Какой беспорядок чувств в ее сердце, в ее голове, во всем ее нравственном «я»! Вообразите все это, — говорю я, — если возможно, потому что я лично чувствую себя не в состоянии проследить все, что со мной тогда делалось. Тут был конец ясности и спокойствия моей молодости. С этой минуты я перестала наслаждаться чистым счастьем и даже теперь чувствую, что воспоминания о прелестях моего тогдашнего возраста тут обрываются. Деревня потеряла в моих глазах притягательную силу спокойствия и сердечной простоты: она мне казалась темной пустыней, она была как бы покрыта пеленой, скрывающей от

меня все прелести. Я перестала ее любить и уговорила мою мать продать ее» *.

Только старость была в силах примирить «незнакомку» с ее воспоминаниями. Объяснений скорби своей она не дает: это какая-то семейная тайна. Во французской же части рукописи есть странный намек: «Мое рождение было первым из моих несчастий. Не знаю, как перенес это огорчение мой отец, но знаю, что оно его всегда грызло».

Как бы то ни было, мемуаристка — дочь преданная, любящая, благоговеющая пред родительскою памятью. Скорбь ее по отцу обратила на нее внимание императрицы Екатерины. Она «прислала ко мне с утешительным увещеванием и советами человека, который, по рассказам отца моего, был мне довольно известен, а именно обергофмаршала своего, князя Барятинского. Сей гнусный царедворец, сие пресмыкающееся творение, исшедшее из самого Тартара, который адские знаки возвышения своего носил на правой своей руке (?), старался с отвратительною для меня царедворскою любезностью, которая тогда в глазах моих казалась более насмешкою, утешить меня и склонить на царскую милость, предложенную мне Великой Екатериной, но получил от меня, наконец, следующий ответ:

---

* Qu'on se figure une personne née avec un caractère doux et docile dans la vie ordinaire, mais ardent, fier, indomptable dans les passions, gouvernée par la voix de la raison, toujours traitée avec douceur, equité, complaisance qui n'avait pas même l'idée de l'injustice, et qui, pour la première fois, par la lecture du manuscrit en question, y voit une si terrible injustice de la part précisement de ceux qu'elle chérissait et respectait le plus Quel renversement d'idées! quel désordre de sentiments! quel bouleversement dans son coeur, dans sa tête, dans tout son être moral! Je dis qu'on s'imagine tout cela, s'il est possible; car, pour moi, je me sens hors d'état de démêler, de suivre la moindre chose de ce qui se passait alors en moi. Là fut le terme de la sérénité de ma jeunesse. Dès ce moment je cessai de jouir d'un bonheur pur, et je sens aujourd'hui même que le souvenir des charmes de l'âge que j'avais s'arrête là. La campagne perdit a mes yeux cet attrait de douceur et de simplicité qui va au coeur: elle me semblait déserte et sombre; elle s'etait comme couverte d'un voile qui m'en cachait les beautés. Je n'y trouvai plus de goût et déterminai ma mère à la vendre.

— Князь, я выслушала вас до конца и не удивляюсь вашей эпикурейской философии; но позвольте мне теперь вам откровенно сказать, что вы и все вам подобные, имев души помраченные, не можете понять грусти моей, следственно — не в состоянии меня уразуметь. Итак, оставьте печальную на произвол собственного ее счастья и уверьте ее императорское величество, что, чувствуя в полной мере все ее ко мне милости, за которые и приношу ей сердце, преисполненное наичувствительнейшей благодарностью, но в то же время, чувствуя себя и совершенно неспособною жить при дворе, я не могу на оное решиться.

На сие вышесказанная особа, сделав замечание по-своему, получила от меня опять следующий ответ:

— Поверьте, милостивый государь, что я все милости монархини очень живо чувствую и их ценить умею, но скажу вам теперь решительно, что только тогда, когда сердце мое превратится в камень, когда огонь чувства чистейшей добродетели угаснет в груди моей, подобно, как заря вечерняя угасает на полунощном небе, когда, забыв святую истину, паду я ниц пред златыми кумирами человеческих заблуждений, тогда... да, тогда только, князь, буду я жить между царедворцами — жить в их удовольствие и быть другом их, но теперь мы чужды друг другу, и горесть моя не может их тронуть!»

Однако же после всех этих громких фраз незнакомку все-таки потянуло во дворец. В ней возродилось живейшее желание «увериться в сказанном мне отцом моим собственным моим опытом, приблизиться к царедворцам и в тайне разглядеть сих хамелеонов».

«Светлейший князь Безбородко, бывший тогда еще графом, неизменный друг родителя моего, коему все тайны известны были, умирающему другу своему дал обещание служить сироте его вместо отца и покровителя, в чем и слово свое сдержал. Сей почтеннейший муж посещал меня часто, и однажды при свидании с ним я сказала ему следующее:

— Почтенный мой покровитель, в моих с вами беседах я очень много нужного и полезного для себя почерпнула, а теперь прошу вас наставить меня в том средстве, чрез которое могу успеть в желаемом мною, а именно — быть занятой должностью, не быв, однако же, в зависимости ни у кого. Желать того, что однажды требовала Дашкова от монархини своей, было бы с моей стороны крайне безрассудно, но между тем ужасные возродились у меня чувства к пользе монаршей; и в здравом рассудке, но свыше, кажется, благодати, чтоб можно было мне в оном успеть. Объяснить вам всю обширность познаний и опытность родителя моего в политике и глубокомыслие его не нужно: оно вам довольно известно, и если я, по младости и неопытности моей, не имею ни его глубокомыслия и тонкости ума, то имею, по крайней мере, довольно достаточного сведения о некоторой политической части, состоящей в собрании и составлении общенародных мнений; в чем же я найду какое ни на есть недоумение, то, верно, второй мой отец позволит мне прибегнуть к его советам.

— Любезная моя философка (сим именем называл меня почти всегда князь Безбородко), — сказал мне сей с почтенною и милостивою улыбкою, — я постараюсь, при удобном случае, поговорить о сем с императрицею; но я должен вас предупредить, что она на вас в великом неудовольствии, и вам самим причина сего известна; но я всевозможно постараюсь загладить вашу вину пред нею; возьмите несколько терпения, а наипаче будьте молчаливы и не сообщайте никому вашего желания...

Через несколько времени, по возвращении императрицы из Царского Села, в сентябре месяце 1794 года, известил меня Безбородко, что поздравляет меня с желаемым успехом, но что ее императорское величество повелела мне заниматься вышесказанной должностью в совершенной сокровенности и доставлять плод трудов моих к нему, Безбородкину, причем изволила заметить следующее: что я странная

и удивительная молодая особа, но что это не что иное есть, как последствия воспитания и упорства родителя моего не вручить меня г-же Фибал (сия Фибал была выписана из Парижа самою императрицею для шести фрейлин при дворе, которых она особенно отличала).

— Он потерял дочь свою, — продолжала монархиня, — своим глупым воспитанием; что он теперь из нее сделал, сообща ей свои странные правила, свое упрямство и свою гордость! Ах как мне ее жаль! Но, граф, нельзя ли ее склонить войти в супружескую связь? Она вас очень много любит и почитает, вы имеете всю ее доверенность; постарайтесь на сие склонить сию несчастную. Я имею для нее очень хорошего и выгодного жениха; вы его знаете, граф, это — Грабовский (побочный сын короля польского).

— Как? — вскричала я, пылающая негодованием, — мне замуж идти?.. Мне иметь мужа, иметь для себя сию лишнюю и пустую мебель?! Знаю и чувствую, что, конечно, императрица имеет причину жалеть обо мне, но отнюдь не о моем воспитании, не о том, что я есть теперь, ибо я есть теперь, благодаря Бога, девица честная, какой и завсегда надеюсь остаться. И скажите, второй мой отец, что бы я была при дворе?

Сей отвечал:

— Столь же любезны, но не так добродетельны, вы бы были лишены сей драгоценной душевной девственности, которая чужда придворным.

— Так скажите мне, о чем же жалеет императрица? разве только о том, что я собою не умножила число развращенных, которые ее окружают? В самом деле, я всенижайше, благодарю ее о сем участии и твердо уверяю, что мне никогда не быть замужем.

— Для чего же так, милая моя философка, разве вы совершенно возненавидели наш пол? — возразил почтенный мой покровитель.

— Ах, нет, граф, и я надеюсь, что вы уверены в моем к вам высокопочитании и великой душевной любви... Словом, я так много ценю все ваши редкие достоинства и вашу отличную добродетель, что, если бы это только возможно было сделать, то я приказала бы с вас снять портрет, приказала бы всем ему молиться, как образу. Но замуж за вас никогда не согласилась бы идти; не для того, что вы теперь для меня слишком стары, но для того, что зависимость для меня, какого бы она, впрочем, рода ни была, слишком ужасна по правилу и характеру моим, и вот единая причина моего отвращения к супружеству.

— Следовательно, — сказал граф, — императрица права и со всею справедливостью осуждает данное вам родителем вашим, не по полу вашему, воспитание. Но теперь нечего о сем рассуждать; что сделано, того не возвратить: а извольте лучше начать вашу новую должность и получать за оную жалованье вместо замужества.

— Помилуйте, граф, я никогда и не мыслила служить из жалованья, а только из одной чести (!) Вам не безызвестно, что родитель мой оставил мне 500 000 рублей, что и довольно достаточно будет по гроб мой.

— Ну, философка моя, как вы сие назовете, не гордость ли это? И вам известно, что у меня такой суммы в двадцать крат более, но я между тем не отказываюсь от жалованья, да и не смею этого сделать: нам прилично получать и жалованье, и милости от царей, а им неприлично пользоваться нашими милостями; и вы этим обижаете вашу благодетельницу, что очень не хорошо. Итак, я советую вам принять от великой ее щедроты назначенные вам ежегодно по 12 000 рублей жалованья и сей подарок, который она изволила мне вручить для доставления вам при следующих словах: *«Я сердечно желаю, чтобы труды нового моего слуги* (или служителя) *столь же полезны и питательны были, как изображенные зерна в сем колосе, однако ж менее блистательны. впрочем,*

я уверяю ее во всегдашнем моем царском благоволении что я ее даже и нехотя люблю».

Я была столь смущена и столь растрогана толикими монаршими милостями, что тогда, истинно стыдясь своему заблуждению, я совершенно осталась безмолвной, и в сем положении оставил меня граф.

Сей великий муж, сей всеобъемлющей гений, который имел редкий дар читать в человеческом сердце и им управлять всесовершенно, очень легко усмотрел, что происходило тогда в моем, и посему за нужное почел оставить меня в покое, дабы могла я предаться сердечному чувству моему и размышлениям моим.

По отбытии графа удалилась я немедленно в свой кабинет, где, бросясь в кресло и орошенная потоками слез, обвиняя то себя, то опять оправдывая, так что попеременно была колеблема разными чувствованиями, и осталась в сем положении на весь день одна, в философическом уединении своем, где я и начала размышлять о новой своей должности и надежнейших средствах приступить к ней.

Вступила я в оную 1794 года, октября 23 дня, и тогда было мне от роду 22 года и 7 месяцев; в течение этого года успела я доставить ее императорскому величеству плоды трудов моих, которые были очень милостиво приняты и одобрены и за которые получила я опять бриллиантовые серьги, изображавшие грушу. Граф спросил меня, как мне сей подарок нравится.

— Он бесподобный, — отвечала я, — но между тем все, что бы я ни получила от монаршей щедроты, не может иначе быть для меня, как драгоценною вещью! Однако ж первый для меня ценнее, потому что вынудил меня, войдя в себя, размышлять о том впечатлении, которое он произвел во мне, и сознать, что я виновница огорчений столь милостивейшей и великодушнейшей царицы, и вот почему первый подарок любезнее.

— Браво, браво, дочь моя! позвольте старцу обнять вас за сей прекрасный ответ, достойный изящных чувств великой вашей души.

Описывать здесь все те отличные милости, коими я пользовалась от сей премудрой монархини, столь многочисленные, равномерно и все попечения и благоразумные наставления покойного князя Безбородкина, что здесь упомянуть об них совершенно не у места, и скажу еще только, что смерть сих двух для меня божественных благотворителей похитила с собой и все мое благополучие.

По вступлении на всероссийский престол императора Павла I, то и сей монарх не оставил меня без изъявления своей ко мне благосклонности и в знак оной предложил мне место фрейлины при дворе. Здесь не должна я умолчать, но сказать в честь сего государя, что ответ, который он получил от меня касательно сей предлагаемой мне почести, всякого иного вынудил бы наказать, но, напротив того, от сего великодушного монарха заслужил мне похвалу. На мой ответ он сказал следующее:

— Я в сем ответе узнаю достойного и почтенного отца ее.

Ответ же мой был следующий: что я всенижайше благодарю его императорское величество за оказанную мне честь и милость... но чувствую в полной мере и то, что я недостойна ее, да и для сей должности совершенно не рождена и не воспитана, почему и не могу ее занять: что государь, который коротко знавал покойного родителя моего, верно согласится, что сей не воспитывал дочь свою для того, чтобы служить украшением двора, или лучше сказать, его декорациями; но что я чувствую себя в состоянии быть полезнее в обществе. После сего предложил мне сей государь в вечное мое владение 800 душ крестьян, и от тех я отказалась, сказав, что я обращаться с крепостными людьми не умею, сельской экономии не понимаю и что вообще невольников не желаю у себя иметь. После сего второго ответа, не сказав мне бо-

лее ничего, прислал мне сей монарх 25 000 рублей и просил меня их принять, яко от должника родителя моего, у которого занимал великим князем не малозначительные суммы и не платя никогда процентов. Теперь, сделавшись государем, он чувствует себя обязанным отдать процентные деньги дочери сего почтенного мужа. Какая деликатность в сей монаршей милости! Это точная правда, что покойный родитель мой неоднократно ссудил деньгами сего государя, когда он был еще великим князем и когда всем запрещено было не делать ему доверия даже в пятидесяти рублях.

Кратковременное царствование сего монарха, сего отца народа своего, одушевленного искреннейшею любовью к верноподданным своим, какое чувство проницало все бытие его и какие рождало благие намерения!.. К несчастию, он их выполнить не мог, и те, которые ищут уязвить деяния сего монарха и вместе помрачить отравою клеветы благие его намерения, уподобляются сатане, старающемуся чем-нибудь запятнать непорочность ангела. Он, конечно, яко человек, имел свои слабости и погрешности, но и солнце не без пятен.

В царствование сего государя я истинно уподоблялась невидимке, то есть, я все свои деяния и поступки так располагала, что все мне можно было знать, замечать, даже и предвидеть, не быв сама ни в чем замечена или подозреваема, но оставлена совершенно без дальнего внимания, тем наипаче, что должность моя при императрице оставалась неизвестною, и что только об ней один Безбородко знал, от коего я и в начале царствования Павла Первого много получила сведений касательно политических оборотов и ненадежных средств, предпринятых сим государем для благополучного его царствования.

1806 года, блаженной памяти государь император Александр Павлович, однажды, увидя меня проезжающей верхом мимо Каменного острова и того дворца, в котором он

имел свое пребывание, спросил бывшего тогда при нем графа Толстого, обер-гофмаршала своего: не знает ли он, кто эта дама и где она живет?

— Не знаю, — отвечал сей, — но вижу ее часто в саду графа Строганова.

— Так, пожалуйста, граф, — сказал государь, — узнай о ней и где она живет.

На другой же день поутру, увидела я Толстого проезжающего верхом мимо того дома, в котором я жила, на даче графа Головина, купленной государем Александром, которая находится по ту сторону Черной речки, за Строгановским садом. Толстой поклонился мне с великим уважением, чему я немало удивилась, ибо, встречаясь до сего со мною, глядел он мне только в глаза. На другой день проезжал он опять мимо моей квартиры, но уже с государем, который мне наиблагосклоннейше поклонился. Сие заставило меня обратить на сию странность внимание свое. «Что бы это значило?» — думала я. Знаю, что наш пол заслуживает особенное монаршеское благоволение, но мне уже 34 года, и, следовательно, здесь что-нибудь да другое кроется. Итак, решилась я выждать конца сей странности. Неделя проходит, и ежедневно в одиннадцать часов, пред обедом, государь, тогда уже один, проезжал мимо, и все то же и одно приветствие с его стороны, так что все соседи начали удивляться частой езде государя по той даче, где пред сим его не видали, и тому, что он только с лорнеткой своей устремлял взоры свои на мои окошки. Начали уже и поговаривать и, видя меня, хотя и прежде довольно знали и видали, но уже тогда все глядели на меня с некоторым видом удивления и стремились к окнам своим, когда я мимо шла или ехала: точно так, как (впоследствии?) глупая калужская публика (?) удивлялась моему костюму. Однако ж удивление соседей моих было для меня крайне оскорбительным, ибо я отнюдь не искала того, что многие из моего пола с толиким стремлением искали, и тогда реши-

лась спустить сторы и не поднимать их до проезда государя. Это я соблюла целую неделю, и император перестал ездить мимо моих окон, а когда случалось ему ехать мимо, то не глядел на них, а обратил уже внимание свое на немку, купчиху Бахарахтову, которая жила, не доезжая моей квартиры, и лучше успел. Однажды в июле месяце, когда я сидела на лавке в саду Строганова и занималась чтением Монтескье (книга, содержащая рассуждения о нравах и законах, словом — книга государственная), то граф Толстой, которого я не подозревала быть столь близко меня, стоял уже несколько минут за мною. Увидав его, я встала с своего места и удалилась от него, показав ему вид недовольный. В течение того же месяца случилась мне необходимая надобность по делу моему прибегнуть к правосудию монарха, почему я писала к нему и между прочим открыла я ему, сколь много была я облагодетельствована августейшею бабкою его и чем я при ней втайне занималась. И так объяснившись ему во всем том, в чем только можно было, не упустила я также тронуть некоторые предварительные струны, касающиеся до благоразумного правления и тех осторожностей, которых оно требует. Звук струн сих понравился тогда сему монарху, что я по тому заключаю, что уже на третий день, по тогдашнему моему прошению, пожаловал ко мне от имени государя граф Толстой с следующим ответом: что государь соизволил рассмотреть мое прошение, по которому я непременно удовлетворена буду, но, между тем, усмотря из оного и великую мою способность быть ему столь же полезной, как я была в бозе почивающей любезнейшей бабке его, то предлагает мне ту же самую должность и на том же самом положении, что, впрочем, будет уметь достойно изъявлять мне свою монаршую признательность. Я дала на сие следующий ответ:

— Служить внуку столь великой монархини, какова была императрица Екатерина Вторая, и монарху, который сам по себе может служить образцом прочим европейским госу-

дарям, считаю для себя не только величайшею честью, но и священнейшей обязанностью, но, между тем, граф, к великому моему сожалению, должна я от сего счастия отказаться. Десять лет сряду ничем не занимаясь, как одними своими частными делами, и отстав совершенно от политических занятий, то смею ли я теперь приняться за них, когда мне должно будет долго ходить во мраке лабиринта их, ибо не найду более того покровителя, которого я имела в покойном князе Безбородко и коего советами была я руководима. Тогда же была я еще молода, не знала никакой опасности и не встречала никаких порогов, о кои могла разбиться, ибо твердо надеялась и на великую милость и снисходительность императрицы Екатерины Второй. Но теперь, граф, мне тридцать четыре года от рождения моего...

— Невозможно, — вскричал Толстой, как сумасшедший, вскочил даже со своего места, пристально глядел на меня и потом сказал, — разве двадцать два, а много двадцать три года; вы изволите меня дурачить; кто поверит, чтобы тридцатичетырехлетняя девица могла быть столь свежа, нежна и так хороша?

— Благодарю вас, граф, за сие притворное наступление, но позвольте вас спросить: учились ли вы арифметике хотя до вычитания — десяти из двадцати пяти, остается, кажется, пятнадцать; так кто тому поверит, чтоб премудрая Екатерина могла когда-нибудь возложить такую должность, какую я несла, на пятнадцатилетнюю девицу? Но позвольте кончить нужнейшее и вам дать заприметить, что женщина тридцати четырех лет имеет уже довольно степенности в характере, чтобы о всем судить в настоящем виде и, следственно, предвидеть все могущие для нее встретиться разные неудобства и опасности. К тому же я должна и в том признаться, что, прожив десять лет на свете только простой зрительницей и занимаясь разными отвлеченными науками, то от неумеренного напряжения умственных способностей иступились они у меня так, что от сего ум мой ныне находится как бы в некото-

ром онемении; почему и ни к чему более себя способной не чувствую, как продолжать дни жизни моей в покое.

Толстой не взял на себя пересказать этот ответ государю и попросил собственноручного письма, которым император оскорбился, как «отговорками, кои показывают явственно мое нежелание быть ему полезною, для того только, как он мог понять из моих слов, что я опасаюсь вручить ему судьбу мою. Однако же он просит меня не обижать его такою недоверчивостью, а лучше прежде испытать его справедливость. Он тогда надеется, что я останусь ею довольною и удостоверюсь, что я в своем мнении о нем крайне ошибалась».

— Да будет воля его святая, — отвечала я графу, — я ей безмолвно повинуюсь.

— Итак, вы согласны?

— Видя на то желание монарха моего, не могу иначе принять оного, как за повеление, против которого сметь упорствовать было бы очень неблагоразумно с моей стороны, но позвольте вас спросить, кому будет поручено получать от меня для государя надлежащие бумаги?

— Мне, мне, божество мое!

Тут осталась я безмолвною и, глядя с удивлением на сего дурака, думала про себя: признаться, что сей выбор не обещает мне ничего доброго.

— Чему вы удивляетесь и безмолвствуете? — сказал сей Дон Кихот (?).

— Что в ваших летах, граф, и быв семейным человеком, вы употребляете столь неприличные выражения.

— Да разве вы ими обиделись?

— Признаюсь, что мало читала романов, почему для меня романический тон крайне не нравится.

Тогда сей старый волокита, нахмурив брови, встал и простился со мною очень сухо.

Не видя у себя целый месяц сего графа, думала я, что все кончилось, и сему внутренне радовалась, ибо крайне не хо-

телось мне заниматься государственными делами. Дело мое у государя молчало, и я думала, что, верно, я уже и забыта, так как мне теперь о себе напомнить государю? В сентябре месяце оставила я дачу, а в ноябре решилась я написать графу, чтобы, по крайней мере, от него узнать, чего мне надеяться по делу своему. Граф дал в ответ, что он болен и не может ни быть у меня, ни письменно мне отвечать, а ежели мне угодно пожаловать назавтра к нему в 12 часов пред обедом, то может меня принять. Долго колебалась я, ехать ли мне к сей сатире, или нет, и сколько мне сие ни неприятно было, но необходимость есть жестокий и всемогущий властелин! Итак, решилась к нему ехать. При входе моем к нему, и только что успела я сесть, первый его вопрос был:

— Что вы по сие время делали, что еще не доставили ко мне ни единой бумаги, занимались только своим делом? Или думаете шутить с государем?

Признаюсь, что, хотя мне тогда и 34 года было, но, не обыкши к такому приветствию, кровь у меня взволновалась, и я, приняв на себя важный вид, с гордостью ему отвечала:

— А вы, милостивый государь, вы где были и что делали? Играли шута или волокитствовали? Разве вам государем не приказано являться ко мне еженедельно и из собственных моих рук получать все бумаги? Жалею очень, что сделала честь моим посещением такому человеку, который умеет только обращаться с придворною прислугой. Прощайте, господин Кострюлькин! Я вас более знать не хочу.

Оставя сего пустого человека в изумлении, возвратилась я домой и написала письмо к государю следующего содержания: «Всеподданнейше приношу Вашему Императорскому Величеству мою нижайшую благодарность за оказанную мне честь и доверие, поручая мне столь значительную должность, от которой я решительно отказываюсь, если Вашему Императорскому Величеству не заблагорассудится поручить другой осо-

бе, кроме вашего обер-гофмаршала, получать из рук моих известные Вашему Императорскому Величеству бумаги, который, как я сегодня удостоверилась в прежнем моем о нем мнении, что его понятие не может далее простираться его обер-гофмаршальской должности двора Вашего Императорского Величества». И тут рассказала я все, что между нами произошло с первого же свидания со мною по сей день. Государь с великим негодованием показал мое письмо Толстому и сказал ему: «Что вы делаете, граф? Разве вы не понимаете, кого вы перед собою имеете? Да кто так обращается с благовоспитанной дамой?»

Спустя после сего несколько времени, явился ко мне Александр Николаевич Голицын, служащий тогда по духовной части прокурором в Святейшем Синоде. Сей князь сказал мне, что его императорское величество, вследствие содержания письма моего, соблаговолил назначить его вместо графа Толстого и повелел спросить меня, когда и сколько раз в неделю являться ему, князю Голицыну, ко мне.

— Два раза, — отвечала я ему, — в среду и в субботу прошу вас навещать меня.

Государь повелел сему князю 1807 года, когда поехал заграницу, все им от меня полученные конверты отправлять к его императорскому величеству с особенным эстафетом. Следственно, кто из сего не заключит, что государь находил труды мои полезными? И сам князь в разговоре со мною сказал мне, что государь крайне жалеет, что я не родилась мужчиною, а читая однажды одну из моих бумаг князю, с восхищением сказал, что ничего не может лучше доказать непременную пользу государству.

Когда в 1807 году, еще до отъезда государя, в марте месяце кончила жизнь родительница моя, то государь, узнав о сем, прислал ко мне нарочно князя Голицына с изъявлением царского его соболезнования о сем печальном событии...»

На этом сообщении обрывается фактическая часть рукописи, целиком изложенная по-русски. Затем следует заключение, напол-

ненное фаталистическими жалобами на судьбу и «несчастную звезду», и русские стихи, довольно нескладные, без размера, не представляющее по содержанию своему ничего замечательного.

По-французски автор пишет гораздо лучше: красивым слогом и точнее выражаясь. В русской части постоянно чувствуется, что мемуаристка думает по-французски и, переводя свои мысли, путается отчасти в галлицизмах, отчасти в тяжелой риторике докарамзинского книжного языка, чем и затемняет смысл речи.

Французская часть рукописи, отрывок из которой приведен выше в переводе, содержит в себе автохарактеристику, написанную очень страстно, и краткое описание, как росла и воспитывалась «таинственная незнакомка». Пяти лет она уже умела читать настолько хорошо, что ее чтение вслух доставляло удовольствие семье. Семи лет она читает Плутарха, увлекается образами Агезилая, Брута, Аристида.

«Царских детей не холят с большим вниманием, чем холили меня. Меня боготворили все окружающие, но, что всего реже, хотя я и была любимицей в семье, однако меня не баловали. Впрочем, могла ли я сделаться злою, если пред моими глазами не было других примеров, кроме примеров кротости, если кругом меня все были лучшие и честнейшие люди.

Когда я вступила в жизнь, главными чертами моими были: гордое сердце и непреклонный характер, но опыт, годы и невзгоды смягчили мою римскую строптивость и сделали меня разумным человеком. Мое воспитание было скромно и целомудренно. Меня окружали лица не только примерной мудрости, но и такой сдержанности, какой давно не знают более женщины всех сословий. Мужчины в то время никогда не говорили при женщинах ничего такого, отчего бы целомудренная девушка могла покраснеть; всякий в ту пору остерегался нарушить уважение к детскому возрасту».

Жилось автору нехорошо: по-видимому, ее не любили; врагов она имела множество; а вышеприведенные эпизоды с Тол-

стым и Барятинским указывают и причину этого — сварливый характер, способный на вспышки из-за пустяков. Несогласная с женскою природою должность, которую таинственная незнакомка несла при дворе Екатерины II и Александра I, все-таки смущала ее втайне и вызывала к самооправданию. Кажется, именно такой смысл надо придать строкам следующей страстной тирады, написанной в подражание и в почти тождественное повторение аналогичной тирады в «Confessions» * Ж.Ж. Руссо.

«Я женщина вполне, какою создала ее природа. Хорошо или дурно поступила природа, разбив форму, в которую я вылита, предоставляю судить об этом другим; что касается меня лично, я знаю свое сердце, знаю свет и, если я не лучше тех, кто живет на свете, то, по крайней мере, я не такая, как они.

Греми, труба последнего суда, когда тебе угодно! Я предстану пред Вышним Судьей с моею рукописью в руках. Я громко скажу Ему: «Вот мои дела, вот мои мысли; вот чем я была. Я рассказала одинаково откровенно и дурное, и хорошее. Я не сказала ничего дурного, не прибавила ничего в свою пользу. Я всегда казалась такою, как была. Я открыла себя такою, как Ты, Дух Вечный, Сам меня видел. Собери вокруг меня несчетную толпу мне подобных, пусть каждый из них откроет свое сердце у подножия Твоего Престола с тою же искренностью, и пусть хоть один Тебе скажет, если он посмеет: «Я был лучше этой женщины» **.

---

* «Исповедь» (*фр.*).

** Je suis une femme dans toute la vérité de la nature. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont je lalsse à juger aux autres: pour moi je sens mon coeur, je connais le monde et si je ne vaux pas mieux que ceux qui l'habitent, au moins je suis autre. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra: je viendrai avec mon manuscrit à la main me présenter devant le Souverain Juge. Je dirai hautement: voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien dit de mauvais, rien ajouté de bon. Je me suis toujours montrée telle que je fus. J'ai devoilé mon interieur tel que tu l'as vu Toi-meme, Etre Eternel. Rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables:que chacun d'eux découvre à son tour son coeur au pied de Ton trône avec la même sincèrité et qu'un seul Te dise, s'il l'ôse: «Je fus meilleur que cet te femme là».

После этой эффектной тирады унылым диссонансом звучат искренние строки, в которых незнакомка излагает свой скромный идеал действительности: «Теперь я уже не мечтаю о другом счастье, кроме как был бы у меня определенный доход, которого хватало бы на жизнь!

Я так люблю свободу и ненавижу стеснения, неудовольствия и необходимость отказывать себе в нужном!»

1895

ПРАБАБУШКА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

I

Софья Николаевна Багрова (то есть Марья Николаевна Аксакова) — одно из замечательнейших женских лиц в портретной галерее русской литературы. Несомненно, что значительность портрета отчасти обусловливается мастерскою кистью первоклассного художника, который написал его. Но отличительным свойством этого художника было совершенное неумение творчески лгать. Лучший и внимательнейший, до Чехова, наблюдатель русской дробной природы и мелочей текущей действительной жизни, С.Т. Аксаков был лишен дара литературной выдумки. И, что удивительно, — только литературной. Безмерно восторженный и сантиментальный в жизни, он скорее склонен был к идеалистическим преувеличениям, за что и бывал неоднократно одергиваем, хотя бы, например, Гоголем. «Самому выдумать человека, да с ним и носиться» (Достоевский) было в высшей степени свойственно Сергею Тимофеевичу. Но, когда он брался за перо, стихия чисто реалистического таланта его оказывалась сильнее предвзятых намерений, и, благодаря беспощадной невольной правде изображения, картины Аксакова часто достигают впечатлений,

совершенно обратных тем, которые рассчитывал вызвать умиленный автор, когда садился писать.

Таковы все, без изъятия, положительные лица «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука». Я думаю, что, перечитывая свои произведения, сам С.Т. Аксаков должен был рассматривать созданную им галерею предков не без изумления и конфуза. Хотел человек написать эпическую поэму, а вышел исторический памфлет; думал нарисовать бытового героя — получилось страшное пугало. И всегда, везде, все — неопровержимо ясно, доказательно, понятно, неумолимо выпукло и ярко. Обличение — грознее фотографии, потому что она допускает прикрасы ретуши, а когда Аксаков делал робкие попытки примирительно ретушировать портреты свои, чудища становились, именно в контрасте извинений художника, еще безобразнее и злее. Когда перечитываешь «Семейную хронику» взрослым человеком, начинаешь чувствовать себя в обстановке совершенно противоестественного литературного смешения: идиллия — на фоне пошлого шабаша полузверей-недолюдков, сентиментализм Руссо, Стерна и Карамзина, разыгрываемый под аккомпанемент воя, визга и скрежетов, достойных привидений из «Вия». И видишь, что автор в противоестественности этой нисколько не виноват. Напротив: и рад бы ее скрасить, да нельзя. Такова правда. Такова жизнь. Если хорошо вдуматься в эту «Семейную хронику», то общественное изобличение — не обличение, а именно изобличение — этой книги, сразу по выходе своем в свет поставленной на полки детских библиотек, равносильно фонвизинскому «Недорослю» и грознее щедринской «Пошехонской старины». В ней нет мрачного анекдота, зато вся она страшна и мрачна, сама того не подозревая, как роковая общность отшедшей эпохи жестоких нравов.

Но главная особенность автора «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука» заключается в том, что он не только рассказчик о привидениях и бытописатель отжи-

того мира, кончившего свое существование приблизительно лет за сорок до того, как он взялся за перо, — нет, Аксаков был сам привидение, сам человек XVIII века. Мировоззрение и привычки мысли, вынесенные им из детства, властвовали над огромным талантом его и в глубокой старости. Поэтому в неожиданно отрицательных результатах его творчества самые любопытные — те, которых отрицательности он сам не замечает, и уже не только не пытается ретушировать их, но, наоборот, с гордостью поворачивает их перед читателем как раз такими сторонами, которые заставляют нас брезгливо морщиться или насмешливо улыбаться. Многое, что в то «доброе старое время» представлялось людям явлением передовым, гуманным, положительным, нам, сто лет спустя, настолько странно и чуждо, что иногда с изумлением ловишь себя на том, как сочувствие твое оказывается не на стороне этого, по тогдашнему передового, гуманного и положительного, а на стороне полудикого быта, который оно разрушало.

Такими недоумениями сопровождается почти каждое появление на сцену «Семейной хроники» Софьи Николаевны Багровой. Аксаков обожал свою мать и создал ей двумя главными книгами своими настоящий апофеоз. Но уже дети его в обожествленную бабушку плохо верили. Иван Аксаков прямо говорит, что «Софьи Николаевны» он уже не знавал, а помнит только капризную, сердитую, с дурным характером, старуху, которая до конца жизни презирала своего мужа, как совершенное ничтожество, и также до конца жизни безумно его ревновала.

Когда человек европейской культуры попадает в дикие страны, то наряду с большинством туземцев, которое желает пришельца убить, ограбить или даже съесть, он почти всегда находит меньшинство, которое принимает его за живого бога или пророка божия и порабощается ему слепо и беззаветно. Софья Николаевна Зубина, то есть Марья

Николаевна Зубова, вошла в семью Багровых, то есть Аксаковых, именно на положении Ливингстона или Стэнли среди народов Центральной Африки. Мужа ее, отца своего, Аксаков изображает полудиким недорослем, которого от Митрофанушки Простакова отличает только сердечная доброта и расплывчатая мягкость характера. Уровень же образования, вкусы, нравы, привычки, мечты — те же. А сама Софья Николаевна — живая Софья из «Недоросля», только вышедшая не за образованного офицера Милона, а этак, приблизительно, за господина Простакова в юности, и очутившаяся через него в неразрывной пожизненной связи с роднею и средою, в которой душа общества — Тарас Скотинин, предел образования — Вральман, Цыфиркин и Кутейкин, пример женственности — г-жа Простакова, — и все это — на крепостном фоне нескольких сот забитых Тришек и одуревшей от господского страха деревни — Еремеевны.

Дедушка Степан Михайлович Багров — не Скотинин по натуре, но культурный его уровень — скотининский. При всем своем природном рыцарстве он дик, как тоже весьма рыцарственные индейцы Купера, и даже более их, потому что вожди могиканов и делаваров не отравлены сладостью крепостного раболепства, а в жилах Степана Михайловича яд этот кипит постоянно и неукротимо. Его великодушия напоминают медведя, который не ест мертвого тела. В своих благородных негодованиях он свиреп до таких отвратительных крайностей, что у внука язык не поворачивается — рассказать, рука не поднимается — описать. И это — лучший человек «Семейной хроники». Женщины дома Багровых — все, не исключая бабушки Арины Васильевны, — чудища совсем уже без всяких смягчений, точно их Фонвизин родил. Натурные дикарки, развращенные всеми мерзостями воспитания в крепостничестве — с неограниченною властью над людьми и без тени образования. В дружбе они — льстивые рабыни, в любви — трепещущие самки, во вражде — свирепые

волчицы, подлые, мелочно-злобные, предательницы, лишенные какой бы то ни было разборчивости в выборе средств, только бы насолить своим недругам. Одна из этих госпож — сестра молодого Багрова — преспокойно уложила невестку свою ночевать в спальне, обитаемой десятками крыс, и потом, когда ей выговаривали за неприличие ее поступка, только смеялась и возражала:

— Жаль, что крысы дорогой гостье носа не откусили.

На таком фоне «книжница» Софья Николаевна, — конечно, белая голубка в стае черных воронов. Но, когда вчитываешься в «Семейную хронику», то мало-помалу теряешься в недоумении: какими же судьбами и зачем, собственно, белую голубку в стаю черных воронов занесло? Известно, что Софья Николаевна вышла замуж за Алексея Степановича Багрова вопреки воле его родителей и своего собственного отца, а также — совершенно откровенно — без всякой любви и уважения к простоватому жениху. Аксаков усердно ходил кругом и около психологической загадки этого неравного брака, несуразностью своею, как видно, и его смущавшего, но сыновняя почтительность требовала от него решения только с высшими соображениями и изящными мотивами, а такую разгадку, как ни верти, пригнать оказалось невозможно. Признать же, что права была багровская «пошлость», вопиявшая устами золовок и свекрови, будто «Зубиха», внучка простого уральского казака и дочь купчихи, девица без всякого состояния, но с властнейшим характером и привычкою повелевать, нашла себе истинный супружеский клад в красавце-женихе, столбовом дворянине старинного рода, вероятном наследнике богатейших Куролесовских имений, смирном, как теленок, и влюбленном, как кот, — такую «низкую истину» признать и поставить ее на место «нас возвышающего обмана» не хватило мужества даже в великом реализме С.Т. Аксакова. А, может быть, не только мужества, но и сознания.

Для множества восторженных идолопоклонников легче вообразить идеал свой чудовищем, чем — мещанкою. Обидно сознавать, что кумир твой, при всех своих прелестях и совершенствах, представляет собою в жизни все-таки нечто вроде огромного двуногого муравья, который обрящил себе дойную травяную тлю и неотрывно к ней присосался до конца дней своих. «Тяжел первый шаг к неуважению будущего своего супруга и к осуществлению мысли повелевать им по произволу», — так, проговариваясь, характеризует Аксаков отношения невесты Зубиной к жениху Багрову. Тридцать лет спустя после этого предумышленного практического брака с заведомым неуважением к жениху, другая знаменитая русская литературная Софья предпочла умному и талантливому Чацкому умеренного и аккуратного Молчалина совершенно по тем же соображениям: красивый, смирный раб.

Было такое время на Руси, что свободу и, следовательно, сравнительное счастье женщин с сильным характером мог доставить в браке только «муж-мальчик, муж-слуга». Изучая общество русское конца XVIII и начала XIX века, «до француза», почти не видишь в нем браков, отличенных умственным и нравственным равенством супругов. Все маломальски выдающиеся женщины, как на подбор, либо очень несчастны замужем за крупными самодурами, все равно — первобытными или полированными, — либо забрали под башмак «мужа-мальчика, мужа-слугу», который пред дражайшею половиною пикнуть не смеет *. С точки зрения современной этики подобные пары, не одухотворенные любовью взаимопонимания, представляются довольно циническими союзами по грубому материальному расчету. Соединение развитой, умной, талантливой девушки с мужчиною, стоящим на низшем уровне интеллекта, в наше время рассматривает-

* См. мое «Женское нестроение» (3-е издание).

ся, если оно добровольно, как редкая, труднообъяснимая психологически, а часто и начисто физиологическая аномалия любви. Вопрос полового подчинения женщины подобному союзу возмущает век, выработавший буржуазным прогрессом интеллигенцию, как аристократию умственного подбора. Однако мы знаем, что Софья Николаевна в браке не только любила своего мужа, но и безумно его ревновала. Чувства — на наш взгляд — малосогласные с презрением, которое она к нему питала. Но на рубеже XVIII и XIX веков пол, хотя не был так криклив, как в устах декадентов на пороге веков XIX и XX, зато заявлял свои притязания с несравненно более спокойною откровенностью и твердою уверенностью в своей правоте. Ведь это был век Версаля и Екатерины. Когда одну из самых блестящих женщин этой эпохи спросили: зачем она избрала себе в любовники красивого дурака? — она возразила: «Господа, в той науке, единственно которая мне от него нужна, он сильнее всех философов в мире». А другая отвергла любовь Руссо, дав ему на прощанье ласковый совет заниматься математикой и не мечтать о женской взаимности: «Studiate la matematica e lasciate la donne! *»

Выйдя замуж за Алексея Багрова, Софья Николаевна очутилась в отношениях, щекотливую трудность которых в наши дни переживает интеллигент, смущенный бесом жениться на красивой горничной или — частый брак южных губерний — на работнице с экономии. Любится и — совестно любить. Угрызения половой совести вызывают желание развить половину свою или, как говорится, поднять ее до себя, то есть — сделать ее на себя похожею. Обыкновенно такие попытки кончаются большим крахом семьи — если не внешним и явным, то внутренним и тайным. Зависят эти крушения главным образом от того, что развивающая сторона понимает процесс развития не в том, чтобы сторона развива-

* «Изучайте математику и оставьте женщин!» (*ит.*)

емая воспринимала новую культуру и наслояла на себя черты познания новой жизни, но в том, чтобы она отказалась от прежнего существа своего, с корнем вырвала из себя все былые свойства, не разбирая, дурные они были или хорошие.

Тот же процесс развивания и такой же провал его наблюдаем мы в браке Софьи Николаевны по тем же самым причинам. Она — «книжница», он — натурный деревенский человек, «неотшлифованный, ни к чему не ученый». Российский интеллигентный сантиментализм сто лет тому назад только и делал, кажется, что говорил и писал о природе, но — лишь в книге. И сам-то Руссо был в высшей степени книжный человек, с умозрительным представлением о природе сквозь стекла рабочей своей мансарды, а уж русские-то ученики его, проповедуя возвращение к натуре, обязательно воображали натуру эту чем-то вроде благоустроенного английского, а то даже и итальянского сада, и отнюдь не соглашались, что натура — это Оренбургская или Уфимская губерния. Красноречивая корреспондентка Новикова, «уфимская Венера или Минерва», Софья Николаевна прямо поражает читателя откровенною предубежденною ненавистью к природе, ее окружающей. В течение многих лет жизнь ее — сплошная борьба с природою, сперва за мужа, потом за сына. О положительной работе Софьи Николаевны по перевоспитанию своего супруга Аксаков упоминает раза два мельком и неопределенными намеками. Уже эта мутность указаний свидетельствует, что ни большого старания, ни значительных успехов в этом направлении явлено не было. Да и результаты известны: Алексей Багров остался полуграмотным невеждою до конца жизни своей. Но зато и «Семейная хроника», и «Детские годы» полны рассказами о том, как Софья Николаевна — разговором, книгою, наконец, просто ревнивою властностью, воспитательною тиранией цепкой жены и страстной матери — становится между семьею своею и непосредствен-

ным общением с природою. У этой типической первоинтеллигентки, вышедшей из недр городской бюрократии, не было «родных лип», и она решительно не понимала их обаяния. По приезде в деревню к старикам Багровым, муж повел молодую жену показать ей любимые места свои, в которых он игрывал в детстве. «Алексей Степаныч... еще не привыкший к счастью быть мужем обожаемой женщины, был как-то неприятно изумлен, что Софья Николаевна не восхищалась ни рощей, ни островом, даже мало обратила на них внимание, и... поспешила заговорить с мужем о его семействе», то есть принялась бранить его сестер. И когда, обаянный чарами природы, муж оказался маловнимательным слушателем, супруга устроила ему жесточайшую сцену. А затем и пошло, и пошло. «Несмотря на необыкновенный ум, она не могла понять, как мог человек, страстно ее любящий, любить в то же время свое сырое Багрово... как мог он заглядываться на скучную степь с глупыми куликами, и, наконец, как он мог по нескольку часов не видать своей жены, занимаясь противной удочкой и лещами, от которых воняло отвратительной сыростью... Когда Алексей Степаныч спешил делиться с нею сладкими впечатлениями природы и охоты, она почти обижалась». Вольтер, определявший удочку, как палку, к которой с одного конца привязан червяк, а с другого дурак, был бы очень доволен Софьей Николаевною, но Руссо пришлось бы сконфузиться за свою последовательницу. Это уж такая роковая судьба русской интеллигенции в ее прошлом, настоящем, да, вероятно, и будущем: ее мечта принадлежит Руссо, ее действительное желание принадлежит Вольтеру, — и, когда в мирок ее врывается живой пример из Руссо, мещанство Вольтеровой культуры ревниво щетинится, завидев исконного и несовместимого врага.

В «Детских годах Багрова-внука» мы застаем Софью Николаевну уже победительницею. Она отбила мужа у природы.

Удит он лишь контрабандою либо с неохотного и редкого позволения. «Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторою досадою: «Ну как мне по утру?» — «Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали». Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел». Отвязать Вольтерова дурака от удочки возможно, но тогда ведь дурак остается с глазу на глаз с супругою, — и, притом, какой дурак! Лишенный всех придатков, которые окружали хоть сколько-нибудь поэтическим светом его животную красоту: «ничтожество»(!) Софья Николаевна не заметила, как, лишая мужа его связей с вещими силами природы, она ограбила самое себя. В роще с ружьем, на реке с удочкою, в беседе с мужиком, на заимке, на косьбе муж ее поэтичен, красив, толков, даже умен. А к ней он приходит индейцем в сюртуке, неловкий, запуганный, скучный, бестолковый. Затем: сегодня — школа, завтра — дисциплина, послезавтра — дрессировка; это запретно, того нельзя, о сем доложи, об оном спросись, — это же не супружеская жизнь, а какие-то арестантские роты! И вот, сколь ни боготворит «муж-мальчик, муж-слуга» свою прекрасную и премудрую повелительницу, а, в конце концов, инстинкт начинает тянуть его к какому-нибудь, если не счастью, то развлечению попроще, — где сердцу есть простор воли и тихого отдыха.

Уже упомянуто, что к старости Софья Николаевна сделалась жестоко ревнива. Недуг этот, по-видимому, начал развиваться в ней очень рано. «В продолжение всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы и особенно над моим отцом, который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. Я подумал, что мать ни за что меня не отпустит, и так, только для пробы, спросил весьма нетвердым голосом: «Не позволите ли вы, маменька, и мне поехать за груздями?» К удивлению моему, мать

сейчас согласилась и выразительным голосом сказала мне: «Только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставал от отца, а то, пожалуй, как займутся груздями, то тебя потеряют...» Отец несколько смутился и, как мне показалось, даже покраснел». Секрет позволения — тот, что в рощу, кроме господ, двинулась вся девичья, и, в числе ее, белая, румяная песенница Матрена. Высоконравственная и интеллигентная Софья Николаевна просто приставила в лице сына к мужу сторожа, чтобы полудикий барин не шалил. Из описаний Аксакова не видно, чтобы опасения эти имели какие-либо основания, в роще не происходит ничего предосудительного, а только поют превосходные русские песни, которые приводят впечатлительного мальчика в восторг. Он спрашивает: «Почему вы никогда не поете в деревне?» Матрена отвечает: «Маменька ваша не любит наших песен». И — когда Сережа, возвратясь из леса, рассказал матери, как чудно пели, Софья Николаевна ревниво надулась.

Эта ненависть к натурной народной песне — нарядному голосу пола — необыкновенно выразительна и типична. Инстинкт женщины, сознавшей свой брачный союз ошибочною аномалией, ревниво восставал против всех средств и сближений естественного полового подбора, которого заглушенный голос рано или поздно должен был заговорить в молодом Багрове и потянуть его, как равного к равным, к женщинам одной с ним бытовой породы, одинаковых настроений, образовательного и нравственного уровня. Природа, выгнанная в дверь, стучалась в окно. И вот мало-помалу вся супружеская жизнь Софьи Николаевны свелась к одной цели — держать опасное окно назаперти. Она не сумела стать в жизни мужа университетом, так сделалась управой благочиния. Совершенно — как в жизни русского народа интеллигентная, дипломированная бюрократия! Права и правила собственницы и ревность блюстительницы благочиния подменили и заместили в бед-

ной «книжнице» естественную мораль, в которую она теоретически веровала и которую педагогически проповедывала. Заместили так вкрадчиво и властно, с такими логическими самообманами в извиняющей мотивировке и с такою полнотою, что несчастная Софья Николаевна даже и не замечает уже, какой отвратительный и безнравственный поступок совершает сама она, делая любимого сына шпионом за отцом — да еще с риском для мальчика в возрасте десяти лет уже ознакомиться с какою-либо соблазнительною сценою.

II

Гимназические годы Багрова-внука, то есть С.Т. Аксакова, любопытны для потомства как одна из первых встреч русской семьи с казенною школою, которою государство, после тридцати пяти лет екатерининской заискивающей льготы, пыталось дисциплинировать наиболее фаворитное свое дворянство, с тем чтобы переработать его в постоянный материал для бюрократии, привилегированной образовательным цензом и прикрепленной к интересам самодержавного правительства.

Нельзя не сознаться, что памятник встречи этой, враждебной с первого же момента, говорит не в пользу семьи. В противоположность нынешним временам, государство, по культурному уровню, стояло выше общества. Восемнадцатый век оставил нам в мемуарах и сатирической литературе довольно картин домашнего воспитания. Все они, начиная с пресловутого Митрофана Простакова, чрезвычайно печальны: невежественные родители, невежественные педагоги, рабы-дядьки, потатчицы-няньки и полудикие дети. Но детство Багрова-внука протекло под надзором интеллигентной матери и в самых счастливых, казалось бы,

для ребенка условиях, смешавших прекрасные обаяния природы с неусыпным влиянием образованного ума. Однако положительное изображение Аксакова настолько мало разнится от отрицательных карикатур Фонвизина и др., что можно с уверенностью сказать: если бы Багров-внук не попал в казенную гимназию, то, под опекою чуть не гениальной Софьи Николаевны, вырос бы точно такой же Митрофан, как и под крылышком тиранки и скалдырницы, госпожи Простаковой. Да еще, пожалуй, и хуже, потому что грубый Митрофан или наивный Алексей Багров, родитель Багрова-внука, по крайней мере, здоровые люди: цельная дикость и цельная непосредственность упрощенных, нетребовательных чувств. Конечно, «ведя свою блаженную жизнь подле матери», Сережа меньше гонял голубей, чем Митрофан Простаков, обучился читать «Ипокрену, или Утехи любословия», декламировал роли вестников из трагедий Сумарокова, прочел вслух для Софьи Николаевны много книг старше своего возраста и в течение всего двух месяцев успел подготовиться к вступлению в гимназию. Но — физически — эти преимущества отозвались на мальчике расстройством нервной системы, а морально — ужасом ко всему миру за пределами маминой юбки, к которой Сережа прицепился с такой неотрывностью, что три года потребовалось только на то, чтобы уговорами и стыжением отодрать его от этого благополучного убежища и перевести кое-как из детской в класс.

В первой части очерка я показал, как ревность интеллигентной «книжницы» боролась с природою за власть над мужем до тех пор, покуда не испортила супружеских отношений, обратив их в робкое мужское рабство под надзором женской инквизиции. Борьба эта распространялась и на сына — даже в еще большей мере и с тиранической властностью. Идет с первых дней сознания детского подмена природы книгою, живого впечатления — литературным воображением, непосредственного

чувства — отвлеченною чувствительностью и откровенно поощряемою сантиментальностью. Просится мальчик рыбу ловить, — мать гневается на мужа: «Как тебе не стыдно взманить ребенка? Он опять взволнуется, как на Деме». И — в то же самое время, как запрещает волноваться нормальною забавою, соприкасающею ребенка природе, ничуть не остерегается волновать его чтением книг не по возрасту и разговорами, превышающими детское понимание. Уже на десятом году жизни Сережа оказывается поверенным матери в области ее семейных и соседских отношений. «Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным, и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало». Мы уже видели, что дружба и доверенность эти заходили так далеко, что мать отправляла сына шпионить за отцом, не волочится ли тот за дворовыми девками. Поистине жалостно следить систематическую экзальтацию сантиментальности, которую Софья Николаевна сделала своею системою воспитания. Все, что наплывает в сына ее из недр природы, встречало в ней, «книжнице», бурную гневную соперницу. Она посылала ночью пугать соловьев, которыми заслушивался Сережа, и попрекала его: «Ты точно помешанный, ты забыл, что у тебя есть мать!» И начинались между десятилетним мальчиком и тридцатилетнею «умною» женщиною сантиментальные объяснения, которые в общежитии выразительно и справедливо называются «сценами». «По несчастию, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали». Одною из подобных сцен мать и сын жестоко перепугали

отца, который, видя их исступленные лица, подумал, что в доме стряслась беда. «Мать молчала; но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстраивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Софья Николаевна отвечала мужу градом оскорбительных упреков, из которых Сережа вынес впечатление, что «у моего отца мало чувства, что он не умеет любить так, как мы с маменькой любим». Аксаков признается, что несправедливость этого впечатления он понял — «увы! уже в зрелых летах». Между тем почти одновременно со «сценою» между ним и матерью Сережа был свидетелем сыновних же мучений, которые переживал его «холодный» отец, когда смертельная болезнь бабушки Арины Васильевны застала его вдали от родного Багрова, в гостях у богатой самодурки-родственницы, влюбленной в свою изящную невестку и потому задержавшей ее с мужем и детьми сверх обещанного срока. Переезд из Чурасова в Багрово — одна из самых драматических глав, написанных Аксаковым, — драматических по правде рассказа, а не по воле автора. Он ясно показывает, что тогда втайне стоял на стороне матери, которой очень не хотелось уезжать от богатой приятельницы к смертному одру нелюбимой свекрови, и поехала она, только скрепя сердце, выполняя неотложный долг. На отца же, тревожно волнующегося при бесчисленных дорожных препятствиях, замедляющих путь к умирающей матери, Сережа смотрит лишь «с любопытством». Софья Николаевна «принуждена была его (отца) уговаривать и успокаивать. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой, и что грешно роптать на них, потому что их посылает Бог». В том же духе утешает она мужа, когда старуха действительно умерла, не дождавшись своего первенца. Сопоставить эти два эпизода

чрезвычайно любопытно. Перед зрелищем истинного горя — холодное резонерство, «как и в книжках не пишут», в волнениях выдуманного страдания, вроде ревности к перепелкам и соловьям, — сантиментальная буря возгласов и слез.

«Подстрекая друг друга», взрослая сантименталистка и маленький сантименталист вырастили из обмена материнской и сыновней любви безумие привязанности, которая сделалась для обоих весьма серьезною помехою в жизни. Пребывание Сережи в гимназии — это ад материнства, и мучимого, и мучащего. Мир «человеков в футляре» тускло-жалок, бездушен, и лишняя родительская встряска ему никогда не мешает. Поэтому в столкновении матери, воюющей за сына, с педагогом наши симпатии почти всегда на стороне матери, за весьма редкими исключениями. Но каждая гимназия имеет, во множестве питомцев своих, двух-трех с нежными маменьками, являющимися столь колючим терном в педагогическом венце, что и смех и грех с ними. Не женщины, а головокружение, perpetuum mobile подозрительно-придирчивой любви и ревности, бестолкового самочьего метания вокруг детеныша своего, хаос недоверчивой ненависти и оскорбительнейшего инквизиционного контроля, враждебного до бешенства всему, что воспитательно соприкасается с их чадушком и в чем они не чувствуют самих себя. Этакою вот маменькою, — способною довести до умопомешательства самого хладнокровного директора, заставить классного наставника выпрыгнуть из окна, перевернуть вверх дном весь педагогический совет из-за первого же хныкания своего детища, не разбирая никаких причин, поводов и резонов, — оказалась для казанской гимназии Софья Николаевна Багрова. Война ее с главным надзирателем Камашевым и отчаянные путешествия из деревни на выручку к «преследуемому» сыну всем известны. Стал хрестоматическим подвиг ее материнской любви, как она, торопясь к Сереже в Казань, не побоялась перейти пешком готовую вскрыться Каму. Все это очень трогательно, особенно в описании, которому равно дава-

ли краски и огромный литературный талант, и жаркая сыновняя любовь. Но сквозь демократическую призму нашего века огромные подвиги и тяжкие труды Софьи Николаевны — действительно огромные и тяжкие, потому что совершались они женщиною нездоровою и с большими личными рисками, — представляются часто совершенно бесцельными и неосновательно, без настоятельной надобности предпринятыми. А, следовательно, не столько подвигами, сколько властными капризами женщины, избалованной беспрекословным повиновением и привычной вести свою житейскую линию безотказно, с храброю и уверенною решительностью и безапелляционным натиском.

Встретившись в директорской приемной, две матери — дикарка Простакова и книжница Софья Николаевна — оказались бы совершенно согласными между собою: у обеих — одно отношение к детищам своим, одна ненависть и ревность к школе, с которою приходится поделиться властью над сыном. Простакова, с прямолинейностью дикарки, просто отрицает «пользу наук». Интеллигентная Софья Николаевна этого сделать не в состоянии и колесит вокруг гимназической дисциплины окольными путями и этак, и так, стараясь надуть «пользу наук», чтобы влезла она в Сереженьку не в очередь со всеми, а как-нибудь польготнее, подомашнее. Она с первых же шагов сына в школе выучила его писать ей тайные доносы на гимназию, под видом сантиментальных писем с излияниями чувств, что, при посредстве одного угодливого педагога, не замедлило превратиться в плутовство двойной переписки. Честный мальчик своим умом дошел до понимания некрасивости такой корреспонденции и отказался от нее по доброй воле.

Гимназию Софья Николаевна перемутила за сына с таким же совершенством победительной интриги, как когда-то семью своего мужа, и сравнительно успокоилась только

тогда, когда успела создать для Сережи совершенно обособленное положение под ферулою и эгидою влиятельного педагога, пришедшегося ей идеями своими по мысли и по вкусу.

Между прочим: замечательно искусство этой женщины найти союз и поддержку в главной силе той среды, куда ее заносит судьба. В семье мужа ее главная опора — свекор, грозный дедушка Степан Михайлович, в ней души не чает всевластная Прасковья Ивановна Куролесова, в гимназии она отлично сходится с директором, врачами, влиятельными педагогами. Словом, ведет себя в жизни всегда, как европейский путешественник среди африканского племени: надо подружиться с царьком, задарить и всячески ублаготворить его, а затем — на средние и меньшие силы уже, что называется, наплевать.

Один из союзников, обретенных Софьею Николаевною в стане педагогических врагов своих, Г.И. Карташевский — человек одной породы с Софьей Николаевною, только без ее истерической взвинченности и пылкости: городской умник-книжник, весьма порядочный и весьма надменный своею бесспорною принадлежностью к умственной аристократии, в то время в России не весьма многочисленной. Существо узко-рассудочное и суховатое. «Холодная наружность, вследствие взгляда на воспитание, была принята за правило в обращении с молодым людьми». Настоящий типический человек начала XIX века, он весьма напоминает Сперанского, как этого последнего проникновенно вообразил и написал Л.Н. Толстой в «Войне и мире». Рассудочность, деловитость, порядочность, сдержанность, изредка аккуратное, чинное веселье со смехом чуть не по расписанию — от половины пятого до сорока пяти минут, строго программное чтение «образцов», — словом, идеальный бюрократ просвещения, не слишком крепостник, не слишком гуманист, отнюдь не свободомыслящий, однако и не ханжа. При уме — Сперанский, а не будь ума, так и Молчалин, по-

жалуй. Софья Николаевна увидала в Карташевском идеал человека, которого ей самой достигнуть помешали женская истеричность и деревенский брак. Как воспитатель, он сделался для нее непреложным авторитетом и могущественным союзником в основной домашней войне всей ее жизни — в борьбе с первобытностью. «Мать употребила все влияние своей любви на меня, чтобы я понял, какого человека судьба послала мне наставником. Она видела в этом особенную милость Божию». Но заметно, что дети не особенно долюбливали этого гениального педагога. Они, вероятно, инстинктом чувствовали, что он делает из них, может быть, и воспитанных, и образованных, но совершеннейших автоматов, да притом и не без педантства. Это — та дрессировка на раннюю рассудочность и взрослость, которой даже пятьдесят лет спустя послал проклятие Добролюбов:

Сил молодецких размахи широкие,
Я никогда вас не знал.
С детства усвоил уроки глубокие
Смиренно-мудрых начал...

Не помню этого стихотворения дальше целиком, и его нет в моем собрании сочинений Добролюбова, старом 1876 года, а нового взять в Италии неоткуда. Но звучат в памяти приблизительные стихи:

Все бы возиться мне с умною книжкою,
Взрослым смотреть бы в глаза,
Если ругнёт кто, бывало, мальчишкою,
Так и прохватит слеза.

Кто знает стихотворение в точном тексте, пусть поправит для себя, что неверно в цитате. Суть сейчас не в подробностях слов, а в полной идее. Как ни расписывает благодарный Аксаков своего ментора, постоянно прорываются

показания, что холодный педантизм Карташевского самодовольно граничил с деспотизмом, утомляя и надоедая страшно. Любопытно и глубоко поучительно следить, как живая натура инстинктивно боролась за свои права против напора дрессировки. Отнимут удочку, — хватается за ружье; запретят ружье, — бросается со страстностью на собирание бабочек; потом пришел театр и, наконец, литература. Природу опять гонят в дверь, она опять влетает в окно, а педагог, покуда не угомонится новая страсть, «во все эти дни почти не говорил со мною и смотрел на меня то сурово, то с обидным сожалением». В шестнадцать лет Аксаков начисто поссорился со своим наставником, и, если на стороне Телемака были формальные вины, то Ментор проявил черствейшее неумение или нежелание овладеть прекрасною юношескою душою, пылкою и покаянною. Аксаков прямо пишет, что ценить Карташевского он выучился много позже — после того, как этот замороженный мудрец перестал быть его наставником и превратился только в советчика.

И Софья Николаевна, и Карташевский были весьма передовые люди, и, однако, крепостное право, именно во дни их подвергшееся первым острым нападкам либеральной мысли (Радищев), ничуть их не смущало, и они не передали своему питомцу болезненного отвращения к рабовладельчеству. Известно эпическое спокойствие, с каким Аксаков повествовал не только о деспотических чудачествах доброго помещика, дедушки Степана Михайловича, но даже о безобразиях изверга Куролесова. Крепостником Аксаков, перевоспитавшийся под влиянием товарищества со своими сыновьями, с Константином в особенности, до старости не остался, но рос он и вырос умеренным крепостником, добрым помещиком, и молодость не дала ему ни привычки к негодованию против рабства, ни публицистической потребности в протесте. Отсюда и эпическое спокойствие его крепостных поэм. В некоторых местах воспоминаний рассыпаны намеки, как приходи-

ли в душу будущего «доброго помещика» хорошие чувства и мысли о трудящемся на него народе и сожаления о некоторых этого последнего тяготах. Но замечательно, что источниками таких наитий и озарений являются отнюдь не светила багровской культуры — не образованнейшая Софья Николаевна, не мудрец Карташевский, но либо простоватый Багров-отец, либо полудикая тетка, либо, наконец, дворовые люди. Мальчик попал впервые на косьбу и принял ее зрелище лишь эстетически, как чудный спектакль. Тетушка сочувственно выслушала его, «однако прибавила: «Да оно смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься». «Важность и святость» крестьянского земельного труда растолковал Сереже «удовлетворительно и подробно» отец. «Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками и т.д., — и мне стало совестно, стыдно, и решился я просить отца и мать, чтобы меня заставили работать». Мать осмеяла бедного Сережу: «Выкинь этот вздор из головы». Всякое общение с народом встречает защиту со стороны отца и раздражительные нападки матери. «Нечего тебе делать в толпе мужиков и не для чего слушать их грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою». Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто не бранился; но что веселого крику и шуму было много... Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить». На крестьянские вечерки Сережу тоже водила тетка, под строгим секретом от матери. Правда, в доме молодых Багровых-Аксаковых господа не дерутся, но в то же время висит в воздухе дома нечто гнетущее, от чего прилипает язык к гортани у звонкоголосых песенниц, и тяжкая гроза эта — не дикие захолустные Багровы, но молодая, культурная горожанка-барыня. А вот и другая картинка. Нянька, вырастившая Сережу, — «Параша принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтоб я ничего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она

принялась плакать и говорила, что теперь наверное сошлют ее в Старое Багрово, да и с мужем, пожалуй, разлучат если Софья Николаевна узнает об ее глупых речах». Между тем глупые речи, за которые можно ждать от Софьи Николаевны столь ужасной кары, как ссылка и разрушение семьи, охраняли интересы багровской же семьи: тетка была воровка. Но дворовая девушка, по понятиям Софьи Николаевны, не имела права рассуждать о поведении барышни-дворянки. Есть в воспоминаниях другая сцена, где подобную же горькую правду Софья Николаевна сознательно выдает сыну за клевету багровской дворни, и лишь впоследствии понял Сережа, что «мать напрасно обвинила багровскую дворню», понял, что «в этом случае дворня была выше некоторых своих господ».

Таким-то образом время пременяет панегирики почти что в сатиру. Художественная правда рано или поздно мстит за свое рабство у навязанной ей мастером тенденции тем, что когда-нибудь оказывается отличным материалом доказательств как раз против того, что сам мастер хотел доказать в свое время. Софья Николаевна Багрова и полубог ее Карташевский останутся в истории русской культуры отнюдь не положительными героями. Они — типические начинатели той великой щели между городом и деревнею, между образованием и народностью, которая впоследствии погубила русскую интеллигенцию обособлением в книжный аристократизм — почти сословного типа. Засыпка роковой щели, — покаянное движение интеллигенции обратно к народу, с его обострениями в семидесятых годах, с его широкою, массовою ликвидацией в объединительных демократических радугах революционной войны 1905—1907 гг., — началась когда-то вокруг той самой семьи, которую породила Софья Николаевна и воспитывал Карташевский. И не только славянофильствующему интеллигенту из интеллигентов, Константину Аксакову, суждено было всею жизнью своею стать сплошною поправкою к своей мнимогениальной бабушке. Но и сам-то «Сережа»,

дожив книжником до пятидесяти лет, побывав и посредственным писателем «по хорошим образцам», и цензором, и театралом, и педагогом, вдруг как-то догадался на старости лет, что прожил век свой, собственно говоря, школьником, а не взрослым человеком. А когда, стряхнув с себя обаяние наслоенных на нем педантств, сумел поглядеть на свет своими глазами и заговорить своим собственным языком (какую богатырскую мощь жизнеспособности должна иметь натура, чтобы одолеть подвиг подобного перерождения на шестом десятке лет!), то оказался — может быть, к собственному своему удивлению — родным и близким по духу совсем не этой матери, обожаемой им идолопоклоннически, но как раз тому смирному и недалекому отцу, которого он, при всей своей сыновней почтительности, привык втайне понимать за ничтожество. Известно, что С.Т. Аксаков просил считать его литератором, только начиная с «Бурана», написанного, когда автору было уже за сорок лет, и после того, как он насочинил кучу литературно-подражательного хлама, который был, однако, ничуть не хуже вдохновлявших его оригиналов. «Краски чуждые с годами спадают ветхой чешуей!» Омороченный дрессировкою авторитетов, старик-юноша открыл себя, — лучше поздно, чем никогда, — именно в том, что из него выбивали всеми правдами и неправдами: в народности и в природе. Ни один блудный сын не обманул ожиданий родительских горше, чем С.Т. Аксаков мать свою, Марию-Софью Николаевну. Она отнимала у него ружья и удочки, — он прославил себя именно «Записками ружейного охотника» и «Записками об ужении рыбы». Она сурово становилась между ним и народом, — и как раз весь секрет его художественной силы оказался в том богатстве, что дал ему народ: в задушевной простоте миросозерцания, в образном чутье действительности и в несравненно прекрасном русском языке.

Cavi di Lavagna
1909. VI. 22

НЕУДАВШИЙСЯ ГАРИБАЛЬДИ

«То были времена чудес».

Русское правительство не воевало и вид делало, будто даже очень не хочет воевать, зато воевало уже и рвалось воевать русское общество. Воевать было — в виде опыта, — дозволено, хотя и без официального о том уведомления. Отсутствие последнего ставило в тупик администрацию и приводило в отчаяние полицию. Она слышала шум, отлично знала, «по какому случаю шум», но решительно не понимала, что ей с шумом этим делать: что будет большим проступком пред начальством — попустительство шуму или прекращение оного?

Пишущий эти строки, в ту пору пятнадцатилетний мальчик, своими глазами видел на московском Курском вокзале трагикомический житейский водевиль, который можно было бы назвать «Шапки долой!» или «Полицеймейстер в затруднении».

Тысячная толпа заливает вокзал, площадь перед вокзалом, железнодорожное полотно.

— Ура! ура! ура!

— Ура доблестным русским добровольцам!

— Живио князю Милану!

— Да здравствуют славяне!

— Михаилу Григорьевичу Черняеву — ура-а-а!!!

— Ура-а-а!!!

Головы обнажаются, точно внезапным вихрем сдуло все шапки.

— Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое...

Гремит тысячеголосый хор, потрясая звуками окрестную Москву на далекое пространство: однажды я заслышал его от Красных ворот — за добрые полверсты от вокзала. Есть впечатления невыразимые и незабываемые. С тех пор долго-долго не пели люди на Руси массами, во всеуслышание,

почти тридцать лет никаких ни молитв, ни песен. Однако этот гимн, которым родина напутствовала сынов своих умирать за страдающих братьев на окопы Алексинаца и высоты Дюниша, и сейчас рыдает в моих ушах, точно лишь вчера я его слышал. Из всех стихийных сил, какими располагает толпа, чтобы захватить в свое могучее движение личность и покорить ее своему настроению, звук — едва ли не самая властная. В одном из рассказов Эркмана — Шатриана есть дивная картина, как на площади маленькой эльзасской деревушки рота французов, солдат первой республики, защищается против атаки кроатов, вдесятеро превосходных числом. Французы бьются геройски, но ряды их редеют, гибель их неизбежна; их каре расстроено; оно колеблется, слабеет, готово бежать иди сдаться. «Тогда, — рассказывает мальчик, свидетель этой битвы, — рыжий начальник вытер свою саблю, всю красную от крови, поднял ее над головою и хриплым, страшным голосом запел песню, от которой меня подрал мороз по коже». Вся рота подхватила напев, и — «французы точно взбесились»: не стало ни утомленных, ни робких, раненые забыли про свои увечья; рота, с дружным ревом могучей песни, бросается на кроатов и последним отчаянным усилием опрокидывает их, гонит пред собою... «Allons, enfants de la patrie! Le jour de gloire est arrivé!.. »* Если бы генералы Наполеона III могли вести свои войска на пруссаков «Марсельезой», а не маршами из опереток Оффенбаха, Франция, быть может, и не испытала бы Седана.

Никакие массовые впечатления, пережитые с того странного времени, за всю — пеструю, богатую переменами и новыми картинами — жизнь, не могут заслонить в моей памяти этих трогательно-величавых молитв народных. Недавно, читая Апокалипсис, я задумался над тем стихом его, где символические животные воздают хвалу и славу Агнцу, и с голоса-

* «Вперед, сыны отечества! День славы настал!..» (*фр.*)

ми их сливаются голоса всей природы. И мне показалось, будто когда-то — не то во сне, не то наяву — я что-то подобное слышал. Стал припоминать, и воображение ясно воскресило в моем слухе эпоху славянских увлечений — гармонический, молитвенный вопль благоговейного, восторженного зверя тысячеголовой толпы...

Зверь вопил, стонал и плакал. Обнаженные головы, серьезные лица, сверкающие глаза, часто увлажненные слезами... Среди этих тысяч людей, взрослых и малых, мужчин и женщин, объединенных и возвышенных общим чувством, стоял Н.И. Огарев, покойный московский полицеймейстер, — красавец-мужчина, обладавший великолепными усами столь необычайной длины, что свободно мог завязывать их узлом на затылке. Он один оставался в фуражке, бросая вокруг себя растерянные взгляды:

— Ну и служба наша! — говорил он потом. — Снять фуражку — нельзя: как бы то ни было — демонстрация, самовольная, правительством не разрешенная, — следовательно, как лицо официальное, я не имею права участвовать в ней хотя бы даже снятием фуражки. А, с другой стороны, как же и в фуражке-то оставаться? Молитву поют.

— Как же вы, Николай Ильич, вышли из затруднения?

— Не я вышел, а меня вывели.

— Кто?

— Паренек какой-то, спасибо ему. «Чего, — кричит, — ты, барин, стоишь в шапке?» Просунул руку через толпу, да — как ткнет меня! — фуражка-то и свалилась... Ну а уж поднимать ее я и сам не стал: стало быть, мол, судьба такая! Теперь и пред начальством прав, и сам себе господин! Слава Тебе, Господи! — и запел вслед за другими.

Впоследствии, в Тифлисе, при встрече с П.И. Чайковским я разговаривал с ним об его «Двенадцатом годе», построенном на противопоставлении темы «Спаси, Господи» — для характеристики обороняющейся России — с темою «Мар-

сельезы» — для характеристики наступающей Франции. Я спросил тогда знаменитого композитора: не отразились ли в могучем струнном унисоне, открывающем его увертюру, впечатления славянских дней, когда молитву эту так часто, мощно и красиво посылали к небесам тысячи случайных хоров?

— Очень может быть, — сказал Чайковский. — Чтобы я руководился этими впечатлениями сознательно, не припомню; но ведь на творчество бывают и бессознательные влияния — от далеких, но сильных моментов жизни, о которых давно уже не думаешь, а между тем они продолжают жить в душе и неслышно направляют ее деятельность... Очень может быть... Сцены, о которых вы говорите, производили на меня огромное впечатление; оно не могло пройти бесследно.

В то время Чайковский отозвался на движение, написав «Русско-сербский марш», совершенно забытый ныне. Это не из лучших произведений Петра Ильича.

Москва временно управляла умами. Аксаков гремел. Пуганые вороны, которые, по пословице, и куста боятся, гадали на кофейной гуще: ушлют его или не ушлют? Но его не усылали: время усыла пришло несколько позже. В данный момент, Аксаков, конечно, был самым популярным человеком в России. Был один еще популярнее, но — его не было на Руси: он стоял за Дунаем под турецкими пулями и, с неопытными, далеко не воинственными новобранцами, да с горсткою русских добровольцев, завоевывал свободу Сербии.

Архистратиг славянской рати,
Безукоризненный герой, —

славили тогда М.Г. Черняева ходячие стихи. Его портреты были в каждом доме, в каждой избе. За здравие его служили молебны общества, корпорации, частные лица.

Можно смело сказать: имя Черняева было первым военным именем, которое после Севастопольской кампании проникло в народ, стало дорого народу, стало «народным» в полном смысле этого слова. Герои Кавказа, усмирители польского мятежа, сравнительно бесследно скользнули по народному вниманию. Один Ермолов запомнился, да и тот пережил свою славу и потому, едва умер, был забыт, не оставив следа ни в песне, ни в сказке. Крестовый поход всегда сильнее захватывает душу толпы, чем просто завоевательное движение, — и крестовый поход Черняева к гробам задушенного турками славянства всколыхнул русские сердца приливом давно небывалой энергии. Достоевский вещал о славянстве с энергией и пламенным красноречием Иезекииля. Ossa arida, audite verbum Domini! * Он благословлял Черняева, добровольцев и защищал их со всею своею рыцарскою страстностью, фанатическою отвагою против уже начинавшейся, внутренней реакции в «славянских симпатиях», против поклепов, сплетен, клевет, гадких слухов частью министерско-придворной, частью австро-германской фабрикации. Добровольческое движение было очень вскоре осмеяно, унижено, заплевано. Добровольцев ославили пройдохами, пьяницами, отбросом России, — кинулись, мол, в Белград, потому что стали нестерпимы в отечестве. Добровольческие герои — не герои, а ловкие мазурики, старающиеся, под маскою геройства, обработать темные делишки. Убили Киреева. Народ толпами сходился в соборы служить панихиды по убиенном рыцаре, а интеллигенция подхихикивала:

— Да неужели вы верите, что он убит? Просто удрал в Америку: ведь у него долгов — счета нету!..

Однажды я разговорился с приятелем-англичанином о самоуважении у разных народов Европы: качества этого у нас, русских, — увы! столь мало, что, пожалуй, его даже нет вовсе.

* Сущие кости, внимающие слову Господа! (*лат.*)

Из всех самооплевателей, мы, русские, — наиболее чистой крови.

— Этого, мало, — сказал мой приятель. — Видите ли: самооплеватели имеются в каждой нации. Но самооплеватель-англичанин, немец, француз, — хотя плюют, но затем на себя не любуются. Русский же мало, что оплюет себя, а еще к зеркалу пойдет проверить: не осталось ли где, сохрани Боже, чистенького местечка? Да еще и в зеркало-то плюнет... для финального аккорда!..

Слава нам! в поганой луже
Мы давно стоим.
И — «что далее, то хуже!» —
Радостно твердим... —

иронически восклицал поэт шестидесятых годов. Эта радостная уверенность, что у нас вечно и неизменно применим закон: «Чем далее — тем хуже», — эта болезненная страсть к самооплеванию себя, даже в зеркале, положили свое клеймо и на дело Черняева.

— Ха-ха-ха! Крестовый поход? Просто забулдыжная шайка людей без определенных занятий!.. Разве у нас могут быть крестовые походы?

— Ха-ха-ха! Русский Гарибальди? Готфрид Бульонский? Просто непризнанный гений, министр без портфеля, отставной генерал-майор Черняев, с красным носом, оставшийся не у дел и не в фаворе у начальства, неудачный издатель «Русского мира»... Разве у нас могут быть свои Гарибальди?

Забывали только одно: что и «настоящие» крестовые походы создавались «людьми без определенных занятий», — рыцарство потянулось в Палестину уже после, а сытые буржуа так и просидели три века дома. Забывали также, что и «настоящий» Гарибальди до своей знаменитой «Тысячи» был непризнанным гением, изгнанником не у дел и не в фаворе не только у «начальства», но и у всей реакционной Европы. Чер-

няев, победитель Туркестана, приступал к освобождению Сербии куда с большим багажом военных заслуг за плечами, чем Гарибальди — к освобождению Италии. Но так как Гарибальди был чужой, а Черняев свой, и нет пророка в своем отечестве, то вот — и наряду с общенародным энтузиазмом, сквозь «Спаси, Господи» и «Марш Черняева», то и дело раздавались шипящие нотки:

— А вот турки накостыляют им шеи... пьяницам! И поделом: будут знать, как соваться, куда их не спрашивали!.. пьяницы!

И когда после побед при Алексинаце стали изнемогать — как всегда, дипломатически обманутые и «друзьями» не поддержанные, — сербско-русские силы, когда наступили грозные дни Дюниша, шипящие нотки возвысились до оглушительного торжествующего forte *, восклицая:

— Не мы ли говорили? Не мы ли предостерегали? Не мы ли предсказывали? Он просто авантюрист, ваш хваленый Черняев! Он осрамил Россию на всю Европу, с своими пьяницами...

Не было популярности, истинно львиной популярности, по которой, когда окончилась сербская кампания, стукнуло бы столько ослиных копыт, как по черняевской. В России Черняев был встречен холодным недоумением, чуть не опалою: с ним как будто не знали, что делать, куда девать этого отставного генерала, вдруг ни с того ни с сего, вопреки всякому резонному порядку производства, вышедшего в неуказанный чин «народного героя», «русского Гарибальди». В русско-турецкой кампании Черняев проходит, как бледнейшая из бледных теней: он не действует, а числится. Его положение в эти годы тяжело и двусмысленно: точно «народный герой» заживо погребен в своем отечестве, точно ему говорят:

---

* Громко, сильно (*ит.*, *муз.*).

— Ну где вам в настоящее дело? Это, сударь мой, не сербские бирюльки! Пошалили, нашумели, — и довольно!.. Хе-хе-хе!.. Русский Гарибальди!

Единственным самоутешением для русских военных сфер в этом походе на неудачного Гарибальди может быть разве то сознание, что во время франко-прусской войны французское военное министерство и генеральный штаб не лучше обошлись с великим добровольцем Вогезской армии — настоящим Гарибальди. В подражании европейским минусам мы всегда велики.

Холодно встреченный в «сферах», Черняев не был утешен и обществом. Самая могучая по влиянию партия либеральной печати — «люди шестидесятых годов», «западники» — была против славянского дела, против вмешательства в него России и русских. Успело уже сложиться и, к сожалению, оправдать себя мнение, что русское правительство путается в балканской неурядице не только напрасно, но и не бескорыстно: искусственно создает внешнюю военную авантюру, чтобы отодвинуть на задний план и пересрочить внутреннюю бурю: обмануть проволочкою общество, ждущее и требующее завершения реформ Александра II. Где пахнет военною авантюрою, там урожайно плодятся авантюристы. И вот всплыли на поверхность десятки удачных и неудачных искателей приключений — «Редеди» действительной службы, запаса и даже чистой отставки. Были в десятках этих фигуры несчастные, жалкие, были противные, были просто смешные, комические, но не было ни одной достойной уважения. Уже одного Виссариона Комарова достаточно было, чтобы создать славянскую буффонаду! А Ростислав Фадеев? Воистину — «идеже труп, тут соберутся орли!» Интеллигенция их ненавидела — и имела на то полное нравственное право и основание. Но их мало кто знал, и расплачиваться за них своею шкурою как «родоначальнику» пришлось опять-таки Черняеву, хотя он был далеко не их поля ягода. Резкое, беспощадное остроумие Щедрина при-

цепило к имени Черняева ироническую кличку «странствующего полководца». Интеллигенция шла, в огромном большинстве, за этою партией. Когда толпа кричала Черняеву «ура», все, что считало себя выше толпы, корчило саркастические улыбки. Непрочна оказалась популярность Черняева и в народе — и на этот раз уже не по вине Черняева или народа, а просто потому, что маленькая сербская война стала в ближайшее соседство с великою русско-турецкою войною, и впечатления первой утонули в впечатлениях второй без следа и памяти: славянский ручей исчез в русском море. Звонкое имя Скобелева, почти внезапно выплывшее из неизвестности и ставшее военною надеждою не только России, но и всего славянства, заслонило Черняева своею эффектною громадою. Масса нашла себе новый кумир, сосредочила свои идеалы и свою любовь на новом божке. Черняев исчез за Скобелевым, как звезда в свете восходящего солнца. С появлением Скобелева, он мог бы сказать о себе трогательными словами Иоанна Предтечи: «Ему — расти, мне же умаляться». Шипка и Зеленые Горы затмили Алексинац и Дюниш, а Геок-Тепе — далекую, полузабытую за быстрым полетом истории среднеазиатскую кампанию Черняева, подарившую России Ташкент с целым Туркестаном.

Я человек не военный, и не мне проводить специальные параллели между Скобелевым и Черняевым. На гробнице первого лежит венок от военных, аттестующий покойного как полководца, «Суворову равного». Следовательно, нашему брату остается лишь молча преклониться пред авторитетом сословия, более компетентного в данном случае. Военным тут и книги в руки. Но — при всем уважении к памяти безвременно погибшего «белого генерала», — на наш штатский взгляд, Черняев, к моменту смерти своей полузабытый, оставленный не у дел, вряд ли уступал Скобелеву и в таланте, и в мужестве, и в практической плодотворности своей деятельности вождя русских ратей. Герои бывают разные. История знает героев-полубогов, героев-чудаков, героев-неза-

метных. Скобелев принадлежал к первому разряду. «Белый генерал», верхом на белом коне, летящий в пороховом дыму, подобно некоему демону войны, великолепен.

Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь — как Божия гроза!

Он поражает воображение, покоряет ум, берет зрителя в плен прежде, чем тот опомнился и собрался защититься от него анализом. Я знавал десятки умных, образованных, талантливых людей, влюбленных в Скобелева — мало сказать, фанатически: слепо, детски, без критики. Между ними такие силы, как Вас. Немирович-Данченко, Верещагин. Равен или нет Скобелев Суворову, это опять специально военный вопрос, но — что он был действительно и запечатлелся в памяти народной героем именно типа суворовского, типа «екатерининских орлов», — это несомненно:

Ступит на горы, — горы трещат,
Ляжет на море, — бездны кипят,
Граду коснется, — град упадает.
Башни рукою за облак кидает!

Скобелев уже при жизни стал фигурою эпическою.

— Когда я попробую вообразить себе Льва Толстого, — говорил мне один русский романист, никогда не видавший в лицо великого писателя земли русской, — мне становится жутко: мне кажется, что у него во-о-от какая голова...

И он описывал огромный круг обеими руками. Попробуйте вообразить Скобелева, которого специальное значение для современного военного, пожалуй, не меньше, чем для нас, людей мирной мысли, значение графа Льва Николаевича. Он тоже представится вам человеком не в обыкновенный рост, а скорее конною статуею какою-то, вроде монумента Нико-

лая I на Исаакиевской площади. Человек театрального апофеоза. На него как будто светит электрическое солнце, вокруг него пылают бенгальские огни, дымят плошки и цветные фонари. Скобелев умел «красиво» побеждать и умел эффектно пользоваться победою. После него не осталось маленьких дел, словно каждый шаг свой он делал под увеличительным стеклом. Ни маленьких, слов, — он раскрывал рот только для громких и значительных фраз, которые облетали всю Европу, и — если даже не делали политики — то растили интересность вещателя. Он знал себе цену, — свойство, необычайно редкое среди русских. Были случаи, когда Скобелев, что называется, «заносясь», ценил себя выше, чем позволяли обстоятельства, но ниже — никогда. Гордый, мужественный, холодный и в то же время вспыльчивый, эффектный красавец-полководец, он навсегда останется в русском военном пантеоне, как блистательный образец самосознающего таланта, полного буйных сил и глубокого к ним уважения. Скобелев, быть может, больше всех русских военных героев — человек с чувством собственного достоинства.

В разрезе с этою блестящею, но исключительною фигурою, русский герой, обычно, совсем не эффектен. «Хотя орудия Тушина были назначены для того, чтобы обстреливать лощину, он стрелял брандскугелями по видневшейся впереди деревне Шенграбен, перед которою выдвигались большие массы французов. Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись со своим фельдфебелем Захарченком, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню». Благодаря Тушину, не получившему приказаний, куда и чем стрелять, но по вдохновению и инстинкту таланта стрелявшему именно туда и именно тем, куда и чем надо было, русские выиграли у французов Шенграбенское дело. Тушин — герой. Однако за геройство свое, понятое лишь одним князем Андреем Болконским, он не только не получил ни славы, ни почести, но, не заступись за него тот же князь Андрей,

попал бы Тушин под жесточайший начальственный выговор, а то и под суд. Ибо, во-первых, герой этот — типичный русский герой — по скромности природной, геройства своего отрекомендовать не в состоянии. А во-вторых — с виду он михрютка, и, начни он расписывать свои подвиги, никто ему не поверит даже: разве, мол, такие герои бывают? Горы под ним не трещат, бездны не кипят, башен за облак он не кидает, ни под ним белого коня, ни на нем белого с иголочки кителя...

— Солдаты говорят: разумши ловчее! — робко улыбается он в ответ на упреки за неимение геройского вида, доведенное даже до неношения ботфорт. И, «разумши», идет он себе под пулями в раскаленные пески Средней Азии, в снежные траншеи на гору св. Николая, с одинаковым равнодушием терпя голод, холод, смертную опасность, спокойно побеждая, без трепета и сожаления к себе умирая, побежденный. Это — тот русский герой, которого, говорил Наполеон, «мало убить, а надо еще повалить, чтобы он упал». О нем писал великую правду автор «Войны и мира» и «Севастопольских рассказов», над ним рыдал умиленным плачем вольноопределяющийся Всеволод Гаршин. Этот герой водится одинаково во всех слоях русского воинства: много Тушиных-солдат, Тушиных-офицеров, есть, только уж очень редко, и Тушины-генералы. Одним из последних, — представляется мне, — был и покойный Михаил Григорьевич Черняев.

Если разобрать его военную карьеру как полководца, она была — сплошной Шенграбен. В Средней Азии он, по вдохновению, «без спроса», тоже посоветовавшись со своими Захарченками, берет Чимкент и, поразив туземцев почти суеверным страхом пред своею удачею, завоевывает Туркестан. Он более или менее награжден Александром II, но попадает на самый дурной счет у начальства, не желавшего простить Черняеву, что он стрелял не по предписанию, но — куда и чем считал полезным. Черняев в отставке, Черняев бездействует. Что он герой, знает весьма незначительное

число «князей Андреев». Масса же специалистов и интеллигентов на него, что называется, фыркает. «Черняев — герой? Ха-ха-ха! Полно вам! не смешите! Ну, он молодец, хороший генерал, честный служака, но — герой?! Подумайте, какое это слово! Разве такие герои бывают?..» Начинается славянское движение, сербская война, добровольцы, и — словно волна какая вынесла и поставила во главе минуты не кого другого, а почему-то вот именно этого смирного, умного, «непохожего на героя», генерала Черняева. И имя его оказалось странно знакомо и приятно народу, доверившему ему вести своих детей в бой на чужбине за чужой народ, под личною и единственною его, Черняева, ответственностью. Да! Черняев был одним из поразительно немногих русских воинов, которые с гордым правом могли сказать о себе:

— Моя родина верила мне на слово!..

И опять — Шенграбен. Своим военным инстинктом и русским чутьем Черняев понял, что в момент кризиса на Балканском полуострове надо овладеть сербским движением не кому другому, а именно России. И — так как сама Россия не имеет еще возможности открытого вмешательства, а нарыв брожения славянских народов слишком назрел и, того и гляди, лопнет, не дождавшись такой возможности, — то надо, стало быть, сделать так, чтобы дело осталось русским, хотя бы и неофициально, в русских руках и под русским руководством. И вот отставной генерал-майор Черняев превращается в странствующего полководца Черняева. Под тучею нареканий, насмешек, упреков, недоброжелательства сербов и многих русских, при самых неблагоприятных условиях, он дерется, побеждает, побежден, но добивается своего: сослужил он службу славянам, а вдвое большую России. Он воскресил ее разрушенный престиж как исторической защитницы балканского славянства, он вновь обратил к ней взоры просыпающихся к независимости государств. «Черняева, — писал в 1876 г. Достоевский, — даже и защитники его теперь уже считают не гением, а лишь доб-

лестным и храбрым генералом. Но одно уже то, что в славянском деле он стал во главе всего движения — было уже гениальным прозрением; достигать же таких задач дается лишь гениальным силам».

Генерал Тушин, генерал без честолюбия, сказывался в Черняеве после каждого его крупного дела. После Средней Азии — не оценен, после Сербии — забвен. Но ведь это такова уже судьба русского народного героя. Ведь и первый из них, чудо-богатырей, Илья Муромец, если татаровей не колотит, то больше у князя Володимера под тремя замками в погребу за неучтивость сидит да в усмирение сердца гневного книгу священную читает. Русский народный богатырь — в мирное время — существо ужасно громоздкое и неудобное. «Хорош жемчужок, да не знаешь, куда его спрятать, ни в короб не лезет, ни из короба не идет». «Сарафан ты мой, сарафан, — усмехнулся Бибиков, когда Екатерина просила его принять командование против победоносного Пугачева, — на все-то ты, сарафан, пригожаешься, а — не нужен сарафан — и под лавкой лежишь!» Даже Скобелев, который был в глазах общества много крупнее и нужнее Черняева, оказался, как выражаются поляки, «непритыкальным», когда взятием Геок-Тепе покончил с карьерою героя и должен был обратиться в генерала, мирно командующего своею частью. Он мечется, как рыба на песке, будирует, дружит с Гамбеттою, говорит слова, на которые не уполномочен и не имеет нравственного права, ибо за ними не стоит даже тени силы, способной превратить их в дело, носится с идеей реванша и франко-русской дружбы, нелепо пугает Германию, идет какая-то болтовня о болгарском престоле, о военном заговоре на манер декабристов, о сношениях с революцией... Все это, конечно, совершенная чепуха, но чепуха выразительная: на руках у общества осталась фигура, которую — ну прямотаки некуда усадить! — ну и пробуют — садят ее наобум из кресла в кресло, не придется ли какое-нибудь. В конце кон-

цов, Скобелев умирает, буквально, задохнувшись от тоски бездействия, — после воинственной трагедии — фигурою из политического фарса. То же самое пережил когда-то Ермолов. Трагический тип русского героя не у дел великолепно создал Лесков в лице генерала Перлова, целиком списанного с знаменитого воителя Севастопольской кампании, Степана Александровича Хрулева. «Сам не знает, на какой гвоздок себя повесить. Службу ему надо, да чтобы без начальства, а такой еще нет. Одно бы разве: послать его с особой армией в центральную Азию разыскать жидов, позабытых в плену Зороваделем. Это бы ему совсем по шерсти, — так ведь не посылают...» Шутка Лескова оказалась пророческою, когда состоялась экспедиция в Геок-Тепе, где, именно — предполагается, — и забыл Зоровавель своих «жидов». По крайней мере, есть такая историческая легенда об исчезнувших десяти коленах израильских. И, конечно, эта экспедиция тому же Скобелеву сберегла несколько месяцев его короткой жизни, приспособленной к трудам и опасностям, угасающей без них, как лампа без масла. Время Александра I, Николая I, начало царствования Александра II имело для подобных натур спасительный клапан: Кавказ с его вечною, непрерываемою азиатскою войною. Там находили свое дело и душевное успокоение старинные Хрулевы, Черняевы, Скобелевы: Слепцов, Засс, Пассек и др. Но к царствованию Александра Ш Кавказ спал, усмиренный уже третий десяток лет, а Средняя Азия была покорена сравнительно малыми усилиями — клапан слишком незначительный для такой огромной машины, как русская армия. Русскому военному таланту восьмидесятых годов, таким образом, приходилось либо становиться теоретиком, как Драгомиров, Обручев, Куропаткин, либо, если он был талантом действия, по преимуществу, изнывать в бессильной тоске своей неприложимости, как изнывал в свое время Ермолов на московском насильственном своем покое; как изныл и сошел на нет Хрулев; как, несмотря на свои генерал-губер-

наторства, сошел на нет и Черняев; как сошел бы, мало-помалу, и сам Скобелев, не возьми его с земли довременная могила.

1898—1901

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА АЛЕКСЕЕВ

В чудесный мартовский день 1893 года въезжаю я во двор «палаццо» одного московского издателя. Двор огромный; песок сверкает на солнце. Издателевы дети кружат на велосипедах и кричат мне навстречу:

— Папы дома нет!

— Вот тебе раз! Куда же он уехал? Сам назначил мне этот час.

— И ждал вас, да уехал — просит извинить. Потому что очень любопытно: городского голову застрелили.

— Что такое!

— Убили городского голову.

— Алексеева?!

— Ну да... один у нас городской голова.

— Быть не может!

— Вот все, кому ни скажем, так же удивляются.

— Да кто же? как? когда? где?..

Прямо — точно обухом по темени!.. Я не был знаком с Алексеевым лично, кроме как поклонами, но интересовался им больше, чем кем-либо другим в Москве... И вдруг его убили... зачем? за что? Я поворотил извозчика и помчался в Думу. Толпа народа: шумят, спорят, разводят руками... Кто-то выходит, глаза заплаканы, говорит:

— Умирает...

Встретил знакомых репортеров, — рассказали, как было дело. Ясно: застрелен без надежды на выздоровление...

Толпа хмурилась, гудела и недоумевала.

На сердце у всех было нехорошо. Я отправился на телеграф и по дороге думал о покойном, — потому что, хотя он еще дышал, но, несомненно, был уже зарегистрирован покойным, — Алексееве; о том, что его убили в марте; что месяц март — самый несчастливый для талантливых и полезных людей, работающих на общественной ниве... «Цезарь! Ид Марта берегись!»

Алексеев умер. Умер, застреленный в самом сердце Москвы, которую он так любил, которой так много благодетельствовал, за которую так долго лил он свой трудовой пот, а потом и кровь пролил. Умер — в здании, им же сооруженном; в новой Думе, в центре новой Москвы, им начатой, им созидаемой. Если бы пред кончиною у Н.А. Алексеева хватило силы взглянуть из окон его смертного покоя на сиротевшую Москву, он мог бы почти с таким же правом, как древний римлянин, воскликнуть:

— Я застал ваш город деревянным, а оставляю его каменным...

Алексеев умер смертью настолько неожиданною, нелепою, почти сверхъестественно дикою, что я, подобно большинству москвичей, долго не мог опомниться от впечатления ужасного события — преступления или полоумной случайности, — так, правду сказать, и не решило нам толком следствие, и приходится навсегда оставить совершившееся в разряде просто «событий».

Умер в то самое время, когда решался вопрос, быть или не быть ему впредь сердцем сердца России, когда он готовился в четвертый раз стать на выборную очередь. Выборы ждались жестокие: на кандидатуре в гласные Н.А. Алексеев прошел всего пятьюдесятью четырьмя голосами. Против него была сбита большая оппозиционная партия, сильная не настолько, быть может, чтобы своротить вовсе напрочь алексеевское влияние, но все-таки способная отравить торжество «непогрешимого» головы своим многоголосым протестом, компрометировать оценку

его общественной деятельности обилием черных шаров. Москва ждала с глубоким и живым интересом большой междоусобной войны на баллотировочных шарах.

Говорили, будто гордый глава московского городского хозяйства собирался сам сложить с себя свои обязанности и, как острили, «удалиться в слободу Александровскую».

Вопрос о выборе городского головы, так обостренный, именно, чрез to be or not to be * Алексеева, был упрощен, разрублен, как гордиев узел, избирателем, на кого никто не рассчитывал, о ком никто не думал, не гадал, чьего вмешательства никто не чаял, — смертью.

Доктора Рот, Сербский и Кожевников признали убийцу психически анормальным. Публика в первое время плохо этому верила, и — хотя факт анормальности Адрианова давно уже несомненно доказал доктор Чечотт, и сам он сидит на положении неизлечимого в больнице св. Николая, — иной раз, как случается слышать в разговорах, недоумевает и теперь. Уж очень как-то чудно подтасовались факты. Человек приходит убивать не куда-нибудь в частное место, а в место общественной деятельности Алексеева, в Думу; не когда-нибудь, а за час, за два до начала выборов, бурных, сомнительных, спорных, обостренных конкуренцией партий; стреляет не в кого-нибудь, а в главного героя этих выборов; заявляет, что личной вражды к Алексееву он не питает, что ему надо было кого-нибудь убить и он выбрал Алексеева.

— Не держите меня, — говорит он полицейским, — я все равно не убегу; я сделал, что надо, и не стану скрываться.

Спокойно, не без рисовки, раскланивается с публикою, смущенной и озлобленной. Советует не делать обыска в его квартире:

— Все равно все бумаги сожжены!

---

* Быть или не быть (*англ.*).

И, действительно, в печи адриановской квартиры находят массу пепла. Свидетели показывают, что Адрианов по целым дням шатался по думским коридорам, как бы присматриваясь и приуготовляя место для будущего преступления. В кармане его находят записку: «Прости, жребий пал на тебя!» Словом, все признаки предумышленности налицо. И публика, не соображая, что предумышленность предумышленности рознь, что больную, фиксированную на нелепой идее волю надо различать от воли злой, смущалась этими признаками и искала внешних объяснений факту. Сперва в убийстве Алексеева видели акт выборной агитации; потом от этого — чересчур американского и, слава Богу, совсем уже не в русских нравах — толкования перевели дело на почву политическую: объясняли его местью за участие Алексеева в качестве сословного представителя в одном из политических процессов недавнего прошлого, когда крутой московский голова подал голос за смертную казнь подсудимых. Потом прошел слух о какой-то старой романической истории. А Адрианов тем временем плел ни с чем несообразную и ничему неподобную чушь, ежеминутно меняя показания, прыгая мыслью от фразы к фразе, болтая, как попугай, фантастические бредни о каком-то электричестве, магнетизме. Я уже тогда высказывал мнение, что, всего вероятнее, это один из злополучных геростратиков, страдающих mania grandiosa * на отрицательной почве. «Велика Диана Эфесская!» — стало быть, надо сжечь ее храм. Остаюсь при таком мнении и теперь. Что внимание Адрианова фиксировалось именно на Алексееве, понятно. Он — мещанин и мелкий домовладелец. О ком же больше толков и разговоров мог он слышать в своей среде, как не об Алексееве? И толков, конечно, не в пользу последнего, так как многие из начинаний и улучшений алексеевского городского хозяйства ложились на домовладельцев, хотя временным, но тугим гнетом,

* Мания величия (*лат.*).

и интересы частные, по теории «своя рубашка ближе к телу», ожесточались, восставали за себя и грызлись зуб за зуб с интересами общественными. Алексеев, городской голова... эти слова обратились в бич для памяти полоумного, уже охваченного инстинктами à la bête humaine *, уже успевшего проникнуться неодолимым тяготением к убийству. Берет он газету — Алексеев; сидит в трактире — Алексеев; дома — только и толку, что Алексеев, Алексеев, Алексеев; одни хвалят Алексеева, другие ругают; все из-за Алексеева горячатся, никто к нему хладнокровно не относится. А у полоумного руки зудят:

— Коли необходимо мне кого-нибудь убить, сём-ка я пришибу именно этого героя толков целой Москвы!

И безумный человек идет и безумно стреляет, сам не понимая, зачем... И другим клянется:

— Вам никогда не понять цели, ради чего я должен был это сделать...

У Винслова, Лемана, Гризингера, Крафт-Эббинга и других судебных психиатров вы найдете много Адриановых. Все они, сперва влюбившись в безумную идею преступления, потом сосредоточивали ее на каком-нибудь выдающемся деятеле, и уже не могли от нее отвязаться, пока не удовлетворяли голосу своей мании. Это — еще с пресловутого маршала Gilles de Rais, основателя легенды о «Синей Бороде», который — в предсмертном письме своем королю Карлу VII, — раскаиваясь в ряде отвратительных преступлений, признавался, между прочим, что покинул королевский двор исключительно, чтобы победить мучившее его сверхсильное искушение убить дофина и осквернить его труп. Яркие имена привлекают к себе нравственное зрение этих несчастных и гипнотизируют их точно так же, как светлые предметы гипнотизируют зрение физическое.

---

* Вроде животного в человеке (*фр.*).

Трагическая гибель Н.А. Алексеева невольно приводит на память гибель деятеля, работавшего на более широком поприще, но сходного с Алексеевым и молодостью, и энергией, и популярностью; так же, как Алексеев, окруженного тысячами друзей и сотнями врагов; так же, как Алексеев, претерпевшего нарекания за свои смелые цели и предначертания, за упрямство и не знающую ни устали, ни пощады энергию; и так же, как Алексеев, неизменно стяжавшего лавры, когда предначертания и цели приходили к благополучному концу. Я говорю о Леоне Гамбетте. Оба были остановлены судьбою в своей деятельности на половине путей, пройти которые обещали их талант, общественный инстинкт, честолюбие, здравый смысл, сулила логика фактов и сумма прецедентов, какими избаловали они общественное внимание. Оба были здоровые, смелые, крепкие люди с теми чуткими и энергичными нервами, что даются природою в удел едва ли не исключительно одним южанам. Гамбетта был провансалец. Мать Алексеева была гречанка. И, в заключение, к обоим пришла удивительно схожая по типу, скорая и безвременная кончина. К обоим —

Как ярый витязь смерть нашла,
Как хищник, жертву низложила...
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла!

Круг деятельности Н.А. Алексеева заключен был в границах московских застав, но он сумел привлечь к этим границам внимание положительно всей России. Его слова, его поступки обсуждались прессою и обществом, даже в таких уголках Руси, которым, по отдаленности, нет, не было, да, вероятно, и долго не будет никакого дела до того, как живет Москва в своем городском хозяйстве. И интересовались не фактами, а общим характером деятельности и направлением молодого головы, его практическою энергией, настойчи-

востью и решительностью в борьбе, тем обилием стыда настоящего и отсутствием стыда ложного, какими характеризуются только первоклассные общественные таланты. Он уважал общественное мнение и презирал общественную болтовню. Он ненавидел партийность и грубо давил оппозицию своим начинаниям, но охотно давал свободу здравому, толковому слову, когда оно преследовало не праздно-отвлеченные споры о сухих туманах, а цели действительно практические и насущные.

Что рано или поздно энергия Н.А. Алексеева вырвалась бы за пределы его московской деятельности, — несомненно. Это был первый российский купец, который проявил в себе, вместе с практической сметкой торгового коммерческого человека, задатки государственного мужа. Недаром же, когда прошел первый слух об учреждении министерства торговли, московский vox populi — vox Dei * называл Алексеева кандидатом в главы этого «министерства будущего». Алексеев, едва ли не первый из представителей русской земщины, заставил заговорить о себе европейскую политическую печать, вообще мало интересующуюся и деятельностью, и деятелями нашего самоуправления. Это было после пресловутой речи Алексеева к покойному императору Александру Александровичу, с эффектною фразою о «кресте на св. Софии»... В голодный год Алексеев вестником избавления промчался по голодающим губерниям. Много труда положил он тогда — и труда бескорыстного, безрасчетного, потому что он и в этом случае, как и всегда в своей жизни, работал не для наград. От них он даже уклонялся; так — он гордился своим купеческим званием и не желал дворянства, которое получить ему было предложено. Нет, он работал по чувству общественного долга и, может быть, для славы, для популярности. Я в последнем ничего дурного не вижу. Если человек самолюбив, честолю-

---

* Глас народа — глас Божий (*лат.*).

бив, славолюбив и добивается чести и славы не геростратовым путем, но средствами благородными, похвальными, общеполезными, деятельностью, которую можно поставить в пример всем и каждому, — в чем тут грех? Можно ли порицать крупного честолюбца за то, что он желает слышать всероссийское одобрение своей блестящей деятельности, когда мы так охотно прощаем мелкое честолюбие людишек, никогда ничего толкового на своем веку не сделавших и об одном лишь всю жизнь мечтавших и мечтающих: как бы при помощи радеющего родного человечка схватить какой-нибудь орденок или местечко?

Смерть Алексеева застала Москву врасплох. Враги его много шумели о том, что пора сломить алексеевскую гордыню, пора сместить его и посадить в головы силу, более скромную как личность, более умеренную, менее самовластную и более склонную соблюдать до мельчайших деталей букву, а не дух только земской конституции. Но разговоры разговорами, а на деле кандидата в преемники Алексееву не только не нашлось, не только не было кого выставить, но не было, в первое время, кого и предположить. Выбор К.В. Рукавишникова, как оказалось впоследствии, не слишком-то удачный, был лишь результатом faute de mieux *. Предложенные записками, — каждый очень незначительным числом голосов, — кандидаты в городские головы все, один за другим, от баллотировки отказались. Один из кандидатов, И.И. Шаховской, при жизни Алексеева постоянный и рьяный его оппонент, мотивировал свой отказ гласно и определенно. Он указал: нет никакого расчета самолюбивому человеку идти в московские городские головы, если он не хочет отдать всю свою частную жизнь общественной деятельности, запутать и расстроить свои личные дела ради дел городских, шикарно сорить своим капиталом там, где даже ни за-

* За неимением лучшего (*фр.*).

кон, ни совесть не имели бы резона воспрепятствовать обратиться к общественным суммам, — например, в случаях представительства. Алексеев делал все это на такую широкую ногу, что после него, как Шаховской справедливо оттенил в своей речи, было страшно становиться на его место, высоко поднятое им в общественной молве и представленное на вид, суд и критику всей России. Шаховской ставил Думе довольно характерное предложение, — при всей его внешней странности, далеко не дикое по существу. «Пусть, — говорил он, — избиратели определят: какого рода и каких размеров деятельности они ждут от алексеевского преемника? Продолжать ведение городского хозяйства в том же направлении и духе никто не в состоянии; одни и хотели бы, да не могут; другие и не могут, и не хотят. Если будущему городскому голове поставлены будут условия более скромные, — куда ни шло, можно идти на риск баллотировки. Иначе — какая радость?! Чуть что не так, не по-алексеевски, — и придется быть мишенью для града нареканий, насмешек и неприятностей. Мол, — «нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит». Кому же приятно ни с того ни с сего попасть в презрительные Терситы, стяжая это звание, может быть, и ни за что ни про что, — исключительно по милости соседства с чересчур блестящим предшественником?!» Предсказание это полностью сбылось на К.В. Рукавишникове: будь он головою до Алексеева, им бы не нахвалились; но послеалексеевским требованиям он при всей своей несомненной добросовестности удовлетворить не сумел.

Скептики, неохочие иметь в своих современниках людей с талантами, выдающимися выше их собственного уровня, возражали:

— Отчего такой переполох? Из Москвы-реки воды не выпити, в Москве-городе людей не выбити. Найдется человек! Бог не без милости. Ведь и Алексеев выдвинулся ярко

лишь с тех пор, как стал головою. А раньше, кто его знал и кто чего путного от него ждал?

В том-то и дело, что за блестящею деятельностью Алексеева как городского головы позабыты энергические общественные труды его молодости.

Его будущее успехи напророчил покойный московский городской голова Сергей Михайлович Третьяков, — человек хороший, но общественный деятель не из талантливых.

— Вот будет вам голова — Алексеев! — говорил он в интимных думских кружках, — голова, какого не бывало! Не нам чета. Дайте только ему войти в лета и в дело.

Двадцати пяти лет Н.А. Алексеев был избран гласным по московскому уездному земству. Деятельность его в этом звании до сих пор памятна в управе. Он, молодой человек, почти юноша, буквально от а до z ворочал уездными делами, облегчая труд тогдашнего предводителя, человека способного, но в то время тоже слишком молодого и неопытного. Еще более блестящею страницею, подготовительной к «лорд-мэрству», истории алексеевских трудов была служба Николая Александровича на посту санитарного попечителя от города Москвы.

Презрение к личным интересам и строгое повиновение требованиям гражданского долга характеризовали первые шаги Алексеева на общественном поприще в той же мере, как и его шаги последние. В памяти москвичей еще жива одна история банковых злоупотреблений. Я не хочу воскрешать ее в деталях и с именами. Ее раскрыл Алексеев, заинтересованный в этом банке совсем на пустяковую для него, миллионера, сумму, раскрыл, не побуждаемый к тому никакими иными мотивами, кроме одного — спасти сотни людей от грядущего им навстречу неминуемого разорения. Раскрывая банковский скандал, он был беспощаден к его героям и действовал уж именно по тексту присяги, не увлекаясь ни дружбой, ни свойством, ни даже родством. Не пожалел ни своих, ни чужих.

Теперь, когда Алексеев — уже человек прошлого, но еще не человек истории, можно создавать летучие характеристики его личности и деятельности по наглядным от них впечатлениям. Но критически разобраться в них, дать оценку их сложному механизму в состоянии только будущее, и даже не близкое будущее. Материал, оставленный Алексеевым грядущему биографу, слишком громаден по своим размерам и разнообразен по своему качеству. Право, трудно указать отрасли общественной деятельности, каких прямо или косвенно не затронула бы его неутомимо-охочая до работы энергия. «Красный Крест», Русское музыкальное общество, санитарное попечительство, всероссийская художественно-промышленная выставка 1882 года, земство губернское с десятком комиссий, двигавшихся вперед, чуть не исключительно благодаря алексеевскому влиянию и настойчивости, — таково начало карьеры Н.А. Алексеева. Он и в училищном совете сидит, и в воинском присутствии бушует, и коронационные празднества организует, и в земской управе оппозиционным фрондерством занимается, и Николая Рубинштейна хоронит, смущая публику зажженными днем, на парижский манер, уличными фонарями. В 1885 году Алексеев избран в городские головы. Он ревизует, реформирует, опекает, поддерживает сиротский суд, который было зачах в Москве, как ребенок в английской болезни, да еще ребенок, оставшийся чуть ли не à la lettre * без пищи и крова. Что сиротский суд был в жалком — и смеха, и грусти достойном — положении, давным-давно все знали, но только покивали на него сожалительно головами и либо охали, либо острили. Суд прозябал, беспомощный и бесполезный. А Алексеев с обычной своей прямолинейной простотой и быстротой перетряхнул этот суд, уже готовый превратиться в труху и рухлядь, в какие-нибудь два-три месяца; сам взял на себя строго ответственную и слож-

---

* Буквально (*фр.*).

ную по обязанностям должность первоприсутствующего в сиротском суде, — и в душу учреждения, дряхлого, как кости на мертвом поле, повеяло жизнью. Десятки сирот нашли себе управу, защиту и опору там, где раньше они находили только проволочки. Если бы не вмешательство Алексеева, вопрос о психиатрической лечебнице московского губернского земства до сих пор лежал бы еще в пеленках или, много-много, ходил бы под стол пешком. Алексеев в семь дней создал временную психиатрическую лечебницу на сокольницкой даче Ноева и показал косной земской массе, что значит по-настоящему делать земское дело, не увлекаясь цветами красноречия и партийными словопрениями. Он был весь быстрота, стремительность и натиск, человек с глубокою верою в себя, в свою звезду и в свой талант.

Алексеев воюет в земстве за город, когда возник роковой вопрос о городском обложении, погубивший раз навсегда доброе согласие московского города с московской деревней. Алексеев в этом деле побежден; деревня одолела; но редко какой-либо победитель выходил из боя с таким почетом, как этот побежденный. Алексеев в голодную пору скупает хлеб на юге, раздает на севере. Все это, по обыкновению, быстро, практично, целесообразно, без дальних слов, без лишних фраз. Одною из замечательных способностей Алексеева было его уменье быстро применяться ко всякому делу, за которое приходилось ему браться. У него сидел в уме какой-то прозорливый демон, приспособленный к тому, чтобы по первому взгляду на вопрос хватать быка за рога, забираться в самую житейскую суть дела, освещать его так ново, резонно, умно и оригинально, что сразу выяснялись для публики многие темные уголки на изнанке вопроса, до тех пор остававшиеся незамеченными. Ни к какому делу, за которое Алексеев брался, он не относился равнодушно, спустя рукава. Формальное «отзвонил и с колокольни долой» было ему совершенно чуждо. Даже на должностях полупочетных, за-

нимаемых, так сказать, honoris causa *, покойный городской голова ухитрялся быть активным лицом. Председательствуя в городском по воинской повинности присутствии, он первый открывает злоупотребления, выразившиеся в том, что масса лиц в Москве уклонялась от воинской повинности, опираясь на учительские свидетельства.

Когда скончался Н.А. Алексеев, я говорил полушутя-полусерьезно, что с ним, для Москвы в миниатюре повторится та же история, какою Екатерина Вторая характеризовала значение Петра Великого для России. При каждом новом начинании Екатерина приказывала справиться в архивах, не задумывал ли чего-нибудь в этом роде Петр, и каждый раз оказывалось, — что да, было: задумывал, предполагал и располагал. Так и с Алексеевым. Долго еще москвичи при каждом своем дельном общественном предприятии будут наталкиваться на имя этого человека, готовившегося работать на общественной ниве десятки лет и так рано скошенного рукою смерти. Вскоре по кончине Николая Александровича открывали в Москве на знаменитом клиническом городке Девичьего поля «Гинекологический институт». Вот краткая история этого учреждения. Московский купец П.Г. Шелапутин — специалист медицинской благотворительности. Его имя связано с добрым десятком врачебных учреждений: он устроил лечебницу для приходящих в Покровском на Филях, за двадцать лет своего существования подавшую помощь ста тысячам больных, богадельню и приют для уродов, образцовые оперативные покои при Басманной больнице и при больнице города Алексина и т.д. Настоящим жертвованием Шелапутин блестяще увенчал здание прежних своих филантропических затей. Но затевать и жертвовать — одно дело, приводить в исполнение, строить — другое.

---

* За заслуги, ради почета (*лат.*).

— Естественно, — говорил при открытии института знаменитый русский гинеколог, профессор В.Ф. Снегирев, — явился вопрос: где же место, на котором должно выстроить это учреждение? Вопрос — очень трудный. На помощь разрешению его явился покойный городской голова Н.А. Алексеев. В двадцать четыре часа он нашел и разрешил отдать городское место на Девичьем поле, рядом с клиниками, для этого учреждения. Сколько бы столетий ни простояло это учреждение и ни прослужило своему назначению, пусть всякий помнит, что без горячего отношения к делу Н.А. Алексеева никогда бы этой новой клинике здесь не стоять. Вечная память тебе, дорогой Николай Александрович, от вновь возникающего учреждения и от русского врача.

Предсмертные слова Алексеева были оглашены печатью на всю Россию: «Я умираю, как солдат на своем посту, верный своему долгу пред царем и отечеством...»

Сказать громкую фразу легко, но сказать ее многие ли имеют право, у многих ли рыцарей дня за громким словом найдется столько громкого дела, как у Алексеева? — дела, свидетельствующего его правоту пред ответственностью, возложенною на него доверием родины? дела, подкрепляющего фразу фактами? Этот человек так сроднился с Москвою, так сжился с своим любимым городским делом, что — и умирая — нашел возможность утешиться тем, что — «я счастлив, умирая на службе, я верен данной присяге служить до последней возможности».

Больной завещал не переносить его тела из Думы в свой фамильный дом, к семейному очагу. Он умер Алексеевым, гражданином и представителем Москвы, — и гражданином-представителем ее, а не частным человеком хотел проследовать в могилу из учреждения, им прославленного и возвышенного, из здания, его настойчивостью воздвигнутого. И он имел право на это гордое, но справедливое желание. Он заслужил величавые похороны всею

Москвою, и трупу были оказаны почести, как живому триумфатору.

Николая Александровича Москва хоронила с почестями, какие редко выпадают на долю общественных деятелей не только у нас в России, но и за границей, даже во Франции, где публика на этот счет много отзывчивее нашей. Громадный белый думский зал позеленел под венками, которыми его увешали депутаты общественных и частных учреждений и корпораций города Москвы. Перечислять их не к чему, да и невозможно; подробные репортерские отчеты о маршруте и порядке похоронной процессии, с указанием депутаций, занимали в органах местной печати по три, по четыре столбца мелкого шрифта. Да и то после похорон оказались пропуски, требовались пополнения. Таких похорон Москва не видала после того печального торжества, когда она всенародно переносила на Рязанский вокзал прах безвременно погибшего Скобелева. Говорят, будто толпа похоронной процессии достигала до двухсот тысяч человек, — отдать долг усопшему явилась четвертая часть московского населения. Речей на могиле не было произнесено. Да и что было говорить? Факты и мертвое тело, готовое отойти в землю от жизни и деятельности, еще неделю тому назад кипучей и многополезной, слишком громко и наглядно говорили за себя, чтобы нужны были какие-либо к ним комментарии. У этой могилы надо было не разглагольствовать, а просто махнуть рукой на жестокий каприз судьбы и молча отойти с обидой и горем в оскорбленной душе. Нужны были не слова, а слезы. И слез было много. И хороших, искренних, от сердца идущих слез. Оплакивали Алексеева дружно и приятели его, и враги. Недаром же во время его болезни многие из заклятых принципиальных оппозиционеров алексеевской «политики» проводили все свое время у постели больного, с тревогою и надеждою следя за ходом его рокового недуга.

Хорошо ли лечили Алексеева? Не было ли возможности поднять его на ноги? Конечно, хорошо. Разумеется, не было. В смысле медицинской помощи для Алексеева было сделано все, что возможно. У постели больного стояли Склифосовский, Остроумов, Черников, Клейн, Клин.

Но от такой раны никто еще никогда не выздоравливал. Такою раною, полвека тому назад, Дантес отправил на тот свет Пушкина. Единственное, за что, пожалуй, можно упрекнуть медицинский персонал алексеевской трагедии, — это за малочисленность в нем хирургического элемента. Н.В. Склифосовский — высокоталантливый хирург, но ум хорошо, а два — лучше, и, конечно, не пригласить ассистентами при роковой операции чревосечения других звезд местного медицинского мира, Кузьмина или Снегирева, — было оплошностью. Dii minores * и в медицинском мире лучшие помощники старшим звездам, чем добросовестная, может быть, но малоталантливая мелочь. Впрочем, относительно самой операции в медицинском сонме произошло разногласие, — надо делать ее или не стоит, так как положение Алексеева было все равно безнадежно. Тогда Склифосовский решил принять на себя ответственность за дорогую для Москвы жизнь и обратился к супруге покойного с такими самоотверженными словами:

— Александра Владимировна! Как медик, я прямо говорю вам, что не надеюсь на счастливый исход этой операции. Но она — единственное, что мы можем еще испробовать на «пан или пропал». И как человек, как христианин, я считаю своим долгом ее сделать.

Что касается Клейна, он категорически отказался от участия в операции, по его мнению, бесполезной, так как безнадежности положения она устранить не могла. Он даже

* Младшие боги (*лат.*). О лицах, занимающих видное, но не первенствующее положение.

принципиально не присутствовал в комнате, когда больного положили под нож, — пройти перед загробными мытарствами мытарство операционное.

Остроумов был приглашен к Н.А. Алексееву уже после операции. Говорят, он предсказал голове скорое выздоровление. Но, вероятно, это был обычный прием московского фауматурга — бодрить больного до последнего издыхания, чтобы, как выразился однажды сам А.А. Остроумов, «он хоть помер-то в свое удовольствие».

Я не был знаком с Алексеевым в его частной жизни и личных впечатлений от него вне залы заседаний не имею. Слухов было и есть множество, но слухи всегда — или сплетни врагов, или безудержные дифирамбы друзей. Что Алексеев был человеком очень добрым, за это ручается его широкая благотворительная деятельность. Через его руки русская беднота получила свыше трех миллионов пожертвований. Когда дело касалось благотворительности или общеполезного предприятия, Алексеев умел обуздывать даже свое громадное самолюбие. Ему нужны были 300 000 руб. на психиатрическую больницу.

— Я тебе, голова, их дам, только ты мне в ноги поклонись... — говорит Алексееву самодур купчина, бывший приказчик отца Алексеева.

— Изволь, кланяюсь! — отвечает Алексеев — и поклонился.

Как хотите, смейтесь или не смейтесь над этим поклоном, а он, по-своему, похож на знаменитое: «Париж стоит одной мессы», — как сказал веселый французский король Ганрио.

Алексеев стоял слишком на виду как общественный деятель, чтобы до общества доходило много слухов о его частной и семейной жизни. Он на людях жил и в деле, точно в котле, кипел. Жил широко, знал делу время и потехе час, слыл вивером на большую ногу... Но, когда роковая пуля

Адрианова поразила его, первая мысль Алексеева была о семье, о жене...

Н.А. Алексеев был человеком более чем богатым — одним из крупнейших московских капиталистов. Своим собственным коммерческим делом он распоряжался мастерски. Приемы ведения коммерческого дела он отчасти переносил и в дела общественные. Город под его рукою стал как бы крупным коммерсантом, положившим свои судьбы на страх и риск Алексеева, как своего приказчика на отчете, но с полною доверенностью от хозяина. И я думаю, что капитал и здравое ведение личных дел играли не последнюю роль в том доверии, с каким шла за Алексеевым купеческая и мещанская масса. «Мол, этого на кривой не объедешь... Человек коммерческий, солидный, все пути и выходы знает. Слово у него твердое, на репутации никакой «марали» нет, кредит — что у Купеческого банка. Стало быть, можно ему и в деле поверить, и деньжатами его на дело ссудить; потому — уж эти денежки будут чистые, никуда опричь того, на что требуются, — не попадут». Алексеев был не из тех, кто гоняется за дешевою, но громкою и рекламною филантропией. Он и в благотворительности был прежде всего делец и практик. Бестолкового швырянья деньгами, как своими, так и общественными, на дела, скрывающиеся под маскою благотворительности, он терпеть не мог. Он не понимал грошовой милостыни, крохотных подачек, которых польза лишь в том одном, что несчастный человек продолжит на какие-нибудь лишние сутки агонию своего несчастья, а затем должен впасть в еще пущее прежнего отчаяние пред своею злополучной судьбой, — впасть, к удивлению и даже к негодованию грошовых филантропов: «Помилуйте! Ведь только что помогли человеку! Чего же он, неблагодарный, жалуется?!» Девизом алексеевской филантропии было: «Уж помогать так помогать!» Так помогать, чтоб человека сразу на ноги поставить — «к месту его определить и счастие его составить». Словом, все,

что на здравый взгляд и практическую сметку Алексеева стоило помощи, получало эту помощь в размерах, поистине, грандиозных. В таких случаях Алексеев не щадил своих собственных средств и, кликнув клич по городу, собирал громадные суммы, с миру по нитке... Масса, которая ему верила в слове и деле, охотно верила ему и в рублях. Городу был нужен дом для умалишенных, — и город оглянуться не успел, как Алексеев преподнес ему миллион, точно роем пчел с ветру налетевший, — возникла Канатчикова дача. С каким упрямством и из каких кряжей умел Алексеев выбивать деньгу, свидетельствует лучше всего, только что рассказанный мною, анекдот о пресловутом поклоне Алексеева в ноги своему бывшему приказчику за пожертвование в 300 000 рублей. Алексеев — и исключительно он один — настойчивый виновник пожертвования 750 тысяч рублей, результатом которого явился Баевский дом призрения. Это — все рублями, презренным металлом, но, под влиянием и давлением Н.А. Алексеева, город получил еще подарок, никаким презренным металлом не оценимый: благодаря ему, Москва сделалась центром русского искусства. Он как душеприказчик С.М. Третьякова настоял на том, чтобы пожертвованная покойным городу Третьяковская галерея передана была в городское ведение теперь же, без всяких условных отсрочек и промедлений. Я лишь один раз слышал, как умело Алексеев призывал своим красноречивым словом к благотворительности внимающую ему толпу. Это было после страшного пожара на Бабьем городке. Хорошо говорил. Без всяких вычур, патетических возгласов, сентиментальных картин, расчета на слезу слушателя, просто, кратко, деловито, но таким убежденным тоном и проникнутым недавними тяжелыми впечатлениями голосом, что каждому ясно становилось: бедствие громадное; спорить о нем нечего; Бог помог не вовсе пропасть, — стало быть, люди должны докончить помощь, указанную им Провидением. А тут еще лич-

ный пример: «Жертвую пять тысяч целковых!» Московский купец довольно равнодушен к общественной деятельности и гражданским обязанностям, но ревнив к чести своего капитала. «Али у нас денег нет?» И там, где Алексеев клал тысячу, его капиталистические ровни старались либо идти вровень с ним, либо перешибить его жертвенною деньгою. А мизинные торговые люди тоже раскошеливались более пропорционально состоянию, чем это делалось обыкновенно при других благотворительных затеях других менее авторитетных филантропов.

Став во главе города, Алексеев восемь лет, можно сказать, буквально с Москвою «жизнью одною дышал». Работал он совершенно бескорыстно, — больше того, в огромный убыток своему купеческому карману. Его единственным жалованьем была честь служить Москве. В сущности говоря, алексеевские капиталы были громадною кредитною кассою, откуда город в затруднительных случаях мог всегда черпать средства своею рукою-владыкою без отдачи. Алексеев любил представительство. Приезжают французские моряки — банкет: фирма города, деньги из кармана Алексеева. Вирхов, конгрессисты, всякие высокоторжественные открытия, все, что хоть сколько-нибудь было связано с именем города и в чем город обязан был принять праздничное участие, — все это оплачивал Алексеев. Празднества он понимал не иначе, как на самую широкую и блестящую ногу. Недаром же после него московский городской голова Рукавишников, состоятельный не менее Алексеева, не выдержал сопряженных с этою должностью трат и, отбыв коронацию, отказался от должности; а Дума, в январе 1897 года, вотировала было крупный куш городскому голове на представительство, от чего в свою очередь отказался вновь избранный голова князь Голицын. Говорят, будто это было у Алексеева популярничаньем, актом купецкого самолюбия, старым «моему ндраву не препятствуй» и «чего моя

нога хочет» в новой, цивилизованной версии. Но ведь этак все и вся можно объяснять, включительно до миллионов, собранных, как я изложил выше, Алексеевым для города. Что нам до того, какими мотивами созидались дома для умалишенных, больницы, богадельни, училища, раз они созидаются? Лучше иметь себялюбивые мотивы и совершать общеполезные дела, чем, подобно раку на мели, сидеть без осязательной радости для себя и других, но с самыми возвышенными и самоотверженно-альтруистическими началами где-то в тайниках души. Вера без дел мертва есть, но дела жизнеспособны и без веры. Мы живем в такое бедное благородством время, когда приходится считаться с фактами налицо, а не с призраками, предположительно стоящими за спиною этих фактов.

— Факт есть вещь, а мотивы — беллетристика, — говорил мне по этому поводу один умный думец, принципиальный и рьяный оппозиционер Алексеева в течение всех восьми лет его «лорд-мэрства». — Я Алексеева не люблю, систему его градоправления считал и считаю тяжелою и для большинства стеснительною. Но что он принес городу массу пользы, — разве слепой и глухой будут спорить. А затем, кому он этою пользою хотел сделать добро, себе или другим, — городу, собственно, решительно безразлично.

— В нем был значительный процент алкивиадовщины, — говорил мне другой оппозиционер Алексеева. — Любил-таки покойник, чтобы о нем кричали, и не одной собаке отрубил на своем веку хвост ради молвы. Но ведь, правду сказать, кто из людей с талантом влияния на толпу не страдал алкивиадовщиной? Алексеев родился на свет с задатками народного трибуна. Он, как говорит Пушкин, «в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес...» У нас из него вышел только боевой городской голова, превосходно приспособленный для всяческого рода грызни, когда за город, когда надо — против. Человек — с ртутью в жилах вместо крови, все толкающий,

все будящий, предписывающий, — словом, полно и широко живущий. Его пульсы бились в такт с пульсами общества, и этой заслуги у него никто никогда не отнимет.

Дума постановила увековечить память Алексеева портретом в стенах думского здания, им воздвигнутого. Его написал Савицкий и, к сожалению, не очень похоже: художник схватил только внешнюю щеголеватость покойного городского головы, не схватив души, жившей под его холеною внешностью. Но, каков бы ни был портрет, он своего рода монумент, которому трогательная надпись, возвещающая потомству о безвременной гибели «солдата, убитого на своем посту», придает особенно веское значение. Но памятников по Москве Алексееву и без того не занимать стать. Он сам их воздвиг себе. О нем кричит каждая московская улица в каменном поясе Садовой. Он ее облагообразил и украсил. Куда ни взглянешь — видишь здание, тесно связанное с именем московского гражданского героя. О нем напоминают москвичу грандиозные бойни, одни из лучших, если не лучшие в Европе, городские ряды, и размерами, и красотою далеко оставившие за собой петербургский Гостиный двор и с невероятной быстротою выросшие на месте старых, чуть не допетровских развалин и гнилушек. Он оставил Москве в наследство водопровод; еще год — и это наследство было бы увеличено канализацией. Тридцать новых городских училищ, Канатчикова дача, Баевский дом призрения, новая Дума... куда ни повернись, — Алексеев, Алексеев и Алексеев. Точно тень его невидимкою летает по Москве, ища приюта в созданиях рук своих!..

Когда был убит Алексеев, я за фельетоны о его смерти попал во мнении многих, читающих, но не дочитывающих, имеющих уши слышати, но не слышащих, в разряд врагов городского самоуправления, в поклонники и проповедники системы «хозяйского кулака», которым покойный Николай Александрович временами, действительно, сжимал Думу так, что она пищала.

Нет, это неправда. Поклонником кулака я никогда не был. Но есть для общественного деятеля качество еще хуже деспотической склонности к кулачной системе управления: это — когда ему не хватает этой энергической смелости, что города берет и Алексеевых создает, смелости, что может втащить деятеля порою в превышение власти, в скачок за черту прав и полномочий, но зато находит себе вечное и резонное оправдание в классическом «победителей не судят». Есть два способа развязывать запутанные узлы: или терпеливо сидеть над ними чуть не целые дни, теряя и золотые силы, и золотое время на черную и мелочную работу, или, наоборот, рвать и рубить их с размаху. Алексеев принадлежал к людям последнего типа. До него московские вопросы напоминали здание, окруженное столь сложною массою лесов, что из-за них и самого здания не видать. Идет день за днем, леса все растут да растут, здания за ними все не видать да не видать, так что оно чуть ли не делается в представлении публики мифом. Говорят, мол, будто есть не только видимые леса, но и самое здание, а — правда ли это, нет ли, выстроится ли когда-нибудь здание, освободится ли от лесов, будет ли в состоянии красоваться без них, — кто его знает! Около московских думских дел налипали, как вредный тормоз, массы мелочей, мелочишек, привязок, прицепок, проволочек, нужных и ненужных формальностей и уж бесспорно ненужной многоглаголивой болтовни. Со смертью Алексеева, умевшего тиранически сводить дебаты гласных к нулевому знаменателю, мелочная система толков, пересудов, переживаний и пережевываний возродилась в лице своих многочисленных поборников и сторонников, имевших удовольствие уцелеть в Думе, пережив «алексеевский террор». У меня долго хранилась карикатура на алексеевские заседания. Н.А. Алексеев сидит, потрясая огромным звонком, и поминутно прерывает И.И. Шаховского, Катилину тогдашней думской оппозиции, ораторствующего в пользу каких-то приютов.

Шаховской. Господа гласные! Слезы вдов и сирот...

Алексеев (звонит). Пожалуйста, без меланхолии-с!

Шаховской. Город, как пеликан, питающий кровью своею птенцов своих...

Алексеев. И без аллегории-с!

Шаховской. Но, господин голова, принципы городского самоуправления...

Алексеев. И без конституциев-с... в особенности!!! *)

Не знаю, состоит ли г. Шаховской гласным московской Думы в настоящее время. При Алексееве он был в ней очень заметен. В качестве противника и систематического оппозиционера покойный Алексеев мог узнать Шаховского лучше, чем кого бы то ни было, во время борьбы за канализационный заем. Тогда Шаховской остался едва ли не последним бойцом оппозиционной армии после того, как «иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою». Я живо помню, как на последнем заседании, посвященном этому вопросу, Шаховской горячо говорил против отсрочки рассмотрения протеста интеллигентной оппозиции на конец заседания, тогда как обещано было поставить этот вопрос на очередь первым. Алексеев слушал Шаховского с тем равнодушно-смиренным и несколько лукавым видом, с каким выслушивал он все вообще возражения в вопросах, им давным-давно предрешенных бесповоротно и безапелляционно. А, выслушав, хладнокровно указал на законное основание своего поведения и предоставил Шаховскому, если ему угодно, занести свое заявление в протокол заседания.

---

*) Весь этот диалог был выдуман мною, а карикатуру рисовал Чемоданов. Не помню, почему она не появилась в «Будильнике», для которого предназначалась: тогда, впрочем, московская цензура уничтожала всякий намек на «личность». Анекдот же распространился и укрепился в обществе. До такой степени, что впоследствии мне случалось в совершенно серьезных воспоминаниях об Алексееве читать его, как передачу будто бы в самом деле бывшего факта. 1912.

Проживи Алексеев еще несколько лет, и московское хозяйство, вероятно, было бы им налажено настолько, что и впрямь могло бы идти дальше по инерции, путем самоуправления, на что не было в состоянии ни до Алексеева, ни при нем, ни по нем. Алексеев смотрел на городское управление, как на огромное частное хозяйство, требующее бесконечных практических нововведений и улучшений. Он переломал и заново выстроил пол-Москвы. Он умер на пороге к исполнению грандиозных планов: под многими из них посейчас кряхтят его преемники, потому что смерть Н.А. Алексеева, погасив его энергию, обессилила Думу. Это одна из печальных сторон систем правления, опирающихся на одну талантливую личность. Раньше Алексеева Москва имела уже такой опыт с Н.Г. Рубинштейном: после него ее превосходная консерватория сразу захудала на целые десять лет. Тем не менее скажу снова: коллегия, конечно, вещь хорошая, но коллегия коллегии рознь, и когда речь идет о том, чтобы наладить практическое общеполезное дело, я, конечно, предпочту, чтобы во главе коллегии стоял человек энергичный, хотя бы иной раз и самовластный, чем бесхарактерный мямля, как бы закономерны ни были его действия. Кулак — слово страшное, но... право, даже кулак лучше мямленья и распущенности, какими ознаменовываются в нашем отечестве почти все общественные дела и затеи. Как ни дик и груб был Собакевич, а все же у него и народ был сыт, и мебель в кабинете стояла прочная, а у гуманнейшего Манилова люди перебивались с хлеба на квас, и рядом с изящным шандалом, украшенным перламутровым щитом, ставился на стол засаленный кухонный медюк-инвалид. А то был еще такой полковник Кошкарев, что разорил и себя, и своих крестьян единственно потому, что задался целью цивилизовать их по всем правилам бюрократического прогресса с «главными счетными экспедициями», «комитетами сельских дел», «комис-

сиями построений» и т.д., что было ненавистно покойному Николаю Александровичу: он был равнодушен к краснобайству, презирал бумагу и ценил только живое, быстро и непосредственно творимое дело. Вот точка зрения, с какой Алексеев был и остается незаменимым человеком, особенно в Думе своего времени, — вялой, пустословной, всецело разменявшей деятельность на болтовню о пустопорожних общих местах. До Алексеева Московская дума изобиловала Кифами Мокиевичами; уж и за то спасибо Алексееву, что он извлек из обращения этих последних, вместе с их утомительными разглагольствованиями. Начнет, бывало, человек об ассенизации, перескочит к принципам самоуправления, а кончит недоумением, почему слон не родится из яйца. Именно уж — и аллегория, и меланхолия, и тонкий букет самоневиннейших дешевеньких «конституциев», с оглядочкою и кукишем в кармане.

Как было мудрено и трудно уживаться с ними, доказывают распространившиеся перед убийством Алексеева слухи о нежелании его оставаться на посту городского головы. Он ссылался именно на усталость и недовольство думскою оппозицией, — правда, пассивною, но, бесспорно, вполне состоятельною до смерти надоесть энергическому, умному, живому человеку, желающему добра и процветания города. Прежде чем он повертывал к благу колесо городского хозяйства, ему каждый раз ухитрялись подсунуть между спицами несколько палок, которые Алексееву приходилось сломать ранее, чем завертеть колесо. Бесцельные, нелепые, тупые, близорукие тормазы выплывали наружу, как масло сверх воды, буквально при всяком благом начинании Алексеева: при всех его стройках, сооружениях и проектах, кончая оппозицией канализационному городскому займу. Алексеев всегда выходил из борьбы победителем, но — сколько энергии ему приходилось истрачивать непроизводительно в этих схватках. Не говорю уже о досаде, какую, есте-

ственно, должен был испытывать он как человек умный, дальнозоркий и практический, возясь с армией кротов-метафизиков, которые, стоя перед лицом насущных запросов и злободневных потребностей, наивно бросались в теоретические отвлеченности, тонкое претенциозное умничанье и самолюбивые споры, с красноречием ради красноречия. «Единовластие», введенное Н.А. Алексеевым в думские дела, было тогда необходимо, так как надо же было кому-нибудь дело делать. А у нас — либо спали, либо переливали из пустого в порожнее в бесконечных дебатах «не об том», как говорил кто-то из героев И.Ф. Горбунова.

Но алексеевские порядки возможны и терпимы лишь при том условии, чтобы в их формы влагалось и алексеевское содержание. Кулак может оправдывать себя лишь тем, что, разжимаясь, он приносит пользу, благотворит и благодеет. Мы видели, что алексевский кулак был именно таков: он никого не задавил, но многих осчастливил.

Помню, как разыгрывалась серия алексеевских инцидентов по вопросам о бойнях и канализационном займе. Заседание 19 мая 1892 года привлекло массу публики. Центром его программы предполагалось разбирательство протеста двадцати трех членов оппозиции против чересчур произвольного разрешения городским головою вопроса о семимиллионном городском займе.

Члены оппозиции играли в этой истории, при всей благонамеренности своих притязаний, довольно комическую роль. Наскучив бесконечными и бесплодными прениями по канализационному вопросу, безрезультатно вращавшемуся в области — «с одной стороны, надо признаться, но, с другой, нельзя не сознаться», — городской голова, в один прекрасный день, воспользовался отсутствием в думском заседании членов оппозиции, чтобы провести роковой вопрос. В это самое время оппозиция совещалась в трактире большого Московского товарищества, насупротив думы, о средствах

противодействия займу, в частности, и алексеевской гордыне вообще. Увы! возвратившись в думу, они могли спеть, как Оффенбаховские жандармы:

«Nous arrivons toujours trop tard, trop tard, trop tard...» *

Канализационный вопрос был уже раскушен Н.А. Алексеевым, как орех, ядро вынуто и съедено, скорлупа брошена в угол. Оппозиция убедилась, что она прокушала на бутербродах семь миллионов рублей — во-первых, а во-вторых, ее стали дразнить с тех пор «трактирной субкомиссией».

С этого дня начались протестующие отдельные мнения и заявления гласных о самоуправстве городского головы, а также отказы от звания гласного. Ушли из Думы М.П. Щепкин, А.Н. Маклаков, К.Ф. Одарченко; Дума всех благодарила за прежнюю деятельность, но никого не удержала. Алексеев кланялся, говорил два-три прочувствованных слова на тему «прощенья просим... ходите почаще, без вас веселей», и тем дело кончалось. Газеты, хотя и не в полном комплекте, но все-таки в большинстве, высказались за оппозицию и порицали поведение городского головы. Но — «не страшили его громы газетные, а думские держал он в руках»! Многих из членов оппозиции я знал как людей умных, честных, благожелательных и благонамеренных; самоуправство мне принципиально антипатично, и потому явился я слушать думское заседание, настроенный скорее против Алексеева, чем за него, но вышел из заседания под совершенно другим впечатлением. Не то что Н.А. Алексеев убедил меня, как и всю остальную публику, в закономерности и справедливости своего поведения. Он никого ни в чем не убеждал; напротив, снял острый вопрос с очереди, перевел его с первого места на последнее, так что многие гласные, наскучив ожидать прений, поразъехались. Потребное для «постановки вопроса» число

---

* «Мы всегда приходили слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно...» (*фр.*)

гласных 90 оказалось в недочете. Пришлось перенести вопрос на следующее заседание, чего председателю и хотелось.

И.И. Шаховской потребовал:

— Объясните мне, господин городской голова, на каком основании нарушили вы установленный порядок заседания? Закон предписывает точное исполнение предназначенной программы... Я протестую и прошу занести мои слова в журнал.

На это Алексеев ответил весьма хладнокровно:

— Занести в журнал можно. Отчего не занести? Что же касается до объяснения, то и объяснить можно. Порядок заседаний устанавливается председателем и есть его исключительно дело. Так я поступал, поступаю и намерен поступать впредь. Объявляю заседание закрытым.

Словом, человек самым дерзким образом бросил в глаза почтеннейшей публике свое «как хочу, так и делаю!» Sic volo, sic jubeo! и подтвердил все устные и печатные речи о нем. И тем не менее опять скажу, публика осталась на его стороне, а не стала за «униженных и оскорбленных» думцев. Почему?

Обаяние Н.А. Алексеева на толпу строилось прежде всего на положении: «Кто ясно мыслит — ясно излагает». Этот человек не мудрствовал лукаво и не любил цветов красноречия. Он был понятен массе, как никто другой в Думе, и производил впечатление человека, который один во всем заседании всегда точно знает, какого ответа он хочет по тому или другому вопросу. Это придавало его речи характер глубокой, даже страстной убежденности. У него был ясный практический ум, светлая голова, необыкновенно приспособленная к тому, чтобы, отбросив от дела детали, загораживающие его суть, выжать из вопроса сок, как из лимона, и в краткой, энергической, порывистой форме резюмировать положения, пригодные иному словоохотливому оратору для двухчасовой речи. Таким образом, масса все время слышала Алексеева говорящим только дело и привыкла думать,

что он попусту слов не тратит. С подобными ораторами можно не соглашаться, но вы никогда не оставите их без внимания. Так как дела и вопросы, городским головою выдвигаемые, были всегда полезны городу и симпатичны в принципе, то, раз они из области прений переходили в реальное бытие масс, в сущности, было безразлично, соблюдались ли при этом переходе права представителей городского самоуправления. Она видела больницы, школы, лечебницы, бойни, чудесные новые городские здания: это факты, а не сны. Наглядное дело заслонило умозрительные отвлеченности. Москва знала, что без Алексеева не удовлетворила бы многих своих потребностей еще долгие годы и оставалась совершенно равнодушна к вопросу о законности большинства, разрешившего экстренно поднятые им насущные вопросы. То же самое и с вопросом канализации. Однажды у Н.А. Алексеева вырвалась фраза в том смысле, что все думские дебаты только пустая потеря времени, потому что решать дело будут не говоруны, а молчаливые гласные, давно уже составившие свое мнение, и разрешат они вопрос баллотировкой — не более как в пять минут. Фраза опять довольно автократическая, если сообразить, что молчаливые гласные в большинстве шли за городским головой и составляли его боевую силу. Впечатление ума и талантливости Н.А. Алексеев оставлял в каждом, кто видал его во главе заседания. Он был очень эффектным председателем, иногда, пожалуй, даже немножко театральным. Он импонировал заседанию своей молодецкой фигурой, мужественным лицом — чисто московского, купеческого, хотя и обкультуренного типа, своею нервностью, когда его отвлекали от дела пустяками, и выдержкою, когда на сцене проходили серьезные темы. Затем, он был лучшим оратором Думы, хотя между ее langues bien pendues * были языки, более приспособленные к источению

* Прекрасно подвешенным языком (*фр.*).

красивых слов, чем язык Н.А. Алексеева. Но одна вещь — Цицерон с языка, другая — Демосфен. Когда говорил Цицерон, римский форум щелкал языками от удовольствия и восклицал: «Нет в мире человека, который бы говорил лучше, чем этот Марк Туллий!» Когда же говорил Демосфен, афиняне забывали выразить одобрение красноречию Демосфена, но кричали: «Война Филиппу!» — что и требовалось доказать. Говорит кто-нибудь из гласных цицеронов, — молчаливое большинство частью позевывает, частью одобряет: хороший штиль, — видно, что наукам обучался! Говорит Алексеев, — никто о facon de parler * его не думает, но, когда он кончал речь, молчаливое большинство гуртом шло к баллотировочному ящику и клало шары за алексеевское предложение.

Оратором-громовержцем я Н.А. Алексеева не слыхал, хотя бывали случаи, когда, в раздражении, он принимался «орать» на собрание... и, увы! не находилось никого, кто бы дернул его за фалду!

Юмор, немножко грубоватый, но едкий и меткий, также имелся в его арсенале. Помню, как-то раз речь шла о холодильной машине, приобретенной городом для боен и уже принятой от Доброва и Набгольца, исполнителей заказа. Между тем машина оказалась негодною или, как говорили в заседании техники-специалисты, полугодною: она была не дурна для сжатия воздуха, но не годилась для охлаждения его. Говорено было на эту тему очень много и убедительных, и горячих слов, но все эти слова не касались сути дела, скользили по его поверхности.

— Позвольте, — сказал Алексеев, — я не техник и подробностей машинного дела не понимаю. Да заседание не для подробностей и собрано. Господа члены технической комиссии говорят, что машина негодна?

— Полугодна.

---

* Стиль речи (*фр.*).

— Значит, негодна. Полугодную машину мы не заказывали. Заказывали годную. Вернуть ее Доброву и Набгольцу.

— Они не примут.

— А у нас их залог есть; мы из залога шесть тысяч рублей удержим.

— Я бы желал знать, зачем понадобилась эта машина? — уязвил кто-то из техников.

— Затем, что техникам свойственно увлекаться, — нравоучительно заметил Алексеев, — чего кажется проще: набил погреб льдом, — и охлаждай телятину сколько угодно. Но у техника явилась идея о холодильной машине. Что же, опыт интересный, смета позволяла, — заказали машину. Принимаем. Хороша машина? Техник в восторге. Он добился исполнения своей идеи и доволен. Приходят другие техники с другими идеями и говорят, что машина негодна или полугодна, что, опять-таки повторяю, по-моему, значит негодна. В конце концов, мы, благодаря техническим увлечениям, принуждены или приобрести новую машину, или... все-таки набить погреб льдом, когда Бог зиму пошлет.

Н.А. Алексееву давало значительный перевес над большинством его оппонентов между прочим и то обстоятельство, что он всегда знал, к каким выводам и какими путями будут гнуть его противники, строя практику по предвзятой теории; они же его путей и выводов предвидеть были не в состоянии, как нельзя вообще предвидеть путей и выводов человека, если его мысль работает не по кодексу теоретических отвлеченностей, но в подчинении живым запросам насущных практических интересов, гибких и легко изменчивых по требованию обстоятельств. Алексеев играл с Думою всегда наверняка, зная наизусть все ее карты, а свою сдачу он держал закрытою и крепко зажав ее в кулаке. Так играл и выигрывал. И так слагалась думская эпоха, которую одни зовут «золотым веком московского самоуправления», а другие, наоборот, — «алексеевским террором».

1896—1901

ВАСНЕЦОВСКИЕ БОГАТЫРИ

Под славным городом, под Киевом,
На тех на степях на Цицарских,
Стояла застава богатырская:
На заставе атаман был Илья Муромец;
Податаманье был Добрыня Никитич млад;
Есаул — Алеша, поповскии сын...

Богатырская застава стоит, как живая, изваянная могучею рукою Васнецова. Сказав «изваянная», я не ошибся словом: гигантские фигуры «Богатырей» производят на меня впечатление именно скульптурной группы, — они лезут с полотна, выпирают в зал... Так и ждешь — вот-вот загрохочут тяжелые конские копыта, забряцают кольчуги и загремит над толпою зычный, звонкий оклик:

Вор, собака, нахвальщина!
Зачем нашу заставу проезжаешь?
Атаману Илье Муромцу не бьешь челом?
Податаманью Добрыне Никитичу?
Есаулу Алеше в казну не кладешь
На всю нашу братью наборную?

Богатырь-мужик, богатырь-дворянин и богатырь-попович — вся сила земская — заслонили Русь от кочевников, напиравших на нее с юго-востока, через те самые степи Цицарские, — то есть кесарские, былые византийские, — где встречаем мы васнецовских богатырей. Мимо них к Киеву «лютый зверь не прорыскивал, быстра птица не пролетывала». Стоят они службою честною и бескорыстною. Это удивительная черта былин русских — чистота побуждений, увлекающих витязя на подвиг, и строгая нравственная выдержка их в течение самого подвига. Бой богатырский — честь, которую былины предоставляют лишь витязям, не способным увлечься ни алчностью, ни тщеславием, ни женщиною, имеющим ха-

рактер прямолинейно долбить в одну точку, не глядя по сторонам, какие бы соблазнительные узоры ни были кругом них расписаны страстями плотскими. Кто идет на бой, не отрешась от соблазнов мира сего, не имеет удачи. Так и теперь, когда зазрили богатыри «в поле чернизину», и оказалась чернизина эта — весьма грозною и опасною силою...

Еще что же то за богатырь ехал?
Из этой земли из Жидовские.
Проехал Жидовин, могуч богатырь
На эти степи Цицарские!

Под именем Жидовской земли былина подразумевает, конечно, не Палестину и евреев, но степное Козарское царство в низовьях Волги, с главным становищем — городом Итилем. О козарах армянские историки упоминают еще во II веке по Р.Х. Византийцы узнали козар в VII веке, под именем восточных турок. VIII и IX век — заря русской истории — эпоха могущества козар. Они вышли к Черному морю и, распространяясь на юг, подчинили себе большую часть Тавриды, а на севере обложили данью славянские племена. Картину славянской самостоятельности в эти века летописец изображает таким распределением: «Брали дань варяги из-за моря на чуди, славянах новгородских, мери, веси, на кривичах, а козары брали на полянах, северянах, радимичах и вятичах». В конце IX века варяжская Русь начинает оттеснять козар, занятых борьбою с напором нового кочевого врага с востока — дикого тюркского племени печенегов. По летописи, Олег отнял у козар дани с северян и радимичей, приняв эти племена под свой протекторат. В 913 и 914 году козарский каган разрешил русским судам пройти Доном и Волгою для набега на Каспий, но на обратном пути руссы были вырезаны мусульманской и христианской партиями населения козарской столицы Итиля. Святослав от-

воевал у козар вятичей и отомстил за недавние поражения руссов страшным набегом на Дон, Волгу, Кавказ, разграбив обе козарские столицы — Белую Вежу на Дону и Итиль на Волге, а также богатейший город Семендер, лежавший между Волгою и Дербентом, близ нынешнего Тарху. Описания этого города современниками свидетельствуют, что в козарском царстве пользовались равноправием все религии: христианская, иудейская, мусульманская и языческие культы. Каган козарский исповедывал иудейскую религию, но гвардия его была мусульманская. Большинство населения держалось закона Моисеева. Отсюда и былинное — Жидовин, земля Жидовская. Известная легенда об испытании Владимиром трех религией для выбора новой веры — вариант совершенно такой же более ранней легенды о козарских каганах с тою разницею, конечно, что в последней победа остается за иудейскою религей, а в нашем варианте — за христианством. Под печенежским, а затем половецким напором козарское царство пало. По разрушении его козары еще долго существовали как отдельная, хотя уже несамостоятельная, народность и играли значительную роль в судьбах Тмутараканского княжества (на Азовском море) — обычного прибежища русских «изгоев» в княжеских усобицах XI века. В 1023 году они помогли Мстиславу-богатырю разбить при Листвене Ярослава с союзными ему варягами. В 1079 году изменою убили своего союзника Романа Святославовича и выдали Византии брата его Олега. По образу жизни козары были народ полуоседлый: имели города, но большинство народонаселения жило в кибитках либо в глиняных мазанках, и только у кагана были высокие кирпичные хоромы. В летнее время козары вели кочевую жизнь нынешних степных башкир или киргизов. Так что тот «Жидовин, могуч богатырь», о котором поет легенда, есть козарский богатырь, выехавший барантовать, искатель приключений, разбойник и рыцарь, абрек. Еще недавно закубан-

ские степи кишели подобными наездниками, и казацкие станицы берегли от них новую Россию, как богатырские заставы берегли старую Русь. В сербском языке слово «жид» означает «великан», «богатырь». Как унизительная кличка еврея оно в Сербии неведомо. Русский «жид» — по-сербски «чифути».

На заставе богатырской есть кому помериться с нахвальщиком трех старших богатырей: есть Васька Долгополый, есть Гришка Боярский сын, витязи от купечества и знати. Но ни того ни другого не пустил в погоню за нахвальщиком «большой богатырь Илья Муромец»:

Неладно, ребятушки, удумали;
Гришка рода боярского:
Боярские роды хвастливые;
На бою, драке призахвастается,
Погибнет Гришка понапрасному.

Сам Алеша Попович отстранен атаманом от поединка с пришельцем, потому что

Алеша — рода поповского;
Поповские руки загребущие,
Поповские глаза завидущие.
Увидит Алеша на нахвальщике
Много злата, серебра;
Злату Алеша позавидует,
Погибнет Алеша понапрасному.

И в конце концов — «положили на Добрыню Никитича».

Алеша Попович так и вышел у Васнецова — с глазами завидущими, с руками загребущими. Это детище Левонтия, старого ростовского попа соборного, в былинах и сказках русской старины славится не столько силою и мужеством, сколько сметкою, увертливостью, ловкостью, умением раззудить противника до белого каления — до того, что какое-

нибудь простоватое Идолище Поганое или Тугарин Змеевич так вот и бросится на несносного шпыня, очертя голову, как бык на красный платок... «а в те поры Алеша увертлив был» — Идолище с размаху и грянется оземь дурак-дураком, и погибнет от собственной своей силы. Алеша и надуть врага не прочь, и сзади на него напасть, притвориться глухим, подманить к себе неприятеля, а потом, не говоря худого слова, хвать его шелепугою по голове или саблею по шее. В открытый бой он «едва жив идет», но напасть из-за угла либо спешить вершника издали стрелою — нет его удалее. Он и у Васнецова уже схватился за лук, и все его красивенькое, умное, притворно-скромное лицо трепещет нетерпением, точно он думает про себя: «Эх, право! И чего мешкают старшие братья? Заспорили тоже, кому идти на нахвальщика... Пустили бы меня, уж я бы ему, сукину сыну, подвел штуку... Да, вишь, не пускают, черти! Им бы — все по-старому, напролом валить... А я бы с Жидовином живо управился: либо стрелою его ссадил бы, либо прикинулся бы каликою перехожим, да, покуда Жидовин мне милостыньку творит, я бы и пырь его, чем ни попадя...»

Лицо хитрое, но влекущее; глаза лицемерные, но заманчивые; плут страшный, но прелюбопытный малый. Он и щеголь великий — Алеша, и бабий прелестник, и у князя в чести, как лукавый советчик; а между товарищами-богатырями, хотя и душа человек, но они знают: пальца в рот ему не клади, — откусит!.. В домашнем богатырском обиходе, в терему Владимировом только и видишь: либо Алеша у Добрыни жену чуть не увел; либо Алеша смущает Володимера на чужую жену и учит, как извести ее мужа, либо Алеша исполняет какое-нибудь гнусное поручение княгини Апраксеевны. У калики перехожего Касьяна-богатыря, — этого русского Иосифа Прекрасного, который имел несчастье полюбиться княгине, особе по мужской части вообще довольно слабой, но не ответил ей взаимностью, — Алеше велят «про-

резать суму рыта бархата, запихать бы чарочку серебряну», чтобы потом обвинить упрямого красавца в покраже из княжеского терема. Алеша по внешности изящен, знает, как надо держать себя, даже не прочь поучить других манерам, но, — говорят былины, — «вежество в нем нерожденное». Он любит, когда можно, забыться, повластвовать, повеличаться над низшими: грубая природа сквозит под напускным лоском. Князю и богатырям он льстит, а на калик перехожих орет, обличает их ворами-разбойниками, за что и калики не постеснялись с ним расправиться по-мужицки: «сдирали с Алеши штаны бархатны, напихали клюками... досиня». В щеголеватом богатыре Васнецова чувствуется и его «нерожденное вежество». Алеша молодец в своем наряде витязя, под доспехом, но снять с него доспех да одеть его в подрясник, так и дьяконок из него выйдет хоть куда — ядовитый дьяконок, из лесковских типов, что на своего попа каждую неделю архиерею доносы пишет и за то запрещаем бывает, но все не унимается, ибо язвительность его сильнее его самого; что, славя Христа по приходу, при дележе яиц, раз десять их перечтет, а уж о деньгах и говорить нечего: и дьячка разует, и к просвирне в карман слазит, не спустили ли туда какого пятака из общего дохода. Помню, когда я впервые читал «Бурсу» Помяловского, мне пришло в голову, что его богатыри — плуты, вскормленники бурсы, юноши страшной силы и страшной безнравственности, Аксютка и Ipse, он же Сатана, — весьма и весьма древние люди, имеющие первородича еще в былинной старине. И рыжая лошадка Алеши — немножко поповская; она пожиже и битюка исполина, что под мужиком Ильею, и кровного белого степного конька, что дворянин Добрыня Никитич выездил под «седельце черкасское»; и покормил ее Алеша хуже: из трех лошадей она одна тянется к подножному корму, — так бы и сжевала молодую поросль промеж седого ковыля...

Многие находят, что Добрыня из трех богатырей удался Васнецову менее других. Дело в том, что богатырь, которого мы привыкли встречать в былинах с эпитетом «Добрыня Никитич млад», у Васнецова — человек уже средних лет, почти готовый перейти в разряд пожилых. Былины дают нам довольно подробную биографию Добрыни: три года он при Владимире стольничал, три года приворотничал, девять лет чашничал, а потом влюбился в Маринку-еретницу, которая обернула его туром золотые рога и водила в таком нелепом образе тоже довольно значительное время; затем Владимир услал его — от молодой жены — «вырубить чудь белоглазую, перекрошить сорочину долгополую, а и тех черкесов пятигорских, и тех калмыков с татарами, чукчи бы все и алюторы». Занимался этою международною резнею Добрыня целых двенадцать лет. И затем уже встречаем мы его богатырем на степных заставах, во лугах Цицарских, либо на Сафат-реке — в момент васнецовский. При таких условиях слово «млад» приложимо скорее к юному, кипучему, истинно рыцарскому сердцу Добрыни, чем к его годам, а следовательно, и к наружности. Из всего нашего богатырства, Добрыня — наиболее близок к западному рыцарству. Сближают его с последним и обильные романические его похождения. Добрыня — образец честной, мужской души, женолюбивой, страстной, привязчивой и доверчивой, а потому и вечно обманутой, вечно страдающей от бабьего легкомыслия и коварства. То у Добрыни любовница повяжется с змеем Горынычем, а его самого оденет в тура золотые рога, то жена Добрыни идет от живого мужа замуж за Алешу Поповича. Всюду является он женским защитником от налетного зла. То и дело приходится ему колотить многоголовых змеев и отнимать у них прекрасных пленниц. Даже мать свою случилось Добрыне выручить из подобной же беды. Но женщины честному Добрыне благодарностью не платили, а поступали с ним весьма подло: Добрыня — первый

российский страдатель из-за женщины. А между тем был он молодец хоть куда: и богач, и красавец, и рода высокого, молился по-ученому, поклоны клал по-писаному, ходил в посольство к королю литовскому и царю Батыю, не имел равного ни в борьбе, ни в стрельбе и даже так прекрасно играл в шашки, «в тавлеи вальящеты», что совсем осрамил и «запер» царя Батыя...

Первую тавлеюшку царь ступил,
Другую тавлеюшку Добрыня Никитич млад;
Третью тавлеюшку царь ступил
Четвертую Добрыня Никитич млад;
Больше царю ступить некуда;
Та игра была проиграна!
(Былина о Василии Казимировиче)

Но — явление обычное: при всех достоинствах, ему не везло — именно, может быть, потому, что было слишком много достоинств, а Маринкам-еретницам и княгиням Апраксеевнам нужны были мужчины попроще, более грубой мысли и чувственного уклада, и потому-то обставлял и опережал Добрыню Алеша Попович — как впоследствии Молчалин обставил и опередил Чацкого у Софьи Павловны Фамусовой.

На васнецовской картине Добрыня уже оставил позади все эти личные вспышки и страдания. Суховатое, длиннобородое лицо его — лицо дружинника, воина при исполнении долга. В нем есть что-то северное, норманское. Он похож на рыжебородого Тора, с которым, к слову сказать, сближают его иные мифологи. На чудной, белой лошадке своей он сидит как наездник, которого никакая сила не сбросит с седла; ему удобно на коне как дома; да уж и лошадка же под ним! Маленькая, сравнительно с соседом-исполином, конем Ильи, нервная, нетерпеливая, она ловит степной ветер раздутыми ноздрями, насторожила уши, глаза весело играют, копыта топотят по розоватым бессмертникам и зеленым елочкам, — так

бы вот и ринулся в степной простор, скача через ручьи и балки, взлетая на холмы и курганы... Ей и скакать, впрочем, сейчас: не кому другому, а Добрыне Никитичу — ехать на нахвальщика; он уже, не глядя, — именно домашним, — движением привычного рубаки, вынимает из ножен широкий тяжелый меч, а сам, как степной орел, воззрился в пространство на далекую «чернизину»; и только копье атамана, опущенное перед самою мордою Добрыниной лошади, — оттого она и вздернула голову с такою нервною дрожью, — задерживает удалой скок богатыря.

Атаман не торопится. Сиднем просидев в молодости тридцать лет, он обучился терпению и хладнокровию.

«Погоди... погоди... дай-ка-сь поглядеть, какой-такой там еще нахвальщик!», — говорит он, всматриваясь из-под руки в зеленый развал степи, — между тем как Добрыня полон сосредоточенным негодованием и потребностью мщения:

Мы что на заставушке устояли?
Что на заставушке углядели?
Мимо нашу заставу богатырь уехал!

Страшную силу придал Васнецов огромному, дородному Илье: так и гнет сверхчеловеческий груз широкую спину битюка; конь-великан вместе со всадником-великаном как бы вросли в землю — инда копыта в нее погрузли. Илья — старый казак, стар-матер человек; страшные мускулы его жиром подернуло; кольчуга облепила его торс и стальными перегибами лоснится на складках. Этот гигант — действительно «большой богатырь», «старший» всего своего атаманства; он родился на границе мира человеческого и стихийных таинств, когда только устроилась крещеная земля. Не диво ему никакой нахвальщик: он знавал и Святогора-богатыря, которого «мать-земля не держала», и от него, из гроба, принял дух богатырский; глушил и Соловья-разбойника; избивал целые рати татаровей, ухватив татарина за ноги...

А и крепок татарин — не ломится!
А и жиловат собака — не изорвется!
Оторвалась башка татарская, —
Убила татаровей счету нет...

За ним — огромное прошлое подвигов, ничуть не убавивших его грозной силы. Он и сейчас бы, как при первом посвящении его в богатыри каликами перехожими, — «кабы столб от неба до земли, так всю бы землю повернул!» Сила эта — разумная, себя сознающая, а потому и не спешная, и не хвастливая. Вон он — васнецовский Илья: держит руку у глаза и даже не замечает, что на локте у него повисла на свободном отвесе «палица боевая» — «она весом та палица девяносто пуд». Добрыня-дворянин поскачет сражаться первым, как дружинник княжеский, как представитель военного сословия. А Илья, напутствовав его в дорогу, останется спокойно на заставе богатырской, как сила земская, до которой последняя очередь доходит, — когда не в мочь людям служилым управиться с одолением вражеским.

Не под силу окажется нахвальщик Добрыне, — тогда скажет Илья:

Больше некем заменитися:
Видно, ехать атаману самому! —

и, с тем же страшным спокойствием свыше дарованной силы, двинется, как туча, на своем вороне-коне погоню за обидчиком. И, куда бы нахвальщик ни уехал, Илья догонит, потому что в минуты опасности общественной его конь-тяжеловес, — выпряженный под богатырское седло из-под той мужицкой сошки, которою пахал землю Микула Селянинович, носитель тяги земной, мирный крестьянин — победитель странствующего рыцаря-завоевателя, могучего норманна Вольги Святославича, — «его ворон-конь осержается... от земли от-

деляется... делает выходы на десять верст, делает выскоки на сто верст». Ни к чьему богатырству русская былина не относится с такою благоговейною любовью, как к Илье Муромцу: его сила — нездешняя, ею напоили его Христос с двумя апостолами, о ней «написано у святых-отцов, удумано у апостолов». Илья — представитель мира на земле, обусловленного страшною силою, которая никого без толку не трогает, но которую и самое не дай Бог никому тронуть! — представитель земского духа и единства. Первое впечатление, как взглянешь на васнецовского Илью близорукими глазами, — ой какой суровый! Но чем больше и долее вглядываешься, тем яснее выступает из-под строгости наружной природная доброта и сердечность богатыря, тем мягче и теплее смотрят его иссера-голубые глаза. На вас, из-под шишака, смотрит мужик Марей Достоевского, тот «народ», великий терпением и силою любви, что стряс с плеч нашествие татарское, нашествие польское, нашествие дванадесяти язык. Ни Шуйский — Алеша Попович, ни Ляпунов и Скопин — Добрыни не в силах были спасти Русь от гибели в пору Смутного времени, когда от наезда иноземной нахвальщины —

Сыра мать земля всколебалася,
Из озер вода выливалася,
Под Добрыней конь на коленца пал.

Народ — Илья, поднятый Мининым, сам спас свою самостоятельность. Не легко дался ему подвиг и в эту пору, и в позднейшие лихолетия наши. И Русь падала в бою, и ее нахвальщики сиживали на груди у нее, с «чинжалищем булатным», как сидел на груди у Ильи богатырь земли Жидовской, и над нею издевались:

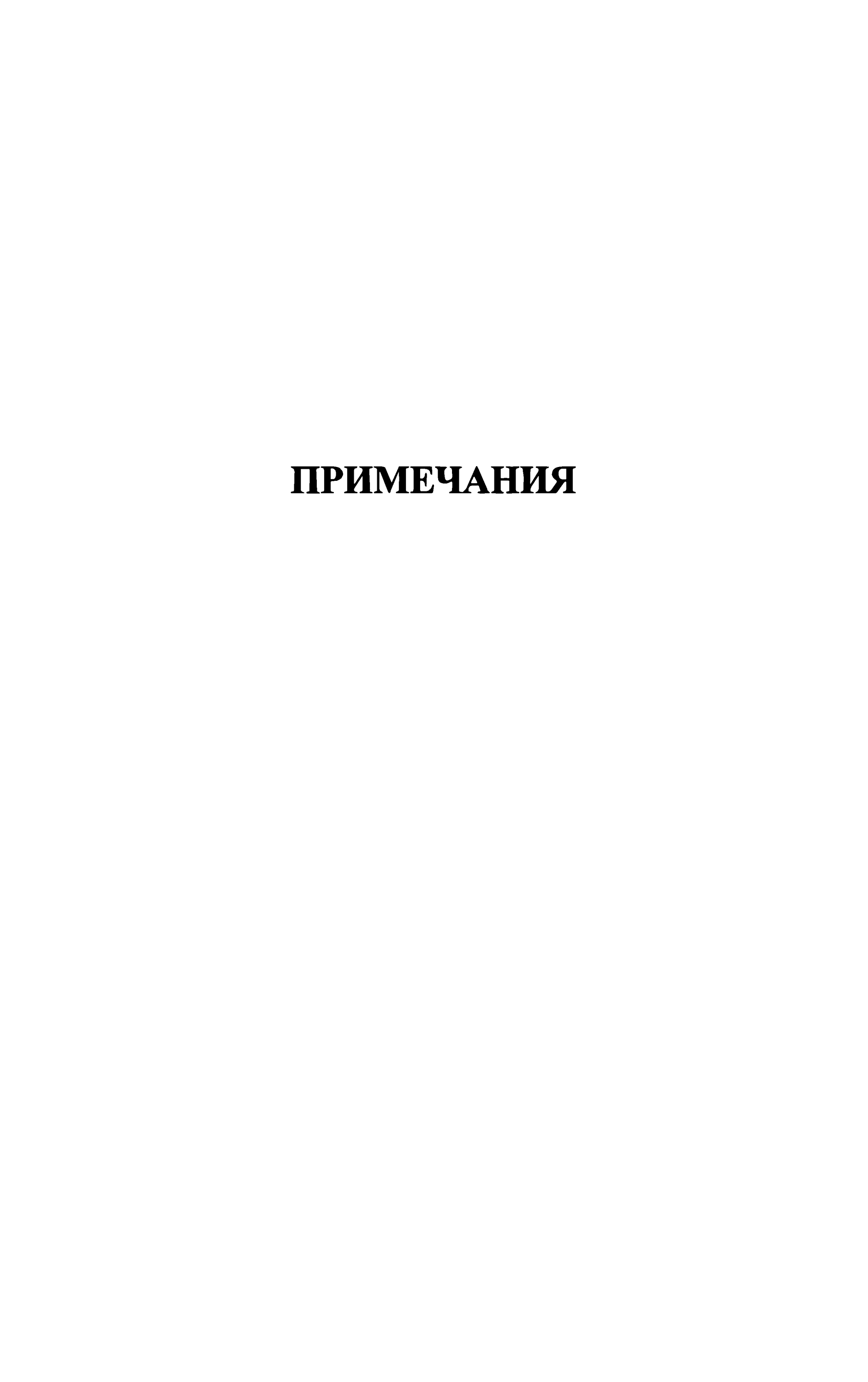
Старый ты старик, старый матерый!
Зачем ты ездишь во чисто поле?

Даже сам павший народ порою терялся, сомневаясь в своих силах и в своем жребии, — как опрокинутый нахвальщиком Илья размышлял в свой смертный час:

Да, неладно у Святых Отцов написано,
Неладно у Апостолов удумано:
Написано было у Святых Отцов
Удумано было у Апостолов:
Не бывать Илье в чистом поле убитому;
А теперь Илья под богатырем!

Но — «лежучи, у Ильи втрое силы прибыло», и справился он с нахвальщиком и по плеча отсек буйну голову... Это — нижегородское ополчение после тушинского стана, Полтава после Нарвы, Отечественная война — после Аустерлица, освобождение крестьян — после Севастополя и освободительная народная буря после трагедии Японской войны...

1898—1906



ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ[*]
(Роман)

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 11. Концы и начала. Хроника 1880–1910 гг. Серия первая. Восьмидесятники. Роман. Изд. 3-е. СПб.: Просвещение, <1911>.

Посвящение — Александру Ивановичу Чупрову (1842–1908), экономисту, статистику и публицисту, члену-корреспонденту Петербургской академии наук (1887), одному из основоположников отечественной статистической науки, автору многих трудов, а также учебников по статистике, организатору переписи населения Москвы в 1882 г.

От автора. К третьему изданию

С. **8.** ...*касается не Аредовых времен...* — Имеется в виду время правления царя Иудеи Ирода I Великого (искаж. Аред; ок. 73–4 до н.э.), которому приписывается «избиение младенцев» во время рождения Иисуса Христа.

...*Москва узнала в Стиве Облонском губернатора Перфильева...* — Современники Л.Н. Толстого считали губернатора Москвы В.С. Перфильева прототипом Стивы Облонского, героя романа «Анна Каренина».

С. **9.** *Гедоническая философия* — направление, основанное Аристиппом из Кирены (называется также философией киренаиков). Рассматривает радость, удовольствие, наслаждение как мотив всего нравственного поведения человека.

Клио — в греческой мифологии олимпийская муза истории.

---

[*] Сведения о реальных лицах, упоминаемых в романе, вынесены в указатель имен (см. т. 6).

С. **9.** ... *«литератор Кармазинов».* — Пародийный образ «великого писателя» из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» (1871–1872), в котором угадывается И.С. Тургенев, нигилист и «европеец»-космополит.

...воспоминания беллетристки Починковской о Глебе Успенском... — О. Починковская — один из псевдонимов журналистки В.В. Тимофеевой, автора очерка о Г.И. Успенском.

...«Иринарх Плутархов» г. Ясинского? — Роман И.И. Ясинского «Иринарх Плутархов» (СПб., 1890).

Елисеев — в семинаристе Ракитине? — Публицист Г.З. Елисеев — сын сельского священника, ставший профессором Казанской духовной академии, автором работ по истории христианства.

С. **10.** *...смешение областей Wahrheit und Dichtung...* — Т.е. правды и вымысла, правды и поэзии. Источник терминологического понятия — название мемуаров Гёте «Dichtung und Wahrheit» («Поэзия и правда»). «Правдой» Гёте называл сохранившиеся в его памяти *факты*, а «поэзией» — *истолкование* этих фактов.

«Пугачевцы» (1874) — исторический роман Е.А. Салиаса о восстании Емельяна Пугачева.

«Господа Головлевы» (1875–1880), *«Пошехонская старина»* (1887–1889) — роман и цикл сатирических рассказов и очерков М.Е. Салтыкова-Щедрина.

КНИГА 1. РАЗРУШЕННЫЕ ВОЛИ

Молодо-зелено

С. **12.** *Журфикс* (от фр. jour-fixe определенный день) — день, отведенный для приема гостей.

С. **14.** *Небесских мигдалов хце!* (Польск. niebieskich migdalo chcie!) — Жаждет воздушных замков; витает в облаках.

С. **15.** ...*«Е.А.Р. своею кровью начертал он на щите».* — Пародийная компиляция из стихотворения А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829). У Пушкина: «*Ave, Mater Dei* кровью // Написал он на щите».

Отвергла Евлалия // Баронову руку... — Неточная цитата из «Немецкой баллады» (1854) Козьмы Пруткова.

С. 16. *...сухопарым Мефистофелем...* — Мефистофель — герой опер «Фауст» Ш. Гуно и «Мефистофель» А. Бойто, написанных на сюжет трагедии Гёте «Фауст».

С. 17. *Демон* — герой одноименной оперы (1872) А.Г. Рубинштейна на сюжет поэмы М.Ю. Лермонтова.

С. 19. *...бросил деньги у «Яра» на гитару цыганке...* — «Яр» (открыт в 1826 г.) — самый популярный в XIX в. московский ресторан, в котором выступали лучшие цыганские ансамбли, в том числе знаменитый хор Ильи Соколова.

С. 20. *...тогдашнего газетного диктатора Каткова...* — Газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник» М.Н. Каткова являлись активной политической силой, пользовались популярностью среди читателей прежде всего благодаря яркой публицистике редактора, страстно выступавшего против фанатичного нигилизма шестидесятников, против «разрушительного очернительства» в произведениях Н. А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Г.И. Успенского и беллетристов-народников. По свидетельству современника, Катков-публицист «давал всему тон» (А.Ф. Будберг).

С. 21. *Скопчество* — приверженцы религиозной секты (конец XVIII в.), отделившейся от хлыстов. Спасением души считали борьбу с плотью, путем оскопления (кастрации) мужчин и женщин.

С. 23. *...ни в Маковские, ни в Некрасовы не собирался.* — Т.е. не собирался быть ни художником, как братья К.Е. и В.Е. Маковские, ни поэтом, как Н.А. Некрасов.

С. 25. *...вместе с Ионою сердился на Бога, зачем Он... пощадил... Ниневию.* — Эпизод из Библии: ветхозаветный пророк Иона предсказывает гибель столицы Ассирии Ниневии, погрязшей в грехах. Однако бог Яхве простил ниневийцев, узнав о том, что они раскаялись и начали поститься. Огорченный и раздраженный милосердным повелением Бога, Иона молит его о ниспослании себе смерти (Книга пророка Ионы, гл. 3 и 4).

С. 32. *...вроде Чурилы Пленковича или Дюка Степановича...* — Чурила Пленкович (Щакленкович) — фольклорный богатырь-красавец, неженка и франт, женский угодник, живший в окрестностях Киева. Дюк Степанович — в киевском цикле былин богатырь, приехавший из-за моря.

С. 33. *...как у Ленского в «Гамлете»!* — Александр Павлович Ленский (1847–1908) — выдающийся исполнитель ролей в пьесах Шекспира.

С. **35.** *Трефоль* (трифоль) — настой или отвар трилистника (разновидности клевера).

С. **38.** *«Рогнеда»* — опера А.Н. Серова.

«Фауст» — опера Ш. Гуно.

С. **39.** *Маргарита, Марта* — героини оперы Гуно «Фауст».

С. **40.** *Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...* — Первая строка одного из самых популярных стихотворений (без названия) С.Я. Надсона.

С. **42.** *...поэты! Платон желал изгнать их из своей «Республики»...* — В своем совершенном государстве Платон предлагает установить строжайший отбор и оценку, т.е. цензуру произведений поэтов: «Поэт творит призраки, а не подлинное бытие, — а потому, утверждает философ, — надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет — отвергнем» (диалог «Государство»).

С. **43.** *Гончаров замолк после «Обрыва».* — Третий роман И.А. Гончарова, который он считал лучшим, стал для него последним: писатель болезненно воспринял оскорбительную критику «Обрыва» (1869) в лагере революционной демократии (статьи с несправедливо обидными заголовками: «Талантливая бесталанность» Н.В. Шелгунова, «Псевдоновая героиня» М.К. Цебриковой, «Уличная философия» М.Е. Салтыкова-Щедрина и др.).

Тургенев провалился с «Новью»... — Роман И.С. Тургенева «Новь» (1877) вызвал ожесточенную полемику, о нем писали, что это лишь «почтенные зады передового когда-то учителя, повторяемые с примесью какой-то старческой, порою несколько утомляющей болтливостью» (Г.А. Ларош // Голос. 1877. 6 января). Резко отрицательные суждения о «Нови» опубликовали М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой.

Островский исписался до жалости. — В 1870-х гг. А.Н. Островский пережил озлобленные нападки прессы. Газеты писали: «Не то прискорбно, что г. Островский написал слабую пьесу, а то, что в ней он изменил своему таланту... Это не художество, а жалкая подделка под него...» (Голос. 1870); «Он пережил свой талант» (Новое время. 1872); «О, г. Островский! Отчего вы не умерли до написания “Поздней любви?”» (Гражданин. 1873). В этих оскорбительных отзывах отразилось непонимание и неприятие новаторского народного теат-

ра, создаваемого великим драматургом. В разгар газетной шумихи он создавал («исписавшийся!») свои шедевры: «Лес» (1870), «Снегурочка» (1873), «Волки и овцы» (1875), «Бесприданница» (1878), «Таланты и поклонники» (1881), «Без вины виноватые» (1883).

С. **48.** *...«сам свой высший суд»...* — Из стихотворения А.С. Пушкина «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной...»; 1830).

С. **50.** *Тургенев... на пушкинском обеде он не принял тоста Каткова.* — Эпизод на Пушкинском празднике (1880), описанный, в частности, А.Ф. Кони. Когда на торжественном обеде, устроенном Московской городской думой, консерватор М.Н. Катков, жаждавший примирения с либералом И.С. Тургеневым, произнес «тонкую и умную речь, законченную словами Пушкина: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!..» — большинство — временно примиренное — двинулось к нему с бокалами. Чокаясь направо и налево с окружавшими, Катков протянул через стол свой бокал Тургеневу... Тургенев отвечал легким наклонением головы, но своего бокала не протянул. Окончив чоканье, Катков сел и во второй раз протянул бокал Тургеневу. Но тот холодно посмотрел на него и покрыл свой бокал ладонью руки. После обеда я подошел к Тургеневу одновременно с поэтом Майковым. "Эх, Иван Сергеевич, — сказал последний с мягким упреком, — ну, зачем вы не ответили на примирительное движение Каткова? Зачем не чокнулись с ним? В такой день можно все забыть!" — "Ну, нет, — живо отвечал Иван Сергеевич, — я старый воробей, меня на шампанском не обманешь! "» (Кони А.Ф. Тургенев // Собр. соч.: В 8 т. М., 1968. Т. 6. С. 314).

С. **52.** *...сами в Дерпте шалили?.. Об Языкове забыли, о Соллогубе забыли...* — Студенческие годы поэта Н.М. Языкова и прозаика В.А. Соллогуба проходили в Дерпте, где они (в разные годы) учились в университете.

С. **55.** *...играть Виктора Крылова?* — После дебютного спектакля «Против течения» (1865) в петербургском Александринском театре В.А. Крылов стал «модным» развлекательным драматургом, чьи пьесы (их около 120) входили в репертуар столичных и провинциальных театров.

Александринка — старейший в России Александринский драматический театр (Санкт-Петербург, 1756); ныне Российский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.

С. **55.** *«Светлый-то луч в темном царстве»!* — См. критико-аналитическую статью «Луч света в темном царстве» (1860) Н.А. Добролюбова о драме А.Н. Островского «Гроза».

«Сорванцы» торжествуют, «Чудовища»! — Названы пьесы В.А. Крылова.

Инженюшки — наивные простушки (от фр. ingenue). Также амплуа актрис.

Жантильность — жеманство, кокетливость.

С. **56.** *«Овечий источник»* («Фуэнте Овехуна»; 1619) — пьеса Лопе де Вега. Роль главной героини Лауренсии М.Н. Ермолова избрала для своего первого бенефиса в Малом театре.

«Утес» — стихотворение А.А. Навроцкого «Утес Стеньки Разина» («Есть на Волге утес...»; 1870), ставшее популярной песней (на музыку положено Навроцким, А.Г. Рашевской и др.).

«На пороге к делу» (1879) — комедия Н.Я. Соловьева.

С. **57.** *И я буду Лонину играть!* — Вера Лонина — сельская учительница из комедии «На пороге к делу»; эту роль первой сыграла М.Н. Ермолова.

С. **58.** *Финь шампань* (фр. vin champagne) — сорт шампанского.

С. **59.** *...княгини Трубецкие и Волконские... дивные наши «Русские женщины»...* — Княгини Е.И. Трубецкая и М.Н. Волконская — жены декабристов, героически последовавшие за мужьями в сибирскую ссылку; героини поэм Н.А. Некрасова «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М.Н. Волконская» из цикла «Русские женщины».

...Волконская... в Крыму с Пушкиным... — С семьей генерала Н.Н. Раевского, в том числе и с его дочерью М.Н. Волконской, Пушкин подружился в Екатеринославе во время южной ссылки в мае 1820 г. Заболевшего поэта Волконские взяли с собой сперва на Кавказ, а потом в Крым.

...пушкинскою Татьяною и Лизою Тургенева... — Татьяна Ларина — героиня романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Лиза Калитина — героиня романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо».

С. **60.** *Цецилия* (ум. 230) — святая, христианская мученица; покровительница музыки.

С. **62.** *Литературный реминиссанс* (реминисценция) — содержащийся в произведении отзвук, отголосок другого литературного текста.

С. **62.** *Рудин* — герой одноименного романа И.С. Тургенева.

С. **64.** *...не желаете быть Дан-те-сом...* — Ж.Ш. Дантес, убийца А.С. Пушкина.

С. **64.** *Глазки и лапки! Лапки и глазки... как у дамы, приятной во всех отношениях...* — Дама, приятная во всех отношениях, — персонаж поэмы Гоголя «Мертвые души» (т. 1, гл. 9). Однако о ситце, на котором «полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полосочку всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки...» рассказывает «просто приятная дама».

С. **65.** *Мазик* — биллиардный кий с тупым наконечником, облегчающий удар и делающий его более точным.

С. **67.** *Штосс* — азартная карточная игра.

С. **69.** *Эос* — в греческой мифологии богиня утренней зари.

Валансьен — сорт кружев (от названия города во Франции).

Посконь — ткань из пеньки, используемая для пошива грубой одежды (например, рабочих роб).

С. **70.** *Нирвана* — в буддизме состояние высшего блаженства; погрузиться в нирвану — обрести полный покой, отрешиться от жизненных забот.

Профит (фр. profit) — барыш, выгода, прибыль.

...две тысячи куртажных! — Куртаж — вознаграждение за посредничество в сделке.

С. **73.** *Серсо* — игра, в которой надо поймать палочкой, наподобие шпаги, легкий обруч, перебрасываемый партнером.

С. **76.** *Анна Каренина* — героиня одноименного романа Л.Н. Толстого.

С. **78.** *Контральто* — низкий женский голос.

«Иветта» — новелла Ги де Мопассана, давшая название сборнику (1885).

С. **81.** *Одинокая Мальвина* — героиня романса «Мальвина» («С тех пор, как ты пленен другою...»; 1808), известного в переводе В.А. Жуковского (песня из одноименного романа французской писательницы М.С. Коттен; 1770–1807).

«Аида» — опера Дж. Верди.

С. **87.** *Горацио* — персонаж трагедии Шекспира «Гамлет» (1603).

«Гугеноты» — опера Мейербера по роману П. Мериме «Хроника времен Карла IX».

С. **90.** *Ильин день* — православный праздник в честь пророка Ильи; отмечается 20 июля (2 августа).

...Лазаря ты мне не пой!.. — «Петь Лазаря» — канючить, попрошайничать. Лазарь — библейский персонаж, нищий, больной и бедный из притчи Иисуса Христа о богаче и Лазаре (Евангелие от Луки, гл.14, ст. 18–31).

С. **92.** *Тогенбург* — герой баллады Ф. Шиллера «Рыцарь Тогенбург» (1797), известной в России в переводе В.А. Жуковского.

Антоний Египетский (Великий; ок. 250 – ок. 355) — основатель монашества из Фиваиды, аскет-пустынник, проживший более ста лет.

Манон Леско — героиня романа А.Ф. Прево «История кавалера Де Гриё и Манон Леско» (1731). На сюжет этого шедевра мировой литературы написаны балет Ф.Ж. Галеви (1830), оперы Д.Ф.Э. Обера (1856), Ж. Массне (1884) и Дж. Пуччини (1892).

Мессалина (ок. 25–48 н.э.) — третья жена римского императора Клавдия, казненная им за распутство и заговор против него.

С. **93.** *...как Магадева с баядеркою...* — Магадева — великий дева; прозвище индийского бога Шивы. Баядерки — так европейцы называют индийских танцовщиц и певиц, состоящих при храмах или при увеселительных заведениях. Им посвящен знаменитый балет Л.Ф. Минкуса «Баядерка», впервые поставленный 23 января 1877 г. в петербургском Мариинском театре.

С. **95.** *...«смешивать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа!»* — Неточная цитата из «Горя от ума». У А.С. Грибоедова: «А смешивать два эти ремесла // Есть тьма искусников, я не из их числа».

С. **99.** *Аорист* (греч. aoristos) — здесь в знач.: отсталый, сторонник прошлого, устаревшего. В грамматике греческого и старославянского языка — особая форма прошедшего времени.

Классик — здесь в знач.: сторонник классических гимназий, в которых особое внимание уделялось изучению латыни, древнегреческого языка и античной литературы.

С. **101.** *Пугача помнишь?* — Имеется в виду Е.И. Пугачев, предводитель казацко-крестьянского восстания 1773–1774 гг.

Купель Силоамская — святой источник в Иерусалиме у подножья горы Сион, водой которого Иисус Христос исцелил слепого.

Alma mater

С. **103.** *«Большая барыня»* (1852) — роман В.А. Вонлярлярского.

С. **108.** *Alma mater* (лат. кормящая, питающая мать) — почтительное название студентами своего учебного заведения, а также места, где кто-то воспитывался, получал знания.

С. **110.** *...великих преобразований, окруживших святое 19 февраля 1861 года...* — Имеются в виду реформы, проводившиеся Александром II во всех сферах государственной и общественной жизни России после отмены крепостного права в 1861 г. Эти либерально-конституционные преобразования после серии террористических актов, приведших к гибели многих государственных деятелей во главе с Царем-освободителем, были остановлены его преемником Александром III, опубликовавшим 29 апреля 1881 г. Манифест о самодержавии.

С. **111.** *Татьянин день* — 12 (25) января. В этот день в 1755 г. Екатерина II подписала Указ об учреждении Московского университета. С начала XIX в. отмечается как студенческий праздник.

С. **114.** *...колотили по мозгам Ходобаем и Курциусом...* — Имеются в виду учебники Ю.Ю. Ходобая (обработка для русских гимназий грамматики латинского языка Ф. Шульца) и Георга Курциуса по греческому языку.

С. **116.** *...его студенческое курсовое сочинение об Аполлонии Тианском...* — Заканчивая Петербургский университет, Д.И. Писарев взял обязательство за 2–3 месяца написать кандидатскую диссертацию, предложенную М.М. Стасюлевичем. К удивлению сокурсников, считавших это обязательство пустой бравадой, Писарев слово сдержал: написал работу объемом 15 печ. листов и получил серебряную медаль. Диссертация «Аполлоний Тианский. Агония древнего римского общества, в его политическом, нравственном и религиозном состоянии» была напечатана в «Русском слове» (1861. № 6–8).

С. **118.** *...«Бывали хуже времена, но не было подлей...»* — из поэмы А.Н. Некрасова «Современники» (Ч.1. Юбиляры и триумфаторы).

С. **119.** *...покаялись в своем дворянстве, и вышло девятнадцатое февраля.* — 19 февраля 1861 г. было отменено крепостное право.

С. **121.** *Лев Толстой, потрясенный книгою Бондарева, беседами Сютаева...* — Т. М. Бондарев — крестьянин-сектант, книгу которого «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство» (1906) Л.Н. Толстой издал в «Посреднике» со своим предисловием. Василий Кириллович Сютаев (1819–1892) — крестьянин-сектант, с которым общался Толстой.

С. **122.** *Баня пакибытия* — святое крещение, в водах которого омывается первородный грех и человек возрождается к новой жизни. Пакибытие — духовное возрождение, обновление духа.

...«усмиритель» Игнатьев... — Имеются в виду «усмирительные» меры, принятые министром внутренних дел Н.П. Игнатьевым после убийства террористами Александра II, в частности «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» (1881), Закон о политическом надзоре (1882), временные правила о евреях (1882; после еврейских погромов, охвативших семь губерний).

«Разбойник Чуркин» — уголовный роман Н.А. Пастухова, печатавшийся в его газете «Московский листок» в 1882–1885 гг. и дважды изданный книгой (т. 1–4).

...«двух станов не боец, но только гость случайный». — Первая строка стихотворения (1858) А.К. Толстого. Финальные строки звучат так:

...Не купленный никем, под чье б не стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

«Голос» (1863–1883) — газета, издававшаяся в Петербурге А.А. Краевским.

С. **123.** *«Новое время»* (1868–1917) — официозная петербургская газета (с 1876 г. издавалась А.С. Сувориным и его сыновьями).

«Народовольцы» были истреблены. — Террористы «Народной воли» совершили восемь покушений на Александра II (был убит 1 марта 1881 г.). Четверо цареубийц во главе с организатором А.И. Желябовым были повешены.

Лев Тихомиров подписал просьбу о помиловании... — Историк и публицист Л.А. Тихомиров в молодости входил в партии террористов «Земля и воля» и «Народная воля». В 1888 г. добился по-

милования, возвратился из эмиграции и стал редактором газеты «Московские ведомости», автором монографии «Монархическая государственность».

С. 123. *...отрекались... с поспешностью и энергией Симона-Петра.* — Святой апостол Петр (Симон) в решительный момент жизни Иисуса Христа отрекся от него, хотя за три дня до этого клялся, что готов жизнь положить за него. После этого «горько плакал» и был прощен. Петр стал одним из главных вождей христианской общины и страстным проповедником Христова вероучения, за что был жестоко казнен римским императором Нероном: его распяли, повесив вниз головой вместе с апостолом Павлом. Память великомучеников чтится 29 июня (12 июля).

С. 124. *Элоквенция* (лат.) — ораторское искусство.

Базаров... просил: «О, друг мой, Аркадий Николаевич, не говори красиво!» — Из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».

С. 128. *...от катковского лицея...* — См. примеч. к с. 142.

Михаил Никифорович — Катков.

С. 131. *...к Леонтьеву в Троицу на поклонение...* — В 1887 г. К.Н. Леонтьев поселился в Оптиной пустыни, где принял тайный постриг. Здесь его навещали Л.Н. Толстой и друзья. В конце августа 1891 г. Леонтьев переехал в Троице-Сергиеву лавру, где 12 ноября скончался.

...принимают «изыде» за Изиду. — Изида (Исида) — в египетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, семейной верности, богиня мореплавания.

С. 132. *...«Ночь тиха, пустыня внемлет Богу», — а на груди — «звезда с звездою говорит».* — Цитируются строки стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...».

С. 133. *Антиминс* (греч. anti вместо и лат. mensa стол, т.е. «вместопрестолье») — четырехугольный плат с изображением положения Иисуса Христа во гроб, орудий его казни и четырех евангелистов по углам с их символами, обязательная часть престола, без которой литургия не проводится.

С. 134. *Антидор* (греч. вместодарие) — части просфоры (см. примеч. к с. 597).

...картина, — Мясоедова или Верещагина, что ли? — «Французы в Кремле»... — Картина В.В. Верещагина из его цикла об Отечественной войне 1812 г.

С. **135.** *Тартюф* — герой комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (пост. 1664), лицемер-святоша.

...Фауст или Вагнер какой-нибудь в реторте высидел. — Фауст и Вагнер — герои оперы Ш. Гуно «Фауст».

С. **137.** *...перед ивановским «Явлением Христа народу» в Румянцевском музее...* — А.А. Иванов работал над монументальным полотном «Явление Христа народу» с 1837 по 1857 гг. Румянцевский музей существовал в Москве в 1862–1925 гг. Он был создан на основе коллекций графа Н.П. Румянцева. После ликвидации музея его фонды были распределены между Третьяковской галереей, Музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве и Эрмитажем в Петербурге. Картина Иванова ныне находится в собрании Третьяковской галереи.

...крестилась, проезжая мимо Иверской... — Имеется в виду часовня иконы Иверской Богоматери у Воскресенских ворот Красной площади.

«Четверть века назад» — Роман Б. Маркевича, популярный в 1860-е годы.

...Верою Павловною из «Что делать?», Валентиною из «Гугенот» или Маргаритою Готье из «Дамы в камелиях»? — Имеются в виду персонажи из романа Н.Г. Чернышевского, оперы Мейербера, романа («Дама с камелиями») и пьесы А. Дюма-сына (на этот сюжет Верди написал оперу «Травиата»).

Кошмарный дом

С. **139.** *...как ирокезская бабища пленного делавара...* — Ирокезы, делавары — группы индейских народов в США и Канаде.

С. **140.** *Введение* (Введеньев день, Введение во храм Богородицы) — один из 12 главных праздников православной церкви, посвящаемый торжественному вступлению трехлетней Марии (будущей матери Иисуса Христа) в Иерусалимский храм (пример ревностного приобщения к вере). Отмечается 21 ноября (4 декабря).

С. **142.** *Лицей цесаревича Николая* (Катковский) — среднее учебное заведение, открытое в Москве 13 января 1868 г. издателями и публицистами М.Н. Катковым и П.М. Леонтьевым в память о скончавшемся наследнике престола Николае Александровиче (1843–1865).

С. **145.** *...в рекреационной зале...* — Рекреация (лат. recreatio — восстановление) — помещение для отдыха.

С. **146.** *Годунова* Ксения Борисовна — царевна, дочь царя Бориса, красавица, невеста сына шведского короля Эриха XIV– Густава (не захотел отказаться от протестанства и своей возлюбленной, был отвергнут и умер в Угличе), датского принца Иоанна (умер до венчания) и других претендентов на ее руку, так и не вышедшая замуж. После смерти отца попала в руки Самозванца и была им обесчещена, затем удалена в Белозерский монастырь, где стала монахиней под именем Ольга. После восшествия на престол Василия Шуйского была вызвана в Москву для участия в торжественном перенесении останков ее родителей и брата в Троице-Сергиеву лавру. Затем жила в Новодевичьем монастыре. Скончалась во Владимире и похоронена, согласно ее желанию, рядом со своей семьей.

Ругоны — герои 20-томной серии романов Эмиля Золя «Ругон-Маккары».

С. **151.** *Я на вас в комиссию прошений...* — Комиссия прошений — высшее государственное учреждение, находившееся в ведении императора. Комиссия рассматривала жалобы на решения дел высшими судебными и правительственными органами, прошения о помиловании, наградах, различных проектах, даровании дворянства. Доносы в Комиссии не рассматривались, а передавались лицу, которого они касались, или в Третье отделение.

С. **155.** *...на закате ...тюильрийских дней...* — Тюильри — резиденция французских королей в Париже, сгоревшая в дни Парижской коммуны (1789–1794).

С. **156.** *...никаких «удольфских таинств»...* — «Удольфские тайны» (1794) — один из романов ужасов английской писательницы Анны Радклиф (1764–1823), основоположницы готического жанра.

С. **161.** *Йоркшир* — порода свиней (йоркширская, по названию графства в Англии).

Между сестрами

С. **167.** *Милая Федра! У вас будет преуступчивый Ипполит!* — Имеется в виду греческий миф о Федре, второй жене афинского царя Тесея, влюбившейся в своего пасынка Ипполита. Отвергнутая

им, Федра покончила с собой. Этот сюжет в положен в основу трагедии Еврипида «Ипполит».

С. **167.** *Зимний мясоед* (Рождественский) — с 25 декабря (ст. ст.) до Масленицы (перед Великим, предпасхальным постом), когда христианам разрешается есть мясную пищу.

С. **170.** *...заткни фонтан! Дай отдохнуть и фонтану!..* — Изречение Козьмы Пруткова: «Если у тебя есть фонтан, то заткни его, ибо и фонтан должен отдыхать».

С. **172.** *Такая, по Мериме, должна быть Кармен...* — Имеется в виду рассказ П. Мериме «Кармен», на сюжет которого Ж. Бизе написал одноименную оперу.

С. **175.** *Эрмитаж* — один из крупнейших в мире художественных музеев, возникший в Петербурге в 1764 г. как частное собрание Екатерины II.

С. **181.** *...в театре, у Мамонтова, помнишь, давали «Снегурочку»...* — С.И. Мамонтов в 1885 г. основал Московскую частную оперу, на сцене которой была поставлена «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова на сюжет пьесы А.Н. Островского.

Оранжевая луна

С. **188.** *Позумент* (галун) — тесьма, шитая серебром или золотом.

Поднизь — сетка (из жемчуга или бисера) или бахрома на лобной части кокошника.

Под Девичьим

С. **203.** *Лентовские представления* — спектакли, которые ставил в Москве на открытых площадках, сценах и в балаганах режиссер М.В. Лентовский.

Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н.э.) — афинский полководец и политический деятель, создатель демократической республики в Афинах.

Ландо — легкий четырехместный экипаж с откидывающимся верхом. Название получил от города Ландау (Германия), где такие кареты изготавливались с XVII в.

С. **203.** *Караковая* — конская масть: корпус, голова и ноги черные, на конце морды, вокруг глаз, в паху и на животе — рыжеватые подпалины.

С. **205.** *...в знаменитейшей физике Гано...* — Имеется в виду «Полный курс физики с кратким обзором метеорологических явлений» А. Гано и М. Маневриса (СПб., 1909, изд. 10-е. Пер. с фр.).

Стрюцкий — «подлый, дрянной, презренный; человек сомнительной репутации» (В.И. Даль).

С. **206.** *Собинин* Богдан — ополченец, персонаж оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

Антонида — дочь Сусанина из оперы «Жизнь за царя».

С. **207.** *...шэкхэндзами не утруждает...* — Шекхендз (англ. to shake hands) — обмен рукопожатиями.

С. **210.** *Чермное море* — Красное море.

«Пиковая дама» — драма А.С. Пушкина, на сюжет которой П.И. Чайковский написал оперу.

«Выхожу один я на дорогу» (1841) — стихотворение М.Ю. Лермонтова, положенное на музыку Б.В. Асафьевым, К.П. Вильбоа, Н.Я. Мясковским и др.

Квач — помазок из веревки для смазывания дегтем осей повозки.

С. **212.** *Эрфикс* (фр. air fixe) — характерная, отличительная черта.

...остаюсь дворянином шестой книги... — Имеются в виду родословные книги, в которые дворяне записывались по шести разрядам в зависимости от способа получения дворянства, древности рода и наличия титула. Эти книги были учреждены после «Жалованной грамоты дворянству 1785 г.».

С. **213.** *...за табльдотом под всеми кувертами.* — Табльдот — общий обеденный стол. Куверты — столовые приборы.

С. **216.** *Вязига* — хорда вдоль хребта осетровых рыб; обычно используется для приготовления пирогов.

С. **218.** *...рыцари нашей разборчивой Турандот?* — Принцесса Турандот — героиня одноименной повести азербайджанского писателя XII в. Низами, на сюжет которой итальянский драматург Карло Гоцци написал свою «Сказку для театра» (1762).

С. **224.** *...вроде миллеровской баллады «Die Burgschaft»...* — Баллада «Порука» Ф. Шиллера в переводе О.Ф. Миллера.

С. **224.** *...«Наши послали»...* Эпизод из истории июньских дней 1848 г. в Париже (1874) — очерк И.С. Тургенева из его мемуарной книги «Литературные и житейские воспоминания».

С. **226.** *Лицей цесаревича Николая* — см. примеч. к с. 142.

С. **228.** *На Шипке все спокойно!* — Выражение вошло в обиход, вероятно, после выставки, на которой был представлен знаменитый триптих «На Шипке все спокойно!» (1878–1879) Василия Васильевича Верещагина (1842–1904), живописца-баталиста, участника войн в Средней Азии (1867–1870), русско-турецкой (1877–1878) и русско-японской (1904–1905). Художник погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск».

Экзамены

С. **231.** *Азраил* — у мусульман ангел смерти.

С. **235.** *Белое духовенство* — священники, совершающие богослужение в храме и не принимавшие монашеского пострижения, в отличие от черного духовенства — духовных лиц, проживающих в монастыре.

С. **238.** *Донат* Элий (IV в.) — римский грамматик. Автор двух учебников латинской грамматики (для начальной и высшей ступеней обучения), издававшихся под названием «Донат».

Арий — александрийский пресвитер. В 318–319 гг. в Александрии был отлучен от церкви за проповедь собственного христологического учения (арианства).

С. **246.** *Gaudeamus* — «Gaudeamus igitur» («Итак, будем веселиться!» — лат.) — старинная студенческая песня, возникшая из застольных песен вагантов; музыка фламандца Иоганна Окенгейма (XV в.). Нынешний текст известен с конца XVIII в. См. также примеч. в т. 3 на с. 844.

Шваховисты — слабые, хилые (от нем. Schwach).

Перед будущим

С. **251.** *«Книга Песен»* — «Книга Песни Песней» из Ветхого Завета, автором которой считается царь Соломон.

С. **253.** *Персея с Медузою...* — Имеется в виду один из подвигов Персея, сына Зевса и царевны Данаи, убившего коварную

горгону Медузу, которая превращала всех взглянувших на нее в камень.

С. **254.** «*Мессинская невеста*, или Враждующие братья» (1803) Ф. Шиллера имела подзаголовок «Трагедия с хорами».

С. **255.** *«А судьи кто?»* — Из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Концерт

С. **264.** *Наташа Ростова, князь Андрей* — герои романа «Война и мир» Л.Н. Толстого.

С. **265.** *«Не плачь, дитя»* — стихотворение М.Ю. Лермонтова «Не плачь, не плачь, мое дитя...» (1841), обычно связываемое с поэмой и оперой А.Г. Рубинштейна «Демон». Положено на музыку С.В. Рахманиновым, Н.Я. Мясковским и др.

Он слышит райские напевы... — Из оперы «Демон».

С. **267.** *...Аустерлиц для нее, Ватерлоо для соперницы.* — В Аустерлицком сражении 20 ноября 1805 г. Наполеон I одержал победу над русско-австрийскими войсками (ими командовал М.И. Кутузов). В битве при Ватерлоо 18 июня 1815 г. англо-голландские и прусские войска разгромили армию Наполеона.

...опечалился Моисей, узрев израильтян в хороводах вокруг золотого тельца. — Эпизод из Ветхого Завета Библии (Вторая книга Моисеева. Исход, гл. 32).

С. **269.** *...вспомните Базарова... «искусство для искусства или нет более геморроя»!* — Из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».

С. **270.** *Шапокляк* — складной цилиндр с пружиной внутри тульи.

С. **273.** *Эпитимья* (епитимья) — церковное наказание.

Тенериф — самый большой вулканический остров на Канарском архипелаге.

С. **280.** *Любим Торцов* — промотавшийся купец из комедии А.Н. Островского «Бедность не порок» (1853).

Ктитор — церковный староста, в обязанности которого входили сборы средств для храма. В России должность ктитора сохранялась только в военных церквах, где ктитор назначался из офицеров полка.

С. **283.** *Укажи мне такую обитель...* — Фрагмент стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1860), исполняемый как песня на мотив из оперы Г. Доницетти «Лукреция Борджиа».

С. **284.** *Сбиры* — судебные и полицейские служители (в бывшей Папской области).

Кунтуш — длинная одежда с очень длинными разрезными рукавами, откидывающимися за спину.

Горничная

С. **292.** *«Граф Нулин»* (1825) — герой одноименной поэмы Пушкина.

С. **293.** *...как Фауста, потянуло к ведьмам Вальпургиевой ночи!* — Сцена «Вальпургиева ночь» из оперы Гуно «Фауст» — ночь на 1 мая, праздник весны древних германцев, совпадавший с днем памяти католической святой Вальпургии. В эту ночь, согласно народным поверьям, устраивался «шабаш ведьм» на Брокене (самая высокая вершина в горах Герца).

...в Алешах богоподобных вы усидите недолго... — Имеется в виду Алеша Карамазов — герой романа Достоевского «Братья Карамазовы», монах.

С. **295.** *Бальдеровы кудри.* — Имеется в виду «златокудрый» — герой стихотворного послания В.Я. Брюсова «Бальдеру Локи» (1904). «По скандинавской мифологии, — поясняет Брюсов, — светлый бог Бальдер погиб от коварства злого Локи...» (Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 624). В послании отразились напряженные отношения (по определению А. Белого, «умственная дуэль» на почве любви к Н.И. Петровской), сложившиеся между поэтами в 1903–1905 гг. Белый ответил Брюсову стихотворением «Старинному врагу» (Вопросы жизни. 1905. № 3).

С. **299.** *Долохов* — персонаж из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

...Тита-императора, за то, что он разрушил Иерусалим. — Римский император Тит Флавий Веспасиан (9–79) в 70 г. подавил восстание иудеев и разрушил Иерусалим.

С. **300.** *Пшют* — хлыщ, фат (разг. устар.).

Пароксизм — раздражение, сильное душевное возбуждение.

С. **307.** *«Рогнеда»* — см. примеч. к с. 38.

С. **310.** *Sturm und Drang!..* — «Буря и натиск» — литературное движение в Германии 1770–1780 гг., противопоставившее классицистическому рационализму идеал непосредственного, не стесненного правилами творчества, а феодальной сословной морали — образ свободной личности.

Барон фон Гринвальус

С. **323.** *Михайловский театр* (1833) — в Петербурге на Михайловской площади; предназначался для придворно-аристократических кругов, а затем стал концертным залом, где давались спектакли итальянской оперы, французской оперетты, немецкой драмы. В 1894–1898 гг. здесь шли спектакли Мариинского театра, а в 1918 г. здание занял Малый театр оперы и балета.

С. **326.** *«Дон Жуан»* — «маленькая трагедия» А.С. Пушкина. Инеса, Лаура, Донна Анна, Командор — персонажи трагедии.

Воронья вечеринка

С. **335.** *Ахилл* (Ахиллес) — в греческой мифологии один знаменитых героев Троянской войны.

С. **338.** *«El Desdichado»... как в «Айвенго»...* — «Лишенный наследства» — надпись на щите одного из героев романа Вальтера Скотта «Айвенго».

С. **339.** *...«в небесах торжественно и чудно...»* — Из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...».

С. **340.** *«Тебя я, вольный сын эфира...»* — Из поэмы Лермонтова «Демон».

С. **342.** *Иосиф Прекрасный* — младший из двенадцати сыновей Иакова, проданный братьями в рабство египтянам, где стал их правителем. Прародитель двух колен Израилевых.

С. **343.** *Мономан* — человек, помешанный на какой-либо одной идее (idée fixe) при сохранении во всем другом правильного мышления.

С. **350.** *«Не тронь ее: она разбита!..»* — Из стихотворения А.Н. Апухтина «Разбитая ваза. Подражание Сюлли Прюдому».

С. **351.** *Квинта* — самая высокая по тону струна у скрипки.

Зибель — персонаж оперы Гуно «Фауст».

С. **352.** *Валькирия, Брунгильда* — герои оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга».

С. **354.** *Риголетто, Джильда* — персонажи из оперы Дж. Верди «Риголетто».

С. **376.** *«Стрекоза»* (Пб., 1875–1918) — юмористический еженедельник, в котором дебютировал А.П. Чехов.

С. **378.** *Не хмурьтесь... Мелхолою!* — Согласно библейской легенде, Мелхола — дочь царя Израиля Саула, спасает мужа от слуг отца, посланных им, чтобы убить Давида, претендовавшего на царствование (Первая Книга Царств).

С. **380.** *Скандинавский молниеносный бог Тор...* — Бог грома, бури и плодородия, а также богатырь, защищающий других богов и людей от великанов и чудовищ.

С. **381.** *Адамастор* — персонаж поэмы Камоэнса «Лузиады» (1572).

С. **383.** *Репетилов, Скалозуб, Чацкий* — персонажи комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

С. **384.** *Дамон и Пифий* — вероятно, имеются в виду Дамон и Финтий, философы-пифагорейцы из Сиракуз, прославившиеся верной дружбой (им посвятил стихотворение Ф. Шиллер).

Орест и Пилад — в греческой мифологии два верных друга, ставшие символом преданной, самопожертвенной дружбы.

С. **386.** *Петровская академия* — Петровско-Разумовская земледельческая и лесная академия, основанная в Москве в 1865 г. Ныне — Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева.

Свадебный хмель

С. **399.** *Взлохмаченный «молодой человек» с картины Пукирева!..* — Вероятно, имеется в виду картина «Неравный брак» (1862).

С. **404.** *Вечный Жид* (лат. Агасфер) — персонаж христианской легенды, оскорбительно отказавший в отдыхе Иисусу Христу во время его крестного пути на Голгофу. За это Агасфер был обречен на вечные скитания, дожидаясь второго пришествия Христа.

Летучий Голландец — предвещавший беды морякам корабль-призрак, участь которого никогда не приставать к берегу.

С. **416.** *...распустил свой хвост многоцветный павлин... с глазами Аргуса...* — в греческой мифологии Аргус — многоглазый (часто стоглазый) страж, которому Гера поручила стеречь возлюбленную Зевса Ио, превращенную в корову. Гермес усыпил Аргуса, убил его и освободил Ио. Гера поместила глаза Аргуса на хвосте павлина.

РУССКИЕ БЫЛИ

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Собр соч. Т. 23. Русские были. СПб.: Просвещение, <1914>.

Духовенство в 1812 году

С. **426.** *...«нас возвышающий обман»...* — Из стихотворения А.С. Пушкина «Герой» (1830): «Тьмы низких истин мне дороже // Нас возвышающий обман».

С. **427.** *Варлаам Шишацкий* (?–1821) — архиепископ из Могилева, присягнувший Наполеону во время Отечественной войны 1812 г., за что 29 июня 1813 г. с него был снят сан епископа.

...присяги, к которой приводить москвичей Ростопчин заставил... — Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826) — генерал от инфантерии, с мая 1812 г. — главнокомандующий (генерал-губернатор Москвы). С началом Отечественной войны развернул кипучую деятельность: снаряжал добровольцев (80 тыс.), собирал пожертвования на военные нужды, выпускал антифранцузские «афиши» (листовки), написанные простонародным языком, восхвалял в них доблести воинов, высмеивал французов.

Платон Левшин (1737–1812) — митрополит Московский, автор учебных богословских книг и проповедей (ок. 500).

Августин (в миру Алексей Васильевич Виноградский; 1766–1818) — архиепископ московский, проповедник.

С. **428.** *Гермоген* (в миру Ермолай; ок. 1530–1612) — патриарх Московский и всея Руси с 1606 г. Арестован польскими интервентами и уморен голодом.

Авраамий Палицын (?–1626) — политический деятель, писатель. С 1698 г. — келарь Троице-Сергиева монастыря. Участник Земского собора 1613 г., избравшего на царство Михаила Федоровича Романова. В 1618 г. руководил обороной монастыря от польских войск.

Дионисий (в миру Давид Федорович Зобниковский; ок. 1570–1633) — архимандрит Троице-Сергиевой лавры. В годы польской интервенции (1609–1610) рассылал гонцов по городам с призывом к ратным людям спасти отечество. Ему помогал Авраамий Палицын.

Одну из грамот Дионисий адресовал К. Минину и Д. Пожарскому. По воцарении Михаила Федоровича занялся печатанием исправленного церковного Требника и богослужебных книг, за что был объявлен еретиком и подвергнут пыткам. Патриарх Филарет оправдал Диониса и возвратил его в Троицкий монастырь.

С. **428.** *Гверильясы* — партизанские ополченцы в Испании.

«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) — роман Михаила Николаевича Загоскина (1789–1852).

С. **430.** *...новых Навинов, одолевающих наглость Амалика...* — Эпизод библейской истории: Иисус Навин по поручению вождя израильского народа Моисея возглавил войско израилево и одержал победу над старейшиной идумейским Амаликом (Четвертая книга Моисеева. Числа, гл. 13).

Маккавеи — защитники веры во время гонений сирийского царя Антиоха Епифана, который пытался насильственно ввести языческое богослужение.

Левиты — служители религиозного культа у древних евреев.

С. **431.** *Александр I, Павел I* — см. указатель (т. 6).

С. **434.** *Знаменский* Петр Васильевич (1836–?) — историк русской церкви. В тексте, вероятно, имеется в виду его книга «Духовные школы в России до реформы 1808 г.».

Орловский Иван Иванович (1869–1909) — историк, публицист.

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) — поэт, военный писатель, генерал-лейтенант (с 1831). В 1812 г. — командир Ахтырского гусарского полка, организатор партизанского отряда, действовавшего в тылу наполеоновских войск.

Фигнер Александр Самойлович (1787–1813) — партизан Отечественной войны 1812 г., пытавшийся в Москве убить Наполеона Бонапарта. Погиб в сражении на Эльбе.

Сеславин Александр Никитович (1780–1858) — генерал, прославившийся умелым руководством партизанской борьбой в Отечественной войне 1812 г.

...гжатская «старостиха Василиса»... — Кожина Василиса, крестьянка, предводительница созданного ею партизанского отряда в гжатском уезде Смоленской губернии.

С. **435.** *Хрия* — риторическая речь.

Цицерон Марк Тулий (106–43 до н.э.) — римский политический деятель, оратор и писатель.

С. 435. *Боссюэт.* — Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704) — французский католический богослов, проповедник, писатель.

Евгений (Евфимий Болховитинов; 1767–1837) — церковный историк, автор многих трудов, в том числе знаменитого «Словаря исторического о бывших в России писателях духовного чина» (1818).

Парфений (в миру Павел Васильевич Васильев-Чертков; 1882–1853) — архиепископ Владимирский, Воронежский; в 1811–1814 гг. — префект Московской славяно-греко-латинской академии. Впоследствии ректор Вифанской и Московской духовных семинарий. Славился как выдающийся проповедник.

С. 436. *Мария Луиза* (1791–1847) — императрица Франции, вторая жена Наполеона Бонапарта.

С. 437. *Дубровин* Николай Федорович (1837–1904) — военный историк, академик Петербургской академии наук, генерал-лейтенант. С 1896 г. — редактор журнала «Русская старина».

Носович Иван Иванович (1788–1877) — этнограф, фольклорист.

Бискуп — епископ.

Голицын Александр Николаевич (1773–1844), князь — обер-прокурор Синода (1803–1817), в 1810–1817 гг. — одновременно главноуправляющий иностранными вероисповеданиями. С 1813 г. — президент Российского библейского общества. В 1814–1824 гг. — министр духовных дел и народного просвещения.

С. 438. *Чистович* Илларион Алексеевич (?–1894) — духовный писатель, профессор Петербургской духовной академии.

Граф М.В. Толстой в своих воспоминаниях... — «Мои воспоминания» М.В. Толстого были опубликованы в «Русском архиве» (1881. № 1–6).

С. 440. *Багратион* Петр Иванович (1765–1812), князь — генерал от инфантерии. В Отечественную войну был смертельно ранен в Бородинском сражении.

С. 442. *Михаил Черниговский* (в миру Матфей Десницкий; 1762–1820) — епископ старорусский, Черниговский, в 1818 г. стал митрополитом Петербургским. Автор сборников проповедей и бесед.

Екатерина Павловна (1788–1819), великая княгиня — четвертая дочь императора Павла I. Сблизила своего брата Александра I с Н.М. Карамзиным.

С. 443. *Иллюминат-мартинист* — франк-масон. Тайные масонские ложи иллюминатов, розенкрейцеров и др. в России появились в

1760-е годы и подверглись преследованиям при Екатерине II. При Александре I, в пору расцвета мистицизма, они вновь оживают.

С. **444.** *Ириней* (Фальковский; ум. 1823) — ученый богослов, ректор Киевской духовной академии, епископ Чигиринский.

Барклай де Толли Михаил Богданович (1761–1818), князь — генерал-фельдмаршал. В 1810–1812 гг. — военный министр. Участник Отечественной войны 1812 г.

Кологривов Андрей Семенович (?–1825) — генерал от кавалерии. Под его началом в 1813–1814 гг. служил А.С. Грибоедов.

Вязмитинов Сергей Козьмич (1749–1819), граф — генерал от инфантерии. С 1802 г. — первый министр военно-сухопутных войск. Александр I, отправляясь в 1805 г. в действующую армию (во время войны с Францией), поручил ему управление столицей в звании главнокомандующего.

С. **447.** *Тургенев* Александр Иванович (1784–1845) — историк, писатель. Друг Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, И.В. Гёте, Вальтера Скотта.

Двигубский Иван Алексеевич (1771–1839) — доктор медицины (1802). В 1802 г. был отправлен в Гёттингенский университет, после чего стал профессором физики. Один из учредителей (с 6 июля 1811 г.) Общества любителей российской словесности.

Кайсаров Паисий Сергеевич (1783–1844) — генерал от инфантерии. Участник Отечественной войны 1812 г.

Воинов Александр Львович (1770–1832) — генерал от кавалерии. Участник Отечественной войны 1812 г.

Апраксин Степан Степанович (1747–1827) — генерал от кавалерии. В 1803–1807 гг. — смоленский военный губернатор.

С. **449.** *Паскевич* Иван Федорович (1782–1856) — граф Эриванский, светлейший князь Варшавский, генерал-фельдмаршал. С 1831 г. — наместник Царства Польского.

С. **450.** *Мюрат Иоахим* (1767–1815) — сподвижник Наполеона и его зять, маршал Франции, король Неаполитанский.

Понятовский Юзеф (1762–1813), князь — польский генерал, перешедший на сторону Наполеона, маршал Франции.

С. **451.** *Виллебланш* (Вильбланш) — интендантский чиновник французской армиии в Смоленске.

С. **452.** *Сиов* (Сиофф) — французский интендантский чиновник.

С. **453.** *Эпитрахиль* (епитрахиль) — в облачении православного священника широкая лента, надеваемая на шею.

Жомини Генрих Вениаминович (1779–1869), барон — военный деятель, историк, и теоретик. Родом швейцарец. В 1804 г. вступил во французскую армию. В 1812 г. был комендантом Вильно, губернатором Смоленска, начальником штаба у маршала Нея. В 1813 г. перешел на русскую службу. При Николае I — генерал от инфантерии. Автор проекта «Центра стратегической школы» (1826; будущей Николаевской академии генштаба).

С. **454.** *Александр Македонский* (356–323 до н.э.) — царь Македонии, полководец и завоеватель.

...папа Лев Святый — Аттилу у врат Рима... — Лев I Великий (?–461) — римский папа, огромным выкупом предотвративший в 452 г. захват Рима гуннами Аттилы.

С. **458.** *Озеров* Владислав Александрович (1769–1816) — драматург. Автор трагедии «Димитрий Донской» (1806), вызвавшей полемику.

Крюковский Матвей Васильевич (1781–1811) — драматург, переводчик. Автор патриотических трагедий в стихах «Пожарский, или Освобожденная Москва» (1807), «Елизавета, дочь Ярослава» (опубл. посм.: 1820).

Мамаево побоище — Куликовская битва (1380), в которой русские войска разбили полчища золотоордынского хана Мамая. Великая победа, принесшая освобождение от монголо-татарского ига, досталась немалой ценой: из воинов в живых «осталось всего сорок тысяч человек, тогда как в битву вступило больше четырехсот тысяч... Вот почему в украшенных сказаниях о Мамаевом побоище мы видим, что событие это, представляясь, с одной стороны, как великое тожество, с другой — представляется как событие плачевное, жалость» (Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших времен. В 18 кн. М., 1988. Кн. 2. Т. 3. С. 273).

Пересвет Александр (?–1380) — монах Троице-Сергиевой лавры, герой Куликовской битвы, которая началась его поединком с татарским богатырем Темирмурзой (оба погибли).

Ослябя Родион (?– после 1398) — монах Троице-Сергиевой лавры, герой Куликовской битвы.

С. **459.** *Сиверс* Егор Карлович (1779–1827), граф — генерал-лейтенант. Участник Отечественной войны 1812 г.

С. **460.** *Причт* — штат духовенства, служащего в храме; для каждого храма составляется архиереем и консисторией при наличии достаточного числа прихожан.

С. **461.** *Скуфья* — высокая мягкая четырехугольная шапка. У диаконов — из фиолетового или лилового бархата. Служит наградой.

Камилавка — головной убор духовного лица, имеет форму высокого, расширяющегося кверху цилиндра. Служит наградой.

Митра — головной убор православных архиепископов в виде жесткого парчового или металлического полушария, увенчанного бриллиантовым крестом, украшенного эмалевыми иконками и самоцветами. Служит наградой.

С. **465.** *Сергий* Радонежский (ок. 1321–1391) — один из самых почитаемых святых православной церкви. Основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. Поддерживал национально-освободительную политику князя Дмитрия Донского.

С. **466.** *Голиаф* — персонаж библейской истории: великан-филистимлянин, побежденный Давидом, будущим царем Израильско-Иудейского государства.

Снегирев Иван Михайлович (1793–1868) — археолог, профессор Московского университета. Автор трудов «Русские в своих пословицах» (1831–1834), «Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества» (1848–1854) и др.

С. **468.** *Принадлежность... к духовному званию Сперанского...* — Будущий инициатор многих государственных преобразований, граф (1839) Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) был старшим сыном сельского священника, образование получил в епархиальной (1780–1788) и главной семинарии при Александро-Невской лавре (1788–1792).

С. **469.** *Макарьевская ярмарка* — устраивалась в XVI–XVIII вв. в приволжском г. Макарьеве. После пожара 1817 г. перенесена в Нижний Новгород.

С. **470.** *...рассказ, записанный в 1851–1852 гг. известным К.Н. Леонтьевым...* — Имеется в виду мемуарный очерк «Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года». См.: Русский архив. 1881. № 6, а также: Леонтьев К. Собр. соч. Т. 9. Воспоминания. М., 1912.

С. **471.** *Петр Матвеевич* Карабанов (1764–1829) — дед К.Н. Леонтьева (по матери), поэт, автор книги «Стихотворения Петра Карабанова, нравственные, лирические, любовные, шуточные и смешанные» (М.,

1801; СПб., 1812). В 1803 г. российская академия избрала его в свои ряды как писателя, «в словесных науках с похвалой упражняющегося и довольные опыты искусства своего в российском стихотворении показавшего» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биографии. М., 1994. Т. 5. С. 591). Карабанов участвовал в составлении Академического словаря, переводил Вольтера, был одним из переводчиков знаменитого многотомника Жана Франсуа Лагарпа (1739–1803) «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (рус. пер. 1810–1814, т. 1–5), ставшегося во Франции первой историей мировой литературы (в 15 т.).

С. **472.** *Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824–1887) — публицист, философ, издатель.

Бартенев Петр Иванович (1829–1912) — историк, археограф, библиограф; основатель и редактор-издатель исторического журнала «Русский архив» (1863–1917).

С. **473.** *Даву* Луи Никола (1770–1823) — маршал Франции, один из ближайших сподвижников Наполеона. Участник наполеоновских войн. После реставрации Бурбонов лишен чинов и титулов (до 1817 г.). С 1819 г. — пэр Франции.

С. **474.** *Голицын* Сергей Михайлович (1774–1859) — действительный тайный советник 1-го класса (равный чину генерал-фельдмаршала). В разные годы был камергером Высочайшего двора, президентом Московского попечительского комитета, попечителем Московского учебного округа, членом Государственного совета. Любимец Николая I.

Петр Александр<ович> Толстой (1770–1844), граф — генерал-адъютант (1797), генерал от инфантерии (1814). В 1807 г. назначен чрезвычайным послом в Париж, но через год по настоянию Наполеона I отозван. В 1812 г. был командующим ополчений, с которыми дошел до Варшавы.

С. **477.** *Клейнмихель* Петр Андреевич (1793–1869), граф — государственный деятель, генерал-адъютант. С 1842 г. — главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями. При Александре II отправлен в отставку.

С. **482.** «*Рославлев*, или Русские в 1812 году» (1831) — роман М.Н. Загоскина.

С. **483.** *Юлий Цезарь* (102 или 100–44 до н.э) — римский диктатор и полководец.

С. **483.** *Витгенштейн* Петр Христианович (1768–1842), граф — фельдмаршал, участник войн русско-турецкой (1806), русско-французской (1807), Отечественной (1812) и др.

С. **487.** *Брусилов* Николай Петрович (1782–1849) — прозаик, издатель, критик. Автор «Воспоминаний» (1848; опубл. в 1893).

С. **488.** *Визмитинов* (Вязмитинов) — см. примеч к с. 444.

Опальная могила

С. **488.** *Аввакум* Петрович (1620 или 1621–1682) — протопоп Юрьевца Поволжского, идеолог старообрядчества, один из вождей раскола, выступивший против церковной реформы патриарха Никона. В 1653 г. был сослан в Сибирь, а в 1667 г. — в Пустозерский острог. После многолетнего заключения в земляной яме-тюрьме неусмиренный страдалец за старую веру 14 апреля 1681 г. был сожжен в срубе вместе с тремя единомышленниками — попом Лазарем, диаконом Феодором, иноком Епифанием. Аввакум — автор многих сочинений (их около 60), в том числе знаменитого «Жития».

С. **489.** *Мельников* (Мельников-Печерский) Павел Иванович (1818–1883) — прозаик, историк. В 1852–1853 гг. возглавлял экспедицию министерства внутренних дел по изучению раскола («язвы государственной», по его мнению). Автор «Исторических очерков поповщины» (1864) и прославившей его имя дилогии «В лесах» (1871–1874), «На горах» (1875–1881).

С. **490.** *Бороздин* Александр Корнилиевич (1863–1918) — историк литературы, профессор Петербургского университета. Автор трудов: «Протопоп Аввакум» (1898), «Очерки религиозного разномыслия» (1905), «Учебная книга по истории русской литературы» (1914).

Соловьев С.М. — см. указатель (т. 6).

Максим Максимыч, Бэла — персонажи романа «Герой нашего времени» (1840) М.Ю. Лермонтова.

С. **491.** *Костомаров* Н. И. — см. указатель (т.6).

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) — историк, публицист, педагог. Автор знаменитого «Курса русской истории» (1904–1910).

С. **491.** *Щапов* Афанасий Прокофьевич (1831–1876) — историк, автор трудов по истории раскола («О причинах происхождения и распространения раскола»; 1857), старообрядчества, земских соборов XVII в., общины, Сибири.

Суворин А.С. — см. указатель (т. 6).

Мордовцев Д.Л. — см. указатель (т. 6).

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — прозаик, поэт, драматург, критик, публицист, переводчик, общественный деятель. Автор исторических трилогий «Христос и Антихрист» (1895–1905) и «Зверь из бездны» (1908–1921), дилогии «Рождение богов» (1924–1926), исследований «Л. Толстой и Достоевский» (1900), «Иисус Неизвестный» (1932–1934), «Данте» (1939) и др.

...наше старое (и очень лютое, толстовское) время... — Имеется в виду время, когда у власти находился граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889): в 1865–1880 гг. — обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода и одновременно министр народного просвещения, в 1882–1889 гг. — министр внутренних дел и шеф жандармов.

Феодор (Иванов) — диакон московского Благовещенского собора, тайно придерживавшийся старообрядчества. Был разоблачен, лишен языка и сослан в Пустозерск, где в 1681 г. был сожжен вместе с Аввакумом. Сочинения Феодора напечатаны в т. 6 «Материалов для истории русского раскола» (1875–1890; т. 1–9).

«Не по Писанию верующие еретицы...» — Из послания Аввакума (1678).

С. **492.** *Филарет* — см. указатель (т. 6).

Филипп (в миру Федор Степанович Колычев; 1507–1569) — митрополит Московский и всея Руси. Пытался в тайных беседах с Иваном Грозным остановить казни и беззакония, затем стал вселюдно обличать царя и разгул его опричнины. Мученически погиб, задушенный Малютой Скуратовым.

Феофан Прокопович (1681–1736) — украинский и русский государственный и церковный деятель, поэт, публицист, проповедник. Сподвижник Петра I в делах духовного управления, первенствующий член Святейшего Синода (с 1729 г.).

Анна Иоанновна — см. указатель (т. 6).

С. **493.** *...сжег его на костре личный враг, патриарх Иоаким...* — Иоаким (Савелов; 1620–1690) — девятый и предпоследний патриарх

всероссийский (с 1674 г.), безуспешно пытавшийся сломить Аввакума и уничтожить старообрядческое движение.

С. **493.** *Алексей Михайлович* (1629–1676) — царь (с 1645 г.), в правление которого произошел раскол русской церкви.

Никонианство — движение последователей церковной реформы, предложенной в 1653 г. патриархом московским Никоном. Все инакомыслящие священнослужители были лишены сана и сосланы в дальние монастыри. Начались жестокие преследования старообрядцев. В 1666 г. Никон был отстранен от патриаршества.

С. **494.** *Стефан Вонифатьев* — протопоп Благовещенского собора, духовник царя, основатель кружка ревнителей веры, в который до 1653 г. входили и будущий патриарх Никон, и его будущий смертный враг Аввакум. Члены кружка были первыми исправителями церковных книг и, значит, зачинателями раскола.

Иван (Иоанн) *Неронов* (в монашестве Григорий; 1591–1670) — ключарь Успенского, затем протопоп Казанского, дьякон Благовещенского соборов. Член кружка Стефана Вонифатьева. Стал противником реформ Никона (вождь протеста до Аввакума). Был пламенным народолюбцем, кормильцем голодающих, заступником обиженных. Его проповеди собирали множество слушателей, посещал их и царь со своим семейством и боярами. В 1656 г. собор отлучил его от церкви.

С. **495.** *Стрешнев* Родион Матвеевич — боярин и окольничий (второй дворцовый чин после боярского).

С. **496.** *Ртищев* Федор Михайлович — боярин и окольничий, один из самых близких к царскому двору; по его инициативе и настоянию в богослужениях было отменено «многогласие», введено «единогласное» пение и чтение проповедей.

Морозова (Соковнина) Феодосия Прокопиевна (1632–1675) — боярыня, раскольница, состоявшая в переписке с протопопом Аввакумом и оказывавшая помощь его семье. Пытки не сломили ее преданность старой вере. В 1671 г. вместе с сестрой была заточена в подземелье в г. Боровске и уморена голодом. Ей посвящена известная картина Василия Ивановича Сурикова (1848–1916) «Боярыня Морозова» (1887).

С. **497.** *Макарий Антиохийский* (в миру священник Иоанн Заим) — патриарх антиохийский с 1648 г. На поместном Московском соборе в 1656 г. поддержал Никона в его мерах против

раскольников. Весной 1666 г. Макарий вместе с Паисием Александрийским прибыли в Москву и стали свидетелями лишения Никона патриаршества. Новым патриархом (1667–1672) стал Иосаф II, архимандрит Троице-Сергиева монастыря.

С. **497.** *Паисий Александрийский* — константинопольский патриарх, одобривший реформаторскую деятельность Никона.

Чудов монастырь (Михайловский, Архангело-Михайловский) — мужской кафедральный монастырь, основанный в 1365 г. митрополитом Алексеем в московском кремле; многие годы был местом заключения неугодных церковных иерархов. С конца XIV в. — центр книгописания. В 1930-е гг. здания монастыря уничтожены.

С. **498.** *Феодор Алексеевич* (1661–1682) — царь с 1676 г. При нем правили различные группы бояр.

...в лапы... даурского безобразника Пашкова... — В 1653 г. сосланного в Тобольск Аввакума назначили в экспедицию Афанасия Пашкова в Даурию, сопряженную с огромными трудностями. «Озорник»-воевода Пашков издевательски относился к Аввакуму, а однажды избил его до потери сознания. В 1663 г. по ходатайству друзей Аввакум был возвращен в Москву, где был милостиво принят боярами и даже царем Алексеем Михайловичем, поселившим его в Кремле и пытавшимся усмирить «огнеопального» протопопа. Милости творились недолго — до августа 1964 г. Аввакум снова оказывается в ссылке за противониконовскую пропаганду (см. также примеч. к с. 488).

С. **499.** *...патриарху Иоакиму удалось спалить Аввакума...* — Иоаким (Савелов; 1620–1690) — девятый и предпоследний патриарх Всероссийский (с 1674 г.), борец с расколом, жестоко расправлявшийся с приверженцами Аввакума.

Савво-Сторожевский монастырь — мужской монастырь около Звенигорода с Рождественским собором и дворцами царя и царицы. Основан в 1398–1399 гг. Юрием Дмитриевичем и учеником Сергия Радонежского монахом Саввой. Разрушен в 1918 г.

С. **500.** *...черпалось из Селиверстова «Домостроя»...* — «Домострой» — памятник русской литературы XVI в., свод патриархальных житейских правил и наставлений. Предполагаемый автор одной из редакций памятника — священник московского Благовещенского собора Сильвестр (?– ок. 1566), духовный наставник юного Ивана Грозного.

С. **500.** *Ивановский* Николай Иванович (1840–1913) — историк; профессор Казанской духовной академии. Автор трудов об Аввакуме, старообрядчестве, в том числе «Руководства по истории и обличению старообрядческого раскола» (1886–1888).

С. **502.** *Мечников* Илья Ильич (1845–1916) — биолог, патолог, бактериолог; автор трудов по старению организма. Лауреат Нобелевской премии (1908).

Таинственная незнакомка

С. **504.** *...записки неизвестной дамы...* — записки принадлежат некоей Анне де Пальмье, секретной осведомительнице императрицы Екатерины II и императора Александра I. См. об этом подробнее: Записки тайного агента. Мемуары Анны де Пальмье в кн.: Филин М.Д. Люди императорской России. Из архивных разысканий. М.: НПК «Интелвак», 2000.

Екатерина II, Павел I, Александр I — см. указатель (т. 6).

С. **507.** *Барятинский* Федор Сергеевич (1742–1814) — участник переворота 1762 г., в результате которого на престол взошла Екатерина II; с 1778 г. — гофмаршал, с 1769 — обергофмаршал.

Тартар — в греческой мифологии бездна, находящаяся в самой глубине космоса, самое отдаленное место в царстве мертвых. В Тартар были низвергнуты титаны, побежденные Зевсом.

С. **508.** *Эпикурейская философия* — учение древнегреческого философа Эпикура (341–270 до н.э.), считавшего, что цель жизни — в достижении безмятежности духа, в отсутствии страданий, освобождении от страха смерти и наслаждении жизнью.

Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) — государственный деятель и дипломат; канцлер и светлейший князь. С 1775 г. — секретарь Екатерины II, с 1783 г. — фактический руководитель российской внешней политики.

С. **509.** *Дашкова* Екатерина Романовна (1744–1810), княгиня, — статс-дама, президент Санкт-Петербургской и Российской академии наук.

С. **515.** *Толстой* Николай Александрович (1765–1846), граф — действительный статский советник, обер-гофмаршал, весьма приближенное к Александру I лицо.

С. **516.** *Монтескье* Шарль Луи (1689–1755) — французский просветитель, правовед, философ автор книг «Персидские письма» (1721), «О духе законов» (1748) и др.

С. **520.** *Александр Николаевич Голицын* (1773–1844), князь — с 1805 г. обер-прокурор Святейшего Синода, с 1810 г. управлял делами иностранных вероисповеданий. С 1816 г. — министр народного просвещения, объединивший свое ведомство с министерством духовных дел.

С. **521.** *Плутарх* (ок. 45 – ок. 127) — древнегреческий историк, автор «Сравнительных жизнеописаний», представляющих собой биографии выдающихся греков и римлян.

Агезилай II (444–358 до н.э.) — спартанский царь; знаменитый полководец, прославившийся безукоризненной честностью; друживший с ним великий историк античности Ксенофонт изобразил его в панегирике «Агесилай» как образец правителя.

Брут. — Луций Юний Брут — легендарный основатель Римской республики (510–509 до н.э.), выступивший против тирании царя Тарквиния Гордого и добившийся его изгнания. Брут был убит в поединке с сыном царя.

Аристид — см. примеч. к с. 203.

С. **522.** *Руссо* Жан Жак (1712–1778) — французский писатель и философ; представитель сентиментализма. Автор романа-трактата «Эмиль, или О воспитании» (1762), романа в письмах «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), а также посмертно изданной «Исповеди» (изд. 1782–1780).

Прабабушка интеллигенции

С. **523.** *Софья Николаевна Багрова (то есть Марья Николаевна Аксакова)...* — С.Н. Багрова (Зубина) — в книгах «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» прототип Марии Николаевны Зубовой, в замужестве Аксаковой (1771? — 1833), матери писателя С.Т. Аксакова.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) — поэт, прозаик; автор известных автобиографических книг: «Семейная хроника» (1856), «Детские годы Багрова-внука» (1858), а также «Записки об уженье рыбы» (1847), «Записки ружейного охотника» (1852), «История моего знакомства с Гоголем» (1890) и др.

С. **536.** *Руссо* — см. примеч. к с. 522.

С. **524.** *Стерн* Лоренс (1713–1768) — английский писатель; автор гротескного романа «Жизнь и мнения Тристана Шенди, джентльмена» (1760–1767).

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — историк, прозаик, поэт, журналист; автор «Истории государства Российского» (т. 1–12; 1816–1829).

«Вий» (1835) — повесть Н.В. Гоголя.

...грознее щедринской «Пошехонской старины». — См. примеч. к с. 10.

С. **525.** *Аксаков* И.С. — см. указатель (т. 6).

С. **526.** *...на положении Ливингстона или Стэнли среди народов Центральной Африки.* — Давид Ливингстон (1813–1873) — шотландский путешественник и исследователь Африки. Генри Мортон Стэнли (наст. имя и фам. Джон Роулендс; 1841–1904) — журналист, участвовавший в поисках Д. Ливингстона и затем с ним дважды пересекший Африку; исследовал озера Танганьика и Виктория, открыл озеро Эдуард.

Митрофанушка, Простаков, Софья, офицер Милон, Тарас Скотинин, Вральман, Цыфиркин, Кутейкин, Тришка, Еремеевна — персонажи комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».

Купер Джеймс Фенимор (1789–1851) — американский писатель, автор исторических и приключенческих романов о войне за независимость Северной Америки.

С. **528.** *Софья, Молчалин* — персонажи комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

С. **529.** *...век Версаля и Екатерины.* — Т.е. век просветительства, поощрявшегося императрицей Екатериной II, и свободомыслия. Бывшая резиденция королей Франции Версаль в 1871–1879 гг. становится местом заседаний парламента, принявшего новую конституцию.

...одну из самых блестящих женщин этой эпохи... — Имеется в виду Екатерина II, среди фаворитов которой были и блистательные умы, и посредственности.

А другая отвергла любовь Руссо... — Эпизод из «Исповеди» Руссо.

«Studiate la matematica e lasciate la donne!» («Изучайте математику и оставьте женщин!», ит.) — Неточная цитата из «Исповеди»

Руссо: «Брось женщин и займись математикой» («Lascia le donne e studia la matematica»; ит.).

С. **530.** *Новиков* Николай Иванович (1744–1818) — просветитель, писатель, журналист. Издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец» и «Кошелек». Организатор типографий, библиотек, школ, книжных магазинов.

С. **531.** *Вольтер* — см. указатель (т. 6).

С. **535.** *Скалдырница* (скалдырня) — сквалыга и попрошайка (В.И. Даль).

«Иппокрена, или Утехи любословия» — журнал, выходивший в Москве в 1799–1801 гг. Прежнее название (с 1794 г.) — «Приятное и полезное времяпрепровождение». В 1802 г. снова сменил название: «Новости русской литературы».

Сумароков Александр Петрович (1717–1777) — поэт и драматург; родоначальник стихотворной трагедии и комедии русского классицизма.

С. **540.** *Ферула* — линейка, которою в старину били по ладоням провинившихся школяров (лат. ferula — хлыст, розга).

Карташевский Григорий Иванович (?–1840) — сенатор.

Сперанский М.М. — см. примеч. к с. 468.

С. **541.** *Сил молодецких размахи широкие...* — Первая строка стихотворения Н.А. Добролюбова без названия (1861).

С. **542.** *Телемак* — персонаж древнегреческого мифа и поэмы Гомера «Одиссея». Когда его отец Одиссей отплыл в Трою, он остался на попечении своей матери Пенелопы и старого отцовского друга Ментора. Став юношей, Телемак отправляется на поиски Одиссея.

Радищев Александр Николаевич (1749–1802) — мыслитель и прозаик; автор философского сочинения «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).

...Аксаков, перевоспитавшийся под влиянием товарищества со своими сыновьями... — Имеются в виду прозаик Сергей Тимофеевич Аксаков и его сыновья, ведущие идеологи славянофильства Константин Сергеевич (1817–1860) и Иван Сергеевич (1823–1886).

С. **545.** *...начиная с «Бурана», написанного, когда автору было уже за сорок лет...* — С очерка «Буран» (1834) начинается С.Т. Аксаков — мастер автобиографической прозы. См. также примеч. к с. 523.

Неудавшийся Гарибальди

С. **546.** *Михаил Григорьевич Черняев* (1828–1898) — военный и общественный деятель, генерал-лейтенант. В 1864–1866 гг. участвовал в походе в Среднюю Азию. С 1873 г. — редактор газеты «Русский мир», проповедовавшей идеи панславизма. В 1876 г. Черняев, осуждаемый русским правительством, отправился с отрядами добровольцев в Белград для участия в восстании; был здесь назначен главнокомандующим сербской армией. В 1882–1884 гг. — туркестанский генерал-губернатор.

С. **547.** *...окопы Алексинаца и высоты Дюниша...* — Названы места сражений в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Эркман — Шатриан — литературное имя двух французских прозаиков и драматургов Эмиля Эркмана (1822–1899) и Александра Шатриана (1826–1890).

Кроаты — хорваты (от нем. Kroatien — Хорватия).

Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт; 1808–1873) — французский император в 1852–1870 гг.

«Марсельеза» — песня, созданная поэтом и композитором Клодом Жозефом Руже де Лилем (1760–1836) в ночь с 25 на 26 апреля 1792 г., в разгар Великой французской революции. В годы Третьей республики (1870–1940) стала государственным гимном Франции. С 1975 г. исполняется в новой музыкальной редакции.

...маршами из опереток Оффенбаха... — Мировую славу основателю французской оперетты Жаку Оффенбаху принесли «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Синяя борода», «Парижская жизнь», «Перикола», «Дочь тамбурмажора» и др.

Седан — город во Франции, в окрестностях которого Наполеон III в 1870 г. во время франко-прусской войны сдался в плен со своей 100-тысячной армией.

С. **548.** *Огарев Николай Ильич*– московский полицмейстер.

«Двенадцатый год» — имеется в виду торжественная увертюра «1812 год» (1880) П.И. Чайковского.

С. **549.** *Аксаков гремел.* — И.С. Аксаков в 1870-е гг. активно выступал с идеями панславизма, осудил согласие России на раздел Болгарии. За антиправительственные выступления был снят с поста председателя Московского славянского общества и выслан из Москвы.

С. **550.** *Ермолов* А.П. — см. указатель (т. 6).

Иезекииль — один из четырех пророков Ветхого завета.

Убили Киреева. — Николай Алексеевич Киреев (1841–1876) — доброволец сербо-черногорско-турецкой войн 1876–1878 гг. Руководя штурмом турецких укреплений у Раковицы, повел один из отрядов на приступ и погиб.

С. **551.** *Гарибальди* Джузеппе (1807–1882) — один из вождей Рисорджименто, национально-освободительного движения против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии. Более 10 лет сражался за независимость республик Южной Америки. В 1860 г. возглавил поход «Тысячи», освободившей юг Италии.

Готфрид Бульонский (1060–1100) — герцог Нижней Лотарингии, один из предводителей 1-го крестового похода 1096–1099 гг. на Восток; взял Иерусалим и стал первым правителем Иерусалимского королевства.

С. **553.** *Франко-прусская война* (1870–1871) закончилась поражением Франции: она потеряла свои территории Эльзас и Лотарингию.

Редедя — князь косожский, богатырь, погибший в 1022 г. в единоборстве с князем тмутараканским Мстиславом Владимировичем.

Комаров Виссарион Виссарионович (1838–1907/08) — публицист, издатель, штабной офицер (полковник). В 1871 г. основал в Петербурге газету «Русский мир». Во время сербско-турецкой войны (1876) — генерал сербской армии, начальник штаба Тимоко-Моравской армии генерала М.Г. Черняева. Один из лидеров Славянского благотворительного общества, пропагандист идеи панславизма. Редактор-издатель газет «Свет» (1882–1907), «Славянские известия» (1889–1891), журнала «Русский вестник» (1902–1906).

Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) — генерал, военный публицист; участник кавказских войн. В 1873–1875 гг. — сотрудник газеты «Русский мир». Автор книг «Шестьдесят лет Кавказской войны» (1860), «Вооруженные силы России» (1868) и др.

С. **554.** *Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843–1882) — генерал от инфантерии. В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. командовал

отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении под Шипкой — Шейново.

С. **554.** *Иоанн Предтеча* (Иоанн Креститель) — проповедник, возвестивший во время обряда крещения в Иордане о приходе Мессии — Иисуса Христа, чтобы креститься от него. Иоанн был казнен за то, что обвинил в распутстве правителя Галилеи Ирода Антипу. По просьбе своей падчерицы Саломеи Ирод велел поднести ей на блюде отрубленную голову Крестителя.

Суворов Александр Васильевич (1730–1800) — полководец, генералиссимус, не проигравший ни одного сражения.

С. **555.** *Его глаза // Сияют. Лик его ужасен...* — Из поэмы «Полтава» Пушкина.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844–1936) — прозаик, поэт, драматург, публицист; один из первых в России военных корреспондентов. Ранен на сербско-турецком фронте. Будучи корреспондентом газет «Наш век» и «Новое время», участвовал в сражениях в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. (под Плевной, Шипкой и др.). Награжден боевыми орденами. Автор многих романов и очерковых книг, в том числе «Скобелев. Личные воспоминания и впечатления» (1882). С 1921 г. — в эмиграции в Праге.

Верещагин В.В. — см. примеч. к с. 228.

С. **556.** *«Хотя орудия Тушина...»* — Из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Тушин, Андрей Болконский — персонажи этого романа.

С. **557.** *...над ним рыдал... вольноопределяющийся Всеволод Гаршин.* — Писатель Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888) в день объявления русско-турецкой войны, 12 апреля 1877 г., увольняется из студентов Горного института и едет добровольцем на фронт. В одном из боев «примером личной храбрости увлек вперед товарищей в атаку, во время чего и ранен в ногу», — говорилось в реляции. В мае 1878 г. был произведен в офицеры.

С. **559.** *Бибиков* Александр Ильич (1729–1774) — государственный и военный деятель, генерал-аншеф. В 1773 — нач. 1774 гг. руководил подавлением восстания Е.И. Пугачева. Умер в походе на Бугульму.

Леон Гамбетта (1838–1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881–1882 гг. Погиб на взлете своей карье-

ры, случайно поранив себе руку. Собрание речей знаменитого оратора составило 11 томов.

С. **560.** ...*Лесков в лице генерала Перлова, целиком списанного с знаменитого воителя Севастопольской кампании, Степана Александровича Хрулева.* — Имеется в виду персонаж из повести Н.С. Лескова «Смех и горе» Перлов, прототипом которого является С.А. Хрулев (1807–1870), генерал-лейтенант, герой Севастопольской обороны 1855 г. Генерал (под своей фамилией) выведен также в рассказе «Бесстыдник».

Зоровавель — библейский вождь иудеев, под предводительством которого они возвратились на родину в Иерусалим из вавилонского плена. Это случилось в первый год правления персидского царя Кира II Великого (царствовал с 558 по 529 до н.э.). Событиям того времени посвящен роман Ксенофонта «Киропедия».

Засс Андрей Павлович (1753–1815) — генерал-лейтенант, взявший Измаил в 1809 г., разбивший в 1811 г. Измаил-бея.

Пассек Петр Богданович (1736–1804) — генерал-аншеф (с 1782).

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) — генерал-адъютант, военный писатель. Профессор, а с 1878 г. — начальник Академии Генштаба. В 1898–1903 гг. — киевский генерал-губернатор. Автор многих военных трудов.

Обручев Николай Николаевич (1830–1904) — генерал от инфантерии, профессор военной статистики в Академии Генштаба. Участник военных реформ 1860–1870-х гг. С 1881 г. — начальник Главного штаба. С 1893 г. — член Государственного совета.

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) — генерал от инфантерии. В 1898–1904 гг. — военный министр. В русско-японскую войну неудачно командовал войсками в Манчжурии — потерпел поражение под Ляояном и Мукденом. В 1916–1917 гг. — туркестанский генерал-губернатор.

Московский городской голова Алексеев

С. **561.** *Алексеев* Николай Александрович (1852–1893) — владелец золотоканительной фабрики, директор и казначей Русско-

го музыкального общества, а с ноября 1885 г. — московский городской голова (высшее выборное должностное лицо общественного самоуправления). Его соперниками на выборах были известный публицист И.С. Аксаков и строитель И.И. Пороховщиков. Алексеев был убит 9 марта 1893 г. мещанином В.С. Андриановым, страдавшим манией преследования (в кармане убийца оставил записку: «Прости, жребий пал на тебя!»).

С. **562.** *«Цезарь! Ид Марта берегись!»* — Предостережение Юлию Цезарю, который был убит в мартовские иды 44 г. до н.э. В древнеримском календаре иды обозначали полнолуние и приходились на 15-й день марта, мая, июля, октября и на 13-й день остальных месяцев.

...как древний римлянин, воскликнуть: «Я застал ваш город деревянным, а оставляю его каменным...» — Многие римские императоры почитали за честь оставить о себе память как о благоустроителях «вечного города». В этом особенно преуспел Октавиан Август (63 до н.э. – 14 н.э.), что в его деятельности историк Светоний (ок. 70 – ок. 140) отмечает особо: «Вид столицы еще не соответствовал величию державы. Рим еще страдал от наводнений и пожаров. Он так отстроил город, что по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным» (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Август. М., 1964).

С. **563.** *...«удалиться в слободу Александровскую».* — Вероятно, остряки имели в виду Московский институт благородных девиц, располагавшийся на Александровской площади.

Гордиев узел — сложный узел, которым опутал ярмо повозки герой древнегреческой легенды фригийский царь Гордий. Оракул предсказал, что станет властителем Азии тот, кто развяжет узел. Это попытался сделать Александр Македонский. А когда не смог распутать узел, то разрубил его мечом.

Рот Владимир Карлович (1848–1916) — невропатолог, один из организаторов Народного университета им. А.Л. Шанявского.

Сербский Владимир Петрович (1858–1917) — один из основоположников судебной психиатрии в России, профессор Московского университета.

Кожевников Алексей Яковлевич (1836–1902) — один из основоположников невропатологии в России.

С. **563.** *Чечотт* Оттон Антонович (1842–?) — известный петербургский психиатр.

С. **564.** *«Велика Диана Эфесская!»...* — Диана (у греков Артемида) — римская богиня растительности, родовспомогательница, олицетворение луны. В ионийском городе Эфесе был выстроен храм Артемиды, считавшийся одним из семи чудес света.

С. **565.** *У Винслова, Лемана, Гризингера, Крафт-Эбинга...* — Среди названных психиатров наиболее известны: Вильгельм Гризингер (1817–1868) — немецкий врач, один из основоположников научной психиатрии; Рихард Крафт-Эбинг (1840–1902) — автор книг «Судебная психопатология», «Сексуальные психопатии», «Учебник психиатрии», переведенных на русский язык.

...маршала Gilles de Rais (Жилль де Рэ), *основателя легенды о «Синей Бороде»...* — Герцог Рауль Синяя Борода, герой-убийца, умертвивший своих жен, — из французкой сказки Шарля Перро (1628–1703). На этот сюжет создали свои произведения писатели А. Франс, М. Метерлинк, композиторы Поль Дюка, Бела Барток и др. «...Слабо обоснована гипотеза, — пишет А. Франс («Семь жен Синей Бороды»), — отождествляющая Синюю Бороду с маршалом де Рэ, удавленным, по приговору суда, на мосту в Нанте 26 октября 1440 года. Не вдаваясь... в исследование вопроса, действительно ли маршал содеял все те преступления, за которые был предан смерти, или же, быть может, его гибели способствовали богатства, на которые зарился алчный король, можно с уверенностью сказать, что его жизнь нисколько не похожа на жизнь Синей Бороды; этого достаточно, чтобы не смешивать их друг с другом и не считать их одной и той же личностью» (Франс А. Собр. соч. В 8 т. М., 1959. Т. 6. С. 343–344).

Карл VII (1403–1461) — король Франции.

С. **567.** *Александр Александрович* — Александр III (1845–1894), император России с 1881 г.

...о «кресте на св. Софии»... — Имеется в виду крестово-купольный храм в Киеве — Софийский собор, заложенный Ярославом Мудрым в 1037 г.

В голодный год... — Имеется в виду неурожай 1891–1892 гг., вызвавший голод на обширных территориях России.

С. **568.** *...добивается чести и славы не геростратовым путем...* — Герострат — житель Эфеса, жаждавший прославиться. По преданию, он в 356 г. до н.э., в ночь рождения Александра Македонского, поджег одно из чудес света — храм Артемиды Эфесской.

Рукавишников Константин Васильевич (1848–1915) — промышленник, меценат, действительный статский советник, потомственный дворянин. В 1883–1896 гг. — московский городской голова.

С. **569.** *Патрокл* — герой Троянской войны, павший в бою.

Терсит — участник Троянской войны. В «Илиаде» Гомера изображен хромоногим, безобразным и ворчливым. Убит Ахиллом за насмешки.

С. **570.** *Третьяков С.М.* — см. указатель (т. 6).

С. **571.** *Рубинштейн* Н.Г. — см. указатель (т. 6).

С. **572.** *Ноев* Федор Федорович (1840 — 1902) — владелец цветочных магазинов в Москве и цветочного хозяйства за Калужской заставой.

С. **573.** *Шелапутин* Павел Григорьевич (1850–1914) — действительный статский советник, совладелец Балашихинской мануфактуры бумажных изделий, меценат.

С. **574.** *Снегирев* Владимир Федорович (1847–1916/17) — один из основоположников научной гинекологии в России.

С. **575.** *...всенародно переносила на Рязанский вокзал прах безвременно погибшего Скобелева.* — После отпевания в церкви Трех Святителей (у Красных Ворот в Москве) сотни тысяч москвичей проводили гроб с телом М.Д. Скобелева на родину полководца, в село Спасское Рязанской губернии. Скорбный кортеж встречали и сопровождали также многотысячные толпы рязанцев по всему пути его следования к месту захоронения. «Это шествие триумфатора, а не похороны генерала», — вспоминал Вас. И. Немирович-Данченко (см. об этом подробно в его кн.: Скобелев. Личные воспоминания и впечатления. М., 1993. С. 260–268).

С. **576.** *У постели больного стояли Склифосовский, Остроумов, Черников, Клейн, Клин.* — Названы медицинские авторитеты того времени, среди которых самые известные — хирург Николай Васи-

льевич Склифософский (1836–1904) и А.А. Остроумов (см. о нем указатель в т. 6).

С. **576.** *Кузьмин* Василий Иванович (1851–?) — хирург, автор труда о лечении огнестрельных ран.

С. **577.** *...«Париж стоит одной мессы», — как сказал веселый французский король Ганрио.* — Имеется в виду Генрих IV (1553–1610), который произнес знаменитую фразу, переходя в католичество, чтобы стать королем.

С. **579.** *Канатчикова дача* — местность на юге Москвы, владение купца Канатчикова. В 1894 г. здесь по инициативе Н.А. Алексеева и на собранные им частные пожертвования открыта психиатрическая больница № 1, носившая до 1917 г. его имя (ныне — им. П.П. Кащенко).

Бабий городок — в XVII–XVIII вв. название местности на правом берегу реки Москва (у Крымской набережной).

С. **581.** *В нем был значительный процент алкивиадовщины...* — Алкивиад (ок. 450–404 до н.э.) — афинский полководец, отличавшийся самонадеянностью и властолюбием.

...«в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес...» — Из стихотворения Пушкина «К портрету Чаадаева» (1817–1820). Марк Юний Брут (85–42 до н.э.) — глава заговора против Цезаря. Первым нанес ему удар кинжалом. Возглавил (вместе с Кассием) республиканцев в борьбе со 2-м триумвиратом. Перикл (Периклес; ок. 490–429 до н.э.) — выдающийся афинский государственный деятель-реформатор.

С. **582.** *Савицкий* Константин Аполлонович (1844–1905) — живописец.

С. **583.** *Катилина* Луций Сергий (ок. 108– 62 до н.э.) — римский патриций-заговорщик, которого разоблачил Цицерон в речи, произнесенной в сенате.

С. **584.** *Чемоданов* Михаил Михайлович (псевдоним Лилин; 1856–1908) — художник-карикатурист, печатавшийся вместе с А.П. Чеховым в сатирическом журнале «Будильник» и в других изданиях.

С. **585.** *...Москва имела уже такой опыт с Н.Г. Рубинштейном...* — См. прим. к с. 571.

Собакевич, Манилов — персонажи из поэмы Гоголя «Мертвые души».

Шандал (перс.) — большой подсвечник.

С. **586.** *Кифа Мокиевич* — псевдоним журналиста Ивана Адриановича Волкова (1881–?).

Тормазы — тормоза.

С. **589.** *...«как хочу, так и делаю!» Sic volo, sic jubeo!* — Так я хочу, так велю! (лат.) Изречение, характеризующее своеволие и самодурство, — из 6-й сатиры Ювенала (ок. 60 – ок. 127), в которой властная женщина потребовала от мужа казнить не угодившего ей раба.

...не стала за «униженных и оскорбленных»... — «Униженные и оскорбленные» — роман Ф.М. Достоевского.

С. **591.** *Но одна вещь — Цицерон с языка, другая — Демосфен.* — Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.) — римский политический деятель, выдающийся оратор и писатель. Сохранилось 58 его речей, а также 19 трактатов и более 800 писем, до сих пор изучающихся в вузах как памятники литературы античности. Славу Цицерона как мастера красноречия умножили три его книги: «Об ораторе», в которой им дан идеальный образ оратора-философа, «Брут», в которой описана история римского красноречия, и «Оратор», где он высказал свои представления о разновидностях риторического стиля. Образцом Цицерону служил выдающийся афинский оратор и политический деятель Демосфен (ок. 384–322 до н.э.), сумевший упорными упражнениями преодолеть свой физический недостаток в речи и добиться славы совершенного оратора всех времен.

«Война Филиппу!» — Лозунг из речей («филиппик») Демосфена, ставшего идейным вождем тех, кто выступил против царя Македонии Филиппа II (ок. 382–336 до н.э.) и его знаменитого сына Александра Македонского (см. примеч. к с. 454), врагов греческой свободы.

Васнецовские богатыри

С. **593.** *Богатырская застава...* — Картина «Богатыри» (1881–1898) В.М. Васнецова.

С. **594.** *Козары* — Хазары — тюркоязычный народ, кочевники, пришли в Восточную Европу после гуннского нашествия (VI в.), образовали Хазарский каганат (сер. VII – конец X вв.).

Олег (?–912) — князь, правивший с 879 г. в Новгороде и с 882 г. в Киеве. В 907 г. совершил успешный поход на Византию.

С. 594. *Святослав* I (?–972) — великий князь киевский, разгромивший в 964–96 гг. Хазарский каганат.

С. 595. *Закон Моисеев* — первые пять библейских книг (Пятикнижие) Ветхого завета: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

Владимир I Святой (?–1015) — князь новгородский, великий князь киевский, введший в 988–989 гг. христианство в качестве государственной религии.

Мстислав-богатырь, Мстислав Владимирович (?–1036) — князь тмутараканский с 988 г. и черниговский с 1026 г. Покоритель косогов, победивший в поединке их князя Редедю.

Ярослав Мудрый (ок. 978–1054) — великий князь киевский с 1019 г.

Роман Святославович — князь, сын Святослава Ярославича (1027–1076), великого князя киевского.

...выехавший барантовать... — Баранта «у азиатских пограничных народов, а более у кочевых, самоуправная месть, по междуусобиям; набег, грабеж, отгон скота, разор аулов, захват людей. Баранта тем отличается от военных набегов, что нападающие, из опасения кровомести, идут без огнестрельного и даже без острого оружия, и берут ожоги, вместо копий, обух и нагайки» (В.И. Даль).

С. 597. *Иосиф Прекрасный* — одиннадцатый сын библейского патриарха Иакова и первенец Рахили, их любимец, герой библейской эпопеи, достигший вершин власти.

Шпынь (шпинь, шпень) — шип, гвоздь без шляпки. В перен. смысле: «...строптивый человек, всем поперек, впомеху; придирчивый, досадный; трунила, злой насмешник» (В.И. Даль).

Шелепуга (шелеп) — плеть, кнут.

Калики перехожие — страннники, нищие, которые поют духовные стихи. Возможно, связано по происхождению с названием обуви «калика» (от лат. Caliga) — сапог.

С. 598. *Просвирня* — «женщина в каждом приходе, приставленная для печения просвир» (В.И. Даль). Просфора (просфира) — небольшой хлебец, испеченный без яиц и масла из кислого теста, в виде двух круглых лепешек. На верхней имеет крест или монограмму Иисуса Христа. Употребляется при литургии.

«Бурса» — общежитие при духовных училищах и семинариях; их тягостный быт изобразил в «Очерках бурсы» (1862–1863) Н.Г. Помяловский.

С. **599.** *Алюторы* — малочисленная народность на северном побережье Камчатки.

С. **600.** *Батый* (1208–1255) — хан, внук Чингисхана, разоривший в 1237–1238 гг. княжества Северо-Восточной Руси.

Тавлея — шашечница, игра в шашки. Зд.: партия в шашки.

С. **603.** *Мужик Марей* — герой одноименного рассказа Ф.М. Достоевского из его «Дневника писателя».

Шуйский Василий IV (1552–1612) — царь в 1606–1610 гг., возглавлявший тайную оппозицию Борису Годунову и поддержавший Лжедмитрия I. Низложен.

Ляпуновы — братья: Захарий (? — после 1612) и Прокопий (?–1611) Петровичи — участники свержения в 1610 г. царя Василия Шуйского.

Скопин — Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586–1610), князь, боярин, полководец.

Минин Кузьма Минич (?–1616) — организатор борьбы против польско-литовских интервентов, один из руководителей 2-го земского ополчения.

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров А.В.
А 63 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. Концы и начала. Хроника 1880–1910 годов. Восьмидесятники: Роман. Книга первая. Разрушенные воли. Русские были / Сост., примеч. Т.Ф. Прокопова. — М.: НПК «Интелвак», 2002. — с. 656.

ISBN 5-93264 032-4 (т. 5)

В пятом томе Собрания сочинений А.В. Амфитеатрова (1862–1938) впервые публикуется роман «Восьмидесятники» (книга первая «Разрушенные воли») из эпопеи «Концы и начала. Хроника 1880–1910 годов», а также очерки из сборника «Русские были».

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос-Рус)1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах
Том 5

ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ
РУССКИЕ БЫЛИ

Составление, примечания
Тимофея Федоровича Прокопова

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 25 05 2002
Формат 84x108/32 Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс Печать офсетная Усл.-печ л 34,44 Уч -изд л 32,5
Тираж 3000 экз. Заказ № 2161.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г

Издательство НПК «Интелвак»
117105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847 Тел 127 3846
E-mail· iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-93264-032-4

9785932640326

